

ТАЙНЫ

Век XVIII—XIX

Д. С. Дмитриев

ИМПЕРАТОР-ОТРОК

РУССКИЙ
АМЕРИКАНЕЦ



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XVIII—XIX

Д. С. Дмитриев

ИМПЕРАТОР-ОТРОК

Историческая диалогия

РУССКИЙ АМЕРИКАНЕЦ

Исторический роман



МОСКВА
«ТЕРРА» – «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д53

Составитель Т. ПРОКОПОВ

Дмитриев Д.С.
Д53 Император-отрок: Историческая дилогия. Русский американец: Исторический роман. Сост. Т. Прокопов. М.: ТЕРРА, 1995. 608 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах.)

ISBN5-300-00157-0

Один из типичных представителей так называемой «народной» (массовой) исторической беллетристики Дмитрий Савватиевич Дмитриев (1848—1915) написал более трех десятков романов и повестей. Три из числа лучших представлены в нашем однотомнике: «Осиротевшее царство», «Разрушенная невеста», составившие дилогию о жизни и смерти Петра II «Император-отрок», и «Русский американец» — из эпохи царствования Александра I.

ББК 84Р1

Д $\frac{4702010100-206}{А30(03)-95}$ Без объявл.

ISBN5-300-00157-0

© Издательский центр «Терра»
1995 г.

ИМПЕРАТОР-ОТРОК

Историческая диалогия

ОСИРОТЕВШЕЕ ЦАРСТВО

Первый роман дилогии
из эпохи Петра II

Часть первая

I

Стоял апрель 1727 года. Весна в том году началась рано, в воздухе веяло теплом, яркое солнце не сходило с голубого небесного свода.

На улицах мрачного, сырого Петербурга было весело, радостно. К подъезду Зимнего дворца в раззолоченной карете, запряженной четверкой дорогих лошадей, подъехал светлейший князь Александр Данилович Меншиков, фельд-маршал русских войск, «полудержавный властелин», «баловень судьбы счастливой», и гордой, величавой походкой прошел по апартаментам дворца. Находившиеся тут министры, сенаторы и генералы низкими поклонами приветствовали всесильного вельможу, но он едва достаивал их легким наклонением своей головы.

Рядом с покоем, где находилась больная императрица Екатерина I Алексеевна, Меншикова встретил вице-канцлер Остерман. Этот хитрый вельможа сумел подладиться к Меншикову и выказывал ему свою признательную преданность. Теперь, низко поклонившись Александру Даниловичу, он вкрадчивым голосом проговорил:

— Как вожделенное здравие вашей светлости?

— Как видишь, барон, я здоров и бодр, — ответил ему Меншиков.

— Несказанно радуюсь тому, ваша светлость. А супруга ваша, достоуважаемая Дарья Михайловна, как изволит себя чувствовать?

— Что ей делается, барон?.. А ты лучше скажи, как государыня?

— Ее величество изволила провести ночь в тревожном сне, — тихо и оглядываясь по сторонам, ответил Остерман. — Опять появился бред.

— А с лейб-медиком относительно болезни государыни ты ничего не говорил? Не спрашивал, что за болезнь?

— Спрашивал, ваша светлость, — произнес Остерман, и затем осмотрелся кругом, отвел Меншикова в сторону и чуть не шепотом продолжал: — По словам лейб-медика, императрица страдает злокачественной горячкой.

— Горячкой, да еще злокачественной? Ведь от этой болезни умирают, — меняясь в лице, произнес Меншиков.

— Тише, ваша светлость, ради Бога тише!

— Да ведь тут никого нет.

— Ах, ваша светлость, здесь везде есть уши и глаза.

— Я не робок, граф, меня не испугают чужие уши и глаза.

— Вы — верховный вельможа, бояться вам нечего, а я — человек маленький.

— Это ты-то — человек маленький?.. Полно, Андрей Иванович, не глупи... Не пой мне Лазаря. Ведь я тебя давно знаю... Я, брат, тебя насквозь вижу. Да ты сам-то ныне видел ли государыню? — меняя разговор, спросил Меншиков.

— Как же, ваша светлость, имел то счастье, — ответил Остерман. — Ее величество изволила сказать мне, что чувствует себя лучше.

— Сегодня, часов в восемь вечера, будь у меня, — сказал Меншиков, направляясь в покой больной императрицы.

А там на роскошном ложе доживала свои дни коронованная императрица великой русской земли, некогда простая мариенбургская полонянка фельдмаршала графа Шереметева Марта Рабе, приемыш пастора Глюка. Государыня лежала с закрытыми глазами; лицо у нее горело; сильный жар, несмотря на все усилия докторов, не оставлял больной.

Рядом с кроватью государыни печально сидела ее любимая камер-фрейлина; глаза молодой девушки были заплаканы. При входе всесильного Меншикова она хотела встать, но тот мановением руки разрешил ей сидеть и тихо спросил:

— Видно, государыня поживает?

— Кажется, ваша светлость.

— Нет... нет... я не сплю, не сплю... Какой сон?.. У меня и ночью нет сна. Кто это пошел? — слабым голосом спросила больная императрица.

— Я... я, ваше величество!

— А... очень рада... сядь ко мне поближе, Александр Данилович. А ты поди, потребуешься — позову, — приказала государыня своей камер-фрейлине и, когда та вышла, указала Меншикову на ее стул: — Садись вот здесь, Александр Данилович. Что, навестить меня пришел?

— Я вам, государыня, здоровья принес.

— Нет, не здоровья мне ждать, а смерти. Я скоро умру.

— Ваша жизнь нужна отечеству, государыня, живите для счастья людей русских, ваших верноподданных.

— Полно, князь... полно!.. одни слова... Кому нужна моя жизнь? Наверно, все ждете, когда я уберусь.

— Что вы говорите, ваше величество! Мы все... вся Русь молим Бога о вашем здравии.

— Хорошо, князь... Спасибо, голубчик! В твою преданность я верю. Но не в том дело... Знаешь ли, князь, какой я видала сон?.. И сон тот правдивый, вещий... Хочешь — расскажу?

— Рад слушать, государыня.

— Расскажу, расскажу... только дай мне немного отдохнуть... Устала я... говорила и устала.

В покое императрицы водворилась тишина. Больная государыня лежала с закрытыми глазами; тяжелые вздохи вырывались из ее высоко подымавшейся груди.

Меншиков, не смея нарушить безмолвие, сидел молча, задумчиво опустив свою властолюбивую голову. Мысли одна за другой туманили его голову.

«Когда не станет государыни, императором будет провозглашен Петр Второй, а я первым стану у его трона. Император — отрок, он не способен управлять таким большим царством, и я стану правителем... Но нужно будет как можно более укрепить свое положение, и для этого есть один путь — породнить государя с моим родом. Кому же и быть, как не мне, самому близкому к трону вельможе, тестем государя? Во что бы то ни стало, свою дочь я выдам за Петра и сегодня же испрошу у государыни согласия на это. Я уверен, что согласие последует и дочь моя будет царицею, на зло моим завистникам. О, счастливая моя судьба, как ты высоко подняла меня!.. Из простых пирожников я стал всесильным министром... и скоро, скоро стану правителем всего государства... — Меншиков от восторга готов был улыбнуться, но, взглянув на больную императрицу, подумал: — А что, если государыня поправится и выздоровеет? О нет, горячка — болезнь тяжелая, не перенести ей».

Честолюбивые мечты властолюбца были прерваны государыней.

— Князь, ты здесь? — тихо спросила она. — Да? Кажется, я хотела рассказать тебе свой сон, так?

— Так точно, государыня.

— Слушай, князь! Снилось мне, что будто я сижу за столом, окруженная придворными, и ты был тут, Александр Данилович. За столом мы весело разговаривали. Как вдруг появляется тень моего покойного мужа, императора Петра... Как сейчас вижу, на Петре одежда древних римлян. Он ничего не говорит, а только манит меня рукою. Я будто встаю из-за стола и с большой радостью иду за ним. Вышли мы из дворца и оба поднялись на воздух. Летим все выше, выше, как на крыльях, к облакам... И страшно мне, и хорошо. Бросила я свой взор на землю и дочерей своих милых, Анюту и Лизу, увидала. Обе они будто окружены большой толпой народа разных наций. Эти люди спорили, кричали. Мне стало жаль своих дочерей, я хотела спуститься к ним, а сама поднималась все выше, выше. Ну, что скажешь, князь, про мой сон?

— Мало ли что снится, государыня!

— Нет, князь, этот сон вещий! За мною скоро придет мой муж, великий император; я умру, скоро умру, — с волнением проговорила больная императрица.

— Успокойтесь, ваше величество: вам вредно себя тревожить.

— Теперь мне все равно. Ты ко мне, Александр Данилович, по делу — так говори.

— Ваше величество, вы уже изволили позаботиться о наследнике престола?

— Да, да! Я объявляю наследником внука моего покойного мужа, Петра Алексеевича. Его отцу, законному наследнику престола русского, злосчастному царевичу Алексею не судил Бог царствовать, так пусть хоть Петр царствует.

— Но, государыня, царевич молод и не сможет управлять таким большим царством, — тихо, вкрадчиво и вместе с тем почтительно сказал Меншиков.

— А ты-то, князь, на что же? Ты и другие вельможи станете помогать ему. Ты будешь главным правителем.

Тщеславному Меншикову только и нужно было этого; он едва мог скрыть свою радость и притворно-печальным голосом промолвил:

— Тяжелое, непосильное бремя изволите возложить на меня, ваше величество!

— Тебе Бог поможет, князь Александр Данилович!

— На Него, Единого, только и возлагаю все свое упование, всемилостивейшая государыня! — Усердно перекрестившись, Меншиков встал, подошел к двери, приотворил ее немного и, уверившись, что в соседнем зале никого нет, опять плотно притворил дверь, после чего опустился на колени перед больной императрицей и с волнением проговорил: — Довершите, государыня, свое благодеяние и даруйте соизволение на брак царевича Петра с моею дочерью Марией...

— Вот чего ты хочешь, князь? Но ведь этим ты навешь себе немало врагов и завистников, — задумчиво ответила государыня. — Смотри, князь! Злоба да зависть многое могут сделать. Ты все стремишься к величию... тебе всего мало... Смотри, князь, не рухни!.. По дружбе и расположению говорю тебе это!..

— Бог даст, минует меня такая тяжелая участь! Ведь если вы, ваше величество, своим царским словом освятите этот брак, то перед ним должны будут замолкнуть все голоса зависти и недоброжелательства. Ведь царское слово — закон. Да и его высочество наследник-цесаревич найдет во мне и преданнейшего слугу, и поистине родного отца. Ведь он будет моим зятем, названным сыном.

— Давай Бог, давай Бог!.. Если так, то я согласна на этот брак цесаревича. Храни его, Александр Данилович, и будь ему верным помощником в делах правления!

Меншиков, опустившись на колени, горячо поцеловал руку монархини, а она, утомленная этой беседой, откинулась на подушку и смежила глаза в полудремоте.

Счастливым и довольным вернулся князь Меншиков в свой дом-дворец, находившийся на Васильевском острове.

— Ну, княгинюшка, радуйся и веселись, — весело сказал он своей жене, доброй и правдивой Дарье Михайловне.

Муж и жена представляли прямую противоположность: Меншиков был спесив, заносчив, крутого нрава человек, всю свою жизнь стремившийся к тщеславию и почестям, а его жена отличалась безмерною добротою и сердечностью и полным отсутствием гордости и тщеславия. Она была защитницей и заступницей тех, на которых обрушивался гнев ее властного мужа, и многих вызволяла из беды.

— Скажи, князь, чему радоваться? — с улыбкою спросила она теперь мужа.

— А тому, что скоро ты будешь царской тещей.

— Что? Что ты сказал? — меняясь в лице, воскликнула княгиня.

— Говорю, что ты будешь тещей государя. Государыня дала свое согласие на брак царевича Петра с нашей Марией.

— Царевича Петра, ты говоришь? Да разве государыня объявила его своим наследником?

— Да, да... Государыня сильно больна, безнадеежна, и я с Остерманом и другими так устроил, что императрица объявила наследником престола великого князя Петра Алексеевича.

— Что же, это хорошо: царевич Петр — законный наследник; ему и подобает царем быть. Только вот что я скажу тебе, князь: в браке царевича Петра с нашей дочерью я не вижу никакого счастья.

— Как так?

— Да так: у тебя, Александр Данилович, и так врагов немало, а тогда будет еще более. Да и не пара наша Маша царевичу, не пара: и характером они не схожи, и возрастом различны: ведь царевич-то — еще отрок, а наша Маша — чуть не невеста на выданье!

— Не пара? Да ты с ума сошла? — крикнул на жену Меншиков.

— От твоих затей, князь, того и жди, что с ума сойдешь. Ох, Александр Данилыч, погубишь ты себя и нас, неповинных, погубишь! Остановись, князь, остановись!.. И то ты далеко зашел... смотри, не оступись. Если себя не жалеешь, то хоть детей-то пожалей! За них я скорблю. Деток наших неповинных не губи, земно о том прошу тебя, князьинька! — И, горько плача, Дарья Михайловна опустилась на колена перед своим непреклонным мужем.

— Не прекословь мне, Дарья! Ты знаешь мой нрав. Дело решено, и чего я захочу, то и будет; пятиться назад я не горазд... напролом вперед иду, — грозно проговорил Меншиков и вышел из горницы.

II

Но кто же был этот Меншиков, откуда он взялся? Как он попал в любимцы Петра Великого, умевшего выбирать людей?

Этот «полудержавный властелин» и баловень счастья, «дитя моего сердца», как называл его великий Петр, был

родом из крестьян; по одним сказаниям, он — русский, православный, пришлец из Литвы, где будто жил его отец, по другим источникам — уроженец Волги.

По общему мнению, составившемуся еще при жизни Меншикова, он происходил из простолюдинов, и в этом отношении составлял в ряду государственных русских лиц замечательное исключение, олицетворявшее стремление Петра создать новых деятелей, не связанных с общественными преданиями старой Руси.

Родился Меншиков в царствование царя Алексея Михайловича, в 1674 году. Его отец был бедным простолюдином. Когда Александр подрос, отец отдал его к одному московскому пирожнику, и Алексашка, как в то время называли Меншикова, стал с лотком разгуливать по Москве златоглавой и выкрикивать: «Пирогі хороши, горячи, с пылу с жару — денежку за пару!» Алексашка был шустрый мальчишка, большой балагур, говорил с прибаутками, выкидывал остроумные шутки и этим приобрел себе много покупателей. Не так вкусны были его пироги, как веселы и остры его прибаутки и балагурство. Как-то раз ему пришлось идти мимо дома иностранца Лефорта, в то время уже близко стоявшего к будущему великому преобразователю России, знакомившего Петра Алексеевича с бытом и военным устройством Запада. Алексашка не пожалел своего горла и стал громко выкрикивать свои прибаутки. Лефорт сидел у окна; забавник-мальчишка заинтересовал его; он позвал его к себе в комнату и спросил:

— Ты с пирогами?

— С пирогами, ваша милость. С пылу с жару — денежку за пару! — бойко ответил мальчишка.

— А что ты возьмешь за весь лоток с пирогами? — улыбаясь спросил Лефорт.

— Пироги продажные, а лоток не продажный.

— Нет, ты продай мне лоток с пирогами.

— Вы, господин, пироги купите, а лоток зачем вам?

— Нужен, если покупаю.

— Не продажный; продай вам лоток, вы, пожалуй, сами пойдете пирогами торговать, а от этого будет и хозяину моему убыток, да и мне не барыш, — не моргнув глазом, проговорил Алексашка.

Лефорт расхохотался.

— Ты, мальчишка, мне понравился. Как тебя звать?

— Поп крестил, Алексашкой назвал.

— Хочешь у меня служить, Алексашка?

— Отчего не служить? Можно! А пирогами кормить меня будешь?

— Буду, буду, тебе хорошо будет у меня жить.

— Вот я от хозяина отойду и к тебе, господин ласковый, приду.

— Приходи, приходи.

Лефорт щедро заплатил Меншикову за пироги.

С большой неохотой отпустил пирожник Алексашку, так как с его уходом у него прерывался хороший доход.

Алексашка стал слугой Лефорта; на нем появился камзол французского покроя, или ливрея; он своей сметливостью и верной службой приобрел любовь и доверие Лефорта, который был очень доволен балагурством своего слуги-мальчика.

Раз царь Петр увидал у Лефорта Алексашку; смелые и бойкие ответы последнего понравились государю, и он взял его к себе. Алексашка некоторое время был у царя простым лакеем. Однако Петр I умел отличать людей; он полюбил Меншикова и записал его рядовым в число своих потешных, не посмотрев на то, что Меншиков был простолюдином, а в потешном полку молодые солдаты почти все были из дворянского сословия.

«Это был первый шаг к возвышению Меншикова, — пишет Костомаров, — но важно было для него то, что, считаясь «потешным», Меншиков несколько лет продолжал исполнять близ царской особы должность камердинера. Петр, ложась спать, клал его у своих ног на полу. Тогда чрезвычайная понятливость, любознательность и большая исполнительность Меншикова расположили к нему царя».

Меншиков умел угождать царю и старался предупредить его приказания; вспыльчивый нрав Петра нередко отражался на Меншикове, но он безропотно и покорно переносил и брань, и побои.

Петр все более и более привязывался к своему любимцу, и тот начал пользоваться известным значением; к нему стали прибегать с ходатайством, просили его заступничества перед государем. Разумеется, просители приходили к царскому любимцу не с пустыми руками.

Во время войны с турками Меншиков за азовский поход получил офицерский чин, хотя в этой войне он ничем не отличился; он был хитрый, тонкий человек, — все, что нравилось царю, нравилось и Меншикову, и потому он вполне разделял мысль Петра преобразовать, пересоздать Русь, все поставить по иностранному образцу; он был врагом старины и благоговел перед державным преобразова-

телем. Все те, которые придерживались старины, ненавидели Меншикова; но что значила для него их ненависть? «Любил бы да жаловал царь».

Следующий случай еще более помог возвыситься Меншикову. У молодого царя было много тайных врагов; они составили заговор и готовили «гибель государю». Меншиков открыл заговор, и преступники были схвачены. Теперь Петр стал смотреть на своего любимца, как на избавителя.

Во время первого путешествия царя Петра за границу Меншиков был с ним неразлучен и в угоду царю сам работал топором на саардамской верфи. Он выказал большие способности к кораблестроению и другим ремеслам, хорошо выучился немецкому и голландскому языкам и во всем старался угодить государю. «Везде и во всем он нравился своему властелину, разделял с ним и трудные работы по кораблестроению, и веселые попойки». По приезде из-за границы началась расправа со стрельцами, а там Петр занялся пересозданием России: началось бритье бород, русский кафтан был заменен немецким камзолом.

Первая супруга царя, Евдокия, приверженица старины, ненавидевшая Меншикова, была отправлена в монастырь, и после этого одним сильным врагом у него стало меньше. Меншиков, когда-то уличный мальчишка, продавец-пирожник, теперь уже был генерал-майором и командовал драгунским полком.

В 1700 году он женился на умной боярышне Дарье Михайловне Арсеньевой.

Началась война со шведами, и после счастливого взятия крепости Шлиссельбург Александр Данилович Меншиков был поставлен губернатором взятого у шведов края. За покорение крепости Ниеншанц Меншиков был пожалован орденom св. Андрея Первозванного.

«Во все царствование Петра Меншиков был главнейшим исполнителем задушевных замыслов Петра по строению и заселению Петербурга. Новая столица обязана своим созданием столько же творческой мысли государя, сколько деятельности, сметливости и умению Меншикова», — говорит историк.

После нескольких удачных побед над шведами, в которых Меншиков, как командир, принимал большое участие, он был возведен в генерал-фельдмаршалы.

Однако он не чужд был и злоупотреблений, пользуясь доверием государя, наживал большие деньги, и не раз за это Петр бил палкою и налагал на него огромные штрафы

деньгами, например штраф в сто тысяч червонцев. Меншиков волей-неволей уплатил этот штраф, так как государь строго преследовал казнокрадов. Однако это не отучило Меншикова от любостяжания, и он продолжал, где только можно было, изыскивать способы для увеличения своего богатства, а вместе с тем все более и более укреплял свою власть и могущество. Путь к этому особенно широко открылся для него с момента кончины Петра Великого.

Странна судьба благодетеля Меншикова, императора Петра Великого. Всю свою жизнь посвятил он переустройству России; увлекшись западными новшествами, он бесстрашно ломал устои России, предпринял реформы всего ее быта, но не dokonчил, не укрепил всего начатого — у царя-работника не хватило времени на это, так как смерть пресекла его жизнь 28 января 1725 года. Умирая, он не успел распорядиться назначением наследника, а между тем это было крайне нужно.

Как известно, Петр Великий был женат дважды: в первый раз он семнадцатилетним юношей, по настоянию матери, женился в 1689 году на Евдокии Федоровне Лопухиной, и от этого брака у него родился сын Алексей. Но царь, не видя в этой женщине поддержки своим реформаторским начинаниям и не любя ее, уже через год стал искать привязанности на стороне, а в 1798 году царица Евдокия была пострижена и заточена в Суздальском монастыре. Петр I всецело отдался государственным делам, а его младенец-сын находился сперва на попечении своей бабки Натальи Кирилловны, а по смерти ее — у тетки Натальи Алексеевны. Мальчик был окружен лицами, преданными старому укладу жизни своей родины, и получал плохое образование. Правда, к нему были приставлены друг за другом два иностранца, но толка от этого было мало. Наконец, он был отправлен для усовершенствования образования за границу, и тут ему нашли невесту — принцессу Шарлотту Вольфенбюттельскую; с нею он, по настоянию отца, сочетался браком 14 октября 1711 года, причем она осталась лютеранкой.

Однако это обстоятельство несколько не изменило взглядов царевича; он, суеверно-религиозный, был противником преобразовательных начинаний своего отца, и это поселило раздор между ними. В народе стало известно об этих несогласиях, и противники Петра I старались создать из царевича Алексея оплот для себя, вследствие чего раздор в царской семье стал почвой для борьбы политических партий. Вместе с тем царевич плохо обращался с супругой,

стал обнаруживать непослушание, отвращение к занятиям и вести разгульную жизнь. Наконец, по смерти жены, он, боясь репрессий отца, бежал за границу. Петр послал за ним Петра Толстого и Алексея Румянцева в Неаполь, и им 14 октября 1717 года удалось уговорить царевича вернуться на родину. Петр Великий свиделся с сыном 3 февраля 1718 года и назначил над ним суд, лишив его прав на престол. Вместе со своими сторонниками царевич Алексей подвергся пыткам и 26 июня 1718 года скончался.

После него остались сын Петр, родившийся 12 октября 1715 года и дочь Наталия, родившаяся 12 июля 1714 года. Таким образом, Петр Великий имел законного продолжателя своего рода и прямого наследника трона. Однако он боялся оставить престол малолетнему и в 1722 году издал указ «Правда воли монаршей», которым царю предоставлялось право избрать себе наследника хотя бы из совершенно посторонних людей. Этот указ появился вскоре после смерти сына Петра Великого, царевича Павла — «Павлушки-солдатченка», как называл ребенка любивший его до болезненности отец. Со смертью царевича Павла у Петра не оставалось прямого потомства мужского пола, и он, очевидно, не желал видеть внука на престоле. В особенности ясно выразилось это нежелание в дни агонии умиравшего в муках царя-императора. В последний момент облегчения он призвал к себе свою дочь Анну, положил ей руку на голову и трясущимися руками кое-как написал на грифельной доске: «Все отдать...» дальше шли каракули, разобрать которые было невозможно. Но ясно, что он хотел иметь наследницею умненькую царевну Анну, достаточно зрелую и подготовленную, чтобы занять царский престол.

Опять судьба готовила иное. Царь Петр Великий еще не испустил своего последнего вздоха, а в соседнем с его опочивальней зале Меншиков провозгласил императрицу всероссийской супругу умиравшего, Екатерину Алексеевну. Собравшиеся в зале вельможи не осмелились пойти против временщика, вошедшего к ним в сопровождении вооруженного караула измайловских солдат и, кроме того, выставившего на площади перед дворцом все гвардейские полки, в преданности которых он был уверен. Первыми на клич Меншикова: «Да здравствует императрица Екатерина Алексеевна!» — ответили солдаты, столь грозно взявшие при этом «на караул», что вельможи и знать, испуганные сверканием штыков, быстро подхватили этот клич. Рассказывают, что клич донесся до слуха умиравшего Петра Великого, он отчаянно заметался на своем смертном ложе,

замахал руками, из его груди вырвались вопли, которые были слышны даже на площади.

Итак, императрица Екатерина I Алексеевна вступила на престол еще при жизни своего царственного супруга. Правда, Петр Великий вскоре после этого умер, но факт все-таки остается фактом. Но почему же Меншиков так старался о возведении на престол вдовы Петра Великого? Прежде всего, Меншиков был человеком от ничтожества, попавшим «в случай» только благодаря Петру. Выше уже было сказано, как он попал в слуги к царю-преобразователю, которому он понравился своей бесшабашностью; вскоре он стал наперсником царя в любовных похождениях в Немецкой слободе. В этом положении наперсника, ничем не стесняемого и готового на все, Меншиков оставался всю жизнь. Во время массового истребления стрельцов он конкурировал с юным царем в искусстве рубить стрелецкие головы. Когда на Петра находили припадки и он бился в конвульсиях, Меншиков ложился с ним в постель; мучавшийся царь держался во время припадка за его плечи. Меншиков утопил под Шлиссельбургом австрийского графа Кенигсегга, любовника царской фаворитки Анны Монс, он же избил палкой австрийского посла графа Бильдербинга, заместителя Кенигсегга. Но крепче всего Меншиков держался при Петре в силу того обстоятельства, что от него перешла к царю мариенбургская пленница Марта Рабе, ставшая потом супругой Петра Великого с именем Екатерины. Эта женщина была самой могущественной заступой Меншикова пред Петром, и очень часто благодаря ей Меншиков отделывался побоями там, где по закону следовала смертная казнь. Беззастенчиво-наглый, жадный, корыстный, как все выскочки, неразборчивый и нечистоплотный в средствах, Меншиков воспользовался моментом, чтобы укрепить за собою безграничную власть и возвел на престол Екатерину, зная, что истинным повелителем будет он, Меншиков, «князь Ижорский».

Он не обманулся в своих расчетах. Екатерина Алексеевна, женщина совершенно неграмотная, к царствованию не была способна. При ней в Петербурге день был обращен в ночь, даже утреннее богослужение совершалось в вечерние часы. Меншикову была полная свобода самовластничать, как ему было угодно.

Однако он понимал, что императрица Екатерина недолговечна и, чтобы удержаться во власти, обратил свое внимание на юного внука Петра Великого, царевича Петра Алексеевича. Этот сын несчастного отца воспитывался под

наблюдением немецкого авантюриста, графа Андрея Остермана, бежавшего со своей родины из страха смертной казни за убийство. В России он сделал себе карьеру. После смерти Петра I он особенно выделился и уцелел даже при невозможнейшей боярской грызне, начавшейся немедленно после того, как очутился у власти Меншиков. Против Меншикова выступали Долгоруковы, Апраксины, Голицыны, Шереметевы, Репнины, то есть те представители древних знатных фамилий, которые держали сторону несчастного царевича Алексея Петровича и которых Петр Великий не осмелился тронуть во время жестокой расправы с сторонниками своего сына. За Петра Алексеевича были также уцелевшие сестры его деда, царевна Марья Алексеевна и даже Наталья Алексеевна. Но Меншиков опирался на солдат и был силен. Остерман, несмотря на юность Петра Алексеевича, проектировал его брак с одной из царевен-теток — Елизаветою. Такой брак допускался в лютеранской церкви, но был невозможен в православной российской, и проект Остермана был оставлен.

Один из вельмож, князь Дмитрий Голицын, столкнулся с Меншиковым и принял его брачный проект: выдать дочь Меншикова Марию за царевича Петра Алексеевича, а сына Меншикова женить на дочери Петра Великого. Меншиков с восторгом ухватился за такую комбинацию, обеспечивавшую ему надолго неограниченную власть. Одновременно великий князь Петр Алексеевич был объявлен наследником престола. Незадолго до смерти Екатерины I при содействии Меншикова, Остермана и некоторых членов верховного совета было изготовлено духовное завещание императрицы, в силу которого отрок Петр II становился по ее смерти императором при регентстве из обеих цесаревен, Елизаветы и Анны, мужа последней — герцога Голштинского — и верховного тайного совета. Меншиков постарался и тут устранить неугодных ему лиц: он заставил Анну Петровну с герцогом Голштинским выехать за границу и, таким образом, при несовершеннолети цесаревны Елизаветы и полном подчинении ему членов верховного совета остался полноправным распорядителем России.

В упоении своим могуществом он перестал считаться со своими противниками, и против него выступили всеильные Долгоруковы и Апраксины и начали интриговать Остермана. Именно последний, как более близкий к будущему юному императору, и сумел повлиять на него так, что тот стал склоняться на сторону Долгоруковых, тяготясь опекою зарвавшегося Меншикова.

III

В поздний майский вечер в огромном саду, примыкавшем к палатам князя Меншикова, слышен был сдержанный разговор двух влюбленных. Это были князь Федор Долгоруков и старшая дочь Меншикова, красавица княжна Мария.

Как в палатах всесильного временщика, так и на его дворе царила ничем не нарушимая тишина. Меншиков имел обыкновение рано ложиться и так же рано, чуть не с петухами, вставал; притом, когда он ложился в постель, в его огромном доме все как бы вымирало, застывало. Многочисленные слуги князя ходили на цыпочках, говорили шепотом, опасаясь, как бы не потревожить княжеского сна.

Княжна Мария, воспользовавшись удобным временем, вышла в сад. Время было условленно; там дожидался князю красавец-офицер Федор Долгоруков.

— Наконец-то вы пришли, княжна! А я давно жду вас, — радостно воскликнул он, — больше часа...

— Бедный, я заставила вас ждать.

— О, княжна, это ничего не значит в сравнении с тем, что я слышал относительно вас. Ведь говорят... не нынче-завтра вас объявят невестой цесаревича!

— Вам этого не хотелось бы, да?

— Что за вопросы, княжна? Вам хорошо известно мое сердечное отношение к вам! Чтобы назвать вас милой женой, я... я ни перед чем не остановлюсь... я готов на смерть идти, готов муку вытерпеть.

— Этого совсем не надо, милый князь, — с улыбкою проговорила княжна Мария.

— Вам смешно, княжна, а мне горько, очень горько. Ведь вас отнимают у меня! — печально проговорил Долгоруков.

— Отнимают, но не отняли.

— И отнимут.

— За кого же вы, князь, принимаете меня? Я — не ребенок... у меня есть своя воля. Положим, быть царицей очень заманчиво, но я не в отца, не тщеславна. И советую вам успокоиться. Царицей я никогда не буду, никогда. Все затеи моего отца кончатся ничем, поверьте мне.

— О, если бы так было!..

— Так и будет! Ждите, князь, судьба улыбнется нам.

— Дорогая, милая княжна, вы дарите меня таким счастьем! — И молодой князь стал с жаром целовать руки у красавицы Марии.

— И это счастье, может быть, близко... Да, да!.. я знаю, что все затеи отца должны скоро разрушиться: царевиц на мне не женится, я уверена в этом, и тогда, князь Федор, вы станете просить у моего отца согласия на брак со мною.

— Увы, этого согласия я не получу. Князь Александр Данилович не благоволит ко мне и едва ли решится назвать меня своим зятем, — с глубоким вздохом проговорил Федор Долгоруков.

— Мой отец нерасположен к вам, это правда, но я сумею поставить на своем: отец любит меня и редко в чем отказывает мне.

Долгоруков и княжна Мария сильно увлеклись своим разговором и не заметили, что за ними давно следила пара чьих-то глаз.

— О, если бы ваши слова сбылись, милая княжна! — пылко воскликнул Долгоруков.

— Они и сбудутся, только надо терпение. Ведь я не нравлюсь цесаревичу, он избегает меня, но я об этом ни сколько не сожалею.

— Милая, дорогая княжна! — И Долгоруков стал с жаром целовать руки Марии.

В это время в кустах кто-то зашевелился, и влюбленные быстро оглянулись.

Перед ними стоял сам князь Меншиков, с лицом, искаженным злобою; его высокая, сутуловатая фигура была несколько согнута, одной рукой он опирался на трость, а в другой держал пистолет.

— Князь! — невольно вырвалось у Федора Долгорукова.

— Да, князь... Что, господин поручик, не ждал не гадаль? Не в меру же смел ты и дерзок! — задыхаясь от гнева, проговорил Меншиков.

— Я... я в вашей власти, князь, вы вольны делать со мною, что хотите.

— Да, да, я волен убить тебя, но я этого не сделаю, не потому, что жалею тебя, твою молодость, а потому, что не хочу огласки.

— Батюшка, — прерывая отца, проговорила княжна Мария.

— Молчать! — загремел на дочь Меншиков. — Ступай к себе: разговор с тобою у нас будет после.

— Хорошо, но, прежде чем уйти отсюда, я должна сказать вам, что люблю князя Федора, — оправившись от испуга и неожиданности, смело проговорила девушка.

— Что же, любить его ты вольна, но только женою никогда не будешь... А теперь ступай к себе в горницу и ложись спать... завтра я с тобой поговорю.

— Надеюсь, батюшка, вы ничего дурного не сделаете князю?

— Если ты не уйдешь, то я позову людей и прикажу вытащить тебя из сада.

Эта угроза подействовала на княжну Марию.

— До свидания, князь! Я не говорю вам «прощайте», так как, надеюсь, мы скоро увидимся. Знайте, любовь к вам сойдет только со мной в могилу. — И, сказав это, княжна не спеша пошла из сада.

— Ну, ваша светлость, скажите, что вы намерены делать со мной? — спокойно спросил Федор Долгоруков у Меншикова.

— Ты это, князек, сейчас узнаешь; только скажи прежде, как ты попал ко мне в сад? Через забор, что ли?

— За кого вы меня принимаете? Я — не вор, чтобы через забор лазить.

— Нет, ты — вор, вор...

— Князь! — бешено крикнул молодой Долгоруков, менясь в лице и быстро выхватив из ножен саблю.

— В ножны саблю, мальчишка! Ты забыл, что я — фельдмаршал российских войск! Забыл, что мне ничего не стоит стереть тебя с лица земли... Сейчас в ножны саблю! — крикнул Меншиков.

— Убейте меня, князь, если вам нужна моя жизнь, но не оскорбляйте постыдным прозвищем, — тихо промолвил Долгоруков, вкладывая свою саблю в ножны.

— А я повторяю, ты — вор девичьей чести.

— Ошибаетесь, князь! Я люблю княжну Марию, люблю сильнее жизни, но на ее честь не посягал.

— Довольно! Слушай мое решение: если ты хочешь целым быть, то чтобы завтра же тебя не было в Питере. Не то не миновать тебе Сибири!

— Куда я должен ехать?

— Куда хочешь, только подальше от Питера... Я пошлю тебя на Кавказ.

«Уехать на Кавказ? Расстаться с милой княжной? Нет, я не могу, не могу», — подумал Долгоруков и не совсем твердым голосом проговорил:

— На Кавказ я не поеду, ваша светлость!

— На Кавказ не поедешь, так в Сибирь прогуляешься... Выбирай, что ближе и что для тебя лучше! Только жалея

твоего отца, князя Василия Лукича, я на Кавказ тебя отправляю... Помни это!..

— Дайте мне хоть три дня срока! Я должен собраться.

— Ни одного дня!.. Завтра ты выедешь на Кавказ... Я к командующему на Кавказе генералу Митюшину приготавливаю письмо, ты свезешь его и там останешься... Слышишь? А теперь ступай!

Молодой князь направился было из сада.

— Постой, я сам провожу тебя, — проговорил Меншиков и пошел из сада рядом с Долгоруковым.

Они вышли на двор и подошли к калитке; последняя была несколько приотворена. Меншиков, проводив незваного гостя, подошел к сторожке и постучал в оконце.

Сторож Никита, дрожа всем телом, шатаясь, вышел из сторожки и упал на колени перед своим господином.

— Сколько, лукавый раб, взял ты с Долгорукова денег за то, что впускал его на двор в неурочное время? — грозно спросил Меншиков у сторожа.

— Князь пожаловал мне целковый, — всхлипывая, ответил тот.

— Подлый холоп, за целковый ты продал своего господина! Эй, дворецкого ко мне!

— Я здесь, ваша светлость, — раболепно изгибаясь, ответил толстый, круглый, с лунообразным лицом дворецкий Никанор Саввич.

— Сторожа со всей семьей на поселенье! Чтобы завтра же его не было на моем дворе!

— Будет исполнено, ваша светлость!

— Продажному холопу нет пощады! — И, сердито проговорив эти слова, Меншиков направился к своему дворцу.

Дворецкий на почтительном расстоянии следовал за ним.

— Горничную девку Аришку одеть в посконный сарафан, выстричь косу и отправить на мою сибирскую вотчину, в скотницы... Понял? — в самых дверях дворца обратился Меншиков к своему дворецкому.

— Будет исполнено, ваша светлость!

Это распоряжение князя относительно Арины было вызвано тем обстоятельством, что на нее дворецкий указал, как на пособницу свиданий княжны с Долгоруковым. Никанор Саввич еще накануне выследил, что Арина передала какую-то записку сторожу; это показалось ему подозрительным; он проследил на следующий день за нею и сторожем и, убедившись, что княжна действительно находится

на свидании с Долгоруковым, поспешил разбудить князя Меншикова. Тот спустился в сад, удостоверился в справедливости доноса дворецкого и круто распорядился как с обоими влюбленными, так и с горничной Аришей и со сторожем. Он с таким же удовольствием предпринял бы крайне крутые меры против возлюбленного своей дочери, но здесь пришлось ему несколько сократить — ведь это был не смерд какой-либо, а представитель богатого и властного в то время рода князей Долгоруковых.

Князь Федор Долгоруков был сыном известного в то время вельможи Василия Лукича. Получив хорошее образование, он по воле императора Петра Великого был для усовершенствования в науках в числе других молодых дворян отправлен «в неметчину». Пробыв долгое время за границей, он вернулся в Россию развитым, образованным молодым человеком. В то время уже царствовала супруга великого Петра, Екатерина Алексеевна. Князь Василий Лукич советовал сыну Федору служить при дворе, но не лежало у того сердце к придворной службе; он выбрал военное поприще и скоро дослужился до офицерского чина.

Как-то на придворном балу князь Федор увидел дочерей Меншикова и полюбил старшую, Марию. Он стал часто бывать со своим отцом и один у Меншикова. Княгиня Дарья Михайловна ласково встречала блестящего молодого гвардейца, ее дочери тоже. Особенно же Федор Долгоруков произвел впечатление на старшую, княжну Марию, и вскоре они оба полюбили друг друга, но про свою любовь никому не говорили.

Только одна княгиня Меншикова догадывалась и радовалась счастью своей дочери, так как князь Федор Долгоруков был женихом завидным: ведь богатый, древний и знатный род Долгоруковых был известен всем.

Князь Федор думал было уже посвататься за княжну Марию, как вдруг отношения между Меншиковым и его отцом изменились и стали натянутыми, так как князь Василий Лукич чем-то не угодил всесильному Меншикову. Волей-неволей молодому князю Долгорукову пришлось отложить до времени сватовство.

А тут пошел слух, что Меншиков задумал выдать свою дочь Марию замуж за цесаревича Петра Алексеевича и что на это последовало согласие самой государыни.

Тяжело отозвалось это известие на влюбленном князе Федоре. Он хотел проверить этот слух, но для этого ему необходимо было увидеть княжну Марию.

Однако прямо идти в дом к Меншиковым теперь Долгоруков не мог — его, пожалуй, и не приняли бы. Но видеть свою возлюбленную, говорить с нею надо было во что бы то ни стало. И вот он, подкупив дворового сторожа Меншикова Никиту и горничную Аришу, добился свидания со своей возлюбленной в саду поздним вечером.

Увы! Возлюбленные были накрыты самим князем Меншиковым, и молодому князю Федору волей-неволей пришлось проститься с Петербургом и ехать на Кавказ, так как он хорошо знал, что ожидает ослушников воли Меншикова.

Мрачным, с тяжелым чувством вернулся молодой человек со свидания в дом своего отца; несмотря на поздний час, он встретил там несколько гостей, своих родичей. В кабинете Василия Лукича собрались почти все Долгоруковы, а в числе их и князь Василий Владимирович Долгоруков, умнейший человек, честный, правдивый; несмотря на эти редкие качества, он долгое время находился в опале, которую, по наговору злых людей, без всякой его вины, наложил на него император Петр I. Когда великий царь-преобразователь скончался, Василий Лукич попал в милость к императрице Екатерине Алексеевне, стал пользоваться расположением всесильного временщика Меншикова и тотчас же стал ходатайствовать за своего родича — опального князя Василия Владимировича. Это ему удалось; с Василия Владимировича была снята опала, часть отписанных в казну имений была возвращена ему, и ему было дозволено жить в Петербурге.

Все Долгоруковы любили и уважали своего умного и правдивого родича и во многих случаях спрашивали его совета.

И теперь Федор Долгоруков очень обрадовался, увидев в числе гостей князя Василия Владимировича, и решил посоветоваться с ним. Выбрав удобный момент, он обратился к старику:

— Голубчик дядя, пойдите ко мне в комнату: мне надо многое вам рассказать.

— Пойдем, Федор, мы тут лишние.

— Что вы говорите, братец, Василий Владимирович? Вы не лишний; мы всегда рады слушать вас, — с легким упреком промолвил князь Василий Лукич, отрываясь от беседы со своими родственниками, посвященной жгучему для них вопросу о влиянии при императорском дворе, — ведь императрица Екатерина I была при смерти, на престол должен был вступить отрок Петр II, воспитателем которого

состоял один из Долгоруковых, князь Алексей Григорьевич, а ближайшим его другом был сын последнего, князь Иван Алексеевич.

Однако старик в ответ на это произнес:

И, полно!.. Что от меня, человека пришлого, чужого здесь у вас, в Питере, толка для вас?, — а затем обратился к племяннику: — Ну, Федя, веди меня к себе...

Князь Федор, усадив Василия Владимировича в своей комнате в мягкое, удобное кресло, рассказал все подробно про свою любовь к дочери полновластного Меншикова, а также не умолчал и о том, как Меншиков застал его в саду с Марией и что потом произошло.

Со вниманием выслушал Василий Владимирович рассказ своего влюбленного племянника и затем сказал:

— Плохо дело, Федя, плохо!.. Тебе надо скорее убраться из Питера, а то тебя самого как раз уберут в крепость, а не то и в Сибирь... Меншиков зол, мстителен и не любит, чтобы кто-либо стоял ему поперек дороги. Сшибет, раздавит! Теперь его время, его власть, хоть и не надолго.

— Дядя, вы говорите «не надолго»? Разве Меншикову что угрожает?..

— Его гибель неизбежна... И знаешь, что погубит Меншикова? Его собственное честолюбие, его ненасытная гордыня. На все свой предел положен, а Меншиков далеко перешагнул через этот предел. Он высоко поднялся, и поэтому его падение будет великое. Однако не за Меншикова мне больно, Федя, а за твоего отца и за других наших родичей: ведь они не сознавая идут по ложному пути... Слава, почести, блеск — вот что прельщает их, и ради этого они оставили истинный путь! Они стремятся достигнуть вершины власти, но, боюсь, как бы не сорваться им с этой вершины.

— Так вы, дядя, советуете мне уезжать? — спросил Федор Долгоруков.

— Да, и чем скорее, тем лучше!

— Но ведь я люблю, горячо люблю княжну Марию, и она меня тоже любит.

— Оставь скорее эту любовь, Федор, иначе она погубит тебя. Ведь ты знаешь, дочь Меншикова не нынче-завтра будет объявлена невестой царевича Петра. Чего же ты еще ждешь? Уезжай, пока есть время; не думай сопротивляться Меншикову; помни: он пока еще властелин — могущественный, всесильный, и бороться с ним — безумие.

— Милый, добрый дядя, как мне ни больно и ни тяжело, я последую вашему совету. Я уеду, сегодня же уеду.

— Да, да, торопись.

Молодой князь Федор Долгоруков в тот же день уехал на Кавказ. Он принужден был сделать это, иначе ему не миновать бы большой беды.

А спустя несколько дней после этого старшая дочь Меншикова, этого «баловня судьбы», была объявлена нареченною невестой наследника русского престола Петра Алексеевича, двенадцатилетнего отрока.

Весть о том, что дочь Меншикова не нынче-завтра будет царицею русской земли, повергла в ужас врагов и недоброжелателей Меншикова, которых у него было большое изобилие. Против него составилась заговор, в который вошли Толстой, Бутурлин, граф Девиер, Скорняков-Писарев, Александр Львович Нарышкин, князь Иван Алексеевич Долгоруков (любимец царевича Петра), генерал Андрей Ушаков и другие; к ним примкнул и герцог Голштинский.

Целью заговора было во что бы то ни стало помешать браку великого князя с дочерью Меншикова. Заговорщики думали, под предлогом воспитания, спровадить великого князя за границу, а тем временем склонить императрицу Екатерину назначить наследницей престола цесаревну Елизавету. Однако заговор был открыт, и заговорщиков постигло строгое наказание. Девиера, после пытки выдавшего соучастников, и Толстого лишили дворянства и имений и затем сослали: первого — в Сибирь, второго — в Соловки; Скорнякова-Писарева, лишив чинов, дворянства и имущества и наказав кнутом, отправили также в ссылку; Нарышкина и Бутурлина, лишив чинов, послали на безвыездное житье в деревню; Долгорукова и Ушакова, как менее виновных, понизили чинами и определили в полевые полки.

Голштинскому герцогу волей-неволей пришлось сойтись с Меншиковым, который в то время был почти полноправным правителем государства, потому что императрица Екатерина находилась при последнем дыхании, а верховный совет, состоявший из вельмож государства, делал все, чего хотел Меншиков.

IV

Известие о каре, наложенной на князя Ивана Долгорукова, глубоко поразило цесаревича Петра Алексеевича. Царевичу в то время исполнилось только двенадцать лет,

но он казался старше своего возраста. Полный, стройный, высокого роста, с лицом женственно белым, с прекрасными голубыми глазами, он был очень красив и привлекателен. Обычно это был живой, веселый мальчик, но в последнее время казался особенно печальным.

— Ты говоришь, Ваня, нам надо расстаться? — с глухим вздохом произнес он, обращаясь к князю Долгорукову, посетившему его на его половине во дворце.

— Необходимо, царевич! Меня, по воле фельдмаршала, переводят из Петербурга.

— И все это князь Меншиков? Он? Да? Эх, злой он, недобрый... Я пойду к нему и стану просить, чтобы тебя оставили со мною.

— И не проси, царевич!.. Ничего не выпросишь, больше только озлобишь его.

— Ваня, придет же то время, когда я буду приказывать Меншикову, а не просить его? Будет же когда-нибудь конец его властолюбию и силе?

— Будет, царевич, будет, только надо выждать время.

— Когда я буду царем, тогда не дам властвовать Меншикову.

— Тише, царевич, тише! У Меншикова везде есть уши и глаза.

— Я — наследник престола и Меншикова не боюсь, — с царственным достоинством проговорил Петр.

— Тебе и не след бояться его, но со мною он все может сделать...

— Ты и представить себе не можешь, как я не люблю Меншикова и его дочери Марии.

— А княжна Мария объявлена твоей невестой, царевич.

— Какая она моя невеста? Она старше меня. Это Меншиков и государыня-бабушка задумали женить меня на ней. Но жениться на княжне Марии я не могу; ведь я не люблю ее. Вот выздоровеет бабушка, я так и ей скажу. Знаю, что государыня неволить меня не будет, она добрая, милая... А ведь у меня есть другая бабушка? — после некоторого раздумья спросил Петр у Долгорукова.

— Есть, царевич.

— Где же она?

— Далеко, в монастыре... — уклончиво ответил царевичу молодой князь.

— Кажется, звать ее Еленой?

— Да, царевич, а прежде звали Евдокией Федоровной.

— Как же она в монастыре очутилась? Зачем? Царица — и в монастыре? Все это как-то странно. А дед мой, покойный император, женился на другой — на теперешней моей бабушке. Все это для меня непонятно. Я спрашивал у Андрея Ивановича, и вот что он ответил мне: «Когда вырастете побольше, царевич, все сами узнаете». А я хочу сейчас знать. Что это за таинственность?.. Ваня, ты не знаешь ли чего-либо относительно моей бабушки Елены?

— Нет, я ничего, ничего не знаю, ничего... — уклонился Долгоруков от прямого ответа на такой опасный по тому времени вопрос. — Но прости, царевич!.. Храни тебя Бог, а мне пора. И не поехал бы, да велят.

— Ваня, не езд, голубчик! Я упрощу Меншикова, он тебя оставит, — начал было цесаревич, но в этот момент в комнату быстро вошел его воспитатель Остерман и дрожащим голосом, со слезами на глазах проговорил:

— Цесаревич, следуйте за мною. Ее императорское величество Екатерина Алексеевна кончается.

При этом известии царственный отрок изменился в лице и на глазах у него появились слезы. Он молча, в сопровождении Остермана и князя Ивана Долгорукова, направился во внутренние апартаменты императрицы, однако уже не застал ее в живых: она 6 мая 1727 года тихо скончалась.

В дверях комнаты, где скончалась государыня, цесаревича встретил Меншиков; он был бледен, и его голос дрожал, когда он произнес:

— Императрица Екатерина Алексеевна в бозе почилла. Согласно воле почившей императрицы, а также членов верховного тайного совета, вы, ваше императорское величество, займете престол царей русских. Приветствую императора Петра Второго! — преклоняя колени перед сыном злосчастного царевича Алексея Петровича, громко произнес князь Меншиков.

Громкое и единодушное «ура» раздалось в царских чертогах.

Меншиков взял императора-отрока за руку и вывел его в большой зал, где собрались высшее духовенство, сенаторы, генералитет и придворные чины, и представил им юного государя.

— Подойди, государь, к окну и покажи себя солдатам и народу, — тихо обратился он затем к Петру, показывая ему на огромное окно.

На площади около дворца стояли войска и множество народа. Император-отрок подошел к окну и с милой улыбкой стал кланяться солдатам и народу.

Раздалось оглушительное и долго не смолкавшее «ура». Юный государь был взволнован — эти торжественные минуты, свидетельствовавшие о возведении его на вершину высшей, доступной человеку на земле власти, смутили отрока.

— Брат!.. Петруша... милый!.. — раздался позади государя приятный голос его сестры, великой княжны Натальи Алексеевны, которая была на два года старше своего венценосного брата.

— Наташа... милая...

Петр крепко обнял свою сестру; он был взволнован, на его глазах виднелись слезы.

— Ты, Петруша, теперь — государь над всею Русью. На тебе лежит великая ответственность... Тебе тяжело будет управлять государством.

— Мне Бог поможет, сестрица, у меня будут опытные руководители и помощники.

— Первым вашим руководителем и помощником, государь, буду я, — вслушиваясь в разговор, происходивший между братом и сестрою, самоуверенно проговорил Меншиков.

— Вы, князь? — быстро спросил Петр, стараясь скрыть свое неудовольствие.

— Да, ваше величество, на то было желание покойной императрицы.

— Хорошо, князь... я... я... постараюсь выполнить это желание. Пойдем, сестра, поклониться телу нашей покойной бабушки-императрицы.

Император-отрок, проговорив эти слова, вошел с сестрой в комнату, где скончалась государыня, и преклонил колено пред ее телом. Великая княжна последовала его примеру.

Все, чего жаждал Меншиков, теперь было достигнуто. Он стал чуть не полновластным властелином над всею Русью, регентом государства. Верховный тайный совет не ограничивал его власти. Члены совета беспрекословно делали то, что хотел Меншиков, и горе было тому, кто в чем-либо не соглашался с ним. Его слово, его послание было для всех законом.

Сразу же по кончине императрицы Меншиков показал свою власть, и некоторые родовитые вельможи принуждены были покинуть не только двор, но и Петербург. Прежде

всего Меншиков постарался отдалить от императора Петра II Долгогузовых и для этого из дворца перевез юного императора в свой новый роскошный дом.

Петр не любил Меншикова. Да и мог ли он любить человека, который наделал так много зла его покойному отцу, царевичу Алексею? С большой неохотой ехал Петр в дом временщика.

— Ах, Наташа, как в ссылку иду я в дом Меншикова, ненавистен он мне, да и дом его, и его дочь, моя невеста, так же ненавистны, — тихо сказал он, расставаясь с сестрой.

— А ехать тебе, Петя, надо.

— Да, надо... Но я скоро, Наташа, снова вернусь во дворец, только уже не таким, как теперь уезжаю из дворца, — значительно посмотрев на сестру, проговорил император-отрок и крепко обнял ее.

— Поедьте, государь, все готово, — торопил Меншиков Петра. — В моем доме, государь, вам скучно не будет. Я и моя семья постараемся доставить вам всякое удовольствие. Мы все так вас любим, а в особенности моя старшая дочь.

— Вы думаете? — быстро спросил Петр у Меншикова.

— Я уверен, государь.

Меншиков видел и признавал, что его дочь Мария не нравится государю; но это не мешало ему надеяться, что он станет тестем императора.

«Тогда я буду на высоте величия. О, тогда все мои враги будут трепетать предо мною, и власть моя будет тогда неотъемлема! Я — тесть императора. И во что бы то ни стало я достигну этого» — так раздумывал Меншиков дорогою, сидя в роскошной карете, рядом с императором Петром, которого он вез в свой дом.

Увы! Его враги, во главе которых стояли Долгоруковы, не дремали и деятельно подготавливали способы к свержению его. Путь для этого у них был — князь Иван Долгоруков, к которому Петр II был чрезвычайно привязан. Хотя император и был временно разлучен со своим любимцем, но Долгоруковы не теряли надежды на то, что он настоит на возвращении к себе князя Ивана Алексеевича, а тогда вновь явится для них возможность воздействовать на монарха-отрока в желательном для них направлении и наконец добиться низвержения всесильного Александра Даниловича.

— Что это, княжич, ты не весел, что свою буйную головушку повесил? — весело проговорил Левушка Храпунов, подходя к своему задумчивому приятелю, Ивану Алексеевичу Долгорукову, сидевшему за столом в таверне, что находилась на «проспекте», близ реки Невы.

Эта таверна называлась «Рог изобилия», и ее содержал немец Карл Циммерман. Она в то время играла немало-важную роль: в нее с целью кутежей собиралась вся знатная молодежь, а также и офицеры. Карл Циммерман умел потрафлять своим высокородным гостям, и золото из карманов гостей, посещавших «Рог изобилия», переходило в большие карманы угодливого немца.

Молодой князь Иван Долгоруков часто бывал у Циммермана в таверне и оставлял там много денег со своим товарищем, офицером преображенского полка Храпуновым.

— А, Левушка, здорово! — поднимая голову и радуясь приходу товарища, промолвил он.

— Да с чего ты, Иванушка, голову-то свою опустил? — переспросил у товарища офицер Левушка Храпунов. — С Меншиковым не поладил, что ли?

— Что Меншиков? Не страшен он мне, Лева!

— Ты правду говоришь, Иванушка, бояться Меншикова тебе не след. Против него у тебя есть защитник по-сильней и могущественнее Меншикова.

— Ты про государя говоришь? Так до него меня теперь не допускают. Меншиков к себе увез государя и стережет его, как цербер. Ну да авось не надолго. Петр-то Алексеевич сильно меня любит и, наверно, скоро призовет к себе! Да и впрямь, кто лучше меня его повеселить да позабавить может! Эх, скорей бы это случилось! Уж посмеемся мы тогда над Алексашкой!

— Тише, Иванушка, что ты кричишь? У Меншикова везде есть уши и глаза.

— Дай только подрасти императору, он обрубит у Меншикова длинные уши и выколет его не в меру зоркие глаза.

— Ох, Иванушка, с тобой как раз наживешь беду немалую. Тебе хорошо: у тебя, говорю, есть заступа. А за меня кто заступится?

— А я-то? Забыл про меня? Меншикову хотелось ус-лать меня из Питера куда-нибудь подальше, да не пришлось.

— Император заступился за тебя?

— Да! Меншиков задумал женить государя на своей дочери, но это ему не придется, — посматривая из предосторожности по сторонам, тихо проговорил князь Иван.

— Как не придется? Да ведь княжна Мария Александровна уже объявлена невестой государя.

— Что же из того? Только объявлена. А ведь и в самый девичник часто свадьбы расходятся.

— Знаешь, Иванушка, лучше оставим про то говорить. Не место и не время. Ты лучше скажи мне причину своей печали.

— Что говорить! Ты моему горю, Левушка, не помо-
жешь.

— А кто знает? Может быть, и помогу. Ты только ска-
жи... Ведь знаешь, что я для тебя вдрызг расшибусь.

— Спасибо, спасибо, Левушка... Слушай... влюблен я...

— Так с того и тоскуешь? Это на тебя не походит.

— А ты спроси, товарищ, в кого я влюблен-то?

— В кого, в кого?

— В графиню Шереметеву.

— Неужели Наталью Борисовну полюбил? Да как это тебя угораздило?.. Графиня Наталья Борисовна не по тебе...

— Знаю, Левушка, знаю! Не стою я ее. Она святая, а я... Ну что я против нее?.. Бесшабашный гуляка.

— Да расскажи, Иванушка, как это случилось?

— Увидал я графиню Наталью, и она душу мою оза-
рила. Видал ты, Левушка, когда-нибудь Наталью Бори-
совну?

— Раз только видел.

— Ну, ну, что? Какой она тебе показалась?

— Только и могу сказать тебе, Иванушка: красота гра-
фини Натальи Борисовны какая-то особая, не человече-
ская.

— Именно, именно... Сам я, Левушка, сознаю, что лю-
бить такую девушку мне не след. Она выше любви, я... я
не смею любить графиню Наталью и все же люблю ее.

— Посватайся.

— Что ты, что ты! Какой я жених? Да графиня за
меня и не пойдет. Ей все мои «художества» известны, и
смотрит она на меня как на бесшабашного пропойцу и
кутилу.

— Что же ты намерен делать? — спросил Храпунов.

— Пить, гулять — может, в разгульной жизни я по-
забуду свою любовь и в пьянстве найду себе утеху, — с
тяжелым вздохом ответил товарищу князь Иван.

— Эх, сердечный мой! Жаль мне тебя, а помочь тебе мне нечем.

— И не надо, Левушка, предоставь меня моей судьбе. А есть у меня предчувствие, что судьба до добра меня не доведет.

— Полно, Иванушка, не пеняй на судьбу. Она тебя балует, и счастье улыбнется тебе.

— Эх, Левушка, счастье мое непрочное. Есть у меня приятели, а больше того — недругов, и сила на их стороне. Ну да и то молвить, не боюсь я их, не боюсь. Я всей душой люблю государя и до гроба — его слуга верный и преданный. Как ни силен, как ни могуществен светлейший князь Меншиков, забрать в руки царственного отрока я не дам! — твердым голосом проговорил Иван Долгоруков.

— Тише, Иванушка, тише! — испуганно промолвил его собеседник. — За нами следят.

— Кто, кто?

— Оглянись назад и увидишь.

Долгоруков быстро обернулся и увидал какого-то закутанного в плащ человека в нахлобученной треуголке, закрывавшей половину его лица.

— Видишь? — тихо спросил у Долгорукова Храпунов.

— Вижу... кто это?

— Секретарь Меншикова, Зюзин; я узнал его. Беда, если он подслушал наш разговор!

— А это я сейчас узнаю! — И Долгоруков направился к столу за которым сидел личный секретарь Меншикова, Зюзин, душой и телом преданный ему. — Послушайте, вы... господин фискал, за благо даю вам совет: пересядьте за другой стол, не то быть тебе битому, — громко и угрожающим тоном промолвил ему молодой князь.

— Кто дал тебе право, господин офицер, наносить мне оскорбление? — тихо спросил Зюзин, меняясь в лице.

— В моих словах оскорбления не видно, а что я назвал тебя фискалом, так эту кличку ты вполне заслужил...

— Ты... ты, князь, ответишь за меня.

— Может быть. А чтобы уж заодно отвечать, я, кстати, поколочу тебя... Вон, крапивное семя! — грозно крикнул на Зюзина князь Иван, замахиваясь на него.

Личный секретарь Меншикова почел за благо retirоваться при громком хохоте всех находившихся в таверне.

Это происшествие с Зюзиным не прошло даром ни для князя Ивана Долгорукова, ни для его приятеля Храпунова. Гнев Меншикова обрушился на них обоих, в особенности на бедного Левушку. Несмотря на то, что он в оскорблении

Зюзина не был виновен, его, по приказу фельдмаршала Меншикова, посадили «под строгий караул» при полку. Что касается Долгорукова, то он был любимцем императора, а потому Меншиков волей-неволей принужден был щадить своего врага. За скандал в таверне Долгоруков поплатился только тремя днями ареста, но за этот арест еще более возненавидел Меншикова и вместе со своими именитыми родичами стал всеми силами стараться расстроить брак Петра II с дочерью Меншикова.

Император-отрок так привязался к Ивану Долгорукову, что не хотел разлучаться с ним и требовал, чтобы тот всегда находился при нем. Это исполнялось, князь Иван приобрел огромное влияние на государя, и могущественный Меншиков был ему теперь нисколько не страшен.

Петр все более и более стал охладевать к своему первейшему министру и регенту, вследствие чего могущество Меншикова пошатнулось. В державном отроке Петре II стал просвечивать нрав его великого деда: он требовал беспрекословного исполнения своих приказаний, не любил никаких возражений.

Петру не нравилось пребывание в доме Меншикова, и он с нетерпением ждал того дня, когда ему можно будет выехать в летнюю резиденцию, то есть в Петергоф, где для него отделявали дворец.

К своей невесте Петр тоже не благоволил и не старался скрывать это. Он по целым неделям не видался со своей невестой и всячески избегал встреч с нею.

Княжна Мария и прежде мало верила, что государь женится на ней, а теперь еще более сомневалась в этом, видя, что отношения между ее честолюбивым отцом и державным женихом обострились.

— Матушка, никогда, никогда мне не быть женою государя! — сказала она однажды матери. — Он смотреть на меня не хочет, избегает даже встречаться со мною.

— Вижу, милая, сама сознаю, — с глубоким вздохом ответила Дарья Михайловна. — Знать, все затеи нашего Данилыча окончатся ничем!

— А я нисколько не сожалею об этом. Ну какая я царица?... Ведь во мне царственного ничего нет. Я плачусь только на свою судьбу злосчастную, которая разлучила меня с милым сердцу... Был у меня жених, граф Сапега, — его отняли у меня. Полюбила я князя Федора Долгорукова, думала найти с ним счастье в супружестве — и с ним меня разлучили. И все отец... все мои несчастья через него! — со слезами проговорила княжна Мария. — И зачем

он счастье мое разбивает, зачем? Пойми, матушка, ведь мое положение ужасно! Меня отец навязывает государю, который не только меня не любит, но даже смотреть не хочет. И делает это отец не из-за любви ко мне, нет, а лишь для своего тщеславия, для своего большого могущества. Император — зять... Есть чем похвалиться!

— Ох, Машенька, милая! И сама я знаю, сама все вижу, но что же я поделаю с Данилычем? Моих слов он и слушать не хочет. Ослеп он, не видит, что около него грозная туча собирается... Врагами он окружен со всех сторон, сам гибнет и других в погибель тянет. Вас, деток сердечных, мне жалко. За что вы, неповинные, терпеть будете? — утирая слезы, промолвила княгиня Дарья Михайловна.

— Матушка, я хочу повидаться с государем, хочу выяснить свое положение.

— Это хорошо. Тебе даже необходимо откровенно переговорить с ним. Теперь государь дома. Вот бы тебе, Машенька, сейчас к нему пойти?

— Боязно как-то.

— Чего же тебе бояться? Войди к государю «прямым лицом» и все ему скажи, что есть у тебя на сердце. На правду государь ответит тебе правдой.

— Я... я пойду.

— Иди, иди, дитятко мое... Господь с тобой!

Княжна Мария обняла мать и отправилась на половину императора Петра, своего обрученного жениха.

Императрица Екатерина Алексеевна скончалась 6 мая 1727 года, а 27 мая того же года происходило обручение двенадцатилетнего императора Петра с семнадцатилетней дочерью князя Меншикова Марией.

Царское обручение происходило с особой торжественностью и пышностью. В доме-дворце Меншикова в тот день перебивали весь генералитет и все вельможи государства. Поздравляли императора, его нареченную невесту, а также сияющего и торжествующего Меншикова.

Кажется, в тот день были все счастливы, кроме одной царской невесты. Бледная, печальная, с заплаканными глазами, холодно принимала она приветствия и поздравления. Как до обручения, так и после него император Петр был по-прежнему холоден к своей невесте и даже избегал говорить с нею.

Княжна Мария видела это и решила в личной беседе выяснить все положение. Идя на половину жениха, она составила такое обращение к нему:

«Государь, если я не нравлюсь вам, то откажитесь; еще есть время. Не любя не женитесь; себе, государь, не отравляйте жизни и меня не губите».

Мария подошла к двери и слегка приотворила ее; она была бледна как смерть и сильно взволнована.

Государь был не один: с ним находились его сестра, великая княжна Наталья Алексеевна, и Андрей Иванович Остерман. На плечах у государя был накинут плащ.

— Что с вами? Вы так бледны! — спросил у вошедшей невесты Петр.

— Это пройдет, государь!.. Но мне... мне надо поговорить с вами, — робко сказала княжна Мария.

— Только не теперь, пожалуйста, не теперь! Я еду с сестрой кататься. Сегодня я приготовил все уроки Андрею Ивановичу, и он отпускает меня на прогулку. Не так ли, Андрей Иванович? — обратился он к своему воспитателю.

— Совершенно справедливо, ваше величество! Если бы вы изволили все дни так подготавливать свои уроки, как сегодня, то я был бы несказанно рад тому.

— Вот всегда так, Наташа, — обратился император к сестре. — Я учусь, а Андрей Иванович называет меня лентяем.

— Андрей Иванович любит тебя и желает добра, надо его слушать, Петруша, — тоном старшей сестры заметила царевна Наталья...

— Я и слушаю. Только Андрей Иванович все морит меня над книгами. Ну, Наташа, едем, едем!

— Государь, уделите мне несколько минут, — голосом, полным мольбы, промолвила бедная княжна Мария.

— Только не теперь, княжна. Я еду. — И, сказав это, Петр под руку с сестрой поспешно вышел из комнаты.

VI

Прошло несколько времени, и у императора возник новый повод для раздражения против Меншикова.

— Какая дерзость... какая неслыханная дерзость! Как он смел послушаться моей воли?.. Я... я заставлю Меншикова повиноваться моим повелениям. Я — император! — не говорил, а гневно выкрикивал император-отрок.

Он был сильно раздражен поступком Меншикова, заключавшемся в следующем.

Петербургские каменщики, нажившие хорошие деньги благодаря большим постройкам в Петербурге и движи-

мые благодарностью, поднесли отроку-императору на роскошном блюде девять тысяч червонцев. Государь послал эти деньги с обер-камердинером Кайсаровым к своей сестре, великой княжне Наталье Алексеевне. Кайсаров направился во дворец, но повстречался с князем Меншиковым.

— Ты куда несешь червонцы? — спросил последний у обер-камердинера.

— К ее высочеству Наталье Алексеевне.

— Кто послал?

— Император.

— Император еще очень молод и не знает, на что следует употреблять деньги; отнеси их ко мне, а я увижу государя и поговорю с ним.

Кайсаров стоял в нерешимости и не знал, что делать; он боялся нарушить приказание императора, а также опасался своим непослушанием прогневить всемогущего вельможу.

— Что же ты стоишь? Неси червонцы ко мне! — крикнул последний. — Я приказываю.

— Слушаю, ваша светлость! — покорно произнес Кайсаров, и новенькие червонцы очутились не у сестры государя, а у Меншикова.

Император-отрок в тот же день поехал во дворец навестить свою сестру Наталью Алексеевну, а также свою красавицу-тетку, царевну Елизавету Петровну.

— Ну что, Наташа, довольна ли ты моим подарком? — самодовольно улыбаясь, спросил он у сестры.

— Каким подарком? — удивилась великая княжна.

— Ведь я прислал тебе с Кайсаровым девять тысяч новеньких червонцев.

— Ни червонцев, ни Кайсарова я и в глаза не видала.

— Как не видала? Не может быть! Я сейчас это узнаю... узнаю, — с волнением проговорил Петр и приказал позвать Кайсарова.

Тот без боязни рассказал разгневанному государю о происшествии с червонцами.

Император-отрок разразился угрозами против Меншикова.

— Ах, бедный мой Петя! Меншиков слишком много забрал власти и смотрит на тебя, как на мальчика, — с улыбкой проговорила Наталья Алексеевна.

— Ну, я научу его смотреть на меня, как на императора. Я сейчас же прикажу ему возвратить червонцы. Я сейчас поеду и потребую у Меншикова отчета.

Вернувшись к себе, император-отрок сейчас же потребовал к себе Меншикова. Александр Данилович не заставил себя дожидаться и своей величавой походкой вошел в кабинет государя. Петр своим отроческим грозным взглядом встретил временщика. Однако Меншиков нисколько не смутился и твердо выдержал этот взгляд.

— Как ты смел, князь, помешать исполнению моего приказа? — гневно проговорил император, возвышая свой голос.

— Я никогда, государь, не мешаю исполнять ваши приказы, если они служат к вашему величию и к величию нашей земли, — спокойно промолвил Меншиков.

— Где червонцы, которые я отправил сегодня в подарок к сестре? Где они? Как смел ты не послать их по назначению? — все более и более сердясь, воскликнул государь.

— Ведомо тебе, государь, что наша казна истощена? Вот я и задумал было употребить эти девять тысяч червонцев на более полезное дело и об этом хотел сегодня же представить вашему величеству проект.

— Все это так, но не забывай, князь, что я — твой император, а ты — мой подданный... Ты не смеешь нарушать мои приказания!.. Не смеешь!.. — И император-отрок со злобою посмотрел на Меншикова. — Я заставлю, я научу тебя мне повиноваться, — добавил Петр и сердито отвернулся от своего первого министра.

Меншиков был поражен и удивлен: таким грозным он никогда не видал Петра; в словах и в глазах царственного отрока был виден теперь его великий дед. Император-отрок, дотоле боязливый и покорный, вдруг переменялся и заговорил голосом имеющего верховную власть. Меншиков смотрел на Петра как на мальчика, и этот мальчик теперь стал приказывать, повелевать ему!..

«Что это значит?.. Я не узнаю государя, он кричит на меня приказывает... Видно, Долгоруковы вооружили против меня Петра... это — их работа... их», — подумал Александр Данилович, понуря свою голову, и тихо, покорно произнес:

— Государь, ваше величество... положи гнев на милость!.. Червонцы я сейчас же пошлю великой княжне, сейчас пошлю... Прикажешь, еще своих добавлю!

— Твоих, князь, ни мне, ни моей сестре не надо; береги их себе и предлагать мне не смей. Но, повторяю, меня волнует, что ты, кажется, забыл, что я — император, — гневно и с достоинством проговорил Петр.

Меншиков испуганно притих.

— Прости, государь, — чуть слышно проговорил он.

Император-отрок имел доброе, податливое сердце, ему стало жаль Меншикова, и он, протягивая ему руку, совершенно спокойно произнес:

— Князь, на этот раз я тебя прощаю и не гневаюсь на тебя.

Меншиков подобострастно раскланялся.

Эта приниженность окрылила Петра II; он стал еще более отдаляться от своего первого министра. Как ни хитер был Меншиков, но, сделав большой промах историей с червонцами, он окончательно восстановил против себя юного государя и его сестру царевну Наталью.

Император-отрок с великими княжнами и со всем двором переехал в Петергоф и чрезвычайно радовался тому, что вырвался из-под опеки, из дома Меншикова, и Александр Данилович стал опасаться, что дни его власти сочтены.

К этому еще присоединился его разрыв с Остерманом, которого Меншиков восстановил против себя своим заносчивым характером.

Как-то Меншиков стал упрекать Остермана тем, что он плохо следит за воспитанием и образованием юного государя и за его преподавателями. Не обошлось без угроз. Это обидело Остермана, и между двумя важными министрами произошел разрыв.

Однако Меншиков, упрекая Остермана в плохом воспитании государя, был прав. Император-отрок, находясь в Петергофе, предавался различным увеселениям и развлечениям и не обращал никакого внимания на книги и на преподавателей. Теперь при нем неотлучно находился князь Иван Долгоруков; он изобретал для юного государя различные забавы и развлечения, и они оба целые дни проводили то на охоте, то на прогулке. Про свою обрученную невесту государь совсем забыл и обратил все свое отроческое внимание на красавицу-тетку, царевну Елизавету, которая тоже была не прочь пококетничать с красивым племянником.

Однажды, гуляя с нею по петергофскому парку, император сказал ей:

— Ах, Лиза, ты не знаешь, как я люблю тебя, как люблю!.. Я только тогда и весел, когда ты со мною.

— Спасибо, государь-племянник, — ответила ему красавица царевна, слегка улыбаясь.

— Ты все смеешься надо мной, Лиза, все считаешь меня мальчиком.

— Нет, ты взрослый, у тебя, Петруша, усы пробиваются.

— Да перестань ты смеяться, Лиза! — топнув ногою, капризно проговорил император-отрок. — Тебе вот смешно, а мне горько... очень горько.

— С чего, Петрушенька?

— А с того: я вот тебя люблю, а ты меня не любишь.

— Я не люблю тебя? Что ты, Петруша! Я люблю тебя, как государя, как племянника.

— И только!.. А я... я люблю тебя больше. Я вот подрасту и непременно женюсь на тебе.

— Вот как?.. А ты, Петруша, забыл, что у тебя есть невеста?

— Нет у меня никакой невесты, — хмуро промолвил юный государь.

— А дочь Меншикова, Мария?

— Не вспоминай мне про нее, Лиза! Я и слышать про нее не хочу. Она и сам Меншиков страшно, страшно надоели мне!

— Стало быть, государь, ты не любишь своей невесты?

— Разумеется, не люблю... Тебя я люблю, Лиза.

— Не обо мне речь, государь, а о твоей невесте обрученной.

— У меня нет невесты, нет!.. Дочь Меншикова мне не невеста. Какая она мне невеста? У нее был жених, граф Сапега, пусть она за него и выходит.

— Как же так, Петруша? А князь Меншиков?

— Что мне Меншиков? Я — император, а Меншиков — мой подданный! Над всяким подданным я имею власть и могу уничтожить, раздавить всю силу Меншикова, — сверкнув глазами, громко проговорил император-отрок.

— Петруша, я боюсь тебя. Ты похож на моего отца — на великого императора. И в твоих глазах, и в твоем голосе я узнаю моего отца, а твоего деда.

— Да, да, Лиза! Не одна ты, а и многие другие находят во мне большое сходство с моим дедом, великим императором. О, как желал бы я быть во всем похожим на него!.. Быть таким государем — большое счастье.

— Мой отец, Петруша, любил учиться. Он всю жизнь учился.

— Ты упрекаешь меня в лени? — со вздохом спросил император-отрок.

— Нет, нет, я только говорю.

— Лиза, не все же мне сидеть за книгами! Мне хочется повеселиться, погулять, теперь лето. Наступит зима, начну

учиться... А Меншикова, Лиза, я скоро укрошу, я дам ему себя знать. Вот идет князь Иван, видно, на охоту меня звать... Отгадал я, Ваня? Ты на охоту пришел меня звать? Так? — весело проговорил Петр, идя навстречу своему любимцу.

— Не совсем так, государь, — ответил Долгоруков. — Посол от князя Меншикова прибыл, государь.

— Зачем еще?

— Меншиков тяжело болен... Вдруг захворал... при смерти... Просит тебя, государь, навестить его, письмо прислал.

— Как это скучно!.. Я не поеду. Лиза, не ехать?

— Воля твоя, государь.

Больной Меншиков был в своем имении в Ораниенбауме и оттуда прислал гонца с письмом к государю. Оно было написано дрожащею рукою, тепло и красноречиво; в нем Александр Данилович прощался с императором-отроком, увещевал его быть правосудным, принимать советы Остермана и других честных и правдивых вельмож, указывал Петру на его царские обязанности относительно России и т.д.

Кроме того, Меншиков, приготовляясь умирать, послал письма также и к членам верховного совета, поручал им свою семью и просил прощения, если согрешил перед кем.

Александр Данилович и на самом деле был очень слаб: он страдал сильной лихорадкой и кашлял кровью.

Волей-неволей юному государю пришлось отложить охоту и ради приличия поехать навестить больного министра.

Александр Данилович, худой, бледный, расслабленный лихорадкою, принял своего державного гостя, лежа в постели.

— Прости, государь, что лежу перед твоим императорским величеством... Встал бы, да не могу, — слабым голосом проговорил он. — Умирать я собрался, государь.

— Зачем умирать? Живи.

— Что жить, когда жизнь немощного старика теперь стала никому не нужна? Пожил, послужил, пора очистить место другим, молодым, а мне и на покой... Верой и правдой служил я, государь, твоему великому деду; служил императрице Екатерине и тебе думал послужить нелицеприятно, да не судил Бог, не судил.

Тут Меншиков сильно закашлялся. Он стонал и метался.

Когда припадок кашля миновал, Меншиков опять заговорил:

— Государь, когда меня не станет, выбери себе достойного помощника, хоть Остермана; он хотя и немец, но, кажется, любит Россию и тебя, государь. Держава твоя велика, однако не устроена. Твой дед, покойный император, много трудился, много им начато, но не кончено, и тебе, государь, придется доканчивать. Послужи земле и народу, и за это Бог возвеличит тебя, как возвеличил твоего великого деда. Последуй ему, он до самой своей смерти неусыпно трудился. Если я в чем согрешил или провинился перед тобою — прости меня, верного и преданного тебе раба. Прости умирающему... Видит Бог, что все мои желания были к твоему, государь, благоденствию и к благоденствию твоего народа.

— Знаю и верю, князь Александр Данилович, — с волнением проговорил Петр, которого тронули страдания Меншикова. — Тебе вредно, князь, много говорить; не лучше ли отложить до другого раза?

— Я сейчас окончу и задерживать ваше императорское величество не буду. Теперь мне все равно... дни мои сочтены. Государь, умру я, не оставь моей семьи, Машеньки не покинь, она — твоя обрученная невеста и должна, по Божьему, быть твоей женою... Скажи, государь, женишься ты на ней? Богом прошу, скажи... Успокой умирающего старика! — И Меншиков заплакал.

Император-отрок хмуро молчал.

— Ты молчишь, государь, молчишь? Стало быть, ты отдумал жениться на моей дочери? Скажи, ваше величество.

— О женитьбе, князь, я не думаю. Да и рано мне думать о том.

— Но ведь ты, государь, обручился с моей дочерью и должен жениться на ней, а не на другой, — дрожащим голосом, прерываемым слезами, проговорил князь Меншиков.

— Я не говорю, что женюсь на другой, но просто-напросто о моей женитьбе еще рано говорить, — сухо ответил государь.

Эти слова несколько успокоили Меншикова.

Петр недолго пробыл в Ораниенбауме и поспешил в Петергоф, где его ждали близкие его сердцу люди.

Крепкий организм и искусство врачей помогли князю Меншикову, и он стал быстро поправляться, к неудовольствию своих врагов, которые думали, что смерть избавит их от всесильного временщика.

Болезнь отдалила Меншикова от императора-отрока; многие дела по государству уже решались, минуя его, регента и первого министра. При дворе стали привыкать к его отсутствию; его заменили Долгоруковы, и светлая звезда всесильного временщика стала потухать.

Но Александр Данилович еще не падал духом; он надеялся поправить дело и быть по-прежнему первым человеком в государстве.

Для этого он решил воспользоваться следующим случаем.

В своем роскошном имении в Ораниенбауме он назначил в первых числах сентября освящение церкви и стал домогаться того, чтобы на этом духовном торжестве присутствовал государь, так как это сразу уничтожило бы слухи о неприязненном отношении к нему Петра.

Он униженно и чуть не со слезами стал просить Петра посетить Ораниенбаум и своим высочайшим присутствием осчастливить его, немощного старика, и всю его семью. Просьбы тронули государя: он дал слово быть.

Веселым и радостным вернулся Меншиков из Петергофа и занялся приготовлением к предстоящему торжеству. После освящения церкви был назначен большой праздник с угощением и подарками для простого народа, а в своем дворце Александр Данилович устраивал в день приезда юного государя такой бал, который своим великолепием должен был затмить все прежние балы.

«Приедет государь, я постараюсь объяснить с ним и положу конец всем сплетням. Я по-прежнему буду верховным министром в государстве и всех своих недругов заставлю молчать и повиноваться мне, не то — горе им будет», — думал Меншиков, занятый хлопотами по устройству праздника.

— Батюшка, мне надо сказать вам несколько слов, — обратилась к нему вошедшая в кабинет княжна Мария, обрученная невеста императора Петра II.

— После, после... не теперь... я так занят приготовлениями.

— Нет, мне надо переговорить с вами сегодня, — настойчиво промолвила княжна.

— Почему же непременно сегодня?

— А потому, что завтра обещал быть у нас государь, мой жених, — последние слова княжна сказала с насмешкой, — и вы должны выяснить ему положение...

— Я не понимаю тебя, Маша?

— Давно ли, батюшка, вы стали так непонятливы? Прошу вас объяснить мне, что я такое... Я — царская невеста, так?

— Разумеется.

— Батюшка, вы заблуждаетесь! Неужели вы думаете, что государь женится на мне и я буду царицей?

— Ты — обрученная царская невеста.

— Обрученная!.. Батюшка, да разве вы не видите, что происходит вокруг нас? Государь на меня и смотреть не хочет, он совсем забыл, что на свете существует несчастная княжна Мария, которую чуть не насильно обручили с ним. Батюшка, зачем вы сделали это, зачем вы погубили меня? — У княжны дрогнул голос, и по ее бледным щекам потекли слезы.

— Я... я погубил тебя? — с удивлением воскликнул Меншиков. — Одумайся, что ты говоришь и с кем говоришь?

— Простите, батюшка, я сознаю, что мои слова грубы, что мне не следовало бы так говорить с вами. Но что же мне делать? Ведь я измучилась от дум и от терзаний. Меня обручили, а жених и знать меня не хочет. Да и не пара я государю, ведь он — мальчик. Даже в то время, когда государь жил в нашем доме, и тогда он избегал говорить со мною. Пусть лучше откажется от меня государь.

— Я... я знаю, чьей невестой хочется тебе быть... Еще, видно, не забыла Федора Долгорукова? — сердито заметил дочери князь Меншиков.

— И никогда не позабуду его.

— Пожалуй, помни... твое дело... Только его женой ты не будешь.

— Кто знает, батюшка! Будущее от нас закрыто непроницаемой завесой. Вы вот думали, что я буду царскою женой.

— И будешь, будешь! — грозно крикнул Александр Данилович, все еще, по-своему властолюбию и тщеславию, думавший выдать дочь за императора-отрока.

— Батюшка, и сейчас вы не теряете надежды выдать меня за государя? — с насмешкою спросила у отца княжна Мария.

— Да... не теряю...

— Повторяю, вы заблуждаетесь.

— Это мы увидим... А теперь оставь меня, я занят.

Поддавив в себе вздох, бедная княжна Мария вышла из кабинета.

VII

Наступил день торжества; все было приготовлено к приезду государя. В церкви для него было сделано возвышение с балдахином, украшенное дорогим бархатом и парчой. В Ораниенбаум собралось много гостей, и Меншиков с нетерпением поджидал приезда государя.

Однако прошло время, в которое должен был приехать Петр, а его не было; вскоре из Петергофа приехал царский посланец, офицер Левушка Храпунов. Он, как мы уже знаем, ни за что ни про что по приказанию Меншикова был посажен под арест, но князь Иван Долгоруков, будучи искренним приятелем Левушки, испросил ему защиты у государя. Левушка был освобожден, принят в свиту государя вопреки желанию Меншикова, и теперь ему пришлось ехать в Ораниенбаум с известием, что государь быть там не может.

При этом известии Меншиков изменился в лице и дрожащим голосом проговорил:

— А по какой причине его императорское величество не может приехать?

— Про то я ничего не знаю, ваша светлость, — почтительно ответил офицер-гвардеец.

— Звать тебя Леонтий, а по прозвищу Храпунов? — спросил Меншиков, хотя лично знал офицера Храпунова, однако, не благоволя к нему, решил поиздеваться над ним. — Я думаю, господин офицер, что это поручение принесло тебе особенную радость? — горько улыбаясь, спросил он.

— Я все поручения и приказы его величества государя исполняю с одинаковой радостью.

— А разве не составляет для тебя радости возможность унижить меня, причинить мне неприятность?

— Ни малейшей, ваша светлость, — откровенно ответил Левушка Храпунов, который, обладая мягким сердцем и ценя в Меншикове крупного государственного деятеля, давно забыл нанесенную им обиду.

— Стало быть, зла против меня ты не имеешь?

— Никогда не имел и иметь не буду, ваша светлость.

— Спасибо! Ты, господин офицер, по-христиански живешь — зла не помнишь. Будь сегодня на празднике моим гостем!

Началось освящение храма, и, говорят будто Меншиков во время богослужения, стал на место, приготовленное императору Петру II. Это было замечено присутствующими,

в церкви пошло шушуканье, однако громко говорить боялись, опасаясь временщика, и чин освящения продолжался. Остальная программа дня тоже была выполнена, но прошла без оживления — хозяин дома был хмур и мрачен, его беспокоило отсутствие государя; он понимал, что это произошло неспроста, а, очевидно, под влиянием его врагов. Поэтому праздник закончился рано и в тоскливом настроении.

Проводив гостей, Меншиков хотел было направиться в кабинет, но его остановила княгиня Дарья Михайловна, сказав ему:

— Александр Данилович, не уходи... зайди ко мне. Поговорить с тобою мне надо.

— Ну, что такое?... Говори здесь... в зале никого нет.

— Знаешь, что мне сегодня Машенька сказала? — как-то таинственно проговорила княгиня Меншикова, оглядываясь по сторонам. — Будто она больше жить так не может и уйдет куда глаза глядят.

— Что такое? Кто ее пустит? Да как она смеет? Убегать?... Да я в монастырь ее отправлю. Это ты... ты, Дарья, детей избаловала... вот теперь и возись с ними, и выслушивай их грубости.

— Себя вини, Александр Данилович, а не меня и не детей наших... Они ни в чем не повинны.

— Я ли не старался для Марьи?... Через меня она в невесты попала к государю. Ее поминают в церквях, великой княжной называют... на ее двор тридцать четыре тысячи отпускают, а Марье все мало... это ей все нипочем.

— Ничего, Данилыч, она этого не требует от тебя!

— Так чего же еще ей надо? Какого рожна? — крикнул Меншиков.

— Покоя душевного надо нашей Маше. Ведь с тех пор как нарекли ее царской невестой, Маша покоя себе не видит, измучилась, сердечная. С самого дня обручения государь не сказал ей двух слов ласковых, сторонится ее. Мой совет, Александр Данилович, скорее поезжай в Петергоф, переговори с государем, спроси, женится ли он на Маше? Хоть и наперед я знаю, что тому не бывать, а все же спроси, узнай.

Князь послушался доброго совета жены и поехал в Петергоф. Однако он не застал государя и остался дожидаться его возвращения.

Петр скоро вернулся; ему доложили о Меншикове.

— Ах, как это неприятно!.. Где он? — хмуро спросил император-отрок.

— Во дворце, ваше величество.

— Ну и пусть его там дожидается! — И государь, не заходя во дворец, отправился в сопровождении князя Ивана Долгорукова в сад.

Это пренебрежительное отношение монарха-отрока имело свои основания. Он и вообще-то был не расположен к Меншикову и очень охотно согласился не поехать на праздник светлейшего, что ему посоветовали недоброжелатели Александра Даниловича, желавшие нанести тяжелый удар самолюбию последнего. Но этого было мало; они же, недоброжелатели Меншикова, сообщили государю о том, что Александр Данилович занял в церкви место, приготовленное для монарха, и, конечно, это было передано с разными прикрасами и преувеличениями, а в результате у Петра Алексеевича еще более усилилось недовольство Меншиковым, и он буквально-таки не мог видеть его.

А Меншиков с нетерпением ожидал императора.

Наконец, Храпунов, находившийся во дворце, шепнул Меншикову, что государь возвратился и находится в саду. Александр Данилович направился туда же и, представившись государю, стал почтительно спрашивать его, почему он не был на освящении церкви.

— Потому что не мог... плохо себя чувствовал, — холодно ответил Петр.

— А мы все так ждали тебя, государь, и в особенности княжна Мария. Неприбытие к нам твоего величества принесло моей дочери немалую скорбь.

— Вот как? Я этого не знал.

— Государь, дозвожь мне сказать несколько слов...

— Только не теперь... пожалуйста, не теперь. Я сейчас еду на охоту...

— Я только на малое время задержу тебя, государь. Выслушай меня, о том прошу твое царское величество усердно. — И Меншиков низко поклонился Петру, причем голос у него дрожал.

— Ах, как это скучно! — с неудовольствием проговорил император-отрок и, повернувшись к своему любимцу, быстро спросил у него: — Все готово, Ваня?

— Все, государь.

— Так поедем!.. — И Петр, не взглянув на Меншикова, прошел мимо него и скоро уехал.

Еще так недавно могущественный и всесильный вельможа, заставлявший невольно трепетать всякого, стоял теперь всеми оставленный, беспомощный, понуря свою

властолюбивую голову; ему стало ясно его безвыходное положение, он понял, что его падение близко и что его враги торжествуют.

Однако он еще не сдавался и остался в Петергофе ночевать, думая утром объясниться с государем. Но Петр, вероятно, избегал этого объяснения, опять уехал на охоту.

Меншиков хотел зайти на половину великой княжны Натальи Алексеевны, но когда ей сказали, что к ней идет Меншиков, то она, «чтобы избавиться от неприятности видиться с ним», как говорят показания современников, «выпрыгнула из окна» в сад и уехала.

Тогда Александр Данилович решился обратиться с просьбой замолвить за него словечко перед государем к царевне Елизавете Петровне. Во время своего могущества он мало обращал внимания на нее, теперь же ему пришлось лукавить перед дочерью своего благодетеля: он распространялся о своих прежних заслугах, жаловался на неблагодарность государя и говорил, что ему теперь при дворе нечего делать, что он хочет уехать в Украину и начальствовать там над войском.

— Что же от меня, князь, ты хочешь? — выслушав длинную речь Меншикова, спросила Елизавета Петровна.

— Будь заступницей за меня, матушка цесаревна. Государь расположен к твоему высочеству... объясни ему мое несчастное положение и положение моей бедной дочери Марии; ведь она измучилась...

— В этом я не могу помочь твоей дочери: государь не любит ее, она не нравится ему, а ты сам хорошо знаешь, что насильно мил не будешь.

— Не нравится государю моя дочь, пусть он скажет об этом, тогда Марья не будет и считаться его невестой; если нужно, она даже в монастырь уйдет. И я уеду хоть на Украину и там буду нести службу верой и правдой моему государю.

Царевна, чтобы скорее отделаться от Меншикова, обещала ему свое ходатайство перед племянником государем.

Идя от цесаревны, Меншиков повстречался с Остерманом. Хитрый Андрей Иванович хотел только ограничиться поклоном с бывшим временщиком, но Меншиков остановил его:

— Постой малость, Андрей Иванович, и ты куда-то спешишь?

— У меня так много дела, князь, я должен...

— Ты должен выслушать меня.

— Но мне, право, князь, недосуг.

— И ты против меня, и ты? Вижу, все — друзья-приятели до черного дня; не забывай того, Андрей Иванович, что ты мне обязан кое чем; припомни хорошенько!

— Я помню, князь, помню.

— Еще, барон Остерман, не забывай превратностей человеческой судьбы. Нынче ты в почести и славе, а завтра, может быть, будешь всего лишен. На мне учись превратностям судьбы. Хотел было я поговорить с тобою, попросить твоего заступничества, да не надо; все равно ничего ты для меня не сделаешь, и слова мои, и просьбы будут напрасны. Прощай! Хотя и недруг ты мне, а все же не желаю тебе чувствовать теперь то, что я чувствую, и переносить то, что я переношу! — И, сказав это, Меншиков уехал из петергофского дворца.

Его положение действительно пошатнулось. Шестого сентября 1727 года император-отрок издал указ, в силу которого власть князя Меншикова значительно уменьшалась; в указе между прочим было сказано:

«И ноне же Мы так же всемилостивейше намерены, для лучшего отправления всех государственных дел и лучшей пользы верноподданных Наших, сами в верховном Нашем тайном совете присутствовать, и для того потребно, чтобы оный совет всегда отправлялся при боку Нашем; того ради отвести в том же Нашем летнем дворце одну палату, в которой бы по приезде Нашем оный совет отправляем быть мог».

Однако, несмотря на это, Меншиков все еще продолжал властвовать и отдавать различные приказания.

Это не могло не раздражать государя.

— Я покажу, кто из нас император: я или Меншиков! — грозно крикнул Петр, топнув ногою.

— Успокойтесь, государь, за свое непослушание князь Меншиков ответит, — вкрадчивым голосом проговорил Остерман, показывая вид, что старается успокоить своего державного воспитанника, а на самом деле старался наговаривать на Меншикова.

— Да, да, он ответит мне, он поплатится. Андрей Иванович, сейчас же прикажи все мои вещи и одежду, находящиеся в доме Меншикова, перевезти сюда, во дворец.

— Слушаю, государь... А если князь Меншиков не послушает и вещей ваших, государь, не выдаст? От него, ваше величество, всего можно ожидать.

— Я... я укрошу Меншикова, я согну его в дугу... Ты увидишь, Андрей Иванович, как я с ним поступлю, ты увидишь.

— Ведь князь Меншиков — будущий тесть вашего величества. Удобно ли, государь, будет с ним круто поступить?

— Меншиков — мой тесть? Да ты никак с ума сошел, Андрей Иванович? Он никогда им не будет... Никогда!

— А его дочь, княжна Мария Александровна, ведь она обручена с вашим величеством.

— Что же такое? Обручена, но не венчана. Кстати, сегодня же сделать распоряжение, чтобы в церквах дочери Меншикова на ектениях не поминали и моей невестой не называли. О том нужную бумагу изготви и пошли к преосвященному Феофану, — тоном, не допускающим возражения, проговорил император-отрок.

Да и кто стал бы возражать ему? Все вельможи, весь двор радовались падению всесильного временщика, и более других тому радовался хитрый Остерман.

Участь Меншикова была окончательно решена. Птенец великого Петра, всесильный, почти полновластный правитель России, пал... Этого колосса и богатыря победил державный мальчик.

Петр II был почти обязан возведением на престол Меншикову, но, несмотря на это, тяготился им, не любил его... Да и мог ли он любить человека, который чуть ли не первый подписал смертный приговор его отцу, злосчастному царевичу Алексею Петровичу? Мог ли забыть юный Петр то пренебрежение, с каким относился к нему и к его сестре Наталье Меншиков во время царствования императрицы Екатерины I? Царственные дети — Петр и Наталья — жили совершенными сиротами, в забросе, в задних комнатах дворца; оба они нуждались во многом, и все из-за того же Меншикова, потому что временщик сокращал расходы на их содержание. Могли ли все это забыть царственные дети?

Прежние грехи Меншикова, то есть его различные злоупотребления и те приемы, какими были нажиты Меншиковым миллионы, — одних крестьян, у него было около ста тысяч человек, — обо всем этом слышал и знал император-отрок и решил опять обратить Меншикова в ничто, из которого тот вышел по воле великого преобразователя.

На человека, который титуловал себя так: «Мы, Александр Меншиков, римского и российского государства князь, герцог Ижорский, наследный господин Аранибурга и иных, его царского величества всероссийского первый действительный тайный советник, командующий генерал-фальдмаршал войск, генерал-губернатор губернии Санкт-

Петербургской и многих провинций его императорского величества, кавалер святого Андрея и Слона, и Белого и Черного орлов и пр., и пр.», — обрушилась опала императора-отрока.

— Довольно властвовать и самовольничать Меншикову, надо положить этому конец! Он слишком много о себе возмечтал и, кажется, про то забыл, что я — император... Надо ему напомнить об этом, — сказал Петр своей сестре Наталье Алексеевне.

— А как же ты, Петруша, поступишь со своей невестой?

— С какой? У меня нет невесты.

— А дочь Меншикова, Мария?

— Она была моей невестой прежде. Когда меня с нею обручали, тогда я находился под опекой у Меншикова; он делал со мною что хотел. А теперь, Наташа, все не то, эту опеку я сбросил со своих плеч... Я ни с кем не хочу разделять свою власть. Я — император, мне Бог вручил эту власть, — с большим воодушевлением проговорил император-отрок.

— Петруша, как ты хорош в своих словах! Ты говоришь совсем как большой, — любясь на державного брата, с восхищением проговорила великая княжна Наталья Алексеевна.

— А кроме того я еще силен. Меншиков против меня богатырем смотрит, а я осилил его, — детски-хвастливо проговорил император-отрок. — Однако оставим говорить про это. Меншиковы мне страшно надоели, и я буду очень рад скорее отделаться от них. Дня через два-три их не будет...

VIII

Между тем Меншиков принимал все меры для поддержания ускользавшей от него власти, и чтобы хоть несколько умиротворить государя, послал к нему свою жену и дочерей.

Немало пришлось выждать Дарье Михайловне в Петергофском дворце, пока о ней доложили императору. Ее дочери направились на половину великой княжны Натальи Алексеевны.

Холодно принял ее государь и спросил о цели ее прихода.

— Я пришла к вам, государь, за милостью, — со слезами ответила Дарья Михайловна, опускаясь на колена.

— Встаньте, княгиня, и говорите, что вам надо?

— Милости, пощады, государь!

— Вы, княгиня, просите за мужа?

— За него, ваше императорское величество.

— Ваши просьбы напрасны, княгиня. Ваш муж слишком много взял на себя. В своих поступках он совсем забыл, что император российский — я, а не он. Он злоупотреблял доверием покойной императрицы: царствовала не она, а Меншиков. Ему хотелось точно так же владеть и в мое царствование, но это ему не удастся. Нет, довольно! — громко и с волнением проговорил император-отрок, быстро расхаживая по кабинету.

— Не о власти просит мой муж, ваше величество, а о снисхождении.

— Довольно; он и то не в меру пользовался моим снисхождением... его надо бы предать строгому суду, но я не хочу этого, помня старые заслуги Меншикова.

— Государь, соблаговолите дать нам разрешение уехать в какую-нибудь нашу вотчину.

— Куда вам ехать, вы об этом получите указ.

— Ваше императорское величество, прошу вашей пощады не ради мужа, а ради моих дочерей и сына, ни в чем неповинных перед вашим величеством. Окажите им милость, государь.

— Хорошо, я посмотрю... Оставьте меня, княгиня, я занят.

Но княгиня Дарья Михайловна, громко рыдая, опять опустилась на колени перед государем. Тогда он, не говоря уже более ни слова, вышел из своего кабинета, оставив просительницу.

Бедная княгиня встала с колен и направилась на половину великой княжны Натальи Алексеевны; там она думала встретить своих дочерей. Однако великая княжна, чтобы избежать объяснения с женой и дочерьми Меншикова, не приняла их.

Во дворце никто не разговаривал с женой опального вельможи и с его дочерьми. А давно ли еще все искали расположения княгини Меншиковой, за большую честь почитали, если она говорила с кем-либо? Увы! все миновало; теперь все бежали от нее, как от зачумленной.

Дарья Михайловна отправила дочерей домой, а сама направилась в квартиру Остермана, думая там найти сочувствие и помощь, тем более что Остерман многим был обязан Меншикову.

«Помня наш хлеб-соль и наше расположение, Андрей Иванович, может, замолвит за нас доброе словечко государю, заступится за нас; стану слезно просить его об этом; мои слезы тронут его сердце... ведь человек он, не зверь бесчувственный», — думала удрученная горем княгиня Меншикова, входя к Остерману.

— Знаю, княгиня, знаю, зачем вы пожаловали ко мне, но, к своему крайнему сожалению, ничего для вашего мужа сделать не могу, ничего! — встретил ее хитрый Остерман.

— Батюшка, Андрей Иванович, войди ты в наше горькое положение, помоги ты нам, помоги!

— И рад бы, душевно рад, да не могу, княгинюшка.

— Не говори так, Андрей Иванович, можешь ты, все можешь!.. Государь тебя слушает...

— Не скажите, добрейшая Дарья Михайловна, не скажите. Наш император подчас бывает самонаравен, да кроме того его величество слишком огорчен поступками вашего мужа и гневается на него. Я пробовал было просить государя за князя Александра Даниловича.

— Ох, Андрей Иванович, неправду ты говоришь, неправду! Не станешь ты за нас просить, не станешь!

— Княгиня, своими словами вы обижаете меня...

— Прости, если мои слова, Андрей Иванович, тебе обидными показались, и если ты хоть немного жалеешь нас, то помоги нам, Христа ради!.. Земно о том прошу тебя! — И при этих словах бедная Дарья Михайловна опустилась на колени перед Остерманом, который все более и более входил в доверие к государю и был теперь самым приближенным к нему человеком.

— Что это, княгиня? Встаньте, встаньте, что вы!.. Если бы было в моей власти оправдать князя Александра Даниловича, или, так сказать, сгладить все его проступки, то я сделал бы это и без ваших поклонов. Но, повторяю, я, к сожалению, ничего не могу сделать для него, ничего, — холодно проговорил Остерман. — Простите меня, мне недосуг. Я спешу в верховный совет... меня ожидают, — добавил он, стараясь освободить из рук Меншиковой свой расшитый золотом кафтан.

— Так не можешь, не можешь? — вставая с колен, переспросила Дарья Михайловна. — Ну и не надо... не надо!.. Я унижалась перед тобою, Андрей Иванович, со слезами умоляла, но ничто не тронуло тебя. Смотри, Андрей Иванович, ведь судьба переменчива, может быть, и ты узнаешь свой черный день, и над тобой напасть разра-

зится, как разразилась она над нами... Ты смеешься теперь над нашей бедой, так посмеются другие над твоей бедой... Прощай! — И княгиня Меншикова не спеша оставила кабинет Остермана.

«Фу! Что она тут наговорила? Про какой-то «черный день», про какую-то беду намекала... пугала какой-то напастью... Вот вздорная баба!.. Заступаться за Меншикова! Слуга покорный... Я не спеша, а мало-помалу займу его место и буду таким же министром, каким был Меншиков. Повластвовал он, и довольно, теперь моя очередь!» — рассуждал сам с собою Остерман.

Когда карета княгини Дарьи Михайловны отъехала от подъезда дворца, государь отдал приказ наложить на Меншикова домашний арест и поручил выполнить это генерал-лейтенанту Салтыкову.

— Меншиков много, много зла наделал моему бедному отцу, и я не могу забыть это, — сказал он. — Я не могу терпеть человека, который был злодеем моему отцу и моей бабке, государыне Евдокии Федоровне. Кстати, Андрей Иванович, скоро ли мы в Москву поедem? — спросил у Остермана император-отрок.

— Это зависит, государь, от ваших приказаний, как вы повелеть изволите.

— Питер мне надоед, я хочу в Москву. В Москве лучше. Не правда ли, Ваня? — обратился государь к своему любимцу, князю Ивану Долгорукову.

— Где вам хорошо, там и мне не плохо, государь.

— Спасибо, Ваня, спасибо!.. Знаю, любишь ты меня, предан мне. А Андрей Иванович тебя не любит.

— Государь, когда же я... — меняясь в лице, пробормотал Остерман.

— Да, да, ты не любишь Ваню; говоришь, что он отвлекает меня от занятий науками... Ведь говорил?

— Я... я к князю Ивану Алексеевичу душевную привязанность имею...

— Ну хорошо, Андрей Иванович, хорошо, я пошутил... Так ты говоришь, нам скоро можно и в Москву ехать? — меняя разговор, спросил у Остермана государь.

— Можно, государь, дней через пять-шесть.

— И отлично! Вот мы спровадим из Питера Меншикова, а сами в Москву поедem. Я люблю Москву, очень люблю! А знаете почему? Потому что, говорят, Москву любил мой отец... И Наташа любит. А ты, Ваня, любишь ли Москву? Да? У твоего отца, кажется, под Москвой большая усадьба есть?

- Есть, государь. Горенки прозывается.
- И охотиться, Ваня, можно?
- Как же, наши леса изобилуют дичью. В них даже попадаетея и красный зверь.
- Побываем, непременно побываем и в усадьбе у твоего отца и поохотимся там вволю. Что ты морщишься, Андрей Иванович? Уж как ты хочешь, а охотиться я буду. Говорят, прадед мой, покойный царь Алексей Михайлович, любил охотиться под Москвой, и лес там такой есть, Сокольниками прозывается, в котором он любил охотиться... Так я говорю, Ваня?
- Так, государь.
- А ты, Андрей Иванович, бабушке моей, царице-инокине, послал ли письмо с известием, что Меншиков уже больше — не правитель, не регент и что ему не миновать ссылки?
- Как же, по твоему приказу, государь, вчера с нарочным в Москву, в Новодевичий монастырь послал...
- Меншиков по своему деянию заслужил смертную казнь, но я помилую его. Пусть живет... я против казни. Можно наказывать преступников, послать в Сибирь, а жизнь отнимать у них не надо — жизнь нам дана Богом, ею и распоряжаться может только Бог! Я вот подрасту, возмужаю и непременно отменю казнь. Я и теперь сделал бы это, да некоторые члены верховного совета отстаивают казнь, да и Андрей Иванович говорит, что преступников надо казнить в пример другим, — произнес император-отрок.
- Надо карать преступление, государь, иначе преступников разведется такое множество, что с ними слада не будет, — внушительно промолвил Остерман.
- Разумеется, наказывать надо, но только не смертью. Недавно князь Иван дал мне хороший урок... Хотите, расскажу?
- Пожалуйста, ваше величество, — с низким поклоном проговорил Остерман.
- Я спешил куда-то ехать. Мне подсунули подписать смертный приговор. Я взял перо и не читая хотел уже подписать его. А князь Иван подошел ко мне и больно ущипнул — так больно, что я вскрикнул от боли. Только что хотел я разразиться гневом, а князь Иван и говорит мне: «Вот, государь, тебе больно от того, что я ущипнул тебя, а каково тому несчастному, у которого безвинно хотят голову срубить? И ты, государь, прежде чем подписывать, прочитай бы». Я внимательно прочитал приговор и

нашел обреченного на смертную казнь невиновным. Приговор я разорвал, а князя Ивана крепко обнял и расцеловал... А где же он? Где Ваня? — оглядываясь проговорил император-отрок. — Князь Иван не может слушать, когда его хвалят, всегда уйдет... Наверное, он в парке. Пойти к нему, — добавил государь и поспешно вышел.

И на самом деле, во время рассказа Петра князь Иван Долгоруков незаметно вышел.

IX

Дом-дворец князя Меншикова стал вдруг не тот, каким он был прежде. Печально, мрачно было там; почетные караулы в доме и около дома были сняты; у его подъезда не виднелось верениц экипажей; на лестнице и в передней не было лакеев в напудренных париках и в ливреях, расшитых золотом. А еще так недавно в передней у Меншикова дожидались своей очереди вельможи и сановники. Куда все вдруг подевалось — могущество, слава, блеск, величие?

И над домом, и над самим хозяином разразилась гонимая опала.

Меншиков, покинутый, забытый всеми, мрачно наклонив голову, ходил по опустелым комнатам своего дома-дворца.

Указ императора-отрока от 8 сентября 1727 года поверг в большую горю Александра Даниловича. Он был такого содержания:

«Понеже Мы всемилостивейше намерение взяли от сего времени Сами в верховном тайном совете присутствовать, всем указам отправленным быть за подписанием собственных Нашей руки и верховного тайного совета, того ради повелели, дабы никаких указов или писем, о каких бы делах оныя были, которые от князя Меншикова или от кого бы иначе партикулярно писаны или отправлены будут, и по оным отнюдь не исполнять под опасением Нашего гнева; и о сем публиковать всенародно во всем государстве и в войске».

Горькие слезы потекли из глаз Меншикова, когда ему дали прочитать этот указ.

— Батюшка, Александр Данилович, о чем же ты плачешь? Ведь не все еще потеряно. Власть ты потерял и могущество. Так Бог с нею, и с властью!.. Уедем хоть в нашу подмосковную вотчину и станем там жить спо-

койно, — утешая мужа, сказала княгиня Дарья Михайловна.

— Нет, нет... Меня сошлют в далекую усадьбу.

— Что же, и там люди живут, и мы будем жить.

— А дочери? А сын?

— И их возьмем; и они с нами жить будут.

— В глуши, в опале? Разве они привыкли к такой жизни?

— Не привыкли, так привыкнут. Эх, Александр Данилович, друг ты мой сердечный! У наших деток жизнь только еще начинается, надо им ко всему привыкать. Ведь жизнь-то переменчива, на себе ты это видишь.

— Ну, я виновен, и гневайся на меня, и казни меня, а зачем же детей трогать, тебя? Ведь вы-то ни в чем не виновны. Машу жалко: бедная, несчастная... Обрученной невестой была, с государем кольцом обручальным обменялась... Из невест-то царских да в ссылку! Легко ли ей, сердечной? — чуть не с рыданием проговорил Меншиков.

— Что говорить, легко ли? А и то молвить, Данилыч, на все Божья воля... На все свой предел положен человеку. За детей бояться нечего: их Бог не оставит, потому что не виноваты они! — утешала Дарья Михайловна своего упавшего духом мужа.

А сама она? Что чувствовала, что переживала, что испытывала она, когда беды одна за другой обрушивались на ее мужа и на ее детей?

Вошел секретарь Меншикова Зюзин и доложил:

— Ваша светлость, генерал Салтыков от великого государя прибыть изволил.

Меншиков изменился в лице.

— Просить! — задыхающимся голосом проговорил он.

Спесиво, надменно вошел Салтыков и, слегка кивнув головою Меншикову, громко сказал:

— По указу его величества, государя императора, вам, князь, объявляется домашний арест.

— Как? Меня... меня под арест? За что, за какие преступления? — простонал Меншиков.

— За что? Вам это представят по пунктам. Вы теперь должны, князь, никуда ни выезжать, ни выходить. К дверям и к воротам поставлен будет караул.

— Боже, Боже! До чего я дожил! Меня, первого министра в государстве, генералиссимуса русских войск, под арест! — с отчаянием воскликнул Александр Данилович, схватившись за голову и падая в кресло.

Дарья Михайловна с плачем кинулась к мужу, а Салтыков, холодно посмотрев на рухнувшего колосса, вышел.

Князь Меншиков написал было государю письмо, в котором умолял о прощении и просил дозволения уехать вместе с семейством на Украину, но, как бы в ответ на это, ему сообщили, что он лишается дворянства, чинов и орденов; а у его дочери Марии, у бывшей царской невесты, отобрали придворную прислугу и экипажи.

Одиннадцатого сентября Меншикову было приказано со всем семейством ехать немедленно в ссылку, в Рязань Рязанской губернии.

Наступил день отъезда Меншикова. Около его великолепного дома с раннего утра толпились тысячи народа, так что 120 верховых гвардейцев, назначенных сопровождать Меншикова, едва могли сдерживать толпу. Всем интересно было взглянуть, как поедет в ссылку еще так недавно могущественный, полудержавный властелин, а теперь опальный Меншиков.

Ворота дома Меншикова были растворены; весь двор запружен был каретами и повозками, которых по счету было сорок две; кареты предназначались для Меншикова и его семьи, а повозки — для его многочисленного штата и прислуги. После долгого ожидания на подъезде своего дома появился Меншиков. Он был бледен и едва переступал ногами; за ним шла его жена с опухшими от слез глазами.

Меншиков молча, понуря голову, сел в карету, а княгиня села в нее лишь после того, как несколько раз покрестилась и поклонилась народу.

Во второй карете поехал сын Меншикова Александр, в третьей — бывшая невеста императора-отрока, злополучная княжна Мария; лицо у нее было закрыто густым вуалем; с нею села младшая сестра, красавица Александра; она, бедная, горько плакала.

В других каретах и повозках ехали родственники Меншикова и его приближенные, решившиеся разделить с ним ссылку.

Одежда как на Меншикове, так и на сопровождавших его была траурная.

Длинный кортеж опального вельможи двинулся вдоль по набережной. Отряд гвардейцев под начальством капитана окружил карету Меншикова с саблями наголо.

Собравшийся народ хранил глубокое молчание; он не выказывал к опале Меншикова ни радости, ни печали.

Когда кареты выехали за заставу и отъехали несколько верст, их догнал придворный офицер и отобрал у Меншикова все находившиеся при нем иностранные ордена; русские были отобраны у Меншикова еще в Петербурге.

Близ Твери на Александра Даниловича и на его семейство обрушилась новая большая беда. Едва только Меншиков расположился на ночлег в деревеньке, находящейся близ города, дверь в избу быстро отворилась, и на пороге появился находившийся в свите императора-отрока гвардеец-офицер Левушка Храпунов.

— Простите, князь, я помешал вам? — тихо проговорил Левушка, обращаясь к Меншикову.

— Не называй, господин офицер, меня князем... Перед тобой не князь, а ссыльный.

— Я прислан к вам с неприятной для вас новостью. Я имею указ пересадить вас из ваших карет в простые, на которых вы поедете до места ссылки.

— Моих врагов и моя ссылка не успокоила!.. Измышляют они мне беду за бедой. Я их не презираю, а сожалею, — задумчиво проговорил Меншиков.

— На меня не гневайтесь! Я тут ни при чем, так как лишь исполняю свой долг.

— Я на тебя, господин офицер, не претендую, ты — только исполнитель воли других. Об одном молю я Господа Бога, чтобы у меня, а также у моей бедной, невиновой семьи хватило терпения перенести это тяжелое испытание. Если и скорблю я, то не за себя, а за детей несчастных, за жену.

— Простите, князь, я сочувствую вам... мне и вас жаль, и вашу семью.

— Как? Вы меня жалуете? — с удивлением спросил Храпунова Александр Данилович. — И забыли про то зло, какое я причинил вам, будучи всесильным человеком в государстве?

— Давно забыл, об этом я уже недавно сказал вам.

— Спасибо! Если не брезгуешь мною, немощным, опальным стариком, то дозвожь мне обнять тебя! — И Меншиков крепко обнял Храпунова.

Из Твери опальных Меншиковых повезли уже в Раненбург не в каретах, а в простых телегах.

Но враги Меншикова не успокоились его ссылкой. Этого им было мало. Раненбург хоть и не близок от Петербурга, а все же из него скорее можно вернуться, чем из Сибири. И вот про Меншикова стали распространять разные небылицы.

В Петербурге, по словам историка, были подняты различные обвинения против него, отчасти справедливые, отчасти измышленные злобою. Рассказывали, что он сносился с прусским двором и просил десять миллионов взаймы, обещая отдать вдвое. Уверяли, что, пользуясь своим могуществом, он, с честолюбивыми целями захвата верховной власти, хотел удалить гвардейских офицеров и заменить их своими любимцами. Толковали, что он от имени покойной императрицы составил фальшивое завещание. Ставили ему в вину, что он ограбил своего малолетнего государя и, заведую монетным двором, приказывал выпускать плохого достоинства деньги, обращая в свою пользу не включенную в них долю чистого металла. Припомнили и прежние его грехи, как, пользуясь доверием Петра Великого, он обкрадывал казну и этим нажил несметное богатство. Говорили, что вещи, которые он взял с собою, стоили, по мнению одних, пять миллионов, по мнению других — двадцать. Обвиняли Меншикова в недавних тайных сношениях со Швецией в ущерб интересам России; еще при жизни императрицы Екатерины I он будто бы писал к шведскому сенатору Дикеру, что у него в руках военная сила и он не допустит ни до чего вредного для Швеции.

Все эти рассказы, отчасти правдивые, отчасти вымышленные, все более и более вооружали против Меншикова императора-отрока, а также и верховный тайный совет, так что последний послал в Раненбург к опальному вельможе сто двадцать вопросных пунктов, обвинявших его.

Меншиков сколько мог оправдывался против предъявленных ему обвинений. Но окончательно повредило ему подметное письмо которое нашли в Москве, у Спасских ворот, в марте 1728 года; оно содержало в себе защиту и оправдание Меншикова, а вследствие этого было признано, что оно составлено именно им самим, «прибегавшим таким образом к средствам непозволительным для своего спасения».

Тогда верховный тайный совет постановил конфисковать все достояние опального вельможи, тем более что тогда из разных канцелярий начали поступать требования о возвращении денег и материалов, незаконно захваченных Меншиковым.

За все это Меншикова и все его семейство постановили отправить в Сибирь, в отдаленный пустынный Березов.

Все отобрали у некогда полудержавного властелина, и было приказано выдавать ему с семьей и со слугами по шести рублей в день «кормовых денег».

Свояченицу Меншикова Варвару Арсеньеву было приказано постричь в женском Сорском монастыре.

По словам историков, у Меншикова было отобрано «десять тысяч душ крестьян и города: Ораниенбаум, Ямбург, Копорье, Рененбург, два города в Малороссии — Почеп и Батурин — и капитала тринадцать миллионов рублей, из которых девять миллионов находились на хранении в иностранных банках, да сверх того на миллион всякой движимости и бриллиантов; одной золотой и серебряной посуды у Меншикова конфисковано более двухсот пудов».

Приказ ехать в Березов был новым и неожиданным ударом для опальных Меншиковых.

Особенно тяжело подействовало это на злополучную княжну Марию, бывшую государеву невесту; она долго рыдала и билась в истерике.

Отчаяние дочери повергло в скорбь самого Меншикова и его жену. Добрая княгиня теперь стала неузнаваема: она так похудела и осунулась, что смотрела дряхлой старухой; ее глаза от постоянных слез начали слепнуть.

— Маша, милая, простишь ли ты меня, голубка, простишь ли своего несчастного отца? — с глазами, полными слез, сказал Александр Данилович дочери, когда она несколько поуспокоилась и перестала плакать.

— Мне не в чем прощать вас, вы ни в чем не виновны предо мною, — тихо ответила отцу злополучная Мария.

— Как не виновен? Ведь все твоё несчастье, все твоё горе через меня!.. У тебя был жених, любимый граф Сапега, а я отнял его у тебя и женил на другой... Князь Федор был мил твоему сердцу — я и его отнял. Властолюбие и тщеславие не давали мне покоя. В своей гордыне я возмечтал о многом; Александра хотел женить на царевне Елизавете, а тебя выдать за малолетнего государя. Но правосудный Бог смирил меня и мою гордыню и по делам воздал мне. А ты, Маша, твоя сестра, брат и бедная мать, за что вы несете горе и несчастье? И вот вам предстоит еще большее испытание. Вы поедете со мной в далекую снеговую Сибирь. Где же справедливость моих судей, моих недругов? Я виновен — и казни меня, а вас, неповинных, за что же, за что? — чуть не с отчаянием промолвил Меншиков.

— Батюшка, перестанем говорить об этом! Вам больно вспоминать.

— А ты, дочка, милая, дай ответ, простила ли старика-отца

— Да могу ли я судить ваши деяния? Вы — отец, воля надо мною — ваша. Ни роптать, ни гневаться на вас я не вправе, — ласково проговорила княжна Мария, целуя у отца руку. — Мне жаль вас, батюшка. Вы привыкли к величию, к славе!

— Обо всем прошлом величии, для меня навсегда потерянном, я давно забыл. Скажу тебе, Маша: я был рабом своих страстей, а теперь несчастье и горе научили меня быть другим человеком. Раскаянием и молитвою надеюсь я искупить свои грехи, свое заблуждение. Своим врагам я давно простил. Сознаюсь, может быть, многим я причинил зло, но так же немало и вывел в люди из нищеты и убожества. Но все меня забыли, все покинули.

— Милый, дорогой отец, станем молиться, чтобы Бог не забыл нас. Пусть люди забудут, а помнил бы Бог. Теперь я спокойна, покоряюсь своей участи и готова ехать с вами хоть на край света, — твердо проговорила бывшая царская невеста.

Меншиков выехал из своего Раненбурга в рогожной кибитке, а в двух телегах, сопровождавших его, ехали преданные ему дворовые, решившиеся не оставлять своего господина и до дна испить с ним чашу несчастья.

По указу верховного совета капитан Мельгунов отнял у Меншикова все парадное платье, и павшего временщика одели в сермягу и простой тулуп, а его голову прикрыли бараньей шапкой. Такую же простую одежду приказали одеть Дарье Михайловне, ее дочерям и сыну и в таком виде повезли их в далекую Сибирь.

Немало неприятностей пришлось опальным Меншиковым вытерпеть и перенести в дороге. Капитан отряда Мельгунов, который сопровождал их, обращался с Меншиковым и с его семьей более чем жестоко. Так, едва только они отъехали от Раненбурга, Мельгунов приказал повыбросить все «лишние вещи», которые Меншиковы захватили с собой в дорогу, причем считал за ненужные вещи две-три пары платья мужского и женского, несколько туалетных вещей, взятых дочерьми Меншикова, рисовальный и письменный прибор сына Меншикова и так далее.

Дочери Меншикова горько плакали, глядя, как солдаты с различными прибаутками и насмешками развертывали и бросали их белье, платье, платки и прочие вещи.

— Послушай, господин капитан, зачем ты делаешь это? — с тяжелым вздохом спросил у Мельгунова Меншиков.

— А затем, что на это имею приказ, — грубо ответил Мельгунов.

— Те, кто приказывал тебе так поступать, — люди без сердца и ты, видно, хочешь быть подобен им.

Мельгунов не нашелся что ответить, и велел своим солдатам собрать разбросанные по дороге вещи и уложить обратно в повозки. Видно, и у этого черствого человека заговорило чувство жалости к несчастным Меншиковым.

По городам, селам и деревням народ густыми толпами выходил смотреть, как везут в Сибирь опального вельможу и его семью; некоторые посылали им вслед бранные слова и угрозы, а некоторые жалели их.

Меншикова и его детей ждало другое тяжелое испытание.

Дарья Михайловна, всю дорогу не перестававшая горько плакать, от постоянных слез ослепла и сильно захворала. Не доезжая нескольких верст до Казани, в селе Верхний Услон Меншиков остановился на несколько дней в простой крестьянской избе, так как продолжать путь было невозможно: страдала Дарья Михайловна умирала.

До последнего дыхания она находилась в памяти, лежа на скамье, накрытой дубленным тулупом. Ее окружали сам Меншиков, дочери и сын; они едва сдерживали душившие их рыдания.

— Данилыч, ты здесь? — слабо спросила умирающая.

— Здесь, здесь, Дарьюшка.

— Умираю я, Данилыч, прости, если чем провинилась.

— Тебе ли у меня прощения просить, Дарьюшка? Мне нужно прощения у тебя молить.

— Я давно, давно простила тебя. А дочки и сынок здесь, около меня?

— Все около тебя, Дарьюшка.

— Вот и хорошо. При вас душа моя будет расставаться с телом. Только жаль: ни тебя, Данилыч, ни дочек своих и сына я не вижу. Взглянула бы я на них в последний разок. Машенька, подойди, я благословлю тебя, а там благословлю и тебя, Сашенька, и тебя, сынок, благословлю в последний раз. Обо мне не плачьте, детки, и ты, Данилыч, не плачь... Помучилась я, пострадала, пора на покой... К Богу иду... на Его правый суд, — слабым голосом говорила умирающая княгиня. — И там, у Бога, за вас, детки, и за тебя, Александр Данилыч, молиться я буду.

Голос умирающей все слабел и слабел.

— Не покидай, не оставляй нас сиротами! — с громким рыданием воскликнул Меншиков, опускаясь на колени перед умирающей женой.

— Божья воля, Данилыч!.. Встань, детей береги... И вы, детки милые, отца берегите, почитайте... Господь вас не оставит... Прощайте... Молитесь!..

Замолкла навсегда бедная Дарья Михайловна. Кончина ее была тихая. Это произошло 10 мая 1728 года.

Меншиков своими руками сколотил из досок гроб для своей Дарьюшки, с которой прожил не один десяток лет душа в душу. Вместе с дочерьми и сыном он снес гроб в церковь, где старенький священник наскоро отпел рабу Божию новопреставленную Дарью.

На сельском погосте нашла себе вечное успокоение княгиня Дарья Михайловна Меншикова. В убожестве и нищете ей было суждено окончить свои дни.

Меншикова и его детей чуть не силой оттащили от дорогой их сердцу могилы.

После долгого и утомительного пути Меншиков с детьми прибыл в город Березов. С опальным вельможей было несколько слуг, которые и в изгнании решились не оставлять своего господина. Меншиков сам, своими руками построил для себя и для детей жилище и около своего домика небольшую деревянную церковку. Родом из крестьян, возведенный мощною рукою великого Петра на первую ступень в государстве, он в своем падении не упал духом, а с примерной твердостью переносил тяжелую опалу.

Часть вторая

I

Было летнее солнечное утро, тихое; в Новодевичьем монастыре благовестили к обедне.

К святым воротам монастыря подъехала щегольская карета с гербами, запряженная в четыре лошади, с двумя гайдуками в парадных ливреях; они быстро соскочили с запяток, отворили дверцу, и из нее выпорхнула богато одетая молоденькая, хорошенькая девушка.

Старушка-монахиня, сидевшая в святых воротах, встала и, низко поклонившись приехавшей, проговорила:

— С миром взыди в обитель нашу.

— Можно ли мне видеть царицу-матушку? — спросила у монахини приехавшая девушка.

— Пообождать тебе, госпожа милостивая, придется... государыня-матушка только что изволила в церковь пройти к обедне.

— Что же, я подожду... сама пойду в церковь.

— Рано еще, госпожа, только к часам ударили. Погуляй по монастырю, а то в наш садочек пройди. Тихо у нас, хорошо! А дозвошь спросить, госпожа, кто ты будешь? — с любопытством посматривая на красивую молодую девушку, спросила монахиня.

— Шереметева я, Наталья Борисовна.

— Не дочка ли будешь покойному графу Борису Петровичу Шереметеву?

— Да... я — его дочь, — скромно ответила Наталья Борисовна.

— Голубушка, графинюшка!.. Наконец Господь мне радость послал тебя увидеть!.. Ведь твой покойный родитель благодетелем нашим был. Вишь, крепостная я его была, а граф на волю весь наш дом отпустил... И знаешь ли, за

что? Твой батюшка поохотиться поехал в лес, а мой большак брат Семен в дворовых охотниках служил. Вот на охоте большой медведь и подмял под себя твоего батюшку, а Семен вовремя успел и пристрелил медведя. Вот покойный граф за это и на волю отпустил.

— Батюшка-покойник правильно поступил: за большую услугу и награда большая. А скажи, матушка, как звать тебя, — спросила у монахини графиня Наталья Борисовна, — да мне свою келейку укажи: я от матушки-царицы и к тебе зайду.

— Под колокольной моя келейка... Зайди, графинюшка, осчастливь меня. А зовут меня Гликерией. Да глянь-ка, глянь, графинюшка: кажись, царицу-то ведут из церкви... так и есть! — поспешно проговорила Гликерия, показывая на столпившийся около церковной паперти народ.

С паперти сходила вдова-царица Евдокия Федоровна, из рода Лопухиных, против воли постриженная в монахини по приказу императора Петра Великого. Ее с почетом вели монахини.

— Что-то государыня-матушка рано из церкви вышла, видно, ей не поздоровилось, — тихо проговорила монахиня Гликерия.

— Я вот сейчас подойду к царице-матушке, — проговорила графиня Шереметева, а затем торопливо пошла навстречу царице и при ее приближении поклонилась ей до земли. — Благослови, государыня-матушка!

— Бог благословит. Встань!.. Пред единым Богом преклоняйся, — властным голосом проговорила бывшая супруга великого Петра.

— В обитель, царица-матушка, я нарочно приехала, чтобы повидать и поклониться твоему величию.

— Какое может быть величие инокини? Чья ты? Как звать тебя?

— Я — дочь Бориса Петровича Шереметева.

— Дочь Бориса Шереметева? Знала я твоего отца, знавала!.. Верным слугою, говорят, он был моему покойному мужу Петру, в графы его государь произвел. А тебя как звать?

— Натальей, государыня-матушка.

— Зайди ко мне в келью, поговорим. Хоть и не поздоровилось мне, потому и рано ушла из церкви, а все же я рада тебе, графиня Наталья...

— Земной поклон, матушка-царица, тебе за ласку! — и графиня Наталья Борисовна, до земли поклонившись царственной инокине, пошла за нею в келью.

Только недавно вернулась царица-инокиня в Москву из заточения.

В Новодевичьем монастыре для нее отведены были самые лучшие кельи, ей воздавали царские почести и называли теперь не старицей Еленой, а великой государыней Евдокией Федоровной.

Немало горя и несчастья перенесла царица Евдокия, в иночестве Елена. Она росла и развивалась в терему; ее отец, боярин Лопухин, и мать были людьми старого закала, придерживались старины и косо смотрели на разные новшества, которые со времен царя Алексея Михайловича стали «из неметчины» проникать в Россию. Красива была Евдокия Лопухина: статная, полная, белая, с румянцем во всю щеку, с ясным взором, с соболиными бровями, с косами чуть не до пят, так что все сулили ей большое счастье и знатного жениха. И действительно, вдова царя Алексея Михайловича Наталья Кирилловна выбрала красавицу Дуню в жены своему державному сыну Петру.

Крепко, сердечно полюбила Евдокия Федоровна своего мужа царя, этого чудо-богатыря! В первое время и он был нежен и предупредителен с красавицей-женой. Но это продолжалось недолго: вскоре он стал по целым неделям, месяцам оставлять ее скучать в одиночестве, отчасти будучи занят делами правления и задуманными им реформами, а отчасти под влиянием своего увлечения Анной Монс, с которой он познакомился в Кукуй-слободе.

Скучала царица Евдокия Федоровна. Но вот ей на радость и на утеху родился сын; Алешенькой его назвали в честь почившего деда, царя Алексея Михайловича. Стал он расти, но не затихла скука в сердце его матери; нет, рядом с нею стала развиваться и ревность.

«Не любит меня царь-муж, не любит; видно, краше да милее себе нашел, а я не нужна ему стала. По месяцу и больше в глаза не вижу Петра. Разлюбил он, разлюбил. А я ли его не любила, я ли не голубила? И вот плата за мою любовь, за мою ласку. Ему новшества разные нужны да диковинка заморская, а не жена», — думала молодая царица.

Со слезами встречала она супруга и упрекала его за частые отлучки. Хмурился Петр, слушая упреки жены; не по нраву ему это было; он совсем охладел к Евдокии Федоровне и опять покинул ее.

Напрасно останавливали Петра царица-мать и молодая жена.

— Не к тому я призван, государыня-матушка, чтобы дома сидеть сложа руки: меня ждет большая работа, большая ломка. Прости и благослови сына на великий труд! — прощаясь с матерью, проговорил Петр, а к своей молодой жене обратился с такими словами: — Ни слезами, ни попреками меня ты не остановишь, а только озлобишь больше.

Проходили недели, месяцы, а царь Петр все был в отлучке. Слезливыми письмами звали царица-мать и молодая жена; Наталья Кирилловна настоятельно требовала его возвращения, а Евдокия Федоровна умильно присоединяла и свои просьбы:

«Государю моему радости, царю Петру Алексеевичу, — писала молодая царица. — Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам не замешкав. А я при милости матушкиной жива, женушка твоя Дунька челом бьет».

А тут шепнули царице Евдокии Федоровне, что у царя Петра на стороне есть другая жена, «немка Монсиха», и не венчанная, и это разожгло ревность в сердце молодой царицы.

Когда приехал Петр, она встретила его с большими упреками и большими слезами. Произошла ссора и следствием этого было то, что Евдокия Федоровна угодила в монастырь, была насильно пострижена и стала не царицею московской, а монахиней Еленой. Вместо пышных царских хором очутилась она в убогой келье, одинокая, всеми забытая, всеми оставленная.

Тяжко ей было от этой жизни. Прежде времени состарилась Евдокия Федоровна. Потускнели у нее очи, пропал румянец с лица, щеки ввалились и ее красивые волосы сединой покрылись. И стала она думать о мести царю-гиганту.

Подрос царевич Алексей и стал бывать у матери в монастыре. Мать стала вооружать его против отца, но это повело лишь к гибели несчастного царевича Алексея. Погиб лютой смертью и красавец-генерал Степан Глебов, к которому была равнодушна царица, а ее самое под строгим караулом отправили в Ладугу, в Успенский монастырь. Тут она и прожила немало лет в тесной келье, под бдительным присмотром до дня кончины императора Петра Великого. С воцарением императрицы Екатерины I бывшую царицу перевезли в Шлиссельбург, а оттуда — в Москву, в Новодевичий монастырь.

Войдя в свою келью, царица-инокиня переделалась и, усаживаясь в кресло, обратилась к своей юной гостье:

— Так ты — дочь боярина, то бишь графа Бориса Петровича Шереметева? Мой покойный царь-муж русских прирожденных бояр в немецкие графы производил. Любил покойник неметчину и чуть всей Руси в неметчину не повернул! — взволнованно добавила она и, показывая графине Наталье место на стуле, рядом с собою, предложила ей: — Садись!.. В ногах правды нет!

— Смею ли я, царица-матушка, сидеть перед тобою?

— Какая я царица? Монахиня смиренная я, а не царица. Точно, была и я царицей, только это давным-давно прошло. Все прошло, все рушилось... Ну, поведай мне, Натальюшка, что нового? Правду ли говорят, что мой внучек-царь Меншикова отправил в ссылку?

— Правда, государыня-матушка, правда, князь Меншиков в государеву опалу попал.

— И ништо, ништо ему. Еще лютой казни следовало бы его предать. Злодей он мне и сынку моему злополучному. Немало этот Меншиков злобы да несчастья принес. О, Господи, прости, помилуй!.. Словами своими я грех совершила! Грешница я, грешница!.. Да уж больно много и выстрадала, много лютого горя перенесла, оттого и сердце мое стало такое злобное! Значит, Меншикова постигла кара Господня? О его падении недавно писал мне Остерман. Да плохо я ему верю: подлиза он, льстец, хитрый немец. Крепко боюсь я, что он и внука моего, Петрушеньку, испортил... Вот еще Долгоруковых я, грешница, не долюбываю! А говорят, князь Иван днюет и ночует у государя... Государь молоденек, привязчив, глядишь — живо всего послушается, что вороги его из корысти для себя ему посоветуют. А долго ли тут до греха. Вот и болит мое сердце, как бы Петрушеньку не испортили!.. Кто их знает, что людишки, близ него, молоденького, несмышленого стоящие, задумали. Совсем не знаю я князя Ивана... Может, ты, графинюшка, знаешь его?

— Как же, государыня-матушка, знаю, — вся вспыхнув и опуская свою хорошенькую головку, тихо ответила Наталья Борисовна.

— Да ты что? С чего что зорька алая вспыхнула и головушку свою опустила? Видно, полюбила князя Ивана? Так, что ли?

— Матушка-царица... Я за тем и в обитель приехала, чтобы видеть твои пресветлые очи и, если удастся, испросить твоего благословения на новую жизнь. Князь Иван Алексеевич просит моего согласия с ним под честный венец идти. В Питере я была, там и увидал меня князь Иван.

Из Питера он и письмо прислала, просит моего согласия. Скоро он с великим государем в Москву прибудет... В письме-то еще такая приписка есть: «Хотелось бы мне приехать к тебе в палаты не чужим человеком, а твоим женихом».

— Да мне-то что до этого? С чего ты вздумала моего совета просить?

— А вот с чего, матушка-государыня! Ты — святая старица, много горя перенесла и разного несчастья вытерпела, извела жизнь. Вот Бог и надоумил меня просить твоего совета и последовать мудрым словам твоим. Еще, матушка-царица, ты изволила сказать, что государь привязался к князю Ивану. Правда это... А ведомо ли тебе, что князь Иван ведет жизнь бесшабашную, разгульную?

— Слышала про то, слышала, вот и боюсь, чтобы мой внук-государь не научился дурным примерам от князя Ивана. Ведь дурное скорее перенимается, чем хорошее.

— А я-то, матушка-царица, на что? Став женою князя Ивана, я постараюсь отстранить его от всего дурного... Сердце у него доброе, хорошее; его скоро можно вразумить и от разгула отучить.

— Помоги тебе Господь в этом, Натальюшка! За твое благое намерение и тебе благо будет.

— Так ты, матушка-государыня, соизволяешь на мой брак с князем Иваном? — радостно спросила Наталья Борисовна.

— Ты, Натальюшка, с первого взгляда пришлась мне по нраву. Чистое у тебя сердце, хорошее. Я рада твоей судьбе, твоему счастью, только смотри — прочно ли то счастье будет? Я так же, как вот ты, радовалась безмерному счастью, когда выходила за царя Петра замуж, думала, счастьем тому конца не будет, а оно пронеслось, как миг единый. Прости пока, устала я, пойду, прилягу. А за князя Ивана выходи. Приедет он в Москву, я с ним сама поговорю.

Счастливой и довольной вернулась молодая графиня Шереметева на Воздвиженку, в свои роскошные палаты.

II

В пятнадцати верстах от Москвы живописно раскинулась большая усадьба Горенки, принадлежавшая князю Алексею Григорьевичу Долгорукову.

Княжеские палаты были удобны и поместительны. Каменная лестница и дверь с железными затворами вели в

большие сени, в которых находилось несколько стеклянных фонарей. В приемных покоях стояли лавки и стулья, обитые цветными сукнами и кожей; тут же находились и столы, липовые и дубовые, резные, круглые и четырехугольные; некоторые были обиты кожей, а некоторые покрыты цветными скатертями. На стенах, покрытых обоями вишневой камки или камчатыми зелеными, местами были прибиты ковры; в каждой горнице находились образа в дорогих окладах; в парадной горнице висел портрет Петра I, писанный на полотне, в золоченой раме; в той же горнице находились большие стенные часы и орган; на дверях и на окнах — суконные красные драпировки.

Более тщательно была убрана горница, предназначавшаяся для приезда государя Петра II; здесь меблировку составляли большие кресла, обитые вишневым бархатом и отделанные золотыми и серебряными галунами; резные столы и стулья, дубовый резной шкаф, круглый поставец, роскошная резная кровать, с позолоченным верхом, с зеленою тафтяною завесью, пуховая перина и такие же подушки с камчатым одеялом; на стенах, обитых китайскими обоями, висело разного рода оружие: пищали, ружья, винтовки, пистолеты, алебарды на дверях, пики и проч.; на столах красовались разные вещи — «китайский черный шкатул», кругленькие черепаховые, оправленные серебром коробочки с благовонными свечами, дубовая «холомогорская скрыня» с выдвигаемыми ящиками, китайский умывальный ларчик с шуйским мылом и много других безделушек.

Налево от княжеского дома были расположены избы для дворовой прислуги, далее шла березовая роща с псарным двором. Конюшни были переполнены породистыми лошадьми, а в каретных сараях находились всевозможные экипажи.

Подвалы и погреба в Горенках были переполнены разными заморскими винами, русскими настойками, различными медами и квасами, а также и всевозможной провизией.

Широко, тепло и сыто жилось в этой подмосковной усадьбе Долгорукова. Однако сам он и его сын Иван неотлучно находились при юном государе, а в Горенках находилась княгиня Прасковья Юрьевна с дочерьми Екатериной и Еленой. Князь Алексей, ослепленный честолюбием, руководимый только счастливою звездой, которая поставила его, с падением Меншикова, вдруг так близко

к государю, думал только о том, как бы не пропустить времени, пока светит еще звезда. Не зная предела своему честолюбию, он, подобно Меншикову, возымел неперменное желание выдать свою дочь Екатерину за императора-отрока, забыв об участи несчастного Меншикова и его дочери Марии.

Однажды в теплый майский вечер князь Алексей Григорьевич неожиданно прибыл в Горенки, чем немало удивил свою жену и дочерей.

— Мы никак не ждали тебя, князь Алексей, нынче, а ты — на! нежданно-негаданно к нам пожаловал, — встретила его княгиня.

— Так-то лучше, — здороваясь с женою, ответил Алексей Григорьевич.

— Ты погостишь у нас?

— Ишь, что сказала! Да разве можно? Разве ты не знаешь наших дел, Прасковья Юрьевна? Теперь к нам государь благоволит, а не торчи я постоянно во дворце, при государе, было бы совсем другое: тут бы мое место занял другой. Разумеешь ли, княгинюшка?

— Плохо я, Алексей Григорьевич, разумею ваши придворные тонкости.

— А знаешь ли, княгинюшка, какое слово я тебе молвлю? Только ты поди, притвори поплотнее двери, чтобы кто-либо не подслушал.

— Ну, притворила... сказывай.

— За дверями нет никого? Людишки не торчат?

— Зачем им тут быть? В передней им место... Никого у дверей нет, говори, князь, не томи.

— Ладно, я сам еще посмотрю! — сказал князь и лишь после того, как убедился, что их никто не подслушивает, тихо спросил у жены: — Хотелось бы тебе быть государевой тещей?

— Да ты, князь, что это? В своем уме? — почти выкрикнула княгиня. — Да что ты задумал, что задумал?

— Что задумал, то и будет. Только ты мне не мешай!.. Князь Василий Лукич и другие наши родичи все согласились помогать мне. Только никак не могу уломать Ивана... Вот Господь Бог наделил меня сынком-то!..

— Алексей Григорьич, что ты говоришь только? Ведь об этом и подумать страшно. Неужели участь Меншикова не останавливает тебя от несбыточных желаний?

— Что Меншиков? Он хоть и хитер был, но, начав свое дело хорошо, окончить-то его не сумел.

— А ты сумеешь, сумеешь?

— Да, сумею и государя женю на нашей дочери. А ты, Прасковья Юрьевна, и не думай препятствовать этому!.. Да, я знаю, ты — женщина умная, рассудительная, против меня ты не пойдешь.

— Как я пойду против тебя? Ты, князь, сильнее меня. Но хорошего в твоём деле я ничего не вижу ни для тебя, ни для всех нас! Боюсь я, что и нас постигнет такая же участь, какая постигла Меншиковых, а может быть, и того хуже, — с глубоким вздохом проговорила Прасковья Юрьевна.

— Типун тебе на язык, глупая баба! — с сердцем воскликнул князь. — Я не рад, что и заговорил с тобою про это дело.

— И не надо, не говори... Делай как знаешь, мешать тебе я не буду, а за детей молиться стану, чтобы их Бог избавил от несчастья.

— Вот и давно бы так! Завтра Иван хотел приехать. Ты ведь знаешь, он за Наталью Шереметеву сватался. Вчера был в доме у невесты и получил ее согласие.

— Вот этому я порадуюсь. Графиня Наталья Борисовна — примерная девица, тихая, скромная. Рада я за Иванушку, вот как рада. Счастлив он будет с графиней Натальей. Она сумеет остановить его от кутежей и попоек.

— Дурак твой Иван, большой дурак! Ему в руки само счастье плывет, только бери, не ленись. Государь так к нему привязался, что не расстанется с ним. Захоти только Иван, так первейшим человеком в государстве стал бы. Ведь государь его во всем слушает, как Иван скажет, так тому и быть. Он всех министров мог бы в руки забрать.

— У Иванушки хорошая душа, добрая, он не честолюбив, — перебивая мужа, проговорила княгиня.

— Весь в тебя: такой же мямля, бессребреник, и немало труда стоит мне влиять на него там, чтобы он перед государем в нашу руку работал, чести и могуществу нашего рода способствовал. И ведь бьюсь я, бьюсь, а толка пока от этого немного. Ну да оставим говорить про это!.. Авось я все-таки переломлю Ивана. Ступай, пошли ко мне Катю: мне надо с нею побеседовать.

— Сейчас пошлю.

Княгиня Прасковья Юрьевна вышла, и спустя немного в горницу к отцу впорхнула Катя.

Она была очень красива и стройна и получила довольно хорошее по тому времени образование; она очень долго жила в Варшаве у своего дяди князя Григория Федоровича Долгорукова и научилась там светскому обращению.

Едва она вошла в комнату отца, тот обратился к ней:

— Здравствуй, Катюша. Садись, будем говорить. Тебе известно, что к нам в Горенки на днях приезжает дорогой гость? Знаешь ли, кто?

— Не знаю, папа, хотя по тем приготовлениям, которые происходят во всей усадьбе, могу думать, что гость будет важный, — несколько подумав, ответила княжна.

— Государь к нам приедет, — самодовольно улыбаясь, проговорил Долгоруков.

— Как! Неужели? — с удивлением воскликнула княжна.

— Да, да. Его императорское величество дал слово быть у нас в усадьбе.

— Это для нас — большая честь, — как-то холодно проговорила княжна Екатерина.

— Я думаю! А вот послушай, что я стану говорить. Скажи, ты счастья себе желаешь?

— Кто же не желает, папа?

— От тебя теперь зависит получить большое-большое счастье!

— Что же для этого надо мне сделать?

— Постарайся понравиться государю. Понравись ему, он на тебе женится, и ты станешь императрицею... Поняла ли?

— Конечно, поняла! Но, папа, не вышло бы с нами то, что случилось с Меншиковыми!

— Не бойся, Катя, я поведу дело совсем по-другому. Ты только постарайся понравиться государю.

— Понравиться... А если я не понравлюсь?

— Уж если государь хотел жениться на Марье Меншиковой, то тебе-то и сомневаться незачем: ведь ты много красивее и милее ее.

— Но ведь я старше государя.

— Это ничего не значит! Да разве у тебя нет желания быть императрицей?

— Откровенно скажу, нет.

— Да ты с ума сошла?! — с неудовольствием проговорил князь. — Ведь это такое великое счастье! Подумай сама только!.. Ведь ты станешь повелительницей величайшей в мире страны!.. А богатство, а власть, а могущество!.. Ведь все станут преклоняться перед тобой, и если повести дело с умом, то и себя, и всех нас прославить можешь! Это ли не счастье?! Да ведь не понимать этого — значит быть круглой душой!.. Я даже представить себе не могу, как всего этого не понимать возможно!..

— Разубеждать вас я не буду, так как все равно вы не послушаете меня. Противиться тоже я не буду, потому что вы все же поставите на своем, но скажу вам, что в этом неравном браке я вижу не счастье, а большое, большое несчастье...

— И ты про несчастье заговорила? Да что вы с матерью, сговорились, что ли, пугать меня каким-то несчастьем? Где оно? Откуда вы видите его?

— Ах, папа, папа, вы заблуждаетесь!

— Благодарю покорно! Уж ты учить меня вздумала? Живучи в Польше у дяди, ты, видно, научилась там польским манерам? Но — нет! — твои наставления я слушать не хочу! — закричал на дочь рассерженный князь.

— Я не понимаю, папа, на что вы гневаетесь? Ведь я сказала вам, что из вашего повиновения и воли не выйду. Вы желаете, чтобы я старалась понравиться государю-мальчику, приняла меры к тому, чтобы увлечь его, и я буду стараться, но что из этого выйдет, я не знаю, только думаю — мало хорошего...

— Ну, это мы увидим, увидим! А теперь ступай. Только прошу не забыть моих слов и готовиться к приезду государя! — уже совершенно раздражившись, закончил князь Алексей Григорьевич.

В ответ на слова отца княжна Екатерина лишь тяжело вздохнула и поспешно вышла.

«Что это значит? Я думал, Катя запрыгает от радости, а она чуть не плачет. Неужели ее не прельщает быть женою императора? Уж не любит ли она кого? Надо постараться разведать!» — провожая взглядом дочь, подумал князь.

III

Император-отрок находился уже в Москве; его въезд в первопрестольную столицу со всем двором произошел очень торжественно. Все улицы, по которым ехал Петр Алексеевич, были запружены народом, собравшимся со всех концов Москвы навстречу государю и приветствовавшим его радостными криками, которым вторили колокола сорока-сороков церковей московских.

Государь был весел и радостен и низко раскланивался с народом. Величавая Москва произвела на его молодую душу самое радостное впечатление и понравилась ему много больше Петербурга.

Император-отрок остановился в Лефортовском дворце, где торжественно представлялись ему высшее московское духовенство, генералитет и московские власти, и очаровал их своею любезностью.

— Наконец-то я в Москве, в милой, дорогой Москве, — весело проговорил он, оставшись в своем кабинете вдвоем с князем Иваном Долгоруковым.

— Москва, видно, государь, пришлась больше тебе по нраву, чем Питер?

— Несравненно, Ваня! Я думаю навсегда остаться в Москве. Пусть здесь будет моя резиденция. И народ здешний мне больше нравится, чем питерский.

— В Москве, государь, как-то привольнее, проще, да и повеселиться можно, около города леса отличные, есть где поохотиться.

— Да, да. Мы здесь, Ваня, вволю поохотимся с тобой. Я вот отдохну, побываю, где нужно, а там и на охоту.

— А с охоты, государь, к нам в усадьбу, на перепутье. Хорошо у нас там! То-то разойтись можно!.. И гулянуть, и потанцевать, и вволю по полям да лесам покататься можно! Приезжайте, государь, к нам, довольны останетесь!

— Непременно, Ваня, заеду. Твой отец звал меня, и я дал слово быть у вас.

— Твой приезд, государь, принесет нам большое счастье, — с низким поклоном проговорил князь Иван.

— Знаешь, Ваня, я хотел бы приносить счастье не вам одним, моим близким, а всему народу, который вручен мне Богом. Я хотел бы делить с этим народом и радость, и горе и был бы счастлив если бы весь мой народ благоденствовал, не ведая горя. Но достичь этого трудно, почти нельзя. У меня, к несчастью, немного таких верных слуг, как ты. Много около меня помощников, а положиться на них нельзя; ведь все не о благоденствии народном, а только о себе и о своих близких думают. Искоренить это зло у меня нет сил!

— Подрастешь, возмужаешь, государь, тогда и сила у тебя явится.

— Я у Бога, Ваня, стану просить помощи... Бог даст мне силу искоренить зло и неправду в моей земле.

— Помогай тебе Бог, великий государь. А когда ты изволишь посетить царицу-инокиню Евдокию Федоровну? — меняя разговор, спросил Иван Долгоруков. — Ее величество уже не раз осведомлялись об этом. Хочется ей повидать вас, да и вам по родственной близости поклон

отдать ей следовало бы! Ведь, говорят, любит она вас крепко!

— Слышал я, Ваня, про это, знаю и жаль ее, бедную! И говорили мне, что немало ей перенести в жизни пришлось, а за что — и понять не могу! Так ты говоришь, она видеть меня хочет? Ну что ж, съездим к ней завтра, непременно завтра. Вели к моему отъезду готовым быть, Ваня! И Наташу с собой возьмем, и тетушку-царевну Елизавету. Слышишь, Ваня, непременно скажи им, чтобы приготавились.

— Слушаю, государь!

— Люблю я их, Ваня, ах как люблю!.. Да ведь и ближе их никого у меня нет! Наташа-то — ангел кроткий, а тетушка-царевна! — с восторгом воскликнул Петр Алексеевич, и его глаза вспыхнули особым огоньком. — Эх, да что и говорить о ней!.. Ведь это — красotka такая, что второй такой, поди, и не сыскать! И образованная-то она — ведь как по-французски-то и говорит, и пишет!.. А уж веселая-то, веселая!.. И песни-то поет, и хороводы водит!.. И все русское как любит!..

— Да, государь, вы правы! — с восхищением подтвердил и князь Иван. — Истинная королева!.. Эх, так вот, что уж невеститься она начала... ведь, наверно, у нас не останется, куда-нибудь в Европу замуж выйдет. Ведь слава-то о ее красоте да живости и приветливости и там известна. Приедет к нам королевич какой-нибудь, либо принц, либо герцог, присватается к ней, да и увезет ее от нас. Подумаешь только, какое она счастье мужу своему даст, прямо-таки зависть берет!..

— Как это так увезут ее? — вдруг вспыхнул император-отрок. — Да разве мы отдадим ее?.. Ну, нет, это еще мы посмотрим. Как же я без нее буду? Ведь я сам ее люблю. Пусть-ка сунется кто-нибудь!.. Покажу я, как нашу красавицу отбивать!.. — И император в волнении даже забегал по залу дворца. — Ну нет, если так, то я и сам женюсь на ней!..

— Что вы, что вы, государь, да разве это можно? Ведь вы ее племянник.

— Ну так что ж! Ведь за границей-то это сплошь да рядом делается!.. А ведь и моя матушка покойная немка была и даже, сюда приехав, православной не стала.

— Так-то так, государь, — попробовал возразить Долгоруков, — но ведь вы-то — император православной Руси, и царевна православная. Никак этот брак невозможен! — настойчиво повторил князь Иван, тотчас же со-

образив всю опасность подобного брака для планов своей семьи.

— А я покажу, что возможно! — крикнул Петр Алексеевич. — Что может помешать моему желанию и воле? Ведь я — император!

Видя, что этот разговор волнует императора, и не желая возражениями обострять вопрос и указанием на возможные препятствия возбудить в Петре упорство и настойчивость, князь Иван предпочел покончить разговор на эту тему и перевел его на посещение царицы-инокини.

Император подтвердил, что поедет к ней на следующий день.

Это известие было передано в Новодевичий монастырь, и там поднялась большая суета. Начиная с игуменьи и кончая простой беличкой, все были заняты приготовлениями к встрече государя.

Немало волновалась и Евдокия Федоровна, поджидая своего державного внука. Старушка то и дело подходила к окну и посылала своих прислужниц к монастырским воротам посмотреть, не едет ли государь.

Наконец, в безветренном, тихом воздухе с колокольной Новодевичьего монастыря раздался густой благовест в большой колокол.

— Едет, едет царь, — вбегая в келью государыни-монахини и задыхаясь от усталости, проговорила молодая послушница, которой было приказано ждать у святых ворот и, как покажется карета государя, бежать и известить о том царицу-инокиню.

— Далеко ли? — дрожащим голосом спросила Евдокия Федоровна.

— Близехонько, к монастырю уж подъезжает. Карета-то, видать, золотая, а кони-то белые. А около кареты государя скачут какие-то воины в шляпах с перьями и все они в золотых галунах, — запыхавшись рассказывала молоденькая послушница.

— Ну, ну... полно! Ступай к себе! — сказала царица и обратилась к ближней прислужнице: — А ты, Лукерья, от окна не отходи и, как завидишь, что государь ко мне свой путь направил, сейчас о том скажи. Сама я с кресла двинуться не могу. Дрожат и ноги, и руки, сердце замирает. С чего — и сама не ведаю!

— С радости, государыня-матушка, с радости! Да вот и государь шествовать изволит, — отскакивая от окна, быстро проговорила Лукерья.

— Слава Богу, дождалась!

С трудом поднялась с кресла Евдокия Федоровна и, поддерживаемая своей любимой прислужницей, пошла к двери навстречу своему державному внуку.

— Здравствуйте, милая бабушка, здравствуйте. Я очень рад свиданию с вами, — весело и почтительно проговорил император-отрок.

— Здравствуй, внучек, дорогой Петрушенька, светик мой! — крепко обнимая государя, задыхающимся от слез голосом проговорила царица-инокиня.

— Здоровы ли вы, бабушка?

— Здорова, государь-внучек, телом здорова, да вот душа моя скорбит смертельно.

— С чего это, бабушка? Может, вы чем недовольны?.. Так скажите, прошу вас!

— Спасибо, Петрушенька, спасибо! Всем я довольна... А это кто с тобой? — спросила Евдокия Федоровна, показывая на вошедших к ней за государем великих княжен Наталью Алексеевну и Елизавету Петровну.

— Сестра моя Наташа. Не узнала, бабушка?

— Наташенька, голубушка моя, родная, сиротиночка!.. — И царица-монахиня принялась обнимать и целовать свою внучку, великую княжну.

— А это, бабушка, — моя тетя, Елизавета Петровна, — проговорил государь, подводя за руку к царице-монахине красавицу царевну.

— Здравствуй, царевна... здравствуй! Если не брезгуешь, то поцелуй меня старуху! Твоему отцу, царю Петру, была я не чужая, — сухо проговорила Евдокия Федоровна.

— Что вы, что вы! Вами брезговать! Я так рада видеть вас, государыня-матушка! — И Елизавета Петровна, крепко обняв, поцеловала несчастную жену своего отца.

— Ты добрая, ласковая... видно, не в отца... А ты, внучка моя милая, с чего такая худенькая да бледная? Или тебе, светик мой, нездоровится? — любовно поглядывая на великую княжну Наталью Алексеевну, спросила царица-монахиня.

— Мне, бабушка, ничего, я здорова.

— А с чего же ты такая худенькая да бледная?

— Уж право, не знаю, бабушка; только я совсем, совсем здорова...

— Ну и хорошо!.. и дай Бог тебе здоровья, царевнушка моя сердечная. Ведь оно тебе ох как надо!.. И о себе-то тебе позаботиться следует, и о братце Петрушеньке. Вишь, ведь он еще юный какой! Ведь возле него ни отца, ни матушки, одна ты для него близкая да старшая, так тебе

и сам Господь за ним последить велел. Многому ему еще поучиться надо, и я прошу тебя — помогай ты ему в этом, смотри, чтобы он наук да церкви Божьей не забывал!

Этот разговор не нравился императору-отроку, он морщился и хмурился. Нотация бабушки быстро подавила в этом еще не уравновешенном юноше чувство родственной привязанности к ней, и он даже отвернулся от царицы-инокини. Да и вообще его мысли были заняты другим: он был еще весь под влиянием вчерашней беседы с Долгоруковым, его волновала близость царевны Елизаветы, которой он действительно увлекался. Он почти не отрывал взгляда от нее, следил за каждым ее движением. Его тяготило это пребывание у бабушки, в ее келье; его тянуло вон отсюда, чтобы опять очутиться в карете рядом с красавицей Елизаветой Петровной и беспрепятственно беседовать с нею.

Это заметила царевна Елизавета Петровна и с улыбкою тихо проговорила:

— Не пора ли нам, государь?

— Да, да, и то пора.

— Куда спешите? Погостите, порауйте меня, старуху!

— Меня ждут... мне надо ехать, бабушка! Мы опять к вам скоро приедем, — произнес император, с живостью ухватившись за предложение царевны.

— Ох, приедете ли? Буду ждать, буду.

— Ждите, бабушка... Если вы чем-либо недовольны или чего у вас не хватает, то скажите, и все получите...

— Спасибо, государь мой и внучек милый! Всем я довольна. Да и много ли мне, старухе-инокине, надобно? Вот хотела бы я поговорить с тобою, Петрушенька, — произнесла царица-инокиня, сильно беспокоившаяся о внуке, так как ей уже было известно, кто окружает его и к чему направляют его руководители Долгоруковы.

— Что же, я дня через два-три приеду, мы и поговорим с вами, бабушка, а теперь у меня нет времени, я должен спешить, — нетерпеливо проговорил Петр.

— Ну, ну, поезжай... Храни тебя Бог! Не забывай меня, старухи, уж недолго осталось мне жить на свете... И ты, светик мой, с государем приезжай! — обратилась царица к внучке. — Тебя, царевна, Елизавета Петровна, я не зову. Тебе, такой красавице, беседовать со мной, старухой, пожалуй, не в угодку будет... Прости!

Высочайшие гости уехали, и опять одна осталась Евдокия Федоровна в своей келье, одна, только со своими воспоминаниями о былом.

«Петруша и Наташа — оба бледные, худые... в отца. И Алешенька таким же рос. А Елизавета — красавица, бела, стройна, румяна, прямо царь-девица... Хотя и стары мои глаза, а все же разглядела, что государь-внук на красавицу-тетку частенько посматривал. В его отроческом взгляде любовь была видна. Недаром слух идет, что Петруша любит царевну-тетку и будто жениться на ней хочет. Племянник на родной тетке! Кровосмешение! О, Господи, спаси... помилуй! От одной мысли дрожь пробирает и волосы на голове становятся дыбом».

— Господи, не дай мне дожить до сего! — вслух, задышающим голосом, со стоном проговорила царица-инокия и обратилась к служанке: — Что, уехал государь?

— Только что изволил сесть в карету, из окна я видела.

— Уехал!.. Спаси его, Господь! Веди меня, Лукерья, в образную, молиться я хочу, Бога благодарить, что Он сподобил меня внука-царя узреть сегодня.

Император-отрок на другой день после своего посещения бабки прибыл в верховный тайный совет и заявил, что из почтения и любви к своей бабушке желает, чтобы «ее величество по своему высокому достоинству была содержима во всяком довольстве и чтобы члены совета учинили надлежащее определение и донесли ему скорей».

Вскоре ей был назначен штат, было определено выдавать по шестидесяти тысяч рублей в год и отписана на нее целая волость в две тысячи дворов.

Вестниками этой радости были посланы государем к царице-инокине два важных вельможи — князь Василий Лукич Долгоруков и Дмитрий Михайлович Голицын. Когда они сообщили ей повеление государя, Евдокия Федоровна промолвила:

— Князья, я не найду слов, как благодарить моего внука, великого государя, за его внимание к моему убожеству. Вам ведомо, что много я вытерпела, много перенесла на своем веку горя и несчастья, а его царское величество безмерной радостью меня изволил наделить... И за это я шлю ему мой земной поклон.

Сказав это, царица хотела опуститься на колени, но князь Голицын остановил ее от этого поклона.

— Не труди себя, царица-матушка... Великому государю твой поклон мы передадим.

— Его царское величество изволит через нас тебя, государыню, спрашивать: не требуется ли твоему величеству

еще чего-нибудь? — с низким поклоном сказал князь Василий Лукич Долгоруков.

— Ничего мне больше не надо, князь, всем я безмерно взыскана моим внуком-государем. Только об одном скажите его величеству, что прошу я у него, как большой милости, приехать навестить меня.

— Передадим мы великому государю, матушка-царица, твою просьбу, — проговорил князь Голицын.

Евдокия Федоровна очутилась теперь в большой славе; ей воздавали царские почести, называли царицей и государыней; к ней в Новодевичий монастырь всякий день ездили на поклон вельможи и первые люди в государстве, и многие заискивали ее расположения.

Воспрянула духом царица-инокиня и даже как бы помолодела на несколько лет. Каждый день поджидала она приезда внука-государя. Но Петр, проводивший почти все дни на охоте, окруженный Долгоруковыми, забыл обещание навестить свою бабушку; увлеченный охотой, он стал также забывать и горячо любимую сестру Наталью Алексеевну, которая стала очень часто прихварывать и день ото дня худела и бледнела, тая, как свеча.

Зато царевна Елизавета Петровна цвела, что роза майская, и день ото дня становилась все красивее и красивее.

Император-отрок влюбился в свою красавицу-тетку и ни на ком не хотел жениться, кроме нее. Не раз об этом начинал он говорить с царевной Елизаветой, чуть не со слезами просил ее согласия, но всегда получал отказ, хотя и подслащенный уверениями в любви и преданности.

Наконец он решил окончательно выяснить вопрос. Не поехав как-то на охоту, он отправился на половину Елизаветы Петровны и застал ее печально сидевшею у стола; на ее красивых глазах видны были следы слез.

— Лиза, ты печальна? Ты плакала? — с удивлением воскликнул император-отрок, привыкший видеть свою красавицу-тетку всегда веселой и счастливой.

— Нет, я ничего, — стараясь улыбнуться, ответила царевна.

— Тебя, может быть, кто обидел? Скажи, Лиза, и тот мне дорого за это заплатит... кто бы он ни был!..

— Вот как, государь? Ты не помиловал бы и своего любимца князя Ивана?

— А разве он обидел тебя чем-либо?

— Нет. Да и как смеет обидеть меня князь Иван? Только за несколько минут до твоего прихода, государь,

он заходил ко мне и чуть не на коленях просил, чтобы я вышла за него замуж.

— Как он смел только подумать об этом! — сердито топнув ногою, воскликнул Петр.

— На него сердиться не стоит, Петруша. Твой князь Иван какой-то полоумный, право! Он собирается жениться на Наталье Шереметевой, об этом все знают, а нынче ко мне пришел, плачет, в ноги кланяется. «Не мужем, — говорит, — твоим я буду, прекрасная царевна, а рабом». И смешно, и обидно мне было это слушать. Я — дочь императора, перед памятью которого благоговееет вся Русь, а подданный моего отца смеет предлагать мне брак! Он не смел бы и подумать об этом, если бы жив был мой отец... Я — сирота, круглая сирота, заступиться за меня некому, — со слезами на глазах проговорила царевна Елизавета Петровна.

— Как некому! А я? Меня ты забыла, Лиза? — с легким упреком сказал Петр. — Я... я сегодня же прикажу арестовать Ивана.

— Не делай этого, государь! За твою любовь ко мне и за защиту большое спасибо, но князю Ивану лиха я не желаю... да и не за что! Видно, он от гульбы и от бессонных ночей ополоумел и вместо какой-нибудь другой девицы ко мне пришел. Мне, царской дочери, он стал предлагать выйти за него, и на это глупое предложение я смехом ответила, а не злобою, и прогнала его.

— А мне чем ответишь ты, Лиза, если я стану усердно просить тебя о том же? — слегка дрожащим голосом промолвил император-отрок.

— Теми же словами, какими и прежде. Немыслим этот брак, государь! Святая церковь и народ осудят нас. И счастья нам не будет. Ведь Богу противен будет этот беззаконный брак.

— Это твое последнее слово, царевна?

— Да, да, последнее.

— Стало быть, ты не любишь меня, не любишь? — в голосе юного государя звучали слезы. — Ты делаешь меня несчастным, Лиза!

— Полно, голубчик мой, счастливее тебя на всем свете нет. Ты — государь, тебе подвластны миллионы людей, ты молод, красив. Но о любви и о женитьбе тебе думать еще рано. Тебе следует еще многому учиться. Вот подрастешь, возмужаешь, тогда и женишься.

— Наставления, царевна, оставь при себе, их мне надоело слушать и от Андрея Ивановича, — сердито прервал

император-отрок. — Обидны мне твои слова, царевна! Ты все считаешь меня за мальчика. А ведь мне уже четырнадцать лет.

— Небольшие года еще, Петрушенька, небольшие. Ты еще только начинаешь жить. Твоя жизнь впереди, тебе еще многому учиться нужно. Не думай, что легко державой управлять. Мой отец покойный, а твой дед, богатырем был, но и то часто тяжелой думе предавался, поникнув своей могучей головой. На помощников своих много не полагайся. Верь больше своим глазам, а не чужим. Особенно на Долгоруковых много не полагайся, себя им в руки не отдавай. Слух идет, что князь Алексей задумал женить тебя на своей дочери.

— Что же, и женюсь, женюсь. Ведь ты не хочешь быть моей женой, так я женюсь на Долгоруковой.

— Смотри, не вышло бы с твоей невестой Долгоруковой то же, что и с Марьей Меншиковой.

— Этого никогда не может быть. Долгоруковы мне преданы, особенно же князь Иван.

— Ох уж этот мне князек! Совсем тебя испортил он! И не я одна так думаю, а многие.

— Так все вы ошибаетесь, все! Князь Иван — мой искренний и преданный друг! Он желает мне добра и счастья, и ничто не заставит меня изменить к нему свои отношения! — громко проговорил император-отрок и, не сказав более ни слова, быстро вышел.

IV

Коронация императора-отрока отличалась особою торжественностью и блеском. Торжества длились несколько дней подряд и сопровождались придворными великолепными балами, угощениями для народа, а также роскошными фейерверками и иллюминацией.

В дни коронации Петр наградил своих приближенных: князя Долгоруковы были назначены членами верховного тайного совета, а царский любимец Иван Долгоруков — обер-камергером.

Хитрый дипломат Андрей Иванович Остерман по-прежнему пользовался расположением и доверием юного государя, но никак не мог приохотить его к занятию науками.

С переездом двора в Москву в 1728 году, как говорит историк, «потехи» Петра II окончательно взяли верх над

учеными и серьезными занятиями. Ребенок-император предался всецело увеселениям и в особенности охоте. Но на этот раз виновником его рассеянной жизни был уже не Иван Алексеевич, а отец фаворита Алексей Григорьевич Долгоруков, задавшийся целью непременно обвенчать Петра II с своею дочерью, княжною Екатериной.

На семейном совете Долгоруковы решили помогать Алексею Григорьевичу в осуществлении этого плана, и только один Иван Долгоруков высказался против этого.

— Что ты, отец, задумал?.. Наша Катя — вовсе не подходящая невеста государю, — возразил он отцу.

— Не подходящая, ты говоришь? А дозвошь узнать, чем?

— А тем, во-первых, что она старше государя, а во-вторых, нрав у нее крутой, капризный.

— Ты говоришь так потому, что не любишь Катю и не желаешь ей счастья, но все-таки она будет царицею.

— Едва ли!

— А я говорю: будет, будет... Или ты пойдешь против меня, отца?

— Не против тебя, батюшка, я пойду, а против неправды. Наш государь одной неправдой окружен. Впрочем, делайте, как хотите, мешать я вам не буду. Мне с вами не справиться: вас много, я один, — с тяжелым вздохом проговорил князь Иван.

— Завтра государь отправляется на охоту в наши заповедные леса и обещал посетить наши Горенки... Ты поедешь ли? — спросил у сына Алексей Долгоруков.

— Нет! Скажусь больным и не поеду... Без меня вам же лучше будет. Некому будет государя остановить.

— Эх, Иван!.. И язык же у тебя!.. Что бритва... А ты когда же на Шереметевой женишься?

— Не знаю.

— Видно, еще не перебесился!.. Жаль Настеньку Трубецкую покинуть?.. Так, что ли? Ты думаешь, твои шашни мне неизвестны? Думаешь, не знаю, как ты князя Никиту Юрьевича Трубецкого за нос проводишь? Все я знаю, все знаю...

— Твое знание при тебе и останется, — холодно и спокойно возразил отцу князь Иван.

— А если невеста узнает про твои любовные проделки?

— Наташа и без того все знает, я сам рассказал ей.

— И после твоих рассказов она идет за тебя? — с удивлением воскликнул Алексей Долгоруков.

— Да, идет...

— Или она дура набитая, или уж чересчур крепко полюбила тебя!.. Когда же обручение будет?

— На днях... Государь дал слово быть.

— Государь к тебе благоволит... Только гляди, Иван, крепче держись за государя... Врагов у тебя немало. Князь Трубецкой — первый твой враг.

— Не боюсь я его, не боюсь. Знаю, за что злобится.

— Еще бы не злобиться, когда ты жену у него отнял.

— Не моя вина, если он не сумел сберечь свою жену.

— Ну ладно, это — дело твое, а я за тебя — не ответчик. Об одном прошу: не порти нашего дела и против счастья всей нашей семьи не иди.

— Смотри, отец, не ошибись! Чаешь счастья, не получи несчастья!

— Типун тебе на язык! Ты, как черный ворон, одно лишь несчастье и сулишь, — сердито вымолвил старый князь. — Лучше уйди! Ты только на то и горазд — отца расстраивать.

Проговорив эти слова, князь Алексей Григорьевич оставил горницу сына, сердито хлопнув дверью.

Едва только вышел князь, как ему на смену быстро вошел Левушка Храпунов и таинственным голосом проговорил, обращаясь к Ивану Долгорукову:

— Тебя какая-то дама спрашивает. По нужному, говорит делу.

— Дама? Молодая или старая?

— Не ведаю, под вуалью не видно.

— И фамилии своей не сказала?

— Не сказала... Твои холопы ее не пускают.

— Прикажи, Левушка, пустить, а сам помедли, не входи, пока не позову.

Спустя немного к Ивану Долгорукову вошла какая-то стройная женщина, богато одетая; ее голова была покрыта фатой или густой вуалью. Не говоря ни слова, она быстро подняла вуаль.

— Настя? — с удивлением воскликнул молодой князь.

— Да, Настя! Не ждал? Удивлен?..

— Признаюсь... Чему приписать твой неожиданный приход?

— А вот сейчас скажу... Дай мне дух перевести! Устала, спешила... — проговорила княгиня Настасья Гавриловна Трубецкая, уже давно находившаяся в близких отношениях с Иваном Долгоруковым.

Князь Иван открыто вел связь с Трубецкой, несколько не стесняясь ее мужа; по словам его современника, князя

Щербатова, он, бывая у князя Трубецкого с другими своими молодыми сообщниками, «пивал до крайности, бивал и ругивал мужа, бывшего офицером кавалергардов, имевшего чин генерал-майора и с терпением стыд свой от жены сносившего».

— Скажи мне, ты все-таки решил жениться на Наталье Шереметевой? — сердито посматривая на князя, спросила Трубецкая.

— Все-таки решил, ведь тебе известно об этом.

— А я-то как же?

— А ты, Настя, при своем муже будешь, — насмешливо ответил Долгоруков.

— Грех тебе, Ваня!.. Меня, женщину, которая тебя так горячо любила, а может, любит и теперь, ты променял на девчонку. Чем она лучше меня? Моложе, только и всего...

— Молчи! Можешь ли ты равнять себя с моей Наташей? Она и ты — ведь это рай и ад. Если, Настя, хочешь, чтобы я слушал тебя, не говори ни слова о Наташе. Она — святая!

— Святая!.. Ишь, что выдумал!.. Святая, пока...

— Молчать, говорю! — крикнул князь.

— Что ты кричишь, злодей? Или драться со мною задумал? Что же, бей меня!.. — И княгиня Трубецкая заплакала.

— Слушай, Настасья! Утри свои слезы, ведь меня не разжалобишь. Не хнычь! Ваших бабьих слез я не люблю... Домой ступай, перед своим мужем-тюфяком плачь, перед ним притворяйся.

— Злодей, еще смеешь гнать меня!.. Теперь я стала не нужна, надоела...

— И то надоела! Знаешь, Настя, расстанемся по-хорошему, друзьями.

— Легко сказать — расстанемся... Я так привыкла к тебе, полюбила...

— Не верю я в твою любовь, не верю. Прежде ты мужа полюбила, а там меня, и точно так же другого полюбишь.

— А Шереметеву Наташу ты любишь?

— Изволь, скажу: свою невесту я и любить боюсь.

— Как так? — с удивлением воскликнула Трубецкая.

— Рассказывать про то тебе не буду, ты не поймешь. Одно скажу: слишком чиста Наташа! Ну, прощай, Настя, мне недосуг — к государю надо идти.

— Неужели мы так и расстанемся с тобой, тиран ты мой, мучитель?

— Проститься к тебе, Настя, я как-нибудь приеду, а теперь прощай!

— Хоть немного проводи меня!

— Говорю, недосуг мне. Ну, да так и быть, напоследок, пойдем, немного провожу. — И князь Иван встал, чтобы проводить свою отвергнутую возлюбленную.

Она, заливаясь слезами, опустила свою вуаль и беспрепятственно вышла с ним из его покоев.

Князь вполне равнодушно простился с нею; его несколько не тронуло горе молодой женщины, и он совершенно спокойно продолжал свой образ жизни, полный веселья, кутежей и даже безобразий. Это веселье происходило не только вне царского дворца, но и в стенах последнего, и в него князь Иван, подчиняясь указаниям отца, втягивал и юного императора. Чтобы всецело ослабить волю Петра Алексеевича и овладеть им, Долгоруковы старались затуманить его мозг жизненным угаром и, несмотря на его крайнюю молодость, познакомить его с такими отрицательными сторонами жизни, которыми непристойно было бы увлекаться и вполне возмужалым людям. Это очаровывало отрока-императора, он охотно поддавался этим «радостям жизни», не замечая страшного вреда их для себя.

Но вот наступил день обручения князя Ивана Алексеевича Долгорукова с графиней Натальей Борисовной Шереметевой. Часа за два до приезда жениха и гостей нареченная невеста сидела в своей богато отделанной горенке в кругу подруг и родственниц. Совсем готовая к приему жениха и гостей, она была чудно хороша в белом обручальном платье из дорогого шелка, шитом серебром и крупным жемчугом, с дивной диадемой из крупных алмазов на голове и с такими же алмазами в ушах и на груди. Однако невеста была задумчива и печальна; когда же ее подруги запели венчальные песни, ей стало еще печальнее, еще скучнее, она закрыла лицо руками и тихо заплакала.

Пелагея Степановна, пожилая вдова-боярыня, тетка графини Натальи Борисовны, заметив эту печаль племянницы, выслала из горницы ее подруг и, оставшись с Наташей одна, спросила ее:

— Что с тобой, светик?

— Печаль, тоска на сердце, тетушка, а с чего — и сама не знаю. И рада бы я, тетушка, не плакать, рада бы не горевать, да слезы сами бегут из глаз.

— С чего бы это? Уж не от сглаза ли с тобой поприitchилось? Твоя пора, племянница, не слезы лить, не тоско-

вать, а веселиться да радовать. Жених твой — краса писаная, знатный, любимец государя... Легко сказать!

— От всех одно и то же слышу я, тетушка, все моему счастью завидуют, но от этого счастья у меня больно-больно сердце сжимается. Видно, не перед добром это!

— Полно, Наташенька, полно! Хочешь, позову я подружек и петь их заставлю величальные песни, веселые?

— Нет, нет, не надо, тетушка... С их песен мне еще скучнее становится; похоронными те песни мне кажутся.

— О, Господи, помилуй! Сглазили тебя, Натальюшка, сглазили, моя сердечная! Перестань же плакать! Того гляди, жених приедет, а у тебя и глазыньки заплаканы... Не хорошо!..

В этот момент вбежала Груша, любимая прислужница графини, и поспешно проговорила:

— Едет... Князь-жених едет...

— Ну, слава Богу! Пойдем, Наташа, навстречу жениху.

Пелагея Степановна взяла за руку побледневшую еще более графиню Наталью и пошла с нею навстречу князю Ивану Долгорукову.

Подруги Натальи Борисовны и ее сенные встретили жениха величальной песней.

— Спасибо вам, красные девицы, спасибо! Вот вам на наряды да на сладкий леденец, — весело проговорил князь Иван, кланяясь девицам, и дал им горсть червонцев.

Вслед за князем Иваном в палаты Шереметевых прибыл император-отрок с цесаревной Елизаветой Петровной и тотчас же начался обряд обручения, а затем был открыт блестящий бал.

Государь, двор и все вельможи принимали участие в нем, веселье было общее, одна невеста по-прежнему оставалась печальной.

Жених заметил это и спросил у Наташи:

— Радость моя, ты печальна. Скажи, с чего? Я так счастлив, безмерно счастлив, а ты, моя голубка, грустишь?

— Тебе так показалось, князь, я весела.

— Нет, нет, меня ты не обманешь. Ну, да скоро я развеселю тебя цыганской песней и пляской. Под Москвой стоит табор цыган, я приказал привести их сюда; твои братья дали мне свое согласие. Вот как уедет государь, я и прикажу ввести цыган, конечно, если ты дозволишь.

— Что же, пускай повеселят...

Действительно, по отъезде государя и двора в палаты Шереметевых были введены пятеро цыган и шесть цыга-

нок. Долго веселили они гостей своими песнями и пляской, а потом цыганки стали гадать, получая за это с гостей щедрую подачку.

— Эй, старая колдунья, погадай и мне про мою судьбу!.. Скажи, что ждет меня впереди, — подзывая к себе старую цыганку, одетую в рубище, грубо сказал князь Иван Долгоруков, протягивая руку.

Долго смотрела на его ладонь цыганка, а потом, не говоря ни слова, хотела отойти прочь.

— Стой!.. Куда же ты? Сказывай, что на моей ладони увидала! — остановил ее князь Иван Долгоруков.

— Ох, князь-красавец, лучше не спрашивай. Цыганкины слова вещие, они сбываются, не минуются. Судьба твоя плачевна и несчастна. Кровь, кровь я видела... Несчастный, бесталаный!.. лютая казнь ждет тебя.

Как тихо ни проговорила эти слова цыганка, но они дошли до слуха графини Натальи Борисовны, стоявшей рядом с женихом, и она упала без чувств.

Произошел большой переполох. Все бросились на помощь графине. Старая цыганка воспользовалась этим и скрылась из палат незамеченной. Сколько ни искали ее, нигде не могли найти. Некоторые из гостей заметили, что с этой цыганкой перед тем долго говорил князь Никита Трубецкой, находившийся на балу; кивком головы он показал старухе-цыганке на своего соперника, князя Ивана Долгорукова.

Обморок невесты на всех гостей произвел удручающее впечатление. Они поспешили разъехаться, и в палатах Шереметева у своей невесты остался только Иван Долгоруков со своими любимцами и приятелями — Левушкой Храпуновым и Степаном Васильевичем Лопухиным. «Свойственник государев по бабке его Лопухиной, первой супруге Петра Великого», Степа Лопухин был камер-юнкером при дворе и пользовался особою привязанностью царского фаворита.

— Ну что, как Наташа? — дрожащим голосом спросил Иван Долгоруков у брата невесты, графа Петра Борисовича Шереметева, только что вернувшегося из горницы сестры.

— Все еще без памяти. Впрочем, лекарь говорит, что опасного ничего нет.

— Господи, и с чего это с нею, с чего? Неужели вранье проклятой цыганки так подействовало на нее?

— Страшные слова сказала цыганка, князь Иван Алексеевич, страшные.

— Неужели же верить им?..

— Ох, князь, большинство людей верит в цыганские предсказания.

— Неспроста старая цыганка сказала те слова, неспроста, — тихо проговорил Храпунов. — По-моему, ее подучили сказать их.

— Кто, кто?

— Верно сказать, князь, я не могу, а только видел, что князь Никита Трубецкой с цыганкой что-то долго говорил и на тебя кивнул ей головою.

— Ты думаешь, Трубецкой подучил цыганку? Может быть! У Никиты Трубецкого есть ненависть ко мне и злоба, он ненавидит меня, и, без сомнения, это он подучил цыганку. Но он поплатится мне за это!.. Я все узнаю, — с большим волнением проговорил Долгоруков.

— Что ты задумал делать? — спросил Лопухин.

— Я... я сейчас поеду к Трубецкому и спрошу у него.

— Разве он скажет тебе?

— Я заставлю его сказать правду!.. Силою заставлю повиниться!.. Степа и ты, Левушка, со мною поедете!

— Ехать в такое время!.. Ведь ночь, — возразил Лопухин. — Отложи хоть до завтра.

— Нет, нет, сейчас. Ни одной минуты не стану медлить!.. Вас, друзья мои, тревожить я не буду, один поеду.

— Но мы тебя не отпустим... Куда ты, туда и мы.

— Спасибо, друзья, спасибо! Я верю вашей дружбе и привязанности, верю.

Вскоре же Долгоруков со своими приятелями уехал из палат Шереметевых и, несмотря на то, что была глубокая ночь, приказал взять себя к дому князя Никиты Трубецкого. Всю дорогу он был печален и наконец произнес:

— А что, друзья мои, если слова старой цыганки и на самом деле будут вещими? Ведь многие говорят, что цыганкины предсказания сбываются. А вдруг и действительно меня ждет лютая казнь?

— Что ты, что ты! С чего такие мысли! — в один голос испуганно воскликнули его товарищи.

— Кто знает... Будущее от нас закрыто непроницаемою завесой.

— Если так, то как же цыганка может знать твою судьбу? — успокаивая приятеля, проговорил Храпунов.

— Да, пожалуй, и так! Ну да что!.. Чему быть, того не миновать, от своей судьбы не уйдешь, не уедешь. А теперь, друзья, давайте брать от жизни то, что она дает нам. Эй, ямщик, говорят, ты горазд песни петь. Запой веселую, а мы тебе подтянем.

И вот среди безмолвной тишины ночи громко раздалась веселая песня; звонко понеслась она по улицам Москвы и замирала где-то далеко, в беспредельном пространстве.

Но вот показался дом князя Никиты Юрьевича Трубецкого. Полнейшее безмолвие царило в нем; огни были давно погашены и ворота на запоре. Князь Никита и его жена давно вернулись с бала от Шереметевых и теперь уже крепко спали.

Громкий стук в ворота не в урочный час разбудил не только княжеских холопов, но даже самого князя и его жену.

— Поди, узнай, кто стучит, кто смеет нарушать мой покой? — сердито приказал князь своему дворецкому.

Старик-дворецкий, немного спустя, принес такое известие:

— Князь Иван Алексеевич у ворот твоих, государь! Слышь, в гости к твоей княжей милости прибыл.

— В такую-то пору? Не отпирать ему ворот!

— Грозится, государь, выломать.

— Бесчинник, разбойник! Что с ним и делать? — упавшим голосом проговорил князь.

— Принять его надо, скорее принять!.. Ведь князь Иван выполнит свою угрозу, — несколько смущенно посоветовала мужу княгиня, наскоро одеваясь.

— Принять!.. Знаю, ты рада его приезду, бесстыжая баба! — крикнул Трубецкой, но волей-неволей ему пришлось отдать приказ отпереть ворота и, несмотря на ночную пору, впустить неожиданного гостя на двор.

Князь Иван в сопровождении Лопухина и Храпунова вошел в горницу. Неласковым взглядом встретил его князь Никита Трубецкой и резко проговорил:

— Надо бы тебе пору знать, гость незванный. «Не в пору гость — хуже татарина».

— Не гостить к тебе я приехал, а за делом, — хмуро ответил Долгоруков.

— А дня-то разве тебе мало? Кто это по ночам за делом ездит?

— Спешное, неотложное дело у меня, князь! По злобе ты подучил цыганку на балу сказать, что меня казнь ожидает.

— С чего ты вздумал, князь Иван Алексеевич, зачем я буду подучать? — меняясь в лице, воскликнул Трубецкой.

— Ты смутился, значит, я прав! Но я и внимания не обратил бы на все это, если бы от цыганкиных слов не пострадала моя невеста, графиня Наталья... С испуга она и посейчас лежит без памяти.

— Так что же, князь, от меня ты хочешь?

- А ты вперед покайся.
- Разве ты — поп, что меня каяться заставляешь?
- Ох, князь Никита, не вилай, а прямо говори: ты подучил цыганку?
- Ничего я не говорил, ничего не знаю.
- Так ли, князь Никита? — насмешливо посматривая на Трубецкого, проговорил Долгоруков.
- Что? Или божиться меня заставишь, а может, пыткой задумал от меня признания добиться? — крикнул Трубецкой.
- Не кричи, этим себя не оправдаешь, да и не испугаюсь я тебя! Вижу, виноват ты, и с тобою мне не о чем больше говорить. Поди-ка ты отсюда вон да пошли ко мне свою жену: с нею я поговорю.
- Моя жена спит.
- Так разбуди. Я так хочу!
- Не забывай, князь Иван, в моем доме нет твоей власти. Ни хотеть, ни приказывать ты тут не можешь! — крикнул Трубецкой.
- Не хочешь разбудить свою жену, так я разбуджу ее. — И Долгоруков направился в спальню княгини Трубецкой.
- Ты куда? Не дури, князь Иван, опомнись... Не то холопов позову.
- Ты еще смеешь мне холопами грозить! Если ты мне не страшен, то холопы твои и подавно.
- Князь Иван несколько не постеснялся бы войти в спальню к жене Трубецкого, если бы она сама не появилась около двери.
- Что тебе, князь Иван, надо? Что ты шумишь? — полусердитым голосом спросила она у назойливого гостя.
- А, княгиня, не спишь? Поговорить мне с тобой, Настя, надо.
- Шальной ты, князь Иван, как есть шальной! Что же ты ночью, а не днем?
- Днем-то, Настя, недосуг — все в разъездах. Князь Никита, выйди на малое время, мне с твоей женой поговорить кой про что надо...
- А зачем мне выходить? Говори при мне...
- Повыдь, говорю!
- Лучше ты повыдь, а я не пойду.
- Не выйдешь? Так я выброшу в окно! — невозмутимо проговорил Долгоруков.
- Что такое? Меня в окно? Да ты, верно, князь, не прочах еще с вина? Поезжай домой и спать скорей ложись.

По доброй воле не пойдешь, прикажу холопам силою вывести тебя. Эй, люди! Сюда, ко мне! — задыхаясь от бешенства, крикнул князь Никита Юрьевич.

— А, ты вот как!.. Ты у меня, пес, сейчас за окном очутишься! — И Долгоруков, схватив в охапку тщедушного Никиту Юрьевича, потащил его к окну.

Трубецкому быть бы непременно за окном, если бы тому не воспрепятствовали Лопухин и Храпунов. Им удалось уговорить не в меру разбушевавшегося товарища и увести его домой.

С того дня Трубецкой еще более озлобился на Долгорукова, но волей-неволей до времени должен был таить свою злобу на сердце, потому что бороться с Долгоруковым ему было не под силу, так как тот был всесильным фаворитом при императоре-отроке.

Князь Алексей Григорьевич употреблял все усилия, чтобы как-нибудь отстранить от царя своего «непокорного» сына Ивана и вместо него приблизить к царю своего младшего сына Николая. Вначале это ему несколько удалось. Император-отрок стал охладевать к своему любимцу, но это произошло больше оттого, что Петр II ревновал Ивана Долгорукова к царевне Елизавете Петровне. Однако, когда князь Иван объявил себя женихом графини Натальи Шереметевой, государь опять вернул свое расположение к своему фавориту и по-прежнему стал целые дни проводить с ним на охоте.

Долгоруковы так повели дело, что отстранили от государя даже его близких, так что великая княжна Наталья Алексеевна по целым неделям не видала своего юного державного брата. К красавице-царевне Елизавете Петровне император тоже заметно охладел и не появлялся у нее. От занятия науками он совсем отстал, и Остерману пришлось махнуть рукою на его образование. Охота и Долгоруковы — вот все, что теперь занимало Петра II.

Вскоре после обручения Ивана Долгорукова император, после охоты, для «отдыха», заехал в усадьбу Горенки. Там ему устроили пышную встречу. Во время стола государю прислуживала старшая дочь Алексея Долгорукова княжна Екатерина и, исполняя в точности строгий приказ своего отца, употребляла все усилия, чтобы привлечь и прельстить государя своею красотой. Княжне почти удалось это. Петр стал интересоваться ею и все чаще и чаще стал бывать в Горенках и проводить там не только дни, но и целые недели. Князь Алексей Григорьевич изобретал всевозможные развлечения и увеселения, чтобы

только не скучал его державный гость и «будущий зять». Изящная кокетка-княжна сумела увлечь юного Петра, но только увлечь. Император-отрок не мог полюбить княжну Долгорукову, точно так же, как он не любил княжну Меншикову. Княжна Екатерина даже не особенно нравилась государю. Но когда Долгоруковы посоветовали ему или, скорее, упросили его жениться на княжне Екатерине, он, разочаровавшись в возможности брака с цесаревной Елизаветой, нисколько не задумываясь, изъявил на то согласие. И вот дочь Алексея Долгорукова княжна Екатерина была объявлена невестой государя, и был назначен день обручения.

V

Была осенняя, ненастная ночь; порывистый ветер с мелким дождем рвал и метал. Непроглядная темнота царила на улицах Москвы.

Мрачно смотрели и стены Лефортовского дворца. Там, окруженная пышной роскошью, медленно угасала пятнадцатилетняя великая княжна Наталья Алексеевна, дочь царевича Алексея Петровича. Все усилия вырвать царственную страдальцу из объятий смерти остались тщетны, и знаменитым врачам того времени пришлось сложить свое оружие.

Бледная, с прозрачным, как воск, лицом, с обострившимся носом, с синими кругами около глаз и с почерневшими, пересохшими губами, лежала царица на своем смертном ложе. Ей было скучно, больно; много людей около нее, но близких не было ни одного. Самым близким, самым сердечным человеком для умирающей был державный брат, император-отрок, но и он не бывал у своей сестры.

Петр увлекся охотой и, несмотря на осеннюю ненастную погоду, проводил все дни в лесу; только одна поздняя ночь загоняла его на ночлег в подмосковную князей Долгоруковых Горенки.

Однако кто-то мельком сказал ему о болезни сестры, и он заволновался, хотел тотчас же бросить охоту и ехать в Москву, но князь Алексей Григорьевич Долгоруков уверил государя, что болезнь великой княжны не представляет никакой опасности. Петр успокоился и остался.

А опасность была большая; не только дни, но и часы жизни царицы Натальи Алексеевны были сочтены.

Сама она сознавала, что ее болезнь, чахотка, неизлечима, что смерть неминуема, но тяжело было ей умирать в пятнадцать лет, когда только начинается жизнь.

Тихо было в слободском дворце; все погружено в глубокий сон; дремала, сидя в кресле около больной царевны, ее камер-фрау. Не спала только одна бедняжка-царевна; она, широко открыв свои большие глаза, с ужасом смотрела на большой портрет своего великого деда, Петра I, висевший против ее кровати, и ей казалось, что грозный дедушка-император пришел за нею с того света и манит ее своею могучей, мозолистой рукой.

— Не пойду, голубчик-дедушка! Не пойду я с тобой. Я не хочу умирать, не хочу. Мне надо жить... для брата надо жить. Без меня Петруше худо будет жить на свете, некому будет пожалеть и вразумить, — шептали посиневшие губы умирающей царевны, но тут же она подумала:

«Да ведь это — дедушкин портрет. Чего я испугалась? Мне все какие-то страсти представляются. Видно, я скоро умру... Ах, как мне хочется повидать Петрушу!.. Да Долгоруковы ни на шаг не отпускают его от себя. Погубят они Петрушу, погубят!.. Забыл меня Петя, совсем забыл. Да до меня ли ему теперь? Лес, охота, красавица княжна Екатерина — вот что теперь занимает его. Утром непременно пошлю за Петрушей. Мне не хочется умирать, не повидав его. Ох, как больно грудь!.. Камень душит».

Умирающая царевна закашлялась; это разбудило крепко уснувшую камер-фрау; она поспешно вскочила с кресла и бросилась подавать Наталье Алексеевне успокоительное питье. Это несколько успокоило больную царевну, и она заснула тревожным, лихорадочным сном.

Рано проснулась Наталья Алексеевна, едва стало рассветать. Она раскрыла глаза и испуганно вскрикнула: перед нею стояла старица-инокиня с бледным, исхудалым лицом, на котором заметны были следы слез; это была царица-инокиня Евдокия Федоровна; она прибыла из своей обители навестить умирающую внучку.

— Бабушка, вы... вы?!

— Прости, внучка-царевнушка, напугала, видно, тебя я, старая! — тихо проговорила царица, поднося к своим губам исхудалую, прозрачную руку царевны.

— Спасибо, что не забыли меня...

— Недужится тебе, голубка моя? Все ты хвораешь?

— Умру я скоро, умру, — печально промолвила Наталья Алексеевна, и в ее голосе были слышны слезы.

— Что ты, ластушка моя, что ты, царевнушка? В твои-то годы да умирать!

— Не хочется мне умирать, бабушка, не хочется, да только уж очень хворость меня замучила. А к хворости еще тоска смертельная. Хоть бы вы, бабушка, помолились за меня.

— Молилась, внучка, и молюсь. За кого мне, старой, и молиться, как не за тебя, Натальюшка, и за внука-государя?

— Бабушка, боюсь я за Петрушу, боюсь. От науки и от дела он отстал, у Долгоруковых днюет и ночует. Хоть бы ты, бабушка, поговорила Петрушу, поурезонила его!

— И, родная моя, да разве он станет меня слушать?

— Да, да. Он только и слушает одних Долгоруковых.

— Погубят его Долгоруковы, погубят, — со вздохом проговорила старица-царица, трясая своей седой головой.

— И я то же думаю, бабушка! Господи, что будет с Петрушей, когда меня в живых не станет?

Этот разговор сильно взволновал больную царевну, она заплакала, а следствием этого были опять страшный припадок кашля и общая слабость.

— Умираю... За братом... пошлите!.. Где Андрей Иванович? — слабым голосом промолвила Наталья Алексеевна.

— Я здесь, ваше высочество, здесь, — поспешно входя в комнату умирающей царевны, проговорил Остерман.

— За братом скорее пошлите!

— Давно уже послано, ваше высочество! Государь должен скоро быть.

— Господи, как тянется время!.. Боюсь — умру, не поймав Петруши.

— Вы слишком беспокоите себя, ваше высочество, а вам нужен безусловный покой, — дрожащим голосом проговорил Остерман.

Он сам был сильно встревожен и тронут положением великой княжны. Он был привязан к императору-отроку и к его сестре, искренне любил их.

— Андрей Иванович, ты будешь иметь великую ответственность и перед Богом, и перед людьми за свое упущение, — строго проговорила старица-царица, обращаясь к Остерману.

— За какое, матушка-царица?

— Изволь, скажу: ты взялся быть воспитателем внука моего, государя Петра Алексеевича, и должен беречь и блюсти его как зеницу ока, следить, учить всему хорошему и от всего дурного останавливать... А ты...

— Что же я могу поделать, матушка-царица? Государь давно перестал меня слушать и все мои слова в резон не ставит, — оправдывался Андрей Иванович.

Он говорил совершенную правду; император-отрок любил Остермана, доверял ему, но, когда Андрей Иванович пытался наставлять его, плохо слушал и даже вовсе не слушал. О занятиях науками и совсем нечего было говорить. Петр считал свое образование оконченным.

— А зачем ты к государю Долгоруковых допустил? Зачем? Ведь они совсем завладели моим внуком, с пути его сбили! И теперь еще женить задумали на дочери князя Алексея, — продолжала старица-царица упрекать бедного Остермана, который и бледнел и краснел от этих упреков. — Пара ли прирожденному царю княжья дочь? Ведь она и летами старше его, и не в меру, говорят, спесива, своенравна. Разве такая-то достойна быть царицею? Чего молчишь-то?

— Что говорить — не знаю... мои оправдания, матушка-царица вы слушать не изволите, — совсем упавшим голосом ответил Андрей Иванович.

— А ты вот что: если сумел отстранить от государя Меншикова, то сумей и Долгоруковых отстранить.

— Едва ли, государыня-матушка. Долгоруковы забрали большую силу.

— Меншиков был много сильнее их. Сумел же ты его убрать со своей дороги. Теперь и с Долгоруковыми сумей то же сделать. Ну, мне пора. Прощай!.. Прощай и ты, горлица моя, голубка чистая... Храни тебя Господь! Иду о здравии твоём молиться.

Инокinya-царица подошла к больной царевне, перекрестила ее, поцеловала в лоб и вышла своей величавой походкой.

«Ну и женщина!.. Задала мне баню, как говорят русские. Что, если бы ей да власть в руки? Фу!.. Нет, подальше от нее, подальше», — поглядывая вслед уходившей инокине-царице, подумал Остерман.

Разговор инокини-царицы с Остерманом произвел на больную Наталью Алексеевну удручающее впечатление: она лежала с закрытыми глазами в полузабытии, дыхание у нее было тяжелое, прерывистое, и она тихо шептала в бреду:

— Брат... милый... Петруша... я так ждала тебя!.. По-едем отсюда!.. Далеко, далеко уедем... едем же скорее к маме, она нас ждет...

— Доктор, что это? Царевна, кажется, начинает бредить? — меняясь в лице от волнения, спросил Остерман у вошедшего придворного доктора Бидлоо.

— Да, барон, это — предсмертный бред, — тихо ответил доктор, отводя в сторону Остермана. — Спасти царевну от смерти может только один Бог. Я поддерживал больную лекарствами, пока это было возможно, но теперь ежедневно силы слабеют, жизнь угасает.

— Боже, где же государь? Что он не едет? — чуть не с отчаянием воскликнул Остерман.

Но государь был уже недалеко от слободского дворца; его лошади неслись вихрем, везя его из Горенок.

— Где сестра? Что с ней? — задыхающимся голосом спросил Петр, вбегая в комнату умирающей сестры.

— Наконец-то, государь, вы приехали... Великая княжна несколько раз изволила спрашивать о вас, — обрадовавшись приезду государя, проговорил Андрей Иванович.

— Что с ней, что?

— Слаба... очень слаба... в забытии находится.

— Петруша... ты приехал... я слышу твой голос, — очнувшись, слабым голосом проговорила царевна.

— Наташа, голубушка, что с тобой? — с рыданием воскликнул император, бросаясь на колени перед умирающей и целуя ее руки.

— Умираю, Петруша... думала, я тебя не дождусь... Не плачь, голубчик! За тебя молилась я на земле, молиться стану и на небесах.

— Наташа, Наташа, я сам умру скоро, — зарыдал Петр. — Без тебя я жить не буду... Повторяю, Наташа: умрешь ты, и я умру.

— Ты должен жить, Петруша, должен... Твоя жизнь нужна... Ты — царь. Послушай меня, мой голубчик! Оставь свою охоту и займись делами. Ах, Петруша, ты не сознаешь, что на тебе лежит великая обязанность. Слушай и поступай так, как посоветует тебе Андрей Иванович. Он добрый, честный и предан тебе. А Долгоруковых не слушайся: они, как Меншиков, больше думают о себе.

— Ваше высочество, вам вредно много разговаривать, — проговорил было Остерман.

— Вредно? Ах, Андрей Иванович, да ведь теперь мне все равно. Я умираю.

— Наташа, не говори так! Не говори! — не переставая громко плакать, проговорил император-отрок.

— Полно отчаиваться, мой милый, надо покориться воле Божьей. Обещай мне, Петруша, оставить охоту и разные забавы, а главное — уезжай скорее в Питер.

— Хорошо, Наташа, я все брошу. Я уеду в Питер, только не один, а с тобой, моя милая, дорогая сестра.

— Нет, поздно, Петя... Душа моя будет всегда около тебя, а тело здесь, в Москве, останется. Прощай, голубчик мой, я устала... очень устала...

Умиравшая царевна замолкла и закрыла глаза; ее дыхание стало частым, прерывистым.

Петр с ужасом посмотрел на сестру, быстро схватил доктора за руку и со стоном воскликнул:

— Доктор, спасите, спасите сестру... умоляю вас! Возьмите все что хотите, только вылечите!..

— Это невозможно, государь!

— Что же мне делать, что делать?

— Молиться, ваше величество! Бог всемогущ и творит чудеса, а мы, смертные, бессильны помочь царевне. Да в людской помощи она теперь и не нуждается, — взволнованным голосом проговорил доктор Бидлоо.

У царевны вскоре после возвращения государя началась агония: она то металась и тихо стонала, то затихала. Картина была потрясающая.

В комнате умирающей водворилась тишина: присутствующие едва могли сдерживать душившие их рыдания. Император-отрок стоял на коленях; его отчаяние было ужасно.

Вот умирающая широко раскрыла свои уже потухшие глаза и устремила их на царственного брата. Ее посиневшие губы пролепетали следующее:

— Прощайте... все... Петруша... мы... с тобой...

Великая княжна не договорила, слова замерли.

Император-отрок дико вскрикнул и упал без чувств, а затем несколько дней предавался своему сердечному горю и слезам, никуда не выходил из своего кабинета, так что доктора опасались за его здоровье.

Любимец государя Иван Долгоруков, его отец, а также и Остерман пробовали было успокоить государя, старались развлечь его, но все было напрасно — Петр отказывался от всяких развлечений.

Тогда обратились к помощи цесаревны Елизаветы Петровны, упросили ее побывать у государя, чтобы хотя немного развлечь и успокоить его.

В последнее время император заметно охладил к своей хорошенькой тетке и по несколько дней не видался с нею.

Цесаревна Елизавета тихо вошла в его кабинет и застала его печально сидевшим у окна.

— Прости, государь-племянник, что я без зова пришла к тебе. Уж очень мне захотелось навестить тебя, государь! Услышала я, что ты все скучаешь, печалишься.

— Неужели, тетя Лиза, мне веселиться при таком горе?

— Твое горе, Петруша, миновало.

— Как миновало? Как миновало? Я недавно сестру похоронил... Эта утрата ничем, ничем незаменима! — И государь заплакал.

— Слезы? Стыдись, Петруша! Слезы — достояние ребят малых и нас, женщин, а ты — государь. Не забывай, что слезами и тоскою ты не вернешь Наташи. К чему убиваться, свое здоровье портить? Ведь смерть — общий удел человечества. Все мы умрем, все!

— Я тоже скоро умру, Лиза, скоро!..

— Полно, голубчик, Петруша, что ты говоришь? Тебе жить надо, жить.

— Зачем?.. Для кого? Кому нужна моя жизнь?

— Странны твои слова, Петруша! Твоя жизнь нужна миллионам людей.

— Одни слова, Лиза, одни слова. Оставим лучше говорить об этом.

— Хорошо. Скажи, голубчик мой, когда же будет твое обручение с княжною Екатериной Алексеевной?.. Неужели в своем горе ты забыл и об этом?

— Да, да, обручение с Долгоруковой... К несчастью, я помню, Лиза, это, помню.

— Как к несчастью?.. Я плохо понимаю тебя!

— Чего же тут непонятного?.. Я думаю, тебе, Лиза, известно, что я не люблю княжну Екатерину.

— Зачем же ты женишься на ней, Петруша?

— Ведь надо же мне на ком-нибудь жениться. Я... я хотел, Лиза, жениться на тебе, но ты не идешь за меня. А как бы я был счастлив, если бы ты вышла за меня! — И император-отрок, взяв руку цесаревны Елизаветы, стал покрывать ее поцелуями.

Прежнего холодного отношения к красавице-тетке как не бывало; он на время позабыл свое гнетущее горе и в его юном сердце опять загорелась отроческая, чистая любовь.

— Что прежде я ответила на твои слова, Петруша, то и теперь отвечу. Невозможное то дело, невозможное, — твердо ответила цесаревна Елизавета.

— Ну вот видишь, видишь?.. Я — несчастный человек... должен жениться не на той, которую люблю, а на той, которую не люблю.

— Тебя никто не смеет принуждать, Петруша, не женись.

— Нет, я женюсь, назло тебе, царевна, женюсь на Долгоруковой, — сердито проговорил император-отрок, быстро расхаживая по своему кабинету.

— Назло мне? Да какое же я зло тебе причинила?

— Ты отвергла меня и мою любовь, а с нею вместе и царство. Разве это — не зло?

— Нет, государь, в этом нет зла. А вот было бы большим злом, если бы я решилась стать твоей женою. И Бог, и люди... все, все строго осудили бы нас.

— Ведь в других государствах женятся же и на тетках, и на двоюродных сестрах, и никто не осуждает.

Эта беседа была вдруг прервана приходом князя Алексея Долгорукова.

Петр нахмурился; ему неприятны были на этот раз и сам князь, и его приход.

— Ты что, князь? По делу, что ли? — не скрывая досады, спросил он.

— Погода, государь, хороша. Не изволишь ли куда-нибудь проехаться, прокатиться? — с поклоном ответил князь.

— На охоту пришел манить меня? В лес, поближе к Горенкам? Так, что ли, князь? — желчно засмеявшись, проговорил государь.

Князь Алексей Долгоруков опешил: он никак не ожидал от государя таких слов.

— Ну, что же молчишь, князь? В Горенки, говорю, пришел меня звать?

— Воля твоя, государь, куда соизволишь поехать, туда и поедем.

— Да, да, пока я еще не имею своей воли... Ну, как моя любимая невеста поживает, княжна Екатерина? — спросил император, сделав ударение на слове «любимая».

— Здравствует, великий государь, и шлет твоему царскому величеству свой рабский поклон. Да только скучает, государь, сильно скучает, не видя тебя, твоих пресветлых очей.

— Вот что!.. Слышишь, Лиза, княжна Екатерина по мне скучает, — обратился Петр к цесаревне и добавил: — Стало быть, она любит меня.

— Любит, государь, крепко любит. Кажется, сильнее своей жизни тебя любит.

— Какое для меня счастье!.. Не правда ли, Лиза? — полусерьезно-полунасмешливо промолвил государь, которого, очевидно, злил этот разговор.

— Невесте подобает любить своего жениха, государь, — с улыбкой промолвила красавица-цесаревна.

— Ты так думаешь, Лиза?

— Да, государь!

— И жениху тоже подобает любить невесту?

— Разумеется, государь!

— А большинство браков, пожалуй, происходит не по любви, но по расчету... Не правда ли, князь? Впрочем, я говорю это не по отношению к твоей дочери; ведь она меня любит... так я говорю князь?

Император-отрок был сильно возбужден, и голос у него дрожал.

— Государь, и на самом деле тебе надо бы непременно на прогулку поехать, благо погода хорошая, — с участием проговорила цесаревна Елизавета Петровна, заметив тревожное состояние своего державного племянника.

Он раздраженно прошелся по комнате и, истерически расхохотавшись, быстро произнес:

— Да, да, я сейчас поеду... Прикажи готовить лошадей, князь, вези меня скорее в свои Горенки. Невеста меня там ждет, соскучилась по мне, бедняжка, вот я и поеду утешить ее. Объяви, князь, всем придворным чинам, чтобы готовы были к нашему обручению, которое будет здесь, во дворце, тридцатого ноября. К этому дню должно быть все готово.

Долгоруков едва не вскрикнул от радости.

— Государь, ваше величество! — только и мог выговорить он от наплыва радостного чувства. — Это, такая честь, великий государь!

— Да, да... Ну, едемте... наверное, лошади готовы. Скорее на воздух, я здесь просто задыхаюсь. До свидания, царевна, до свидания! — И, нервно проговорив эти слова, император быстро вышел из своего кабинета.

За ним, отвесив низкий поклон цесаревне, последовал и Долгоруков.

— Бедный мальчик, ты слишком рано хочешь жить... Смотри, чтобы это не принесло тебе вреда! Жаль мне тебя,

голубчик, крепко жаль!.. Попал ты Долгоруковым, как муха в паутину, запутают они тебя, мой сердечный, — задумчиво проговорила Елизавета Петровна, направляясь к выходу, и в дверях чуть не столкнулась с князем Иваном Долгоруковым.

— Царевна, как я рад встрече с вами!.. Мне много о чем надо переговорить с вашим высочеством, — радостным голосом проговорил он.

— А мне с вами, Иван Алексеевич, говорить нечего и не о чем. Впрочем, дам вам такой совет: спешите скорее в Горенки, ваш отец уехал туда с государем. А то, смотрите, он займет при государе ваше место, — с насмешкою проговорила цесаревна и поспешила уйти.

«Ненавидит меня царевна, знаю. А за что?.. Что я ей сделал? И что за горький я человек? Никто меня не любит, никто. Впрочем, есть одна душа, которая меня и любит, и жалеет. Это — моя невеста, незлобивая Натальюшка. Поеду к ней, голубке. А в Горенки я не поеду; пусть отец «обставляет» государя, я же был верным слугою ему и таким и останусь».

VI

Между тем в один из тех дней, когда в царском дворце происходили все рассказанные ранее события, к воротам усадьбы Горенки робко подошел какой-то странный деревенский парень в сермяге, лаптях и большой меховой шапке; в руках он держал толстую суковатую палку. У ворот на скамье сидел княжеский дворовый Игнат, служивший выездным лакеем при княжне Екатерине Алексеевне, «государевой невесте». К нему-то и подошел деревенский парень и обратился с вопросом, довольно плохо произнося русские слова:

— Ты — здешний дворовый слуга?

— Ну, да... Тебе-то, мол, что?

— Сейчас узнаешь. Прежде скажи мне, ты деньги любишь?

— Да кто же не любит денег? — с удивлением поглядывая на странного парня с нежным, «барственным» лицом, ответил ему дворовый Игнат.

— Я дам тебе два червонца, а ты поди и вышли ко мне сюда камеристку княжны Екатерины Алексеевны, Дуняшу.

— Дуняшку?.. А зачем она тебе?

— Не твое дело! Получай два червонца и вышли Ду-
няшу.

— Два червонца... Да ты их, чай, и в глаза-то не ви-
дывал, — презрительно осматривая с ног до головы парня,
промолвил Игнат.

— Вот червонцы, видишь? — И странный парень, вы-
нув из кармана зипуна несколько червонцев, показал их
удивленному Игнату.

Тот никак не соображал, что у «косноязычного» чудака
найдутся червонцы.

— Неужели настоящие?

— А то какие же... Вышли камеристку княжны — и
получишь из них два.

— Жди... Сейчас приведу.

Игнат быстро направился к княжескому дому и спустя
немного вернулся к воротам в сопровождении Дуняши, до-
веренной горничной княжны Екатерины.

— Кто меня спрашивал? Ты? — обратилась она с воп-
росом к поджидавшему ее парню.

Но тот, прежде чем ответить девушке, дал два червонца
Игнату и быстро проговорил:

— Получай за услугу и ступай: больше ты не нужен.

Игнат, не помня себя от радости, пустился бежать от
ворот.

— Так, значит, ты звал меня? — спросила парня Ду-
ня. — Что надо?..

— Ты не узнала меня, Дуняша? — улыбнулся парень,
приподнимая с лица шапку.

— Граф... ваше сиятельство!..

— Тс... что ты кричишь? Перед тобою не граф, а рус-
ский мужик... Скажи, неужели верен слух, который дошел
до меня? Неужели княжна Екатерина на днях будет объ-
явлена невестой императора Петра? — с тревогою спросил
граф Милезимо, который, чтобы легче проникнуть в кня-
жеский загородный дом и свидеться с княжною Екатериной
Алексеевной, нарядился мужичком.

Граф Генрих Милезимо, молодой красавец, состоял на
службе при австрийском посольстве и был родственником
австрийского посланника. Милезимо и княжна Екатерина
уже давно со всем пылом юности любили друг друга и
питали надежду навеки принадлежать друг другу. Миле-
зимо готовился просить у Алексея Долгорукова руки его
дочери Екатерины, и вдруг все их планы были разбиты,
разрушены: у графа Милезимо явился сильнейший сопер-
ник — император-отрок.

— Верно, ваше сиятельство!.. Наш барин, князь Алексей Григорьевич, сказывал, что скоро будет назначено обручение нашей княжны с государем, — тихо ответила девушка.

— Возможно ли? О, мой Бог! — с отчаянием воскликнул Милезимо и после минуты горестного молчания продолжал: — Мне надо видеть княжну, непременно надо!..

— Трудно это устроить, граф... Ведь наш князь не велел принимать вас.

Действительно, Алексею Долгорукову кто-то однажды шепнул про отношения графа Милезимо к его дочери, и князь отдал приказ никогда не принимать графа.

— Устрой, Дуня... Вот тебе пять червонцев, устройшь мне свидание, дам больше, — просительно произнес Милезимо.

— Покорнейше благодарю, ваше сиятельство; пойдемте на двор, там и подождете. Я спрошу княжну и проведу вас к ней, — пряча деньги, предупредительно проговорила Дуняша.

Золото добыло графу Милезимо свободный доступ в комнаты невесты императора-отрока — он был тайно проведен Дуняшею туда.

Время было послеобеденное, и сам князь Алексей Григорьевич, и его жена-княгиня отдыхали.

— Здравствуйте, княжна. Как я счастлив, что опять вижу вас, моя дорогая! — полным счастья голосом проговорил Милезимо, страстно целуя руки у княжны Екатерины.

— К чему, граф, этот маскарад? — насупив свои густые брови, спросила княжна.

— Иначе как бы я мог проникнуть к вам?

— А разве это так надо?

— Мне надо было видеть вас, княжна, надо...

— Зачем?

— И вы спрашиваете? Что с вами, княжна? Я вас не узнаю. Вы не та милая, дорогая Катя, какою были прежде.

— Прошу вас не называть меня...

— Не называть вас Катей? Да ведь вы — моя милая невеста?

— Прежде я была вашей невестой, а теперь я — невеста другого, — ответила княжна.

— Другого? Быть этого не может, Катя! Мы дали клятву принадлежать друг другу.

— Это было давно, граф, когда я жила еще у бабушки, в Варшаве. Но тогда мы с вами были чуть ли не детьми.

— Княжна, так неужели правда? Неужели вы разлюбили меня? — с отчаянием воскликнул Милезимо.

— На днях, граф, назначено мое обручение с государем, — не без довольства проговорила Екатерина.

— Так правда, правда? Вы отдаете руку и сердце императору-мальчику?

— Отдаю только руку, а мое сердце принадлежит другому.

— Княжна, вы играете мною! — воскликнул Милезимо.

— Прошу вас, говорите как можно тише!.. Могут услышать, узнать вас... Мой отец здесь, в усадьбе. Советую вам, граф, скорее уходите. Как ни тяжело мне говорить...

— Нет, так скоро я не уйду от вас. Ведь немало времени прошло, как мы не видались с вами. Меня не допускали к вам... В Москве уже давно шел слух, что государь хочет жениться на вас, но я плохо верил тому слуху. И вдруг на днях я то же услышал от своего родича, графа Вратислава; он сказал мне, что уже назначено ваше обручение с государем. Эта весть как острый нож кольнула меня в сердце! Я решил во что бы то ни стало видеть вас, княжна, и говорить с вами.

— Но к чему может привести этот разговор? Отец решил, что я должна стать женой императора, и против этого ни вы, ни я ничего поделать не можем. Сама судьба разлучает меня с вами, граф.

— От вас, княжна, зависит, и мы никогда не станем разлучаться. Со мной пойдемте, Катя!.. Я умчу вас на край света. Мы повенчаемся, и тогда государь не отнимет вас у меня.

— Нет, Генрих, невозможно... Поймите: ведь меня ожидает корона.

— Что я, несчастный, слышу? И вы, Катя, говорите это мне, которому бывало так сладостно шептали про любовь, про наше счастье!.. И теперь из ваших уст мне суждено услышать свой смертный приговор!.. Нет, нет... Вы шутите со мною. Не верю я... Вы одного меня любите, Катя, и царская корона не прельщает вас... Ведь так, так? Это ваш отец-честолюбец неволит вас идти за государя, а вы любите меня, одного меня и не разлюбили...

— Скрывать не стану, Генрих, я люблю вас по-прежнему, но все же вашей женой я никогда не буду... Прощайте, Генрих, вам больше оставаться у меня нельзя... того гляди, отец проснется и придет ко мне.

— Не страшен, княжна, мне ваш отец, со мною он сделать ничего не может... я состою при посольстве.

Едва только граф Милезимо проговорил это, как в горницу княжны Екатерины вбежала бледная, встревоженная Дуняша и задыхающимся от волнения голосом проговорила:

— Беда! Совсем пропали мы: князь Алексей Григорьевич изволит сюда идти.

— Что, граф, дождались? Говорила я вам, скорее уходите! — упрекнула княжна Екатерина своего возлюбленного.

— Повторяю, вашего отца я не испугаюсь.

— Катюша, что это за мужик у тебя? — входя в горницу к дочери, спросил князь Алексей Долгоруков, показывая на графа.

— Князь, вы не узнаете меня? — проговорил Милезимо, смело и насмешливо поглядывая на Алексея Григорьевича.

— Граф Милезимо? Возможно ли? — с удивлением и гневом воскликнул Долгоруков. — Зачем вы пожаловали сюда? Что надо?

— Я пришел, князь, повидаться с вашей дочерью, поговорить с нею.

— Вот как? Для того и нарядились в мужицкий зипун, чтобы обманом проникнуть в мой дом?

— Да, да, с тою целью я и нарядился по-мужицки, чтобы мне удобнее было увидеться с вашей прелестной дочерью.

— Скорее вон ступайте, не то я прикажу гнать вас в шею! — гневно крикнул князь Алексей.

— Меня гнать! Графа Милезимо?

— Не графа Милезимо я гоню, а паршивого мужичонку, который ненароком смел проникнуть на половину моей дочери, невесты государя.

— Батюшка, потише. Что вы так кричите? — остановила отца княжна. — Или вам огласка нужна? Хотите, чтобы все дворовые узнали, что у меня в комнате под видом мужика был граф Генрих Милезимо? Сама я призвала графа, сама ему свидание здесь назначила, чтобы проститься с ним. Он был моим милым женихом, и, если хотите знать, я и посейчас люблю его... Да, да, люблю!

— Опомнись, Катерина, что ты говоришь! — с ужасом воскликнул князь Алексей, замахав руками.

— Сказала, батюшка, я правду... Сердце мне велело так сказать. Прощай, мой Генрих, милый, желанный мой,

прощай!.. Судьба разлучает нас, но мое сердце и моя любовь всегда будут с тобою. Я не перестану думать о тебе и тогда, когда буду царицею великой Руси, — думать о том счастье, каким ты еще так недавно дарил меня! Прощай!.. Нет, нет, не так с тобою прощусь я Генрих, а вот как. — И княжна Екатерина крепко обняла и поцеловала графа Милезимо. — Теперь ступай... Ступай, Генрих!..

Граф припал поцелуем к ее руке и быстро вышел.

— Ушел!.. Ушел, и навек мы расстались... О, мой милый, милый!.. — с рыданием воскликнула княжна, закрыв лицо руками.

— Опомнись, Катерина! Ведь ты голову сняла с меня, осрамила, — с упреком сказал дочери князь Алексей.

— К чему упреки, отец? Я, право, не заслужила их. Вашей воле я послушна: я отвергла жениха, которого любила и люблю, и выхожу за немилого. Чего вам еще надо? — утирая слезы, промолвила княжна Екатерина.

— Ох!.. Беда с тобою!.. Сама не разумеешь, что и говоришь. Ведь твой жених — царь, и ты царицей будешь.

— С милым сердцу идти под венец — вот это счастье, большое счастье!..

VII

Наступил день обручения императора Петра II с княжной Екатериной Алексеевной Долгоруковой.

В большом зале дворца на персидском шелковом ковре был поставлен стол, покрытый золотой парчой, а на нем ковчег со святым крестом и две золотые тарелки с обручальными кольцами. Обрученные должны были стоять под балдахином серебряной парчи с золотым шитьем; кисти балдахина держали высшие придворные чины. Справа, на шелковом ковре стояли кресла для государя, а слева — шитые золотом по золотому бархату кресла для невесты государя, для царевны Елизаветы Петровны, для бабки государя Евдокии Федоровны, а также и для прочих особ императорского дома.

Обер-камергер князь Иван Долгоруков в торжественном поезде отправился за своей сестрой Екатериной Алексеевной, находившейся в Головином дворце.

Густая толпа народа окружила дворец, ожидая приезда невесты государя; там и тут вполголоса вели между собой разговор.

— Вот счастье-то Долгоруковым приплыло! Поди, не чаяли? — проговорил какой-то степенный купец с седой окладистой бородой, обращаясь к стоявшему с ним рядом старику с добрым, приятным лицом.

— Ох, ваша милость, господин купец, счастью тому нечего завидовать. Счастье на земле переменчиво!

— Известно есть... Куда же оно подевалось?

— Вот ты говоришь, что к Долгоруковым приплыло счастье: князь Алексей Григорьевич дочку свою обручает с императором Петром. С первого-то раза оно, пожалуй, и похоже на счастье, а если разобрать, счастья-то и нет!

— Заладил ты, почтенный: «Счастья нет!» Какого же еще надо тебе счастья?

— А припомни-ка, господин купец, когда Меншиков обручил свою дочь Марью с великим государем, так ведь он тоже думал, что счастливее его нет на свете человека...

— Ты вот про что...

— Не начало, а конец вершает дало. Кто нынче счастлив, завтра несчастным может быть, — наставительным голосом произнес старик.

— И большую теперь, братец ты мой, заберут силу Долгоруковы, — проговорил какой-то поджарый, испитой человек с бледным лицом, в нагольном полушубке и в овчинной шапке, очевидно мастеровой, обращаясь к товарищу, тоже мастеровому.

— А ты, Ванька, язык-то прикуси, а в рот набери каши. Гляди, не попади в сыскной приказ.

— Зачем?.. Туда мне не дорога! А ты, видно, боишься Долгоруковых?

— Кто их не боится?!

— Я вот первый не испугаюсь их, — храбро проговорил было мастеровой Ванька, но здоровая затрещина по затылку заставила его прикусить язык. — За что дерешься? — сквозь зубы спросил Ванька у полицейского, только что ударившего его.

— Молчи, пес, не то угодишь как раз в сыскной приказ на переделку заплочным мастерам, — прошипел полицейский солдат.

— Везут, везут! — искрой пробежало по толпе.

— Да где, где?

— Вон, вон! Иль не видишь золотой-то кареты, курица слепая?

И действительно показались золоченные придворные кареты, запряженные цугом в шесть лошадей; они были ок-

ружены скороходами, фурьерами, гренадерами, гайдуками и пажами в блиставших золотым шитьем мундирах и ливреях; повернула в дворцовые ворота и карета с царской невестой. Вдруг что-то сильно затрещало, и большая золоченая корона, находившаяся наверху кареты, свалилась на землю и разлеталась вдребезги.

— Ну, братцы, это не к добру, — заговорили в толпе.

— Корона свалилась с кареты царской невесты, стало быть, скоро Долгоруковым конец настанет.

Едва только острый язык Ваньки необдуманно проговорил эти слова, сильные руки двух полицейских схватили его за шиворот и потащили.

— Ну, вот теперь пойдут розыски, заплечным мастерам прибавится работы, и за свой язык парнюга поплатится увечьем, а может быть, и головой, — со вздохом тихо проговорил купец в лисьей шубе, смотря, как полицейские тащили Ваньку.

— А что ни говори, знак худой! — слышалось в толпе, где всякий по-своему старался объяснить падение короны.

Карета с царской невестой остановилась у подъезда дворца, Иван Долгоруков помог сестре выйти и провел ее по лестнице, усталанной шелковым ковром, наверх.

На княжне Екатерине было белое глазетовое платье, шитое золотом; длинные волосы были завиты в четыре косы и унизаны драгоценными камнями; на голове сверкала бриллиантами и изумрудами диадема.

Ее встретила внизу старица-царица Евдокия Федоровна, бабка государя, но обдала ее холодным взглядом. При входе княжны Екатерины часовые взяли на караул, а музыканты заиграли.

При громе литавр и труб к невесте подошел император-отрок и детски-любопытным взглядом посмотрел на нее.

Все стали на свои места; музыка смолкла. Архиепископ новгородский Феофан приступил к обряду обручения.

По окончании обряда начался блестящий бал, на котором «для показания своего сердечного удовольствия» присутствовала, несмотря на свой сан, старица-царица.

— Ну, внучка моя нареченная, умей сделать счастливым моего внука государя, на тебя, великая княжна, я надежду возлагаю, да и не я одна, а вся Русь! — строго проговорила она, поздравляя Екатерину Алексеевну.

Ничего не ответила на это царская невеста: она увидала в числе придворных и гостей графа Генриха Милезимо в блестящем мундире и, как ни старалась скрыть свое вол-

нение, все же переменялась в лице при взгляде на своего возлюбленного.

Через некоторое время граф подошел к ней в числе поздравлявших, но она холодно протянула ему руку для поцелуя, и ни один мускул не дрогнул на ее лице.

Во время бала граф Милезимо воспользовался случаем, когда государева невеста со своей сестрой Еленой направилась в диванную, чтобы несколько отдохнуть и успокоиться, и с мольбой обратился к ней:

— Княжна, одно слово.

— Незаметно приходите в диванную, — не останавливаясь ответила ему царская невеста.

Помедлив несколько, граф Милезимо, крадучись, прошел в диванную. Там никого не было, кроме Екатерины Долгоруковой и ее сестры.

— Зачем вы здесь? — не дав заговорить графу, резко промолвила царская невеста.

— Не утерпел: мне хотелось сказать вам... что... что император Петр не любит вас, княжна... Про это я узнал случайно.

— Я это знаю и без вас.

— И несмотря на это вы решились...

— Да, и несмотря на это я решилась быть царицею... Оставьте нас, граф Милезимо, ступайте, иначе вас здесь могут застать.

— Пусть кто хочет застает, теперь мне все равно...

— Вам, может быть, но не мне. Прошу вас сейчас же удалиться отсюда! — гневно сверкнув глазами и показывая графу Милезимо на дверь, сказала «великая княжна» Екатерина.

— Уйду, сейчас уйду... На днях я уезжаю из России и навсегда прощусь с Москвою. В своем сердце, княжна, я увезу свою страстную любовь к вам.

— Скорее спрячьтесь за драпировку, — повелительно проговорила царская невеста, показывая графу Милезимо на оконную драпировку.

Едва только он успел спрятаться, дверь в диванную открылась и на пороге появился князь Алексей Григорьевич с бледным, встревоженным лицом.

— Ну, слава Богу! Как гора с плеч!.. Я думал, с вами этот проходимец Милезимо, а его тут нет.

— Как видите, батюшка, с нами никого нет, — несколько не растерявшись, тихо промолвила княжна Елена.

— Куда же мог подеваться этот Милезимо? Ведь я хорошо видел, как он юркнул сюда, следом за вами.

— Я здесь, князь, к вашим услугам, — с презрительной улыбкой проговорил граф Милезимо, выходя из-за драпировки.

— Как! Вы... вы здесь?.. Как вы смели? — не своим голосом крикнул князь Алексей Григорьевич.

— Тише, князь, нас могут услышать...

— Идите скорее в зал... и я сейчас следом за вами, только вот скажу слова два графу, — обращаясь к дочерям, проговорил князь Долгоруков, а когда они, не проронив более ни слова, вышли из диванной, он сказал Милезимо: — Знаете ли, граф, вас завтра же не будет в Москве. Если вы сами по своей воле не уедете, то вас до границ отправят с солдатами. Стоит только сказать мне слово...

— Но этого слова, князь, вы не скажете — вам невыгодно компрометировать свою дочь... Да и вообще ваши угрозы напрасны, я их не пугаюсь... Не я в ваших руках, а вы в моих. Стоит только мне намекнуть про мою любовь к вашей дочери государю, и тогда...

— Что?.. Что вы, граф, ваше сиятельство!.. Вы... вы не захотите губить мою дочь... и всех нас! — сразу же переменял князь Алексей свой грозный тон на заискивающий.

— Я так глубоко люблю вашу дочь, что против ее счастья не пойду...

— Я... я знаю... знаю, вы, граф, добры безмерно... Я и все мы так глубоко уважаем вас...

— О, полно!.. Я очень хорошо знаю, что вы ненавидите меня так, как только можно ненавидеть человека... Но не в том дело; я завтра уезжаю из Москвы, хотя, признаюсь вам, ехать мне не хочется, не дождавшись, чем все это кончится, а именно — женится ли император на вашей дочери?

— Разумеется, женится!.. Ведь обручение уже состоялось.

— Обручение, князь, — не венчание... С Меншиковой император тоже был обручен.

— Тьфу!.. Далась вам всем эта Меншикова!.. Довольно, граф!.. Мне недосуг. Пойдемте к гостям, могут заметить наше отсутствие с бала! — И, как ни в чем не бывало, князь Алексей Григорьевич, под руку с графом Милезимо, из диванной направился в зал, где бал был в полном разгаре.

Император-отрок обращал мало внимания на свою обрученную невесту и танцевал большей частью с царевной Елизаветой Петровной. Этого не могли не заметить нахо-

дившиеся на балу, и недоброжелатели Долгоруковых радовались этому.

— А наш государь, кажется, больше интересуется цесаревной, чем своей невестой.

— И немудрено: ее высочество цесаревна Елизавета Петровна много красивее и милее нареченной невесты государя.

— По всему видно, государю не нравится княжна Екатерина.

— Удивляться надо, как его величество изъявил согласие на вступление в брак с Долгоруковой.

— Что поделаешь: князь Алексей Григорьевич со всех сторон обошел государя.

— Времена Меншикова опять вернулись к нам.

— При Меншикове, пожалуй, лучше было — тогда мы знали лишь его одного, а Долгоруковых много: приходится услуживать им всем.

— Теперь Долгоруковых и рукою не достанешь, высоко они поднялись, куда высоко!..

Так вполголоса переговаривались между собою двое придворных вельмож.

— А вы, господа, заметили, заметили? — подходя к ним, таинственно спросил князь Никита Юрьевич Трубецкой.

— Что, что такое?

— Ведь государева невеста с бала вдруг исчезла, а вслед за нею исчез и граф Генрих Милезимо.

— Да что ты, князь? Вон идет царская невеста со своей сестрой. Смотри, к государю подошла.

— И то, и то... ну, стало быть, вернулась. А я видел, как она с сестрой пошла в диванную, а следом за нею туда же крадучись вошел и граф Милезимо.

— Какая дерзость!

— Говорят, граф Милезимо у княжны Екатерины в женихах состоял.

— Вот, вот, смотрите — и сам Милезимо легок на помине: под руку с нареченным царским тестем идет.

— И то... подумаешь, какой между ними лад идет!..

А между тем князь Алексей Григорьевич, дружески сказав несколько слов графу Милезимо, отошел от него и, отозвав в сторону своего родича Василия Лукича Долгорукова, о чем-то долго вполголоса говорил с ним, причем несколько раз показывал на графа Милезимо.

— Ты говоришь, что Милезимо на родину скоро хочет ехать? — спросил у него Василий Лукич.

— Хочет, да я не верю ему, не поедет.
— На время припрятать его необходимо.
— Точно, братец, необходимо, но как?
— А как, я научу тебя. Только что мне будет за науку?
— Свои люди, братец, сочтемся.
— Теперь ты, князь Алексей, как нареченный тесть государя в большом фаворе состоишь... нас, сирых и убогих, не позабудь...

— Уж забуду ли? Всегда душой служить готов тебе, только научи меня, как отбояриться от этого проклятого Милезимо.

— Пойдем-ка в диванную, там на свободе и поговорим.

Родичи-князя отправились для переговоров в диванный дворцовый зал.

Влюбленный граф Милезимо скучал на придворном балу; он не танцевал и с нетерпением ждал, когда кончится бал и начнется разъезд, так как уехать ранее с бала он, по этикету, не мог.

Но вот император-отрок удалился в свои внутренние апартаменты, и многочисленные гости стали разъезжаться из дворца.

Тотчас же и Милезимо поспешно спустился по дворцовой лестнице к подъезду и приказал позвать своего кучера.

Между тем за час до разъезда с этим кучером произошел такой случай: полицейский офицер, находившийся у дворцового подъезда, был позван в дворцовую приемную и там увидел секретаря генерал-губернатора; последний обратился к нему с таким приказом:

— Граф Милезимо, состоящий при австрийском посольстве, жаловался мне на своего пьяного кучера, который чуть не вывалил его из кареты; отправьте кучера на съезжую, пусть там проспится, и замените его другим.

— Кем прикажете, ваше превосходительство?

— Говорю вам, другим... он ждет на подъезде и звать его Никитой. Вы понимаете меня?

— Так точно, ваше превосходительство...

— Вы позовете Никиту, и пусть он вместо пьяного кучера садится на козлы кареты графа Милезимо.

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Ну, ступайте, выполняйте приказание!

Полицейский в сопровождении двух будочников разыскал карету графа Милезимо и повелительно крикнул кучеру Ивану:

— Слезай с козел!

— Зачем, ваше благородие? — недоумевая спросил Иван.

— Слезай, разбойник, не то прикажу стащить! Ты пьян, каналья!

— Помилуйте, ваше благородие, я в рот не беру хмельного, — оправдывался кучер, но все же слез с козел.

— Да ты еще смеешь спорить с начальством? Так вот же тебе, дьявол! — И здоровая затрещина заставила замолчать Ивана. — Ведите на съезжую, запереть в холодную, пусть там, пьяница, проспится! — приказало начальство будочникам.

Те схватили и повели ни в чем неповинного беднягу.

Вернувшись к дворцовому подъезду, полицейский чин позвал неведомого ему Никиту. Из толпы вышел здоровый, плечистый мужчина в кучерском кафтане.

— Я буду Никита, я, — проговорил он.

— Ты? Прекрасно; ты свезешь графа Милезимо...

— Знаю, ваше благородие, куда свезти требуется его графскую милость, знаю, — перебивая полицейского, проговорил ухмыляясь Никита.

— Стало быть, тебе сказали?

— Так точно, сказали.

Тогда позвали карету графа Милезимо, к подъезду дворца подъехал Никита. Милезимо не заметил, что его кучер заменен другим, и сел в карету; придворный лакей захлопнул дверцу, и карета понеслась.

Возвращаясь с бала, граф так предался думам о любимой им девушке, что даже и не заметил, что его карета ехала совсем не по той дороге, по которой следовало: он занимал дом на Ильинке, а его карета неслась из дворца по Никитской.

Вдруг размышления графа были неожиданно прерваны; лошади остановились, дверцы кареты отворились, и граф очутился между двух незнакомых ему людей, сильных, здоровых, по одежде похожих на охотников; у каждого заткнул был за кушаком пистолет.

— Что это значит? Кто вы? Как смели? — удивляясь, крикнул граф и хотел было вынуть из ножен саблю, но здоровые руки сидевших с ним рядом людей так сильно схватили его, что он невольно застонал. — Вы... вы... разбойники! Вам нужно золото?

— Нет, — отрывисто ответил один из людей.

— Кто же вы, кто? Куда вы меня везете?

— Куда нам приказано.

Ночь была лунная, светлая, и граф Милезимо в окно кареты заметил, что на козлах сидел не его кучер Иван, а другой.

«Теперь я понимаю! — подумал граф. — Я... я попал в западню... Но к кому? Кто устроил мне ее? И что меня ждет впереди?... Уж не дело ли это Долгоруковых? Не к ним ли попал я в руки?... От них ожидать мне хорошего нечего!»

А карета все мчалась вперед и подъехала к заставе. Кучер Никита что-то сказал часовому, тот поднял шлагбаум и отодвинул рогатку. Милезимо хотел закричать.

— Если пикнешь, граф, хоть одно слово, я застрелю! — холодно проговорил один из находившихся в карете, вынимая из-за кушака пистолет.

Граф замолк.

За заставой карета опять помчалась. Морозная ночь миновала, появился слабый просвет зимнего утра. Карета въехала в лес, а затем подъехала к усадьбе Горенки.

— А, теперь я знаю, в чьи руки я попал! — оглядывая знакомый дом и двор усадьбы, воскликнул граф.

VIII

Действительно, граф Милезимо очутился в руках Долгоруковых. Это случилось так: по приказанию князя Алексея Григорьевича Долгорукова кучер графа Милезимо был заменен другим, и последнему было приказано везти Милезимо не туда, где он жил, а в подмосковную Долгоруковых. Два человека, севшие к Милезимо в карету, были дворовыми Долгорукова; им было приказано князем, в случае надобности, употребить силу. Они, согласно приказанию, привезли графа Милезимо в Горенки и сдали его в распоряжение княжеского дворецкого Евсея Наумовича.

Старик-дворецкий жил постоянно в Горенках и являлся управителем усадьбы. Он пользовался расположением и доверием князя, но не злоупотреблял этим; честно управляя усадьбою, он не теснил дворовых и крепостных мужиков и, имея мягкий нрав, со всеми старался жить миролюбиво.

Немало встревожился он, когда привезли в усадьбу пленником графа Милезимо.

— Что же, братцы, мне делать с этим графом, как обходиться с ним я должен? — обратился он к дворовым, привезшим в усадьбу графа.

— Наверное князь Алексей Григорьевич написал тебе об этом вот в этом письме, — ответил старику один из дворовых и подал ему княжеское письмо.

Евсей поспешно вооружил свой нос очками с большими круглыми стеклами в медной оправе, поцеловал печать, а потом по складам начал читать «княжеские письмена».

Между тем граф Милезимо сидел в карете, у дверей которой стояли по обеим сторонам для «охраны» княжеские охотники с ружьями за плечами.

Князь Алексей Григорьевич между прочим написал дворецкому следующее:

«Держи, Евсей, моего лютого врага Милезимо под строгим караулом. Отведи ему для временного пребывания одну из горниц верхнего жилья, которая похуже; дверь должна быть всегда заперта и ключ у тебя в кармане... Обед ему отпускаяй простой, холопский; и того, по своему деянию, он, пес, не стоит. А если станет он дебоширить и бунтовать, то прикажи связать ему руки и из горницы для усмирения в подвал посадить. Вообще с этим немчурой не церемонься. Не ты будешь в ответе, а я... А главное — смотри, старик, в оба, чтобы он не улизнул из усадьбы. Ты за это головою мне ответишь».

— Ну, не было печали, так черти накачали!.. Легко сказать!.. Такую особу, как граф Милезимо, я должен под замком держать, как холопа или невольника!.. О, Господи!.. Да где граф-то? — упавшим голосом спросил дворецкий.

— Да все в карете сидит.

— Так ведите его сюда. Я должен этого немецкого графа холопским обедом кормить и обхождение с ним иметь холопское. Это с графом-то!.. Да в чем он провинился против князьинки? С нашей княжной Екатериной этот Милезимо амур имел, а теперь княжну обручили с императором; уж не через это ли произошло что-нибудь? — вслух раздумывал дворецкий Евсей, поджидая Милезимо.

Наконец, графа ввели. Но тут дворецкий забыл приказ своего господина и встретил графа почтительным поклоном.

— Старик, зачем меня привезли сюда? — крикнул Милезимо.

— Не могу знать, господин граф.

— Кто же будет знать, кто? Помни, я состою при посольстве, за меня и твой князь, и все вы — все строго ответите! — продолжал Милезимо.

— Моей вины нет, ваше сиятельство: я делаю, что мне приказывают.

— А если прикажут тебе убить меня?

— И убью, ваше сиятельство! Знаю, что страшный грех приму на душу, а приказа господского не преступлю, — твердо проговорил старик-дворецкий. — Ну, а пока на то приказа нет. Мне только велено держать твою милость на холопском положении, под замком.

— Под замком? Видно, ты, старый дурак, и твой князь с ума сошли? Как вы смеете? За меня вступится мой император. Вы не смеете лишать меня свободы! — горячился граф Милезимо, но это ничему не помогло, и ему пришлось покориться.

Дворецкий запер его в одной из горниц и ключ взял к себе.

Горница находилась во втором этаже княжеского дома и обширным коридором отделялась от других жилых помещений. В ней находилось одно окно с двойною рамою; в углу были поставлены простая кровать с жестким тюфяком, два-три стула и стол.

Евсей Наумович в точности выполнил приказ своего «князиньки», никуда не выпускал графа, кормил «серой» пищей с холопского стола.

В первое время Милезимо отказывался от такой пищи, требовал лучшей, но ему в том было отказано.

— Что же, вы хотите морить меня голодом, что ли? — крикнул граф, отодвигая от себя чашку со щами из свинины.

— Зачем морить голодом?.. Если бы морили голодом, то щей твоей милости не дали бы, — самым невозмутимым голосом ответил ему дворецкий.

— Но пойми, старая дубина, я не могу есть всякую дрянь.

— Напрасно так говорит твоя милость: хлеб насущный — Божий дар, а щи да каша — мать наша.

Однако голод заставил изнеженного графа Милезимо, привыкшего к изысканному столу, есть и грубую пищу.

Так прошло несколько дней, а граф Милезимо все томился в заключении. Лишенный здоровой пищи и без воздуха, он побледнел и похудел, стал раздраженным. Он часто ругался со своим «старым тюремщиком», как называл он дворецкого Евсея, и посылал проклятия на голову Алексея Григорьевича, отца своей возлюбленной, но волей-неволей покорялся своей участи и ждал, когда двери темницы будут для него открыты.

Между тем во всей Москве вскоре только и говорили, что о неожиданном исчезновении молодого графа Генриха

Милезимо. Рассказывали, что ночью на него напали разбойники и убили; передавали также, что красавца Милезимо похитила какая-то молодая вдова-боярыня; а другие говорили, что граф Милезимо уехал к себе на родину...

Австрийский посол граф Вратислав обратился к канцлеру Остерману за объяснением, куда девался его родич, граф Милезимо, и просил отыскать его. Остерман, как мог, успокоил Вратислава и обещал непременно принять все необходимые меры.

— Пожалуйста, ваше сиятельство, поспешите, иначе я принужден буду довести об этом до сведения своего императора, — с тревогой в голосе проговорил Вратислав. — Да кроме того, отсутствие Генриха и неизвестность его участи сильно беспокоят меня лично. Ведь прошло пять дней, как он исчез, а о нем нет ни слуха ни духа. Я боюсь, не попал ли Генрих в ловушку. Врагов у него здесь немало.

— Какие же могут быть враги у графа Милезимо?

— Вы сами знаете их, ваше сиятельство, они довольно могущественные.

— Кто же они? — притворно удивляясь, переспросил у посла осторожный Остерман. — Уверяю вас, господин граф, я ничего не знаю.

— Ну, если хотите, я назову вам врагов Генриха. Первые — это князья Долгоруковы, они ненавидят Генриха.

— За что же им ненавидеть графа Милезимо?

— И это вы хорошо знаете.

— Уверяю вас, граф!..

— Довольно, ваше сиятельство!.. Я не ребенок, которого можно провести пустыми отрицаниями. Да наконец, я полагаю, вы прекрасно знаете всю щекотливость положения, в которое поставлено этим ваше правительство: ведь исчез не кто-нибудь, а один из представителей нашего посольства!.. Вы обещаете мне разыскать моего Генриха, вашим словам я верю и потому покидаю дворец наполовину успокоенным.

Граф Вратислав уехал, а Остерман произнес про себя:

«Да, несомненно это Долгоруковы припрятали Милезимо!.. Их дело!.. Милезимо находился «в амурах» с княжной Екатериной, вот они из боязни, чтобы он не помешал им обвенчать государя с княжною, и припрятали ее прежнего милого друга. Но так оставить это нельзя, надо принудить Долгоруковых выпустить Милезимо, иначе может разгореться большая неприятность. Надо сейчас же об этом переговорить с князем Алексеем Григорьевичем. А всего

лучше я кое-что поразведаю от его дочери, сейчас же поеду к ней в Головин дворец, благо туда мне доступ есть».

Остерман поспешил к обрученной царской невесте.

Княжна Екатерина приняла его довольно сухо: она была нерасположена к Остерману.

— Что привело вас ко мне? — спросила она.

— Засвидетельствовать вашему высочеству мое глубокое почтение. — При этих словах Андрей Иванович низко поклонился княжне Екатерине, которая теперь, как царская невеста, имела титул «высочества». — А кроме того, думал встретить здесь вашего батюшку, князя Алексея Григорьевича.

— Отца нет... он куда-то уехал.

— Как это жаль!.. Ведь дело-то у меня крайне важное и спешное.

— Если не секрет, скажите.

— От вас, ваше высочество, секретов быть не может, вы, как будущая царица, должны знать. Извольте ли видеть, ваше высочество, сейчас у меня был граф Вратислав и заявил мне, что его родич граф Милезимо до сих пор не возвращался домой с придворного бала, состоявшегося в день обручения вашего высочества, и неизвестно, где находится. — И, сказав эти слова, Остерман пристально посмотрел на царскую невесту.

У нее задрожало сердце при этом известии; она поняла, что с ее возлюбленным случилось какое-нибудь несчастье или — что еще было бы ужаснее — он пал жертвою мести своих врагов. Невольно вспомнилась ей сцена между Милезимо и ее отцом на ее обручения. Хотя тогда оба они вышли в зал видимо спокойные и даже любезно разговаривали друг с другом, однако она, зная враждебность своего отца к графу, не очень-то верила этому дружественному на вид отношению их друг к другу. Мало того, услышав теперь известие об исчезновении графа, она сперва невольно подумала и потом даже почти уверилась в том, что тут дело не обошлось без участия ее отца.

Однако она хорошо сумела скрыть свое волнение; ни один мускул не дрогнул на ее красивом, холодном лице, но все же она как-то глухо спросила:

— Ну, и что же?

— Граф Вратислав просил принять меры к разысканию Милезимо, — ответил ей Андрей Иванович и при этом подумал: «Что же это? Никакого смущения? Ни волнения или испуга не видно на лице княжны? Я думал поразить

ее известием, что Милезимо пропал... Или княжна хитра и скрытна, или все слухи о ее отношениях к красавцу Милезимо — ложь».

— При чем же мой отец? — спросила в этот момент княжна. — Отыскать Милезимо, напасть на его след, это — дело полиции и сыщиков.

— Я желал бы, ваше высочество, посоветоваться с князем Алексеем Григорьевичем, услышать его мнение об этом деле... Ведь граф Вратислав настоятельно требует, чтобы Милезимо был разыскан.

Однако княжна решила спокойно довести до конца взятую на себя роль, а потому холодно возразила:

— Странно... Милезимо мог уехать на свою родину.

— Этого, ваше высочество, быть не может. Граф не поедет прямо с бала за тысячу верст.

— Да, да, вы правы. Так что же могло случиться с ним? — задумчиво проговорила княжна Екатерина.

— Вот это-то и надо узнать, ваше высочество! Очень жалею, что не застал вашего батюшки! Хотел спросить его совета, но, к сожалению, должен спешить.

Андрей Иванович отклонялся царской невесте и, обещав заехать для переговоров с князем Алексеем Григорьевичем в другой раз, уехал.

— Это непременно дело отца и брата Ивана, они куда-нибудь спровадили Генриха и, наверное, томят его в неволе. Бедный мой Генрих! Надо во что бы то ни стало спасти его, выручить... Я... я заставлю отца выпустить Генриха! — тихо проговорила княжна Екатерина, с волнением расхаживая по своей горнице.

Через некоторое время вернулся домой отец и, тотчас заметив ее волнение, нежно спросил:

— Катюша, царевнушка моя, ты как будто чем встревожена? Что с тобою?

— Со мною-то ничего, а вот вы скажите, что сделали с графом Милезимо? — резко ответила княжна, пристально посмотрев на него.

— Что такое? Что ты говоришь, Катюша? — притворяясь удивленным, воскликнул князь Алексей.

— Ах, пожалуйста, не притворяйтесь, это ни к чему не поведет. Лучше говорите, куда вы припрятали Милезимо?..

— Почему я знаю? Я, право, удивляюсь, зачем ты говоришь это.

— Я требую, чтобы вы сейчас же сказали мне, где Милезимо? Вы безусловно знаете это, так как именно вы

прямо с придворного бала приказали увезти куда-то Генриха. Остерман только что был здесь и сделал мне явные намеки на это. Батюшка, вы нехорошее дело задумали! За Милезимо вступился граф Вратислав, он требует чтобы Генрих был разыскан.

— А мне-то какое дело?.. Пусть разыскивает.

— Повторяю, не притворяйтесь! Это вы припрятали Генриха и, наверное, держите его в неволе. Догадаться об этом нетрудно: вы боитесь Милезимо из-за его любви ко мне! Да, вы боитесь, чтобы не вышло скандала, чтобы Генрих не отбил меня у царя-мальчика. А это возможно...

— Катерина, опомнись! — с ужасом воскликнул князь.

— Да, да, возможно!.. Ведь я сама люблю Генриха и, если нужно будет, скажу о том даже самому жениху-государю, — твердо проговорила княжна Екатерина.

— Молчи, молчи, подслушать могут.

— Если вы не выпустите Генриха, я на все пойду, ни перед чем не остановлюсь! Не думайте, что меня прельщает возможность стать императрицею, что это сделает меня счастливой. Нет для меня счастья, вы, отец, отняли его у меня!.. Вы разбили мою жизнь, а теперь хотите сделать несчастным и Генриха. Но это вам не удастся. Говорите же, куда вы припрятали Генриха? Вы молчите? Хорошо, я сейчас же пойду к государю и повинюсь ему, что выхожу за него без любви, что я люблю другого. — И, проговорив эти слова, княжна быстро направилась к двери.

— Остановись, безумная! Я скажу тебе, где Милезимо. Он в Горенках. Это я приказал свезти его туда, — с глубоким вздохом ответил Алексей Григорьевич.

— Сейчас же пошлите приказ выпустить графа и привезти в Москву. Не бойтесь, Милезимо вам не помешает... Сегодня вы его выпустите, а завтра он навсегда уедет из Москвы.

— Уедет ли, Катюша?

— Я говорю: уедет. Что еще вам нужно? Пошлите же приказ выпустить Милезимо! — голосом, не допускающим возражения, сказала отцу княжна.

— Сейчас, сейчас! — покорно ответил князь.

Между тем граф Милезимо томился в своем заключении и никак не мог примириться с грубой русской пищей: к щам и каше он питал чуть ли не отвращение. Когда ему надоело сидеть под замком, он принимался барабанить в дверь руками и ногами. Входил дворецкий Евсей и между ними начиналось препирательство.

— Ну, что вам надо? — спросил при одном из таких посещений старик. — Что вы безобразите? А еще граф!

— Молчать, старый дурак! — крикнул на него Милезимо. — Я не хочу сидеть взаперти!.. Понимаешь, не хочу, мне надоело. Выпусти меня!.. Я озолочу тебя...

— Это невозможно...

— Почему? Ведь это от тебя зависит.

— Если бы от меня зависело, я давно отпустил бы вас. Зачем вы мне? С вами один только трех! Но ведь выпусти я вас, мой князинька прикажет батогом забить меня до смерти. Не дай Бог ему поперечить. Он теперь и-и какой большой человек!.. Шутка ли: будущий тесть государя!..

— Это я, старик, знаю и без тебя. Ты вот скажи, когда меня твой князинька из неволи выпустит?

— Думаю, что скоро. Зря держать не будет.

— Трус твой князь, меня боится, привык делать все подлостью, обманом. Но его поступок со мною даром ему не пройдет. Я вызову его на дуэль и непременно убью.

— Так он и примет ваш вызов! — полупрезрительно произнес старик-дворецкий.

— Я заставлю его принять, заставлю!

Подобные разговоры довольно часто происходило между Милезимо и дворецким, точно исполнявшим приказ своего барина, а иногда кончались бранью, доходившей чуть не до драки; взбешенный граф бросал в старика Евсея всем, что попадало ему под руку; дворецкий обыкновенно ретировался в дверь и, прихлопнув ее, запирали на замок. Если Милезимо ломился в дверь, Евсей грозил ему связать руки и спустить в подвал. Эта угроза оказывала свое действие, и граф уступал и успокаивался.

Однажды, когда граф страшно скучал в заключении, к нему вошел Евсей и отрывисто проговорил:

— Одевайтесь, ваше сиятельство, вас сейчас повезут в Москву... Его сиятельство князь Алексей Григорьевич выпускает вас на свободу, уже прислана карета из Москвы, с княжеского двора.

— Не верится мне что-то!.. Нет ли тут опять западни? Может, меня вместо Москвы завезут в какую-нибудь глушь... Ну да, впрочем, посмотрим, — несколько подумав, проговорил граф и стал поспешно одеваться.

В той самой карете, в которой привезли Милезимо в Горенки, отвезли его в Москву.

Граф Вратислав был сильно возмущен поступком Долгорукова с его родичем Милезимо, грозил чуть ли не разрывом дипломатических сношений Австрии с Россией, так

что Остерману стоило немало труда уговорить его, а также графа Милезимо покончить дало миром. Милезимо настаивал на удовлетворении и только тогда согласился примириться с Алексеем Григорьевичем, когда тот разрешил ему последнее свидание с княжною Екатериной. Однако ему было поставлено неременным условием тотчас же покинуть Россию.

Чтобы проникнуть во дворец, в апартаменты княжны Екатерины, графу Милезимо пришлось выбрать поздний вечер, укутаться в женскую шубейку и прикрыть лицо густой вуалью. Любимая горничная княжны, посвященная в ее сердечные тайны, ввела Милезимо в ее горницу.

Княжна была заранее предупреждена отцом об этом свидании. Сперва она никак не могла понять, почему отец согласился на это, и спросила его об этом.

— Мне волей-неволей, чтобы избежать огласки, а может быть, и чего-либо худшего, пришлось согласиться на это свидание! — гневно сверкая глазами, произнес князь Алексей. — Ведь этот сорванец Милезимо грозился вызвать меня на дуэль и убить, если я не соглашусь на это свидание с тобою. Но помни, оно должно быть последним.

— Ах вот как, батюшка?.. Ну, теперь я понимаю: Генрих купил у вас это свидание, и, как видно, дорогой ценою. Вы поступили с ним как с холопом, как с невольником, держа его под замком, и взамен удовлетворения, которое вы обязаны были дать ему, он выторговал у вас свидание со мною. Ах, вы, не... — резкое слово готово было сорваться с уст княжны, но она вовремя опомнилась и воскликнула: — Бедняжка Генрих! Сколько он страдал из-за меня!.. Но я сумею вознаградить его за это!..

— Что ты говоришь, Катюша?

— Говорю, что за все то зло, какое вы причинили ни в чем не повинному Генриху, мне придется вознаградить его. И это я сделаю, сделаю!..

— Катюша...

— Довольно, батюшка, довольно об этом! Оставьте меня, мне надо побыть одной, собраться с мыслями.

— Я уйду, Катюша, ухожу. Только об одном прошу: не позабудь, что ты — обрученная невеста императора! — И князь отец медленно вышел из комнаты дочери.

Едва затихли его шаги, княжна со слезами сказала:

— Господи!.. И это — отец, отец! Он торгует моими чувствами! Он смотрит на меня не как на живое существо, а как на бездушную вещь, которая приносит пользу ему,

его честолюбию... Он произвольно распоряжается мною... Я жить хочу, жить, а у меня калечат жизнь. Готовят в жены мальчику!.. К чему мне царство, когда мне нужна любовь?

Долго еще убивалась так княжна, но затем постепенно стала утихать под влиянием мысли о предстоявшем свидании с любимым человеком.

Все более приближался вечер, и наконец в комнату царской невесты вошел граф Милезимо.

С какою радостью, с какою страстною любовью встретила его княжна!

— Милый, милый!.. Ты пришел!.. Как я рада, как счастлива! Ты со мною, со мною, мой Генрих! — воскликнула она.

Граф, стоя перед нею на коленях, покрывал ее руки бесчисленными поцелуями.

— Уедем отсюда, убежим! Увези меня, голубчик!.. Я с тобою готова бежать на край света... Возьми меня! Без тебя мне нет жизни, — страстным голосом говорила княжна, обнимая Милезимо.

— О, с какою радостью я увез бы вас, княжна, к себе на родину, с каким восторгом назвал бы вас своей милой женой!.. Но — увы! — теперь сделать это невозможно, невозможно... Ведь вы — царская невеста.

— Ах, я и забыла об этом или, вернее, хотела забыть. Да, ты прав, Генрих, теперь и думать нечего о побеге: я — царская невеста. Но только женою государя я едва ли буду... Ведь император не любит меня; его, бедненького, чуть не силою хотят женить на мне, и я чувствую, что все эти затеи моего отца и родичей окончатся довольно печально. Сердце говорит мне, что царицей я никогда не буду.

— О, если бы так было!..

— Так и будет, Генрих.

— О, в таком случае я не уеду из Москвы и стану ждать.

— Нет, Генрих, нет, на время тебе необходимо ехать, иначе мой отец опять запрячет тебя куда-нибудь, а может быть, и того хуже — изведут тебя, и ты погибнешь.

— Я не боюсь, княжна, ни твоего отца, ни других своих врагов.

— Знаю, Генрих, ты — герой, но ведь твои враги в открытый бой с тобой не вступят, они из-за угла погубят тебя. Когда ты хочешь ехать на родину? — спросила княжна Екатерина, подавив глубокий вздох.

— Ранним утром.

— Поезжай, мой Генрих, увози мою любовь с собою. О, как я люблю, как люблю тебя...

Еще долго и страстно говорили влюбленные. Во дворце все уже давно спали, только не спалось князю Алексею Григорьевичу; он несколько раз тихо подходил к запертой двери комнаты дочери, прикладывал к двери ухо, стараясь услышать разговор княжны с Милезимо; но их разговор не доходил до ушей встревоженного князя Долгорукова.

— Что же это? Скоро ли они кончат говорить? — бормотал он. — Постучаться в дверь боюсь — не наделать бы переполоха. Ох уж мне эта Катерина! Не будь она царской невестой, задал бы я ей трезвону! Хорошо мое положение, нечего сказать! Дочь милуется со своим возлюбленным, а я, как часовой, у дверей стою, не смея нарушить их беседу... Ну, если кто узнает, что в горнице у дочери находится этот заморский пройдоха Милезимо? Ведь тогда все, все погибнет! Чу, кажется, целуются! Видно, прощаются. Так и есть!

Едва лишь князь успел отскочить от двери и спрятаться, из горницы княжны Екатерины поспешно вышел граф Милезимо, в женской шубейке и под густой вуалью. В следующей комнате дворца его встретила доверенная горничная княжны и проводила его до дворцовых ворот.

Здесь графа Милезимо дожидались расписные сани, запряженные тройкою лихих коней, и на них он на следующее утро против своей воли выехал навсегда из Москвы на родину.

IX

На окраине Москвы, невдалеке от Тверской заставы, в глухом переулке одиноко стоял полуразвалившийся домик с двумя небольшими оконцами, в которых вместо стекол были пузыри. Он принадлежал старухе Марине, с незапамятных времен поселившейся в нем.

Кто была старуха Марина, откуда она появилась, — никто из ее соседей не знал. По складу своего лица, по черным, несмотря на пожилые годы, волосам, и по выразительным глазам, не потерявшим своего блеска, она мало походила на русскую. Это скорее была жительница дальнего Востока, хотя по-русски она говорила без примеси какого-либо акцента.

Марина одевалась всегда в лохмотья и жила в своей хибарке не одна, а с внучкой — стройной и красивой девушкой лет семнадцати, по имени Маруся.

Какого происхождения была Маруся, чья она дочь, тоже никто не знал. Лет шестнадцать тому назад Марина откуда-то принесла к себе в хибарку годовалую девочку, сама вскормила ее и ухаживала за своей внучкой, как самая нежно любящая мать, и в шестнадцать лет Маруся расцвела, как майская роза. Старая Марина любила свою красавицу, и Маруся платила ей тем же. Сама Марина одевалась чуть не в рубище, внучку же одевала, как купеческую девицу или боярышню.

Марина и ее внучка ни с кем из соседей не были знакомы, всех они сторонились, а равным образом и все жители околodka чуждались «старой колдуньи» и ее внучки.

Колдуньей Марину называли за то, что она хорошо умела ворожить и гадать о будущем, и слава о ее гадалочном искусстве была большая. Очень часто около ее хибарки останавливались богатые кареты и рыдваны с ливрейными лакеями: Мариной не брезговали люди знатные и «великие люди мира сего», которым хотелось узнать про свою судьбу. Ездили к ней и боярыни, ревновавшие своих мужей и желавшие что-нибудь узнать про своих соперниц; бывали у нее и боярышни молоденькие, горевшие желанием скорее поразведать про своего суженого. Но не всех принимала Марина, и многим приходилось ни с чем отъезжать от ее ворот.

Однажды утром Марина отправила свою внучку на базар купить что-то из съестного, сама же стала топить печь и готовить кушанье. Прошло довольно времени, а Маруся все еще не возвращалась. Старуха стала беспокоиться и в конце концов решила сама отправиться на поиски внучки. Однако, едва переступив порог своего жилища, она увидела Марусю, с бледным, испуганным лицом бежавшую к хибарке.

— Бабушка, скорее ворота на замок, за мною гонятся, — задыхающимся голосом проговорила красавица.

— Кто гонится? — спросила у внучки старуха Марина, запирая засовом ворота, а также и дверь в свою хибарку.

— Какие-то парни. Домой я возвращалась переулками, где поближе, а тут и напали на меня каких-то трое озорников. Я от них бежать, они за мной и прохода не дают. Я кричать, звать на помощь, да, на беду, на улице народа-то нет. И плохо мне бабушка, пришлось бы, если бы

на мое счастье не вступился за меня какой-то прохожий офицер. Озорники немного поотстали, а я с офицером дошла до нашего переулочка и пустилась бежать. Парни-то хотели за мною, да офицер обнажил свою саблю, грозился, видно, зарубить их... Фу!.. никак духа не переведу!.. Страсть как измучилась.

— Спасибо офицеру... А кто он? Не знаешь?

— Не знаю! С собой нарядный, с лица пригожий, ласковый...

— Ты бы спросила, кто, как звать...

— И, что ты, бабушка! Уж время ли мне было о том спрашивать?

В этот момент в ворота хибарки послышался стук.

— Бабушка, стучат... кто бы это? — меняясь в лице, с испугом проговорила Маруся.

— Чего ты в лице-то изменилась? Чего испугалась? Не бойся, я сумею защитить тебя, в обиду никому не дам! Пойду-ка узнаю, кто стучит в ворота.

— Не отпирай, бабушка, не отпирай!.. Может, это стучат те парни, что гнались за мною.

— Не бойся, Маруся, не бойся! В обиду я тебя не дам.

— Сама я с тобой, бабушка, пойду к воротам.

Обе они вышли во двор.

— Кто стучит? Что надо? — не совсем ласково спросила Марина, не отпирая ворот.

— Не сюда ли укрылась девушка, на которую недавно напали какие-то парни? — послышался голос за воротами.

— Бабушка, отпирай скорее, это — он! — задыхающимся от волнения голосом проговорила девушка, торопя Марину скорее отпирать ворота. — Это офицер, что защитил меня от озорников; я по голосу его узнала. Да что же, бабушка, не отпираешь?

— Откройте, не со злом к вам пришел! — послышался тихий голос за воротами.

Маруся отодвинула засов и открыла ворота. Она не ошиблась: у ворот стоял «ласковый» офицер, вступившийся за нее на улице.

Это был Левушка Храпунов. Прогуливаясь по Тверской, он случайно стал свидетелем, как полупьяные парни напали с пошлыми любезностями на проходившую с базара Марусю, вступился за девушку и наказал озорников, ударив их плашмя своей саблей. Необычайная красота Маруси произвела на Храпунова сильное впечатление; ему непременно захотелось узнать, кто эта девушка, и познакомиться-

ся с нею; он разглядел, в какие ворота юркнула красавица-незнакомка, и, разделавшись с озорниками, поспешил к тем же воротам.

Проходя глухим переулком, Храпунов встретил какого-то горожанина и спросил его:

— Ты, добрый человек, не здешний будешь?

— Здешний, ваша милость, в этом переулке у меня есть домишко, — ответил ему горожанин.

— Так ты, наверное, знаешь, кому принадлежит этот домишко и кто в нем живет? — И Левушка показал на маринину хибарку.

— Как не знать, господин честной? В этой хибарке живет колдунья, Мариной ее звать, и она как колдунья и гадалка и-и как славится!

— Что же, она одна живет?

— С внучкой.

— Это не та ли такая красавица-девушка, так чисто одетая, что сейчас в ворота вбежала?

— Она и есть, господин честной... Точно, колдуньяина внучка с лица куда красовита. Одно слово, загляденье девка.

— А как ее звать?

— Марусей, сиречь Марьей... Но мы все ее русалкой называем. Уж очень она на русалку походит, особенно как свои косы распустит, что до самых пять доходят! Наденет на себя белый сарафан, распустит волосы, ну как есть настоящая русалка.

— Спасибо, добрый человек, за сообщение, я пойду к колдунье. — И Левушка направился было к жилищу Марины.

— Ой, не ходи, господин честной, не ходи! Опутает тебя старая колдунья со своей внучкой-русалкой, околдует тебя... Лучше не ходи! — предостерегал Храпунова горожанин.

— Ни колдуний, ни русалок я не боюсь, — с улыбкой ответил Левушка и направился к воротам Марины.

— Эх, молодость, молодость! И до чего она доводит: ради красивой девки в колдуньино логовище пошел, — поглядывая вслед Храпунову, с соболезнаванием проговорил горожанин.

— Бабушка, вот этот господин спас меня на улице от озорников, — поспешно сказала бабке Маруся, показывая на вошедшего к ним во двор Храпунова.

— Спасибо тебе, господин офицер, большое спасибо, что внучки моей не дал в обиду! — низко кланяясь Ле-

вушке, проговорила Марина. — Если не побрезгуешь, то зайди в нашу хибарку!

— Очень рад, бабушка! Устал я, так хоть немного отдохну у вас.

Храпунов переступил порог жилища; оно ничем не напоминало, что в нем живет старая колдунья с молоденькой внучкой-«русалочкой».

Хибарка Марины отличалась большой опрятностью; не было там ни филина, ни черного кота — обычных атрибутов колдовства. В красном углу на полке стояли иконы в серебряных окладах; перед ними теплилась лампада; стены были чисто выбелены, пол тщательно вымыт. Посреди горницы стоял резной дубовый стол, а по стенам широкие скамьи, покрытые сукном. Перегородка разделяла горницу на две половины. Во второй горнице было так же чисто, как и в первой; там стояли две кровати с чистыми пологами и со стегаными одеялами; на одной спала Марина, а на другой — Маруся; у нее кровать была покрыта атласным одеялом, а перина и подушки на лебяжьем пуху; тут же стояли и укладка, кованная железом, с нарядами Маруси, и поставец с посудой, в числе которой были серебряные кубки и братины.

— Как у вас хорошо, какой порядок! — осматривая горницу, с удивлением воскликнул молодой офицер.

— Уж какое хорошо!.. В убожестве живем, — скромно заметила Марина, усаживая нежданного гостя в передний угол, на почетное место, и обратилась к внучке: — Ну что же ты, хозяйка молодая, сидишь молча, гостя желанного не угощаешь? Собери-ка закусить гостю дорогому, а я схожу на ледник бражки да медка принесу. А может, винца желаешь, господин офицер? И винцо у нас найдется хорошее...

— Не хлопочи, Маринушка, пожалуйста, не хлопочи, — проговорил Храпунов.

— Ты знаешь, как и звать меня? — удивилась старуха.

— Знаю. Знаю также, как и внучку твою звать.

— Ты, ты знаешь, как меня звать? — удивляясь спросила Маруся у Левушки. — Почему ты узнал, господин, как звать меня и бабушку?..

— А я — колдун, всезнайка, — засмеялся Храпунов.

— Тебе, батюшка, наверное, кто-нибудь из наших соседей сказал. Ведь так? Чай, меня колдуньей старой называли, а внучку — русалкой?

— Так, так.

— И после таких слов ты в нашу убогую хибарку войти не побоялся? Смел же ты, господин!

— Таким уж уродился.

— Ну, я на время повыду, а ты, Маруся, не заставляй гостя скучать. — И, сказав это, старуха Марина вышла.

— Скажи, Маруся, ты давно живешь здесь с бабушкой? — спросил у девушки Храпунов.

— Давно, очень давно!.. Мне было только год, когда бабушка взяла меня к себе.

— А отца и мать ты помнишь?

— Нет, не помню.

— Верно, отец и мать твои умерли?

— Не знаю.

— Так ты даже не знаешь, живы ли они? — с удивлением спросил Храпунов. — Разве Марина не говорила тебе?

— Нет, не говорила.

— И про то не говорила, кто твои родители?

— Не говорила, — отрывисто ответила ему Маруся, которой, очевидно, стали надоедать эти вопросы.

— Странно, странно!

— И странного ничего нет. Ведь я — русалочка; какие же могут у меня быть отец и мать? Ты, господин, не веришь, что я — русалка, не веришь? — задорно спросила Маруся у Храпунова.

— Не верю, не верю, — с улыбкой ответил ей Левушка, не спуская влюбленных глаз с красавицы.

Маруся заметила это и самодовольная улыбка промелькнула по ее красивым губкам.

— Смотри, господин, бойся меня, я русалка и могу утащить тебя в свое подводное царство.

— Что же, Маруся, с тобою я с радостью пойду туда, да и всюду, куда ты поведешь!

— Что? Или я уже прельстить тебя своей красотой успела? — прожигая Левушку страстным взглядом, спросила красавица.

— Довольно одного взгляда на твою красу, одной твоей улыбки, чтобы полюбить тебя.

— Вот так девка, сразу покорила парня... да еще какого! Офицера! — громко рассмеявшись, проговорила Маруся и быстро стала собирать угощение.

На столе очутились пироги, жареный гусь, яйца, мясо и другое съестное.

Скоро вернулась с ледника и Марина, принеся флягу с вином, жбан браги хмельной и ендову с медом.

С удивлением смотрел молодой офицер на стол, уставленный разными «яствами и питием».

«Такое угощение иметь давай Бог каждому! Ишь, понаставили! Живут в лачуге, а пьют и едят, как в палатах каменных. Станные, загадочные они люди, непонятные. Но я постараюсь отгадать эту загадку», — подумал Левушка.

А в это время Марина обратилась к нему:

— Ну, гость дорогой, прошу покорно хлеба и соли откусать. Маруся, что стоишь? Кланяйся, проси гостя.

— Не угощай, хозяйка ласковая, я и без угощения стану пить и есть, — проговорил Храпунов и принялся за пирог и за жирного гуся, запивая их брагой и вином, а затем вдруг, прекращая есть, воскликнул: — Постой, постой, хозяйюшка!.. Что-то лицо твое мне знакомо. Я где-то тебя видал. Да, да... Дай Бог памяти!.. Вспомнил, вспомнил!.. Я видел тебя в палатах Шереметевых во время обручения князя Ивана Долгорукова с Натальей Шереметевой. Ты была с цыганами, еще князю Ивану предсказала казнь... Ведь так?

— Ошибся, господин, сроду я в Шереметевых палатах не бывала, — тихо ответила Марина, заметно растерявшись.

— Нет, нет, ты была там, я узнал тебя. Да ты не бойся: тебя я не выдам. А хорошо, что ты улизнуть тогда успела!.. Иначе плохо пришлось бы тебе.

— Коли ты узнал, таиться не буду; правда, я тогда нечаянно попала в графские хоромы и жениху, князю Ивану, судьбу его гадала.

— И князь Никита Трубецкой подучил тебя поугать Ивана Долгорукова, про казнь ему сказать. Ведь так?

— Не знаю, с чего ты, господин, князя Никиту припутал. Он ничему меня не подучал, а если я молвила Ивану Долгорукову, что его ждет казнь лютая, то от этих слов я и теперь не отступаюсь. Недаром меня колдуньей называют. Слова мои вещие: они сбудутся, не минуются.

Пока Храпунов говорил со старухой. Маруся ушла за перегородку и скоро вышла оттуда в совершенно другом наряде: на ней был надет белый глазетовый сарафан, тонкой кисеи рубашка облегла ее чудный стан, длинные волосы были распущены и лежали пышными прядями на плечах. Она тихо подошла к Левушке и, положив ему руку на плечо, с улыбкою проговорила:

— Русалка пришла за тобою... хочет вести тебя в подводное царство.

Храпунов обернулся, и крик восторга вырвался у него. В этом наряде Маруся была похожа не на русалку, а на чудное, неземное существо.

Х

Храпунов стал бывать в хибарке Марины чуть не каждый день, так как страстно увлекся ее чудной внучкой. В Марусе было много таинственного, непонятного; по красоте и нежности своего лица, по обхождению и разговору она вовсе не походила на простую девушку; по всему видно было, что ее отец и мать были не простыми людьми.

Сама Маруся ничего не знала о своем происхождении, и хотя много раз спрашивала об этом у Марины, но последняя отвечала уклончиво и лишь однажды сказала:

— Придет время, узнаешь. Все узнаешь.

— Да когда же, бабушка, придет это время?

— Теперь скоро придет, внучка милая, потерпи.

— Об одном хоть скажи, бабушка: живы ли мои отец с матерью?

— Отец жив, а мать... давно умерла, — отрывисто ответила Марина и стала кутаться в свои лохмотья, приготовляясь уйти.

— Но скажи мне, по крайней мере, как звали мою мать? Я стану молиться за ее душу.

— Ее звали так же, как и тебя, то есть Марьей.

— А как зовут моего отца? Хотя я и не знаю его, ни разу не видала, а все же, по Божьему закону, должна о здравии отцовском молиться.

— Это я тебе не скажу, Маруся, да и молиться за него нечего: он не стоит твоей молитвы, не стоит, — сурово проговорила старая Марина. — Он — знатный, важный барин, но злой и нехороший. Он бросил, совсем забыл о тебе. У него есть другие дочери, тех он любит. Да, да, он злой, сам знатен и богат, живет в палатах каменных, что дворец, а свою дочь — тебя, Маруся, — заставил жить в лачуге.

— Но за что же отец не любит меня? Что я сделала ему? Ведь он меня не знает, как и я его.

Крупные слезы блеснули на красивых глазах Маруси.

— Придет время, все, все узнаешь.

— Бабушка, теперь мне и горько, и больно ждать!.. Лучше бы ты мне ничего не говорила.

— И не сказала бы, если бы ты с вопросами не пристала. Ну да полно говорить об этом!.. Лучше скажи мне про офицера, который так часто повадился к нам ходить.

— Что же про него мне говорить? — вся вспыхнув, ответила Маруся.

— Зачем он повадился ходить? Уж, конечно, не ради меня ходит он к нам, а ты пришлась ему по нраву. Влюбился он в тебя.

— Что же... пусть его.

— Сдается мне, внучка милая, что и ты его полюбила? — с улыбкой промолвила старая Марина.

— Не скажу, бабушка, что я Леонтия крепко полюбила, но все-таки он нравится мне, — откровенно призналась Маруся. — Он такой добрый, ласковый и собой пригожий. Не трудно и полюбить такого молодца.

— Смотри, Маруся, берегись! Если офицер станет говорить, что любит тебя, — не верь его ласковым словам, не поддавайся. Лживы все молодцы — только и норовят, как бы честь девичью сгубить. А с этим Левонтием и еще осторожнее быть надо: недаром он с Долгоруковым Иваном дружит.

— Так что же?

— А то, что Долгоруковых как огня тебе бояться надо, они — наши злодеи. И твой Левонтий с ними заодно, их единомышленник. Не любить тебе бы его надо, а бояться. А если до любви у вас дошло, пусть Левонтий женится на тебе.

— Пара ли я ему, бабушка? Он — офицер, дворянин, а я — сиротинка безродная, — с глубоким вздохом промолвила красавица Маруся.

— Ты по своему роду, может, много выше его. Ну так вот помни мой сказ! Пойду я теперь, а ты, Маруся, смотри: придет твой офицер, подальше от него держись, много ему не доверяй.

— Эх, бабушка, плохо же ты меня знаешь! Себя я помню и честь свою я берегу.

Марина вышла из своей хибарки, Маруся проводила ее, а затем, заперев ворота, вернулась в горницу.

Начинало темнеть. Девушка зажгла ночник и села, пригорюнившись, к столу.

Невеселые, нерадостные мысли бродили у нее в голове. Слова «твой отец и знатный, и богатый» запечатались у нее на сердце.

«Отец знатный, богатый... А кто же моя мать? Бабушка про то ничего не говорит. Только и сказала, что моя мать умерла и что звать ее Марьей. А кто была она — я не знаю... Надо непременно поразведать, поразузнать. Правда, бабушка обещала сказать, но когда скажет? Легко ли ждать? За отца мне молиться не велела. «Он, — говорит, — злой и немало тебе наделал зла». Какой же отец учинит зло родной дочери? Нет, думается мне, что все мои наряды идут от отца, да и едим, и пьем мы сладко — тоже на отцовы деньги. Ведь бабушке взять негде; наверное, отец нам помогает».

Тут размышления девушки были прерваны тихим стуком в ворота.

Маруся вздрогнула, но все же решила подойти к воротам и спросила:

— Кто стучит?

— Это я... я, Маруся...

Девушка узнала знакомый голос и отперла ворота.

— Здравствуй, моя голубка! — весело произнес Храпунов, входя в сопровождении Маруси в горницу.

— Здравствуй, господин!

— Что это значит, Маруся? Ты называешь меня «господином»?

— А как же мне звать тебя?

— Зови просто Левой, Леонтием.

— Не подобает мне так звать тебя. Ведь ты мне не брат, не родич.

— Я — преданный тебе друг... даже больше: я — твой жених. Хоть и не говорил я еще с тобой об этом, но уже давно порешил в душе стать твоим женихом!

— Жених? Ты — мой жених? — притворно удивляясь, воскликнула девушка. — Смеешься ты надо мною, смеешься! — укоризненно добавила она, а сама чуть не задохнулась от радости при неожиданном предложении Левушки.

Она чувствовала, что ее сердце готово было выпрыгнуть из груди; вся она всеми помыслами тянулась к Левушке, так как искренне полюбила его, но в этот момент на нее все же оказывали влияние предостерегающие слова бабушки Марины, и она решила проверить искренность любви к ней Храпунова.

Между тем он, услышав ее замечание, с недоумением, в котором слышалась и укоризна, воскликнул:

— Я?... я смеюсь? Да что ты, Маруся?

— Разумеется, смеешься. Да разве женишься ты на убогой сиротинке?

— А ты одно скажи, Маруся: хочешь быть моей женою? По нраву ли тебе я? — И Храпунов страстно взглянул на девушку.

Этот взгляд яснее слов сказал Марусе, что ее милый действительно искренне любит ее. Ее глаза вспыхнули, лицо зарделось нежным румянцем, и она, потупившись, смущенно произнесла:

— Что спрашиваешь?

— Ты меня любишь, любишь, Маруся? Ведь так? — весь горя страстью, спросил Левушка.

— Люблю... Разве можно не полюбить тебя?

— А если так, то пусть перед Богом и перед людьми ты будешь моей невестой. Где твоя бабушка? Я и ей сейчас скажу об этом!..

— Она скоро придет... Милый, милый, вижу, любишь ты меня честною любовью. А все же скажу, Левушка: не спеши на мне жениться. Обдумай, пара ли я тебе. Ведь ты меня совершенно не знаешь... Кто я? Чья дочь?

— Я люблю тебя, Маруся, и этого довольно. Нет, голубка, свадьбу откладывать я не буду. Правда, про наш союз до времени никто не будет знать — на царской службе я, и многое еще мне и на ней, да и в родной семье устроить надо, чтобы нам своим домком открыто да свободно зажить можно было, но мы все-таки повенчаемся где-нибудь в подмосковной церкви.

— Боюсь я, Левушка, этой спешки!

— Чего же медлить? Ты меня любишь, я тебя тоже, нам суждено принадлежать друг другу. Недели через две и будет наша свадьба. Откладывать надолго и нельзя, Маруся! Наш государь в Москве пробудет недолго: после венчания с княжной Екатериной он решил со всем двором в Питер ехать, и мне тогда придется тоже ехать...

— И меня, Левушка, с собою возьмешь?

— Неужели здесь оставлю? Уж и заживем же мы с тобою! Счастье-то, счастье какое у нас будет! — с увлечением проговорил молодой офицер и крепко обнял Марусю.

Однако девушка ловко выскользнула из его объятий и, вся вспыхнув, проговорила:

— Тороплив ты очень, Левушка. Ведь я еще — не жена тебе.

— Скоро и женою будешь.

— Тогда и обнимай, а пока... — И Маруся шаловливо сделала «нос» своему Левушке.

Он весело засмеялся, любовно глядя на девушку, а затем стал собираться уходить.

— Пора мне, Маруся.

— А ведь ты хотел бабушку дожидаться?

— Спешить мне, голубка, надо. Завтра приду и с твоей бабушкой переговорю о нашей свадьбе.

— Приходи, голубчик, буду ждать! А сегодня я провожу, Левушка, тебя. Уж очень не хочется мне расставаться с тобою!

— Ох, Маруся, лучше не ходи... Как же одна ты будешь возвращаться?

— Ведь не поздно, да и провожу я тебя не далеко, а может, и бабушку мы встретим.

Храпунов и Маруся вышли из хибарки, которую девушка заперла на замок.

На дворе был небольшой мороз. Только что настал вечер, и луна величаво выплыла из-за облаков, отражая бесчисленными бриллиантами свой свет на мерзлом снегу.

Влюбленные в разговоре и не заметили, как, пройдя глухой переулок, вышли на Большую Тверскую улицу. Вечер был заманчив, погода располагала к прогулке; Марусе не хотелось возвращаться домой, и она решила еще немного проводить жениха.

Пройдя несколько по Тверской, они услышали сзади себя конский топот, веселый крик и, быстро обернувшись, увидели бешено скакавшую тройку лихих коней, запряженных в дорожные сани. В них сидел подгулявший князь Иван Долгоруков; он не то пел песню, не то так кричал, сам не зная зачем.

Эта неожиданная встреча была очень неприятна Храпунову: он знал дикий нрав князя Ивана Алексеевича в те моменты, когда тот предавался разгулу. Тогда князь Иван Алексеевич не знал удержу своему самодурству и, так как очень любил женское общество, не давал прохода ни одной приглянувшейся женщине или девушке, несмотря на то, что они были совсем незнакомы ему. Немало проделок такого рода числилось за ним, но все сходило ему с рук ввиду исключительной близости к императору. Левушке все это было известно; он испугался за свою Марусю — за то, что князь Иван может причинить ей обиду, а потому, обращаясь к своей спутнице, быстро проговорил:

— Маруся, укутай свое лицо, нас догоняет Иван Долгоруков, он наверняка узнает меня и, боюсь, привяжется ко мне. Увидит он твою красоту и Бог знает чего натворить может. Лучше, чтобы он не видал тебя!

Левушка не ошибся: когда сани поравнялись с Храпуновым и Марусей, князь Иван узнал своего приятеля и крикнул вознице, ударяя его в спину:

— Стой, стой, дьявол!

Кони встали, и князь Иван, быстро выскочив из саней, подбежал к Храпунову.

— Левушка, ты ли?.. Да и не один? Вот так скромник! Ну, показывай скорее свою кралю! — громко крикнул он и, близко подойдя к Марусе, стал нагло осматривать ее. — Как тебя звать, сударушка? Да что ты кутаешь свое личико? Небось не сглажу!

Князь Иван протянул было свою руку, чтобы приподнять с лица Маруси платок, которым она низко покрылась.

— Оставь ее, Иван! — громко проговорил Левушка, отстраняя руку Долгорукова.

— Оставлю, когда разгляжу, что за кралю подхватил ты...

— На, смотри, если тебе нужно, — приподнимая со своего лица платок, сердито сказала Маруся, возмущенная этим приставаньем и, несмотря на предупреждения жениха, решившаяся дать отпор наглецу.

— Ай, ай, какая красавица!.. Где ты такую подхватил, Левушка? — с восхищением проговорил князь Иван. — И не стыдно тебе? Что же ты от меня утаил, что у тебя есть такая краса?.. Боишься, что отобью? Да что же ты молчишь? Скажи, давно ли нашел такую кралю?

— Князь, садись в сани и поезжай своей дорогой, а нас оставь. Завтра я тебе обо всем расскажу, а теперь не тревожь нас, — резко промолвил Храпунов.

— Оставить вас? Ни за что на свете! Нет, приятель скромник, теперь от вас я не отстану, куда вы, туда и я. Ну, чего хмуришься, Левушка? Скорее знакомь меня со своей сударушкой, не то отобью!..

— Ох, князь, не ошибись: едва ли тебе отбить меня у Левушки придется, — проговорила Маруся, и гневом сверкнули ее красивые глаза.

— Ой, ой! Да ты, как видно, из бойких! Люблю таких! Брось Левушку, садись со мною в сани!

— А про невесту свою, графиню молодую, видно, забыл?

— Невеста невестой, а ты полюби меня, молодца! Право, полюби!.. В накладе не будешь.

— Опомнись, князь! Видно, ты много выпил вина, не помнишь, что говоришь, — упрекнул Храпунов приятеля.

— Сколько я выпил, до этого тебе дела нет, а вот твою сударку я отобью у тебя. Эй, девица-красавица, поедem со мною!.. Не поедешь по доброй воле, силою увезу! — И князь Иван хотел было схватить Марусю.

— Прочь! Не тронь! — не своим голосом крикнул Храпунов и с такой силой оттолкнул Долгорукова, что тот не устоял на ногах и полетел в снег.

Пока он вставал и отряхивался от снега, Левушка с Марусей быстро повернули назад, к хибарке Марины. Храпунов не мог теперь оставить одну девушку и решил проводить ее до дома.

Долгоруков, посылая вслед влюбленным проклятия и площадную брань, вскочил в свои сани и приказал кучеру шагом ехать за ними. Он задумал выследить, где живет Маруся, в то же время с бешенством думая:

«Ну, погоди, Леонтий, отобью я у тебя кралю!.. Твоего поступка со мною я не позабуду, и за него ты мне попла-тишься... Ты смел поднять на меня свою руку? Ну, погоди же!.. Теперь ты мне — не друг, а лютый недруг».

— Что нам делать, Маруся? Ведь Долгоруков следит за нами... он хочет узнать, где ты живешь, — с беспокойством сказал возлюбленной Левушка.

— Что же? Пусть! Он мне не страшен, — спокойно ответила девушка.

— Ну, стало быть, ты не знаешь, что такое Иван Долгоруков! Ведь он — сила, большая сила! Он ни перед чем не остановится, для него не существует никакой преграды.

— За меня, Левушка, не бойся. Пойдем в горницу. Наверное, бабушка пришла. Там мы и подумаем, что и как делать.

— Мне не хотелось бы, Маруся, чтобы Долгоруков знал, где ты живешь...

— Говорю, за меня, пожалуйста, не бойся! Я сумею постоять за себя, сумею встретить князя с таким почетом, что сразу отобью охоту у него незванным ходить в гости! — громко проговорила Маруся и вошла с Храпуновым на свой двор.

В хибарке был виден свет; Марина вернулась. Она обеспокоилась, узнав об этой неприятной встрече и выходе Долгорукова; однако за воротами было все спокойно — очевидно, князь Иван удовлетворился тем, что узнал, где живет «кряля» Левушки, и уехал.

Молодые влюбленные тоже скоро позабыли о нем, слишком важный момент произошел в этот день в их жизни — ведь они решили навеки принадлежать друг другу.

Все их помысли были заняты предстоящим бракосочетанием; Левушка сообщил Марине об этом, и она радостно благословила его и внучку.

XI

Однако с того дня между Иваном Долгоруковым и Левушкой Храпуновым возгорелась сильная вражда. Когда Храпунов пришел к князю Ивану по делам службы, то был принят им довольно сухо, «по-начальнически», причем Долгоруков ни словом не обмолвился о встрече на Тверской. Окончив свое служебное дело, Левушка обратился к своему бывшему приятелю с такими словами:

— Князь, мне надо бы поговорить с тобой о вчерашней нашей встрече.

— Ну... ну! Что же ты станешь говорить? Поди, оправдываться начнешь?

— Оправдываться, князь, мне не в чем.

— Не в чем? Ладно! Стало быть, ты считаешь себя ни в чем не повинным передо мной. Так? Да? А как же ты смел вчера толкнуть меня?

— Я только вступился за беззащитную девушку, к которой, князь, ты долго приставал.

— Ты вступился за свою любовницу?

— У меня нет любовницы. Напрасно, князь, ты так говоришь!

— Рассказывай... Кто же она тебе? Сестра, что ли, или тетка?

— Моя невеста.

— Что такое?.. Простая девка, живущая в лачуге, — твоя невеста? — с удивлением воскликнул Долгоруков. — Это забавно! Надо хорошенько рассмотреть твою невесту, эту сказочную принцессу, несмеяну-царевну. И знай, если она придется мне по нраву, я отобью ее у тебя.

— Ты этого, князь, не сделаешь.

— Не сделаю? А кто же мне смеет запретить? — вызывающим тоном, громко проговорил князь Иван.

— Я, — совершенно спокойно ответил Левушка, сдерживавший себя, несмотря на явное оскорбление, которое нанес словами любимой им девушке самонадеянный и легковверный князь Иван.

— Ты... ты запретишь мне? — бросив презрительный взгляд на Левушку, крикнул тот. — Посмотрим, кто кого осилит: ты меня или я тебя?

— Сила, князь, на твоей стороне, это точно, а правда на моей.

— Ну, вот ты с своей «правдой» и останешься побежденным.

— Посмотрим, князь!

— Посмотри, а меня теперь оставь, мне недосуг разговаривать с тобою.

Подавив в себе вздох, Храпунов вышел из горницы фаворита, с которым он был принужден теперь вступить в неравную борьбу. Ему ли, простому, неизвестному офицеру, было вступать в борьбу с любимцем государя? Ведь вся сила и могущество были на стороне Долгорукова. Однако Левушка утешал себя:

«Ну, да не в силе Бог, а в правде. Силен князь Иван, а правда победит его. Но все же теперь оставаться Марусе в хибарке у своей бабушки не след; непременно надо перевести ее куда-нибудь, не то Долгоруков как раз нагрянет к ней в гости. Он зlobится на меня и в своей злобе на все пойдет. Завтра же непременно переведу куда-нибудь Марусю и старуху Марину».

Целый день и вечер Храпунов не мог вырваться к своей возлюбленной — служба останавливала его. Когда же на следующий день к вечеру он пришел в знакомую ему хибарку, то застал там одну только Марину, убитую страшным горем и с опухшими от слез глазами.

— Где Маруся? — упавшим голосом спросил Левушка, почти догадываясь о причине горя Марины.

— Увезли, увезли мою внучку! — с рыданием ответила старуха. — Нынче утром какие-то неведомые люди ворвались в нашу хибарку, силою схватили Марусю, посадили в сани и увезли неведомо куда. К несчастью, меня дома не было, а то я постояла бы за свою внучку, сумела бы защитить ее от злодеев.

— Я знаю, чье это дело, знаю... Иван Долгоруков похитил Марусю.

— Ты говоришь — Иван Долгоруков? — бледнее воскликнула старуха. — О, Господи, грех-то какой, какой страшный грех! Надо во что бы то ни стало спасти Марусю, вырвать ее, сердечную, из рук князя Ивана...

— Да, я вырву Марусю из рук князя Ивана. И что я за несчастный человек! Ведь я подыскал тебе и Марусе на Покровке отдельный домик, снял его и ради безопасности именно сегодня же хотел перевезти вас обеих туда, и вот опоздал... опоздал... Проклятая служба задержала меня! — с отчаянием воскликнул Левушка Храпунов.

— Не отчаивайся, барин, не горюй: только бы мне дойти до князя Алексея Григорьевича. Скажу я ему слова два, и он сейчас же прикажет своему сыну Ивану отпустить Марусю. Только верно ли ты знаешь, что увез ее не кто другой, как князь Иван? — спросила Марина.

— Да, да, это Долгоруков увез Марусю. Он же мне самому похвалялся, что отобьет у меня невесту. Это — его дело.

Храпунов не ошибся: Маруся действительно попала в руки князя Ивана Долгорукова. Он приказал своим троим верным холопам, назло Храпунову, выкрасть Марусю, предварительно показав холопам, где она живет, и те в точности выполнили его приказ.

На тройке лихих коней подъехали они к хибарке Марины; старухи не было дома, и Маруся еще не успела запереть за ней ворота, как во двор ворвались холопы, а оттуда, высадивши дверь, проникли и в хибарку.

Не успела опомниться и вскрикнуть девушка, как холопы схватили ее, укутали голову платком, на плечи накинули шубейку и потащили в сани с верхом и полостью; чтобы Маруся не кричала, рот ей завязали платком; двое холопов сели с ней рядом в сани и держали ее за руки, а третий холоп поместился рядом с кучером. Тройка бешено понеслась за Тверскую заставу. Кое-кто из соседей Марины видел, как похитили ее внучку, а потому, когда Марина, вернувшись домой и не видя своей внучки, удивилась ее неожиданной отлучке и пошла поразведать у соседей, не видали ли они, куда пошла Маруся, те рассказали ей о происшествии, случившемся с ее внучкой.

Старуха едва устояла на ногах, когда услышала, что Марусю на тройке лихих коней увезли какие-то неведомые люди, однако до прихода Левушки Храпунова, жениха ее внучки, не решалась предпринимать что-либо к розыску Маруси. Да и что она, беспомощная старуха, могла бы сделать? Она тоже подозревала князя Ивана, так как Левушка и Маруся рассказали ей о своей встрече с Долгоруковым, и это подозрение еще более окрепло, когда Храпунов сообщил о том, как князь Иван грозился отбить у него Марусю.

— Да, да, это его, окаянного, дело. Но я не дам ему властвовать над Марусей, единым словом вырву ее у него из рук, — горячо проговорила Марина.

— Ох, боюсь я, Маринушка, что князь Иван не послушает твоего слова, — возразил ей молодой офицер. — Его словом не проймешь.

— Пройму!.. И князя Ивана пройму, и его отца... Да как еще пройму-то! Ведь слово мое заветное, и скажу я его только князю Ивану или его отцу, а больше никому не скажу.

— Странное же, таинственное у тебя слово!

— Да, таинственное, и скажу я его другим, лишь когда умирать стану. Вот что, барин: ты вперед один ступай к Ивану Долгорукову, выручай свою невесту, а если тебя он не послушает и Маруси не отдаст, тогда уж я сама пойду. Мне-то не посмеет отказать. Ступай, барин ласковый, помогай тебе Бог!

Конечно, Храпунов тотчас же отправился к Долгорукову.

Злоба и ревность закипели в нем, когда он увидал своего врага.

— Князь, отдай мне невесту, — мрачно произнес он, едва сдерживая себя.

— Ты, видно, рехнулся?.. Какую невесту? — насмешливо посматривая на него, спросил князь Иван.

— Марусю.

— Я не знаю никакой Маруси!.. Что, видно, твою зазнобу-то у тебя отбили, из-под носа унесли?

— Унес ты, князь Иван, да и не унес, а выкрал ее, как разбойник дорожный!

— Что? Как ты молвил? — бледнея как смерть, дико вскрикнул князь Иван.

— Говорю, что ты мою невесту выкрал, — спокойно повторил Левушка.

— Да как ты смеешь, наглец, говорить мне это? Да я... я убью тебя, как собаку! — И, трясясь от бешенства, князь Иван со сжатыми кулаками ринулся было на Храпунова, но тот отстранил его от себя.

— Поостынь, князь... Я ведь сильнее тебя.

— Слушай, слушай, Храпунов! Ты стал теперь моим непримиримым врагом! Ну да, ты отгадал: это я приказал своим холопам выкрасть твою невесту. Она теперь в моих руках, в моей воле, — вызывающим тоном промолвил Долгоруков, — и я отдам ее только тогда, когда сам вдосталь напотешусь...

— Подлец! Я... я убью тебя! — И Храпунов, вне себя от бешенства, выхватив из ножен саблю, ринулся было на Долгорукова.

Князь Иван переменился в лице, отступил к двери и, быстро отворяя ее, громко крикнул:

— Гей, ко мне!

В горницу вбежало несколько слуг.

— Возьмите его и свяжите: он рехнулся! — повелительно проговорил Долгоруков.

Левушка бросил саблю и не стал сопротивляться. Ему связали руки, отвели на гауптвахту и заперли там в арестантскую горницу, обвиняя в покушении на жизнь царского любимца.

Храпунову если не угрожала смертная казнь, то все же предстояла вечная ссылка в Сибирь. Но Левушка не боялся этого — ему почему-то думалось, что старая Марина выручит из беды; он покорился своей участи и ждал, чем все это окончится.

Так прошло два дня. Старуха Марина, с большим нетерпением ждавшая Храпунова, догадалась, что с Левушкой случилось что-то неприятное, и решила отправиться в Головин дворец. Там имел временное пребывание будущий тесть императора князь Алексей Григорьевич Долгоруков со своей семьей.

Больших трудов, усилий, а также и денег стоило Марине добиться свидания с князем Алексеем, но все же ее впустили на его половину.

— Ты кто? Что тебе надо? — грубо спросил он у вошедшей в его приемную Марины.

— Тебя мне надо, сиятельный князь, — смело ответила та, — мне надо говорить с тобою.

— Говори... только поскорее, мне недосуг.

— Ну нет, князь Алексей Григорьевич, разговор у нас с тобой будет не скорый, и ты выслушаешь меня.

— Я прикажу взашей прогнать тебя! Ты, кажется, старая дура, не знаешь, с кем говоришь?

— Я-то знаю, с кем говорю, а вот ты-то, князь, не знаешь этого. Гнать-то меня нечего. Ты вот лучше прежде взгляни на этот перстенок, знаком ли он тебе? — И Марина показала князю золотой перстень с изумрудом.

Едва только взглянув на этот перстень, князь Алексей Григорьевич быстро изменился в лице и задыхающимся от волнения голосом спросил:

— Как попал к тебе этот перстень?

— По наследству, князь, от дочери.

— От Марии? Стало быть, ты...

— Я — мать умершей Марии.

— Возможно ли?... Пойдем скорее в кабинет, там никто нам не помешает.

Князь Алексей Григорьевич провел старую Марину в свой кабинет, заперся там с нею и долго о чем-то говорил.

Когда же он отпер дверь кабинета и выпустил оттуда старушку, то был страшно бледен и сильно взволнован. Он сам почти до передней проводил Марину и, расставаясь с ней, тихо сказал:

— Успокойся: твоя внучка непременно вернется к тебе!

Проводив Марину, князь немедленно приказал позвать к себе сына Ивана. Царский фаворит в то время находился дома и пришел на зов отца.

— Где ты держишь красавицу-девушку, которую приказал выкрасть своим холопам? — гневно спросил его Алексей Григорьевич.

— Батюшка... я... я удивляюсь вашему вопросу! — запинаясь произнес князь Иван, никак не ожидавший, что отцу известно о его поступке с Марусей.

— Сказывай скорее, где ты держишь Марусю?

— Как, вы знаете и ее имя?

— Что же, ты ответишь мне или нет! — гневно крикнул на сына Алексей Григорьевич.

— Пожалуйста, потише, батюшка! Где находится Маруся, я не скажу вам, да и знать вам о том нечего, — очень внушительным тоном возразил отцу князь Иван.

Однако князь Алексей Григорьевич сурово и настойчиво приказал ему:

— Ты должен сейчас же отпустить ее... сейчас!

— Зачем так скоро? Я еще с ней и не познакомился как следует. Кто это вам наговорил на меня, интересно узнать? Храпунов не мог пожаловаться, он сидит под арестом! — и князь Иван злорадно улыбнулся.

— Знаешь ли ты, кто эта девушка? — взволнованно спросил у сына князь Алексей Григорьевич.

— Кто она, я, батюшка, не знаю... Одно только знаю, что она очень хорошенькая и пришлась мне по нраву! — по-прежнему с молодечеством произнес князь Иван.

— Несчастный, она — твоя сестра! — закрывая лицо руками, тихо произнес князь Алексей Долгоруков.

Эти слова как громом поразили князя Ивана.

ХII

Лет двадцать назад князь Алексей Григорьевич Долгоруков страстно полюбил черноокую красавицу, цыганку Марию. Однажды небольшой цыганский табор, не спрашивая разрешения князя, расположился на поле, недалеко

от княжеской усадьбы Горенки. В то время князь Алексей Григорьевич находился в усадьбе, и когда ему доложили о цыганском таборе, отдал было приказ прогнать его, но потом отдумал и поехал сам взглянуть на «жителей полей и лесов дремучих». При первом же посещении его поразила необыкновенная красота молодой цыганки Маши, у которой тут же в таборе находилась мать Марина, недавно овдовевшая. Князь, в то время еще красивый, молодой мужчина, прельстился красотой цыганки, вошел в шатер, стал расспрашивать цыган о житье-бытье и попросил погадать. Одна старая цыганка насулила ему счастливую жизнь, большие чины и несметное богатство. Князь Алексей щедро заплатил за гадание, да и всех цыган и цыганок оделил деньгами.

Подошла к нему с протянутой рукой и красавица Мария, посмотрела на молодого князя и огля его своим огненным взором. Князь дал ей червонец и проговорил взволнованным голосом:

— Какие у тебя чудные глаза!..

— Мои глаза, господин, видно, режут сердце без ножа, — с звонким смехом ответила ему Мария.

— Именно, именно! Мне еще не приходилось видеть такие огненные глаза, как твои.

— Огневая в нас кровь, господин, потому и очи огневые, — проговорил старый цыган, лукаво посматривая на князя.

— Правда твоя!.. Ишь ведь какие они у этой девчонки!.. Так и жгут, так и тянут к себе! — произнес князь Алексей и впился взором в дивно красивое лицо стоявшей перед ним молодой цыганки.

— Гнать, господин, нас со своих полей ты не будешь? — спросила Мария у князя, глядя ему прямо в лицо.

Долгоруков совсем растерялся от ее взгляда; он готов был на все, лишь бы возможно дольше любоваться цыганкой, метнувшей им в него, а потому живо воскликнул:

— Гнать вас? Что ты! Живите сколько хотите, вас никто не посмеет обидеть. Если вам тут не по нраву или неудобно, выберите другое место. Вот тот лес мой; там есть чудная поляна, раскиньте свой шатер и живите в лесу. — И он показал рукою на видневшийся невдалеке большой сосновый лес.

Цыгане приняли предложение князя и перекочевали в лес, на поляну, а сам он в тот же день отправил к ним

чуть не целый обоз разных съестных припасов и стал ежедневно навещать их, влюбившись в черноокую Марию.

Не только дни, но и поздние вечера стал просиживать князь Долгоруков в цыганском таборе. Он слушал там страстные цыганские песни, а больше всего — речь черноокой Маши. Табор и мать Марии, Марина, догадывались, что богатый, родовитый князь влюбился в Машу, и поощряли это, так как князь не только Марине, но и всему табору жаловал дорогие подарки.

Долго жили цыгане в лесу, и только осень заставила их искать другого пристанища на зиму. Совсем собрались в дорогу, ждали только приезда князя, чтобы проститься с ним и поблагодарить его за ласку.

Вот и князь приехал, но был мрачен и печален. День был ясный, с легким морозцем. Князь Алексей и Мария пошли «на последях» пройти по лесу.

— Маша, милая, я не могу расстаться с тобой, не могу, — чуть не плача, воскликнул князь, идя рядом с черноокой цыганкой по лесу. — Останься, Маша, у меня останься, голубка!..

— Зачем?

— Затем, что я люблю тебя, без тебя мне нет жизни. Будь всегда со мною!

— Женись на мне, вот и буду я твоей.

Князь Алексей Григорьевич скрыл от Марии, что он женат, и выдал себя за холостого; Гаврила Струков, холоп, привозивший цыганам с княжеского двора разные припасы, по приказу князя, тоже молчал.

— И женюсь, только останься, непременно женюсь.

— Обманешь, князь?

— Маша, мне ты не веришь? — с упреком в голосе воскликнул князь, хорошо игравший комедию.

— Верю, милый князь, верю.

— А если веришь, то останься. Я прикажу на той поляне, где ваш табор, построить хороший дом. Ты и будешь пока, до свадьбы, жить в нем с матерью, а чтобы не страшно было, я холопа Гаврилу вам дам.

Алексей Григорьевич сдержал свое слово, и на лесной поляне как по щучьему веленью скоро были построены лесные хоромы в два жилья. В верхнем жилье поместилась Мария с матерью, а в нижнем — холоп Гаврила с женою.

В первое время князь Алексей часто приезжал в свои лесные хоромы и подолгу оставался в них. Ни сильный мороз, ни снеговая буря, ничто не останавливало его; он бросал все дела в Москве и спешил к Марии.

Она несколько раз напоминала князю Долгорукову о свадьбе, но Алексей Григорьевич всегда подыскивал веские доводы к оттягиванию ее, и свадьба все отлагалась.

Прошло несколько времени; князь стал все реже и реже бывать в лесных хоромах, а Мария приготавлилась стать матерью. Марина не поладила с нею и, купив себе в московском захолустье, близ Тверской заставы домишко или, скорее, хибарку, поселилась в ней. Марина догадывалась, что князь обманывает ее дочь, несколько раз говорила ей об этом, предостерегала ее, но красавица Маша крепко любила князя и верила ему больше, чем матери.

Как-то Марине пришлось узнать, что князь Алексей Григорьевич давно женат и имеет детей. В тот же день она наняла подводу, отправилась к дочери и обо всем рассказала ей.

Мария, услышав, что ее возлюбленный женат, предалась страшному отчаянию и слезам, а следствием этого были ее преждевременные роды, окончившиеся смертью молодой матери.

Бедную Машу похоронили тут же, в лесу, а ее маленькую дочурку взяла к себе Марина.

Князь Алексей Григорьевич совсем забыл о существовании своей побочной дочери Маруси; впрочем, когда Марина брала к себе внучку, князь приказал выдать ей порядочную сумму денег, чем и закончились его отцовские заботы.

Лес и лесные хоромы князь Алексей Григорьевич подарил своему сыну Ивану, который сделался фаворитом императора-отрока; к нему также перешел служить и Гаврила Струков в качестве лесничего. Ему и его жене князь Алексей, под угрозой смерти, запретил говорить кому бы то ни было об умершей Марии и ее маленькой дочери Маруси.

И вот через много лет Маруся, по капризу взбалмошного князя Ивана, опять попала в тот дом, который, неизвестно для нее, был местом ее рождения.

Молодой князь считал опасным держать пленницу в Москве, а потому отправил ее в лес, к крепостному полевоводу Гавриле. Последний с двумя работниками и с дочерью Анюткой жил в нижнем этаже лесного дома, а верхний был приспособлен на случай приезда князя Ивана.

«У меня лесник Гаврила — верный слуга, преданный... Он сумеет припрятать красотку; ищи ее хоть сто лет — не найдешь», — думал князь Иван, отправляя Марусю под охрану двух своих холопов в лес.

И действительно, Струков и душою и телом был предан своему молодому господину; он служил верой и правдой и заботился о княжеском лесе, как о своем добре. Горе бывало мужику, если Гаврила заставлял его за порубкою, — он отнимал у мужика-горемыки и топор, и лошаденку, а самого виновника избивал до полусмерти.

Суров был Гаврила, неподатлив, ни слезы, ни мольбы не трогали его загрубелого сердца. Ростом он был великан, в плечах — косая сажень, борода по пояс, волосы рыжие с проседью, взгляд зоркий, суровый, да и силу имел он большую, богатырскую; на медведя ходил один, взяв только топор да рогатину.

Вид у Гаврилы всегда был суровый, мрачный; редко появлялась улыбка на его лице. Даже со своей дочерью Анюткой он был не особенно ласков, не баловал ее, держал всегда в страхе и в повиновении и лишь редко-редко становился нежно любящим отцом, сажал Анютку к себе на колени, целовал ее, ласкал и даже играл с нею.

Анютка росла, не зная материнской ласки, оставшись двухлетней сироткой после смерти матери, и выросла совершенной дикаркой. Для нее не было другого мира, как вековой, густой лес, и другой семьи, как отец, двое работников и старуха-стряпуха.

В летнюю пору Анютка с зари до глубокой ночи проводила в лесу; разве прибежит домой за куском хлеба — вот и весь ее обед. В лесу ей было хорошо, привольно, ягод много, лесных цветов, залезет на дерево, усядется на суку, смотрит, как белки с дерева на дерево, с сука на сук прыгают, а то пугать начнет. Идет какой-нибудь прохожий лесом — Анютка выследит, когда он поравняется с тем деревом, на котором она сидит, да как вдруг вскрикнет не своим голосом или захохочет. Прохожий бросался бежать без оглядки, в уверенности, что это — леший.

Гаврила Струков любил свою дочку до безумия.

Вот к этому-то леснику и привезли Марусю холопы князя Ивана, причем один из них передал такой приказ его:

— Молодой наш князь прислал к тебе под наблюдение эту птаху и приказал беречь ее да стеречь пуще своего глаза. Отведи ей горницу в верхнем жилье, почище и лучше, но из горницы на единый шаг не выпускай; всего лучше держи ее под замком. Корми и пои послаще, не жалея денег: князь Иван Алексеевич за все тебе сторицею

заплатит и княжескою милостью тебя не оставит. А если выпустишь пташку из клетки, так уже прямо со своей головой простишься!..

— А что это за птаха? — спросил лесничий.

— А кто ее знает?.. Может, посадская, а может, и купеческая дочь, только птица не важного полета.

— Ладно, так и знать будем.

Княжеские холопы уехали обратно в Москву, а Маруся как-то невольно покорила своей участи и осталась жить в лесу, в доме лесника.

Согласно княжескому приказу, Гаврила отвел ей в верхнем этаже чистую и просторную горницу, а для услуг приставил к ней свою четырнадцатилетнюю дочь Анютку. Та с радостью принялась служить «краденной» боярышне. Обе они сошлись с первого же дня, полюбили друг друга и считались подругами. Анютка, с согласия отца, перебралась в горницу Маруси, и лесничий запирал их на ночь на замок.

ХIII

Пока происходили все описанные ранее события, император-отрок продолжал жить в Москве, увлекаясь разными развлечениями и главным образом охотой. Его воспитатель, вице-канцлер Остерман, не раз спрашивал его, когда же он пожелает вернуться в Петербург; император отвечал: «Скоро, скоро!» — но проходили недели, месяцы, а государь и не думал о переезде в «Петров парадиз».

Петру II не хотелось оставлять Москву, так как он чувствовал себя здесь гораздо свободнее, нежели в северной столице. Находясь под влиянием Долгоруковых, он предавался беспечной жизни и вовсе не занимался делами, а также и своим образованием.

Да и до этого ли было императору-отроку, до наук ли, когда Долгоруковы каждый день выдумывали для него все новые и новые развлечения? Они приучили императора ездить на охоту под предлогом совершенного удаления от царевны Елизаветы Петровны, в которую он действительно был влюблен, но на самом деле для того, во-первых, чтобы удалить его от всех тех, кто мог говорить ему о возвращении в Петербург, а во-вторых, для того, чтобы он не занимался государственными делами и чтобы поселить в нем, если возможно, мысль о введении старых обычаев, и наконец для того, чтобы заставить его жениться на княжне

Долгоруковой. Родственники последней зорко стерегли императора-отрока и не допускали к нему других вельмож, боясь, как бы последние не помешали своими наговорами их плану, но, несмотря на это, заметно было не только охлаждение, а даже нерасположение государя к своей невесте. Князь Алексей Григорьевич рассыпался перед императором в похвалах своей дочери, но государь равнодушно слушал эти похвалы и все реже и реже изъявлял желание видеть свою обрученную невесту.

Впрочем, княжна Екатерина несколько не сожалела об этом. В откровенной беседе с сестрой и с другими близко стоявшими к ней лицами она говорила:

— Я уверена, что мой августейший жених не любит меня, да и я люблю его как государя, но не как жениха: ведь он для меня молод, совсем мальчик, с таким мужем ни царская корона, ни почести, ничто не прельщает меня... и я с радостью отказалась бы от всего. Но мой отец честолюбив, он хочет задуманного брака, и я покоряюсь, хотя и скрепя сердце. Одно только и примиряет меня, а именно — что женою государя я не буду, я в этом уверена... я предчувствую...

И это предчувствие не обмануло княжну Екатерину. Как увидим дальше, все честолюбивые помыслы Долгоруковых рушились, и за свое честолюбие они страшно заплатились.

Однако Остерман не оставлял своей мысли о необходимости возвращения государя в Петербург и однажды опять сказал ему:

— Время, государь, быть вашему величеству в резиденции, время!

— А Москва разве не резиденция? Ах, Андрей Иванович, я так привык к Москве, сроднился с ней. Я не понимаю, зачем мой дед перенес свою резиденцию из Москвы в Петербург? Здесь много лучше: и воздух чище, и леса кругом, есть где поохотиться...

— Ваш дед был великим императором. Основывая свою резиденцию в Петербурге, он тем сблизился с европейскими просвещенными государствами.

— А мне Москва больше нравится. Я желал бы навсегда в Москве остаться, — задумчиво проговорил император-отрок.

— Это делать, ваше величество, нельзя. Возвращение в Петербург вам, государь, необходимо. Ведь там сосредоточено все управление империей.

— Да хорошо, хорошо... если надо, я поеду.

— Когда же, государь, соизволите назначить переезд двора? Может быть, после свадьбы?

— После какой свадьбы? — рассеянно спросил Петр.

— После вашей, государь.

— Ах, да, после моей свадьбы! Так ты все думаешь, Андрей Иванович, что моя свадьба с княжной Екатериной состоится?

— А то как же? Ведь княжна Екатерина обручена с вашим величеством.

— И дочь Меншикова тоже была со мной обручена. Кстати, где теперь Меншиков?

— В Березове, государь, согласно вашему решению.

— Мне хочется, Андрей Иванович, смягчить участь Меншикова. Пусть дадут ему некоторые льготы, в особенности же его семейству. Дочерей и сына даже можно вернуть и возратить им часть конфискованного имущества. Правда, Меншиков виновен, во многом виновен... Но его дочери, сын? За что они терпят? А бедная княгиня Меншикова не перенесла... Кто виновник ее смерти, кто?.. Вы, господа, научили меня жестокости, вы! С Меншиковым я поступил круто и раскаиваюсь в том. — И, с волнением проговорив эти слова, император-отрок стал быстро рассказывать по кабинету.

— Смею заметить, ваше величество, что многие деяния Меншикова служили во вред государству.

— Да, но много сделано им и на пользу государства, это тоже забывать нельзя... Мой великий дед умел ценить услуги Меншикова. Возвращать его из ссылки не надо, но необходимо смягчить участь его лично и его детей. Они привыкли к довольству, к роскоши — и вдруг дальняя ссылка, лишение даже необходимого. Это ужасно, ужасно!

— Успокойтесь, государь: Меншиковым будут оказаны некоторые льготы и денег на их содержание будут отпускать вдвое более прежнего.

— Да, да, Андрей Иванович! Я не хочу, чтобы они нуждались в чем-либо. А дочерям и сыну Меншикова возратить их имущество и звание.

— Сделать это, государь, можно, но не теперь, — вкрадчивым голосом заметил тонкий дипломат Остерман.

— А я хочу теперь же, — нахмутив брови, резко проговорил Петр, начинавший сердиться.

— А что скажет, государь, ваша бабка, царица Евдокия Федоровна?

— Бабушка может говорить что хочет, я даже попрошу ее не вмешиваться в мои дела. О возвращении Меншико-

вых из ссылки я сделаю распоряжение в свое время, а теперь хочу, чтобы была смягчена их участь, и приказываю сделать это немедленно.

— Слушаю, государь, — с поклоном промолвил Остерман и пошел было к двери.

— Вы уходите, Андрей Иванович, рассердились на меня за настойчивость. Не сердитесь... мы скоро поедem в Питер; хоть и не хочется мне туда, но, вижу, надо.

— Давным-давно надо, государь!

— И поедem, только, пожалуйста, не ворчите и не сердитесь. До свиданья, Андрей Иванович!.. Уходя, пошлите ко мне дежурного флигель-адъютанта.

Спустя немного в кабинет государя вошел флигель-адъютант Свечин и, отдав низкий поклон, остановился у двери.

— Что это значит? Сегодня, кажется, не ваше дежурство, а Храпунова? — спросил у вошедшего император-отрок.

— Так точно, ваше величество!

— Где же Храпунов?

— Имею честь доложить, вашему величеству, что флигель-адъютант Храпунов арестован.

— Как арестован?.. Кто его арестовал? — с удивлением воскликнул Петр.

— По приказу его сиятельства князя Ивана Алексеевича.

— Князь Иван приказал арестовать Храпунова? — удивляясь все более и более, переспросил государь. — За что?

— Не могу знать, ваше величество!

— Вы путаете, Свечин! Этого быть не может: князь Иван и Храпунов — большие приятели.

— Смее уверить, ваше величество, что флигель-адъютант Храпунов арестован по приказанию князя Ивана Алексеевича.

— Странно, довольно странно! Да вот и князь Иван легок на помине. Свечин уверяет меня, что ты приказал арестовать Храпунова, — быстро обратился император-отрок к вошедшему Ивану Долгорукову.

— Он говорит правду, — смело ответил тот.

— Ты приказал арестовать Храпунова? За что?

— Дозволь умолчать об этом, государь!

— Князь Иван, я должен знать причину! — настойчиво произнес император.

— Я прикажу его выпустить, государь!

— Этого недостаточно. Я хочу знать, за что Храпунов арестован?

Прежде чем ответить, Иван Долгоруков поглядел на императора-отрока и прочитал на его лице досаду и гнев. Таким тоном Петр никогда не говорил со своим любимцем, а потому последний, опустив голову, тихо ответил:

— Храпунов оскорбил меня, государь!

— За оскорбление полагается суд, Ваня! Что все это значит? Ведь Храпунов был твоим большим приятелем? — уже мягче спросил Петр.

— Государь, тут дело мое личное... Храпунова я сейчас же прикажу выпустить из-под ареста, если же я сделал что-либо противозаконное, то прикажите судить меня.

— Полно, полно, Ваня, что ты! Судить тебя? Да разве это можно?... Мне хотелось только узнать, из-за чего ты повздорил с Храпуновым, ну, а если это — секрет, то и не надо, не надо. Только прикажи выпустить Храпунова... Я хотел дать ему приказ к бабушке, в монастырь.

— Он сейчас же явится перед вашим величеством, государь, — проговорил Иван Долгоруков и, откланявшись, вышел с тем, чтобы отправиться на гауптвахту, где в одиночном заключении томился Левушка Храпунов.

Его тюрьма походила на квадратный ящик; встать в ней, вытянувшись во весь рост, было невозможно, лечь же можно было только скорчившись. Свет едва проникал через маленькое оконце, находившееся под самым потолком; кроме деревянной, ничем не покрытой койки да стола, в тюрьме ничего не было. В нее сажали только важных преступников; к группе их был причислен и Храпунов.

Прошел день, настал другой, а дверь в тюрьму не отворялась, в нее никто не входил; только с вечера солдат-сторож поставил на стол кружку с водою и положил ломоть черного хлеба.

Томимый мучительными думами об участи красавицы Маруси, Левушка приходил чуть ли не в отчаяние.

«Где Маруся? Что с нею? Куда завез ее Иван Долгоруков? Кто защитит ее?» — эти мысли не давали покоя молодому офицеру и наводили на него страшную тоску.

Но вот загремел замок его тюрьмы, дверь открылась, на пороге показался сам фаворит, князь Иван. Его лицо было бледно и встревожено.

— Что вам надо, князь? Зачем вы пришли? — гневно крикнул на вошедшего Храпунов.

— Я... я пришел освободить тебя, — тихо ответил князь Иван.

— Сам сиятельный князь Иван Алексеевич, царский любимец пришел освободить меня! Какая честь для меня! — И Левушка желчно засмеялся.

— Прежде чем злиться на меня и упрекать, ты выслушал меня. Я пришел к тебе с миром, а ты...

— Разве между нами, князь, может быть мир?.. Не мир, а вечная, непримиримая вражда!

— Напрасно ты горячишься, Храпунов! Вражды между нами быть не может, — спокойно проговорил князь Иван.

— Как не может? Ты отнял у меня мою невесту. Лучше бы, князь, ты отнял у меня жизнь.

— Ни слова, Храпунов! Ни слова! С того раза, как твоя невеста была с тобою, я больше не видал ее и теперь возвращаю тебе.

— А где она? Куда ты, князь, припрятал Марусю?

— Мои кони свезут тебя к ней. Только прежде чем ехать к Марусе, ступай во дворец к государю.

— К государю, ты говоришь? — удивился Левушка Храпунов.

— Да, да, скорее! Но если государь станет спрашивать, за что я приказал посадить тебя на гауптвахту, не говори ему причины... Скажи только, что мы повздорили. Не скажешь, для тебя же будет лучше!

Левушка ни слова не возразил на это, он был готов на все, лишь бы поскорее увидеть свою милую.

Через несколько минут он и князь Иван вместе вышли с гауптвахты. Солдаты выстроились и отдали воинские почести царскому любимцу.

— Ты хочешь жениться на Марусе? — после некоторого молчания спросил Долгоруков у Храпунова.

— Да, князь, я решил.

— Мой отец и я дадим за Марусей хорошее приданое.

— Князь, что это значит? Или ты опять хочешь оскорбить меня? Ни я, ни Маруся не нуждаемся в подачке, — горячо проговорил Левушка.

— Это не подачка, а должное, — тихо промолвил князь Иван.

— Как должное? Я не понимаю.

— Послушай, Храпунов, мы издавна считались приятелями, близкими, любезными, и я по-прежнему хочу остаться таким. Вражды между нами не должно быть, что было, то прошло, и в знак того дозволю мне обнять тебя по-братски! — И, сказав это, князь Иван крепко обнял и поцеловал Храпунова, после чего продолжал: — Левушка, когда я про приданое заговорил, ты упрекнул меня, сказав,

что подачки не желаешь, а я повторяю, что это — не подачка, а должное... Отец и я, оба мы должны дать приданое за Марусей, понимаешь? Должны!

— А я, князь, опять спрашиваю, почему должны?

— Да потому, что... Маруся нам — не чужая.

— Как ты сказал, князь? — с удивлением воскликнул Левушка.

— Я говорю, что Маруся нам родная, и потому мы обязаны выдать ей приданое.

— Странные слова ты говоришь, князь, странные! Как может быть цыганкина внучка родственницей вам?

— Ты все узнаешь, все, только не теперь... Прошу, Левушка, не говори Марусе ни слова об этом.

— Эта таинственность, князь, удивляет меня.

— Потерпи, приятель!.. Говорю, все узнаешь.

— Хорошо, князь, я верю тебе.

У дворца Храпунова дожидалась лихая тройка, запряженная в расписные сани.

— Кони свезут тебя, куда надо, — сказал князь Иван, показывая на тройку.

Прежде чем ехать за своей возлюбленной, Левушка зашел во дворец, попросил доложить о себе государю и был тотчас же принят. Петр засыпал его вопросами, однако Левушка скрыл причину своей ссоры с князем Иваном и сказал только, что они лично повздорили, оба не в меру погорячившись, причем князь Иван рассердился и приказал его арестовать.

— Надеюсь, что ничего подобного больше не случится и ты будешь по-прежнему приятелем князю Ивану. Никаких ссор я не терплю! — строгим голосом проговорил император-отрок, отпуская Храпунова.

XIV

Со страстным нетерпением несли Храпунов к своей возлюбленной на тройке лихих коней. Ею управлял молодой ямщик, а рядом с ним сидел лакей князя Ивана, Игнат, которому было приказано доставить Храпунова в лесные княжеские хоромы. Не раз спрашивал Левушка о том, скоро ли они приедут, и наконец услышал от Игната:

— Скоро, скоро, барин!.. Вот видите, вдали лес виднеется? В нем-то и находятся княжеские хоромы.

— Да ведь до этого леса, пожалуй, добрых пять верст будет.

— Где, и трех не будет... Ну, ты, чего спишь? Приударь коней-то! — крикнул Игнат ямщику.

Тот натянул вожжи, гикнул, и кони понеслись так, что у путников даже дух захватывало, в глазах мутилось. Вот они врезались в вековой сосновый лес, и между деревьями показалась крыша лесных хором.

Ямщик с большой проезжей дороги свернул на узкую, ведущую прямо к хоромам, и у ворот круто осадил коней.

— Здесь? — отрывисто спросил у Игната Храпунов, выпрыгивая из саней.

— Здесь, пожалуйста. Вот и сам дядя Гаврила, — проговорил Игнат.

На самом деле, навстречу приехавшим поспешно вышел к воротам лесничий Гаврила Струков.

— Кто это? — спросил Левушка, показывая на Струкова.

— А это будет здешний лесничий.

— Так у него Маруся?

— Так точно, господин, пожалуйста в хоромы. Что же ты, дядя Гаврила, стоишь как пень? Веди в хоромы господина офицера.

Но лесничий Струков не тронулся с места; он был мрачен и чем-то сильно встревожен.

— Гаврила, да что же ты?.. Что с тобою подеялось?.. Наш господин, князь Иван Алексеевич, приказал тебе не мешкая с господином офицером отпустить гостью...

— Ее нет, — мрачно промолвил Струков.

— Как нет? — переспросил у него княжеский дворецкий. — Да где же она?

— Не знаю.

— Как, Маруси здесь нет, нет? — меняясь в лице, воскликнул Левушка.

— Нет... ушла она тайком, и моя Анютка с нею убежала, — понуриив голову, тихо ответил Гаврила.

— Ушла... тайком?.. Быть не может! Куда же уйти, куда? Что же ты молчишь, старик? Говори! — не спросил, а простонал бедняга Левушка.

— Куда она ушла — я не знаю, не ведаю.

— Нет, ты врешь, старик!.. Ты знаешь, где моя Маруся... Тут какой-нибудь обман! Верно, ты, выполняя приказ князя Ивана, припрятал куда-нибудь Марусю?

— Куда мне ее припрятать? Да и зачем? Князь Иван Алексеевич мне на то приказа не давал.

— Не поверю тебе, старик!.. Ты и твой князь, вы оба — злодеи! Я силою заставлю тебя сказать правду, застав-

лю, — с гневом и отчаянием крикнул на лесничего Левушка.

— Ты, господин, во мне не властен, я не боюсь тебя! Провинился я, точно, только не перед тобою... Тебя, господин, я не знаю, а вина моя — перед князем, что плохо стерег я гостью и дал ей убежать из хором, да еще девку мою сманить, — хмуро проговорил Гаврила.

— Когда же ушла гостя? — спросил у лесничего княжеский дворовый Игнат.

— Сегодня утром. Встал это я рано и пошел с дозором в лес. Ходил я долго, вернулся в хоромы, почитай, к обеду, стал звать Анютку, дочку, — не откликается. И наверх к гостье, думал — там Анюта, подружилась она с гостьей-то, вместе с нею в одной горенке и спала. Вхожу наверх, а там нет ни гостьи, ни Анютки, обеих и след простыл. Я на двор, стряпуху спрашиваю, работника, не видали ли они Анютки с гостьей. «Не видали, — говорят, — двором никто не проходил». А ворота у нас и днем, и ночью на запоре.

— Как же они ушли, если ворота были на запоре? — прерывая Гаврилу, спросил Храпунов.

— Через изгородь садовую перелезли. Следы на снегу видны.

— Ты бы по следам и шел искать беглянок, — промолвил дворовый Игнат.

— Я и пошел по следам. Они вывели меня на проезжую дорогу, а тут и потерялись. Сам я искал беглянок, только недавно воротился, а работники и посейчас в лесу их ищут.

— Господи!.. Зимой, в лесу... заблудятся, замерзнут, — чуть не со слезами проговорил молодой офицер.

— Ну, моя Анютка лес знает как свои пять пальцев, не заблудится. Одно только опасно: на зверя не наткнулись бы они. Волков голодных теперь по лесу шляется много. Долго ли до беды!

— Надо искать, я до тех пор не успокоюсь, пока не обследую всего леса. И вы, Гаврила и Игнат, оба со мной поедете, — проговорил Левушка, садясь поспешно в сани.

Долго искали они Марусю и Анютку: весь лес осмотрели, где на лошадях было нельзя, пешком ходили, вязли в снегу, но нигде не напали на след беглянок: обе они как в воду канули. Так в лесные хоромы ни с чем и вернулись, а оттуда Левушка Храпунов в Москву поехал.

«Если Маруся жива, то наверняка к своей бабушке придет; скрываться ей больше негде, — думал он. — Может,

она, голубка, уже давно дома. Но что это все значит? Давеча князь Иван помянул про приданое... Долгоруковы хотят дать Марусе приданое... Почему? Не пойму я, не разгадаю, при чем тут Долгоруковы. Нет ли тут какого-нибудь подвоха? Может, князь Иван приказал припрятать Марусю куда-либо в другое место. Лесник с ним, наверное, заодно. Припрятали Марусю, да и говорят, что она сбежала. Ну да я узнаю, доберусь до правды, чего бы мне это ни стоило!»

Доехав до Тверской заставы и отпустив с Игнатом княжескую тройку, Храпунов пешком пошел в хибарку Марины, питая надежду встретить там свою возлюбленную. Но ему пришлось скоро разочароваться: девушки там не было.

Тяжелое, удручающее впечатление произвело на старуху Марину, когда она узнала, что ее внучка Маруся неизвестно куда исчезла из лесных хором. Ее горю и слезам не было предела. Когда же она несколько поуспокоилась, то стала обсуждать с Храпуновым, куда могла уйти Маруся и где надо искать ее.

Наконец, они решили подождать день, и если Маруся домой не вернется, то поручить полиции и сыщикам искать ее...

Между тем Маруся сама порешила бежать из опостылевшего ей лесного дома.

Прошел только день, как познакомились Маруся и Анютка, а они уже стали близкими подругами. Словоохотливая Анютка рассказала Марусе про свою жизнь в лесу и, захлебываясь от восторга, поведала, как молодой царь, будучи на охоте, приезжал в лесные хоромы в гости к их князю Ивану Алексеевичу, как молодой князь встречал государя, угощал его.

— Вот-то весело да радостно было у нас тогда!.. Умру — не забуду того дня. Государь-то молоденький-премолоденький, совсем мальчик, да такой пригожий и ласковый. С отцом моим таково ласково говорил, червонцем его пожаловал. А как уехал царь с нашим князем, опять у нас пошла скучища.

— Стало быть, ты здесь, Аннушка, скучаешь? — спросила Маруся у дочери лесничего.

— Дома скучаю, а в лесу нет.

— Разве в лесу-то лучше, веселее?

— Знамо. В лесу, в летнюю пору, рай! Вот хорошо было бы, если бы ты, Маруся, пробыла у нас до лета. Стали бы мы в лес ходить, ягоды рвать, грибы собирать,

по деревьям лазать. Я как белка по деревьям прыгаю. За-
лезу на самую маковку, высоко-высоко, и сижу там да на
небо посматриваю.

— Зачем же ты, Аннушка, на небо смотришь?

— Больно мне хочется увидеть мамкину душу. Ведь
мамкина душа-то на небе, вот и хочется мне увидеть ее.
Да вот только сколько ни смотрела, не видала. Видно, мно-
го я нагрешила, потому мамкина душа и не показывается,
— печально проговорила Анютка.

— Что же, Аннушка, велики ли твои грехи? Чем же
ты грешишь? — улыбаясь спросила Маруся.

— Мало ли чем. Вот тятку иногда не слушаю, сержусь
на него.

— А ты отца, Аннушка, боишься?

— Нет. Да и чего бояться его? Он ко мне добрый!

— А если, Аннушка, не боишься отца, так взяла бы
да выпустила меня отсюда, — тихо проговорила Маруся,
беря за руку Анютку.

— Что же, пожалуй, — как-то нерешительно промол-
вила девочка и добавила: — Да разве у нас тебе плохо?

— Слыхала, Аннушка, поговорку: «В гостях хорошо, а
дома лучше»? А я у вас не в гостях. Ну разве гостей
держат под замком? А меня твой отец на замок запер.

Разговор Маруси с Анюткой происходил поздним вече-
ром; дверь горницы, где они находились, была заперта на
замок Гаврилой, и ключ он взял с собою.

— И то, и то... Ах ты, моя сердечная! Только отца ты,
Маруся, не вини: это наш князь приказал ему держать
тебя под замком... Пыталась я спрашивать у тятки, зачем
князь велел держать тебя взаперти. Куда тебе!.. Закричал
он на меня, что это — не моего ума дело, грозился за
волосы оттаскать.

— Злой человек князь Иван, да и твой отец тоже...

— Говорю, отца не вини: ему что велят, то он и делает.
Только я, Маруся, никак не пойму, чем ты провинилась
против князя, зачем он велел держать тебя в неволе? —
недоумевала Анютка.

Маруся рассказала все свое приключение и, заливаясь
слезами, закончила его словами:

— Ну вот видишь: был у меня жених, а князь Иван
разлучил меня с ним... разбил мое счастье. Суди его Бог!

— Ах ты, сердечная, сердечная! — сама плача, вос-
кликнула Анютка, а затем, подумав, продолжала: — Но
ты, Маруся не сокрушайся... Я выпущу тебя на волю,
выпущу.

— Аннушка, милая. Да разве это можно? Ведь твой отец зорко стережет меня.

— Пусть стережет, а я все же тебя выпущу, да и сама с тобой убегу. Теперь зима студеная, мне скучно здесь. Вот если бы лето было, так я ни за что не убежала бы.

На следующее утро, когда Маруся и Анютка только что встали, к ним в горницу вошел Гаврила Струков.

— Здорово, сударушка, здорово, гостьюшка, — ласково произнес он, ставя на стол жестяную кружку горячего сбитня.

— Здравствуй, — ответила Маруся, поднимая свои чудные глаза на лесничего.

Гаврила, смотревший на нее в этот момент, вдруг изменился в лице и испуганным голосом проговорил:

— Что это? С нами крестная сила!..

Видимо, он был поражен особенностью взгляда девушки, напомнившей ему что-то былое, давно знакомое.

Анютка заметила испуг отца и спросила:

— Тятка, чего ты испугался?

— Молчи, молчи... Тебя как зовут? — тихо спросил у Маруси Струков.

— Марусей... Марьей, — ответила девушка, удивляясь испугу лесничего.

— И ее, покойницу, так звали... Что же это? Неужели цыганка Марья с того света пришла?..

— Тятка, да что ты ворчишь?

— Молчи, молчи, Анютка!.. Пошла вниз и жди! — крикнул Гаврила дочери и, когда та покорно ушла, обратился к Марусе: — Чья ты будешь, сударушка?

— Не знаю, — коротко ответила ему девушка.

— Как не знаешь?.. Чья же ты дочь?

— Говорю, ни отца, ни матери я не знаю.

— И того не знаешь, живы ли они?

— Отец жив, а мать умерла.

— А как твою мать звали, знаешь?

— Знаю, Марьей. Да зачем ты про все это расспрашиваешь?

— Нужно, сударушка, может, для твоей же пользы... А рода ты не цыганского ли?

— Цыганского.

— А с кем ты до сих пор жила?

— С бабушкой.

— А ее не Мариной ли звать?

— Так, так. Разве ты знаешь мою бабушку?

— Знаю. То есть нет, нет... я так, сударушка-боярышня, наугад молвил, так!.. — явно смутившись, произнес Гаврила и засобирался уходить. — Ну, счастливо оставаться... Я сейчас Анютку к тебе пришлю... Может, тебе что-нибудь нужно?.. Так прикажи!

— Спасибо, пока мне ничего не надо. Впрочем, вот что: не держи ты меня под замком, пожалуйста, не держи!.. Я и так не убегу.

— Нет, нет!.. Как можно теперь тебя под замком держать? Как можно! Я сейчас к тебе Анютку пошлю, сударушка-боярышня. — И лесничий, низко поклонившись Марусе, вышел.

Идя вниз, он бормотал:

— Грех-то какой, отцы мои, грех-то какой! Брат на сестру посягает, в тяжелой неволе, по неведению, сестру держит! А как похожа цыганочка на свою мать-покойницу... Вылитая мать, такая же красавица! Ишь ты, дела-то какие!.. Ту князь Алексей Григорьевич сгубил, а эту его сын задумал погубить... брат — сестру!.. Что мне делать, как быть? Как от беды цыганочку спасти? Ехать в Москву и предупредить князя Ивана Алексеевича, сказать ему, кого он в неволе держит? Пожалуй, еще не поверит, меня же обвинит... Ах, вот, придумал, придумал!.. — В этот момент он очутился уже в своей комнате и, позвав дочь, тихо сказал ей, оглядываясь по сторонам: — Слушай, Анютка! Я сейчас пойду в лес и работников возьму с собою... Не скоро я вернусь домой. Ты без меня выпусти невольную гостью... Пусть она куда хочет, туда и идет, и сама с ней ступай.

— Тятка, да ты шутишь, что ли? — тараща глаза от удивления, проговорила девочка.

— Не до шуток мне, не до шуток... Скорее бегите! Тем нашу гостьюшку спасешь от большой беды. Дней через пяток ты приходи домой. За тебя я не робею, ты не пропадешь.

— Не пропаду, тятка. А теперь я повинюсь тебе: ведь я сама хотела выпустить на волю Марусю — уж очень ее я полюбила, да и сама с ней бежать хотела.

— И ладно бы, Анютка, сделала.

— Как же это, тятка, ты Марусю выпускаешь? Разве ты не боишься молодого князя? — удивленно спросила Анютка.

— Не я ее выпускаю, а ты... Поняла, что ли?

— Поняла... И хитрец же ты, тятка, вот хитрец!

— Ну, мне пора в лес. Прощай, дочка, храни тебя Бог! Бегите в Москву; наша гостья-боярышня там проживала.

Как доведешь ее до города, так она, небось, легко дом свой найдет. А сама ты дней через пять домой вернись, ждать буду... Только гостье ни слова не говори про то, что я тебе велел ее на свободу выпустить. Ну, прощай, ухожу.

Гаврила Струков, прихватив с собою работников, вышел «обозревать» лес, а Анютка, счастливая, довольная, побежала наверх к Марусе и, задыхаясь от волнения, проговорила:

— Собирайся скорее, Маруся!..

— Куда? Зачем? — с удивлением спросила девушка.

— Собирайся, говорю!.. Ведь сама ты просила, чтобы я тебя на волю отпустила.

— Как, Аннушка? Ты освобождаешь меня? — радостно воскликнула Маруся. — Но куда мы пойдем?

— Там видно будет... Пока лишь вон из дома, благо он не заперт. И сама я с тобой уйду.

— А твой отец ушел?

— Знамо, при отце я тебя не выпустила бы. В хоромах только и осталась одна стряпуха, она около печи ворочается.

Маруся и Анютка поспешно оделись и вышли из ворот лесных хором. Останавливать их было некому; старуха возилась в кухне и не видала, и не слыхала, как девушки ушли.

Было утро морозное, но ясное. Маруся и Анютка поспешно шли по лесной дороге к Москве. Пройдя некоторое расстояние от лесных хором, Маруся спросила у девочки:

— Куда мы идем?

— Дорога эта ведет к Москве, — ответила ей Анютка.

— Боюсь я в Москву-то идти, Аннушка, боюсь. Не ровен час, князя Ивана в Москве повстречаем. Ведь он только и знает, что по ней гоняет... любит он по увеселеньям разъезжать. Увидит, ну и пропала я.

— И что ты, Маруся! Москва не клином сошлась, авось найдем, где укрыться... Только вот одно плохо: Москва, говорят, деньгу любит, а у меня и гроша нет.

— Зато у меня есть, — с улыбкой ответила ей Маруся.

— Вот и ладно. В Москве с деньгами жить можно. Вот пройдем немного, лес кончится, и придем в деревушку Климово, там порядим мужика, он нас духом до Москвы довезет, благо у тебя есть деньги.

— Ох, Аннушка, милая, а вдруг да мы попадемся навстречу твоему отцу?

— Не бойся, не попадемся: тятка пошел совсем в другую сторону, я видала, — успокаивая Марусю, проговорила Анютка.

Девушки дошли до деревушки Климово и там порядили мужика Вавилу довести их до Москвы.

Маруся закутала голову в большой платок, чтобы ее не узнал кто-либо, и благополучно доехала с Анюткой до Москвы. Однако к своей бабке она не решилась ехать, а остановилась невдалеке от хибарки Марины, на постоялом дворе, которых на Тверской-Ямской было много, в отдельной каморке.

В первый и второй день ни Маруся, ни Анютка никуда не выходили из своей каморки, боясь выйти на улицу, чтобы не встретить князя Ивана Долгорукова. Наконец на третий день Маруся решилась послать Анютку к бабушке, рассказав ей, как найти ее хибарку.

Нечего говорить о той радости, когда старая Марина услышала, что ее внушка живехонька, и узнала, где та остановилась. Тотчас же в сопровождении Анютки она отправилась на постоянный двор.

Радостна была ее встреча с внучкой; последняя рассказала все происшедшее с ней и закончила словами:

— А все же, бабушка, домой мне возвращаться нельзя.

— Почему же?

— А князь Иван Долгоруков?

— Его теперь бояться нечего. Князь Иван Алексеевич никакого зла тебе не сделает.

— Как, бабушка? Ведь он в неволе меня, ровно свою холопку, держал.

— Теперь этого, Маруся, не будет. Князь Иван много сокрушался, когда услышал, что ты тайком ушла из его лесных хором.

— А ты как про то узнала? — с удивлением спросила Маруся.

— А ты погоди, я тебе все расскажу, вот как домой придем. Говорю, ничего не бойся.

Маруся согласилась переселиться к бабушке и вскоре была уже в хибарке старухи.

Действительно, Долгоруков навестил Марину. Дело в том, что Гаврила Струков, рассказав Храпунову об исчезновении своей дочери и Маруси, счел необходимым очиститься от всяких подозрений и известил о своем «горе» князя Ивана Долгорукова. Тот был поражен этим обстоятельством, предвидя, какой тяжкий удар нанесет оно Храпунову, приказал произвести розыски по всем окрестностям Горенок, а сам поспешил посетить Марину, надеясь, что Маруся вернулась к ней. Увы! Ее там не было; к тому же старуха накинулась на него с горькими жалобами и при-

читаниями, обвиняя его в гибели ее любимицы. Долгоруков искренне огорчился этим исчезновением своей названной сестры, пообещал старухе найти ее внучку, а вместе с тем не преминул сказать, что ему известно о любви Маруси и Храпунова и что он наградит красавицу-девушку приданным.

Марина, зная тайну рождения внучки, приняла это обещание как должное, но, конечно, решила скрыть от Маруси его истинное значение.

Теперь Марина сообщила об этом Марусе, по возвращении ее в родной дом.

— Сам князь Иван был у меня — вчера был и nonче утром заезжал. Добро он задумал для тебя, Маруся, сделать.

— Какое добро?

— Хочет под венец тебя с Левушкой Храпуновым снарядить и приданое большое дать.

— Что он за родич мне? Ни в приданом, ни в его заботах я не нуждаюсь и видеть его не хочу, — сердито проговорила Маруся. — И не пойму я тебя, бабушка! Давно ли ты мне говорила, чтобы я боялась Долгоруковых, что они — мои враги, а теперь говоришь...

— А теперь я говорю, Маруся, что не след тебе бояться Долгоруковых, а также не след отказываться от приданого. От добра не отказываются.

— Бабушка, милая, я не понимаю, ничего не понимаю!

— Придет время, Маруся, поймешь, все поймешь!

— Когда же придет это время?

— Придет скоро... Верь моим словам, внучка милая, не обману я тебя!.. Ведь тебе ведомо, как я люблю и жалею тебя...

На другой день после своего возвращения Маруся была удивлена и испугана неожиданным приездом князя Ивана. Марины в то время не было дома, в хибарке оставались только Маруся и Анютка; последняя от страха спряталась на печку. Неласковым взглядом встретила красавица царского фаворита и резко спросила его:

— Что тебе, князь, надо? Зачем пожаловал?

— Не сердись на меня, Маруся! Видит Бог, не с лихом я прибыл к тебе. И за прошлое прости меня! — И при этом гордый, спесивый князь низко поклонился красавице.

— Никак я, князь, не пойму, что нужно тебе? — холодно проговорила Маруся.

— Дозволь мне загладить свой проступок, дозвошь сделать для тебя, Маруся, доброе дело! — искренним голосом

произнес Долгоруков и быстро вышел из хибарки; однако он тотчас же вернулся в нее, держа в руках красивый ларец, кованный серебром, поставил его на пол и, показывая Марусе на него, промолвил: — Тут золото и камни самоцветные. Возьми их, Маруся! Они должны по праву принадлежать тебе.

— Должны принадлежать мне? — переспросила девушка. — Почему именно?

— Как тебе сказать? Как пояснить?.. Я, право, не знаю, — с замешательством промолвил Долгоруков.

— Если, князь, не скажешь, я не приму ларца.

Долгоруков немного подумал, а затем произнес:

— Вот видишь ли, Маруся, твоей матери был должен один человек много-много денег. Он не мог заплатить долг при ее жизни, а теперь разбогател и поручил мне доставить тебе этот ларец, так как он по праву представляет твою собственность. Ты понимаешь меня?

— Ровно ничего, князь, не понимаю.

— Какая ты непонятливая!.. Этот ларец и все, что в нем, должны были принадлежать твоей матери; но она умерла, и вместо нее ты, как дочь, получаешь долг. Надеюсь, теперь ты видишь, что не вправе отказываться от ларца. Я оставлю его, а сам уеду. Теперь я долго не увижусь с тобой. Прости меня и прощай, Маруся, будь счастлива! — ласково проговорил князь Иван, подходя близко к Марусе. — Дозволь мне поцеловать тебя чистым, братским поцелуем.

— Князь... — возразила было Маруся, все еще боясь его и не веря его искренности.

— Братским, прощальным поцелуем, Маруся! — И князь Иван, поцеловав Марусю, направился было к двери.

— Одно слово, князь! — остановила его Маруся. — Моего отца ты не знаешь?

— Нет, не знаю, — смущенно произнес Долгоруков, не ожидавший такого вопроса.

— Нет, князь, ты говоришь неправду. Тебе известен мой отец, — значительно проговорила девушка и пристально посмотрела в глаза князю Ивану.

Но он уклонился от ответа, сказав: «Прощай, Маруся! О своем отце меня не спрашивай!» — и поспешил уйти из хибарки старой цыганки.

Он не мог и не должен был открыть Марусе тайну; сказав, кто ее отец, он должен был бы назвать Марусю своей сестрой. Но этому противились его гордость, спесь и тщеславие. Как! Он, любимец государя, родовитый князь,

назовет дочь простой цыганки своей сестрой?! Сделать это было выше его сил.

Между тем Маруся не могла прийти в себя от изумления:

— Господи, что же все это значит? Со мной такие чудеса происходят, ровно в сказке! Князь Иван из врага чуть не благодетелем моим становится! Ларец мне оставил, говорит, что кто-то должен был моей матери и уплачивает мне. Ничего не пойму!.. Посмотреть разве, что в ларце?

Девушка открыла ларец, и крик удивления вырвался из ее груди при взгляде на золотые червонцы и на дорогие вещи, сверкавшие драгоценными камнями.

— Что ты кричишь, Маруся? Или с радости, что князя скоро спровадила? — спросила Анютка, слезая с печи.

— Аннушка, взгляни-ка, взгляни, что в ларце-то лежит... Видишь?

— Батюшки светы, какое богатство! Деньги, да все золотые! А камни-то... камни блестят, ровно солнышко красное... перстни, серьги, жемчуг!.. Маруся, неужели все это тебе князь Иван Алексеевич подарил? — воскликнула удивленная Анютка.

— Он сказал, что это богатство по праву должно было принадлежать моей покойной матери и по наследству перешло ко мне. Чудно все это для меня!.. Ровно как в сказке какой, право.

— Ну и приплыло же к тебе богатство, Маруся!

— Нежданно-негаданно. Аннушка, выбери себе перстень и серьги, какие хочешь, — предложила Маруся своей маленькой подруге.

— Спасибо, Маруся, спасибо, голубонька! Но ни перстня, ни серег я не возьму. Зачем мне? Ведь я в лесу живу. Ну для кого мне рядиться?..

— Возьми, Аннушка! Не возьмешь — меня обидишь.

— Ну так выбери сама, Маруся! Уж так и быть, из твоих рук я возьму.

Маруся выбрала для Анютки жемчужное ожерелье, серьги с крупным яхонтом, такой же перстень и сама надела все это на девочку. Той захотелось посмотреть на себя в этом драгоценном уборе, и она обратилась к цыганке-русалочке:

— Маруся, голубка, нет ли у тебя зеркальца? А если есть, то дай взглянуть в него, хороша ли я в этом дорогом наряде?

— На, глядись, — с улыбкою проговорила Маруся, подавая Анютке зеркальце, подаренное ей женихом.

— Маруся, голубка, взгляни, как серьги-то, серьги в моих ушах сверкают, и перстенок, и жемчуг! Маруся, за что же ты меня таким подарком наградила? — задышавшись от радости, воскликнула Анютка и принялась крепко обнимать и целовать свою подругу.

Та тоже заразилась ее радостью, и они, весело щебеча, даже не заметили, как в хибарке появился желанный гость, Левушка Храпунов, а с ним вошла и Марина.

Трудно описать, как был обрадован и удивлен Левушка, увидев свою сердечную любушку, свою красавицу-русалочку. Он страстно обнимал ее и без счета целовал ее дорогое личико.

Когда первый порыв радости миновал, Левушка засыпал Марусю вопросами, так что девушка едва успевала отвечать на них. Немало удивился Храпунов, когда увидал ларец, наполненный золотом и драгоценными вещами.

— Маруся, милая, зачем ты взяла это? — с легким упреком проговорил он.

— Я и не брала, да князь сам оставил, сказав, что будто это золото и драгоценности должны были принадлежать моей матери.

— И князь молвил правду-истину. Все это богатство твое, Маруся, — значительно посматривая и на внучку, и на ее жениха, сказала Марина.

— Маруся, ты сама, твое происхождение и твое богатство — какая-то загадка, — задумчиво проговорил Левушка.

— А ты отгадай эту загадку, добрый молодец, — с улыбкой ответила ему Марина.

— Эх, что мне отгадывать это, если у меня есть разгадка поприятнее! — воскликнул Левушка и обратился к своей возлюбленной: — Я отгадал, Маруся, твою любовь и больше мне нечего отгадывать.

Маруся и Левушка решили справить свою свадьбу после рождественского поста, который был уже на исходе. Но вот наступили Рождество и святки. Маруся и ее суженый съездили к леснику Гавриле Струкову за его дочкой Анюткой и на святки привезли ее гостить к себе, то есть в хибарку старой Марины. Маруся никак не хотела до своего замужества покидать бабушку и жила с нею, хотя Левушка и приготовил было для нее и для Марины хороший и удобный домик; но старая Марина не хотела расстаться со своей хибаркой, а с ней осталась и Маруся.

День свадьбы Левушки с Марусей уже приближался, как вдруг выяснилось, что их свадьба, а также свадьба

князя Ивана Долгорукова с графиней Натальей Шереметевой должны быть отложены по той причине, что опасно заболел государь.

XV

Причину болезни императора-отрока иностранцы, находившиеся в то время в Москве, приписывали сильному морозу, который был в крещенский парад, 6 января 1730 года.

«Никогда в жизни, — писала жена английского консула леди Рондо, — я не помню дня более холодного. Я боялась ехать на обед во дворец, куда все были приглашены и собрались, чтобы встретить молодого государя и будущую государыню при их возвращении с крещенского парада, который происходил на Москве-реке. Они оставались четыре часа на льду, посреди войск. В тот час, когда они вошли в зал, император стал жаловаться на головную боль. Сначала думали, что это — следствие холода, но так как он продолжал жаловаться, то послали за доктором, который посоветовал ему лечь в постель, найдя его очень нехорошим. Это обстоятельство расстроило все собрание. На другой день у императора появилась оспа».

Болезнь государя становилась все опаснее и опаснее. В первое время Долгоруковы скрывали истину и распространяли ложные слухи о болезни царя. Так, даже 12 января, когда окружающие уже знали, что у царя оспа и что его положение крайне серьезно, в народе говорили, что он простудился и что у него сделался насморк. Когда 15 января царю стало лучше, Долгоруковы сочли возможным объявить о настоящем характере болезни, но вместе с тем уверяли всех, что положение больного не внушает никаких опасений. Долгоруковы уверяли, что оспа у царя так хорошо высыпала, что, благодаря Бога, можно вполне надеяться на скорое его выздоровление.

Долгоруковы страшились за свою участь, так как хорошо знали, что, в случае смерти государя, им не миновать ссылки, а может быть, с ними произойдет тогда что-либо худшее. Они задумали упрочить свое шаткое положение и уговорить больного императора Петра обвенчаться со своей нареченной невестой, княжной Екатериной. Воспользовавшись днем 15 января, когда государю заметно стало лучше, Долгоруковы подослали к императору-отроку его любимца,

князя Ивана, и вменили ему в обязанность упросить государя обвенчаться с княжной Екатериной. Все уже было приготовлено к этому. Однако против этого плана выступил Остерман, а к нему присоединился и фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков.

Однако, несмотря на это, Долгоруковы не оставили своего плана и прилагали все меры к тому, чтобы побудить больного императора к осуществлению этой затеи. Пользуясь исключительной близостью к императору князя Ивана Алексеевича Долгорукова, они все время внушали ему воздействовать на больного государя в желательном для них смысле. Князь Иван лично не одобрял этого плана и подчинился велению своих родичей лишь скрепя сердце.

Чтобы устранить всякие препятствия своим целям, Долгоруковы старались устроить так, чтобы император был окружен исключительно их попечениями, и не подпускали к нему никого из близких ему по родству лиц. Однако все же царевне Елизавете Петровне удалось навестить своего державного племянника в тот момент, когда, по случайному стечению обстоятельств, никого из Долгоруковых возле него не было.

Едва сдерживая слезы смотрела царевна на утасяющую жизнь императора-отрока, стоя в нескольких шагах от его кровати, чтобы не заразиться.

— Лиза, отойди еще дальше, дальше отойди от меня, заразишься! — слабым голосом произнес Петр II.

— Я не боюсь, государь! Чему быть, того не миновать!

— Нет, Лиза, тебе надо беречься. Ведь ты молода, хороша! Помнишь, Лиза, я хотел на тебе жениться?

— Помню, государь!

— И женился бы, да ты, Лиза, не захотела. И как хорошо было бы нам обоим, да и всем!.. Случилась бы вот такая болезнь, как теперь, и я был бы спокоен. Ты походила бы за мною, Бог дал бы, и я поправился бы, а нет — так меня на троне заменила бы!.. Да вот не захотела ты тогда! А только думаю, что, и не будучи венчана со мной, ты все же после меня престол получить могла бы. Ведь ты — самая близкая мне по дедушке. Вот возьму, да и назначу тебя моей наследницей.

— Нет, Петруша, не надо. Зачем? Выздоровеешь ты и у тебя будет свой наследник.

— Лиза, зачем ты смеешься надо мною?

— Бог с тобой, Петруша, я и не думаю смеяться. Да и смею ли я?

— Нет, Лиза, мне не поправиться, я скоро умру! А знаешь ли, что выдумали Долгоруковы? Ведь они захотели обвенчать меня с княжной Екатериной. Я едва могу говорить, едва могу приподнять голову, а они меня венчать затеяли! И обвенчали бы, да спасибо, Андрей Иванович вступился. И знаешь, для чего они думали сделать это? Для того, чтобы княжну Екатерину объявить после меня царицей. Ну, да я хоть и больной, а замысел их понял. Ах, как мне надоели Долгоруковы, а в особенности князь Алексей Григорьевич и его дочь! — со вздохом вырвалось у государя. — Впрочем, княжна Екатерина боится ходить ко мне. И хорошо это, я очень рад, — по крайней мере, хоть последние часы своей жизни я проведу в покое. Одно мне тяжело, Лиза, что я с тобою больше уже едва ли увижусь на этом свете!

— Петруша, государь, зачем так говоришь, зачем? — не удерживая более своих слез, промолвила Елизавета Петровна.

— Слезы, Лиза? Зачем? Тяжело мне от твоих слез становится, еще тяжелее!.. Не надо слез, Лиза, не надо!

— Я не буду плакать, Петруша, не буду... Я уйду, а ты усни, сон подкрепит тебя.

— Нет, нет, не уходи, Лиза, побудь еще со мною!.. С тобой мне так хорошо... Только, милая, не плачь... После моей смерти ты... ты будешь... — хотел что-то сказать умирающий император-отрок, но не договорил, так как опять впал в забытие.

Цесаревна Елизавета Петровна, сдерживая рыдания, опустила на колени перед образом и стала горячо молиться.

В то время, когда происходила эта беседа больного императора с теткой, князь Иван Алексеевич Долгоруков находился в доме Шереметевых. По своему легкомыслию он почти совсем забыл, что у него есть обрученная невеста, и по целым неделям не заглядывал к ней. Но теперь тоска потянула его к любящему сердцу. Он услышал от придворного медика о безнадежном состоянии государя, своего друга и благодетеля; это страшно потрясло его, и, чтобы хотя немного порассеяться, он отправился к своей невесте.

Глубоко огорчало графиню Наталью Борисовну это различное отношение к ней жениха, однако она искренне, горячо любила его, и стоило ему посетить ее, как она забывала все свое горе и, наслаждаясь его присутствием, старалась возможно ласковее относиться к нему. Так и те-

перь она встретила князя приветливо и с видимой радостью и только позволила себе высказать ему легкий упрек:

— Что это, мой свет, тебя давно не видно было?.. Уж ты меня, кажется, совсем забывать изволишь!

— Прости, Наташа! Все недосуг.

— Так ли, князь? Ведь мне про тебя иное сказали.

— Что же именно?

— Что будто ты какую-то цыганку-красавицу увез и насильно ее держишь в своих лесных хоромах.

— Как! И про то тебе сказали? — с удивлением воскликнул Долгоруков. — И ты, слыша про меня такие слова, все-таки не гонишь меня от себя?

— Зачем гнать? Разве женихов гоняют? Их ласково принимают, сладко угощают и в передний угол сажают, — с милой улыбкой проговорила графиня.

— Покаюсь, Наташа, во многом я грешен, но про цыганку мои враги наврали тебе.

— Ну, так я и знала! — радостно воскликнула графиня. — Ну станешь ли ты, красавец, любимец государя, возиться с какой-то цыганкой!

— Не скрою от тебя, правда, я день или два продержал цыганку в своих лесных хоромах, но она тайком ушла оттуда. Хочешь — верь, хочешь — не верь.

— Верю, мой сердечный Иванушка, верю. Да и как же мне не верить тебе, моему будущему мужу?

— Ну, Бог знает, буду ли я еще твоим мужем?! Моя судьба может сразу измениться! Знаешь ли, милая, я только что перед отправлением к тебе говорил с придворным лекарем, и он сказал мне, что болезнь государя смертельна и не нынче-завтра он должен умереть.

— Бедный, бедный император! Он еще так молод и уже должен умереть!.. — с непритворной горестью промолвила Наталья Борисовна. — Как мне жаль его!..

— А я так прямо места не нахожу себе из-за этого!.. Ведь не станет государя, не станет и меня; все мое счастье было и есть в государе. Я держусь лишь близостью к нему и его благоволением. Врагов у меня без конца и счета, но все молчат теперь, а умри государь — так меня живого со света сживут. И вот, Наташа, обдумав все это, я решил сказать тебе, предупредить...

— Что сказать? О чем предупредить?

— А вот что: откажи мне, Наташа, выбери себе в мужья другого... Ведь умрет государь — меня ждет опала, а может быть, и ссылка.

— Да ты шутишь, Иванушка?

— Уж до шуток ли?

— А если не шутишь, то зачем говоришь мне такие слова обидные? Я люблю тебя, люблю всем сердцем, а ты говоришь, чтобы я отказала тебе. Разве можно?

— Ох, Наташа, родная! Не стою я твоей любви, не стою. Гони меня, выбери другого.

— Предоставь мне, князь, судить об этом!

— Пойми, Наташа: пока жив государь, до тех пор и я жив, не станет его — и меня тоже.

— Ты, наверно, про то говоришь, что если умрет государь, то тебе не будет такой чести, как теперь? Ведь так?..

— Тогда меня живым съедят.

— И, полно, Ваня!.. Авось не съедят! А если есть начнут, то подавятся, — с улыбкой проговорила графиня Шереметева.

— Так ты, Наташа, не прочь выйти за меня, даже если на меня обрушится тяжелая опала?

— Об этом и слов не может быть. Я — твоя обрученная невеста и должна быть твоей женой.

— Голубушка, сердечная! — И князь Иван бросился целовать руки своей невесты, а она ласково коснулась своими устами его волос.

Если не счастливым, то успокоенным вернулся Иван Алексеевич во дворец и хотел пройти в спальню больного государя, чтобы вступить там на свое обычное дежурство, однако ему сказали, что у государя находится царевна Елизавета Петровна. Князь тихо подошел к двери и услышал за нею глухие отзвуки двух голосов. Он не рискнул помешать этой беседе и остался в соседней комнате, решив выждать, пока цесаревна удалится.

Некоторое время он оставался один, но затем к нему подошел возвратившийся во дворец отец и сурово обратился к нему:

— Ты что же здесь торчишь и не идешь к государю?

— Там цесаревна Елизавета Петровна, — ответил князь Иван.

— Как? Цесаревна Елизавета у государя, а ты торчишь здесь! Да разве не говорил я тебе, что твое место при государе, что ты обязан неотступно находиться при нем?! И дурак же ты! Недогадливый дурак!

— Полно, батюшка, ворчать и ругаться.

— Да как же не ворчать и не ругаться? Зачем ты допустил цесаревну к государю.

— Меня не было. Я навестил свою невесту.

— Нашел время ехать! Ох, Иван, сам ты погибнешь и нас на погибель тянешь.

— Не я вас, а вы меня к гибели тянете, — резко и сердито проговорил молодой князь. — Уйду я от вас... Делайте что хотите без меня, а меня оставьте, не впутывайте!

— Ну, ну, полно, полно. Сам пойми: теперь дорога всякая минута, а ты уходишь, оставляешь государя одного, — уже совсем мягким голосом проговорил князь Алексей, сразу вспомнив, какое значение имел у государя его сын.

— А вы где же были? — спросил у него князь Иван.

— У Катерины. Вот тоже девка! Сладу с нею нет... Говорю ей: «Поди хоть на одну минутку к государю, навести его!» — а она идти и не думает! Заразиться, вишь, боится. А вот цесаревна не боязлива, приехала... Ничего бы, кажись, не пожалел, лишь узнать, о чем она с государем говорила!

— А вы бы у стен спросили, — хмуро заметил князь Иван, — если вам так интересна эта беседа.

— Ох, Иван, Иван!.. Ты да дочь Катерина — божеское наказание для меня!

— Погодите, божеское наказание еще впереди! — как-то загадочно промолвил молодой князь Долгоруков.

— Ну, ну, ладно, не каркай! — уже более примирительно сказал ему отец. — К государю-то пойдем скорее. Смотри, Иван, теперь в оба... всякая минута дорога.

Долгоруковы вошли к умирающему императору-отроку.

Цесаревна Елизавета Петровна окончила молитву, подошла к своему державному племяннику, который все еще находился в забытии, перекрестила его и, бросив гордый, презрительный взгляд на Алексея и Ивана Долгоруковых, направилась к двери.

— Ваше высочество, напрасно вы так близко подходите к государю. Оспа — болезнь заразительная, — предупредительно произнес князь Алексей Григорьевич.

— А вы опоздали, князь, — вместо ответа насмешливо промолвила ему Елизавета Петровна.

— Как опоздал? — меняясь в лице, чуть не воскликнул князь Алексей Григорьевич. — Я что-то плохо разумею, ваше высочество.

— Я долго была у государя-племянника и о многом успела переговорить с ним. Вас тут не было и мешать нам было некому, — с насмешливой улыбкой произнесла Елизавета Петровна и вышла своей величавой походкой.

— Ты слышал?... слышал?... Она еще глумится. А все ты, простофиля, разиня, — злобно воскликнул Алексей Григорьевич, обращаясь к сыну.

— Чем же я-то виновен? Ведь над вами цесаревна глумилась, а не я.

— А ты зачем допустил ее к государю, зачем их вдвоем оставлял, ротозей!

Но князю Алексею Григорьевичу пришлось скоро прервать свое ворчанье на сына, потому что больной государь забредил и заметался от страшного жара.

— Лиза, ты здесь? — пролепетал он. — Не отходи, пожалуйста, от меня! Как я рад тебе! Что это? Я... я лечу... Господи, как высоко... высоко!.. Пить, пить, жжет... скорее пить!

Князь Иван дрожащими руками подал державному страдальцу прохладительное питье. Утолив жажду, император-отрок опять впал в забытие.

— А дело-то плохо: государю не встать, — с глубоким вздохом проговорил Алексей Григорьевич.

— Уж куда тут встать! Едва ли день проживет.

— Так надо скорее делать наше дело.

— Ах, батюшка, страшно!.. — тихо ответил князь Иван, опуская голову.

— Чего страшиться? Чего?

— Да как же! Ведь это — большой проступок.

— Не того страшись, что ты подделаешь подпись умирающего государя, а бойся того, что мы не успеем совершить задуманное нами. Ведь тогда наша гибель неизбежна, — тихо, но внушительно промолвил князь Алексей.

— Что делать? Что делать? — простонал князь Иван, ломая руки.

— Слушать отца и быть покорным ему.

— Да ведь я и то слушаю и делаю все, что вы хотите... я беру тяжкое преступление на себя ради вас.

— Ты не так говоришь, Иван: не ради меня ты делаешь, а ради всего нашего рода. Да и что теперь раздумывать, раз дело решено? Ты обязан исполнить то, что мы постановили.

Князь Иван, понутив голосу, стоял перед отцом, и ему вспомнилось в мельчайших подробностях все то, что решили его родичи. Когда выяснилось, что на выздоровление императора-отрока нет никакой надежды, Долгоруковы, мучимые предчувствием за будущее, составили семейный совет. Они, так искусно забравшие в свои руки

державного отрока, ни на минуту не отходившие от него, словом и делом поощрявшие его к разным забавам, сознательно толкавшие его на разврат, лишь бы отвлечь его внимание от всего окружающего, и, наконец, сумевшие заставить его обручиться с нелюбимой невестой Екатериной Долгоруковой, — казалось, были совсем уже на пороге к высшей власти, и вдруг теперь смертельная болезнь императора грозила им лишением всего достигнутого положения и даже, может быть, полной гибелью. Само собой понятно, что они ревностно заботились о том, чтобы избежать всего этого.

Тускло горели свечи в высоких подсвечниках в Головином дворце, в спальне князя Алексея Григорьевича. Бледный, взволнованный полулежал он на кушетке, а около него собрались все родичи, близкие ему люди; на всех лицах было выражение непритворной тоски и горя; тяжелой скукой веяло в этом роскошном покое временщика. Наконец князь Алексей заговорил:

— Всем вам известно, что государь болен, а, по словам врачей, надежда на его выздоровление совсем плоха. Надо будет выбирать наследника.

— Кого же вы в наследники выбирать думаете? — спросил князь Василий Лукич Долгоруков.

При этом вопросе все присутствующие затаили дыхание и выжидательно глядели на князя Алексея. Он, как бы обдумывая ответ, несколько помолчал, а затем, торжественно показывая рукой наверх, тихо промолвил:

— Да вот она!..

Над покоем Алексея Долгорукова жила его дочь Екатерина, нареченная невеста государя.

Еще тише стало в покое, все молчали; на дерзкое предложение честолюбца никто не отвечал.

— Что же молчите-то? Говорите! — гневно поглядывая на родичей, крикнул князь Алексей. — Ведь мы не в молчанку собрались играть, надо решать!..

— Хорошо бы написать духовную, будто его императорское величество лично назначил ее своей наследницей, — чуть слышно проговорил родной брат князя Алексея, Сергей Григорьевич.

Молчавший дотоле фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков встал со своего места и резко проговорил:

— Неслыханное вы дело затеваете! Разве обрученная царская невеста может быть наследницей русского престола?

Фельдмаршал был прямым и честным человеком и сразу увидел весь вред для России от такого выбора.

— А почему же нет? — не скрывая досады, спросил князь Алексей.

— Да очень просто!.. Ну кто захочет быть ее подданным? Не только посторонние, но даже никто из нашей фамилии не пожелает этого! Ведь Екатерина с государем не венчана!

— Не венчана, но обручена.

— Венчание — иное дело, а обручение — иное... Да если бы даже Екатерина была в супружестве с государем, то и тогда сомнительно, чтобы она имела право стать наследницей русского престола, — горячился старый князь.

Алексей и Сергей Долгоруковы стали доказывать ему всю необходимость и выгоду для их рода от этого выбора; они говорили, что стоит только приняться за это дело, и оно непременно увенчается успехом.

— Мы уговорим графа Головкина и князя Голицына, а если они заспорят, то и пригрозить можно. Ты подполковником состоишь в Преображенском полку, а князь Иван — там же майором; да и в Семеновском спорить не будут: слово скажешь, и по-твоему сделается. Вспомни, как Екатерину Алексеевну императрицей сделали!

— Сравнил тоже!.. Наша Екатерина и та!.. Ведь Екатерина-то Алексеевна чья супруга была? Петра Великого! А заикнись лишь о нашей Екатерине, так за это не только бранить начнут, но и убьют, пожалуй! — сердито проговорил фельдмаршал и, не желая более спорить, уехал из дворца.

Едва он вышел, князь Василий Лукич вынул лист бумаги и стал писать подложную духовную.

— Эх, моей руки письмо-то худо! Не напишет ли кто-нибудь из вас получше? — переставая писать, обратился он к окружающим.

Вызвался писать князь Сергей и скоро составил со слов брата и Василия Лукича два экземпляра подложной духовной; из нее явствовало, что император Петр II после себя назначает на всероссийский престол свою обрученную невесту Екатерину Долгорукову.

Текст завещания был одобрен всеми, а затем был возбужден вопрос о том, как поступить в случае, если умирающий государь не в силах будет подписать этот документ. В конце концов было решено, что придется подделать его подпись, и это было поручено князю Ивану

Алексеевичу, почерк которого был очень сходен с почерком императора. Князь Иван Алексеевич долго отказывался от этого, но его заставили несколько раз написать имя «Петр» согласно с одним из документов, подписанных лично государем. Подпись вышла очень схожей, и под давлением родственников князь Иван согласился на подлог.

Все это вспомнил князь Иван теперь, стоя в спальне умирающего отрока-императора. Его отец хотел еще что-то сказать ему, но в этот момент государь очнулся и открыл глаза; жар у него немного уменьшился, и он почувствовал некоторое облегчение.

— Кто здесь? — раздался его слабый голос.

— Мы, государь, мы, — подходя к постели умирающего, промолвил князь Алексей.

— Ах, ты, князь, опять здесь? — с неудовольствием сказал государь и спросил: — А где же царевна? Где Лиза?

— Цесаревна Елизавета Петровна изволила уехать, — ответил ему князь Алексей.

— Уехала... уехала... и опять я один остался!

— Как, государь? Разве ты один? А нас, своих верных слуг, забывать изволишь? — с упреком воскликнул князь Алексей.

Император-отрок бросил взгляд на князя Ивана, который молчаливо стоял у дверей, печально понутив голову.

— Ваня, что же ты там стоишь? Подойди! Или и ты боишься меня? Боишься заразиться?..

— Чего мне бояться?.. Я рад бы теперь умереть, — с глубоким вздохом ответил государю и «своему другу» князь Иван.

— Тебе надо, Ваня, жить. Вот я уже — не жилец на белом свете...

— Дозволь, государь, напомнить тебе, — вкрадчивым голосом промолвил Алексей Григорьевич.

— Про что?.. Да говори, князь, скорее.

— Кому соизволит твое величество престол оставить? По праву его занять должна...

— Твоя дочь, а моя нареченная невеста, ведь так? — перебивая Долгорукова, возбужденным голосом проговорил умирающий император-отрок, причем его большие, красивые, но потухающие глаза горели гневом и насмешкой.

— Государь...

— Довольно!.. довольно!.. Ты, кажется, князь Алексей Григорьевич, умереть мне не дашь спокойно!.. Господи, какая мука! Как вы все мне надоели!.. Оставьте меня, уйди-

те, уйдите! Я не могу видеть вас!.. Где Андрей Иванович? Пошлите его ко мне!

— Я здесь, государь, легок на помине, — быстро входя в опочивальню императора-отрока, громко проговорил вице-канцлер Остерман.

— Голубчик, Андрей Иванович, как я рад, что ты пришел... Пожалуйста, не оставляй меня, будь со мною!.. А ты, князь, можешь уходить, — недружелюбно посматривая на Алексея Григорьевича, сказал умирающий император.

— Гнать изволишь, государь? — злобно промолвил Долгоруков. — Видно, теперь мы не нужны стали. Пойдем, Иван! — обратился он к сыну.

— Нет, нет, ты, Ваня, останься.

— Зачем ему оставаться? Пойдем, Иван.

— Я говорю... я приказываю, чтобы князь Иван остался. Впрочем, не надо... уходите! — с раздражением воскликнул государь, но вдруг закашлялся и застонал.

— Государь, вам вредно сердиться и волноваться, — с сожалением и участием посматривая на умирающего императора, произнес Остерман.

— Не мне, а им скажи, Андрей Иванович, зачем они меня сердят, — показывая на Долгоруковых, слабым голосом проговорил государь.

От гнева и волнения у него усилился жар; он стал метаться и бредить.

Пользуясь этим, Долгоруковы остались в спальне, и князь Алексей, придав своему лицу озабоченность и волнение, произнес:

— Андрей Иванович, а ведь государь-то совсем плох, ему не встать!

— Безнадежен... надо быть готовым ко всему, — тихо ответил Остерман.

— Кто же займет престол, когда не станет государя? — таинственно спросил князь Алексей, пристально посматривая на Остермана.

— Кого укажет Бог, того и выберет верховный тайный совет, — уклончиво ответил хитрый дипломат.

— А ты о ком думаешь, Андрей Иванович?

— Все мои думы, князь, в Боге.

— Однако все же кого хотелось бы тебе выбрать на престол всероссийский?

— Того хочу я, кого выберут члены верховного совета. Об этом я, кажется, уже сказал вам, князь!

— А мою дочь Екатерину...

— Батюшка, оставь, пожалуйста! — прерывая отца, с беспокойством проговорил князь Иван.

— Молчи, молчи, Иван, тебя не спрашивают, ты и не суйся! Так что же ты скажешь, Андрей Иванович, насчет княжны Екатерины? Ведь она — обрученная невеста государя.

— То же, князь Алексей Григорьевич, скажу, что и другие вам о том сказали: если бы княжна Екатерина была венчана с государем, тогда, пожалуй, она могла бы занять престол всероссийский.

— Но ведь она обручена... ее по церквям поминают великой княжной! Послушай, Андрей Иванович, тебе не плохо будет, когда Екатерину, мою дочь, выберут на царство, ведь ты чуть не первым министром будешь в государстве.

— Спасибо, князь, я доволен и тем постом, который занимаю по милости императора Петра, моего благодетеля.

— А тогда, говорю, ты будешь первым министром в государстве.

— Об этом, князь Алексей Григорьевич, преждевременно говорить... Государь еще жив.

— А если государь подписал духовную? — дрожащим голосом проговорил князь Алексей, беря Остермана за руку.

— Отец... я... я уйду, — бледнея, промолвил князь Иван и направился к двери.

— Ступай, ступай! Ты только мешаешь.

— Отец, попридержись немного, не то будет плохо, — уже в дверях тихо произнес молодой Долгоруков и вышел.

— Про какую духовную, подписанную государем, вы говорите, князь? — значительно посматривая на Алексея Долгорукова, спросил Остерман.

— А про ту духовную, в которой император Петр Алексеевич после себя соизволил престол оставить своей обрученной невесте Екатерине.

— Про это, князь, я ничего не знаю.

— Еще вчера его величество соизволил приложить к духовной свою руку, — нисколько не смущаясь, солгал князь Алексей.

— Как? Государь даже подписал? — притворно удивляясь, воскликнул Остерман.

Ему нетрудно было догадаться, что Алексей Григорьевич говорит про подложную духовную, он знал, что государь никакой духовной не подписывал.

— Как же, как же!.. Государь соизволил свою руку под духовной приложить.

— Я ничего не знаю... мне государь ничего не говорил про духовную. А она у вас, князь?

— У меня...

— Вы мне покажете? Мне хотелось бы взглянуть.

— Время придет — увидишь, Андрей Иванович.

— Знаете ли, князь, я вам дам добрый совет, — несколько подумав, проговорил Остерман. — Разорвите духовную...

— Что такое? — меняясь в лице, воскликнул князь Алексей. — Разорвать духовную государя? Зачем?

— А затем, князь, что эта духовная подложна, — спокойно ответил хитрый царедворец.

— Как... как ты смеешь! — багровея от злости, крикнул Алексей Григорьевич.

— Тише, князь! Вы, кажется, забыли, что находитесь у ложа умирающего государя. Вы вольны принять мой совет или нет, это — ваше дело. Я только говорю, князь, из жалости к вам; разорвите, сожгите подложную духовную, иначе она погубит вас! — И, не сказав более ни слова, Остерман не спеша вышел из спальни умирающего императора-отрока.

— А, хитрая лисица, пронюхал, про все пронюхал! Ишь, каналья!.. Теперь наше дело пропало... духовную придется уничтожить. И хитер же Остерман, хитрее дьявола, его не скоро проведешь, — вслух проговорил князь Алексей.

Наступила роковая ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января 1730 года. В Лефортовском дворце, в царской опочивальне три архиерея совершили обряд соборования над императором-отроком, который уже находился в предсмертной агонии. Высшее духовенство, члены верховного совета, а также сенаторы и генералитет собрались в соседней с опочивальней комнате и в грустном безмолвии ожидали роковой минуты.

Вице-канцлер Остерман, князя Алексей и Иван Долгоруковы находились около ложа умирающего государя. Умирающий державный отрок в беспмятстве стонал и бредил: он звал свою умершую сестру царевну Наталью, говорил с нею. Вельможи, окружавшие умирающего царя, делали вид, что едва сдерживают рыдания, но главным образом следили за Долгоруковыми.

Вот медленно отворились двери царского спального покоя, и в них вошла старица-инокиня, царица Евдокия Фе-

доровна; опираясь на посох, ни на кого не глядя, она подошла к своему умирающему внуку-государю, дрожащею рукой перекрестила его и тихо промолвила:

— И ты, государь-внучек, в дальнюю дорогу собрался? Прощай, прости!.. Не чаяла я, не гадала, что переживу тебя. Думала — ты меня, старуху, похоронишь. Да, видно, не судил Бог. Голубчик, сердечный мой Петрушенька, милый внучек мой, на кого ты Русь святую оставляешь? — И царица-инокиня залилась слезами.

Но державный страдалец не узнал своей бабки; он метался в предсмертной агонии и со словами, обращенными к князю Ивану Долгорукову: «Скорее запрягите сани, хочу к сестре ехать!» — скончался.

Остерман непритворными слезами оплакал юную пресекающуюся жизнь своего державного питомца. Громко рыдал князь Алексей Григорьевич Долгоруков, но его слезы были совсем другие: он плакал о потере своей власти, своего могущества. Несчастливого князя Ивана без памяти вынесли из опочивальни умершего государя.

Спустя несколько времени среди глубокой ночи на колокольне Ивана Великого гулко прозвучал удар в большой колокол. То был вестник печали. Императора-отрока Петра II не стало: он скончался на пятнадцатом году своей жизни.

Царство русское осиротело.

РАЗРУШЕННАЯ НЕВЕСТА

Второй роман дилогии
из эпохи Петра II

Часть первая

I

Во втором часу ночи на девятнадцатое января 1730 года со зловещими словами: «Запрягайте сани! Хочу ехать к сестре», — скончался последний царь-император прямой линии дома Романовых — Петр II.

Кончилась династия, с небольшим за сто лет до этого избранная из своей среды русским народом, и русский престол снова остался сиротою. Снова предстояло избирать правителя всем царством, но положение России было совсем уже не то, что при избрании царя Михаила Федоровича.

Титаническою волею императора Петра I Алексеевича народ был совершенно устранен от участия в делах своего отечества. То немногое, что оставил в этом смысле великий царь-сокрушитель, отнято было у него до конца в недолгое царствование его супруги императрицы Екатерины I и ее преемника, только что скончавшегося императора-отрока Петра II.

Права народа вполне перешли к немногочисленной кучке людей, именовавших себя «верховным тайным советом», то есть народовластие Романовых сменилось аристократической олигархией.

Вначале верховный тайный совет, образованный при смерти Петра Великого, был составлен исключительно из «птенцов гнезда Петрова». Членами его в 1726 году были назначены: светлейший князь Меншиков, генерал-адмирал граф Апраксин, государственный канцлер граф Головкин, знаменитый кнутабоек, начальник Тайной канцелярии граф Толстой, предок великого русского старца графа Л.Н. Толстого, придворный неудачник князь Дмитрий Го-

лицын и эмигрант-немец барон Андрей Остерман. Затем был включен зять императрицы герцог Голштинский, на которого, по мнению Екатерины Алексеевны, она «нарочито положиться могла».

Время и обстоятельства очень скоро изменили состав этого совета, заменившего для России народ. Толстой был вытеснен Меншиковым, сам Меншиков очутился при Петре II в ссылке, Апраксин умер, герцог Голштинский перестал бывать в совете. Из первоначального состава остались только трое: Голицын, Головкин и Остерман. Для пополнения совета в него вошли еще любимцы юного императора — князя Долгоруковы, так что оказалось, что в совете заседали четверо Долгоруковых и двое Голицыных, то есть четверо Владимировичей и двое Гедиминовичей, и только Головкин и Остерман были там совершенно новыми людьми, «выводками гнезда Петрова».

Конечно, преобладавшие в верховном совете Долгоруковы всеми силами тянулись к власти и в особенности после того, как дочь князя Алексея Григорьевича, княжна Екатерина Алексеевна, была объявлена невестой четырнадцатилетнего юного императора. За несколько часов до его смерти в Головином дворце, где жил князь Алексей Григорьевич Долгоруков с семейством, состоялся родственный съезд, на котором было задумано возвести на трон невесту Петра II. Достойные родственники решили, чтобы Иван подписал духовную, если сам государь ввиду своей тяжелой болезни подписать будет не в силах. Однако судьба распорядилась по-другому. Прежде чем подлог мог состояться, юный император умер.

Через день после этого фамильного совещания было ясное, солнечное, но морозное утро 19 января.

В двери комнаты, которую занимал ближайший фаворит почившего, князь Иван Алексеевич Долгоруков, в Лефортовском дворце, подошел флигель-адъютант почившего императора-отрока Левушка Храпунов. Он медленно отворил дверь, вошел в комнату и увидел князя Ивана Алексеевича полулежащим на роскошном диване, уткнув свое лицо в шитую шелками подушку.

— Князь Иван, ты не спишь? — тихо спросил Храпунов, подходя к дивану.

— Нет, до сна ли мне? — так же ответил князь Иван, повертывая опухшее от слез лицо к приятелю.

— Ты все плачешь, князь Иван, сокрушаешься?

— И рад бы не плакать, да слезы сами бегут незванные-непрощенные. Ведь пойми, какую тяжкую потерю ис-

пытываю я вследствие кончины государя. Ведь его рас-
положение ко мне являлось основной положением и моего лич-
но, и всего нашего рода.

— Что же делать?.. Надо покориться воле Божией.

— Я и то покоряюсь.

— Князь Иван! Сейчас назначено заседание верховного
тайного совета. На нем будут обсуждать, кому вручить
царство.

— Ну и пусть их обсуждают... Мне-то что до этого?
Только бы меня оставили в покое! — недовольным голосом
промолвил Долгоруков.

— Как? Разве ты не пойдешь на совет?

— Не пойду.

— Князь Алексей Григорьевич наказывал тебе быть на
совете безотлагательно, за тобою меня он и послал.

— Что мне делать на совете? Не стало моего госуда-
ря-благодетеля, с его смертью умерло и мое счастье. Про-
пащий теперь я человек, погибший. Да и не я один, а весь
наш род в большой опале будет, — с глазами, полными
слез, промолвил бывший всесильный фаворит.

— Полно, князь Иван! За что тебя опала постигнет?
Ведь за тобою никакой вины нет.

— Нет, Левушка, виновен я, во многом виновен, и если
меня постигнет тяжелая кара, то я без ропота, с покорно-
стью буду переносить ее, как заслуженную. Наверно, все
враги мои вострепнулись, обрадовались... теперь на их сто-
роне праздник! Все, кто бывало готов был мои руки лизать,
в ноги мне чуть не кланяться, теперь и смотреть на меня
не станут.

— И пусть не смотрят. Разве тебе страшна их злоба?

— Не испугаюсь я их, это правда. Пусть со мною что
хотят, то и делают. Теперь мне все равно.

— А все же, князь Иван, на совет тебе бы идти надо.
Я считаю это необходимым для тебя, князь Иван. Теперь
нельзя упускать без пользы ни одной минуты. Раз ты сам
говоришь, что все твои враги вострепнулись, надо деятель-
но бороться с ними.

— Что же, я, пожалуй, пойду, если ты советуешь мне
это. Спасибо тебе, Левушка, ты — мой истинный друг-
приятель. Ты не таков, как другие. Все — друзья-приятели
лишь до черного дня, а ты не таков, — крепко обнимая
Храпунова, проговорил князь Иван и отправился на засе-
дание.

Три архиерея, совершавшие елеосвящение над умирав-
шим государем, члены верховного тайного совета и многие

из сенаторов и генералитет находились во дворце во время кончины Петра II. Смерть последнего из мужской линии дома Романовых застала всех врасплох. Ни у кого не было твердого убеждения относительно того кому следует быть царем.

Петр Великий, несмотря на все свое старание, не мог в короткое время приучить русских людей действовать сообща, «кумпанствами», все, как и всегда, шли вразброд. На первом плане были личные и фамильные интересы; каждый думал не о том, что будет с Россией, а смотрел только на то, что ему могло быть выгодным. В этом сказывалось преобладание новых людей, совсем еще недавно выбравшихся из грязи в князи; каждый мечтал о себе и смотрел на другого, как на врага. Собственно говоря, намечалось четыре течения: высказывались за избрание на престол дочери Петра Великого цесаревны Елизаветы Петровны, царицы-инокини Евдокии Лопухиной, первой супруги Петра Великого и бабки почившего юного императора; затем были сторонники герцога Голштинского и старшей дочери царя Иоанна VI — Екатерины, герцогини Мекленбургской.

Однако ни одна из этих кандидаток не собирала вокруг себя достаточного количества голосов.

В толпе, ожидавшей предстоящего избрания, говорили, что у цесаревны Елизаветы отсутствует серьезность поведения, и шепотом прибавляли, что она не привенчанная дочь императора и простой женщины, а потому-де народ ее в царицы не примет. Герцог Голштинский, сын младшей сестры цесаревны Елизаветы, был малолетен, а потому можно было ожидать, что на Россию явятся голштинцы, которые займут первые места в государстве. Того же самого боялись и в случае избрания герцогини Екатерины Мекленбургской. Царица-инокиня Евдокия Лопухина казалась всем довольно безобидною и недолговечною, но именно это последнее и пугало многих. Не представлялось возможности никому укрепиться около нее на более или менее продолжительный срок.

Итак, кандидатов не было ни у кого, и невольно все стали думать о верховном совете, который по крайней мере мог предложить кого-либо к избранию.

Но верховный совет и сам еще не сговорился о претенденте. Долгоруковы были сильны, составляли большинство, и почти все были уверены, что они своего счастья из рук не выпустят и предложат на престол обрученную невесту почившего императора, княжну Екатерину Алек-

сеевну. Пока шли разговоры да перешептывания, князь Василий Владимирович Долгоруков, именем других светских сановников, сперва попросил архиереев подождать немного, но спустя несколько времени явился к ним и объявил, что верховному совету за благорассудилось начать избирательное собрание несколько позже в палатах верховного совета, куда и пригласил их, как синодальных членов. Архиереи уехали, а вместе с ними удалился и Андрей Остерман.

— Я — иностранец, — объяснял он, — а тут дело русское. Примете решение, я к нему и примкну.

Остались только одни светские сановники, но и среди них отсутствовал тот, кто недавно был еще самым влиятельным, а именно князь Алексей Григорьевич Долгоруков. Председательствование в собравшемся совещании само собою перешло к самому родовитому из присутствовавших, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну.

— Дом Великого Петра пресекался, — начал он, — опочил последний отпрыск прямой его линии. Празден русский престол. Вы, народ представляющие российский, кого желаете на царское служение призвать?

Вопрос был поставлен категорично, но на него не последовало ответа. Все молчали и многие из собравшихся только припоминали, как действовали в 1725 году, когда умирал Петр Великий, Меншиков и Толстой при таких же точно обстоятельствах. Они вспоминали, что тогда на площади перед государевой зимней конторой, то есть домом графа Апраксина, а ныне Зимним дворцом, стояли бивуаком гвардейские полки, а во дворец были введены солдаты. С той поры не так много прошло времени, и многие как будто сейчас слышали, как застучали ружейные приклады о плиты пола, когда светлейший Меншиков под немолчные крики умиравшего в мучениях императора провозгласил его наследницей и русской императрицей некогда его комнатную служанку Марту Рабе, которая волею всесильной судьбы стала женою русского царя.

Теперь обстоятельства были сходны с теми, которые существовали пять лет тому назад, но только не было энергичных людей, никто не дерзал, и это было причиной молчания, которым были встречены слова князя Дмитрия Михайловича.

Как раз в это мгновение в зал совета спешно вошел князь Алексей Григорьевич Долгоруков, ведя за руку свою дочь Екатерину, недавнюю царскую невесту. Княжна была бледна и сильно взволнована.

— Простите, государи мои, я задержал вас! — обводя взглядом собравшихся, заговорил князь Алексей Долгоруков и громко добавил: — Вам ведомо, что его величество император Петр Второй ко Господу преставился и по нем престол должна занять вот она, — указал он на свою дочь, — Екатерина Алексеевна, обрученная невеста почившего государя.

Но вдруг он получил отпор оттуда, откуда не ожидал. В его же родственнике, фельдмаршале князе Василии Владимировиче Долгорукове вдруг сказала та черта его характера, которая заставляла его рвать в клочки указы грозного царя Петра, несправедливые по его мнению.

— Ты не в себе, князь Алексей, — сурово проговорил он, — видно, с горя да с печали не помнишь, что говоришь. Пошел бы ты лучше с дочкой вон. Не место ей, где такое государское дело решается.

Несмотря на оппозицию фельдмаршала во время семейного совета, князь Алексей даже не предусматривал с его стороны такой резкой выходки. Он растерялся.

— Но ведь на то была воля покойного императора, — залепетал он. — Вот некое письмо, Петра Второго завет. Он накануне смерти своей соизволил подписать духовную. Пусть, кто хочет, глядит, — собственноручная подпись.

С изменившимся от волнения лицом он стал протягивать во все стороны написанную князем Иваном духовную и при этом тыкал перстом в подпись, будто бы императорскую. Несмотря на серьезность мгновения, по залу пробежал легкий смешок. Князь Алексей Григорьевич понял, что его дело проиграно.

II

Об инокине Евдокии почти не говорили. Так же мало говорили об Екатерине Ивановне, герцогине Мекленбургской, и малолетнем герцоге Голштинском. Несколько дольше собрание остановилось на царевне Елизавете Петровне, но видно было, что и она, непривенчанная дочь Петра Великого, была не по сердцу. Все ждали что скажет князь Дмитрий Михайлович. Голицын был представителем самой знатной фамилии в государстве, но в то же время судьба была для него злодейкой. Его никогда не отдаляли от власти, но вместе с тем он и не приближался к ней. Может быть, опираясь на свою знатность, он был слишком горд для того, чтобы унижаться и заискивать перед кем бы то

ни было. Но в то же время он ясно сознавал, что только фаворитизм выдвинул на его глазах столько людей, чаще всего совершенно недостойных. Его оттесняли от первых мест люди худородные, но умевшие приближаться к источнику власти, угождать, служить лично, к чему Голицын, природный аристократ, не чувствовал себя способным. С негодованием смотрел князь Дмитрий Михайлович на брак природного русского царя Петра с худородной женщиной, около которой сосредоточивались ненавистные ему аристократы-выскочки. И вот, несмотря на все свое негодование, он должен был преклоняться перед этой женщиной, как перед самодержавной государыней. Наконец он дождался счастливого времени: на престол вступил законный наследник, от честного брака рожденный. Но какая же награда была дана Голицыну, человеку, сильнее которого, конечно, никто не желал воцарения сына несчастного царевича Алексея? Чуть не опала, а вся власть, к которой он так стремился, очутилась в руках двоих Долгоруковых, как нарочно, самых незначительных из всего рода по своим личным достоинствам.

— Дом царя Петра Великого пресекается, — объявил он собранию. — Кто же наследует? Тот, кто во всяком случае — отпрыск дома Романовых. Пропало потомство царя Петра, осталось потомство царя Иоанна: три дочери его — Екатерина, Анна и Параскева. О Параскеве и говорить нечего, она замужем за худородным Дмитрием Мамоновым и уже не принцесса посему; Екатерину Ивановну трудно выбирать — она замужем за герцогом Мекленбургским, да и посол датский Вестфален говорит, что из-за нее, ежели она на престоле будет, большой спор с его государством выйти может. Кто же тогда остается? Средняя дочь царя Ивана Алексеевича, герцогиня Курляндская Анна Ивановна. Она вдовствует и беспотомна... Бестужев из Митавы не раз отписывал, что поведением она серьезна и ведет себя до сей поры, как честная вдова; притом же она и наружностью царственна, а когда приезжала из Митавы в Петербург или Москву, то всем здесь угождать старалась. Вот я на кого указываю. Так не хотите ли вы, чтобы Анна, герцогиня Курляндская, взошла на престол, права на который она имеет?

— Так! Так! — раздались крики. — Верно! Чего лучше, Анну! Давайте Анну выбирать! Анну, Анну! — слышалось со всех сторон.

Метко брошенное предложение словно осенило всех этих людей. О герцогине Курляндской никто не вспоминал

в эти тревожные мгновения, и вдруг заявление Голицына как бы озарило новым светом весь вопрос, на который до того не было ответа. Анна Иоанновна сразу для всех явилась новым человеком, у которой каждый мог чего-нибудь добиться. Ведь она там, в Митаве, даже и не знала, что происходило в Москве, стало быть, каждый мог приписывать себе честь ее избрания на русский престол, а тем самым обязывать ее на будущее.

— Анну, Анну! — дружно подхватили общий крик члены верховного совета.

Долгоруковы волей-неволей должны были присоединить за Анну и свои голоса.

Как раз в это время, когда уже окончательно выяснилось избрание большинства, в зале совета появились Андрей Иванович Остерман и знаменитый вития Феофан Прокопович, архиепископ новгородский. Остерман посмотрел вокруг своим рысьим взглядом и вдруг в момент, когда наступила тишина, закричал так, что его голос был слышен один:

— Да здравствует императрица Анна, самодержица всероссийская!

Голицын на своем месте весь так и вздрогнул, услышав этот крик. Он был научен горьким опытом; он знал, что ему будут сперва благодарны, сначала поласкают человека, неспособного быть фаворитом, а потом какой-нибудь сын конюха, русского или курляндского, через фавор отеснит первого вельможу на задний план. Вельможество самостоятельного значения не имеет; при самодержавном государе значение человека зависит от степени приближения к нему, надобно же покончить, с этим, надобно дать вельможеству самостоятельное значение, при котором оно могло бы не обращать внимания на фаворитов.

— Высокое собрание! — услышал он слова Феофана Прокоповича. — Совершив столь важное дело избрания на всероссийский престол, пойдем же в дом Божий и вознесем молитвы Всевышнему о благоденствии государыни нашей.

— Постой, постой, — остановил его князь Дмитрий Голицын, — государыню мы избрали, но, воля ваша, только надо и себе полегчать.

— Как полегчать? — послышался вопрос.

— Да так, чтобы воли себе прибавить! — ответил Голицын.

Опять воцарилась тишина. В словах князя Дмитрия Михайловича все увидели что-то новое, но не соображали, что именно.

— При Екатерине от Меншикова мы зло терпели, — медленно заговорил Голицын, — Уж он ли не мудрил над всеми! А что такое Меншиков? Худородный выскочка из посеянных великим Петром плевал. Так неужто и впредь терпеть то же? А ведь мы, здесь собравшиеся, — народ всероссийский, так и нам право принадлежит государево дело править. Что Меншиков? Ежели бы у Монса¹ голова уцелела, так по смерти Великого Петра он над нами властвовал бы, и мы все ему должны были бы повиноваться и кланяться. Вот о чем я говорю: чтобы не были мы, отечества радители, в загоне. Ежели избрали мы герцогиню Курляндскую российской империи повелительницей, так должно ей условия поставить, на которых она бы российским государством правила и народ наш своими претензиями не обижала.

— Верно, верно! — закричали прежде всех верховники. — Нужно государыне условия поставить и в Митаву послать. Коли будет согласна, так и избрать ее.

Все члены верховного совета вполне поняли ту мысль, которую высказал князь Дмитрий Михайлович.

— Где Андрей Иванович? Где Остерман? — раздались восклицания. — Пусть он напишет пункты, он — мастер на это!

Но в зале заседания Остермана не было. Андрей Иванович провалился, как сквозь землю, еще при первых словах князя Дмитрия. Не было и Феофана Прокоповича. Вместо этого явился посланный им, который пригласил всех, кто был во дворце, в Успенский собор для слушания благодарственного Господу Богу молебствия по случаю избрания на царство Анны Иоанновны.

Огласилась Москва златоглавая радостным звоном: стар и млад спешили в храм Божий помолиться за избранную государыню. Большой Успенский собор не мог вместить всех желающих присутствовать на торжественном молебне. В соборе было душно, свечи едва горели от духоты. Духовенство во главе с Феофаном было в блестящих ризах, члены совета, сенат и весь генералитет в парадной форме и лентах. Вот молебен кончился; рослый, басистый протоиерей громогласно стал говорить многолетие: «Благочести-

¹ Вильям Иванович Монс (родился в 1688 г.) брат первой фаворитки царя Петра Алексеевича, Анны Монс; был его личным адъютантом и с 1713 г. камер-юнкером при дворе императрицы Екатерины; затем возведен был в камергеры, попался в казнокрадстве и взяточничестве и в 1729 г. казнен. Но главной причиной его казни были близкие отношения к императрице Екатерине, о которых стало известно Петру Великому.

вейшей, самодержавнейшей государыне нашей, императрице Анне Иоанновне — многая лета!» — громко и дружно раздалось в соборе... Певчие подхватили. Радость изобразилась на лицах у всех...

Но что случилось с верховниками? Они смутились; некоторые из них покраснели, другие побледнели и стали перешептываться между собою. Они поняли, что в самом же начале их делу был нанесен большой удар этим своевољством новгородского архиепископа. Тот народ, который они так смело представляли собою, уже слышал о новой государыне, как о с а м о д е р ж и ц е, и принимал ее, именно как таковую. Хитрый монах обошел умнейших из людей своего времени, но никто из верховников и не думал отступаться от борьбы.

В покоях князя Алексея Григорьевича Долгорукова в то время, когда происходило избрание на престол Анны Иоанновны, разыгралась тяжелая сцена.

— Господи, срам-то какой... Матушка, матушка, пожалей хоть ты крохотку меня, несчастную, злополучную! — вбегая к своей матери вся в слезах, проговорила княжна Екатерина, недавняя царская невеста.

— Что, что случилось, Катюша? — с тревогой спросила у нее княгиня Прасковья Юрьевна.

— Ох, матушка милая, какую я страшную пытку перенесла сейчас. Отец чуть не силою втащил меня в зал, где собрано было много вельмож. Они решали, кого выбирать на царство, и отец, показывая им на меня, сказал: «Вот кого покойный император на царство выбрать указал». Отец говорил про какую-то духовную... Но его никто не слушал, а некоторые над ним в глаза смеялись, да и надо мною также. Я, сгорая от стыда, бежать хотела, но отец крепко держал меня за руку. Наконец я вырвалась и убежала. Я слышала, как вслед мне смеялись.

— Бедная, бедная ты моя, горемычная, — заплакала княгиня.

— Матушка, помнишь, я говорила, что все замыслы отца окончатся ничем? По моим словам и сбылось. Отец нас всех погубит.

— Не суди, Катюша, отца, — грех!

— А родную дочь губить отцу разве не грех? Тебе, матушка, ведомо, что я не любила жениха-государя. Да и любить его я не могла: у меня другой был жених, милый сердцу, отец разлучил меня с ним.

— Что же делать, Катюша? Против отцовской воли не пойдешь. А ты послушай-ка, дочка, что я тебе скажу.

— Что такое, матушка? Говорите прямо, если это хоть и горестное что-нибудь. От радости и веселья я отвыкла.

— Отец твой приказал нам укладываться да скорее ехать в Горенки.

— Что же, матушка, я рада хоть куда-нибудь уехать. Здесь мне все опостылело. Глаза бы мои ни на что не смотрели. Отец прав: нам надо бежать из Москвы, бежать от срама. А что Иван, что с ним? Я совсем его не вижу!

— Ох, Катюша, совсем извелся парень... Из своей горницы никуда не выходит, сидит задумавшись, а то плакать начнет. И очень ему жалко покойного государя.

— Не государя жалко ему, матушка, а то, что свой фавор он потерял. Чуть не первым был он в государстве, а теперь последним будет.

— Ты и теперь, Катюша, злобишься на брата, теперь, когда он в несчастье. Не злобиться, а жалеть его надо.

— А он жалел меня в то время, когда, с отцом согласившись, чуть не силою обручил меня с государем-мальчиком, отняв у меня любимого человека? О, этого я ему никогда не забуду!.. Ну, да довольно об этом, станем собираться в Горенки. А знаешь, матушка, думаю я, что в Горенках нам жить долго не дадут, а куда-либо подальше нас отправят, как то с Меншиковыми было, — с глубоким вздохом промолвила невеста умершего императора-отрока.

Предчувствие не обмануло ее: над князьями Долгоруковыми собиралась страшная гроза.

Князь Алексей Григорьевич с сыном Иваном и со всем семейством из Головина дворца, где жил до смерти императора Петра II, выехал в подмосковную усадьбу Горенки, а затем через некоторое время, как ему, так и его семейству именем императрицы Анны Иоанновны указано было из усадьбы никуда не отлучаться и в Москву не выезжать.

Между тем верховники хотя и почувствовали удар, нанесенный им Феофаном Прокоповичем, отнюдь не отступились от своей мысли. Когда после молебна присутствовавшие стали расходиться, первым всполошился князь Дмитрий Михайлович.

— Ворочайте, ворочайте их! — отдавал он приказание. — Как бы чего такого не вышло!.. Нужно все сразу решить.

Однако удалось вернуть немногих. В числе их были свояк вновь избранной императрицы Дмитриев-Мамонов, Лев Измайлов, граф Ягужинский и еще несколько других.

— Станем писать пункты, чтобы не быть самодержавию, — говорил всем князь Дмитрий.

Писали долго, чуть не весь день. Вначале приглашали герцогиню Курляндскую ни мало не медля в Москву ехать и российский престол и правительство воспрять, а вместе с тем и подписать кондицию, содержащую восемь пунктов. Последние были изложены в такой форме: «Через сие накрепчайше обещаемся, что наиглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о содержании, но и крайнем и всевозможном распространении православным нашей веры греческого вероисповедания; такожде, по принятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять; еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и без онаго согласия: 1) ни с кем войны не вчинять; 2) мира не заключать; 3) верных наших подданных никакими податями не отягощать; 4) в знатные чины как в статские, так и в военные, сухопутные и морские выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, а гвардии и прочим войскам быть под ведением верховного тайного совета; 5) у шляхетства живота, имения и чести без суда не отнимать; 6) вотчины и деревни не жаловать; 7) в придворные чины как русских, так и иностранцев не производить; 8) государственных доходов в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать; а буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской».

Под письмом подписались: канцлер граф Головкин, князь Михаил Голицын, князь Василий Долгоруков, князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгоруков, Андрей Остерман.

Как только в Москве узнали о новшестве, затеянном верховным советом, сейчас же обнаружилось сильное волнение и неудовольствие в высших слоях общества. Сенат, генералитет, знатнейшее дворянство — все были недовольны.

— Что же это такое? — и говорил, и писал знаменитый впоследствии Артемий Волинский, голова которого через несколько лет слетела с плеч в борьбе с фаворитом императрицы Анны Бироном. — Что же такое? Боже сохрани, чтобы вместо одного самодержца оказалось десять самовла-

стных и сильных самодержцев. Мы, дворянство, тогда совсем пропадем.

Этого больше всего боялись. Считали, что верховники непременно захватят в свои руки власть и используют ее для себя. Думали, что фавориты все-таки могут меняться и таким образом можно будет отыскивать милость у этих новых людей. Содержание кондиций не было никому известно, а все знали только одно: что ограничивается самодержавие и, стало быть, вместо одного государя будет восемь. Конечно, внутренние затаенные вожелания были прикрыты политическими соображениями. Высказывали, что Россия должна потерять всякое значение, снизить на степень Польши или Швеции, где иностранные державы приобретают влияние деньгами, которые они раздают членам ограничивающих королевскую власть учреждений. Австрия и Пруссия постоянно договариваются, чтобы сохранить Польше существующий порядок, то есть чтобы Польша оставалась постоянно слабой, и вот теперь хотят завести в России то же самое. Все гарантии только для восьми, а против восьми для остальных где гарантия, и кто эти восемь? Четверо Долгоруковых и двое Голицыных, остальные — Головкин и Остерман? Шестеро принадлежали к двум знатым фамилиям, двое же были выскочки. Они не могли спокойно и радостно принять новое величие, осенившее верховников, потому что вовсе не были обеспечены, долго ли будут терпеть их около себя старинные родовитые князья, потомки Рюрика и Гедимины.

Таким образом, и среди самого верховного тайного совета были люди, не сочувствовавшие новшеству, и понятно, что они поддерживали быстро развивавшееся в народе недоброжелательство к нему.

Верховники знали обо всем этом, но не придавали особого значения; они знали, что в их руках сила, и уже видели примеры, когда благодаря обладанию силой удавались и не такие государственные перевороты.

Между тем весть о том, что князья задумали подчинить себе царицу и лишить ее власти, расплывалась всюду. Народ привык, что с престола, как от солнца, исходит все благое, и в простоте душевной был уверен, что князья да бояре только о себе и стараются. Были уже и явные симптомы того, что даже на силу полагаться нельзя. Когда князь Иван Долгоруков попробовал заговорить в Семеновском полку об ограничении самодержавия, ему прямо там сказали, чтобы он больше и не вспоминал об этом, а не

то ему ноги переломают. Это была уже угроза, но верховники не обратили на нее внимания. Они были уверены в том, что их дело удалось.

III

Верховники, выработав свои ограничительные пункты, снарядили в Митаву посольство, состоящее из князя Василия Лукича Долгорукова, князя Михаила Михайловича Голицына и генерала Леонтьева. Им было вручено письмо, в котором содержалось сообщение герцогине курляндской Анне, дочери царя Иоанна VI Алексеевича, о смерти Петра II и о всеобщем выборе ее на царство.

Отправляя послов к Анне, верховный совет принял меры предосторожности, чтобы кто-либо ранее их не известил государыню. На всех московских заставах были поставлены пикеты, прохожих и проезжих обыскивали, а если у кого находили какие-либо письма и бумаги, то отбирали.

Плохо жилось москвичам в ту пору; они боялись ходить по улицам и говорить между собою, так как везде шныряли сыщики, доносчики; лишнего не говори, а то как раз угодишь в сыскной приказ, а там шутить не любят: встряхнут на дыбе, а то в Сибирь прогуляешься.

Граф Ягужинский не ладил с остальными верховниками и не соглашался с их мнением об ограничении новой императрицы. Он по мотивам, изложенным выше, решил подставить ножку верховникам и предупредить новую государыню о тех условиях, на которых ей будет предложена корона. Кроме того, он написал государыне, чтобы она торопилась в Москву и не доверяла тем лицам, которых верховники прислали к ней.

Доставку этого письма он поручил Левушке Храпунову, которого он, по смерти Петра II, взял к себе адъютантом.

Эта затея удалась: письмо было доставлено, но об этом стало известно верховникам, Храпунов был арестован и в кандалах под строгим конвоем отправлен обратно в Москву; Ягужинский со своими приверженцами был тоже арестован.

Что касается посольства верховников, то оно представилось новой государыне в Митаве, и, к торжеству верховников, Анна Иоанновна согласилась принять все их условия и назначила день своего выезда в Москву.

Однако еще в то время, пока она находилась в Митаве, было доведено до ее сведения о тех настроениях, которые замечались в Москве в отношении вопроса об ограничении ее власти, а также об образовании партии, поставившей себе целью добиться отмены этих ограничений, а следовательно, и обширных полномочий верховников. Одним из агентов, действовавших в пользу новой императрицы и державших ее в курсе дел, был находившийся в Москве курляндский выходец, офицер русской армии Левенвольд. Очень умело, через доверенных лиц, действовал и фаворит Анны Иоанновны, Иоганн Эрнест Бирон. Вследствие этого в Москве все энергичнее развивала свою деятельность партия, работавшая против верховников.

10 февраля 1730 года государыня приехала в село Всехсвятское и была встречена тремя архиереями и тремя сенаторами. Императрица отдала приказ на другой день по своему приезду похоронить юного императора в общей усыпальнице князей и царей русских — в московском соборе архистратига Михаила.

Спустя три дня после этого верховный тайный совет, сенат и весь генералитет отправились во Всехсвятское поздравить с приездом императрицу и благодарить за оказанную ею милость народу.

Граф Головкин на золотом блюде поднес ей орден святого Андрея Первозванного.

— Ах, я и забыла надеть на себя Андрея! — проговорила императрица и взяла орден, но, минуя верховников, велела одному из своих личных приближенных надеть на нее этот орден.

Это пришлось не по вкусу верховникам.

По приезде во Всехсвятское к императрице явились батальон преображенцев и отряд кавалергардов. Государыня милостиво приняла их и объявила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов и собственноручно поднесла каждому по чарке водки. Таким образом она сразу обеспечила себя помощью гвардии, привлекая ее на свою сторону, что было крайне важно в предстоявшей ей борьбе с верховниками.

Через несколько времени Анна Иоанновна въехала в первопрестольную столицу при звоне сорока сороков церквей московских и при пушечной пальбе. Она ехала по улицам, усыпанным песком, через триумфальные ворота и арки, построенные специально для торжественности встречи, в роскошной карете, запряженной девятью лошадьми; по сторонам царской кареты ехали верхами

князь Василий Лукич Долгоруков, князь Дмитрий Голицын и другие; направо и налево стояло войско в полной парадной форме.

День был ясный, морозный, солнце блестело не по-зимнему, и его яркие лучи весело играли на золотой сбруе лошадей, на ливреях камер-фурьеров, арапов, гайдуков и скороходов. Москвичи радостными криками приветствовали свою государыню; она милостиво раскланивалась на обе стороны. Колокольный звон и пушечная пальба не умолкали в продолжение всего дня.

Верховники назначили день присяги «для всех чинов» в Успенском соборе. Они потребовали, чтобы прежде всего присягнуло духовенство, и представителям последнего прислали сказать, что вельможи, весь генералитет и знатное шляхетство дожидаются отцов церкви в соборе. Однако архиереи не повиновались. Тогда верховники приступили к ним и стали уговаривать, чтобы они, как пастыри народа, присягали первые, но Феофан Прокопович твердо настаивал на том, чтобы форма присяги была предварительно прочтена во всеуслышание. Верховники согласились, и форма присяги была прочтена; в ней не было таких выражений, которые бы ясно показали задуманную верховниками новую форму правления, а потому присяга была принята всеми собравшимися.

Князь Василий Лукич Долгоруков поселился во дворце и, не спуская глаз с государыни, зорко стерег, чтобы кто-нибудь, тайно пробравшись к императрице, не сообщил ей, что общее желание всего народа видеть Анну монархиней самодержавной; хитрый князь положительно никого не допускал к государыне, даже ее родные сестры виделись с нею в его присутствии. Это оскорбляло Анну и противников верховного тайного совета.

— Смотрите, государыня нигде не показывается, — говорили они, — и народ ее не видит, не встречает радостными криками, никого к ней не допускают.

Эта партия не дремала, а делала свое дело — она списывалась с государыней, причем письма и челобитные клали за рубашечку младенца, сына Бирона, не замедлившего приехать в Россию. Возмущение против верховников росло все более и более.

Честолюбцы-верховники отчаялись выиграть дело и уже предложили от себя самодержавие Анне, но она гордо ответила:

— Для меня слишком мало получить самодержавие от восьми персон.

25 февраля к императрице отправились 800 дворян, имея во главе Трубецкого, Барятинского и Черкасского, и просили аудиенции с намерением подать государыне челобитную о бытии ей монархиней самодержавной.

Анна приняла их во дворце; она стояла на троне под балдахином в Андреевском зале.

Когда кончилось чтение челобитной, князь Василий Долгоруков проговорил, обращаясь к императрице:

— Надлежит обдумать, ваше величество, вместе с членами верховного тайного совета, какой ответ дать на сие прошение.

Однако находившаяся подле Анны ее сестра, герцогиня голштинская Екатерина, подавая перо и чернильницу, быстро проговорила:

— Что тут думать, государыня? Извольте подписать.

Анна подписала.

Верховники стояли, как окаменелые, от неожиданности, а дворянство и гвардейские офицеры, не довольствуясь тем, стали кричать и угрожать верховникам.

— Не хотим, чтобы государыне предписывали законы! — кричали одни.

— Она должна быть самодержавной, не хотим власти верховников! — кричали другие.

— Пусть царствует самодержавно!

— Остановитесь! Вы забываете, что я — ваша императрица!.. Смеее кричать в моем присутствии! — сердито проговорила Анна, и ее глаза заблестели благородным гневом.

— Ваше величество! Мы, верные подданные, верой и правдой служили прежним великим государям и рады сложить свои головы на службе вашего величества; мы не можем терпеть, чтобы вас притесняли. Прикажите, государыня, и мы принесем к вашим ногам головы ваших злодеев, — говорили они.

Тут Анна, обращаясь к капитану гвардии, проговорила:

— Я и тут, во дворце, не безопасна, повинуйтесь генералу Салтыкову... только ему одному. — И проворно вышла из зала.

В четвертом часу дня все высшее дворянство пришло во дворец с просьбою, чтобы государыня приняла самодержавие; представили челобитную за подписью ста пятидесяти лиц известных дворянских фамилий. Императрица вышла к челобитчикам, приняла просьбу, и когда она была прочтена, то удивилась, как будто ничего не знала.

— Как, разве те пункты, которые мне поднесли в Митаве, были составлены не по желанию всего народа? — спросила она, обегая быстрым взглядом присутствующих.

— Нет, государыня, желание народа — быть вам самодержицей всероссийской! — ответили ей.

— Так ты, князь, меня обманул? — сердито проговорила государыня, обращаясь к Василию Лукичу Долгорукову, и продолжала: — Принесите сюда эти пункты, сочиненные верховниками.

Когда эти пункты были принесены, государыня изорвала их в клочки и объявила себя самодержицей.

Так рушились планы верховников, которые в своем ненасытном честолюбии ограничивали власть государыни над Россией, и звезда их мимолетной славы стала угасать.

28 апреля 1730 года было торжественно совершено коронавание императрицы Анны Иоанновны, причем по этому поводу были назначены народные празднества.

Народ ликовал. Теперь он уже не боялся ни сыщиков, ни верховников: самодержавная власть монархии ограждала народ.

IV

Несчастливого Левушку Храпунова, нравственно и физически измученного, закованного в тяжелые цепи, привезли в Москву и бросили в тюрьму, походившую на могилу. Она представляла собою квадратную, в два с половиной аршина камеру с едва заметным оконцем у самого потолка; в тюрьме ничего не было, кроме пучка прелой соломы, заменявшей собою постель заключенному; каменные стены были сыры и промозглы, пол и потолок кирпичные; в камере постоянно царили мрак и смрадный, душливый воздух.

От горя, от безвыходности своего положения, а также и от бессонных ночей молодой адъютант был близок к помешательству и не дотрагивался до куса черствого хлеба и до грязной воды, которую давали ему в черепке, как собаке. От различных гадов и насекомых бедный Храпунов не мог сомкнуть глаз, а вместе с тем коченел от пронизывающего холода. В страшном отчаянии он не раз хотел разбить голову о камни или повеситься. Но мысль о любимой им Марусе останавливала его от этого.

«Господи, за что такая напасть? — с отчаянием думал Храпунов. — Что преступного я учинил? Меня бросили в эту могилу без вины, без суда... Верховники сильны, властны и, пожалуй, присудят казнить меня. Заступиться за меня некому... разве князь Иван? Но нет, он не посмеет идти против отца, последний же всецело против меня».

Так прошло несколько дней. О Левушке Храпунове как бы забыли, к нему в тюрьму только и входил всякое утро угрюмый и молчаливый сторож, приносивший ему хлеб и воду. Не раз Храпунов пробовал заговаривать со сторожем, но тот молчал, как немой.

Мрачно проходили дни заключенного; страшно и жутко было ему от могильной тишины, царившей в его тюрьме.

«Неужели навсегда, на всю жизнь бросили меня в эту могилу? Ведь такая жизнь хуже смерти. Все, все забыли, покинули меня. А Маруся? Она-то, Бог даст, не забыла, помнит меня, голубка? Она не знает, не ведает, что со мной такая напасть случилась. Голубка моя, радость, видно, не суждено мне больше видеться с тобою! Мои злодеи не выпустят меня из этой могилы, и сгину я здесь в тяжелой неволе, всеми забытый, всеми оставленный!» — отчаивался Храпунов, и в бессильной злобе на злополучную жизнь, и под гнетом сердечной тоски по его исхудалому лицу текли неудержимые слезы.

Однако о нем все же помнили. Не забыл в несчастье своего приятеля князь Иван Долгоруков, который так еще недавно был властным фаворитом умершего императора-отрока, теперь же находился в полном подчинении у своих родичей и у верховников. Ему было хорошо известно, что Храпунов терпит такую тяжелую кару безвинно, и он однажды завел разговор об этом. Однако он встретил резкий отпор со стороны верховника князя Василия Лукича Долгорукова. Последний грозно крикнул в ответ на его слова:

— Ишь, подумаешь, невидадь какая, что твоего Храпунова в тюрьму упрятали!.. Да ему за его измену голову надо долой.

— За какую же, князь-дядюшка, измену? В поступке Храпунова измены я не вижу, — тихо возразил князь Иван. — Ведь он выполнял волю своего начальника, и только...

— Ну вот за свое усердие к Ягужинскому твой приятель и поплатится головою.

— И его казнь будет на вашей совести, князь-дядюшка.

— А я, князь-племянничек, совет тебе дам не соваться туда где тебя не спрашивают. Знай сверчок свой шесток.

Теперь не прежнее время: фавор твой окончился... Мы и на тебя управу найдем!

Тогда князь Иван обратился к своему отцу:

— Батюшка, ведь Храпунов невинно страдает.

— Знаю и без тебя, что невинно.

— Так надо его спасти.

— А как его спасешь? Князь Василий Лукич и слышать про него не хочет. Чего доброго, еще велит казнить.

— Это ужасно: неповинный человек!

— Что делать? Не он первый и не он последний, много за напраслину страдают, — совершенно спокойным голосом проговорил князь Алексей Григорьевич и добавил: — Прыток он больно. Прежде чем скакать с письмом Ягужинского в Митаву, он бы к нам пришел и обо всем верховному тайному совету оповестил, так и не сидел бы в остроге, а еще благодарность получил бы.

— Батюшка, спасти Храпунова нам необходимо!

— Ну а я большой необходимости в нем не вижу. Что ему на роду написано, то и будет.

— Ты, кажется, отец, и про то забыл, что Храпунов — жених твоей дочери Маруси.

— Теперь, Иван, не до нее. Время пришло такое, что лишь бы о себе думать.

— Грех это, отец, грех!

— Молчать, молокосос!.. Или отца учить задумал? Смотри! Теперь ведь не прежнее время, воли тебе не дам. Слушать меня прикажу! — сердито крикнул Алексей Григорьевич.

Князь Иван, от природы добрый и податливый, стал думать, как спасти Левушку, но ничего лучшего не мог придумать, как поехать в хибарку старухи Марины, чтобы посоветоваться, поговорить с нею, а также и с ее внучкой Марусей. Последняя была уже обручена с Храпуновым, и их свадьба была отложена по случаю болезни и смерти Петра II, а также из-за того, что Левушка был послан графом Ягужинским в Митаву с важным поручением к Анне Иоанновне. Маруся знала об этой командировке и с нетерпением поджидала своего милого суженого, не ведая о постигшей его злой участи.

Немало удивились старуха Марина и Маруся, когда около их домишки остановилась пышная карета с гербами и из нее вышел молодой князь Иван Алексеевич Долгоруков.

— Что, не ждали меня? — проговорил князь Иван, входя к ним в горницу.

— И то, князь, дивимся, — не совсем ласково ответила Марина, не любившая князя Ивана, как и всего рода Долгоруковых.

— А ведь я к вам с недоброю вестью. О женихе твоём, Маруся, я стану говорить.

— Что? Разве с ним случилось что-нибудь? — с испугом воскликнула девушка, меняясь в лице.

— Нехорошее с ним случилось, Маруся. В острог посадили твоего жениха...

— В острог? Господи! Да за что же, за что?

— Ни за что ни про что верховники велели посадить его. — И князь Иван в коротких словах объяснил, как Левушку привезли из Митавы в Москву и посадили в тюрьму.

Маруся, выслушав этот рассказ, залилась слезами, а Марина с глубоким вздохом проговорила:

— Невинного человека в острог! Где же правда?

— Вот и ищи правду-то. Ее теперь и днем с огнем не отыщешь, — промолвил князь Иван.

— Князь Иван Алексеевич, что же ты не выручишь своего приятеля? — сквозь слезы проговорила Маруся.

— И выручил бы, да не прежнее время! Теперь, того гляди, и сам я попаду в острог, — печально ответил ей молодой князь, предчувствовавший свою беду.

И вот они трое стали совещаться, как помочь Левушке, из беды его выручить. Долго они совещались и на том порешили, что надо подкупить сторожа, который носит заключенному еду и питье.

Приступить к выполнению задуманного взялась Марина.

— Давай сторожу, сколько он запросит, денег я тебе дам, — произнес князь Иван. — Не жалея их, только Левушку из беды выручи.

— Спасибо, князь, большое тебе спасибо, — промолвила старуха, низко поклонившись Ивану Долгорукову.

— И от меня, князь Иван Алексеевич, спасибо! — тихо проговорила красавица Маруся.

Князь Иван дал Марине на расходы много денег, обещал еще привезти и, ласково простившись, уехал.

На другой день Марина, взяв порядочную сумму денег, отправилась к острогу, и с помощью подкупа ей довольно скоро удалось проникнуть на его двор. Она узнала, в какой камере содержится Левушка Храпунов, у кого находятся ключи от нее и кто носит еду и питье.

Выяснилось, что эти обязанности лежали на старике, отставном солдате Никите. Он был очень беден да к тому же имел в деревне семью, которой был кормильцем.

Марина, несмотря на свою старость, была очень хитра и проницательна. Ей не составило больших трудов заговорить с угрюмым Никитой и скоро перетянуть его на свою сторону. Несколько золотых монет заставили его изменить своему долгу и забыть служебную обязанность. В конце концов Марина смело заявила:

— Так, значит, завтра вечером я приду на двор острога, а уж ты сам постарайся устроить все как надо.

Поговорив еще несколько, Марина и сторож расстались. Никита в задаток получил малую толику денег, купил на них вина, угостил товарищей и сам наугощался.

На следующий день, когда стало смеркаться, Марина опять появилась на дворе острога с небольшим узелком в руках. Никита встретил ее такими словами:

— Что рано пришла? Лучше делать все, когда совсем стемнеет. На такое дело с опаской идти надо!..

— Да чего тебе-то бояться?

— Как чего? Да ведь я-то в ответственность большую попаду... Узнают, что я колодника выпустил, до смерти меня забьют.

— А ты беги, — посоветовала Марина.

— И то бежать придется, куда глаза глядят.

— Что же, с деньгами, Никитушка, и в бегах жить не плохо! Ты вот что, Никитушка: много-то не раздумывай, а бери деньги да помалкивай, — проговорила Марина, подавая Никите горсть серебряных и золотых монет.

— Все ли тут? — спросил сторож, принимая деньги.

— Все, по уговору... без обмана!

— Зачем обманывать? Обманывать — грех, да к тому же этими деньгами не один я попользуюсь: придется кой с кем и поделиться. Ну, да раз я слово дал, так все устрою. Вот как начальство ужинать сядет, а потом скоро и спать ляжет, так ты и иди безбоязненно, ведь солдаты-то, что у ворот на часах стоят, на нашей стороне, подкуплены.

И действительно, через несколько времени Храпунов, дошедший почти до полного отчаяния, вдруг услышал, как загремел замок и дверь к нему в тюрьму отворилась; тотчас же вошла какая-то закутанная женщина; дверь за нею опять быстро затворилась.

— Здорово живешь, барин! — проговорил ласковый и знакомый ему голос.

— Кто ты? — замирающим голосом спросил Левушка.

— Иль не узнал, барин? Ну, так смотри! — И Марина, быстро выбив огонь, зажгла тоненькую восковую свечку.

— Маринушка, ты? — радостно воскликнул Храпунов.

— Я, барин, я! Я пришла выручить тебя из неволи. Одевай скорее этот сарафан, укутай голову платком и пойдем! — И Марина подала Храпунову названные вещи.

Левушка беспрекословно надел на себя сарафан и закутал голову платком.

— В таком наряде, барин, тебя никто не узнает. Пойдем! Иди за мною смело.

Марина и Храпунов тихо вышли из камеры и, никем не остановленные, прошли длинный и узкий коридор, после чего очутились на дворе острога. Смелой поступью подошли они к воротам; у затворенной калитки стояли двое часовых.

— Кто идет? — как-то нехотя спросил у беглецов один из солдат.

— Колодника навещали, а теперь домой спешим, — слегка дрожащим голосом ответила Марина.

— Проходите, — коротко промолвил другой часовой и отворил калитку.

— А это вам на винцо и на калачи. — И Марина дала часовым несколько серебряных монет.

— Господи, Господи, благодарю Тебя! Я опять на свободе. Маринушка, скорей води меня к Марусе, — счастливым голосом промолвил Храпунов, быстро направляясь от острога к Тверской заставе.

Через несколько минут он крепко обнимал свою плакавшую от счастья Марусю.

V

А в это же время тяжелые минуты переживала другая невеста — молодая графиня Наталья Борисовна Шереметева. До нее, конечно, одной из первых дошла печальная весть о том, что императора-отрока не стало, а через несколько дней и другое нерадостное известие, что с кончиною государя Долгоруковы потеряли свой фавор и что им, по повелению новой императрицы Анны Иоанновны, указано жить безвыездно в подмосковной усадьбе Горенки. При этом известии графиня Наталья Борисовна залилась горькими слезами.

Братья Петр и Сергей Борисовичи стали утешать ее.

— Что ты так отчаиваешься, Наташа? Неужели тебе так дорог князь Иван? — проговорил старший брат Петр.

— Дорог он мне, Петруша, очень дорог... кажется, дороже жизни, — сквозь слезы промолвила Наталья Борисовна.

— Неужели и теперь ты пойдешь за него замуж? — спросил у Натальи Борисовны второй ее брат, Сергей

— Пойду, Сереженька, пойду, мой милый.

— Да ведь Долгоруковы теперь в опале. Неужели тебе хочется быть женою опального? — с горечью спросил Петр.

— Да что же поделаешь, братец любезный? Видно, такова есть моя судьба злосчастная.

— Не выходи за Ивана Долгорукова и избежишь этого.

— Нет, Петрушенька, как можно? Ведь я с ним обручена, да и люблю его!

— Эх, Наташа, ну что ты нашла в нем хорошего? Мотыга он, кутила. Да кроме того, нам обидно и больно, Наташа, что ты, наша сестра, прирожденная Шереметева, не жалея себя и нас, выходишь за опального.

— Не так ты судишь, Петруша, не так! Кто кроме меня его в несчастьи поддержит? Кто ласкою и словом приветливым тоску его разгонит и его судьбину суровую смягчит? Любила я князя Ивана, когда он был в фаворе, в блеске и в почести; а теперь, в несчастьи, он мне еще милее.

— Сестрица, слух идет, что Долгоруковым не миновать дальней ссылки, — заметил Сергей Борисович.

— Что же делать? Видно, такова их участь.

— Но пойми, Наташа: став женою князя Ивана, и ты будешь принуждена... или с ним расстаться, или в ссылку ехать.

— Неужели ты думаешь, Петруша, что у меня хватит силы расстаться с милым человеком?

— И ты решишься ехать в ссылку?

— Об этом и слов не может быть. Я всюду должна следовать за мужем, — спокойно ответила Наталья Борисовна.

— А если его сошлют в Сибирь?

— И в Сибирь поеду. До гробовой доски должна я с мужем быть: куда он, туда и я. И никто не разлучит нас с ним. Что Бог сочетал, того люди не разлучат.

— И нас покинешь, и с нами расстанешься? — со слезами на глазах проговорил граф Сергей.

— Что, Сереженька, о будущем гадать? Ведь князю Ивану только указано в подмосковной усадьбе жить.

— А если его сошлют?

— Говорю: куда он, туда и я.

— А ведь я, сестрица, хотел тебе другого жениха сватать, — после некоторого раздумья промолвил граф Петр.

— У меня есть жених, Петруша, с меня будет и одного, — с милой улыбкой ответила графиня Наталья Борисовна.

— Мой много лучше, Наташа...

— При нем и останется.

— Ты хоть бы спросила, сестрица, кого хочу я сватать!

— Уж не царевича ли или королевича какого?

— Да ты, сестра, не смейся: жених мой и знатен, и богат, и в большой милости у нашей государыни находится. Это — граф Левенвольд. Ну что, каков жених?

— С тобой, Петруша, я согласна: граф Левенвольд — жених завидный, да только не для меня.

— Как, и от такого жениха ты отказываешься!

— Отказываюсь, потому что у меня есть жених.

При этих словах графини дверь в ее комнату тихо отворилась, и вошедший лакей, обращаясь к графу Петру Борисовичу, почтительно проговорил:

— Его сиятельство граф Левенвольд прибыть изволил.

— А вот и хорошо, граф кстати прибыл. Пришлю его к тебе. Со мной ты несговорчива, Наташа. — И граф Петр Борисович поспешно вышел из комнаты сестры.

В тот же момент к ней обратился брат Сергей:

— Сестрица, милая, голубушка, ведь граф Левенвольд приехал свататься. Ради Бога, если ты хоть сколько-нибудь жалеешь нас и маленьких наших сестер, выходи за него. Утешь, порадууй нас!..

— Сережа, о чем ты просишь? Ведь о невозможном.

— Наташа, хоть крохотку ты пожалей и нас. Ведь все мы крепко тебя любим, все счастья тебе желаем. Подумай, ну, выйдешь ты за князя Ивана — тебя сошлют с ним вместе и навсегда разлучат нас с тобой. Знаю, ты добра и любишь нас, тебе самой горька, страшна разлука с нами. И ведь ты не покинешь нас, голубушка-сестрица, да?

— Сережа, не мучь меня, мой дорогой! От твоих слов у меня сердце кровью обливается. Честно ли будет, когда нарушу слово, данное князю Ивану, и под венец пойду с другим? Когда велик и славен был мой жених, тогда я с радостью согласилась делить его судьбу. А теперь, когда он стал несчастен, так и отказать ему? Хорошо ли, честно ли будет это? — с жаром проговорила графиня Наталья Борисовна. — Но тише. Я слышу шаги... сюда идут.

Она не ошиблась: в девичью горницу вошли граф Левенвольд¹ и Петр Борисович.

— Простите, прекрасная графиня, быть может, мой визит потревожит вас, — утонченно кланяясь, промолвил Левенвольд.

— Нисколько, граф, нисколько. Я рада вашему приходу.

— Рады? В добрый час, графиня.

— Сестрица Наташа, ты дорогого гостя занимай, а мне надо отдать кое-какие распоряжения, — произнес граф Петр и вместе с братом торопливо вышел из горницы.

Они надеялись, что красивый и блестящий вельможа сумеет убедить и уговорить упрямую Наташу.

— Графиня, прошу дозволить мне сказать вам несколько слов, — начал гость.

— Говорите, граф.

— Без обиняков, прямо начну с вами речь. Графиня Наталья Борисовна, я пришел к вам за тем, чтобы с согласия вашего брата просить у вас руки. Я люблю вас давно — с того счастливого дня, как впервые увидел и узнал вас. Моя судьба, вся жизнь моя у вас в руках, прелестная графиня! Решайте! — И, с чувством проговорив эти слова, граф Левенвольд опустился на колени перед Натальей Борисовной.

— Встаньте, граф, к чему коленопреклонение? Я искренне благодарю вас за честь, но не скрою от вас, что подобным предложением вы удивляете меня. Ведь вам, как и всем, хорошо известно, что я — обрученная невеста князя Ивана Алексеевича Долгорукова.

— Вы были его невестой прежде, графиня, я это знаю, но теперь, когда многое переменялось и совершилось много важных событий, освобождающих вас от обещаний...

¹ Карл Иванович (Карл Гисхов) Левенвольде (Левенвольд) пользовался большим вниманием у императрица Анны Иоанновны. Он был знаком ей еще по Митаве. Это был сын курляндского барона, находившегося на русской службе. Когда царица Прасковья обрушилась со свойственной ей жестокостью на взрослую дочь вдову Анну Иоанновну, герцогиню курляндскую, за ее отношение к Бестужеву (русскому резиденту в Митаве, фактически управлявшему Курляндией, см. дальше), Левенвольд всячески утешал Анну и даже успел отстранить от нее многие неприятности. Он же старался устроить ее брак с Морицем Саксонским. Узнав, что верховники избрали Анну императрицей, он первый через своего брата Рейнгольда уведомил Анну об этом и посоветовал принять «для вида» ограничительные пункты. В благодарность за это Анна по вступлении на престол возвела К. Левенвольда в графы и послала полномочным министром сперва в Вену, потом в Берлин.

— Повторяю вам, граф, что и теперь я состою невестой Ивана Долгорукова и даже скоро будет наша свадьба.

— Что вы говорите, графиня? Может ли то быть?

— Да, да, граф. С князем Иваном меня разлучит только одна смерть.

— А... вы сказали, прелестная графиня, что вас разлучит с женихом только одна смерть. А знаете ли вы, что его жизнь висит на волоске? Следствие, которое ведется над Долгоруковыми, приходит к концу, и ежедневно на вашем женихе находят новые вины, одна одной важнее.

— А между тем князь Иван ни в чем не виновен.

— Долгоруковы, ослепленные своим безмерным честолюбием, чуть не насильно хотели женить покойного императора на княжне Екатерине. Да это — не все... еще много других обвинений падает на них. Им не миновать дальней ссылки, а может быть, их постигнет и еще что-либо худшее.

— Постойте, граф! Не вините в этом моего жениха. Ведь не он, а его отец хотел женить царя на своей дочери. При чем тут князь Иван?

— Он помогал отцу. Скажу вам больше, прелестная графиня: Иван Долгоруков — послушник воли ее величества императрицы. Вам, конечно, известно, что Долгоруковым приказано безвыездно жить в усадьбе Горенки, въезд в Москву строжайше запрещен им указом самой императрицы, а ваш жених пренебрег этим указом. Его не раз видели здесь.

— Может, обознались, а может, князя Ивана оклеветали. Ведь теперь чуть не все, кто прежде был его другом, стали врагами ему.

— Повторяю, графиня, его видели здесь даже недавно. Скажите, зачем он бывает в Москве? Может, какую-нибудь измену затевает? С него все станет.

— Измену? Что вы, граф, говорите? Он не таков. Он подчас бывает ветрен, подчас любит и покутить, но далек от всякой измены! В том я могу быть вам порукою.

— Я — что! Я — ваш раб покорный, графиня, но есть другие, кто посильнее меня. Они не верят в прямоту и честность вашего жениха. Вместе с тем откровенно вам скажу, что буду рад, если его уберут куда-нибудь подальше. Князь Иван — мой ненавистный соперник.

— Вот что? За откровенность, граф, спасибо! Но знайте, если князь Иван падет жертвой коварной мести, то я буду вдовой, не будучи его женой, и стану коротать свою невеселую жизнь в стенах обители! В том свидетель буду

Бог! Прощайте, граф, я все сказала вам. — И, твердым голосом проговорив эти слова, Наталья Борисовна дала понять Левенвольду, что говорить с ним больше не о чем.

Левенвольду пришлось волей-неволей откланяться графине.

Не без злобы оставил он дом Шереметевых, причем главная доля этой его злобы была направлена на князя Ивана Долгорукова, его непримиримого соперника.

«Во что бы то ни стало, а я устрою его со своей дороги; да мне и не трудно будет от него отделаться: ведь теперь он не из сильных. Я решил жениться на графине Наталье и женюсь; ведь этим я упрочу свою будущность, породнившись с именитым родом коренных русских бояр».

Через несколько дней после этого, в один поздний, тихий, теплый вечер в доме графов Шереметевых была полная тишина. Графы Петр и Сергей Борисовичи, а также и их маленькие сестры давно спали; их примеру последовали и многочисленные их дворовые; не спала лишь одна молодая графиня Наталья Борисовна.

Задумчиво наклонив свою хорошенькую головку, она сидела на скамье в густом тенистом саду своего дома, поджидая своего жениха, князя Ивана Алексеевича, который тайком из Горенок часто приезжал к ней.

Да и было с чего призадуматься Наталье Борисовне: из слов Левенвольда поняла она, что за ее женихом следят.

«Толкуют про какую-то измену, — думала графиня. — Нет, нет, этого не может быть! Злые люди хотят оклеветать моего Иванушку, сгубить его. Господи, за что, за что? Ах, как люди злы и несправедливы! Что сделал им князь Иван? Еще так недавно они чуть руки у него не целовали, а теперь стараются унижить его, оклеветать. Где же правда?»

Тут размышления графини были прерваны шорохом.

— Иванушка, ты? — тихо спросила Наталья Борисовна.

Действительно, перед нею тотчас же появился князь Иван, который только что перелез через садовую изгородь.

— Я это, я, моя голубка! Прости, Натальюшка, раньше не мог прийти, в вашем доме огни были видны, вот я и боялся, как бы не встретиться с кем-либо.

— За тобой следят, Иванушка... ты это знаешь ли?

— Знаю, голубка.

— У тебя есть враги... из них есть властные и сильные.

— Знаю, графинюшка, первый мой враг заклятый — князь Никита Трубецкой.

— А второй твой враг и соперник — граф Левенвольд.
— Как, граф Левенвольд? — удивился князь Иван. — Ты говоришь, он — мой соперник? Разве он...

— Сегодня приезжал свататься за меня.

— Как он смел! Свататься за мою милую невесту? Ну, это даром ему не пройдет. Хотя я и в опале, а все же сумею рассчитаться с этим пришлецом-нахалом!

— Что ты кричишь, Иванушка! Услышать могут.

— Обидно мне и больно и за тебя, и за себя. Сметь предлагать тебе руку, когда ты обручена со мной! Впрочем, я и позабыл, графу Левенвольду теперь все возможно: ведь он пожалован гофмаршалством и состоит в большом фаворе у императрицы.

— Боюсь я, что Левенвольд может много навредить тебе: он грозил, что государыня узнает, как ты нарушаешь ее приказы и бываешь в Москве, не имея на то дозволения. Тебя он готов даже уличить в какой-то измене. Но знай, я сама поеду к матушке-царице, паду к ее ногам и постараюсь вымолить тебе прощение у нее.

— Лучше и не езд, Натальюшка. Государыня не простит меня. Может быть, она-то сама и простила бы, да не простят мои враги. Им нужны мой позор и унижение. Мало того, им нужно, чтобы меня предали лютой казни.

Едва князь Иван проговорил эти слова, как в саду слышались шаги и сдержанные голоса.

— Тихе, Иванушка, — сказала Наташа, — сюда идут. Нас подстерегли.

Графиня не ошиблась: из-за кустов скоро вышли граф Петр Борисович, Левенвольд и князь Никита Трубецкой.

— Вот, граф Петр Борисович, полюбуясь. Как я говорил, так и вышло, — громко и злобно сказал Никита.

— Слушай, Петр Борисович, хоть ты и приходишься братом моей невесте милой, но обидеть ее я и тебе не позволю! — грозно крикнул князь Иван, берясь за саблю.

— Вот как? По какому праву?

— По праву обрученного жениха... А вы, господа, давно ли на себя взяли должность сыщиков? — насмешливо обратился князь Иван к Никите Трубецкому и к Левенвольду.

— Как вы смеете, князь, так оскорблять нас? За оскорбление вы дорого поплатитесь! — в один голос грозно проговорили князь Никита и граф Левенвольд.

— А вы, господа, разве не оскорбили меня? Да и не меня одного: вы жестоко оскорбили своим подсматриванием

и подслушиванием графиню Наталью Борисовну... этого ангела...

— Графиню мы и не думали оскорблять.

— Нет, нет, Ванюша прав. Вы жестоко оскорбили меня! Что вам надо? Кто дал вам право следить за мной? Что в том позорного, что я разговариваю с обрученным женихом? Вы скажете — зачем тайком? Отвечу: что же было делать князю Ивану, если судьба да злые люди довели его до того, что он должен видиться со мной украдкой, не в ворота, как мой жених, с честью въезжать, а через изгородь садовую, как вор, перелезать! — с негодованием твердо проговорила графиня Наталья.

— Графиня, Наталья Борисовна, послушайте... — заговорил было Левенвольд.

— Довольно, граф, мне ваших слов не надо, — оставившая его, промолвила графиня Наталья и, обратившись к брату голосом, не допускающим возражений, добавила: — Брат Петр Борисович, прошу поторопиться с нашей свадьбой. Откладывать я больше не хочу и требую, чтобы не далее как дня через три-четыре было мое венчание с князем Иваном...

— Так скоро, Наташа? Успеем ли мы подготовиться?

— Какие тут сборы? Венчаться мы будем просто, без пышностей и пиршеств. Ведь так, Иванушка?

— Так, так, мой ангел милый.

— Итак, брат, решено: через четыре дня свадьба. Вас, господа, я не приглашаю, да вы и побоитесь быть на нашей свадьбе. Прощайте, — холодно сказала Трубецкому и Левенвольду графиня Наталья и, крепко обняв своего жениха, быстро пошла из сада.

Соглядатаи сконфуженно молчали.

— Ну-с, господа, теперь вы можете свободно арестовать меня... графиня ушла. Ведь вы за тем и пришли, чтобы взять меня? Ведь так? — насмешливо спросил у них князь Иван.

— Нет, на то еще нет предписания, — резко ответил ему Левенвольд.

— Так зачем же вы пришли сюда?

— А мне хотелось уличить тебя в дерзком непослушании, вот я и позвал сюда свидетелем графа Левенвольда, — ответил ему князь Никита Юрьевич.

— Да, да, именно за тем я и пришел. И делать нам тут нечего, пойдем, князь Никита Юрьевич, — проговорил Левенвольд и, взяв под руку Трубецкого, пошел с ним из сада.

Граф Петр Борисович, не сказав более ни слова своему будущему шурину, задумчиво опустив голову, тоже пошел из сада.

VI

Как-то императрица Анна Иоанновна вспомнила о Левушке Храпунове, который, опередив верховников, привез ей в Митаву письмо от Ягужинского, и спросила о нем. Государыне ответили, что Храпунов по распоряжению верховников был посажен в острог, но бежал, подкупив сторожа и часовых, и где теперь находится, неизвестно. Тогда государыня спросила графа Ягужинского, как начальника бежавшего Храпунова. Тот также ответил, что участь верного и исполнительного офицера неизвестна ему.

— Жаль! Храпунов достоин нашей награды и нашего расположения. Он — верный и преданный нам слуга. И если он найдется или придет в свой полк, то сейчас же донести об этом мне, — проговорила государыня.

Однако Храпунов «не находился» и в свой полк не приходил; он, опасаясь сильных врагов, скрывался.

У него был родной дядя, отставной секунд-майор Петр Петрович Гвоздин, родной брат его матери, уже старик лет семидесяти, безвыездно проживавший в своей небольшой усадьбе, называвшейся Красная Горка. Эта усадьба находилась верстах в шестидесяти от Москвы и была раскинута на очень живописном месте.

Секунд-майор безвыездно проживал одиноким холостяком в ней и редко заглядывал в Москву. Прежде старик Гвоздин любил Москву, а с тех пор как в ней начали вводиться разные «новшества» и «другие порядки», разлюбил первопрестольную и не стал ездить туда.

— Зачем я поеду туда? В Питере много иноземного, немецкого, а русского мало, так теперь и в Москве то же самое стало. Претит мне все это, никогда я туда не поеду. Хоть и есть у меня там офицер-племянш Левка, знатный парень — он из Питера со двором прибыл, и надо бы мне навестить его, да не поеду, пусть лучше сам ко мне придет, — ответил Гвоздин своему приятелю-соседу, советовавшему ему поехать в Москву и посмотреть «диковинки».

Секунд-майор Гвоздин начал свою службу еще при царе Федоре Алексеевиче, служил не один десяток лет и державному труженику Петру Великому, сражался в рядах

царя Петра со шведами и турками и был ценим императором за храбрость и мужество. Однако с кончиною Великого Петра он оставил службу и поселился безвыездно в своей усадьбе Красная Горка. Вот именно тут-то решил укрыться от злобы своих врагов Храпунов.

Петр Петрович любил Левушку, как сына, и встретил его с распростертыми объятьями. Приехал к нему Левушка не один, а с невестой Марусей и с ее бабушкой. Молодые люди порешили обвенчаться в сельской церкви, которая находилась в усадьбе старого секунд-майора.

Обрадовался Петр Петрович, когда к воротам его усадьбы подъехала тройка коней, запряженных в крытую, вроде кибитки, телегу, и когда из нее вышел его «племянш Левка», но крайне удивился, когда с той же телеги сошли Маруся и старуха Марина.

— Племянш, а это кто же? — удивленно спросил он.

— Моя невеста, дядюшка, а это — ее бабушка.

— Невеста, ты сказал? — еще с большим удивлением переспросил у племянника Петр Петрович.

— Да, дядюшка. Мы задумали обвенчаться в вашей церкви, а потому и нагрянули к вам всем домом. Что, дядя, рад ли гостям?

— Рад, рад. А ты не врешь, Левка?

— Что венчаться к вам приехал? Не вру, спросите хоть у моей невесты.

— А как звать невесту?

— Марусей... Марьей Алексеевной.

— Хороша, зело красовита. Любишь Левку? — с любопытством оглядывая Марусю, спросил ее Гвоздин.

— Люблю, очень люблю, — задушевым голосом ответила девушка.

— Верю. И люби Левку: он стоит твоей любви. А живы ли у тебя отец с матерью?

— Отец жив, а мать умерла.

— Без матери, значит... сиротинка?.. А кто твой отец?

— Не знаю, — тихо ответила девушка, наклонив свою хорошенькую головку.

— Вот славно! Не знаешь своего отца?

— Дядя, я тебе после обо всем расскажу, — вмешался Левушка видя смущение невесты, — теперь же для этого не место и не время. Мы с дороги-то проголодались и хотим есть.

— Ах я, старый ротозей, вздумал соловья баснями кормить. Эй, Петрунька, Ванька, скорее накрывайте стол, вкусный обед готовьте. Надо дорогих гостей на славу уго-

стить, — громко крикнул Гвоздин своим слугам и сам за-
суетился и забегал из кухни в столовую и обратно.

Добряк Гвоздин скоро сошелся со своей сватьей нареченной, старухой Мариной, а на Марусю смотрел как на близкую свою родственницу.

Левушка без всякой утайки рассказал дяде о том, кто именно Маруся, чья она дочь и как он познакомился с нею.

— Вот оно что!.. Маруся-то, выходит, — дочка сиятельного князя Алексея Григорьевича Долгорукова, и ты, Левка, будешь его зятем. Ведь так? — выслушав рассказ Храпунова, спросил секунд-майор.

— Дядя, ты, ради Бога, не говори Марусе, что ее отец — Алексей Долгоруков. ведь она ничего не знает про это. Я и сам про то узнал только недавно, от ее бабки.

— Не бойся, не скажу! Когда же свадьба-то?

— Надо торопиться... не далее как через неделю.

— Что же, к тому времени успеем все сделать, приготовить к свадьбе.

— Только пожалуйста, дядя, чтобы никто не знал про мою свадьбу. Проведают недруги, тогда ей не бывать.

— А, видно, у тебя немало недругов?

— Ох, много, — быстро ответил Левушка. — А знаешь, дядя, почему? Да только потому, что я состою в дружбе с князем Иваном Долгоруковым. Когда жив был император, князь Иван у него в большом фаворе состоял, а теперь Долгоруковы в опале, и, может, скоро и в ссылке будут.

— Понимаю. Тебе, значит, в чужом пиру похмелье принимать придется?

— Вот именно. Ну, да, Бог даст, я улучу время и подам государыне-царице просьбу, защиты от моих врагов у нее стану просить и милости. Ей ведома моя служба усердная.

— Дай Бог! Только ведь правду-матку теперь не скоро на земле найдешь! Правда, слышь, к Господу Богу на небо улетела, а кривда-лиходеи разгуливает по сырой земле. Ну да ничего, авось найдем мы эту правду! Если надо будет, я за тебя заступлюсь и в обиду тебя не дам. Достану из сундука свой кафтан военный — в том кафтане я под Полтавой воевал и в нем же под Азов ходил — и явлюсь теперь к царице-матушке просить тебе ее заступы.

И вот в усадьбе Гвоздина начались спешные приготовления к свадьбе.

Жених и невеста были счастливы и с нетерпением ждали того вожделенного дня, когда на них наденут венцы.

Старый секунд-майор тоже был счастлив счастьем своего племянника, которого он любил как сына. С тех пор как в его укомном домике поселились эти молодые люди, в ней не переставали царить веселье и радость.

— Слушай, Левка, как ты хочешь, а я на твою свадьбу позову своих старых приятелей-соседей. У меня их немного, всего трое! — однажды сказал Петр Петрович. — Ну и попляшу же я с ними!.. уж так попляшу, что ведьмы завоют с моего пляса. Ведь можно, племяш, приятелей позвать? Или, может, это тебе не по нраву будет?

— Полно, дядя! Мне все то любо, что тебе по душе!

— Хороший ты парень, Левка, больно хороший! А я-то, признаюсь, думал, что ты в Питере-то избалуешься, онемечишься и меня, старика-бедняка, за родню считать не станешь, словом, переменишься. Теперь, братец, такое время — все на новый лад, все по-иноземному. А ты, Левка, как был русак, таким и остался.

— Таким и умру, дядя.

— Молодец, право слово, молодчина! Ты и невесту себе такую же подобрал, добрую да хорошую... и красоты, Левка, она у тебя непомерной. Где ты такую отыскал, а?

— В Москве, дядюшка, в Москве.

— Неужели в Москве не перевелись красотки? Эх, Левка, не задорь меня, а то я как раз в Москву соберусь и оттуда тебе тетку молодую привезу, — шутил секунд-майор с племянником, не сознавая и не предчувствуя того, что над Левушкой собирается грозная, громовая туча.

Действительно, дня два спустя после того, как в майорской усадьбе поселился Храпунов с невестой и ее бабкой, в селение Красная Горка пришел какой-то средних лет странник с котомкой за плечами и с суковатою палкой в руках и попросился в крайней избе селенья у мужика Вавилы переночевать.

Мужик Вавила был добрый, податливый; он пустил «Божьего странничка», стал угощать и спрашивать его о странствиях по белу свету.

«Станный человек», подкрепив свои силы сытою пищею, стал охотно рассказывать о своих странствиях в Иерусалим, в Киев и на море, к Соловецким чудотворцам. Много различных чудес и диковинок рассказал он Вавиле и своими рассказами умилил его и до слез довел. После того он стал сам расспрашивать Вавилу о том, как живет секунд-майор Гвоздин, добр ли, податлив ли он до своих крестьян.

— Наш господин такой, каких и на свете мало, живем мы у него ровно детки под крылышком родимой матки, ни словом, ни делом никакой обиды от него не видим, — восторженно воскликнул Вавила. — Случись какая нужда, к господину идем просить помощи, не боясь отказа, и все денно и ночно молим за него Бога.

— С кем же живет он? Есть у него жена, детки?

— Нет, наш Петр Петрович холост.

— Неужели так и живет один?

— Прежде так и жил один, со своими холопами, а теперь гость у него есть — сказывают, племянником приходится нашему барину. И невесту, вишь, свою он привез, и невестину бабу, и говорят, скоро свадьба будет.

— Так, так. А племянник-то военный будет или простой?

— Вот уж, милый человек, чего не знаю, того не знаю, и врат не хочу... потому, барский племянник сиднем сидит дома и никуда не показывается.

— А почему он не показывается? Про то ты не слышал?

— Не слышал, а только болтают, будто барский племянник-то — беглый, — таинственно промолвил Вавила.

— Так, так. Ну, больше мне ничего и не надо. Про что надо узнать, я узнал, — как бы сам себе проговорил «странный человек» и отправился спать на сеновал.

На следующее утро Вавила пошел на сеновал проведать гостя, а того и след простыл.

— Вот чудно! Как это странничек-то не простившись ушел? Видно, торопился. А все же надо бы ему было со мной проститься. Я деньжонок малую толику дал бы ему на дорогу, — вслух проговорил Вавила.

Между тем наступил день свадьбы Храпунова с Марусей. Венчание происходило в сельской церкви без всяких пышностей. Гостей и поезжан не было. В церкви находились только секунд-майор Гвоздин и трое его близких приятелей и соседей.

Венчание окончилось. Старичок-священник поздравил молодых и пожелал им долгой счастливой жизни.

В домике Петра Петровича по случаю радостного дня была пирушка; старик секунд-майор сдержал свое слово и так усердно отплясывал на свадьбе племянша, что на другой день едва мог ступить на ноги.

Едва прошло два дня после венчания Храпунова и Маруси, как их супружеское счастье было нарушено, разбито. Секунд-майор под вечер сидел на скамейке около ворот

своей усадьбы и, покуривая трубку, смотрел на дорогу. Вдруг он увидел, что по дороге к его усадьбе быстро едут две телеги, запряженные каждая двумя конями.

«Неужели гости на свадьбу к племяншу так опоздали, сердечные?» — подумал он, стараясь разглядеть ехавших.

Как ни стары и ни слабы были его глаза, но он все же разглядел гостей незваных-непрощенных и даже в лице переменился, когда около его ворот остановились две телеги; с первой быстро слез пожилой офицер с мрачным взглядом, а со второй — шестеро солдат с ружьями.

— Эта усадьба прозывается Красная Горка? — быстро спросил офицер у Петра Петровича.

— Так, государь мой, — ответил ему тот.

— А где владелец усадьбы?

— Я владелец. Что надо, господин офицер?

Офицер достал из дорожной сумки какую-то сложенную бумагу и спросил, обращаясь к Петру Петровичу:

— Ты будешь секунд-майор в отставке Петр Гвоздин?

— Так, господин офицер! А что тебе надо?

— А вот сейчас узнаешь. Веди меня в дом, там и скажу, — грубо ответил приехавший офицер и, оставив у ворот на страже двух солдат, с остальными в сопровождении Петра Петровича вошел к нему в дом.

Здесь был произведен строгий обыск, но, не найдя ничего подозрительного, офицер сказал:

— Ты, майор, укрываешь в своем доме племянника, офицера Леонтия Храпунова, которого обвиняют в важном преступлении.

— Моего племянника обвиняют в преступлении? — побледнев, воскликнул старик Гвоздин.

— Да, и я прислан сюда затем, чтобы, взяв его под стражу, доставить на суд в Москву. Сказывай, где он?

— Да за что же, за что? — со стоном вырвалось из груди у бедного Петра Петровича.

— Мне не указано говорить, за что, а приказано взять твоего племянника и в кандалах свезти в Москву.

— В кандалах? Неужели его проступок так велик?

— Да, не мал. Ну, показывай, господин майор, где твой племянник. Мне недосуг с тобою разговаривать.

— Ведь он только что женился. Не прошло и двух дней, как его обвенчали.

— Мне до этого нет дела! Лучше говори скорей, где твой племянник, иначе я прикажу опять начать обыск!

— Его нет дома. Он гуляет с молодой женой... в лесу, неподалеку от моей усадьбы.

— Ладно, посмотрим. Эй, команда, за мною, в лес! — крикнул офицер солдатам и направился с ними в лес, находившийся не больше как в версте от усадьбы.

Петр Петрович сказал правду: его племянник находился в лесу с красавицей-женой. Оба они весело разговаривали и смеялись, прохаживаясь по густому лесу, не подозревая, что над ними нависла грозная туча.

В лесу было тихо, хорошо, привольно. Но вдруг эта тишина прервалась и до ушей счастливых молодых донеслись сдержанный говор и быстрые шаги.

— Я слышу голоса, к нам идут, — прислушиваясь, с тревогою проговорила Маруся.

— И то. Кто бы это был? Маруся, да ты в лице переменилась. Ты испугалась, милая? — ласково спросил Храпунов. — Но чего, чего, моя голубка?

— Сама не знаю. Только вдруг так грустно. Ох, Левушка, не перед добром это.

Едва только молодая женщина проговорила эти слова, как по дороге им навстречу показались солдаты и офицер.

— Солдаты... Видно, за мной! — крикнул Храпунов.

Эти слова как-то невольно вырвались у него из груди.

— Отгадал... мы за тобою, — грубо проговорил офицер, поравнявшись с Храпуновым, и, показывая на него солдатам, добавил: — Окружите его и ведите!

— Куда? — бледнея, спросил у него бедняга.

— Пока к твоему дяде, в усадьбу, а оттуда повезем тебя в Москву.

— В Москву? Нет, нет. Я не отдам вам Левушки, не отдам! Он мой! — с горьким плачем проговорила бедная Маруся, крепко обнимая мужа.

— И не отдала бы ты, барынька, а мы возьмем, и тебе с муженьком расстаться придется, — проговорил офицер.

— Никогда, никогда! Куда Левушка, туда и я.

— Ведь его в острог указано доставить.

— В острог? За что же? — воскликнул Храпунов.

— Про то тебе скажут. Да ты и сам, чай, знаешь, за что тебя сажают. Ну, растабарывать нечего, пойдем!

Злополучного Левушку привели обратно в усадьбу к дяде под конвоем солдат.

С помертвевшим лицом, едва передвигая ноги, шла за ним Маруся. Ее горе было страшно, безысходно. Она теперь не плакала; слезы не облегчали ее намученной души.

Офицер, присланный арестовать Храпунова, не дал ему и часа пробыть в усадьбе у дяди.

— Скорее, скорее, мне недосуг прохлаждаться с тобой! — кричал он на бедного Левушку, торопя его.

— Господин офицер, молви мне, есть у тебя сердце или нет? — сурово посматривая на нежеланного гостя, спросил у него старик Петр Петрович.

— Знамо, есть! Неужели, господин майор, ты думаешь, что без сердца может жить на свете человек?

— А вот ты живешь на белом свете без сердца, — желчно заметил ему Петр Петрович. Он сердечно простился с племянником, крепко обнял его и несколько раз принимался крестить и благословлять его. — Поезжай, племяш... уповай непрестанно на милость и правосудие Божие! Господь не попустит погибнуть неповинному, и чистого не скоро загрязнишь.

— Дядя, родной, не покинь Марусю, не оставь ее в несчастьи и горе. Прошу о том усердно, — дрогнувшим голосом, со слезами воскликнул Храпунов.

— О чем, племяш, просишь? Маруся мне теперь не чужая, а дочка, Богом данная... вместо отца был ей и во время свадьбы, и теперь таким же буду.

Марусю с большим трудом оторвали от мужа и, как мертвую, в беспамятстве понесли в ее горницу.

Вся майорская дворня вышла проводить молодого боярича. Левушка, несмотря на свое краткое пребывание в усадьбе дяди, сумел снискать между дворовыми любовь и преданность себе, а потому, когда его заковали в цепи и посадили с солдатами в телегу, слышался громкий плач с причитаниями дворовых баб.

Телеги с офицером, Храпуновым и солдатами съехали со двора и скрылись из глаз, а старый майор все продолжал стоять на крыльце; он так ослабел от горя, что не мог стоять без посторонней помощи: его поддерживали под руки двое здоровых парней.

— Батюшка-барин, не изволишь ли в горницу идти? Да прилег бы, твоя милость, отдохнуть, — соболезнуя горю своего старого господина, сказал ему один из парней.

— А племяша увезли? — тихо спросил Петр Петрович у дворового.

— Увезли, батюшка-барин, — со вздохом ответил тот.

— Увезли, увезли. Разлучили! Звери, а не люди. Проклятья вы достойны. Я сам поеду в Москву, паду к ногам матушки-царицы и буду слезно просить у нее милости и правды! Да, да... Я завтра же поеду. О, Господи, какое горе... какая беда! — крикливым голосом проговорил секунд-майор. — А что племянушка, сердечная моя?

— Все без памяти лежит, ровно мертвая!

— Сразу двоих погубили! Да обрушится кара Господня на ваши головы, погубители! Я завтра же в Москву поеду суда искать и правды! — громко сквозь слезы проговорил Гвоздин и приказал вести себя в горницу.

VII

Храпунова арестовали, во-первых, за то, что он находился в близкой дружбе с опальным князем Иваном Долгоруковым, а во-вторых, за его побег из острога.

Как уже сказано, императрица Анна Иоанновна спрашивала о Храпунове и сожалела, когда ей доложили, что он неизвестно где находится. Когда же князю Алексею Григорьевичу Долгорукову с семьей, а также и князю Ивану указано было немедленно из подмосковной усадьбы Горенки выехать в отдаленные усадьбы, тогда недоброжелатели опальных Долгоруковых принялись за их родичей и за близких к ним людей. Вспомнили и про дружбу князя Ивана с бывшим флигель-адъютантом Храпуновым, и было приказано разыскать и арестовать его, а там, где его найдут, произвести самый строгий и тщательный обыск.

Сыщикам поручили разыскать Храпунова, как «подозреваемого в сообщничестве с Иваном Долгоруковым». Один из сыщиков, узнав, что у Левушки есть дядя, безвыездно живущий в своей усадьбе Красная Горка, под видом странника отправился туда и от мужика Вавилы разузнал всю подноготную. С этими сведениями он поспешил в Москву, и на другой же день за бедным Левушкой был послан офицер с солдатами, чтобы арестовать его.

Храпунов в кандалах, как важный преступник, был привезен в Москву и посажен в каземат острога.

К этому же времени пали и Долгоруковы. Гроза подобралась к ним неожиданно-негаданно. 8 апреля 1730 года появился указ сенату со следующим неопределенным началом: «Известны мы, что в некоторых губерниях губернаторов нет; того ради...» Назначались губернаторами следующие Долгоруковы: князь Василий Лукич — в Сибирь, князь Михаил Владимирович — в Астрахань, а князь Иван Григорьевич — в Вологду воеводою. На другой день появилось два кратких указа. Первым назначался воеводою, даже без указания куда именно, другой брат князя Алексея Григорьевича, князь Александр Григорьевич Долгоруков, причем город для воеводства предоставлялось

определить сенату. Вторым указом ссылались в их дальние деревни отец князя Ивана, Алексей Григорьевич со всеми его детьми, следовательно, и Иван Алексеевич, и дядя его князь Сергей Григорьевич с семьей. В тот же день всех Долгоруковых допрашивали «о завещательном письме Петра II»¹.

Князю Ивану было под страшной угрозой смертной казни предложено объявить самую истинную правду. Иван Долгоруков собственноручно написал, что ни о какой духовной или завещательном письме или проектах его никогда ни от кого не слыхал. Это отрицание было для князя Ивана единственным средством к собственному спасению.

Положение князя Ивана наравне со всеми Долгоруковыми, а также и положение его невесты графини Шереметевой было ужасно тягостно со дня смерти императора-отрока Петра II. О своем положении и о состоянии своего духа Наталья Борисовна сама сообщила в своих записках следующее:

«А между тем всякие вести ко мне в уши приходят. Иной скажет — в ссылку сошлют, иной скажет — чины и кавалерии отберут. Подумайте, каково мне тогда было, будучи в шестнадцать лет? Не от кого руку помощи иметь и не с кем о себе посоветоваться; а надобно и долг и честь сохранить, и верности не уничтожить. Великая любовь к нему, князю Ивану, весь страх изгонит из сердца, а иногда нежность воспитания и природа в такую горесть приведут, что все члены онемеют от такой тоски. Куда какое злое время! Мне кажется, при антихристе не тошнее того будет. Кажется, в те дни и солнце не светило; только и отрады мне было, когда его, князя Ивана, вижу. Поплачем вместе и так домой поедем. Куда уже все веселья пошли! Ниже схода было, что это жених к невесте ездит».

Большую частью свидания князя Ивана с невестой происходили тайком; мы уже знаем, что его подстерегли и накрыли граф Левенвольд и князь Никита Трубецкой.

Это сильно повлияло на процесс князя Ивана далеко не в его пользу; его чуть не обвинили ослушников воли императрицы.

Наталья Борисовна торопилась со свадьбой.

«Сам Бог выдал меня замуж, больше никто», — трогательно замечает она в своих записках.

Братья и все родные отговаривали ее от вступления в брак с опальным и судимым князем Иваном, которому

¹ «Древняя и новая Россия». 1879 г. Т. I.

предстояла, как и другим Долгоруковым, тяжелая ссылка, а может быть, лишение чинов, орденов и достоинства. Но Наталья Борисовна, горячо любившая своего жениха, ни на что не посмотрела и назначила день своей свадьбы.

Свадьба должна была происходить в подмосковной усадьбе Долгоруковых Горенки. Дня за два до своего венчания туда к жениху приехала графиня Наталья Борисовна. Ее никто не провожал, никто из родных или близких не снаряжал под честной венец. Только старушка-мамка Пелагеюшка приехала к ней в Горенки, не желая расстаться со своей выходящей.

Граф Петр Борисович, старший брат Натальи Борисовны, в то время опасно захворал оспой, а потому и не мог быть на свадьбе сестры. Младший же, Сергей, боялся ехать, чтобы не навлечь на себя нерасположения государыни и гнева врагов Ивана Долгорукова.

Накануне своей свадьбы князь Иван Алексеевич обратился к невесте со следующими словами:

— Натальюшка, скажу тебе опять: если тебя пугает судьба со мной, то откажись, пока есть время!

— Да неужели, Ваня, я, не быв твоей женою, успела тебе прискучить? — с милой улыбкой ответила графиня.

— С чего ты взяла, моя голубка? Ведь я потому предлагаю тебе отказаться от меня, что судьба моя неприглядна: нынче я здесь, а завтра ушлют куда-либо подальше.

— Что же, и я с тобой. Куда ты, туда и я.

— Стало быть, тебя не страшит моя судьба?

— Нисколько! С тобой мне везде будет радостно.

— Голубка моя! Беги от меня: тебя я не стою, не стою. Ты честная, святая, а я — преступник.

— Какой ты преступник? Тебя только так называют!

— Нет, нет, я — преступник. Да, да. Я повинюсь во всем перед тобой, обманывать тебя не стану. Виновен я... Враги мои, назвав меня изменником, сказали правду. И знаешь ли, кому я изменил? Тому, кто так любил меня, кто доверял мне и своею царственной рукой расточал мне свои милости. Да, да, я изменил почившему императору-отроку.

— В чем дело? Когда? — с удивлением и тревогою воскликнула графиня Наталья Борисовна.

— Когда государь, мой державный друг, лежал при смерти, я на подложной духовной подписался под руку государя, что будто корона царства российского завещана

им моей сестре Екатерине, — печально ответил князь Иван.

— Иванушка, неужели ты это сделал?

— Да, сделал. Суди меня, Наташа, или беги, беги от меня! Неужели тебе, чистой, святой, быть женой преступника, которого ожидает по меньшей мере дальняя ссылка, а может быть, и казнь?

— Нет, нет!.. я дала тебе слово быть твоей женою и буду ею своего слова назад не возьму. Против своей судьбы я не пойду... что будет, то и будет. С тобой, милый, я на все готова и любить тебя я никогда не перестану.

— Голубка милая! Радость дней моих! За что мне Бог посылает такое счастье? Чем я заслужил твою чистую любовь? Ведь я не стою тебя, не стою.

— Полно, мне надоело слышать все одно и то же. Все говорят мне, что ты не стоишь меня. Видно, ценят меня слишком высоко: такие во мне нашли достоинства, каких у меня и отроду не бывало. И стали говорить только тогда, когда тебя постигла опала. Тут всю вину и все недостатки твои мне расписали. Вот и верь в людские пересуды! Но что стало с подложной духовной?

— Отец хотел было снести ее в верховный совет. Я в ногах у него валялся, просил отдать мне эту записку, но он не слушал меня, его не трогали мои просьбы. Тогда я стал грозиться, что сам пойду и во всем повинюсь перед верховным тайным советом. Отец чуть не проклял меня, но все же мне удалось этой угрозою заставить отца и дядей уничтожить подложное духовное... и царицею мою сестру Екатерину не провозглашать. Никогда я не прощу, Натальюшка, себе вины перед государем-благодетелем! — с глубоким вздохом проговорил князь Иван.

— Ну полно, Иванушка, вспоминать про старое. Что было, то прошло, — желая ободрить жениха, промолвила графиня.

Наконец, состоялась свадьба князя Ивана с графиней Натальей Борисовной. Венчание происходило в сельской церкви при усадьбе Горенки, но было не веселее похорон. Со стороны невесты в церкви, кроме старухи Пелагеюшки, никого не было, да со стороны жениха присутствовали самые близкие родичи. Все боялись и избегали быть на свадьбе опального князя Ивана, между тем как еще недавно, на его обручении, были и государь, и все вельможи, причем многие считали за большую честь и счастье, что получили приглашение.

Прошло три дня после свадьбы. Они промелькнули для молодых Долгоруковых как три минуты. Наконец они стали собираться в Москву с визитом к родственникам.

У подъезда княжеского дома стоял давно готовым парадный экипаж для молодых. Князь Иван, счастливый, радостный, в мундире и со шляпою в руках, поджидал молодую жену, которая еще не окончила своего туалета; около нее суетились несколько дворовых девок. Наконец князю Ивану надоело ждать, и он, подойдя к комнате жены, приотворил немного дверь.

Его красавица-жена стояла перед большим зеркалом и застегивала на шею дорогое ожерелье из крупного жемчуга; на ней было надето пунцовое бархатное платье, покрытое золотыми кружевами. Молодая княгиня была дивно хороша в этом наряде, и князь Иван залюбовался ею.

— Иванушка, грех подсматривать, — увидя в дверях своего мужа и грозя ему маленьким пальчиком, с улыбкой проговорила Наталья Борисовна.

— Я не подсматриваю, Натальюшка, я соскучился по тебе. Да и ехать нам пора.

— Я совсем готова. Хорошо, Иванушка, я нарядилась?

— Хорошо. В этом наряде ты затмишь всех красавиц в мире.

— Уж и в мире! Тоже скажешь!

— А разве я неправду говорю? Вот и матушка тебе то же скажет. Матушка, ведь моя Натальюшка красивее и пригожее всех на свете? Ведь так?

— Так, так, Ванюшка. Бог наградил тебя доброю и красивою женою, — с улыбкой промолвила Прасковья Юрьевна.

— Ну, ну, хорошо! — сказала Наталья Борисовна. — Вег я и готова... Давай руку, Иванушка, и пойдем.

Молодые вышли в переднюю.

Там поджидал их князь Алексей Григорьевич; он стал говорить сыну о том, к кому тот должен вперед ехать с визитом с молодой женой. Вдруг его слова были прерваны стуком колес и лошадиным топотом. Очевидно, на двор кто-то въехал.

— Эй, узнать, кого еще нелегкая принесла! — крикнул лакеям князь Алексей Григорьевич.

Несколько лакеев бросились выполнять приказ своего господина, но их остановил старик дворецкий; он уже шел с докладом о приезде незваного гостя.

Этим гостем был сенатский секретарь, привезший грозный указ, которым князь Алексей Долгоруков ссылался в дальнюю ссылку со всем своим семейством.

— И повелено тебе, князь, и всей твоей семье выехать отсюда не далее как через три дня, — холодно проговорил сенатский секретарь, дочитав указ.

— Куда же меня ссылают? — побледнев, спросил князь Алексей.

— Назначено тебе жить безвыездно до нового указа в твоей пензенской вотчине, в селе Никольском.

— Господи, какая даль! И выезд мне из той вотчины запрещен?

— Да, запрещен.

Весь этот разговор, разумеется, слышали князь Иван и его молодая жена, и он поразил их как громом.

VIII

Нелегко было некогда всесильным, а теперь опальным Долгоруковым расставаться со своею излюбленной усадьбой и ехать в распутицу в дальнюю вотчину. Долгоруковы и их дворовые, не зная хорошо дороги, сбивались, попадали в болота, среди которых иногда приходилось им проводить и ночи под открытым небом в наскоро разбитых палатках.

Что выстрадала и вытерпела новобрачная княгиня Наталья Борисовна, привыкшая к богатству, к изнеженности, а теперь принужденная ходить в мокрых башмаках и мокром платье и спать на сырой постели, и сказать трудно. Невесело, нерадостно проводила она своей медовый месяц.

— Натальюшка, голубушка, неужели ты не клянeshь меня? — спросил у нее однажды упавший духом муж.

— За что? — удивилась она.

— А за ту муку, которую ты терпишь из-за меня? За то страдание, что переносишь, моя голубка незлобивая!

— Ведь и ты терпишь, Иванушка, и ты несешь муку.

— Я достоин того, поделом и наказание мне, а ты...

— С тобой и мука мне всласть. Обо мне ты не заботься, а вот что с тобою происходит, скажи-ка мне? Ведь тебя теперь узнать нельзя: ты побледнел, похудел, видимо, нездоров. Впрочем, и не мудрено: и дорога мучительная, и погода сырая.

— Нет, не от того... не от того. Душа болит, душа терзается. — И на глазах князя Ивана выступили слезы.

— Родной, ты плачешь? Полно!.. Твои слезы тяжелым камнем падают мне на сердце.

— Не за себя скорблю, а за тебя. Себя клянусь, Натальюшка, за прошлое клянусь. Много я грешил, неправдой жил.

— Бог милосерд и прощал более тяжких грешников. Вот ты теперь смирился, познал свои грехи, и Бог простит тебя, — голосом, полным любви и убеждения, проговорила Наталья Борисовна, ласково кладя свою руку на плечо мужа.

— Бог милосерд, знаю. Он простит меня, да люди-то злы, они-то не простят. Знаешь, сдается мне, что и в дальней ссылке враги не оставят меня в покое, их злоба и там найдет меня. Помнишь ли ты день нашего обручения? Как безмерно счастливы были мы тогда оба!.. Нам казалось, что кругом нас царило одно счастье, одна радость. Почивший император-отрок был так ласков, приветлив и милостив ко мне. Повторяю, в то время я был безмерно счастлив, и вдруг словами старой цыганки твое и мое счастье было быстро нарушено. Цыганка предсказала мне смерть страшную, ужасную, ты побледнела и без чувств упала. Думается мне, что те цыганкины слова были вещими.

— Ну что ты! Неужели ты веришь в болтовню цыганки-попрошайки?

— Не я один, а многие считают цыганкины слова вещими. Ну, и то сказать: что будет, то и будет, от своей судьбы не уйти.

— Вот и давно бы так, а то вздумал припоминать болтовню старой бабы.

Немало также выстрадала бывшая невеста императора, злополучная княжна Екатерина. Еще так недавно окруженная пышностью и чуть не царственным величием, привыкшая повелевать, теперь она очутилась в ужасном положении. Но она с твердостью переносила обрушившееся на нее несчастье, желая не казаться страдающей. Она по-прежнему была горда, недоступна, с холодным взглядом, с резкими словами. С родными она обращалась холодно, не требуя ни их сочувствия, ни их ласки. С женой нелюбимого брата Натальей Борисовной она тоже не сходилась и обращалась с нею гордо.

Добрая, незлобивая Наталья Борисовна сочувствовала и жалела свою золовку, некогда обрученную невесту императора-отрока, а теперь ссыльную, опальную, «разрушенную царскую невесту».

— Княжна-сестрица, за что вы сердитесь на меня? — раз в дороге спросила у нее Наталья Борисовна.

— И не думаю, мне не за что сердиться на вас! — холодно ответила ей княжна Екатерина.

— А если не сердитесь, то зачем же вы сторонитесь меня, слово сказать не хотите?

— Не о чем мне с вами говорить.

— Как не о чем, сестрица? Поговорили бы вот о былой жизни, о той поре счастливой, — вызывая на разговор гордую княжну Екатерину, промолвила Наталья Борисовна.

— Я счастлива никогда не была и о том, чего не было, говорить нечего!

— Как не были, сестрица? А тогда, когда вы были обручены невестой государя и окружены царской почестью? Разве и в то время вы не были счастливы?

— Да, не была! — И, не проговорив более ни слова, княжна Екатерина быстро отошла от жены брата.

Что касается князя Алексея Григорьевича, то он с какой-то особой отвагой терпеливо переносил свое положение и опалу. Следование его в ссылку скорее имело вид какой-то перекочевки важного вельможи. Его поезд составляли кареты, колымаги, фуры, повозки, которые растягивались едва не на целую версту во время пути. Тут же вперемежку с экипажами следовали верховые лошади, борзые и гончие собаки; псарей, конюхов, поваров, вообще дворян ехал целый полк. Князь выезжал иногда верхом с сыновьями в сторону от дороги с собаками, выпускал гончих и охотился.

Совершенно случайно поезд Долгоруковых остановился на ночлег невдалеке от усадьбы Красная Горка, принадлежавшей секунд-майору Петру Петровичу Гвоздину.

В это время — уже после нового ареста Храпунова — старик-майор в своей собственной усадьбе очутился в осадном положении. Шайка разбойников, довольно многочисленная, остановилась притоном в густом, непроходимом лесу вблизи от майорской усадьбы. Разбойники грозили майору ограбить его и подпустить в усадьбу «красного петуха», если он по доброй воле не даст им выкупа. У Петра Петровича не было денег, а потому он после долгого размышления решил в случае нападения разбойников биться с ними до последней крайности. Для этого он собрал всех мужиков, роздал ружья, пики, топоры и попросил своих крепостных постоять за него, не страшиться разбойников и храбро отражать их нападения.

И вот как-то в половине апреля, перед вечером в гору к Петру Петровичу впопыхах вбежал дворовый паренёк Никита и дрожащим голосом проговорил:

— Батюшка-барин, беда!

— Что, или разбойники?

— Нет, не разбойники, а какой-то важный-преважный боярин станом стал на нашем поле. Коней и людей с ним и не сочтешь!.. Слышь, шатры раскинули, да шатры все такие нарядные. Все твое поле заставили колымагами да повозками.

— Кто такой? Что за боярин?

— Не знаю. Пытался я спрашивать боярских людишек, да не говорят. Ох, беда!.. — заохал Никита.

— Да откуда ты беду-то видишь, дурья голова?

— Как же не беда-то, батюшка-барин? Ведь все твое поле затоптали.

— Так что же? Посев еще не вышел. Пойти самому узнать, что за боярин на моем поле стал.

Гвоздин, надев шапку, взял в руки трость и отправился в поле, но не узнал его, так как оно все было загромождено каретами, повозками и телегами, а посреди было раскинуто несколько красивых шатров.

Петр Петрович, удивляясь этой картине, направился к одному шатру, который был наряднее других, решив, что это — шатер самого боярина. Однако дворовые едва допустили его.

— Князь готовится опочивать, теперь нельзя его видеть!

— Мне всегда можно. Я не гостить пришел к вашему князю, а спросить, кто ему дозволил на моем поле станом стать, — с раздражением заметил Петр Петрович.

Его слова дошли до ушей князя Алексея; он вышел из шатра и, обращаясь к майору, проговорил:

— Прошу простить меня, сударь мой, я не успел побывать в твоей усадьбе, а за то, что я станом стал на твоём поле и потоптал его, ты будешь щедро награжден.

— Не за наградой я пришел к тебе, господин, а спросить, узнать, что за гостя мне Бог послал.

— Изволь, скажу: князь Алексей Григорьевич Долгоруков для ночлега себе выбрал твое поле.

— Возможно ли? Князь Алексей Григорьевич Долгоруков, важный, богатый...

— Ты хочешь сказать, был таким. Нет, перед тобою не прежний именитый князь, а опальный, ссылаемый в ссылку, — с глубоким вздохом проговорил Долгоруков.

— А князь Иван Алексеевич где?

— Прежде чем ответить тебе на то, я должен узнать, с кем я говорю?

— Прости, князь, забыл сказать тебе о том: я — секунд-майор в отставке Петр сын Петров Гвоздин.

— Давай руку и будем знакомы. Ты про сына моего спросил, про князя Ивана. Разве ты знаешь его?

— Нет, государь, я-то не знаю, а мой племянш Левка Храпунов, слышь, в дружбе состоял с твоим сыном.

— Как, Леонтий Храпунов — тебе племянник? — с удивлением воскликнул князь Алексей.

— Как же, как же, племянником состоит... Ох, лучше бы мне и не вспоминать о нем! Недавно его в кандалах увезли в Москву в острог... от молодой жены оторвали...

— От жены, ты говоришь? Стало быть, он женился?

— Да, князь, женился на Марусе... Марье Алексеевне, но и недели не выжил вместе с любимой молодой женой!

— Господи, какое совпадение, какой случай!.. Но где же жена твоего племянника? — меняясь в лице, дрожащим голосом спросил Алексей Григорьевич.

— Со мною она живет, голубка, все время в горе да слезах проводит.

— С тобою? Веди меня скорее к ней.

— Как, князь, разве ты ее-то знаешь?

— Да, да, пойдем!.. Мне нужно видеть ее... говорить с нею... — в сильном волнении добавил князь Алексей.

— Так милости прошу, князь-государь, в мою усадьбу. Мой домишка отсюда рукой подать.

— Пойдем, только надо это сделать так, чтобы никто не знал, что я пошел в твою усадьбу.

Гвоздин направился в усадьбу; за ним в некотором расстоянии следовал Алексей Долгоруков. Этот опальный вельможа, идя к своей дочери, которую ему хотелось видеть, чтобы поговорить с нею, расспросить о многом, испытывал сильнейшее волнение. В теперешнем своем положении он уже мог сказать Марусе тайну ее рождения, назвать ее своей дочерью и прижать к сердцу. Он сознавал, что это его объяснение с Марусей уже не унижит рода Долгоруковых, так как они и без того уже довольно унижены.

Князь Алексей и майор скоро дошли до усадьбы и застали Марусю с заплаканными глазами, печально сидевшую у окна. Молодая женщина с того дня, когда так неожиданно оторвали у нее любимого мужа и увезли в Москву, не знала себе покоя ни днем, ни ночью. Участь

мужа мучила ее, наводила страшную тоску, близкую к отчаянию. Маруся отказывалась от пищи, от сна и в несколько дней так похудела и переменялась, что ее едва можно было узнать.

— Маруся, глянь-ка, моя сердечная, какого гостя я к тебе привел! — воскликнул Гвоздин.

Маруся встрепелась и подняла взор на вошедших.

— Кто это? — тихо спросила она у старика-майора, показывая глазами на вошедшего князя Долгорукова.

— Князь Алексей Григорьевич Долгоруков изволил к нам пожаловать.

— Как... как ты сказал, дядюшка? — бледнея как смерть воскликнула Маруся.

— Князь Алексей Григорьевич пожаловал. Да чего ты так испугалась? Ведь князь добрый.

— Нет, нет, я не испугалась, я так... Я рада князю.

— Рада? Ну, и в добрый час. Ты поговори пока с гостем дорогим, а я похлопочу об угощении. — И Петр Петрович быстро вышел.

Князь Алексей и Маруся — отец и дочь — остались одни. Он долго молча, с любовью и лаской смотрел на молодую женщину, а она продолжала печально, понуря свою красивую голову, сидеть у окна.

«Господи, не является ли все мое теперешнее униженное положение возмездием мне за нее, за дочь, которую я отверг, не желая признать, что в ее жилах течет моя кровь? Честолюбие и спесь — вот откуда моя пагуба, да и не меня одного, а всей несчастной моей семьи... Что мне делать, как быть? Признать ли Марусю за дочь или... Маруся — моя дочь, но эта тайна известна одному сыну Ивану, ни жена, ни дочери не знают о ней. Так надо ли им знать? — спросил себя князь и тут же ответил: — Нет, не надо, пусть эта тайна сойдет со мною в могилу».

Пока эти мысли бежали в голове опального вельможи, в комнате царила тишина. Наконец ее прервал князь Алексей, обратившись к Марусе:

— Ты скучаешь по мужу?

— Да, князь, больше чем скучаю.

— Ты крепко любишь его?

— Пуще жизни.

— О, как бы я желал, чтобы меня так любили!

— А разве дети не любят вас? — поднимая взор своих красивых, но печальных глаз на Алексея Григорьевича, тихо спросила Маруся.

— Любят, но не так. А ты так же крепко любишь своих отца и мать?

— Их нет у меня! Моя мать давно умерла.

— А отец? — с дрожью в голосе спросил Долгоруков.

— Отца я не знаю.

— Ты и того не знаешь, жив ли он или нет?

— Говорят, что жив.

— Стало быть, ты его никогда не видала и не знаешь, кто он?

— Говорят, он — знатный боярин, богатый.

— Тебя звать Марусей?

— Да. Так же звали и мою покойную мать.

— Скажи, Маруся, ты не сердись на своего отца?

— За что? Я его не знаю. Да и грех на отца сердиться.

— Ты вот говоришь, что твой отец и знатен, и богат, но ведь он всего тебя лишил, даже имени, и ты не сердишься на отца, не клянешь его?

— Да разве клясть отца можно? Что вы говорите, князь!

— Маруся, какая ты добрая, какое у тебя хорошее сердце, чистое, незлобивое! Господи, и я отступился от такой дочери, пренебрег таким сокровищем! — тихо проговорил князь и отвернулся, чтобы обтереть выступившие у него на глазах слезы.

— Князь, послушайте мою просьбу, — с мольбой в голосе проговорила молодая женщина. — Вы, князь, важный вельможа, так верните мне мужа.

— Увы, Маруся, теперь я не важный, а опальный, ссыльный. Твоего мужа я знаю, но ничего не могу теперь сделать для него: он и многие другие страдают невинно потому только, что находились в дружбе с моим сыном Иваном. Ты не отчаивайся, Маруся, твоего мужа вернут, потому что никакой вины за ним нет.

— Где, князь, вернут? Погубят его, погубят! Но если погибнет он, то и я погибну: ведь без него мне нет жизни. Да и для кого мне тогда жить, когда его не станет?

— Ты забыла, что у тебя есть отец.

— Его я не знаю, да и он знать меня не хочет.

— Ты говоришь неправду, Маруся, отец любит тебя.

— Вы, князь, говорите «любит», стало быть, вы знаете моего отца? — быстро спросила Маруся Алексея Григорьевича.

— Да, знаю... — взволнованным голосом ответил ей князь.

— Если знаете, то скажите, кто мой отец, о том прошу усердно, скажите!.. Говорят, он — важный барин...

— Был важным, а теперь ссыльный, опальный.

— Как, Господи? И мой отец в ссылке?

— Да, Маруся! У твоего отца было много врагов, много завистников... Когда был жив покойный император-отрок, тогда твой отец был в большой чести и славе, враги не смели пикнуть пред ним, униженно кланялись ему, за счастье считали единый ласковый взор его. Со смертью Петра Второго померкла звезда счастья твоего отца, лев стал бессилен. Тут встрепенулись враги и стали лягать его... На бессильного обрушились вся их злоба и вражда!

— Бедный отец, как мне его жаль, как жаль!

— Добрая, славная Маруся! Ты жалешь своего отца, который не жалел тебя?

— Да! А все же, князь, вы не сказали, кто мой отец?

— Он... стоит перед тобою, — чуть слышно промолвил Алексей Григорьевич.

— Как? Что вы сказали? — меняясь в лице, воскликнула Маруся. — Вы, вы — мой отец? Дорогой батюшка! — захлебываясь слезами, воскликнула она и бросилась обнимать отца.

— Дочка, милая, сердечная... Так ты простила меня?

Князь сам плакал слезами радости и целовал лицо, голову дочери; он хотел поцеловать ей руки, но Маруся быстро отняла их, проговорив:

— О каком прощении, князь-батюшка, изволишь говорить? Никакой вины твоей предо мною нет, да и быть не может. Послушай, князь-батюшка, что я тебе скажу. С того дня, как солдаты увезли моего Левушку, я не жила на свете, я мучилась, ни днем ни ночью не находя покоя. А теперь, назвав меня своею дочерью, ты подарил меня большим счастьем, хоть и на время, а все же я забыла и страшное горе, и гнетущую тоску. Ведь я отца нашла!

Тут сердечная беседа между отцом и дочерью прервалась: в горницу вошел секунд-майор, а за ним его дворовый нес большой поднос, уставленный закусками и вином.

— Прошу, князь-государь, во здравие испей винца и закуси, чем Бог послал, — кланяясь, проговорил Петр Петрович.

— Напрасно беспокоишь себя, господин майор.

— Дядюшка — большой хлопотун и хлебосол, любит угостить! — с улыбкою проговорила Маруся.

— Что это, племянушка, за чудо? Кажется, ты повеселела? Или дорогой гость тебя чем-либо потешил?

— И то, потешил, дядюшка, да как еще потешил.

— Что, неужели от мужа весточку принес? Проси, Маруся, князя, кланяйся ему! Он добрый, заступится за Левку.

— О том мы и говорили с Марьей Алексеевной.

— Спасибо, князь-государь, за внимание! Будь добр, помоги ей, чем можешь! Да вон, кстати, и у меня до твоей милости просьба. Разбойники меня обидели, житья от них не стало. Невдалеке от моей усадьбы есть лес густой, в нем и свили они себе гнездо, разором разоряют, тащат все, да еще грозятся выжечь.

— Что ж ты воеводе и властям не жаловался?

— Жаловался, да тебе, князь-государь, конечно, известно, что к воеводе или к приказным с «сухой жалобой» не ходят, а мне им дать нечего, потому что все деньжонки, что есть у меня, берегу, на выручку племяша пригодятся. В Москву, слышь, собираюсь ехать, за племяша просить поеду.

— Напрасен труд, господин майор: и большие деньги не помогут. Выручить твоего племянника теперь едва ли можно — выждать время надо. А помочь тебе я помогу и от разбойников тебя освобожу. Дворян у меня большая и оружия всякого вволю; хоть не одна сотня будь злодеев, укротить я сумею. Завтра же я назначу облаву на разбойников, ты сам нас поведешь в лес. — Князь Алексей ласково простился с майором и, обращаясь к Марусе, с волнением проговорил: — И с вами, Марья Алексеевна, надеюсь я снова свидеться, мне надо о многом с вами говорить.

Князь Алексей на следующее утро явился в майорскую усадьбу с отрядом своих дворовых, состоящим из сотни молодцов, хорошо вооруженных. Сам он ехал на прекрасном жеребце впереди своего отряда.

Князя Ивана с ним не было. Хотя он и порывался примкнуть к отряду отца, идущего против разбойников, но молодая княгиня Наталья Борисовна со слезами упросила его остаться с нею и не подвергать свою жизнь опасности.

Гвоздин, прихватив с собою десятка два здоровых мужиков и парней и вооружив их чем попало, присоединился к отряду Долгорукова, и оба отряда направились в лес.

В самой непроходимой чаще этого леса, на небольшой поляне окруженной частыми вековыми соснами, шайка разбойников свила себе гнездо из нескольких землянок и шалашей.

Майор и его крепостные мужики хорошо знали все лесные дороги и тропинки. Они тихо подошли к логовищу и накрыли разбойников врасплох, выстрелами положили на смерть многих разбойников, остальные же, оказав незначительное сопротивление, бросились бежать, но меткие пули догоняли их.

Немало было убито разбойников, немало и взято живыми.

С крепко скрученными руками, под конвоем дворовых Долгоруков отправил разбойников в близлежащий город на суд и расправу, а убитых разбойников приказал зарыть в огромную могилу без церковного погребения.

Таким образом, лес был очищен от разбойников.

Старик майор стал благодарить Алексея Григорьевича.

— Благодарить меня не за что, я сделал то, что сделал бы всякий честный человек на моем месте, а если ты мою услугу считаешь стоящей благодарности, то отблагодари меня вот чем... — И Долгоруков, не договорив, задумчиво наклонил свою голову.

— Чем, князь-государь? — спросил у него Петр Петрович. — Я готов всем, чем пожелает твоя милость, отблагодарить тебя.

— Отпусти погостить ко мне в усадьбу твою племянницу.

— Племянницу погостить? — с удивлением воскликнул старый майор. — Что же, пожалуй. Только поедет ли с тобою, князь, Маруся? Ведь она ждет возвращения мужа. Да и самому мне грустно расстаться с Марусей!.. Привык я к ней и полюбил, как дочь родную. Кроме того, дивлюсь я, что ведь ты, князь-государь, раньше Марусеньку не знал, лишь вчера познакомился, а уже гостить к себе зовешь.

— Придет время, узнаешь все, только слово я тебе даю, что с твоей племянницей худого ничего не будет — я беречь ее стану, как дочь родную. А к себе в усадьбу зову ее еще потому, что там, живя с моими дочерьми и молодой невесткой, она хоть несколько рассеет свое горе. Я и моя семья родными, близкими ей будем. В том готов тебе поклясться, если словам моим не веришь.

— Верю, князь-государь, верю и охотно отпущу с тобой Марусю. Я сейчас пришлю ее к тебе. С ней поговори. Если согласится она с тобой ехать, препятствовать тому не стану. — и Петр Петрович вышел.

«Надо непременно уговорить Марусю ехать со мною. Мне необходимо загладить перед ней свою вину. Живя

здесь, она совсем завянет, в слезах и горе изведется. Одного только боюсь я: как на нее посмотрят моя жена и дочери? Ну, да скрою от них пока, что Маруся мне дочь».

Эти размышления князя были прерваны приходом Маруси.

— Ты звать меня изволил, князь? — тихо спросила она.

— Зачем называешь меня князем? Зови меня отцом!

— Слушаю, батюшка.

— Сегодня мы едем дальше в путь, и нам с тобою надо расстаться.

— Расстаться? Так скоро? — со вздохом промолвила молодая женщина.

— Вижу, дочка, тебе тяжело расстаться со мною? От тебя зависит, Маруся, не расставаться со мною.

— Как?

— Со мной поедем.

— С тобою ехать, князь-батюшка? Возможно ли?

— Возможно, Маруся.

— Нет, князь-батюшка, как станут на меня смотреть твоя жена-княгиня, дочери и сыновья? Ведь ты им не скажешь, что я — твоя дочь?

— До времени не скажу.

— Тогда как же мне с тобою ехать?

— Мой сын, князь Иван, знает, что ты — мне дочь, и с его помощью я все улажу. Только дай мне, Маруся, твое согласие, скажи, что поедешь со мною!

— И поехала бы, князь-батюшка, с радостью поехала бы, да только одно меня останавливает: а вдруг муж вернется?

— Ох, Маруся, не жди! Едва ли он к тебе вернется!

— Так неужели же всю жизнь его держать в остроге будут? — с отчаянием воскликнула молодая женщина.

— Наверно, твоего мужа тоже пошлют в ссылку.

— Что же, и я поеду с ним, хоть на край света!

— Послушай, Маруся, я зову тебя с собою не навсегда, а только погостить. Порадуй старика-отца!.. А если вернется твой муж, то майор скажет ему, где найти тебя.

— Что же, я готова ехать с тобою, князь-батюшка, — несколько подумав, промолвила Маруся.

— Спасибо, спасибо, дочка милая, сердечная моя! — радостным голосом проговорил князь Алексей, обнимая Марусю.

Теперь он был счастлив. На время им были забыты и его опала, и его падение. В нем теперь был виден уже не

честолюбец, не человек, жадно стремящийся к почестям, славе, и, чтобы достичь известного положения, все ставящий на карту, а нежно любящий отец.

Князь Иван одобрил намерение своего отца относительно Маруси и взялся помогать ему. Он рассказал про Марусю своей жене, ничего не утаив от нее. Наталья Борисовна сочувственно отнеслась к положению бедной Маруси, взяла ее под свое покровительство и выдала перед княгиней Прасковьей Юрьевной и перед ее дочерьми за свою дальнюю родственницу, случайно увидавшую ее в майорской усадьбе. Таким образом, Маруся вступила в семью опальных князей Долгоруковых.

IX

Князь Алексей Григорьевич отдал приказ складывать шапты и готовиться в путь.

Расставание Маруси со стариком Петром Петровичем было крайне трогательно; оба горько плакали. Князь Алексей Григорьевич на прощание подарил Гвоздину золотой с крупным бриллиантом перстень в знак своей признательности и глубокого уважения, а затем крепко обнял его.

Поезд опальных Долгоруковых тронулся далее.

Маруся и Наталья Борисовна ехали в одной карете.

— Ты не поверишь, Маруся, как я сердечно полюбила тебя! И знаешь, за что? За то, что моя судьба почти одинакова с твоей. Обе мы недавно вышли замуж по любви, и наши мужья одинаково несчастны; кроме того, ты по мужу приходишься мне сестрой. Хотя я и не знаю твоего мужа, но он мил мне, потому что состоит в дружбе с Иванушкой и за него страдает, — промолвила Наталья Борисовна. — Но по муже ты не убивайся: рано ли, поздно ли он вернется к тебе, его правота всплывет наружу, — за угнетенных и несчастных заступник сам Бог.

— Спасибо на ласковом слове, княгиня! Хоть всего один день прошел, как мы с тобою познакомились, а я привязалась к тебе, как к сестре родной, — промолвила Маруся.

— По мужу ты и действительно моя сестра, и я должна заботиться о тебе: ведь твой муж за моего страдает.

Не так обходилась с Марусей «разрушенная царская невеста», княжна Екатерина Алексеевна. Ни ласковым взглядом, ни приветливым словом не дарила она своей сестры «потаенной». Не раз пробовала Маруся заговаривать

с нею, но гордая, спесивая княжна едва достаивала ее ответом.

Как-то в апрельский теплый день княжне Екатерине наскучило сидеть в карете, и она вышла пройтись, благо дорога шла густым лесом. Погода стояла теплая, деревья и кусты успели уже покрыться молодыми зелеными листочками. Природа после долгой зимней спячки быстро оживала. Но, видимо, княжну Екатерину эта воскресшая природа мало радовала: она шла медленно, опутив свою красивую, гордую головку. Она думала о минувшем величии, о своем женихе, императоре-отроке, которого смерть разлучила с нею навсегда, а также о первом любимом человеке — красивом иностранце, графе Милезимо, которого у нее так безжалостно отняли ради корыстных целей ее отец и родичи. Все это страшно огорчало ее, и она дала волю своим слезам. И тут неожиданно почувствовала на своем плече чью-то ласковую руку и услышала утешающие слова. Это была Маруся, давно шедшая вслед за нею, а теперь, увидев ее слезы, решившая подойти к гордой княжне.

— Не знаю, зачем тебя моя невестушка в ссылку тащит!.. Или она держится пословицы «на людях и смерть красна», своим несчастьем задумала, видно, и с тобою поделиться? Даю совет тебе Маруся, беги, беги от нас, пока есть время, иначе будет поздно.

— Да куда мне бежать, куда идти? Если бы со мною был мой муж, тогда другое дело! — печально промолвила Маруся.

— Не один твой муж, а многие поплатились за то, что дружны были с моим любезным братцем, царским фаворитом. Скажу тебе: хоть он и брат мой кровный, но я ненавижу его — все наше несчастье, вся наша гибель от него. Мой отец и брат Иван задумали подняться высоко, но оба рухнули, а вместе с ними и я, и все мы, весь род наш.

Предчувствие не обмануло бывшую царскую невесту. Едва Долгоруковы отъехали сто верст от Москвы к Коломне, как их нагнал офицер Преображенского полка Воейков и, обращаясь к Алексею Григорьевичу, высокомерно проговорил:

— По высочайшему повелению я должен отобрать у вас, а также и у ваших сыновей, все ордена и знаки отличия.

— А есть у тебя письменное повеление? — глухо спросил князь Алексей.

— Да, вот оно! — и Воейков показал князю бумагу.

— Покоряюсь воле ее величества, моей государыни.

Долгоруковы кое-как добрались до собственной своей деревни которая называлась Селище и находилась в шести верстах от города Касимова, на полудороге от Пензенской усадьбы, где им было велено жить безвыездно. В деревеньке Селище не было усадьбы с барским домом, а потому Долгоруковым пришлось поместиться для отдыха по мужицким избам, молодой же князь Иван со своей женой поместился в простом сарае, который служил складом для сена. Так как стоял май месяц, дни были теплые, ясные, а деревня, окруженная вековым лесом, была расположена очень красиво и живописно, то Долгоруковы решили не спешить с отъездом и отдохнуть здесь как следует.

Князь Иван с молодой женой, а с ними и Маруся целые дни проводили в лесу; туда они брали с собою и обед и возвращались в деревню только ночевать.

Однажды перед вечером князь Иван с женой и Марусей возвращался в деревню, как вдруг сильный топот копыт и многие голоса заставили их остановиться и оглянуться назад. Они увидали, что по дороге к деревне ехало несколько телег, наполненных солдатами.

— Ваня, солдаты! — меняясь в лице, с испугом воскликнула молодая княгиня.

— Это к нам! Господи, видно, новая напасть! — упавшим голосом промолвил князь Иван.

Он не ошибся. Гвардейский офицер Макшеев и с ним двадцать четыре солдата с ружьями, узнав, в какой избе остановились Долгоруковы, молча стали караулом у дверей изб и даже у того сарая, который занимал князь Иван.

Все страшно встревожились.

— Указано вам, князь, и всей вашей семье садиться в кареты и ехать далее, — тоном, не допускающим возражения, промолвил Алексею Григорьевичу Макшеев.

— Как? Ехать в такую пору, ночью?

— Не бойтесь, по дороге никто вас не тронет, потому что вы поедете под охраной, — насмешливо сказал офицер.

— Куда же ты повезешь нас?

— Куда указано! — последовал лаконичный ответ.

— Неужели сказать нельзя?

— Нельзя. Не медли, князь, скорее в путь!

— Нельзя ли подождать до завтра? У меня жена больна. Куда повезем мы ее ночью?..

На самом деле Прасковья Юрьевна, убитая горем, сильно захворала.

— Князь, не по своей я воле это делаю, не заставляй меня принимать крутые меры.

И несчастные князья принуждены были ехать далее.

Опальным Долгоруковым нетрудно было догадаться, что Макшеев со своими солдатами вез их в дальнюю ссылку, но куда — никто из них того не знал. Напрасно спрашивали они солдат, давая им деньги; те охотно принимали деньги, но уклончиво отвечали на вопросы.

— Наташа, ты бы спросила у офицера, может быть, тебе он скажет, куда нас везут, — сказал князь Иван жене, изнывая от незнания участи своей и родичей.

Наталя Борисовна согласилась и, улучив время, обратилась к Макшееву:

— Господин офицер, скажите, ради Бога, куда вам приказано нас доставить?

— К сожалению, княгиня, не могу сказать об этом!

— Почему, почему?

— Я делаю только то, что приказывает мне начальство.

— Но ведь начальства тут нет! И неужели вы считаете за проступок назвать то место, куда вы нас везете?

— Да, княгиня, считаю. Всякое нарушение приказа есть проступок.

Так ничего и не узнала Наталя Борисовна.

Горько и больно было ей, но все же она справилась со своим большим горем: помолилась и решила предаться вполне на волю Божию, жить настоящим, не думая о прошлом, о привольной жизни. Она решила быть поддержкой любимому мужу и нести с ним все несчастья и лишения. Только редко удавалось ей быть наедине со своим мужем, так как солдаты зорко стерегли их.

Отъехав несколько, Макшеев приказал остановиться и, обращаясь к князю Алексею Григорьевичу, проговорил:

— С вами едет слишком много дворовых, вам придется отпустить их. Оставьте себе только десять человек, а остальных сейчас же отпустите.

— Новая беда, новая напасть! Нас семья большая, где же справиться десятерым холопам!

— Еще, князь, вы должны отпустить также ваших приближенных и родичей, едущих в ссылку с вами.

— И с ними мы должны расстаться! Господи, какой это тяжелый удар! — упавшим голосом проговорил Алексей Григорьевич.

Волей-неволей Долгоруковым пришлось отпустить дворовых и оставить себе только десять человек, а также проститься и с теми родичами и близкими им людьми, которые

добровольно ехали с ними в ссылку. Картина расставания была потрясающая, даже суровые, молчаливые солдаты прослезились, увидев, как молодая княгиня Наталья Борисовна расставалась со своими прислужницами, которые, горько плача, целовали руки у доброй госпожи.

— А это кто, князь? — спросил Макшеев у Алексея Григорьевича, показывая на Марусю.

— Это — моя родственница, она добровольно едет с нами.

— Делать это ей не указано, и она должна вернуться обратно в Москву.

— Это невозможно, невозможно!.. Мы все к ней так привыкли, разлука с нею повергнет нас в большую печаль.

— Что делать, князь, но вам придется с нею расстаться. В силу указа я не могу разрешить ей следовать за вами.

Однако князь Алексей был упорен в своих просьбах, и ему удалось разжалобить Макшеева, так что он дал согласие оставить Марусю.

Долгоруковы поехали далее. Скоро им пришлось сухопутную езду сменить на водную, и с этого момента у них уже не было никакого сомнения, что их везут в Сибирь.

Они поехали по Волге на стругах, под конвоем солдат. На другой же день поднялся страшный ветер, нашла черная туча и разразилась гроза. Струги кидало с боку на бок. Все страшно перепугались. Княжна Елена, меньшая дочь Алексея Долгорукова, настолько перепугалась грозы, что билась в истерику, а Наталья Борисовна, бледная, с широко раскрытыми глазами, дрожала всем телом. Маруся и князь Иван старались успокоить ее.

А затем потянулись бесконечные, однообразные дни. Струги, плохо управляемые, плыли медленно, с качкою, которая ужасно беспокоила Долгоруковых. Так добрались они до Соликамска. Тут их пересадили на подводки и повезли далее. Это путешествие было до крайности тяжело. Ссылным пришлось взбираться на высокие горы, по таким узким дорогам, что можно было ехать только гуськом.

Так ехали целыми днями без остановок. Впрочем, и остановиться было негде — кругом глушь. Ехали в открытых телегах и не знали, где укрыться от дождей.

Княгиня Прасковья Юрьевна не вынесла такого ужасного пути. У нее отнялись руки и ноги.

В конце августа Долгоруковы наконец достигли Тобольска. Тут Макшеев сдал их гарнизонному капитану Шарыгину, грубому человеку, без всякого образования. Из Тобольска последний повез Долгоруковых куда-то далее на

плохом, грязном струге, на котором только и можно было возить большую кладь. Везли их в пустынный и ледяной Березов, туда, куда был сослан несколько лет тому назад и Меншиков, этот «полудержавный властелин».

Х

В первое время Левушку Храпунова как будто забыли в его тяжелом заключении — все были заняты князьями Долгоруковыми. Но когда те очутились в ссылке, вспомнили о Храпунове, и его потребовал к себе на допрос грозный начальник тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков.

Не без душевного волнения и страха предстал пред ним Левушка. Ушаков жестом руки приказал конвойным солдатам удалиться, затем долго рылся в каких-то бумагах и читал их; наконец, от кипы бумаг он отделил одну, положил на стол, расправил руками и углубился в чтение. Окончив его, Ушаков быстрым, проницательным взглядом окинул Храпунова, стоявшего перед ним с кандалами на руках и ногах, и медленно проговорил:

— Ведомо тебе, в чем ты обвиняешься?

— Нет, — тихо ответил Храпунов.

— Выходит, ты никакой вины за собой не знаешь?

— Я виновен только в том, что из тюрьмы бежал и у дяди в усадьбе скрывался.

— Твой побег из тюрьмы не поставлен тебе в вину. Тебя упрятали туда верховники своею властью и давно выпустили бы. Но дело не в том. Ты обвиняешься теперь в сообщничестве с Иваном Долгоруковым.

— В каком сообщничестве? Князь Иван оказывал мне свою дружбу, это точно, но ни про какие дела со мной не говорил. Прикажите, поклянусь.

— Ну, брат, ни клятвам, ни божбам я не верю, у меня есть другое средство дознаться правды, то будет много вернее. Отвори двери в соседнюю горницу, не ленись, взгляни, — с какой-то слащавой улыбкой проговорил Ушаков, показывая на обитую железом дверь в другую горницу.

Левушка подошел к двери и, толкнув ее ногой, открыл. Это была пыточная со всеми адскими инструментами и приспособлениями к терзанию живого человека: там были дыба, жаровня, всевозможного рода клещи и кнуты и т.д. Храпунов побледнел при взгляде на это.

— Что, или не понравилось? Да ты все щеголяешь в убранстве? — полунасмешливо, полусерьезно сказал Ушаков, показывая на ручные и ножные кандалы, и, крикнув солдата, приказал снять их с Левушки.

Храпунов был освобожден от цепей.

— Ну, вот, теперь нам с тобой говорить вольготнее будет! — произнес Ушаков, а затем спросил: — Так ты про подложную духовную, которую смастерил твой приятель Иван Долгоруков, ничего не знаешь?

— Ничего, клянусь вам, и под пыткой то же самое скажу, — откровенным голосом проговорил Храпунов.

Ушаков устремил свои холодные, пронизательные глаза на Левушку и долго смотрел на него, как будто желая проникнуть в глубину его души, а затем произнес:

— Зачем пытаться тебя? Зачем ломать молодые кости и рвать молодое тело? Вижу, ты невиновен. О том так и донесу ее императорскому величеству, всемилостивейшей государыне. Гей, уведите его, а цепей не надевать!

Солдаты отвели Храпунова обратно в острог.

Хотя Ушаков и нашел Левушку Храпунова невинным в том преступлении, которое было взведено на него, но все же Левушке пришлось долго бы еще сидеть в остроге, если бы за него не вступился его дядя.

Петр Петрович, отпустив Марусю с князьями Долгоруковыми, заскучал и решился ехать в Москву поразведать про своего племянша. По приезде в Москву он сразу сходил помолиться в часовне Иверской Божией матери о помощи и заступе своему злополучному племяннику. Молитва укрепила и успокоила его.

Петр Петрович в дверях часовни увидал какого-то человека с красным опухшим лицом, одетого в засаленный и рваный камзол, который в то время носили мелкие чиновники или приказные; в руках у него была потертая треуголка, за ухом торчало большое гусиное перо, а на шнурке через плечо болталась медная чернильница. Это был пропившийся и отрешенный приказный Доримедонт Синегубов.

— Господин военный, не потребуется ли тебе какую просьбу составить или какую ни на есть кляузную бумажонку сочинить? — хриплым голосом проговорил он, обращаясь к Гвоздину.

— Пошел! Я кляузными делами и смолоду не занимался, — сердито ответил Петр Петрович.

— А может, просьбу какую настрочу. Я их куда горазд писать... Таковую настрочу, что не токмо судья, а и камень

у меня заплачет... Уж очень я горазд жалостливые да слезливые просьбы составлять.

— Да отстань ты, крапивное семя! Вот пристал!

— А ты не брезгуй мною, пригожусь. Соболаговоли бедному приказному пятак на хлеб насущный, — как-то вдруг, не переводя духа, выпалил Синегубов.

— Не на хлеб, чай, на вино?

— Отродясь хмельного не употребляю.

— По твоим глазам и роже видно, что не употребляешь.

— Напрасно обижаешь, господин военный, бедного человека! — И Синегубов, очевидно, обидевшись, повернул опять к часовне.

— Постой, вернись! — крикнул ему вслед Петр Петрович. — Ты говоришь, что горазд строчить разные просьбы? Так напиши ты мне, да только, как следует... чтобы было с чувством.

— Говорю, у меня камень прослезится!.. Какую и кому? Сказывай! — Радуюсь заработку, Синегубов быстро вынул из кармана свернутую в трубку синюю толстую бумагу, взял перо, как бы приговариваясь писать, и обратился к секунд-майору: — Подставляй спину...

— Что такое? — с удивлением воскликнул тот.

— Подставляй, говорю, свою спину! На ней буду просьбу строчить. За неимением стола можно и на спине писать!

— Ну, брат, это ты оставь, пойдем ко мне на постоянный, там и составим просьбу.

Петр Петрович привел приказного в свою горенку на постоялом дворе и, рассказав ему о беде, случившейся с его племяншем Храпуновым, заказал написать просьбу царице.

Синегубов был на самом деле большой мастер составлять просьбы и разные жалобы; он очень дельно составил просьбу Петру Петровичу на высочайшее имя и, получив за свой труд полтину серебра, в тот же день напился мертвецки пьяным.

Петр Петрович с просьбою отправился в Кремль ко дворцу и стал выжидать удобного времени подать просьбу государыне лично в руки.

У подъезда дворца стояла золотая карета, запряженная в шесть белых коней. Около нее толкались гайдуки и придворные лакеи.

— Сия карета дожидается ее императорского величества? — робко спросил секунд-майор у одного из лакеев.

— Да, — коротко ответил ему лакей.

Петр Петрович подошел к самому подъезду и стал ожидать выхода государыни. Майорский мундир, а также крест и медаль на груди Петра Петровича давали ему доступ и в самый дворец.

Немало пришлось выждать старому майору у подъезда дворца. Но вот широко распахнулись двери и появилась императрица Анна Иоанновна; она стала медленно спускаться с лестницы Красного крыльца.

Государыню сопровождали ее камергер Бирон и граф Левенвольд; оба они пользовались особым расположением и милостью государыни, особенно Бирон, как известно, бывший для нее самым близким человеком.

Петр Петрович опустился на колена, когда приблизилась к нему Анна Иоанновна, и поднял над головою прошение. Государыня окинула майора не совсем ласковым взглядом: она не любила, чтобы ей лично подавали просьбы, и сухо спросила:

— Просьба?

— К твоему императорскому величеству всенижайшая просьба.

— Кто ты?

— Отставной секунд-майор Петр Гвоздин, твой верно-подданный, всемилостивейшая государыня, за офицера Левонтия Храпунова.

— За Храпунова, говоришь? — переспросила государыня. — Фамилия мне знакома. Это не тот ли офицер, что от Ягужинского ко мне в Митаву был прислан?

— Он самый, всемилостивейшая государыня.

— Что же с ним?

— Безвинно в остроге заключен.

— Что это значит! Давай скорее просьбу. Я знаю, Храпунов — мой верный слуга, — поспешно проговорила государыня и, передавая просьбу Бирону, ласково добавила, обращаясь к секунд-майору: — Я нынче же рассмотрю твою просьбу, и, будь уверен, твой племянник вернется к тебе. Ступай и жди!

Царица милостиво протянула майору свою державную руку, и он с благоговением облобызал ее.

Гвоздин счастливым и довольным вернулся в свою горницу на постоялом дворе, надеясь на правду и милость государыни, и надежда не обманула его.

На другой день утром он обнимал Левушку Храпунова, который, по высочайшему приказу, как ни в чем неповинный, был немедленно освобожден из тюрьмы.

Когда первый порыв радости прошел, Левушка, обращаясь к дяде, проговорил:

— А что жена, что Маруся? Я думал, она с тобой в Москву приехала?

— Нет ее со мной, — ответил майор.

— Видно, в твоей усадьбе, дядя, осталась домовничать?

— Ее там нет.

— Как нет! Где же она? Господи, жива ли?

— Успокойся, живехонька, только погостить уехала.

Князь Алексей Григорьевич Долгоруков увез ее в свою пензенскую усадьбу, ведь с нею он давно в знакомстве был. Спасибо ему — он от разбойников меня освободил. Если бы не князь, разбойники давно мою усадьбу выжгли бы, а меня, может быть, убили бы.

— Дядя, я ничего не понимаю: князь Алексей Григорьевич, Маруся, разбойники... Расскажи мне все по порядку.

— Что же, можно, слушай.

И Петр Петрович подробно рассказал племяннику о своей встрече с Долгоруковым, а также о том, как князь был у него в гостях и свиделся с Марусей, как Алексей Григорьевич со своими дворовыми разбил наголову разбойников, которые свили себе гнездо в лесу близ усадьбы. Рассказал он и о том, как князь чуть не со слезами просил отпустить с ним погостить в усадьбу Марусю.

— И Маруся поехала с князем?

— Поехала, с радостью поехала. Сын князя Иван и его жена, да и Наталья Борисовна все звали Марусю.

— Это удивительно, просто удивительно!

— Я сам много дивлюсь, с чего это так вдруг твоя жена по нраву Долгорукову и его семье пришлась. Князь Алексей Григорьевич о чем-то долго вел разговор с Марусей, и после того она стала совсем неузнаваема: куда девались ее грусть, тоска! Она стала такая веселая и в дорогу начала быстро собираться.

— Не понимаю, ничего не понимаю. Ведь слух идет, что Долгоруковых в Сибирь ссылают. Сегодня я об этом во дворце слышал.

— Как, разве ты был во дворце?

— Ее величество государыня соизволила приказать, чтобы я прямо из тюрьмы явился к ней во дворец. Спрашивать меня изволила, за что меня в тюрьму посадили, и про мое знакомство с князем Иваном. Государыня была ко мне так милостива, что соизволила мне на год отпуск дать для поправки здоровья. И я воспользуюсь этим для того, чтобы, нагнав Долгоруковых, вернуть Марусю.

— Не догнать тебе, Лева, ведь прошло немало времени, как они уехали. Маруся сама, может, скоро вернется.

— Нет, дядя, не останавливайте меня, я сам-то страшно измучился, тоскую по жене.

— А если Долгоруковых уже в Сибирь сослали?

— Так что же? Хоть на край света, я всюду последую за Марусей.

Как ни останавливал майор своего племянша, Храпунов остался непреклонен в своем решении. Он стал собираться в дальнюю дорогу и, отдохнув с неделю в усадьбе радушного и доброго дяди, назначил день отъезда.

Расставание его с майором было очень трогательное. Петр Петрович плакал навзрыд, расставаясь с племяншем, плакал и сам Левушка, обнимая дядю.

— Полно, дядя, не горюй, еще свидимся, не навек расстаемся, опять вернусь к тебе, да не один — с Марусей, и заживем по-старому, — успокаивал его Храпунов.

— Нет, нет, с тобой мне больше уже не увидеться, чувствует мое сердце, что мое расставание с тобой будет навсегда. Стар я, скоро умру, — захлебываясь слезами, ответил Петр Петрович. — Но знай: когда меня не станет, усадьба со всеми угодьями — твоя, только дворовых старых моих слуг на волю отпусти да и леса на избы выдай!

— Дядя, ты как будто на самом деле умирать собрался!

— В животе и смерти Бог волен, племянш, а что сказано, то сделано. Прости, храни тебя Господь!

Левушка Храпунов уехал.

XI

Князя Алексея Григорьевича Долгорукова и его семью, а также и Марусю привезли в маленький, захудалый городишко, близкий к месту их ссылки. Едва успев сойти на землю, они совсем неожиданно встретили сына ссыльного князя Александра Даниловича Меншикова и его младшую дочь, красавицу Александру Александровну.

Но, прежде чем продолжать наше повествование об участи второй царской невесты, Екатерины Долгоруковой, вернемся назад и посмотрим, что стало с первой невестой императора-отрока, Марией Меншиковой, и ее отцом, некогда полновластным правителем всего русского царства.

В далекой студеной Сибири, почти среди полного безлюдья, недалеко от реки Сосьвы стоял острог, обнесенный высоким тыном. Это было длинное невысокое здание с

узкими, вверху полукруглыми окнами, разделенное на четыре небольшие комнаты с простыми скамьями вместо мебели.

Это здание служило пристанищем для Александра Даниловича Меншикова, его двух дочерей и сына. В трех горницах жила опальная семья, а в четвертой — немногие слуги, которые в опале не покинули своего господина и последовали за ним в дальний, холодный Березов.

Все жилище Меншикова было занесено снегом; несмотря на страшный мороз, на дворе острога работали два человека, обтесывая бревна: высокий худой старик с длинными седыми волосами, умным лицом и живыми, выразительными глазами и совсем еще молодой человек, мужественный, плечистый, с красивым лицом. На обоих были надеты простые полушубки, на головах бараньи шапки с наушниками, на ногах теплые валенки.

Кто бы узнал в этих двух дровосеках некогда полудержавного властелина, светлейшего князя, герцога Ижорского Александра Даниловича Меншикова и его сына Александра Александровича?

Удивляться надо той перемене, которая произошла с Меншиковым. Гордый, недоступный вельможа, привыкший повелевать, превратился теперь в кроткого, ласкового старика.

Несмотря на морозы, он и его сын проводили целые дни за работой. Александр Данилович спешил построить церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Сруб уже был готов, крыша покрыта, полы настланы. Надо было приступать к внутренней отделке.

— Что, Саша, устал? — ласково спросил Меншиков у сына, оставляя работу.

— Что ты, батюшка! Об устали и речи быть не может! Вот ты, верно, устал, — с улыбкой ответил отцу молодой князь Александр.

— Хотя я и устал, а все же этот труд мне в сладость. О, если бы Господь сподобил меня создать дом на похвалу святого Имени Его! Какую радостью, каким счастьем наполнилась бы душа моя!

— Батюшка, смотрю я на тебя и дивлюсь твоему терпению и смирению.

— Смирил меня Бог и научил терпению. Скажу тебе, что теперь только, в своем несчастье, в своей горе, познал я Бога. В этой глуши, отторгнутой от мира, мне живется легко и хорошо. Былого величия, былой славы как будто не бывало. То был сон. Он прошел и «благо мне, Господи,

яко смирил мя еси», — задумчиво проговорил Александр Данилович. — Пойдем в горницу, сынок, пора!

Оба пошли в теплую горницу. Там их ждал обед, приготовленный руками бывшей царской невесты Марии и ее сестры Александры. Обе они лично занимались хозяйством, помогали убирать горницу и нередко ходили за водой. Обе они покорились своей участи и с примерной твердостью несли посланное им испытание.

Настал вечер, морозный, ледяной. Дневная работа была закончена. Семья опальных Меншиковых собралась в общую горницу, которая была обширнее других и освещалась двумя сальными огарками, воткнутыми в медные шандалы.

Сам Александр Данилович сидел у стола и вслух читал священную книгу в кожаном переплете, с серебряными застежками, немало утешения находя себе в чтении ее.

Дочери и сын со вниманием слушали его. Княжна Мария, бывшая невеста императора-отрока, сидела тоже у стола и чинила белье. Как она переменилась! Куда девались ее нежная белизна лица, легкий румянец на щеках!.. Маленькие белые руки огрубели от работы. Но красивые глаза ее по-прежнему блестели ровным блеском.

Старик Меншиков перестал читать и, поцеловав книгу, закрыл ее.

— Теперь, детки, давайте поговорим. Маша, а ты все скучаешь? — обратился Александр Данилович к дочери. — Взгрустнулось тебе, видно, о прошлом величии?

— Нет, батюшка, не о том я взгрустнулась, а припомнилась мне матушка и ее жаль стало.

— И сам я, детки, не раз вашу мать покойную слезою вспоминаю. Не выдержала кроткая голубка, в дороге умерла. И оплакать мне ее как следует не дали. Вдали от нас похоронена. Пред нею виновен я... перед вами, детки, тоже... Особенно же я виновен, Маша, перед тобой.

— Полно, батюшка, никакой твоей вины нет, ты сам страдаешь с нами, — проговорила княжна, целуя руку отца.

— По моим делам возмездие мне. А вы в чем виновны?

— О нас, отец, не беспокойся: мы молоды, мы сильны, нам легче переносить опалу и несчастье, чем тебе в твои лета. Что касается меня, то я совсем забыл иное и здесь, в ссылке, начинаю жить новой жизнью, — твердым голосом проговорил князь Александр.

— Добрый ты сын, добрый. Ну, а ты что скажешь? На старика-отца не сердись? — полушутливо, полусерьезно обратился старик к младшей дочери Александре.

— И не думаю! Да я, батюшка, и сердиться-то не умею, с вами мне везде хорошо. Мне бывает только больно и горько тогда, когда я вспомню матушку... Вспомню, как хоронили ее... как ты из досок сколотил ей гроб... как нес ее в могилу... как мы прощались с нею...

Так текло время у ссыльных Меншиковых. День они проводили в трудах, а вечер — в чтении и разговоре.

Пристава и стража сперва обращались сурово с опальным вельможей, но мало-помалу их суровость сменилась чуть не дружбой.

Жители Березова уважали Меншикова и рады были, когда он летнею порою приходил к ним на берег реки Сосны и начинал беседовать с ними, рассказывать о великом царе-труженике Петре, своем державном друге, его славных делах и славных победах, о его любви к народу. При этом воспоминании слезы выступали у старого рассказчика, рука как бы невольно поднималась для крестного знамения.

Наконец церковь, на которую немало положил труда князь Меншиков, была сооружена и освящена. Какая неземная радость изобразилась на лице старика Александра Даниловича при взгляде на эту церковь, построенную им!

Тихо текла теперь жизнь опального вельможи. Но вот однажды около острога послышались скрип полозьев, топот и ржание коней. К острогу кто-то подъехал. Заскрипели ворота, слышен был разговор приехавшего с приставом.

— Кто бы это такой был? — проговорил молодой князь, стараясь рассмотреть в окно, но оно все заиндевелось.

— Верно, к приставу кто-нибудь приехал, — заметил Александр Данилович.

Но вот дверь к ним в горницу быстро отворилась, и на пороге показался какой-то человек, закутанный в баранью шубу и шапку. При входе он быстро распоясался, сбросил с себя шубу и шапку и перед пораженными Меншиковыми очутился молодой князь Федор Васильевич Долгоруков.

— Князь Федор Васильевич, вы ли? — радостным голосом воскликнула бывшая царская невеста.

— Я, я, княжна.

— Как вас Бог принес в такую даль?

— Целый год, княжна, в дороге был, не раз хворал, замерзал, снегом заносило, но все преодолел, — и вот я у вас, вижу вас, это — мне награда за труды! — с чувством проговорил князь Федор.

Он говорил правду: труден, продолжителен и тяжел был его путь, но князем руководила пылкая и неизменная лю-

бовь к княжне Марии Меншиковой, и он, преодолев все преграды и препятствия, достиг желанной цели.

— Князь Федор Васильевич, ты к нам как с неба упал. Откуда Бог тебя принес? — спросил Меншиков.

— Прямехонько, князь, из Москвы!

— Ты все еще по старой памяти меня князем величаешь? Увы, князя тут нет, перед тобою стоит дряхлый, немощный, ссыльный старик.

— Для меня вы были князем прежде, таким и теперь остались.

— Князь Федор, я был прежде несправедлив к тебе, теснил тебя, помню, но теперь раскаиваюсь в этом и прошу простить меня.

— Вам ли, князь, у меня прощения просить?

— Я много виноват перед тобою: я разбил твое и дочерино счастье. Я ошибся в тебе, князь Федор Васильевич.

— Кто же теперь мешает вам, князь Александр Данилович, исправить вашу ошибку? — громко проговорил князь Федор, значительно посматривая на старшую дочь Меншикова.

Княжна Мария вспыхнула и опустила свою красивую голову.

— Князь Федор, мы здесь отрезаны от всего, не знаем и не слышим, что делается на Руси святой, как царствует император Петр Второй, счастливо ли его царствование? — не отвечая на вопрос, меняя разговор, спросил у Долгорукова Александр Данилович.

Князь Федор, сколько мог, удовлетворил его любопытству и рассказал ему о событиях, происшедших на Руси. Не умолчал он и о том, как возвеличились его родичи Долгоруковы и стали близко к трону императора-отрока.

— Не ждет ли и их такая же участь, какая меня постигла? — задумчиво произнес Меншиков. — Недаром говорится: «Близ царя — близ смерти». Величию твоих родичей я нисколько не завидую, а жалею их и все зло, какое они мне причинили, давно им простил.

Спустя дня два после неожиданного приезда в Березов князя Федора Долгорукова между ним и княжной Марией в той же горнице происходил такой разговор.

— Знаете ли вы, княжна, зачем я прибыл сюда, преодолев все препятствия, все преграды? Ведь за это я надеялся получить от вас, княжна, награду.

— Какую? Требуйте.

— Не требую, а молю вас, княжна! Я прошу вашей руки.

— Отказа в том вам, князь Федор Васильевич, не должно быть, но только одно скажу, что после того, что вы вытерпели и вынесли, я не считаю себя достойной быть вашей женой. В моих глазах вы высоко стоите; ваше геройское самопожертвование обязывает меня быть не женой вашей, а рабой, — взволнованным голосом проговорила княжна Мария.

— Так вы, княжна, согласны?.. Не отказываете мне?

— Вам отказать?.. Отказаться от счастья? Да разве можно... Я вся ваша безраздельно и навсегда.

— Милая, дорогая моя!..

Через несколько времени в только что построенной трудами князя Меншикова церкви в поздний зимний вечер состоялось венчание князя Федора Васильевича Долгорукова с Марией Александровной Меншиковой. Венчал их старичок-священник при слабом мерцании свечей. Ни поезжан, ни гостей в церкви не было. Там находились только некогда могущественный вельможа, а теперь опальный ссыльный старец Меншиков, его дочь и сын, цветущие здоровьем и красотой. В этот день все семейство опальных Меншиковых посетило необычайное счастье. На время были забыты и гнетущее горе, и тяжелая ссылка.

Новобрачные были безмерно счастливы, да и во всем доме ссыльного вельможи царили общий мир и довольство с того дня, как князь Федор Долгоруков поселился там.

В долгие зимние вечера они предавались разговорам и чтению. Князь Федор рассказывал о событиях, случившихся после падения Меншиковых. Его все со вниманием слушали, и эти беседы заходили далеко за полночь.

Но семейное счастье, царившее между ссыльными Меншиковыми, было непродолжительно. Сам Александр Данилович стал часто прихварывать; его крепкое здоровье было надломлено, расшатано. Тоска и думы о прошлом, суровый климат Сибири, заботы и труды — все это сильно отразилось на его здоровье. Меншиков сознавал свое положение и приготовлялся к смерти, как истинно верующий христианин.

Его семья предавалась горю и печали. Особенно жалела отца и сокрушалась по нем старшая его дочь, бывшая невеста императора-отрока, а теперь жена князя Федора Долгорукова. Она ни днем, ни ночью не отходила от больного отца.

Как-то ночью старику Меншикову было особенно плохо; он не спал, тихие стоны вырывались из его груди.

Около него сидела молодая княгиня Долгорукова, убитая горем; глаза у нее были заплаканы.

— Маша, ты здесь? — открыв глаза, слабым голосом проговорил Александр Данилович.

— Здесь, батюшка.

— Маша, бедная моя... ты целые ночи просиживаешь около меня... без сна, ты сама захвораешь...

— Ничего мне не поделается, батюшка.

— Ступай, поспи хоть немного...

— Скоро брат Александр придет меня сменить.

— Я один побуду, ступай, Маша, спать.

— Право же, батюшка, мне спать не хочется.

— Маша, любишь ты меня, бережешь... и зла не помнишь, что я причинил тебе. Спасибо тебе, дочка милая, сердечная! Много причинил я тебе зла, Маша, много... Из-за меня, из-за моей гордыни ты в Сибири живешь.

— Батюшка, что вспоминать старое? Я теперь счастлива и здесь.

— Тебе бы место не здесь, Маша.

— И здесь живут люди. Ты лучше скажи, батюшка, как себя чувствуешь? — с участием спросила у больного отца молодая княгиня Долгорукова.

— Плохо, дочка. Мне не встать. Я скоро умру, Маша.

— Не говори... не говори, батюшка, этого!

— Послушай, Маша! Только что дрема смежила мне очи, как приснился вещий, правдивый сон. Мне снилась твоя умершая мать, невинная страдальца. Мне казалось, что я вижу ее, как живую. Я нисколько не сробел, увидев ее в могильном саване, со сложенными руками. Она подошла ко мне и говорит: «Данилыч, я пришла за тобою, пойдем». «Куда?» — спрашиваю я у нее. «На небо, к Богу, будет тебе мучиться на земле». Тут я и проснулся...

— И, батюшка, охота верить снам!.. Куда ночь, туда и сон.

— Нет, Маша, неспроста приснилась мне твоя мать. Дни мои сочтены. Но смерти, дочка, я не боюсь, об одном прошу и молю Бога, чтобы он даровал мне христианскую кончину.

— Батюшка, батюшка, на кого ты покидаешь нас! — И Мария Александровна горько заплакала.

— У тебя, Маша, теперь есть муж, он тебя любит, а младшую дочь и сына Александра я препоручаю Богу, под его защиту и охрану. Я так, Маша, думаю: когда меня не станет в живых, государь смилуетсЯ к вам, он знает, что вы ни в чем перед ним неповинны, и освободит вас из

ссылки... даже, может, вернет вас к прежнему величию и славе. А ко мне уже близка смерть. Много обо мне не сокрушайтесь и не плачьте. Пожил я на белом свете, теперь пора костям и на покой.

— Не оставляй, не оставляй нас, батюшка, — горько плакала княгиня Мария. — Если ты умрешь, батюшка, то и я умру... Я не переживу разлуки с тобою.

— Бог с тобою, Маша! Что ты говоришь? У тебя есть муж, ты для него должна жить. Люби мужа... он достоин твоей любви. Немало ты, голубка, перенесла горя и несчастья, немало слез горючих пролила. В муже твоём Бог послал тебе утешение. Живи и будь счастлива!

Старик Меншиков таял, как свеча; теперь уже не было никакой надежды на его выздоровление.

Он расставался с жизнью, как истинный христианин. Старый священник той церкви, которую выстроил Меншиков, приготавливал его к переходу от сей жизни в вечную.

Все жители города Березова перебивали в убогом жилище Меншикова: все они выказывали свое сочувствие угасающему Александру Даниловичу; некоторые горько плакали и целовали его высохшие руки.

Старик Меншиков благословил своего сына Александра и дочерей, а также и князя Федора Долгорукова, просил их поминать его не слезами, а молитвой, и тихо скончался 12 ноября 1729 года. Он, некогда почти полновластный правитель всей русской земли, нашел себе вечное упокоение в пустынной и мерзлой Сибири, на берегу реки Сосьвы, близ алтаря собственноручно построенной им церкви.

Смерть горячо любимого отца тяжело отозвалась на княгине Марии Александровне: последствием были преждевременные роды, и княгиня Мария пережила своего отца только на месяц. Она была похоронена, согласно ее желанию, со своим маленьким ребенком в одной могиле с отцом.

В простом тесовом гробу, в белом подвенечном платье лежала, как живая, несчастная княгиня Мария, бывшая невеста императора-отрока.

Отчаянию князя Федора не было предела. Похоронив молодую жену и ребенка, он навсегда простился со снеговой, негостеприимной Сибирью, с молодым князем Александром Меншиковым и его сестрой Александрой и отправился в Москву, чтобы просить и хлопотать за оставшихся родичей жены.

Долго и утомителен был его путь, и, когда князь вернулся в Москву, немало перемен произошло на Руси: им-

ператор-отрок Петр II почил и престол царей русских занимала Анна Иоанновна, племянница Великого Петра.

Князь Федор стал просить и хлопотать о смягчении участи над невинными Александром Меншиковым и его сестрой. Его хлопоты увенчались успехом: государыня, сознавая невиновность сына и дочери умершего Меншикова, отдала приказ вернуть их из ссылки и возвратить им имущество и титул.

Была ненастная, холодная осень. Дождь немилосердно хлестал в маленькие оконца жилища Меншиковых. Князь Александр сидел у окна и задумчиво смотрел на осеннюю непогодицу, а его сестра Александра, тоже грустная, печальная, сидя у стола, что-то шила.

— Саша, — тихо позвала она брата. — Скучно тебе?

— Да, не весело! Но ведь и ты скучаешь, сестра?

— Отгадал, скучаю, веселиться нам нечему...

— Говорят, заскучаешь перед радостью.

— Откуда, милый братец, приплывет нам радость?

Давным-давно мы от радости отстали. Немного времени прошло, как мы все были вместе, батюшка был жив, сестра Маша, а теперь одни мы остались горе горевать.

— Что делать, сестра, Божья воля!

— А ко мне все пристаёт пристав Шмыгин, — меняя разговор, тихо проговорила княжна, опуская свою красивую головку. — Вишь, по нраву я ему пришлась, просит, чтобы я вышла за него замуж.

— Господи, до чего мы дожили! Какой-то пристав, чуть не солдат смеет предлагать дочери светлейшего князя и герцога руку! Нет, это ему даром не пройдет!.. Я покажу ему, как в родство ко мне лезть, будет он помнить!

— Оставь его, Саша, я ему уже и то довольно резко ответила, сказав, что женой пристава вовсе не желаю быть. Но, к сожалению, он не унимается и нынче утром опять заговорил о женитьбе. Впрочем, чем же он виноват, что я полюбила его? Он смотрит на меня не как на княжескую дочь, а как на дочь ссыльного.

— Оставим, сестра, говорить об этом — мне больно и тяжело слушать, что Шмыгин мечтает быть твоим мужем.

В горнице ссыльных водворилась тишина, прерываемая только страшным воем ветра. Вдруг к воротам жилища кто-то подъехал и раздался стук в них.

На стук вышел солдат и отпер калитку. На двор вошел какой-то человек, промокший и дрожащий от холода. Он направился в сопровождении солдата к крыльцу жилища ссыльных Меншиковых.

— Кто это в такую непогодицу к нам приехал? — с некоторым волнением проговорил молодой князь Меншиков.

— Уж не новая ли беда, Саша? Не новое ли несчастье? — меняясь в лице, испуганно воскликнула княжна Александра.

Тут дверь к ним в горницу вдруг быстро отворилась и на пороге появился приехавший человек, а позади него стояли солдат и пристав Шмыгин.

— Ты ли — сын умершего Меншикова, Александр? — как-то глухо спросил у молодого Меншикова приехавший.

— Да, я, — ответил ему молодой князь.

— А это — твоя сестра? — И, получив утвердительный ответ, приехавший продолжал: — По указу ее императорского величества, всемилостивейшей нашей государыни Анны Иоанновны, ты и сестра твоя помилованы и указано вам из ссылки вернуться в Санкт-Петербург или в какой-либо иной город, который пожелаете. Об этом имеется указ, который дан мною тобольскому воеводе.

— Как? Нас освобождают? Нам можно уехать отсюда!.. Неужели это правда?.. — задышающимся от радости голосом воскликнул Александр Меншиков.

— А неужели врать стану? Выезжайте хоть завтра, подводы для вас готовы.

Само собой разумеется, князь и княжна Меншиковы стали быстро собираться к отъезду и выехали из нелюдимого Березова в сопровождении трех своих верных и старых слуг. Им предстоял путь больше рекою, и тут брат и сестра Меншиковы увидели на пристани привезенных в ссылку опальных князей Долгоруковых. Судьбе угодно было устроить так, что одни опальные — Меншиковы — уезжали из Сибири, в то время как другие следовали туда.

Два раза семьи Меншиковых и Долгоруковых поменялись своим положением в свете: в первый раз князья Долгоруковы сменили князей Меншиковых при дворе императора-отрока и заняли их место. Княжна Екатерина Долгорукова сменила княжну Марью Меншикову, став невестой императора-отрока Петра II, а теперь Долгоруковым пришлось занять то же место в ссылке и испытать то же лишение и горе, какое испытывали Меншиковы.

— Князь Алексей Григорьевич, князь Иван Алексеевич, неужели это вы? — с большим удивлением воскликнул Александр Меншиков, увидев опальных Долгоруковых, окруженных солдатами.

— Мы... мы, князь Александр Александрович... Ты удивляешься превратностям судьбы? — печально промолвил Алексей Долгоруков.

— Признаюсь, я никак не ожидал вас встретить здесь... И княжны с вами?

— Да, вот они... А ты, князь Александр, и сестра твоя как здесь очутились? — спросил Иван Долгоруков.

— Мы теперь помилованы и едем в Петербург.

— Мы сменили вас при дворе покойного императора Петра Второго, а теперь здесь, в ссылке, занимаем опять ваше место, — с горькой улыбкой промолвил князь Иван.

— Превратность судьбы! — вздохнув, заметил его отец.

Меншиковы, встретившись с Долгоруковыми, забыли все то зло, которое сделали им последние, и отложили на несколько часов свой отъезд.

В Березове Долгоруковым назначено было жить в том остроге, в котором прежде находились Меншиковы, и последние отдали всю домашнюю утварь, посуду и вещи, необходимые для жизни в дальней ссылке.

— Князь Александр, ты и сестра твоя — истинные христиане... Вы за зло платите добром, за вражду — великодушием! — дрогнувшим голосом проговорил Алексей Долгоруков, обнимая молодого Меншикова. — А немало зла причинили мы вам! — со вздохом добавил он. — Простите нас!..

— Кто старое помянет, тому глаз вон! — с милой улыбкой проговорила княжна Меншикова.

Она хотела было подарить свою меховую одежду княжне Екатерине, но та горделиво отвергла этот подарок.

— Я не совсем обнищала и одеться мне есть еще во что... Оставьте, княжна, ваше при себе, обносков мне не надо! — холодно промолвила она.

— Княжна, голубушка, подарите шубейку моей родственнице Марусе, меховой одеждой она не богата, — обратилась с просьбой княгиня Наталья Борисовна.

— С удовольствием, княгиня.

Маруся поблагодарила за подарок и, рассказав про свою печальную судьбу, просила княжну, а также и ее брата поразведать про судьбу ее мужа и, если можно, помочь ему в беде. Меншиковы обещали.

Расставание опальных Долгоруковых с Меншиковыми было самое дружеское; они несколько раз принимались обниматься, а затем двинулись в путь через Москву в Пе-

тербург — благодарить за милость государыню Анну Иоанновну.

Долгоруковы, в конце сентября 1730 года прибыв под стражею в ледяной Березов, поселились в опустевшем жилище Меншиковых.

Им было строго запрещено выходить из него (разрешалось ходить только в церковь), запрещено было давать бумаги, чернила, перья; кормовых получали они по рублю в сутки. То же давали и на прожитие их прислуге. Между тем жизненные припасы в Березове были страшно дороги, так что Долгоруковы терпели большую нужду.

Тоскливо и мучительно текла жизнь опальных Долгоруковых в остроге. Княгиня Наталья Борисовна, дочери Алексея Григорьевича и Маруся проводили время в рукодельях, в рисовании и вышивании по разным материям священных изображений и в шитье церковных облачений; в числе икон (счетом 21), оставшихся в Березове после Долгоруковых, находились, между прочим: распятие Господа Иисуса Христа, писанное на лазоревой камке; ангел-хранитель, шитый шелками и золотом по белой коже; знамение Божией Матери, шитое шелками на шелковой материи, с венцами и гривнами, шитыми золотом и серебром пополам с жемчугом, и знамение Божией Матери, шитое золотом и серебром по белому полотну. Сверх того в березовском Воскресенском соборе до сих пор хранятся две парчовые священнические ризы, на оплечьях которых имеется по орденской звезде св. Андрея Первозванного. По свидетельству церковных описей, одна из этих риз шита дочерьми князя Долгорукова, а другая — дочерьми князя Меншикова.

Долгоруковы жили постоянно в ссорах и пререканиях друг с другом. Особенно не ладили князь Иван и его сестра, «разрушенная царская невеста» Екатерина. У них чуть не каждый день происходили крупные ссоры, несмотря на все старания Натальи Борисовны примирить мужа с его сестрой.

Жена Алексея Григорьевича, княгиня Прасковья Юрьевна, не перенесла всех физических и нравственных тревог ссылки и опалы и тихо скончалась в начале ноября 1730 года.

С кончиною старой княгини семейные ссоры опальных Долгоруковых стали все чаще и чаще. Алексей Григорьевич сильно не ладил с сыном Иваном, бывшим царским фаворитом, и постоянно преследовал его упреками в том, что тот будто виновник всех их бед и несчастий.

— Все наше горе и наше несчастье из-за тебя, Иван! — кричал на него Алексей Григорьевич.

— А чем же я-то, батюшка, виновен?

— А почему ты не дал умиравшему государю подписать духовную, почему?

— Да потому, что это — дело бесчестное, недостойное...

— А нас в Сибирь-то сослать, по-твоему, было достойно?

— По нашим делам-то, пожалуй, мы и достойны...

— Вот как, вот как! Ну не враг ты нам после этого, а? Не злодей ты нам? Из-за тебя мать в сырую землю пошла, сестры в ссылке тают, а про себя я и не говорю. Ну, не думал, не гадал, что ты врагом нашим будешь, что через тебя мы ссылку терпеть будем...

— Неизвестно, батюшка, кто из-за кого терпит! Ведь, по правде сказать, и ты, и я — все мы виновны перед покойным государем, моим благодетелем и другом.

Во время взаимных укоров друг друга у Долгоруковых, по историческим данным, вырывались неосторожные выражения об их прежнем величии, проскальзывала весьма понятная ненависть к Анне Иоанновне. В 1731 году, по донесению капитана Шарыгина, возникло дело об этих ссорах, и 9 декабря 1731 года, по выслушании выдержек из этого дела, последовал следующий именной указ: «Сказать Долгоруковым, чтоб они впредь от таких ссор и непристойных слов воздержались и жили мирно под опасением наижесточайшего содержания».

В первое время ссылки князя Ивана Долгорукова мучили угрызения совести — сказывалась его добрая, податливая натура. Часто он, вспоминая императора-отрока, горько плакал.

Однажды, говевя в великий пост и исповедуясь у священника Рождественской церкви, он на духу сказал, что мучиться тем, что подписал духовную под руку государя.

— Где же эта духовная? — спросил у него священник.

— Уничтожена, — ответил князь Иван.

— Молись, Бог простит!

С того дня Иван Алексеевич стал спокойнее.

Самыми драгоценными вещами князь Иван считал два патента, подписанных императором-отроком; первый был дан князю Ивану на звание гоф-юнкера, другой — на обер-камергера. Эти патенты князь берег как святыню и часто любовался на них вместе со своею доброю и кроткою женой. Патенты живо воскрешали перед ним недавнее бле-

стящее прошлое и вызывали слезы при воспоминании о друге-императоре, переносили из острога в роскошные палаты царственного дворца, на придворные торжества, в которых ему приходилось играть первенствующую роль по званию камергера.

— Куда девались величие, слава, могущество? Все миновало, и безвозвратно! — печальным голосом проговорил князь Иван, обращаясь к своей жене Наталье Борисовне.

— Будь терпелив, Иванушка! Воля Божья: Бог дал, Бог и взял.

— Я-то притерпелся, мне что, а вот как ты, голубка? За что ты терпишь? Мне поделом, а ты-то невинная.

— Знаю, Иванушка, ты давно меня в святые записал.

— Ты такая и есть на самом деле.

XII

Маруся свыклась со своим положением и мало-помалу стала привыкать к тяжелой жизни в ссылке.

Князь Алексей Григорьевич при своих семейных и при посторонних обходился с нею как с чужой, но, оставаясь вдвоем, становился в отношениях с ней нежным, любящим отцом. Он искренне привязался к молодой женщине. Не раз, видя на ее лице выражение тоски, вызванной разлукой Маруси с мужем и неведением об участии последнего, князь утешал ее надеждой на то, что Левушку, как ни в чем не повинного, выпустят из тюрьмы, и он несомненно поспешит приехать в Березов за Марусей. Это вливало отраду в душу Маруси, и она на несколько времени забывала тоску, проникаясь радостной надеждой.

Долгоруковы, не ладя между собою, обходились ласково и предусмотрительно с Марусей, и даже всегда гордая, неприступная княжна Екатерина, развенчанная царская невеста, делала я нее некоторое исключение и была приветлива с нею. Что касается юной княжны Натальи Борисовны, то она жила с Марусей, как говорится, душа в душу, деля с нею и свое горе, и свою радость. Впрочем, немного было радостей у Натальи Борисовны. Лишения, семейные ссоры, разные неприятности и работа, подчас черная, наводили на нее тоску, и только нежная любовь мужа заставляла ее забывать все житейские невзгоды.

— Муж для меня — все... Завези меня хоть на край света, мне и там не скучно будет жить, только бы мой Иванушка был со мною, — обычно говорила Наталья Борисовна, когда кто-либо спрашивал у нее, не скучно ли ей жить в ссылке, в безлюдном Березове.

Крепко любя мужа, она была хорошей помощницей всей семье Долгоруковых. Она сама нередко готовила для мужа и для его родных кушанья, шила для них платья и часто мирила Долгоруковых, которые только и знали, что ссорились и враждовали друг с другом. Вообще в этом семействе Наталья Борисовна была добрым гением.

В первое время Долгоруковых не выпускали из острога, но потом им разрешили прогулки, и они стали ходить на охоту, что, конечно, значительно скрашивало их тяжелую жизнь.

Однажды Маруся шла по обрывистому и крутому берегу реки Сосьвы, погруженная в свои тоскливые думы, и вдруг увидела, что по дороге к их острогу кто-то едет в кибитке, запряженной парой сильных лошадей. Телега-кибитка поравнялась с Марусей, и она при взгляде на сидевшего в кибитке радостно вскрикнула:

— Левушка, Левушка!

И действительно, с телеги соскочил Храпунов; он, замирая от счастья и радости, бросился обнимать и целовать свою любимую жену, с которой так давно не видался.

Не малых трудов стоило Левушке доехать от Москвы до Березова; во время дальнего пути ему пришлось вынести массу различных лишений и неудобств вследствие того, что у него было немного денег на дорогу. Но он преодолел все препятствия, перенес все невзгоды.

Когда первый порыв радости миновал, Левушка усадил свою жену в кибитку и вместе с нею поехал к острогу. Дорогой Маруся познакомила мужа со своей жизнью в Березове, с опальными Долгоруковыми.

— Немало дивлюсь я тому, как это ты решилась покинуть моего дядю и ехать в ссылку с Долгоруковыми? — спросил у жены Левушка, и в его словах слышалось неудовольствие.

— Ты сердишься на меня, Левушка?

— Не сержусь, а удивляюсь.

— Ни сердиться, ни удивляться ты, мой милый, не будешь, если узнаешь, почему я сделала это. Правда, я поехала сюда добровольно, но в действительности меня увез...

— Увез, говоришь ты? — вскрикнул Левушка, и в его голосе послышалась нотка ревности. — Кто? Кто? Быть может, князь Иван?

— Полно, Левушка, что ты!.. Какой там князь Иван, раз он женат на любимой и любящей его Наталье Борисовне! Отец увез меня из усадьбы твоего дяди, — тихо проговорила мужу молодая женщина.

— Отец? — с удивлением воскликнул Храпунов. — Какой отец? Чей?

— Как чей? Да конечно мой!.

— Твой отец?.. Маруся, ты смеешься? Разве у тебя есть отец? Кто же он?

— Да сам князь Алексей Григорьевич Долгоруков.

— Князь Алексей Григорьевич — твой отец? — Удивлению Левушки Храпунова не было границ; слова жены просто его поразили. — Маруся... Что же это? Что ты говоришь?

— Правду, милый, говорю.

— Я не понимаю... все это будто во сне... Князь Долгоруков — твой отец.

— Я все расскажу тебе, ты все узнаешь, только потерпи. Но вот мы и приехали. Есть ли у тебя пропуск в острог? Ведь без него не пропустят.

— Есть, вот он.

Ворота острога были закрыты. Маруся постучала. Солдат отпер калитку и, увидев с Марусей незнакомого человека, вызвал пристава Шмыгина. Последний скоро явился и потребовал предъявления пропуска. Левушка предъявил его. Он был выдан от тобольского воеводы на имя «офицера Левонтия Храпунова», которому позволялось «по своей надобности» пребыть у ссыльных Долгоруковых в остроге не более десяти дней. Все было в порядке, и пристав разрешил кибитке въехать в острог.

Во время приезда Храпунова ни Алексея Григорьевича, ни сына его Ивана не было дома; они были в гостях у одного зажиточного березовского жителя, и их изумлению при виде хорошо известного им Храпунова не было конца. Особенно обрадовался ему князь Иван; он бросился обнимать и целовать товарища, говоря:

— Левушка, голубчик, ты ли? Вот не ожидал. Ты к нам просто как с неба свалился! Ну, уважил!.. Хорошо, что приехал, а то Маруся по тебе сохнуть стала. Ох, злодей, увезешь ее ты от нас, увезешь!

— Увезу, князь Иван Алексеевич, увезу.

— Дозволь, господин офицер, и мне называть тебя Левушкой, — крепко пожимая руку Храпунова, проговорил

князь Алексей Григорьевич и шепнул ему: — Ведь я тебе не чужой.

Храпунов ответил на это молчаливым кивком головы и крепким рукопожатием, а потом, отвечая на вопросы князя Ивана, стал подробно рассказывать о происшествии, случившемся с ним, то есть о том, как его вскоре после свадьбы в кандалах увезли в Москву из усадьбы дяди; посадили в тюрьму, угрожали пыткой и как, наконец, по приказу императрицы выпустили.

— Левушка, родной, и все это ты вытерпел из-за меня, всю муку перенес за то только, что мы с тобою в дружбе состоим? Сердечный мой, чем же мне тебя отблагодарить за это? — с жаром проговорил Иван Долгоруков.

— Дружбой своей, князь, ты отблагодарил меня.

— Да ведь эта дружба и довела тебя до несчастья и тюрьмы, сердечный мой.

Долгоруковы приветливо приняли Левушку Храпунова и засыпали его вопросами о питерских и московских новостях, так что Левушка едва успевал отвечать им.

Время проходило незаметно, и десятидневный срок приближался. Левушка Храпунов стал собираться в дорогу; собиралась с ним и Маруся. Приуныли Долгоруковы: им жаль было расставаться не только с Марусей, но и с ее мужем.

За день до отъезда князь Алексей Григорьевич выслал всех из горницы и обратился к Левушке:

— Как ни жаль мне расстаться с тобою, а все же надо. Я уже не говорю о том горе, какое причинит мне отъезд Маруси. Но я покорюсь. Об одном только я жалею, что нечем мне, Левушка, отблагодарить тебя, нечем приданое за дочкой дать. Ведь я всего, всего лишен.

— О том, князь, не беспокойся: приданое мною получено. Его составляет тот ларец с драгоценностями, который отдал князь Иван Марусе. Он спрятан у марусиной бабушки, цыганки Марины.

— Но в том ларце, сколько я помню, было немного драгоценностей.

— С нас слишком достаточно. Счастье, князь, не в богатстве. Я полюбил Марусю, не зная, кто она, не справляясь, богата ли она или бедна.

— Левушка, ты — добрый, благородный человек. Я знаю, что Маруся с тобою будет счастлива, — обнимая Храпунова, промолвил Алексей Григорьевич.

Расставание Маруси и ее мужа с Долгоруковым было самое родственное, нежное. При прощании с дочерью князь

Алексей Григорьевич был сильно взволнован, на глазах у него видны были слезы. Он, не стесняясь присутствием своих семейных, несколько раз принимался обнимать и крестить Марусю, а она, заливаясь слезами, целовала его руки.

— Князь Алексей Григорьевич, успокойтесь, может быть, мы и опять скоро с вами свидимся, — заметя слезы старика Долгорукова, сказал Левушка.

— Нет, нет. Мне уж больше не видаться с вами в этой жизни, — дрогнувшим голосом промолвил князь Алексей.

Предчувствие не обмануло его: спустя года три после отъезда Маруси старый князь умер.

Так же горько плакала княгиня Наталья Борисовна, расставаясь со своей тайной родственницей Марусей.

Невесел был и князь Иван.

— Прощай, Маруся, храни тебя Бог! Левушка, прости, с тобою мы едва ли свидимся. Увидишь моих недругов, скажи им, что я не помню зла и охотно прощаю их. Прощайте, мои милые, сердечные, — И молодой князь Иван попеременно обнимал и целовал Марусю и ее мужа.

Только княжна Екатерина холодно простилась с отъезжавшими, причем не утерпела, чтобы не уколоть отца и брата.

— И откуда вы таких нежностей набрались, что плачете при расставании с людьми, вам совсем чужими? Давно ли вы стали такими добрыми да нежными? — с полупрезрительной улыбкой проговорила она.

Левушка Храпунов пробыл в безлюдном Березове ровно десять суток и простился с ним навсегда. Он уехал в Москву со своей милой Марусей.

В Москве молодые муж и жена пробыли недолго; они лишь посетили старуху Марину, которая все жила в своей хибарке близ Тверской заставы.

Старая цыганка чрезвычайно обрадовалась приезду своей внучки, так как никак не ждала ее. Маруся, уезжая с Долгоруковыми в добровольную ссылку, прислала своей бабушке сказать, что едет далеко-далеко, в ссылку со своим отцом князем Алексеем Григорьевичем. Поплакала старая Марина, погоревала по своей внучке, по ее «судьбине несчастной» и даже отчаялась когда-либо увидаться с Марусей, а она тут как тут!

Отдохнув с дороги у Марины дня три, Левушка с женою стал собираться в усадьбу своего дяди.

— Куда спешите? Или Москва прискучила? Погостите, побудьте со мною! — упрашивала Марина внучку и ее мужа.

— У тебя, бабушка, погостили, теперь надо погостить у дяди, наш приезд обрадует его, — проговорил Храпунов.

— Ведь мы ненадолго, бабушка, едем... скоро опять к тебе вернемся, — успокаивала старуху Маруся.

— А ларец, что у меня спрятан, с собою возьмете? — спросила у Храпунова Марина.

— Пусть у тебя хранится.

— Хоть он и спрятан у меня в подполье, зарыт, а все же я боюсь. Ну, не дай Бог, случится пожар, либо грабители нагрянут? Право, взяли бы его с собою... Мало ли что может случиться!

Но ни Храпунов, ни его молодая жена не решались взять ларец с собою из опасения быть ограбленными в дороге. В ларце было много драгоценностей и золотых монет.

Проводив внучку и ее мужа, Марина решила поглубже зарыть ларец. Для этого она ночью, при слабом свете ночника спустилась в подполье, отрыла ларец, вырыла яму еще глубже, опустила в нее ларец с драгоценностями и закопала снова. Она нарочно выбрала для этой работы ночь, чтобы никто не помешал ей или не увидал. Но старуха ошиблась в расчете — за нею зорко следил сыщик Пимен Терехин.

Это был один из многочисленных агентов начальника тайной канцелярии Андрея Ивановича Ушакова, и ему было поручено следить за действиями и поступками офицера Храпунова. Хотя последний был выпущен из тюрьмы по приказу государыни, но от постоянного надзора не был освобожден. Ушакову было известно, что Левушка ездил в Березов к опальным Долгоруковым и привез оттуда какую-то молодую женщину, которую выдает за свою жену. Однако эта поездка к Долгоруковым показалась начальнику тайной канцелярии очень подозрительной, и он приказал усилить надзор за Храпуновым.

Пимен Терехин узнал, куда поехал Левушка с женою, и стал следить за Мариной, которую считал сообщницей Храпунова, а также и ссыльных князей Долгоруковых. Он стал ходить около хибарки Марины, и ему показалось очень подозрительным, что, несмотря на поздний час, старуха не ложилась и что в хибарке виднеется огонек. Подойдя к оконцу, Терехин увидел,

как Марина взяла скребок, отворила дверцы подполья и стала рыть землю.

«Что это она делает? Уж не деньги ли, старая ведьма, зарывать вздумала?» — подумал сыщик и стал наблюдать.

Он видел, как старая цыганка с трудом подняла из ямы ящик, внутри которого находился ларец с драгоценностями, подаренный Марусе Долгоруковыми, как опять стала рыть и как, вырыв яму поглубже, опустила туда ящик.

«Что это значит? Старуха зарыла с чем-то ящик... Неужели с деньгами? Быть не может... Уж очень он велик... А нет ли здесь каких-нибудь таинственных бумаг, писем?.. Ну, да это я скоро проведу», — решил Терехин и не преминул донести своему начальнику о наблюдении за старухой Мариной и о том, что он видел в хибарке.

— Так ты думаешь, старуха неспроста запрятала в землю ящик? — спросил у него Ушаков.

— Зачем же спроста стала бы она зарывать в землю ящик, ваше превосходительство!..

— А может, она зарыла деньги?

— Быть того не может, ваше превосходительство! Ящик очень велик — в него можно уложить десятки тысяч.

— С чем же, ты думаешь, тот ящик? — спросил Ушаков, заинтересовавшись сообщением Терехина.

Последний пользовался его полным доверием, так как являлся одним из самых деятельных и ловких агентов тогдашнего сыского ведомства, а вместе с тем отличался изумительным хладнокровием и полной безучастностью к чужому горю и мукам, выпадавшим на долю тех, кто в качестве заподозренного имел несчастье попасть в тайную канцелярию и подвергнуться обычным там пыткам.

Теперь на вопрос Ушакова сыщик ответил, что, по его мнению, в ларце цыганки находится непременно что-либо важное, заслуживающее внимания.

— Ну, тогда возьми солдат, вырой ящик и принеси его ко мне, — приказал Ушаков.

— Слушаю, ваше превосходительство! А что прикажете учинить с колдуньей-цыганкой?

— В острог ее. Если в ящике не окажется ничего, что может послужить к обвинению ее, то мы выпустим ее, а если найдется какая-нибудь улика, то учиним допрос с пристрастием. Понял?

— Понял, ваше превосходительство, и все будет выполнено.

Действительно, уже на следующую ночь старуха Марина была разбужена в своей хибарке, в которую вошел Терехин с отрядом военной стражи. Руки Марины сейчас же были крепко скручены, а затем солдаты, по указанию сыщика, отворили дверцу подполья и стали рыть; скоро они дорылись до ящика, в котором находился ларец, и вынули его из подполья.

Старая Марина побледнела как смерть и задыхающимся голосом проговорила:

— Что вы делаете? Ведь вы не разбойники, не грабители? — И показывая на ящик, добавила: — Это не мое, а внучкино.

— Нам все едино, чье бы ни было. Возьмите и бережно несите ящик в канцелярию! — приказал Терехин солдатам.

Марина стала было спорить, но под угрозой должна была замолчать. Ящик с ларцом солдаты унесли, а цыганку увели в острог. Оконца и дверь ее хибарки, по приказу Терехина, заколотили досками.

На следующее утро Пимен Терехин явился перед Ушаковым и доложил ему о выполнении возложенного поручения.

— Где же ларец? — спросил у него начальник тайной канцелярии.

— Вот здесь, ваше превосходительство, — указал Терехин на ящик, стоявший в углу канцелярии.

Ящик и ларец были вскрыты. Последний был наполнен золотыми и серебряными монетами, разными драгоценными вещами, а кроме того, на дне его лежал запечатанный большою печатью с гербом пакет.

— Вот это для нас будет поценнее золота и камней самоцветных, — с торжествующей улыбкой проговорил Ушаков, ударяя рукой по пакету, на котором рукою князя Алексея Григорьевича Долгорукова было написано: «Моей дочери Марии; сей пакет вскрыть после моей смерти». — Ну, мы не будем, князинька, ждать твоей смерти и прочтем сейчас твое послание к дочери, — продолжал Ушаков. — Только вот что чудно: у князя Алексея, я знаю, лишь две дочери — Екатерина да Елена... Откуда же появилась третья, Мария? Ну, это я узнаю, вскрыв пакет и прочтя письмо.

Ушаков разорвал пакет, вынул из него довольно объемистую тетрадку и углубился в чтение ее.

Это была исповедь князя Алексея Григорьевича пред Марусей. Прежде всего, князь Алексей у нее просил про-

щения за то, что «почитал ее не как дочь свою», а как чужую, и доселе не оказывал ей своей «родительской заботы». Далее он рассказывал тайну рождения Маруси, говорил о ее матери, обвинял себя в несправедливости к ней, а в заключение обращался к дочери с такими словами:

«Прости и молись, Маруся, за своего отца, великого грешника... Пред тобою, как перед попом на исповеди, открою я свою душу, свои грехи большие... Во многом и перед многими людьми я виновен, но перед императором Петром Вторым, перед моим благодетелем, виновнее всех... Я и сын Иван алчны к славе, к почестям и стремимся к большему... Не ведаю, удастся ли? Когда ты прочтешь эти строки, усугуби свои молитвы за грешного, умершего отца».

Прочитав это письмо, начальник тайной канцелярии задумался:

«Виновнее всех перед императором Петром Вторым... Я и сын Иван стремимся к большему»... К чему же это «большему» они стремились? Алексей Долгоруков сознается перед какой-то дочерью Марией в своем преступлении против императора, но вины своей и сына Ивана не выставляет. Положим, можно поразведать, что это за вины. Если князь по доброй воле не скажет, можно его и «с пристрастием» допросить. Да торопиться с этим пока еще незачем. Долгоруковы далеко, в ссылке, ну и пусть их там прохлаждаются. С одного вола двух шкур не дерут».

Порешив на этом, Ушаков обратился к Терехину:

— Старую цыганку, что сидит в остроге, прикажи выпустить, потому что никакой вины ее нет, а ларец с золотом и с драгоценными вещами до времени у меня останется, я передам его в руки самой владелице. Понял?

— Так точно, — едва скрывая свое неудовольствие, ответил Терехин: ему очень хотелось запустить свою загребущую лапу в ларец, но, по воле начальства, он принужден был отказаться от этой мысли.

— А у тебя кто наблюдает за Храпуновым?

— Васька Бородач. Он — парень дельный, положиться можно.

— Ну ладно. Ступай. Ты больше мне не нужен.

Приказ Ушакова был выполнен: старую Марину выпустили из острога.

— А где же ларец? — несмело спросила она у Терехина.

— Про то и пикнуть не смей, старая ведьма, не то поколеешь в остроге, — грозно крикнул на цыганку Терехин.

Печально наклонив голову, побрела Марина в свою хибарку, проклиная в душе сыщика Терехина, но там она только переночевала, а на следующее утро Марина, наняв мужика-попутчика до усадьбы Гвоздина, отправилась туда с недоброй весточкой о ларце, который попал в страшную тайную канцелярию и там застрял.

ХІІІ

Неожиданный приезд Марины в усадьбу Красная Горка обрадовал Храпунова и его жену, но затем они встревожились, услышав, что ларец с золотом, на которое они очень рассчитывали, находится в тайной канцелярии и что сама Марина побывала в остроге, откуда ее выпустили, не найдя никакой вины.

— Ты, внучка милая, и ты, Левушка, гнева на меня не кладите. Охраняла я ваше добро, как свой глаз, и не знаю, не ведаю, как это сыщик проведаль, что ларец у меня в земле зарыт, — с глубоким вздохом проговорила Марина, заканчивая свой рассказ.

— Может, подсмотрел как-нибудь, — печально промолвил Левушка, на которого рассказ произвел сильное впечатление.

— Когда князь-батюшка прощался со мною, то сказал, что в том ларце хранится его письмо, которое прочитать я должна после его смерти, — промолвила Маруся.

— Как? Неужели в ларце было письмо? — с испугом воскликнул Храпунов. — Ну, плохо дело, Маруся!

— Да чем же? Неужели тем, что батюшкино письмо прочтет Ушаков?

— Тем и плохо, Маруся. Ведь неизвестно, что в том письме писано князем Долгоруковым?

— Конечно, неизвестно. Батюшка сказал, что я могу только тогда прочитать, когда его в живых не будет.

— Ну вот видишь!.. Наверное, в том письме князь Алексей Григорьевич что-нибудь про себя написал. Если бы в письме не было ничего такого, то Ушаков возвратил бы и письмо, и ларец, а то он оставил и то, и другое.

— И то, Левушка, и то. Господи, опять несчастье, опять мученье! — упавшим голосом проговорила молодая женщина.

Заметив это, Храпунов принялся утешать ее:

— Ну полно, оставь! Что прежде времени горевать? Может, и так обойдется, Ушаков и ларец с деньгами нам отдаст. Наше от нас не уйдет. А если и не отдаст, так пусть его владеет нашим добром, мы же, голубка, и без золота проживем. Дядя нас не оставит, не покинет. Не так ли? — обратился Храпунов к секунд-майору.

— Так, так, племянш... в моей усадьбе ты и жена твоя — полные хозяева. Все, все ваше... мне ничего не надо... ведь на тот свет с собою я ничего не возьму...

Старик Гвоздин действительно души не чаял в своем племяннике и в его молодой жене. Сам он старел, часто стал прихварывать и поторопился составить духовную, по которой все свое имущество отказал Левушке.

— Спасибо, дядя!.. Ты мне что отец родной, — крепко обнимая старика, с чувством промолвил Храпунов.

Однако опасения Левушки и его жены были преждевременны. По поводу ларца с золотом, оставленного в тайной канцелярии, не было никакого известия, и ни Левушку, ни его жену никто не тревожил. Поэтому они мало-помалу стали забывать об угрожавшей им со стороны страшного Ушакова опасности, а также и свое бывшее горе, наслаждаясь счастьем любви.

А между тем на селе Красная Горка у словоохотливого и доброго мужика Вавилы опять появился гость, только на этот раз не «странничек Христов», а калика перехожий — нищий, недужный, больной, чуть не умирающий. Вавила приютил его, дал ему в своей избе уголок. Жена Вавилы была тоже баба сердобольная, радушная; она, находясь в убеждении, что не подать нищему — то же, что Христа обидеть, ухаживала за каликой перехожим и всегда первый кусок уделяла ему.

Этот нищий, по имени Петруша, был смиренный, тихонький. От хворости он скоро поправился и стал понемногу выходить из избы, но далеко идти, по слабости ног, еще не мог. Наконец, чтобы даром не есть хлеба Вавилы, он стал охотно ходить за него на барщину в боярскую усадьбу, помогать убирать и мести майорский сад и двор.

— Да куда тебе, Петруша? Ведь у тебя ноги хилы, да и сам ты весь недужен, — говорил Вавила. — Ну какой ты работник?.. Я сам пойду на барщину, а ты сиди да отдыхай!

— Нет, Вавилушка, не останавливай!.. Ноги у меня хилы, а руки здоровы, да и работать на барщине буду я не ногами, а руками, — возражал ему калика-нищий.

На барском дворе нищий скоро ознакомился со всей дворнею секунд-майора, и благодаря этому ему хорошо было известно, что делается в барском дома и про что говорят «баре», и кто у них бывает. В усадьбе жизнь текла мирно; забыто было бывшее горе, и никаких невзгод не предвиделось.

Часть вторая

I

Прошло несколько лет и в это время немало перемен произошло на Руси.

Императрица Анна Иоанновна в начале своего царствования очень энергично принялась за правление. Она шла по стопам своего державного дяди, великого Петра I, и все, что учредил царь-труженик, старалась по возможности совершенствовать или, по крайней мере, поддерживать.

Из ее распоряжений и нововведений замечательны следующие: во-первых, государственный верховный тайный совет был уничтожен, а вместо этого учрежден кабинет, члены которого назывались кабинет-министрами; во-вторых, государыней отменен неприятный для дворян указ Петра Великого о майорате, то есть о сохранении родового имущества за старшим членом нисходящего потомства, чем, в сущности, обездоливались остальные ближние родственники такого наследника. Этот указ не соответствовал русским обычаям о наследстве и породил целые судебные процессы. Так, родители, желая наделить своих сыновей поровну, отягощали крестьян, чтобы извлечь больше дохода: принужденные, по закону о майорате, передать землю одному сыну, они другому отдавали деньги, скот, хлеб и т.п., а от такого раздела сельское хозяйство приходило в большое расстройство.

Затем была значительно облегчена дворянская, или шляхетская, служба: дворяне служили в войске неопределенное время, и только болезнь или преклонная старость давали им право выходить в отставку; императрица же положила срок службы в двадцать пять лет. Кроме того, была преобразована гвардия — к двум гвардейским полкам

присоединили еще два, да и вообще благодаря энергии и труду фельдмаршала Миниха все войско содержалось в образцовом порядке.

В деле народного образования Анна Иоанновна подтвердила указы Петра I о недорослях из дворян, учредила সুхопутный кадетский корпус в Петербурге, а для лиц, посвятивших себя морскому делу, была основана морская академия. Обращено было внимание на грамотность нижних воинских чинов, для чего при гарнизонных полках были заведены школы для солдатских детей.

Дворяне обязаны были своих сыновей, достигших семилетнего возраста, привозить в столицу к герольдмейстеру в сенате, а в губерниях — к губернатору для отдачи их в учебные заведения. В шестнадцать лет дворяне-подростки обязаны были сами являться в сенат для экзамена из арифметики и геометрии, и тех недорослей, которые не оказывали способности или охоты к военной или морской службе, оставляли при сенате для приготовления к гражданской службе.

Дворянские дети обязаны были являться в сенатскую камеру для обучения математическим наукам, географии и грамматике; если же у какого-нибудь дворянского сына не было никакой охоты к учению, того отдавали в солдаты. Но несмотря на строгие указы о побуждении к образованию, дворяне неохотно отдавали своих детей «в науку», старались всеми силами удержать их у себя дома и кроме церковной грамоты ничему не обучали; нередко в двадцать лет выходили недоросли, едва разбивавшие по складам печатное.

Высшим учебным заведением была петербургская академия, при которой по повелению государыни был заведен «семинарий» для юношей шляхетского (то есть дворянского) происхождения. Тогда российская академия была не только ученое, но и учебное заведение: в ней молодые люди получали литературное или энциклопедическое образование; такое же образование можно было получить и в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, учрежденной при Заиконоспасском монастыре. Об образовании же среднего и низшего сословия вовсе не заботились: невежество, суеверие сильно царили в простом народе, даже купцы-богачи ничему не учили детей.

Несмотря на свои еще не старые годы, императрица позаботилась о наследнике русского престола. Усыновив родную племянницу принцессу Анну Леопольдовну, дочь своей сестры, герцогини Мекленбургской Екатерины Иоанновны, государыня стала подумывать о муже для нее, не-

смотря на крайне юный возраст принцессы. Ее выбор остановился на принце Антоне Ульрихе Брауншвейг-Люнебургском, племяннике римской императрицы, и он был объявлен женихом принцессы.

В конце 1731 года высочайшим указом было повелено приводить народ к клятвенному обещанию — признать законным наследником того, кого назначит императрица. Этим Анна Иоанновна думала совсем отстранить от престолонаследия цесаревну Елизавету дочь великого Петра.

Добрая и кроткая Елизавета Петровна приобрела любовь и доверие народные, а императрица, не любя цесаревну и опасаясь ее прав на престол русский, старалась отдалить ее от трона, хотя цесаревна не подавала никакого повода для вражды к императрице, не вмешиваясь в государственные дела.

Высочайший двор находился в Петербурге, пробыв более двух лет в Москве, причем первым, чуть не полновластным министром у императрицы был друг ее сердца, хитрый, честолюбивый курляндский герцог Бирон.

Да и вообще, в царствование Анны Иоанновны немцы заняли видную роль при дворе и отодвинули на задний план природных русских вельмож; почти все высшие места в государстве были заняты иностранцами: Бирон, Миних, Остерман, Левенвольд — все это люди не русские, не свои, а пришлые. Народ косо поглядывал на них и особенно недолюбливал любимца государыни Бирона. Русскому народу было памятно владычество Меншикова, Долгоруковых, но те хотя были природные русские люди, что несколько и мирило народ с фаворитами, теперешний же временщик был немец, и народное чувство было сильно затронуто.

— Не было печали — черти накачали! И от своих временщиков нам житья не было, а теперь появился новый из неметчины. Вот и пляши под его дудку. Хоть на сердце и кошки скребут, а ты пляши, не то плетей либо чего еще похуже отведаешь. Ох, тяжелое время наступает! Немцы большую силу забрали у нас на Руси! — так говорил народ, недовольный иностранцами, которые окружали трон русской императрицы.

II

В небольшом, уютном домике, находившемся на Невской перспективе, проживал наш старый знакомый Храпунов со своей женой. Он отказался от военной службы и

состоял на гражданской под непосредственным начальством кабинет-министра, вельможи Артемия Петровича Волынского.

Артемий Петрович Волынский родился в 1689 году. Он был потомком прославившегося в Куликовской битве князя Дмитрия Михайловича Волынского-Боброка, сидевшего в засаде и решившего битву в пользу русских. Пятнадцати лет он был отдан на военную службу и во время прутского похода уже пользовался расположением Петра Великого. Вместе с Шафировым он участвовал в мирных переговорах с турками, затем в заключении Адрианопольского мира и был послан в Петербург к царю Петру в качестве курьера. С этих пор он уже выступил как дипломат и обруситель присоединяемых к России инородческих земель. Много способствовало возвышению Волынского то, что он был женат на двоюродной сестре царя Александре Нарышкиной. В конце царствования Петра Великого Волынский получил известность хищного взяточника, и был случай, когда Петр отдул его своей дубинкой. Однако это не мешало ему оставаться администратором и при Петре II: он был назначен губернатором в Казань. Имея сильное покровительство при дворе, Волынский продолжал взяточничествовать, но вместе с тем проявлял великую необузданность нрава и, кроме того, ничем не сдерживаемую резкость в выражениях. Когда происходило избрание на царство Анны Иоанновны и верховники ограничили самодержавие, Волынский с необузданной смелостью выступил против ограничений и резко написал из Казани, что самодержавие не может быть ограничено, так как в этом случае вместо одного царя явятся восемь. Благодаря этому он был вызван императрицей Анной в Петербург и назначен воинским инспектором. Очувтившись вблизи центральной власти, Волынский заискивал, безусловно, перед всеми, и в особенности перед Бироном, который в то время уже стал всемогущим. Вместе с тем, втайне Волынский в то же самое время сошелся довольно тесно с противниками Бирона: Хрущевым и Еропкиным. Благодаря близости к Бирону он получал дипломатические поручения за границей, затем был назначен кабинет-министром, а вместе с тем получил право личного доклада императрице по делам кабинета. Он держал руку Бирона против Остермана, последний же видел в нем соперника и, будучи умнее Волынского, сумел восстановить против него Бирона, указав ему на близость Волынского с Еропкиным и Хрущевым, которые к тому времени были заподозрены в тайном заговоре против герцога. Само собою

разумеется, что Бирон начал стремиться к низвержению опасного врага; однако сделать это было нелегко, так как в лице императрицы Анны Иоанновны Волынский продолжал иметь очень высокую покровительницу. Она пропустила без внимания намеки герцога на будто бы предосудительные действия Артемия Петровича, и он по-прежнему занимал пост кабинет-министра и пользовался большим значением как при дворе, так и в общественной жизни.

Волынский скоро обратил внимание на расторопного и трудолюбивого Храпунова. Вскоре же он дал Левушке несколько важных поручений, и все они самым точным и аккуратным образом были выполнены. Это понравилось Волынскому; он, наградив Храпунова, приблизил его к себе, и вследствие этого положение Левушки было упрощено.

Когда это было достигнуто и супруги пообжились в невестинской столице, они упросили дядю погостить у них.

Долго собирался старик Гвоздин к своему племяннику; его страшил неблизкий путь из усадьбы через Москву, да кроме того, Петр Петрович не любил Петербурга, считая его чуть не немецким городом. Но все же он превозмог в себе отвращение к Питеру и приехал в него исключительно только из любви к своему племяншу. Конечно, его приезд явился целым событием в домике Храпунова.

На другой день Левушка повел дядю смотреть город. Были они в Исаакиевском соборе, полюбовались снаружи и на Зимний дворец, который приказала для себя построить Анна Иоанновна на красивом берегу величественной реки Невы, погуляли и по Невской першпективе. В то время Невский проспект немногим отличался от прочих улиц Петербурга: направо и налево вместе с роскошными палатами вельмож ютились и небольшие домишки, чуть не мазанки или хибарки бедняков. По всему проспекту по обе стороны росли кудрявые липы и тополя.

Храпунов, вернувшись домой, спросил у дяди, нравится ли ему Петербург.

— Чему тут нравиться? Это — не русский город, а неметчина! — насупясь, воскликнул Гвоздин.

— Стало быть, по-твоему, Москва, дядя, лучше?

— Да разве можно Питер сравнивать с Москвой! Москва — православный, русский город, а в вашем Питере русского незаметно: здесь все чужое, все иноземное...

— Да полно, дядя, в Питере русских несравненно более, чем иностранцев.

— Ты лучше, племяш, скажи — полурусских. Вы здесь все онемечились! У вас как самую-то большую улицу называют?

— Невская перспектива.

— Ведь ишь ты: по-нашему, просто улица, а по-вашему — какая-то першпехтива. И на этой вашей першпехтиве всего церковей одна-другая и обчелся, а в Москве хоть и нет таких прямых и длинных улиц, как здесь, зато церкви на каждом шагу. Молись, не ленись.

— Это точно: церковей в Москве много, — согласился с дядей Храпунов. — Но нельзя, дядя, забывать, что Москва — старый город, а Питер только тридцать лет как основан.

— Ну, оставим, племяш, говорить про это. Ты мне лучше скажи, как твой начальник, ладишь ли ты с ним?

— Артемий Петрович Волинский — добрейшей души человек. Он честен, правдив и, несмотря на свой важный чин, прост, доступен. Дай Бог таких министров побольше на Руси! — с увлечением ответил Храпунов.

— Ну, а с немцами он как? Ладит?

— Вот это-то и плохо, дядя, что он не ладит с ними.

— Да ты, никак, племяш, рехнулся! Плохим называешь то, что министр Волинский не ладит с немцами?

— С герцогом Бироном не в ладах он.

— Так что же? Так и надо.

— Нет, дядя, так не надо. Ведь герцог Бирон — сила, большая сила... Ведь он — почти правитель всей Руси.

— Вот то-то и плохо, племяш, больно плохо, что государыня дала власть немцам...

— В этом, дядя, я, пожалуй, согласен с вами: немцы забрали большую силу.

— То-то и есть!.. А кто Бирон? Сын придворного конюшенного... И место ему быть не здесь, в русском замке, а в своей неметчине. Пусть бы сидел там да управлял лошадьми, а то прилез сюда управлять людьми, — резко и громко проговорил Гвоздин.

При последних его словах в горницу тихо вошел дворовый парень Петрушка с хитрым, некрасивым лицом и плутоватыми глазами. Это был крепостной Храпунова, исполнявший у него должность лакея.

— Что тебе? — сурово спросил Храпунов.

— Прикажете, сударь, запрягать коней или подождать? — с поклоном спросил Петрушка у своего барина.

— Скажу, когда нужно будет... Пошел!

— Слушаю-с! — И Петрушка поспешил обратиться.

— Дядя, как ты неосторожен!.. — обратился Храпунов к майору. — Ну разве можно говорить про Бирона такие слова? Ведь у герцога везде есть уши и глаза...

— Даже и здесь, в твоём доме?

— Даже и здесь, у меня. Нам, русским, тяжело. Мы все зависим от немцев, — с глубоким вздохом проговорил Храпунов, — все мы в ярме.

— Что? Я в ярме? Ну, это, племянш, ты врешь!.. Я — русский, вольный дворянин; я — только слуга моей государыни, ее верноподданный, а на немцев я плюю, плюю, — с сердцем крикнул Петр Петрович, после чего более спокойным голосом добавил: — И зачем только нелегкая сила принесла меня в ваш Питер? Сидеть бы мне в своей усадьбе... Ну кому понравится, племянш, сидеть в горнице с близким человеком и молчать? А попробуй поговорить по душе — как раз в остроге или в крепости очутишься.

— Говорить можно, дядя, только с осторожностью.

— Устарел я, племянш, для вашей осторожности... привык идти прямым путем. Я, старый, весьма люблю все начистоту. Смолоду не кривил душою, под старость и по-давно не буду, — горячо проговорил секунд-майор.

— Да я потому советую тебе, дядя, быть осторожным, что плохо верю моим дворовым холопам и в особенности Петрушке. Мне хорошо известно, что многочисленные клеветы и сыщики Бирона подкупают слуг и через них узнают, что делается у господ или же что они говорят.

— Ну, время!.. Как хочешь, племянш, я гостить у тебя долго не буду. Останусь здесь, может, только с неделю.

— Нет, нет, скоро мы тебя не отпустим.

— Не удерживай, племянш, а то я со своим языком как раз в острог попаду. Погости я подольше в этом Питере — мне несдобровать, право, несдобровать, — с глубоким вздохом промолвил Гвоздин, и предчувствие не обмануло его.

Левушка Храпунов говорил правду своему дяде: у герцога Бирона, занимавшего первое место в государстве, повсюду были глаза и уши. Страшная тайная канцелярия работала усердно, и начальнику ее, грозному Ушакову, было много работы. Работали и заплечные мастера — палачи. Время было тяжелое, над Русью властвовал пришлец Бирон.

Он был из простого, низкого рода; его дед когда-то служил конюхом у курляндского герцога Иакова III; своим раболепством, а больше наущничеством он как-то по-

пал в милость к герцогу и получил от него в награду небольшую мызу. У дяди Бирона — придворного конюшенного — было два сына. Одному как-то удалось выйти в люди и дослужиться до генеральского чина в польских войсках, а другой, отец Бирона, состоял в чине капитана и был придворным у герцога курляндского. Он был богат и жил на широкую ногу в своем огромном поместье. У этого придворного капитана было трое сыновей. Его среднему сыну, Эрнсту Иоганну Бирону, по счастливой случайности, суждено было стать близким к трону и сердцу императрицы.

Воспитание Бирон получил в кенигсбергском училище, но за свои шалости и нечестные дела принужден был бежать оттуда, чтобы не попасть под арест. В 1714 году он прибыл в только что основанный гением Петра Петербург и всеми силами старался получить место при дворе крон-принцессы брауншвейгской Софии Шарлотты, супруги цесаревича Алексея; но это домогательство со стороны человека низкого происхождения показалось дерзким петербургскому правительству, и Бирону посоветовали подобру-поздорову убраться восвояси. Проходимец ни с чем возвратился в Митаву.

Благодаря своей хитрости и разным проискам, он сумел обратить на себя внимание тогдашнего обер-гофмейстера курляндской герцогини Анны Иоанновны Бестужева, попал к нему в большую милость и доверие и был произведен при дворе герцогини в камер-юнкеры. Когда он твердо укрепился при дворе, то не преминул строить подкопы на своего благодетеля разными наговорами и клеветами и сумел так очернить Бестужева в глазах Анны Иоанновны, что та не довольствовалась полной отставкой своего обер-гофмейстера, но даже жаловалась своему державному дяде Петру I и требовала суда над Бестужевым. Хитрый Бирон, благодаря своей представительной и красивой физиономии и светскому обращению, вошел в большую милость к герцогине и стал ее любимым наперсником.

Курляндские дворяне недолюбливали этого новоиспеченного фаворита, но все-таки принуждены были ему покоряться.

Бирон сгорал желанием породниться с какой-нибудь древней курляндской фамилией, ко многим присватывался, но по незнатности своего рода получал отказ. Наконец, он как-то сумел завладеть сердцем девицы Трейден, фрейлины герцогини, и без согласия ее родных женился на ней. Он надеялся, что, будучи мужем Трейден, он

будет без отказа принят в число дворян в Курляндии, но ошибся в своих расчетах: дворяне не приняли его в свою среду.

Если не терпели Бирона курляндские дворяне, то тем более возненавидели его русские дворяне. Вскоре после приезда Анны Иоанновны в Москву приехал и Бирон. Во время коронации он был осыпан милостями государыни, возведен в графское достоинство, награжден орденом св. Андрея Первозванного и обер-камергерским чином, а по прошествии некоторого времени, после смерти герцога курляндского Фердинанда, разными происками добился того, что его выбрали в герцоги.

Таким образом, Бирон стал владетельным государем той самой страны, дворянство которой за несколько лет перед тем отказалось принять его в свое сословие. В то время, когда он стал подвизаться на поприще счастья, Бирон присвоил себе имя и герб французских герцогов Биронов. Вот какой человек в продолжение всей жизни императрицы Анны, даже несколько недель после ее кончины, царствовал над Россией, и притом как совершенный деспот.

Герцог сидел в своем роскошном кабинете за письменным столом и со вниманием читал какую-то бумагу. Было раннее утро. Бирон был в напудренном парике, в парадном, шитом золотом и драгоценными камнями мундире, с Андреевской лентой через плечо.

В кабинет тихо вошел любимый секретарь и доверенный Бирона — Шольц, и низко, подобострастно поклонился герцогу.

— Здравствуй, Шольц! Что нового? — отвечая кивком головы на низкий поклон секретаря, спросил он.

— В городе все обстоит благополучно, ваша светлость.

— Об этом, милейший, я узнаю от начальника полиции. Нет ли у тебя чего поновее?

— Ваша светлость, прошлой ночью у Волинского опять было собрание.

— Вот как? Волинский не унимается?.. Ну, пусть пеняет на себя... Теперь я знаю, что мне делать... Он или я, а двоим нам тесно жить не свете! — И, с волнением проговорив эти слова Бирон быстро заходил по кабинету.

— Смею доложить, ваша светлость, мои сыщики подкупили холопа, который служит у секретаря Волинского.

— Как фамилия этого секретаря?

— Храпунов, ваша светлость.

— Слыхал... Ну, и что же?

— К Храпунову приехал издалека его дядя, старик-майор, который осмеливается произносить имя вашей светлости не с должным почтением и уважением.

— Другими словами, любезный Шольц, ты хочешь сказать, что старичишка-майор меня поносил?

— Так точно, ваша светлость.

— Пока старичишка нам не опасен, оставить его на свободе, но удвоить за ним, а также и за Храпуновым надзор. Впрочем, Шольц, если ты найдешь нужным арестовать старичишку-майора, то можешь сделать это всегда, когда захочешь. На тебя я полагаюсь; ты мне предан и не станешь мирволить моим врагам. Надо непременно забрать их всех в руки так, чтобы они и пикнуть не смели!.. Россия — ужасная страна, и русские — дикари, варвары. Их давно надо обуздать, и я сделаю это во что бы то ни стало!.. Я на всю эту нацию надену узду, возьму в одну руку вожжи, а в другую кнут, и тогда мне, может быть, удастся что-нибудь сделать здесь.

— Мы все, душевно преданные вашей светлости, будем стараться помогать вам, — проговорил Шольц.

— Да, да, я на вас рассчитываю. В приемной есть кто? — меняя разговор, спросил у своего секретаря Бирон.

— Очень много просителей, ваша светлость.

— Пусть подождут... Впрочем, нет: сегодня я принимать не буду, гони их вон. А из наших есть кто-либо?

— Граф Левенвольд, ваша светлость.

— А, пусть его войдет, просителей же вон!

— Будет исполнено, ваша светлость.

В кабинет вошел обер-шталмейстер и полковник гвардии граф Левенвольд. Он находился почти в дружеских отношениях с Бироном и старался угождать ему, сознавая могущество и силу этого временщика. В то же время он был смертельным врагом фельдмаршала Миниха и всеми силами старался поссорить его с Бироном, а также не благоволил и к русскому вельможе Артемию Петровичу Волынскому. Последний во многом не соглашался с Левенвольдом, так что их спор часто переходил в крупную ссору.

— А, граф, рад видеть вас... садитесь, — ласково сказал Бирон Левенвольду, показывая ему место около себя. — Ну, что нового?

— Новое то, ваша светлость, что фельдмаршал Миних¹ все более и более входит в доверие к императрице.

— Это, любезный граф, для меня не новость! — спокойным голосом сказал Бирон.

— И вы об этом говорите спокойно, ваша светлость?

— Неужели вы думаете, что Миних опасен для меня?

— Опасен, ваша светлость. Доверие к нему императрицы может поколебать ваше могущество, тем более что он сошелся с Артемием Волынским.

— О... Волынский — мой личный враг, — воскликнул Бирон.

— Миних тоже, и оба они опасны, ваша светлость... Я имею сведения, что Миних дурно отзывался о вашей особе и открыто смеется над вашим происхождением.

Одно слово, один намек на незнатное происхождение бесили Бирона и раздували в нем страшную месть и злобу к тому смельчаку. Миних и Бирон дотоле находились в хороших отношениях, но Бирону по его бесхарактерности и подозрительности достаточно было одного слова или одного намека, чтобы из друга стать врагом. Так и теперь, принимая слова Левенвольда за чистую правду, он не требовал подтверждения, а безусловно поверил Левенвольду и признал как Миниха, так и Волынского своими врагами.

— Так вот как, господин фельдмаршал! — воскликнул он. — Вы находите свой род знатнее моего?... Хорошо! Хорошо! Вы правы, граф. Надо принять меры и скорее отстранить от императрицы эту старую лисицу.

— И чем скорее, ваша светлость, тем лучше. Для полного вашего могущества надо подальше отдалить от двора таких людей, как Миних, Волынский...

— Да, да. Благодарю вас, граф. Я не забуду вашей преданности, — пожимая руку Левенвольду, проговорил Бирон.

— Всегда готов служить вашей светлости.

Бирон стал действовать против Миниха не открыто, потому что фельдмаршал был в большом доверии у государыни Анны Иоанновны, и Бирон опасался Миниха, сознавая его редкий ум. Однако лазутчики и сыщики стали

¹ Бурхард Христофор Миних (1683—1767 гг.), ольденбуржец по происхождению, был вызван в Россию Петром I в качестве генерал-инженера (1721 г.) Им было закончено проведение Ладожского канала. Когда замыслы верховников в начале царствования Анны Иоанновны не удались, Миних сблизился с Остерманом и Бироном и с того времени стал влиять на судьбы России.

тайно следить за Минихом и обо всем, что делалось или происходило в его доме, доносили своему патрону. Из этих донесений Бирон понял, что ему угрожает опасность, если он не примет мер против Миниха.

Миних жил близ Зимнего дворца в казенном доме. Бирон настоял, чтобы его немедленно переселили на другую сторону Невы, дальше от дворца. Из-за этого произошел полный разрыв между Бироном и Минихом.

Последнему открыто бороться с этим случайным вельможей было невозможно. Он сознавал, что если открыто пойдет против всесильного фаворита государыни, то его постигнет еще худшее; поэтому он затаил в своем сердце вражду к всесильному временщику и стал выжидать удобного случая к отмщению.

Однажды императрица спросила вошедшего к ней Бирона:

— Что, герцог, нонче такой хмурый?

— Большие неприятности, ваше величество.

— Какие такие?

— У меня много врагов, ваше величество.

— Об этом я уже не раз слышала, — с ноткой неудовольствия проговорила государыня.

— В числе их, ваше величество, есть два очень сильных и влиятельных человека, — спокойно продолжал Бирон, не обращая внимания на неудовольствие государыни.

— Кто такие?

— Дозвольте, ваше величество, мне умолчать, потому что, боюсь, вы мне не поверите.

— Да говори, назови мне своих врагов.

— Сильные из них — это Миних и Волинский.

— Не знаю, герцог, враги ли они твои, но знаю, что оба они — мои верные и преданные люди, и обидеть их чем-либо я никому, никому не позволю, — взволнованным голосом проговорила царица.

— Ваше величество, я и не думаю обижать их, я только имею честь докладывать вам, кто мои враги, — обиженно проговорил всесильный временщик.

— Ну, оставим про это, герцог. Ты никак на меня осердился?

— Смею ли я сердиться? — холодно ответил Бирон.

— Да, да, не сердись... Растрепал я... Сейчас до тебя был у меня с докладом Ушаков... про Долгоруковых сказывал...

— Что такое, ваше величество? — живо спросил герцог.

— И в Сибири-то им не живется спокойно, и там, вишь, измышляют лихо против меня да поносят меня скверными словами. А всех больше Иван Долгоруков.

— Это дело нельзя оставлять, ваше величество, нельзя оставлять... Надо поступить с Долгоруковыми со всей строгостью закона... Поноситель императорского имени должен быть казнен, — горячо проговорил Бирон, не любивший Долгоруковых, как и прочих русских именитых бояр и князей.

— Я приказала Ушакову навести справки о Долгоруковых и послать к ним фискалов, а если они окажутся виновными, то судить...

— И казнить, — подсказал государыне Бирон.

Дело князей Долгоруковых снова всплыло наружу.

III

Вернемся опять в пустынный и неприглядный Березов и посмотрим, что произошло в семействе Долгоруковых.

Перемен случилось там немало. Глава ссыльной семьи князь Алексей Григорьевич в 1734 году умер, и князь Иван теперь стал старшим в семье. Но распри между Долгоруковыми происходили по-прежнему и вся горесть семейных распрей падала на долю несчастной жены, Натальи Борисовны.

Долгоруковы, несмотря на строгие инструкции о содержании ссыльных, пользовались особым покровительством своих приставов и караульных офицеров. Даже сам воевода березовский, добрый и благодушный старик Бобровский, и его жена часто бывали в гостях у опальных, принимали их у себя, присылали им «разную харчу» и дарили их песцовыми и другими мехами. Князь Иван Алексеевич и его жена, в свою очередь, не скупились на благодарности воеводе.

Князь Иван, общительный от природы, скоро и в Березове завел не только знакомство, но даже дружбу с офицерами местного гарнизона и с теми, которые наезжали в Березов, а также с духовенством и горожанами. Особенно близко сошелся он с флотским поручиком Дмитрием Овцыным, и эта дружба и погубила Долгоруковых. Под влиянием нового знакомства князь Иван вспомнил свою прежнюю разгульную и бесшабашную жизнь, стал кутить и бражничать с новыми знакомыми и в пьяном виде позволял себе говорить много лишнего.

Он резко и неосторожно выражался о государыне Анне Иоанновне и о царевне Елизавете Петровне, о временщике Бироне и о других придворных «креатурах». Эти рассказы занимали его слушателей, и они нарочно подзадоривали его.

— Эх, братцы, ныне наша фамилия и род совсем пропали, — с отчаянием в голосе заметил однажды подгулявший князь Иван своим гостям-приятелям офицерам и приказным. — Между тем наш род очень велик — мы происходим от первого князя Рюрика и от святого князя Владимира, а теперь мы в большом несчастье и в бедности. Ведомо ли вам, откуда вся наша бедность и несчастье?.. Все, все от нее, от царицы Анны!

— Ванюша, перестань, оставь! Что ты тут городишь... разве можно? — предостерегала мужа Наталья Борисовна.

— А почему же нельзя?.. Разве грех — правду говорить? Молчать не стану, говорить хочу. Тишин, а Тишин, правду я говорю или нет? — обратился князь Иван к новому своему гостю, тобольскому таможенному подьячему Тишину, который по делам службы часто приезжал в Березов.

— Да, да, так, — ответил тот.

— А ты не давай, а рассказывай: правду я говорю?

— Ну, ну, хорошо... правду.

— Ты боишься, Тишин, что в ответ попадешь... проведуют... Кажись, фискалов да сыщиков между нами нет, — оглядывая своих гостей, проговорил князь Иван.

— Нет! Разумеется, нет.

— А если нет, то говорить можно. Кроме царицы Анны, есть у нашей семьи другой враг — царевна Елизавета.

— Да замолчишь ли ты, замолчишь?! — чуть не крикнула на мужа княгиня Наталья Борисовна.

— Кроме того, самые злейшие наши враги — Бирон, бывший конюх, и наушник Левенвольд... Этот самый Левенвольд за мою жену сватался, за Наталью Борисовну, а я невесту-то у него и отбил... Вот и злится на меня проклятый немец, — нисколько не обращая внимания на возражения жены, продолжал Иван Алексеевич. — Теперь немцы при дворе большую силу забрали... им все чины, им ордена и почести, а нас, природных бар да князей, в ссылку, в Сибирь.

Такие и подобные им разговоры часто происходили у Долгоруковых, и на опальных полетели доносы в Петербург. Однако особых последствий эти доносы не имели: правительство ограничилось лишь приказом не выпускать

Долгоруковых из острога; у них были отобраны и описаны некоторые вещи, а также было возбранено принимать горожан.

Но несмотря на это, березовские жители и приезжие не переставали посещать опальных.

Особенно часто стал у них бывать подьячий Тишин, некрасивый сорокалетний вдовец. Ему пришлось по нраву красивая и неприступная княжна Екатерина, «разрушенная царская невеста». Так же, как пристав Шмыгин некогда сватал за себя княжну Марию Меншикову, тоже «разрушенную» царскую невесту, — так теперь и приказный Тишин, прельстясь красотой княжны Екатерины, возымел желание жениться на ней. Тишин слыл за богатого, имел свой дом и хозяйство. Он был вполне уверен, что отказа со стороны княжны Екатерины и ее брата князя Ивана не будет, и, не долго думая, решился сделать княжне Екатерине предложение.

Как-то утром, воспользовавшись моментом, когда княжна была одна, Тишин решился приступить к делу; для этого он нарядился по-праздничному и смело сказал княжне:

— Мне бы, Катерина Алексеевна, надо с тобою поговорить.

— О чем нам говорить? — чуть не с отвращением промолвила княжна, которой очень не нравился подьячий.

— Есть о чем.

— Ну, говори, если есть о чем. Только скорее, я спешу.

— Сейчас, сейчас... Вот видишь ли, Катерина Алексеевна, ты пришлось мне по нраву... Я к тому же богат — у меня есть свой угол, и про черный день я скопил немало денег.

— Все твое при тебе и останется... Я никак не пойму, зачем ты это мне говоришь?

— А вот сейчас узнаешь. Я... я жениться на тебе задумал, — сразу выпалил Тишин.

— Ты?... ты задумал жениться на мне? — меняясь в лице, тихо переспросила у подьячего княжна Екатерина.

— Известно, я... а то кто же... Чай, обрадовалась?

— Ну как мне не обрадоваться!.. Чай, женою подьячего мне лестно быть, — едва превозмогая свой гнев и закусывая от страшного волнения губы, промолвила княжна.

— Так по рукам, что ли?

— Да, да...

— Стало быть, честным пирком и за свадебку?

— Да, да...

— Я так и знал, что отказа мне не будет... потому быть моей женой лестно всякой девице... С твоим братом, что ли, надо еще поговорить?

— Не советую... Если ты скажешь ему хоть половину того, что сказал мне, то быть тебе, подьячему, битым.

— Как! За что? — тараща глаза от удивления, спросил у княжны Тишин.

— За твою, подьячий, дерзость. Разве свататься за меня не дерзость? Вон! Поди вон! — повелительно крикнула княжна, показывая ему на дверь.

— Да ты что же?... Смеешься, что ли, надо мною? То радуешься, что я хочу жениться на тебе, то вон гонишь!

— Ступай вон, не то позову своих и тебя, дерзкий, палками прогонят.

— Так ты вот как? Хорошо... это тебе даром не пройдет... Спесива ты была царской невестой, да сплыла... Поймай, я покажу вам всем, как надо мною глумиться... будете помнить! — погрозил Тишин и вышел из горницы, сердито хлопнув дверью.

— Что же это?... Господи! До чего я дошла?! Какой-то подьячий смеет предложение делать мне, бывшей невесте императора... О горе, горе мне!.. За что эта напасть? За что эта ужасная мука? Что я сделала? Чем провинилась? За что меня преследуют? Даже и тут, в дальней ссылке, мне не дают покоя! — рыдала княжна Екатерина Долгорукова, оскорбленная до глубины души грубым предложением Тишина.

Действительно, сватовство к Екатерине Долгоруковой не прошло для Тишина даром; княжна пожаловалась на него своему брату и его приятелю, поручику Овцыну.

— Вот до чего я дожила, вот до чего дошла, что пьяный подьячий смеет свататься за меня!.. Сирота я горькая, беззащитная... некому и заступиться за меня, — со слезами проговорила княжна Екатерина.

— Как некому заступиться? А меня-то вы забыли? Нахал Тишин жестоко поплатится за свое сватовство, — грозно проговорил поручик Овцын, равнодушный к «разрушенной царской невесте», и с двумя своими товарищами жестоко избил Тишина.

Однако последний был злопамятен; он затаил на время свою обиду и стал выжидать случая отплатить обидчикам. Это не замедлило представиться ему.

Как-то раз князь Иван, будучи под хмельком и несколько не стесняясь и не боясь Тишина, стал говорить не

с должным уважением про императрицу Анну Иоанновну, а первейшего министра Бирона всячески поносил и ругал.

— Эх, князь, напрасно ты так говоришь, право, напрасно! Держать бы тебе надо свой язык за зубами, — как бы увещевая Долгорукова, сказал ему Тишин.

— Я правду говорю.

— Смотри, как бы тебе за эту «правду» не пришлось поплатиться.

— Что же, или ты доносить на меня думаешь? — презрительно спросил князь Иван. — Так разве ты забыл, что доносчику первый кнут? Да и где тебе доносить! Тебе не поверят: ты стал такой же сибиряк, как и я... Станешь на меня доносить, тебе же голову снесут.

— Я и не думаю на тебя делать донос, — проговорил подьячий.

— А кто же доносчиком на меня будет? Ты знаешь? — спросил у подьячего захмелевший князь Иван.

— Знаю, — ответил Тишин. — Ваш пристав.

— Это майор Петров? Ну нет, он на нашей стороне, он задарен и доносить на нас не будет.

Князь Иван говорил правду: пристав Петров был в хороших отношениях с ссыльными Долгоруковыми, и когда подьячий Тишин пожаловался ему на них, то он не обратил никакого внимания на эту жалобу и замаял дело.

Тогда Тишин подал донос сибирскому губернатору, причем уже, кроме Долгоруковых, обвинял и Петрова, и березовского воеводу Бобровского за послабления им.

Результатом этого доноса было прибытие в Березов капитана сибирского гарнизона Ушакова, родственника знаменитого начальника тайной канцелярии. Тот явился в мае 1738 года инкогнито, но с секретным предписанием. Ему было поручено прикинуться присланным по повелению императрицы будто бы для того, чтобы разузнать о житье-бытье Долгоруковых и улучшить их положение.

Быть может, несчастным узникам блеснул даже с его приездом луч надежды на избавление от заточения. Ушаков отлично сыграл роль. Он познакомился с Долгоруковыми, с разными березовскими жителями и священниками, водил с ними хлеб-соль, вступал в беседы и таким образом под рукой узнал все, что ему было нужно. В результате немедленно же по его отъезде в Березове был получен приказ из Тобольска — отделить князя Ивана от жены, братьев и сестер.

Иван Алексеевич был заключен в тесную землянку, где его еле кормили, и притом самой грубой пищей. Землянка

была так тесна, что в ней с большим трудом мог поместиться один человек.

Новое несчастье, обрушившееся на князя Ивана, повергло Наталью Борисовну в страшное горе и отчаяние. Несколько раз порывалась она приблизиться к землянке, где томился ее несчастный муж, но солдаты отгоняли ее прочь. Наконец как-то ей удалось вымолить у солдат, чтобы они позволили ей подойти к землянке, и то ночью.

Крадучись и оглядываясь по сторонам, Наталья Борисовна с небольшим узелком подошла к месту заточения мужа.

— Что, голубчик, можно ли мне хоть издали увидаться с мужем? — обратилась она, чуть не плача, к одному из сторожевых солдат.

— Можно-то можно, да боязно! — ответил ей солдат. — А вдруг увидит?

— Кому увидеть, голубчик? Теперь все спят.

— И ты бы спала, а то ишь, шляешься ночью, — огрызнулся на княгиню Долгорукову другой сторожевой солдат.

— Умолкни, Петруха, не смей так говорить: у княгини святая душа!.. — остановил товарища первый солдат. — Подходи, княгинюшка, подходи поближе да стукни в дверь!

Княгиня тихо постучала в дверь и в небольшом отверстии землянки, заменяющем оконце, увидела страдальческий облик своего злополучного мужа.

— Господи!.. Натальюшка, ты ли?! — слышался дорогой ей голос, прерываемый рыданиями. — Да как тебя допустили?

— Выплакала, вымолила у солдат... вот и допустили...

— Голубка моя сердечная, сколько горя, сколько несчастья со мною ты увидала!.. Мученица ты, Натальюшка, мученица!

— Не я, а ты — мученик, ты — страдалец.

— За прошлое, за бывшее несу наказание. Люди злы, они ищут моей гибели, и чувствуется, что мне не миновать казни. Да, да, враги не дадут мне на свете жить; они всю подноготную поднимут, все переберут и обвинят меня в ужасном преступлении. Но я смерти не боюсь, мне страшен позор. Слушай, дорогая, святая моя!.. Когда меня не станет, оправдай меня перед сыном, скажи, что я невинно пострадал по наговору злых людей и нашего родового имени ничем позорным не запятнал. Я был молод, были грехи, за славой я бежал, и в этом вся моя вина. Только научи нашего сына молиться за несчастного отца.

— Он и то за тебя молится, Иванушка.

— Научи Михаила не мстить моим врагам, служить душой и сердцем земле родной, чтить государыню и ей повиноваться. Ну, прощай, Наташа! Ступай, храни тебя Господь!.. Еще увидят тебя здесь, тогда и тебе, и мне, и сторожевым солдатам будут беды. Спасибо тебе, голубка! Скажи спасибо от имени несчастного князя Ивана и солдатам, что стерегут меня, за то, что твои мольбы и слезы нашли отклик в их сердцах. Ступай!

— Завтра ночью я, Иванушка, опять к тебе приду.

— Приходи, будь ангелом моим! Поцелуй и перекрести за меня Мишеньку. Скажи, что из тюрьмы его отец шлет ему благословение.

Наталья Борисовна, заливаясь слезами, отошла от землянки. И каждую ночь до того дня, как князя Ивана тайно увезли в Тобольск, она приходила к мужу, подкрепляла его своими словами и советами и приносила пищу.

Солдаты не останавливали ее.

— Эх, если и пострадать нам за нее придется, то знать будем, что страдаем за святую душу, — говорили они.

В конце августа 1738 года князь Иван Долгоруков и двое его братьев, Николай и Александр, а также воевода Бобровский, майор Петров и поручик Овцын, трое березовских священников, один диакон, слуги Долгоруковых и шестьдесят березовских обывателей, в глухую дождливую ночь были взяты капитаном Ушаковым, посажены на небольшой карбас и отправлены в Тобольск. Там была образована для настоящего дела особая экспедиция под начальством Ушакова и поручика Василия Суворова. Начались обычные допросы с пристрастием и розыском.

Иван Долгоруков пробовал было запереться, но пытка вынудила его сказать более, чем он хотел.

В Тобольске его содержали в сырой, душной тюрьме, с тяжелыми цепями на ногах и на руках, причем приковали его даже к стене. Положение князя Ивана было ужасно. Он лишился сна и аппетита; разлука с женой и другие нравственные потрясения мучительно действовали на него; он впал в страшное нервное раздражение, был близок к помешательству и в полубреду стал передавать все подробности о составлении подложной духовной императора-отрока Петра II.

Начались новые розыски, новые допросы, а с ними и пытки. Ушаков и Суворов предложили князю Ивану шестнадцать вопросных пунктов. Его допрашивали о «вреде-

тельных и злых словах» к поношению чести ее императорского величества и цесаревны Елизаветы, о разговорах с Тишиным по поводу его намерения донести, о майоре Петрове, о книге в похвалу его величества, о коронации Петра II, о другой книге киевской печати, «якобы о венчании брака» Петра II с княжною Екатериною, о патентах, о разных березовских знакомых, преимущественно об Овцыне, о подарках Петрову и Бобровскому, о его переписке, а главным образом о подробностях составления, подписания и уничтожения духовного завещания Петра II.

Во время допроса князя несколько раз пытали дыбою. Он почти во всем сознался, только упорно отрицал существование книги киевской печати «якобы о браке его величества», утверждая, что такой книги не было, а что была одна только рукопись о коронации Петра II, которую князь Николай сжег.

Подробно и чистосердечно рассказал он всю историю подложной духовной своего друга-императора. Эта история тяжелым гнетом легла у него на душе, и он был рад очистить свою совесть. Этим последним показанием он оговаривал в весьма серьезных замыслах своих дядей: Василия Лукича, Сергея и Ивана Григорьевичей и Василия Владимировича с братом Михаилом Владимировичем.

Князя Ивана перевезли в Шлиссельбургскую крепость; туда же были доставлены и все оговоренные им Долгоруковы, а двух его братьев, Николая и Александра, сослали в Вологду.

Бедная Наталья Борисовна осталась в Березове со своим шестилетним сыном, будучи к тому же еще беременной, и с третьим братом своего мужа, а также и с золовками. Вот как она описывает свое положение:

«Я кричала, билась, волосы на себе драла; кто ни падется навстречу, всем валяюсь в ногах, прошу со слезами: «Помилуйте, когда вы — христиане! Дайте только взглянуть на него и проститься!» Не было милосердного человека; ни словом меня никто не утешил, а только взяли меня и посадили в темницу, и часового, примкнувши штык, поставили».

Скоро до Натальи Борисовны дошла печальная весть о том, где находится ее муж с братьями. Это еще более убило бедную женщину.

— Теперь не видать мне моего Иванушки и навеки разлучилась я с ним! — рыдала страдальца-княгиня.

И действительно, ей не суждено было больше видаться со своим мужем.

IV

Как-то раз Храпунов вернулся домой бледный и чем-то сильно встревоженный. Маруся заметила перемену с мужем и спросила:

— Что с тобою, Левушка? Ведь на тебе лица нет... Уж не случилось ли какого несчастья?

— Пока еще нет, а надо ожидать. Дело твоих родичей опять всплывает наружу. Князя Ивана Долгорукова привезли в Шлиссельбург, а его братьев в Вологду сослали. Забрали многих приверженцев Долгоруковых. Не нынче завтра и за мной придут, — печально проговорил Левушка.

— Господи, опять несчастья! Когда же этому будет конец? Ведь ты, Левушка, ни в чем не виновен.

— Я обращался к министру Волынскому, просил у него защиты. Артемий Петрович обещал, но едва ли он сможет что-нибудь сделать в мою пользу.

— Если обещал, то сделает. Ведь ты сам, Левушка, говорил, что Волынский имеет большую силу при дворе.

— Имеет, точно. Но Артемий Петрович один, а немцев много, и все они пользуются доверием государыни, не говоря уже о Бироне.

— Что же нам делать, что делать? — чуть не с отчаянием проговорила молодая женщина.

— Подождем, что дальше будет.

— Дождаться, когда тебя арестуют...

— Маруся, ты знаешь мою прямогу. Я ни в чем не виновен перед ее величеством и, что бы ни случилось, думаю, выйду правым. Но за тебя мне страшно. Правда, возьмут меня, ты не одна останешься, а с дядей. Но за него-то я очень опасаюсь, он очень несдержан на язык, и если не уедет отсюда, то ему не миновать тюрьмы, а может быть, и того хуже...

— Ну так уедем скорее куда-нибудь и дядю с собой захватим. Поедем хоть к дяде в усадьбу.

— Это не так легко сделать, милая. Я состою на службе. Но допустим, министр даст мне отпуск и мы уедем. Да ведь меня и в дядиной усадьбе найдут. Знаешь, Маруся, ничего я так не боюсь, как того несчастного письма князя Алексея Григорьевича, которое хранится в нашем ларце.

— Да ведь ты не знаешь, где находится и ларец.

— Наверняка не знаю, но думаю, что в тайной канцелярии или у самого Ушакова. Я как-то по поручению Артемия Петровича ходил к генералу Ушакову и спросил

про свой ларец. Знаешь, что мне Ушаков ответил? «Ларец запечатанный, что находится у меня в канцелярии, не твой, господин офицер, а ссыльных князей Долгоруковых, а так как их имущество движимое и недвижимое отобрано в казну, то и ларец тоже».

Скоро вернулся с прогулки и старик секунд-майор. Втроем они составили семейный совет, что делать, и решили следующее: Храпунову немедленно просить отпуск хоть на месяц и уезжать всем из Питера, но не в усадьбу старого майора, а куда-нибудь подальше, в глушь, чтобы не скоро можно было до них добраться. На совете также решено было заехать в Москву и взять с собою старуху Марину, которая все еще проживала в Москве, в своей хибарке близ Тверской заставы.

Но «человек предполагает, а Бог располагает», и все эти замысли и предположения кончились ничем. В тот же день поздним вечером в квартиру Храпунова явился офицер с пятью солдатами, чтобы арестовать Левушку.

— За что? Что я сделал? — растерянным голосом проговорил Храпунов.

— Об этом вам скажут, только не я. Мне лишь приказано вас взять, — холодно ответил офицер-немец.

От этих слов Маруся смертельно побледнела и едва устояла на ногах.

— А как твоя фамилия, господин офицер? — грубо спросил у немца старик секунд-майор, едва сдерживая себя от гнева на несправедливый арест своего племянника.

— Фон Фишер, — гордо ответил тот.

— Фишер, да еще фон... немецкая кличка....

— Да, я имею честь принадлежать к немецкой нации.

— И сидел бы себе в неметчине! Зачем же к нам пожаловал? — сердито проговорил старый майор. — Да видно, харчи-то у нас послаще ваших, вот вас и тянет сюда?

— В ваших словах я вижу оскорбление всей нашей нации и потому...

— Вызываешь меня на единоборство или, по-вашему, на дуэль? Так, что ли?

— Зачем дуэль? Я донесу на вас его светлости герцогу.

— Оно и лучше. Живи, господин офицер, сплетней и доносом... целее будешь! — проговорил старик Гвоздин.

Храпунов очутился в тяжелой неволе; его отвели в тюрьму и опять впутали в дело несчастного князя Ивана Долгорукова, который в то время томился в каземате Шлиссельбургской крепости. Сам страшный Ушаков допрашивал его, но «без пристрастия», то есть не пуская в ход

пытки. Может быть, он жалел Храпунова, сознавая его невиновность.

— Ведомо ли тебе содержание того писания, которое находилось в ларце, что подарил князь Алексей Долгоруков своей незаконной дочери, а твоей жене? — спросил Левушку Андрей Иванович, показывая ему на письмо.

— Нет! Да и почему мне знать? Письмо находилось в ларце и писано было покойным князем не мне, а моей жене, — ответил ему Храпунов.

— И умерший Алексей Долгоруков ничего не говорил тебе про это письмо?

— Ничего.

— Придется поспросить о том твою жену.

— Как? Неужели Марусю приведут сюда?

— И приведут. Неужели ты думаешь, я сам к ней пойду? Да что она у тебя за принцесса такая? У меня тут в гостях перебивали барышни и боярыни, княжны и княгини, всех я принимаю с ласкою, — насмешливо улыбаясь, проговорил начальник тайной канцелярии.

— Стало быть, ваше превосходительство, вы пошлете арестовать мою жену? — грустно спросил Храпунов.

— Зачем арестовать? Только привести к допросу. Не бойся: хоть и называют меня зверем, а я — не зверь, я только строгий исполнитель закона и верный слуга государыни императрицы. Жену твою мы спросим чинно и, сняв допрос, отпустим ее домой благородно. Ну, теперь ступай!

— Дозвольте спросить, ваше превосходительство, долго ли будут меня в тюрьме морить?

— Это уже не от меня зависит, а от его светлости герцога. Только на освобождение не надейся. Скажу по секрету: его светлость герцог решил разом покончить с долгоруковским делом... Понял? И ссылки тебе не миновать. Не дружись с князьями! «Не надейтесь на князи и сыны человеческие, в них же несть спасения» — вот чему учит нас слово Божие, — голосом, полным наставления, проговорил начальник Тайной канцелярии и приказал увести Храпунова.

Судьба Левушки взволновала Марусю и его дядю, они решили искать защиты у кабинет-министра Артемия Петровича Волынского и с этой целью отправились к нему в его обычный приемный день. Долго пришлось им ждать, так как они решили переговорить с министром по окончании всей очереди просителей, и наконец были допущены к нему.

Входя в кабинет министра, Маруся и Гвоздин были сильно встревожены, особенно же молодая женщина: на ней просто лица не было. Они низко поклонились министру и остановились у дверей.

— Подойдите ближе и скажите, что вам нужно, — своим приятным голосом проговорил Артемий Петрович.

— Ваше превосходительство, я — жена вашего чиновника Храпунова, — дрожащим голосом проговорила Маруся.

— А! Вы жена Храпунова? Он очень усердный и внимательный чиновник, я им доволен. Кстати, почему его не было сегодня утром?

— Моего Левушку арестовали, ваше превосходительство! — заливаясь слезами, ответила бедная Маруся.

— Что такое? Он арестован? Кто смел? За что?

— Об этом ничего не сказали, а взяли и повели мужа.

— Впрочем, не надо и узнавать, не надо и доискиваться: я знаю, кто приказал арестовать моего чиновника. Но успокойтесь, я постараюсь, чтобы вашего мужа возвратили вам.

— Я не нахожу слов, как и благодарить ваше превосходительство.

— Благодарить меня еще не за что: ваш муж в тюрьме. Вы хорошо сделали, что пришли ко мне.

— Это я посоветовал моей племяннице, ваше превосходительство. Говорю ей: пойдем просить помощи у родовитого русского боярина-министра, у птенца великого царя Петра, у него скорей найдем мы правду, — дрожащим голосом, но с чувством проговорил старик майор.

— А я не имею чести знать, кто вы, — с удивлением поглядывая на старого майора, проговорил Волынский.

— Я — дядя Храпунова. Простите старику, ваше превосходительство: горе наше так велико, что я не успел или, скорее, забыл назвать себя. Я — старый русский служака, батюшка-царь Петр Алексеевич научил меня с врагами сражаться. Бил я и турок, и шведа, не один десяток лет служил правдой моему государю и земле родной.

— А, вот вы кто. Приятно, очень приятно! Вы любите Русь, я — тоже, станемте знакомыми, нет, друзьями, — ласково проговорил кабинет-министр, протягивая свою руку майору.

— Ваше превосходительство, это для меня такая честь!..

— Для меня тоже, господин майор. Станем говорить откровеннее. Я уверен, что Храпунов арестован по приказу

Бирона. Герцогу известно, что ваш племянник предан мне. У Бирона везде есть лазутчики, и они обо всем доносят ему. Вероятно, Храпунов как-нибудь проговорился, сказал что-нибудь оскорбительное для этого... герцога из конюхов! — горячо проговорил кабинет-министр Волинский.

— Нет, ваше превосходительство, мне думается, что мой муж арестован по делу Долгоруковых: он был в дружбе с князем Иваном Алексеевичем.

— Да, Долгоруковы поперек горла встали Бирону и его клевретам! Русские князья и бояре ненавистны герцогу, он боится их, опасаясь за свое могущество, за свою мишурную славу. Впрочем, боязнь его уместна. Придет же наконец время, когда Бирон и все другие немцы, его сообщники, жестоко поплатятся за то ярмо, какое они возложили на наш добрый, простой народ. Ну да об этом еще рано говорить. Надейтесь на лучшее, — обратился Волинский к Марусе, — я употреблю все, что от меня зависит, к скорому освобождению вашего мужа. До свидания! А с вами, господин майор, я не прощаюсь, сегодня я надеюсь вас видеть за своим обедом, тогда я обо всем поговорю с вами.

Обласканные и успокоенные вернулись к себе Маруся и стarik секунд-майор.

А кабинет-министр Волинский, проводив своих просителей, наклонив голову, долго ходил по кабинету.

— Довольно, надо положить предел самоуправству Бирона! Он зашел слишком далеко, шагая по трупам тех, кого встречал на своей дороге, его властолюбие не знает предела, он — чуть не полновластный правитель всей земли, так как государыня царствует только номинально. С помощью Бога и верных сынов России я положу предел властолюбию этого герцога из курляндской конюшни. Арестовывая моих чиновников, он хочет только оскорбить меня, вызвать на бой. Что же, поборемся, ваша светлость! На вашей стороне сила, а на моей правда! — громко проговорил Артемий Петрович и с помощью своих слуг стал быстро одеваться, чтобы ехать с докладом во дворец к императрице.

Однако кроме обычного доклада у него был и другой. Артемий Петрович решил твердо переговорить с государыней о своеволии Бирона, о его поступках, противных русскому народу.

«Об одном буду просить государыню, чтобы она соизволила выслушать меня: не от себя стану говорить я ей, а от всего народа русского, от всей земли, а глас народа —

глас Божий!» — думал кабинет-министр, переступая порог дворца.

Но его предупредил герцог Бирон.

День был праздничный. Только что отошла поздняя обедня, и государыня Анна Иоанновна вернулась из своей придворной церкви. Лицо у нее было бледное, утомленное. В последнее время она стала часто прихварывать, была раздражительна, задумчива и по целым дням сидела в своей комнате, не принимая никого, кроме близких ей лиц.

Возведенная на престол российский, Анна Иоанновна по-прежнему в своей домашней жизни оставалась такой, какой была в Митаве. Она представляла собой тип боярыни XVII века, не получившей никакого образования; росла она в царской семье, но последняя строго придерживалась старинных русских обычаев. Мать Анны Иоанновны царица Прасковья Федоровна, из рода Салтыковых, недолюбливала разные новшества своего державного деверя и воспитывала дочерей по древнему укладу. После смерти своего супруга, царя Иоанна Алексеевича, она со своими дочерьми поселилась в подмосковном селе Измайлове, а затем, покорная воле своего деверя-царя, переехала с дочерьми на жительство в Петербург, получив от царя в дар дворец на Петербургской стороне, на берегу Невы, близ царского домика.

Петр заботился о своей невестке и о ее дочерях; все три дочери царя Иоанна Алексеевича удостоились его родственного внимания: старшую, Екатерину, он выдал за герцога Мекленбургского, среднюю, Анну, которой суждено было сделаться царицей земли русской, в 1710 году выдал за герцога курляндского Фридриха Вильгельма и дал в приданое 200 000 рублей.

Однако замужество Анны Иоанновны было несчастливо; вскоре после свадьбы новобрачные уехали в Курляндию, где и должны были поселиться, но, отъехав только сорок верст от Петербурга, герцог скоропостижно скончался. Однако Петр пожелал, чтобы овдовевшая его племянница, герцогиня курляндская, осталась жить во владениях своего мужа.

Проживая в Митаве, Анна Иоанновна нередко бедствовала; на содержание ее двора отпускалось слишком недостаточно. За деньгами она часто обращалась к своему дяде, императору Петру. Герцогиня только по имени управляла Курляндией, а на самом деле всем правил Петр, который посылал указы и обо всем получал сведения через своего резидента Бестужева, прикомандированного Петром ко дво-

ру герцогини; даже о ее хозяйстве Бестужев обязан был доносить государю.

Бестужев пользовался полным расположением герцогини, но имел неосторожность приблизить к себе и оказать свое покровительство одному немцу, Эрнсту Иоганну Бирону, который быстро завладел расположением герцогини и стал ее фаворитом, совершенно вытеснив из ее сердца вспыхнувшую страсть к принцу саксонскому Морицу, который посетил Митаву и намерен был посвататься к герцогине.

Став императрицей, Анна Иоанновна вела однообразную жизнь, и это однообразие нарушалось только разными забавами, которые выдумывали ее придворные; государыня любила лошадей и верховую езду; точно так же и Бирон был страстный охотник до лошадей. Государыня любила также забавляться стрельбою; во дворец привозили разных зверей для примерной царской охоты. Она любила наряды и предпочитала яркие цвета; под строгой ответственностью, никто не смел являться во дворец в черном платье.

По воскресеньям и четвергам при дворе происходили так называемые «куртаги»; в эти дни съезжались вельможи и придворные в роскошных цветных одеждах.

При дворе давались немецкие и итальянские спектакли, а в 1736 году Анна Иоанновна ввела в первый раз в России итальянскую оперу. Кроме того, императрица очень любила слушать песни своих фрейлин, наблюдать их танцы, а также посмеяться над проделками шутов и шутих, которых у нее было несколько.

Делами правления императрица почти не занималась, совершенно вверив их кабинету министров, во главе которого стоял ее фаворит Бирон. Само собой понятно, что однообразие жизни чисто физической, не оживляемой духовными интересами, угнетало монархиню, и она не раз сетовала на свою судьбу, тем более что нет-нет, но и до нее доходили сведения о грустном внутреннем положении империи.

Так и в описываемый день, вернувшись из церкви, государыня была особенно задумчива:

«Я — царица земли обширной, могучей; другие государи завидуют мне, счастливейшей монархиней в свете меня называют... Чего мне не хватает? Все, все есть у меня — могущество, богатство, слава, любовь народная... Я — мать своему народу... Полно, так ли? Мать сердечно любит своих детей, заботится о них, а я... Да нет, разве я не люблю моей Руси, дорогой родины? Разве я не пекусь о славе, о

могуществе моего народа? Если и есть какие упущения в моем правлении, так разве я за всем услужу?.. Я — женщина слабая, немощная... Господь меня простит... Он видит мою душу, читает мои помыслы... Одной мне не управить государством... Я правителей поставила, и если они правление ведут нечестно, неправильно, то на их душах будет грех, они за свою неправду перед Господом ответчики, они, а не я... И Богу ответят, и народу».

Как ни далеко стояла императрица от народа, разделенная с ним средостением из немцев, все же до нее доходили нерадостные вести о положении ее подданных. Действительно, русский народ в царствование Анны Иоанновны бедствовал и терпел страшную нужду от неурожая хлеба; к тому же опустошительные, почти повсеместные, пожары истребляли не только деревни, но даже и целые города. Пожары приписывались поджогам. К этим бедствиям присоединилось другое — разбойники. Целыми шайками бродили они по всем дорогам и нападали на пеших и конных, даже и на целые селения, предавая все огню и грабежу. Но главным образом народ страдал от своеволия начальствующих лиц. Каждый из этих лиц брал пример с высших правителей, которые, добившись выдающегося положения и понимая, что они могут быть лишь «калифами на час», всеми правдами и неправдами старались составить себе состояние. Государственная казна расхищалась безмерно, денег на государственные нужды в ней не было, и, конечно, народ был отягощен массой налогов. Всюду царили взяточничество, самоуправство всякая неправда за деньги становилась правдой и, конечно, народ изнемогал. Пример в притеснениях шел с верхов бюрократии, во главе с самим Бироном, в низшие слои представителей власти, и не было удерживающих угнетателей народа.

Императрица, раздумавшись о положении своей империи, как всегда, вызвала к себе Бирона. Герцог, войдя, низко поклонился и поцеловал протянутую ему государыней руку.

— Здравствуй, герцог, присядь. Скучно мне, больно скучно.

— С чего скучать изволите, ваше величество?

— Причин к тому, герцог, много: народные бедствия, неурожай, пожары, разбой, и все это удручающе действует на меня и повергает в страшную печаль. Кстати, герцог, ты был вчера на заседании совета министров?

— Как же, государыня, был в продолжение всего заседания, — ответил Бирон.

— Что же решили господа министры? Ведь пожары истребляют целые города. Это великое бедствие! Какие же меры приняты?

— Постановили, ваше величество, пойманных поджигателей сжигать всенародно — только эта кара может остановить пожары, а также в каждом городском доме положено иметь на дворах колодцы для безопасности от пожара.

— Эта мера хороша... колодцы иметь надо, но сжигать преступников-поджигателей — слишком жестокая кара. Ну, а что о разбоях?

— Министры положили, ваше величество, предписать воеводам и губернаторам стараться ловить и истреблять разбойников и предавать их смертной казни.

— Все казни да казни! — с неудовольствием проговорила государыня.

— Что делать, ваше величество? Этим только и можно остановить преступление. Русский народ слишком груб, его всегда надо держать под страхом плетей и казни.

— Герцог, что ты говоришь! — гневно проговорила Анна Иоанновна.

— Простите, государыня, говорю правду.

— Этой правдой ты и на меня, и на себя навлечешь народную ненависть. Ты слишком жесток, Иоганн... Смотри, не отплатил бы тебе народ тем же.

— Я никого и ничего не боюсь, ваше величество, лишь бы вы были ко мне милостивы.

— В этом, кажется, ты не можешь сомневаться, — ласково проговорила государыня Бирону, протягивая ему свою руку.

— О, ваше величество! Я безмерно счастлив вашей милостью, — целуя руку государыни, с чувством проговорил Бирон. — Хоть у меня и есть очень сильные враги, но я не боюсь их, — заискивающим голосом добавил он.

— Назови мне их.

— Извольте, государыня! Первый очень сильный мой враг, это — кабинет-министр Волынский.

— Ты уже слышал от меня, что Волынский — верный и преданный мне и государству человек, — с неудовольствием проговорила Анна Иоанновна.

— Со вчерашнего дня я навлек на себя еще большее нерасположение господина Волынского. Я приказал арестовать его любимейшего и преданного ему чиновника, ваше величество.

— За что? По какому делу?

— По делу ссыльных Долгоруковых, ваше величество.
— Господи, как все это мне надоело, как прискуучило!..
Эти Долгоруковы... Ну, что вы хотите делать с ними?

— Это — дело суда, государыня.

— Зачем ты, герцог, трогаешь Волынского?

— Помилуйте, ваше величество, я и не думаю его трогать.

— Нет, трогаешь, трогаешь, — сердито, нервным голосом проговорила Анна Иоанновна. — Зачем ты приказал арестовать его чиновника, зачем? Ты сделал это просто по злобе на Волынского.

— Храпунов, государыня, находится в сильном подозрении по делу Ивана Долгорукова.

— Какой такой Храпунов?

— Чиновник Волынского, ваше величество.

— Храпунов, Храпунов... фамилия мне знакома, хорошо знакома... Ну, все равно, отпусти его, Иоганн!

— Это невозможно, ваше величество. Пока не выяснится суть дел и преступлений Долгоруковых, Храпунова нельзя освободить из-под ареста. Его допрашивал генерал Ушаков. Храпунов был в большой дружбе с Иваном Долгоруковым и женат на его сестре.

— На которой? Ведь, помнится мне, у него две сестры — Екатерина и Елена.

— Этого не знаю, ваше величество.

— Надо узнать и доложить мне.

— Слушаю, ваше величество.

— Теперь того и жди — приедет ко мне Волынский и станет просить за своего чиновника.

Императрица не ошиблась — действительно, ей вскоре же после ухода Бирона доложили о приезде Волынского.

Артемий Петрович вошел к государыне сильно расстроенный и, кланяясь ей, произнес:

— Простите, ваше величество, мой приход потревожил вас.

— Что делать, уж такова моя доля. Ты, Артемий Петрович, по делу ко мне?

— Так точно, ваше величество. Дело спешное, от него зависит участь, а может быть, и жизнь человека. К вам, ваше величество, я пришел за правосудием, выслушайте меня, вашего преданного и верного слугу.

— Ну, говори, говори... слушаю.

— Государыня, меня лишили верного, исполнительного чиновника, скорее помощника, а у молодой жены отняли мужа, — горячо проговорил Артемий Петрович.

— Я что-то плохо понимаю тебя. Ты говоришь про Храпунова, что ли?

— Про него, государыня... Вашему величеству уже сказали...

— Да, сказали, его подозревают в соучастии с Иваном Долгоруковым.

— Это подозрение ни на чем не основано: Храпунов был всегда верным слугою своей родине.

— Ну, если он не виновен, то его выпустят.

— Я низайше прошу, ваше величество, отдать тотчас же приказание освободить Храпунова. Ваше величество, будьте правосудны и милосердны, возвратите бедной женщине мужа, она будет молиться за вас всю жизнь...

— Как же это?... Вдруг без герцога.

— Вы — монархиня властная. При чем же тут, ваше величество, герцог?

— Какой ты, Артемий Петрович, скорый. Тебе бы все вдруг! Надо подумать, посоветоваться. Я поговорю с герцогом завтра же и твоего чиновника освободят из-под ареста.

— Позвольте, ваше величество, мне сказать несколько слов.

— Довольно, довольно, Артемий Петрович!.. Я наперед знаю, про что ты станешь сказывать. Ты будешь говорить про народные бедствия, неурожаи, пожары и про другие обиды и напасти и по обыкновению станешь винить в том герцога, хоть он в этом нисколько не виновен, — с неудовольствием промолвила Анна Иоанновна, искоса посматривая на Волынского.

— Ваше величество, не я один говорю — про это говорит весь ваш народ.

— Оставь, пожалуйста, оставь! Нынче праздник. Вы мне и в праздник не дадите вздохнуть. И так невесело, а ты еще своими словами больше тоску на меня наводишь.

— Простите меня, всемилостивейшая государыня, — низко кланяясь и подавив в себе вздох, проговорил Волынский.

— Бог простит, голубчик. Мы с тобою как-нибудь... герцогу я не дам своевольничать, он не смеет. Мы обо всем с тобою поговорим, Артемий Петрович. А теперь, Артемий Петрович, не отравляй мне праздничного дня. Хочу я скуку разогнать, с фрейлинами песни попеть. Ах да, кстати: ну, как задуманное нами машкерадное зрелище в ледяных хорах?

— Дело подвигается вперед как нельзя лучше, ваше величество: мною посланы нарочные почти во все губернии, а также и ко всем инородцам. Я выписываю по двое, то есть по одному мужчине и по женщине.

— Хорошо, хорошо!.. Старайся, голубчик Артемий Петрович, может быть, это хоть немного разгонит мою хандру. А знаешь, я надумала в ледяных хоромах устроить для новобрачных спальню: желаю женить нашего шути князиньку Голицына на дуре-калмычке Бужениновой. То-то будет парочка: шут-князинька и шутиха-калмычка. Вот в ледяных хоромах мы и справим их свадьбу. Ведь прелестно я придумала? — уже весело проговорила государыня.

— Как нельзя лучше, ваше величество.

— Не все заниматься делами, надо веселью и потехе уделить час-другой. Ну, а теперь ступай к себе, Артемий Петрович, будь покоен, я прикажу выпустить твоего чиновника. Как его фамилия, я все забываю? Ах да, Храпунов.

Волынский стал откланиваться; государыня милостиво протянула ему свою руку, и Артемий Петрович, с должным почтением поцеловав ее, удалился. Императрица приказала позвать своих фрейлин, стала слушать их пенье и сама подпевала им.

Прошел день, другой, неделя, а Храпунов все томился в тюрьме — о его освобождении не думали. Герцог Бирон, чтобы досадить Волынскому, убедил государыню, что выпускать Храпунова из-под ареста никак нельзя, потому что есть улики, ясно говорящие о том, что он находился в сообщничестве с князем Иваном Долгоруковым.

— Но как же это? Ведь я дала Волынскому слово освободить этого Храпунова, — с досадою проговорила государыня Анна Иоанновна. — Он станет спрашивать. Что же я ему скажу?

— Скажите ему, что вы не мирволите преступникам, а караете их, — холодно произнес Бирон.

— Неужели Храпунов — такой преступник?

— Он — близкий человек Ивана Долгорукова и должен быть наказан. Генерал Ушаков нашел против него улики.

— Какие такие?

— Я сам, государыня, хорошо не знаю, какие, но только улики есть.

— Узнай, Иоганн, и скажи мне, кто уличает Храпунова. Впрочем, я сама спрошу у Ушакова.

Между тем тобольская экспедиция усердно работала над разбором дела Долгоруковых. В него было замешано до полусотни лиц, в числе их находились и караульные офицеры, и часовые, майор Петров и поручик Овцын, несколько березовских подьячих и «отставные дворяне», и «дети боярские», дворовые князя Ивана, и даже священники. Не удивительно после этого, если замешан был и Левушка Храпунов, которого держали под арестом в Шлиссельбургской крепости.

Правда, из замешанных многих отпустили, но девятнадцать человек из них подверглись строгой каре: майору Петрову в Тобольске отрубили голову в июне 1739 года, священники были биты кнутом и разосланы по дальним сибирским городам, а караульные офицеры разжалованы в рядовые. Что касается Храпунова, то никаких улик в том, что он был в сообщничестве с Иваном Долгоруковым, не было, однако отпустить его Бирону, по злобе на Волынского, не хотелось, и его оставили в Шлиссельбургской крепости.

Там же шли строгие, «с пристрастием» допросы доставляемых в крепость Долгоруковых. Инквизицией над ними управляли из Петербурга два Андрея Ивановича — Остерман и Ушаков, а за ними стояла целая толпа врагов и недоброжелателей несчастных ссыльных князей Долгоруковых.

Целый год тянулись допросы в Шлиссельбурге; начавшись в октябре 1733 года, они окончились в октябре 1739 года.

Этот процесс не мог не обратить на себя внимания и в России, и за границей. Униженная и оскорбленная фамилия временщиков снова воспрянула через десять лет! Все с напряженным вниманием следили за ее дальнейшей судьбой, но никто ничего не знал определенного относительно того, зачем везут в Шлиссельбург Долгоруковых с разных концов России. И вот иностранные дипломаты стали прислушиваться к слухам и толкам и заносить их в свои депеши и в заграничные листки и журналы.

В то время Россия переживала трудное для нее время, и почва для слухов была обильная. Начались преследования родовитых русских людей. Граф Апраксин, князь Волконский, князь Алексей Михайлович Голицын, обращенные в придворных шутов, играли в чехарду в спальне больной

императрицы, кудахтали, сидя на лукошках с яйцами, и нежно заботились о здоровье царской собачки. В 1737 году была низложена вся фамилия Голицыных; вождь верховников в 1730 году князь Д.М.Голицын был заключен в Шлиссельбург, его сыновья и другие родичи сосланы кто в Казань, кто в Астрахань, кто в Сибирь.

Носились слухи, что Долгоруковы замыслили государственный переворот в пользу принцессы Елизаветы Петровны; рассказывали даже подробный план этого переворота. Заговорщики находились будто бы в сношениях со Швецией и Францией. При ожидавшемся всеми поражении русской армии в Молдавии, шведские войска должны были вступить в пределы России, что явилось бы сигналом к перевороту. Предполагалось императрицу заключить в монастырь, произвести еще более короткую расправу с герцогом Бироном, а принцессу Анну Леопольдовну и герцога Брауншвейгского, помолвка принцессы с которым была почти улажена, отправить обратно в Германию. Затем хотели вообще прогнать всех немцев и в заключение всего провозгласить императрицею Елизавету Петровну, обвиняв ее с Александром Нарышкиным, жившим с 1730 года за границей.

Однако успех Миниха в Молдавии (взятие Хотина и переход через Прут) расстроил все планы. 31 октября 1739 года было образовано обычное в то время для политических процессов «генеральное собрание», состоящее из кабинет-министров, сенаторов и трех первенствующих членов синода, с депутатами от придворного штата, от гвардии, от генералитета, военной и адмиралтейств-коллегии, губернской с.-петербургской канцелярии с ревизион-, коммерц- и юстиц-коллегиями. Генеральное собрание, выслушав «изображение о государственных воровских замыслах Долгоруковых, в которых по следствию не токмо обличены, но и сами винулись», — в тот же день постановило следующий приговор: князя Ивана Алексеевича четвертовать, а затем отсечь ему голову; князьям Василию Лукичу, Сергею и Ивану Григорьевичам отсечь головы. О фельдмаршале Василии Владимировиче и брате его Михаиле Владимировиче говорилось: «Хотя они и достойны смерти, но передается о них на высочайшую милость императорского величества». Все имущество Долгоруковых, движимое и конфискованное в 1730 году недвижимое, было отписано на ее императорское величество¹.

¹ «Древняя и новая Россия», 1879 г.

6 ноября 1739 года в Новгород прибыл Андрей Иванович Ушаков, чтобы присутствовать при казни, которая была назначена на 8 ноября. Один из родичей Долгоруковых¹ так описывает казнь несчастного князя Ивана:

«В версте почти от Новгорода лежит большая болотистая местность, отдаленная от города оврагом с высохшим на дне его ручьем, известным под названием Федоровский ручей. На этом болотистом месте находилось кладбище для бедных, так называемое Скудельниче кладбище. В четверти версты от него был воздвигнут эшафот. Начали с наказания кнутом трех меньших братьев князя Ивана, из которых Николаю, кроме того, «урезали» язык; затем отрубили головы князьям Ивану и Сергею Григорьевичам и Василию Лукичу. Наконец, очередь дошла до Ивана Алексеевича, приговоренного к четвертованию. Он вел себя в эту высокую и страшную минуту с необыкновенной твердостью; он встретил смерть — и какую смерть! — с мужеством истинно русским. В то время, когда палач привязывал его к роковой доске, он молился Богу; когда ему отрубили правую руку, он произнес: «Благодарю тебя, Боже мой», при отнятии левой ноги — «яко сподобил мя еси»... «познати тя» — произнес он, когда ему рубили левую руку, и лишился сознания. Палач поторопился кончить казнь, отрубив ему правую ногу и вслед затем голову».

Так закончил свою жизнь некогда всесильный фаворит императора-отрока. Он был обманут призрачным счастьем, мишурным блеском. Девять долгих мучительных лет провел он в ссылке «в стране медведей и снегов» и умер тридцати одного года от руки палача. Все преступления и проступки он искупил своею смертью.

Как страдала, как убивалась жена несчастного князя Ивана, княгиня Наталья Борисовна, когда до нее в Березов дошла весть о казни горячо любимого мужа, поймет всякий.

Между тем Храпунов все продолжал сидеть в крепости под строгим караулом; его как будто все забыли, кроме Маруси да его старика-дяди. Маруся вспоминала своего мужа-узника горькими слезами. Она все дни проводила в страшном горе, чуть не в отчаянии, а старый майор обивал приемные у русских вельмож в надежде заручиться их помощью и защитить племянника. Люди власть иму-

¹ Н В Долгорукий

щие принимали его, даже выказывали некоторое сочувствие к его горю, но по большей части это сочувствие ограничивалось только жалостью и словами. Им известно было, что Бирон считает Храпунова своим врагом, и заступаться за Храпунова — значило идти против всесильного, могущественного Бирона. А кто осмелился бы идти против него?

Один только Артемий Петрович Волинский несколько не испугался подать свой голос за Храпунова, но даже его голос остался «голосом вопиющего в пустыне».

Императрица не забыла своего обещания Волинскому освободить из крепости Храпунова и вновь обратилась к Бирону с вопросом, какие же именно улики имеются против несчастного. Но на это герцог опять ответил:

— Не припомню. Если угодно вашему величеству, я спрошу у Ушакова.

— Спросить про это я и сама сумею, — сердито проговорила Анна Иоанновна, — но мне неприятно, что это дело так тянется. За Храпунова просил меня Волинский, и я дала ему слово освободить узника.

— Это сделать нельзя, государыня, — твердым голосом проговорил Бирон. — Я замечая, ваше величество, что кабинет-министр Волинский открыто идет против меня... Мои враги становятся его друзьями... у него происходят собрания.

— Какие собрания? — с неудовольствием спросила у Бирона Анна Иоанновна.

— Или, скорее, совещания относительно того, как бы отдалить меня от особы вашего величества, даже более — искоренить меня, уничтожить...

— Что ты говоришь, герцог?

— Непреложную правду, государыня.

— Знай, герцог, Волинский — мой верный слуга, и я не потерплю никакой обиды против него. Ты считайся с ним, как знаешь, это — твое дало, но повторяю: Волинский — нужный мне человек; его служба нужна государству!

Бирон не стал возражать, а только как-то значительно улыбнулся.

Между тем майор Гвоздин чуть не ежедневно ходил к Волинскому узнавать про участь своего племянша и всегда со слезами просил заступиться за Храпунова, доказывая его невиновность.

— Я и сам знаю, что Храпунов не виновен, но что же мне делать? Я просил государыню, она обещала отдать при-

казание освободить, но обещание, кажется, так и осталось одним только обещанием, — при одной из таких бесед печально произнес Артемий Петрович.

— И бедняга мой племянш продолжает сидеть в крепости, ни в чем неповинный!.. Где же правда, ваше превосходительство, где правда? — с тяжелым вздохом проговорил Петр Петрович, опуская свою седую голову.

— Спроси о том у Бирона... он скажет.

— Тяжелое время настает, ваше превосходительство, тяжелое! Бироновщина у нас на Руси командует. Лихва да неправда свили себе гнездо в нашей земле, а матка-правда, видно, улетела к Богу на небо.

— Да, да, ты прав! — горячо воскликнул Волинский. — Но так долго продолжаться не может, надо положить конец! Своеволие Бирона не знает предела. Довольно нам, русским, терпеть своеволие немца. Я объясню государыне все зло и неправду, которую старается посеять в нашей земле этот конюшенный герцог. Я стану на коленях просить государыню избавить наш народ от бироновщины!

Артемий Петрович решил исполнить свое намерение и без боязни вошел в апартаменты императрицы. Герцога Бирона там не было, и Волинский, воспользовавшись удобным временем, решился напомнить государыне о своем ходатайстве за Храпунова.

— Помню, помню! Я говорила и с герцогом, и с Ушаковым, и оба они находят возможным выпустить из крепости твоего чиновника, — быстро проговорила Анна Иоанновна.

— Ваше величество, но ведь это — беззаконие! — вспыхнув, проговорил Волинский.

— Что такое? Ты говоришь — беззаконие? — хмуря брови, переспросила государыня.

— Да как же? Разве не беззаконие неповинного человека держать в тюрьме? Государыня, у меня сердце изболело смотреть на беззаконие и неправду, которые свили себе гнездо в твоём царстве. Прости, матушка-царица, говорю, что чувствую. Народ на тебя, державная монархиня, все свои надежды возлагает. Будь матерью народа — вытри его слезы... своей державной властью искорени в государстве и злобу, и неправду. Говорю и молю тебя, государыня, не от себя одного, а от всего народа русского. Внемли нашей слезной просьбе! — и Артемий Петрович со слезами опустил на колени.

— Встань, Артемий Петрович... Господи, как все это скучно!.. Ну что вам от меня надо? Что? — с раздражением проговорила государыня.

— Милости и правды, великая монархиня.

— Я знаю, чего вы хотите, чего добиваетесь... Вы хотите, чтобы я отстранила герцога? Ведь так?

— Не отстраняйте его, только ограничьте его власть.

— Ты, кажется, забываешься, Артемий Петрович? Ведь властвую над русской землей я, а не герцог.

— О, если бы это так было, ваше величество!.. Но этого нет! Бирон над Русью властвует, немец, пришлец...

— А я-то — что же, по-твоему? — вся вспыхнула государыня.

Волинский молча понурил голову.

— Впрочем, довольно об этом! Надоело, прискучило! Ступай себе, Артемий Петрович, только, предупреждаю, в другой раз говори осторожнее. Твои слова могут быть доведены до ушей герцога, а я не советую тебе заводить с ним ссору и наживать в нем врага себе. Ты меня, надеюсь, понял?

Волинский откланявшись стал уходить, но в самых дверях кабинета государыни встретил Бирона. Оба они слегка поклонились взаимно и бросили друг на друга взгляды непримиримой ненависти и злобы. Бирон был слишком мелочен и подозрителен и, узнав, что в кабинете находится Волинский, у двери подслушал от слова до слова весь разговор, происшедший между государыней и Артемием Петровичем.

Когда он появился в кабинете императрицы, последняя испуганно спросила его:

— Герцог, ты был здесь?

— Да, ваше величество, здесь, у двери, — спокойно ответил Бирон.

— И, стало быть... ты... ты слышал мой разговор с Волинским?

— От слова до слова.

— Ты подслушивал! — с неудовольствием воскликнула Анна Иоанновна.

— Если хотите, государыня, да... подслушивал.

— И ты... об этом говоришь так спокойно?

— С чего же я стану волноваться? Волинский мне не страшен. И я всегда сумею укротить его.

— Ты слишком самонадеян, герцог. Повторяю, я ничем не позволю тебе обидеть Волинского. Ни раздоров, ни ссор твоих с Волинским я не желаю.

— Ваше величество! Ссориться с Волынским я считаю для себя унижительным и потому только прошу вас, государыня, отдалите его от двора.

— Что? Что такое? Отдалить Волынского? Никогда!..

— В таком случае я покину ваш дворец, двоим нам, государыня, тесно жить. Он или я? Выбирайте! — громко и внушительно проговорил Бирон.

— Что вы меня мучаете? Что вам надо? Смерти моей вы хотите? Господи, не дают мне покоя. Ведь это — мучение! — с раздражением и слезами проговорила императрица и, не сказав более ни слова, вышла из кабинета, оставив Бирона.

«Осердилась государыня. Кажется, я через край хватил, — подумал герцог. — Надо подождать немного трогать Волынского. Ну что же, подождем. Пусть он повеселит государыню своей затеей, пусть построит ледяной дом. Это несколько может поправить государыню. Но помни, Волынский, жить нам вдвоем на свете тесно. Ты не хочешь уступить мне, так я силою заставлю тебя сойти с моей дороги».

Между тем здоровье императрицы Анны Иоанновны становилось все слабее, она стала часто прихварывать, часто и подолгу скучала; для нее требовались развлечения, назначались частые охоты, в которых императрица принимала участие. Анна Иоанновна очень любила стрельбу из ружья. В Петербурге и его окрестностях было несколько зверинцев, в которых находилось множество различных зверей и птиц специально для забавы государыни. Вообще русский двор совершенно преобразился при императрице Анне Иоанновне; она хотела, чтобы он ничем не уступал в пышности и великолепии всем другим европейским дворам, а потому учредила множество придворных чинов и должностей, завела итальянскую оперу и балет, немецкую труппу и оркестры музыки и выписывала из-за границы лучших артистов того времени. Прежний дворец показался ей малым, и она приказала построить великолепный новый дворец, большой, трехэтажный. Этот дворец — ныне Зимний — вмещал в себе церковь, театр, роскошный тронный зал и семьдесят покоев различной величины. Торжественные приемы, праздники, балы, маскарады, спектакли, фейерверки и тому подобные забавы и увеселения беспрерывно одни за другими следовали при дворе.

Кабинет-министр Артемий Петрович Волынский, замечательный человек своего времени, пользовавшийся любовью и доверием государыни, вздумал удивить больную

императрицу и жителей Петербурга невиданным дотоле зрелищем, а именно постройкой на Неве, в январе 1740 года, ледяного дома. Вспомнили когда-то устроенную императором Петром I в честь взятия неприятельских фрегатов свадьбу князя Бутурлина и теперь, чтобы несколько развеселить государыню, придумали сделать нечто похожее. Программу маскарада взялись написать Волинский и Черкасский. Героем маскарада задумали сделать Голицына, разжалованного из князей в шуты за принятие им католической веры. Задумали женить его на карлице из простого звания — Бужениновой. Тредиаковскому, поэту того времени, на этот случай заказаны были стихи, или «вирши». Вытребовали в Петербург для участия в шутовской процессии представителей всех племен, населяющих Россию; приехали черемисы, мордва, остяки, татары, калмыки и прочие инородцы с женами. Свадьбу предполагали справить в ледяном доме.

Последний был построен из ледяных глыб в форме камня, имел в длину восемь сажень, с воротами по обеим сторонам, с пристроенною для молодых ледяной баней, с оттаянными наподобие бревен углами, с ледяной печью-каменкой, полками, лавками и с прочими для баньки ледяными принадлежностями. Перед крыльцом, которое разделяло здание на две половины, стояли ледяные дельфины с раскрытой пастью, а кругом шла тонкая решетка. Дверцы и оконные косяки были выкрашены под мрамор, а стекла сделаны из тонкого льда. На воротах стояли вазы с померанцевыми деревьями, а подле них — ледяные деревья с ледяными листьями; внутренность здания отделали со всею тщательностью и изяществом. В спальне для молодых стояла ледяная кровать с ледяными занавесками, постелью, подушками, одеялом, туфлями, колпаком и с ледяным камином в углу; там лежали дрова, сделанные тоже из льда. Другая комната служила уборной для молодых; в ней вся мебель и прочие принадлежности тоже были сделаны из льда. Стаканы, рюмки, тарелки и даже блюда с кушаньями — все было ледяное. Особенно заслуживали внимания ледяные столовые часы; они были сделаны с большим искусством, даже можно было разглядеть сквозь тонкий лед весь часовой механизм и колеса.

Большими толпами собирались петербургские жители на Неву и немало дивились на ледяной дом с его затеями. Сильные морозы, стоявшие в январе и феврале 1740 года, способствовали сохранению и отделке этой грандиозной ледяной игрушки.

Маруся Храпунова, и без того убитая горем, пришла в сильное отчаяние, когда до нее дошла весть об ужасной казни, постигшей ее брата Ивана Долгорукова. Она вспомнила свое пребывание в Березове, в семье ссыльных Долгоруковых, а также нежное родственное отношение к ней князя Ивана и оплакала его ужасную смерть искренними слезами.

— Может быть, и моего милого мужа, ни в чем не повинного, тоже ждет казнь, — заливаясь горькими слезами, проговорила она, обращаясь к секунд-майору Гвоздину.

Петр Петрович забыл свою усадьбу Красную Горку и жил волей-неволей в ненавистном ему Питере.

«Нельзя же молодую бабенку оставить одну в Питере без призора, — думал он. — Мало ли что может случиться? Да притом она мне не чужая, а родного племянника жена. Если я о ней не буду заботу иметь и попечение, то чужой и подавно. Вот выпустят племяша, тогда иное дело».

Однако проходили дни, недели, а Левушка не возвращался. Его продолжали томить в тяжелом заключении.

Еще с большим нетерпением поджидала возвращения своего милого мужа Маруся. Но напрасно считала она все дни, часы и минуты — муж к ней не приходил. Крепки были замки и двери у каземата в крепости, зорко смотрели глаза сторожей на узников, там томившихся. Ни Маруси, ни Гвоздина не допускали до свидания с заключенным, несчастная совсем отчаялась свидеться с мужем; ей даже представилось, что его казнят, и она высказала это предположение дяде.

— Да с чего ты вздумала это? За что казнят Левку? За какую такую провинность? — возразил Петр Петрович.

— Ах, дядя! Не станут за Левушкой никакой вины искать... Ведь казнили же Долгоруковых...

— Да ведь их признали виновными.

— Злым людям немного надо — и за малейшую вину казнят.

— Ведь это не казнь будет, а убийство, — горячо промолвил старый майор, а затем, походив в задумчивости по горнице вдруг воскликнул: — А знаешь, Маруся, что я скажу тебе? Я спасу племяша или сам погибну.

— Что ты, дядя, как? — обрадовавшись, спросила Маруся.

— О том, как я надумал спасти Левушку, я пока ни слова не скажу тебе. Ведь поверить бабе тайну — это все равно что выйти на площадь, где много народа, да и сказать громко при всех про свою тайну.

— Дядя, неужели ты считаешь меня такой? — слегка обидевшись, проговорила молодая женщина.

— Бабы все на один покров. Прости, если мои слова тебе не понравились. Лучше вот что сделай — молись, надейся, и Бог поможет нам спасти безвинного.

На следующий день рано утром старик-майор собрался идти куда-то. Предварительно он снял с себя майорский мундир и, надев вместо него рваный мужицкий полушубок, сапоги заменил лаптями, а треуголку — мужицкой же бараньей шапкой, зашел в горницу к Марусе проститься.

Молодая женщина воскликнула от удивления, увидев Петра Петровича в таком одеянии:

— Дядя, что это значит? Ведь теперь не святки?

— Помалкивай, племяннушка, помалкивай и прощай.

— Разве ты уходишь?

— Знамо, ухожу... для чего же я по-мужицки-то нарядился? Я иду спасать твоего мужа.

— Бог да поможет тебе, милый дядя.

— Прощай, Маруся, может, мы больше и не увидимся. Ведь не в гости я иду, не на пиршество. Надо быть готовым ко всему. Прощай, племянница! Помолись за меня, грешного! — И майор со слезами, крепко обняв Марусю, перекрестил ее и поспешно вышел из горницы.

Молодая женщина опустилась на колени перед иконой и стала усердно молиться, прося у Бога пощады своему мужу.

Через несколько дней к воротам Шлиссельбургской крепости подошел какой-то старик в плохом дубленом полушубке и в нахлобученной бараньей шапке и, посмотрев на часового, мерно расхаживавшего около ворот, отошел в сторону; он, очевидно, кого-то дожидался.

Вот загремел засов, узкая и низкая калитка, сделанная в воротах, отворилась. Вышел крепостной сторож и махнул старику в полушубке рукою, делая вид, чтобы тот подошел. Печальное и хмурое дотоле лицо старика преобразилось, и он быстро подошел к калитке.

— Входи, — тихо проговорил ему крепостной сторож и пропустил старика в калитку.

Старик очутился на крепостном дворе.

— Принес деньги? — так же тихо спросил у старика сторож.

— Принес... все по уговору, пять рублевиков.

Старик дрожащею рукою подал сторожу пять серебряных рублей.

— Верно, — пересчитывая деньги, промолвил крепостной сторож. — А остальные когда?

— По уговору... Вот поступлю в сторожа, тогда и по лучай остальные сполна.

— А не обманешь, старик?

— Вона... Стану ли обманывать, когда у тебя в руках нахожусь.

— Сейчас смотритель выйдет, он тебя и возьмет в сторожа. Только, старина, готовь деньги.

— За этим дело не станет.

Этот разговор был прерван приходом смотрителя.

— Никифор, этот, что ли, сторож, про которого ты мне говорил? — спросил последний у сторожа.

— Так точно, ваше благородие.

— Ты наниматься пришел в крепостные сторожа? — обратился к старику смотритель. — Ты из солдат?

— Отставной солдат, ваше благородие... тридцать лет верой и правдой отслужил отечеству.

— И опять служить задумал?

— Отчего же не служить, ваше благородие, когда ноги ходят, глаза еще видят, а руки работать могут?

— Молодчина! А в сражениях был?

— Бывал, ваше благородие, воевал я и со шведами, и с турками под командою батюшки-царя Петра Алексеевича; медали имею. — И старик, распахнув полушубок, горделиво показал на две медали, красовавшиеся на груди его солдатского мундира.

— Молодец! Таким служак нам и надо. Я охотно принимаю тебя на службу в крепость. А как тебя звать?

— Петром Костиным прозываюсь.

— Ладно, так и будем знать. Ну, с нынешнего дня ты состоишь на службе в крепости. Обязанность твоя будет состоять в следующем: будешь носить заключенным обед, ужин, следить за порядком. Впрочем, Никифор скажет тебе, что делать, поучит. — И смотритель ушел к себе.

— Видишь, как обстроили мы дельце-то! — самодовольно проговорил сторож, обращаясь к старику. — За это и рублевик прибавить не грех.

— Не один, а два дам, только приставь меня к той тюрьме, где содержится Храпунов.

— Приставить-то я тебя, Петр, приставлю, только, гляди, не выпусти арестанта. Выпустишь, так и тебя, и меня

на смерть забьют плетью, да и арестанту твоему не убежать. А если и убежит, то поймают и цепи наденут, а то к стене цепью прикуют его.

На это старик ничего не ответил, а только вздохнул.

— Ты что же молчишь-то? Сказывай: не выпустишь арестанта?

— А если выпущу?

— Да как ты смеешь! Как смеешь! Я смотрителю заявлю, — загорячился крепостной сторож.

— Постой, Никифор, не горячись, простынь маленько. Ты лучше скажи, много ли с меня возьмешь рублевиков за то, что будешь помогать мне в устройстве побега Храпунова?

— Мало за это не возьму, потому что своя шкура дороже денег. А тебе очень надо выпустить Храпунова?

— Известно, брат Никифор, надо! Ведь затем я и подкупил тебя, и в крепость сторожем поступил.

— Ты подкупил меня только затем, чтобы я определил тебя в сторожа, а о побеге арестанта уговора не было.

— Ты только согласишься мне помогать, а уже мы с тобой уговоримся. Теперь же ты только покажи мне каземат, где заключен Храпунов. Веди меня скорей к племяннику.

— Ну, пойдем. Теперь, кстати, время обедать арестантам, вот ты и снесешь своему племяннику обед. А парень он смирный, хороший. Да постой-ка, постой!.. Ты говоришь, что Храпунов — твой племянник, а ведь он — барин, у министра важным чиновником состоял. Как же это, он — барин, а ты — простой солдат? — недоумевая, проговорил Никифор.

— Так что же? Разве не бывает, что отец — простой мужик, а сын — барин?

— И то, и то, бывает. Ну, пойдем.

Много трудов стоило Гвоздину добыть фальшивый паспорт на имя отставного солдата Петра Костина; не легко ему было также подкупить сторожа Никифора, с помощью его проникнуть в Шлиссельбургскую крепость и наняться в тюремщики. На это надо было время и деньги.

Сторож Никифор показал ему камеру, где был заключен Левушка Храпунов, и дал ключ от двери. Майор дрожащею рукою отпер дверь, вошел в камеру и застал своего племянника сидящим у стола, спиною к двери.

Храпунов потерял всякую надежду на освобождение и волей-неволей принужден был покориться своей горькой участи. Помощи он не ждал ниоткуда.

— Лева, племяш, — тихо позвал его старый майор.

Храпунов быстро обернулся и крик радости и удивления вырвался у него.

— Дядя, дядя, ты ли? Как ты попал? Как тебя допустили? — крепко обнимая и целуя дядю, проговорил Левушка.

— Об этом, племяш, после. Ведь я — твой тюремщик. Я нанялся в крепость в сторожа. Ты поймешь, племяш, для чего я это сделал, поймешь.

— Милый, дорогой дядя. Ты не забыл, не забыл меня.

— Тебя забыть? Эх, племяш!

— Но что жена? — бледнея, спросил Храпунов.

— Плачет, покоя себе не видит: все по тебе тоскует.

— Милая, милая! Дядя, голубчик, спаси, спаси меня из этой могилы!.. Ведь измучился я, исстрадался. — И Храпунов тихо, но судорожно зарыдал, закрыв лицо руками.

— Никто, как Бог. Надейся и молись. Я затем и тюремщиком твоим стал, чтобы тебя спасти.

Послышался легкий стук в дверь.

— Прости, племяш, пока, меня зовут. Но опять скоро приду к тебе. — И майор, выйдя из камеры, запер дверь.

В следующие дни свидания повторялись регулярно, и хотя они были непродолжительны, но постепенно Гвоздин рассказал Левушке все, что произошло во время его заключения в крепости, и утешал его надеждой на бегство.

— Только бы случая дожидаться, а уж я тебя, Левушка, выведу отсюда, — не раз говорил он Храпунову.

И этот случай выпал. В Петербурге должны были состояться «машкерадное действо» и свадьба шута Голицына с калмычкой-шутихой. Подобное развлечение представлялось из ряда вон выходящим и, конечно, всякий, кто только мог, стремился побывать на нем. Не избежал этого искушения и начальник крепости, и именно его отсутствием и отъездом в Санкт-Петербург и решил воспользоваться майор Гвоздин, чтобы осуществить намеченный план освобождения Левушки.

Едва начальник крепостной тюрьмы уехал и наступил темный морозный вечер, майор вошел в тюрьму к племяннику с небольшим узелком в руках и тихо проговорил:

— В узелке мужицкий кафтан, надевай его скорее поверх своей одежды, помолись Богу и беги.

— А как же ты? — с беспокойством спросил Левушка.

— Обо мне не беспокойся. Спасайся ты... не медли же, пока есть время... А потом и я следом за тобою...

— То-то... уж если бежать, то вместе.

Храпунов поверх своей одежды поспешно надел мужицкий кафтан, на голову нахлобучил высокую баранью шапку и вышел из тюрьмы в сопровождении своего дяди.

Они, никем не остановленные, дошли до крепостных ворот, но были бледны как смерть. Майор опасался за успех своего дела, несмотря на то, что им были подкуплены некоторые тюремные сторожа и часовые солдаты.

— Кто идет? — спросил у беглецов сторожевой солдат, когда они подошли к воротам и отворили калитку.

— Свои, свои, — дрожащим голосом ответил майор.

— Кто свои-то?

— Я... я — тюремный сторож, а это — печник, — и при этом майор показал на Храпунова.

— Проходите.

Сторожевой солдат отошел от калитки, Храпунов и его дядя очутились на свободе.

Это бегство удалось потому, что майор Гвоздин более двух недель пробыл в должности тюремного сторожа и своей аккуратной службой приобрел некоторое доверие от крепостного начальства. На его обязанности лежало убирать камеры, носить еду и питье заключенным; ключи от камер находились у смотрителя, который два раза в день приходил и передавал их сторожам. Между последними были распределены камеры арестантов, и каждый сторож разносил по своим камерам обед и ужин заключенным, потом запирал камеры, а ключи обратно относил смотрителю. Так сделал и секунд-майор, мнимый тюремщик: он взял у смотрителя ключи, разнес по камерам к заключенным ужин, запер камеры, ключи отнес обратно, но у камеры своего племянника оставил замок отпертым. Другие тюремные сторожа не обратили внимания на то, что Петр Петрович шел по коридорам крепости с каким-то мужиком. Старший же над сторожами был подкуплен майором, и таким образом Гвоздин и его племянник благополучно выбрались из крепости.

А в это самое время в Петербурге происходило занесенное на страницы истории торжество в ледяном доме. Несмотря на страшный мороз, народ со всех сторон столицы валил на Неву к ледяному дому и к манежу герцога Бирона, чтобы посмотреть на шутовскую свадьбу. Громадная толпа в ожидании невиданного зрелища обменивалась впечатлениями.

Вдруг в безветренном морозном воздухе послышалось:

— Сторонись, везут, едут!..

Многотысячная толпа заволновалась, зашумела.

Действительно, ехала довольно странная, невиданная процессия свадебного поезда сиятельного шута Голицына, прозванного Квасниковым, с шутихой-калмычкой Бужениновой. «Поезжане» потянулись длинным поездом: тут были абхазцы, остяки, мордва, чуваша, черемисы, вятичи, самоеды, камчадалы, киргизы, якуты, хохлы, калмыки, финны и множество других «разночинцев» и «разноязычников». Каждый из них ехал с женою в своем национальном костюме, кто на оленях, кто на верблюдах, на собаках, на волах, на свиньях, на козлах, на медведях и так далее; ехали они в санях, сделанных наподобие разных зверей, рыб и птиц. Жених с невестой сидели в большой клетке, установленной на спине слона; каждый из инородцев ехал со своею музыкой, пели песни, ломались, свистели на разные голоса.

Свадебным поездом управляли Волынский и Татищев.

Поезд проехал по всем главным улицам Петербурга и остановился у манежа герцога Бирона. Там на нескольких длинных столах был приготовлен обед; перед каждым инородцем были поставлены его местное излюбленное блюдо, вино и другой какой-либо напиток. На обеде присутствовали императрица, Бирон, министры, весь двор и иностранные послы. Императрица была весела, много смеялась и забавлялась песнями, играми и пляской инородцев.

Поэт Тредиаковский приветствовал молодого князя-шута и его жену калмычку Авдотью Буженинову особым стихотворением своего сочинения.

По окончании бала в манеже пестрый поезд в сопровождении молодых в клетке на слоне отправился в ледяной дом. Последний представлял собою какое-то фантастическое зрелище; он горел тысячами огней, которые эффектно переливались в его прозрачных стенах и окнах. Ледяные дельфины и слон метали целый поток яркого пламени; смешные картины вертелись кругом для потехи собравшегося народа.

Императрица, пробыв несколько времени в ледяном доме, окруженная придворным штатом и иностранными послами, уехала в свой дворец. Молодых с различными русскими обычаями уложили на ледяную постель и к дому приставили караул, из опасения, чтобы счастливые новобрачные не вздумали раньше утра покинуть свою спальню. Всем было весело, только не новобрачным. Горе, стыд, позор глодали душу князя-шута, а молодая дрожала от нестерпимой стужи.

Пред своим отъездом императрица Анна Иоанновна несколько раз принималась благодарить Артемия Петровича Волынского, как распорядителя по устройству ледяного дома.

— Никогда я не была так весела, как сегодня, и благодаря этому веселью даже забыла про свою болезнь, — милостиво проговорила она, протягивая руку Волынскому.

— Я безмерно счастлив, ваше величество, что мои труды и хлопоты по устройству ледяного дома не прошли даром, — целуя протянутую руку, промолвил министр.

— Да, да, я очень благодарна вам, Артемий Петрович, вашим помощникам и принимавшим участие в этой потехе.

Волынский проводил государыню до кареты.

Бирон в этот вечер как бы играл вторую роль, первое же место при императрице занимал Волынский. Во время празднества в ледяном доме государыня почти не обращала внимания на герцога Бирона, на время Волынский отстранил его. Но Бирон не мог забыть это, и в тот же вечер была решена судьба Артемия Петровича.

— Он или я, а двоим нам тесно жить на свете, за свое пренебрежение ко мне Волынский поплатится головой, — тихо, но злобно проговорил Бирон, видя, как государыня внимательна и милостива к Артемию Петровичу.

VII

Темная морозная ночь скрыла Гвоздина и Храпунова, бежавших из крепости. Очутившись на свободе, они быстро, чуть не бегом пошли к Петербургу и в первом же селении подрядили одного чухонца отвезти их в Петербург.

Лошади неслись быстро, и к полудню беглецы добрались до Петербурга, проведя всю ночь в дороге. Не доезжая несколько до Петербурга, майор и Храпунов рассчитались с чухонцем и вошли в город не через заставу, а стороною, через вал; эта дорога была нелегка, они беспрестанно вязли в снегу и попадали в сугробы. Усталые, измученные, беглецы наконец добрались до той улицы, где жила Маруся.

Тяжелую, полную горя жизнь проводила молодая женщина. Мало того, что ее муж находился в тюрьме, и она не знала, будет ли он когда-нибудь выпущен, теперь вдруг бесследно пропал и ее последний защитник, дядя-майор.

Правда, она догадывалась, что старик отправился освобождать ее дорогого Левушку, но полное отсутствие известий о нем чрезвычайно тяготило и беспокоило ее, и она не раз думала, что дядя либо сам попал в острог, либо погиб.

При ней находились только преданная ей девушка Дуняша да старый дворовый Захар, который раньше был крепостным Гвоздина, а затем подарен им Храпунову. Других наемных слуг Маруся рассчитала, и в числе их находился один, который был подкуплен клеветами Бирона.

Невозможно описать ту радость, с которой встретила молодая женщина своего горячо любимого Левушку. Она и плакала, и смеялась, обнимая мужа.

Когда первый порыв их радости прошел, старый майор обратился к племяннику и его жене с такими словами:

— Ну, молодежь, будет вам целоваться да миловаться... надо и про дело поговорить. Необходимо решить, куда нам ехать и где укрыться от наших врагов.

— А разве это надо? — наивно спросила молодая женщина.

— А ты полагаешь, что нам в Питере по-прежнему можно жить? Нет, нам надо бежать отсюда возможно скорее.

— Да, Маруся, дядя прав, нам надо скорее где-нибудь укрыться, — с глубоким вздохом проговорил Левушка.

— Господи, куда же нам бежать, где укрыться?

— Слушайте! Из Питера мы выйдем пешком, и чтобы не навлечь на себя подозрения, оденемся мужиками. В ближайшей деревушке мы найдем подводу до Москвы и в перепрестольной поищем место, где укрыться... Там нас не скоро найдут. А если в Москве нам жить будет опасно, то найдем и другое место... Ведь белый свет не клином сошелся, — проговорил старик-майор.

С ним вполне согласились Левушка и его жена, причем решили взять с собою Захара и Дуняшу.

Пока Храпунов и Маруся собирались в дорогу, их дядя сходил на площадь и купил себе и племяннику простые дубленные полушубки и валеные сапоги, а для Маруси — простую же беличью шубенку.

Вечером они пошли в свой новый, опасный путь и через несколько времени кое-как добрались до ближайшей к Петербургу деревеньки, население которой составляли переселенцы-мужики из-под Смоленска.

Была глубокая, морозная ночь, когда они вошли в деревеньку; кругом было полнейшее безмолвие, так как все давным-давно спали, и нигде не видно было ни огонька.

Путники постучали в оконце первой попавшейся избы, но в ответ услышали только один собачий лай, нарушавший ночную тишину. Тогда Захар и руками и ногами застучал в ворота, и на этот раз со двора послышался заспанный, сердитый голос:

— Кто стучит в ночной час?

— Укрой, добрый человек, от морозной ночи, пусти переночевать! — попросил Захар.

— Проходи дальше, не тревожь — все равно ночью никого не впускаю.

— Мы тебе заплатим.

— А сколько вас?

— Всего пятеро.

— Ишь!.. Да у меня для всех и места не хватит.

— Потеснимся как-нибудь... Пусти, хорошую деньгу за ночлег дадим.

— Да кто вы будете?

— Мастеровые... идем из Питера в Москву.

— Коли так — входите.

Мужик отворил калитку и пустил путников на двор.

Изба у мужика была просторная, чистая, и наши путники удобно расположились в ней. Все они нуждались в покое и в отдыхе. Особенно устала бедная Маруся.

Однако, едва стало рассветать и все еще спали, старый майор уже проснулся; заметив, что он шевелится, проснулся также и хозяин избы, по имени Федот. Петр Петрович стал спрашивать у него, не даст ли он за хорошую плату подводы до Москвы, или не продаст ли ему одного или пару коней и сани, причем в объяснение добавил:

— Потому, племянница моя слаба здоровьем, а до Москвы не близок путь, не дойти ей.

— Где дойти! Ведь поболее шестисот верст, и мужику не дойти... не токмо бабе, да еще зимой. Что же, есть у меня лишний конь, продать его можно, и санки найдутся... Продам, если дашь хорошую цену.

— За ценой не постою.

— Видно, в Питере-то, старик, сколотил ты деньгу? — ухмыляясь, спросил Федот. — А ты каким мастерством занимаешься?

— Маляры мы, малярной работой промышляем.

— Так, так, работа выгодная!.. Ну, а что же дашь за коня и сани?

Майор стал торговаться с Федотом, но в конце концов они сошлись в цене.

Когда торг был заключен, проснулись Храпунов с Марусей, Захар и Дуня.

Однако хозяину избы и его жене, догадливой бабе Пеллаге, что-то очень подозрительным показались их постояльцы, и она, вызвав мужа во двор, сказала ему:

— Голову свою прозакладую, что это не маляры.

— А кто же они, по-твоему? — спрашивает у жены Федот.

— Беглые баре, вот кто. Наверняка так!.. Ты посмотри на их руки. Разве у маляра они такие должны быть? У маляра руки краской запачканы, а у наших постояльцев они нежные, белые. Да и лица-то у них на малярные не походят.

— А что, баба, пожалуй, ты и правду говоришь, — согласился с женою Федот. — Что же нам делать?

— Что? Известно, что! — сердито промолвила Пеллагея. — Со двора их не пускать и старосте про них сказать.

— И то, побегу старосту оповестить. Спасибо, баба, что надоумила! — И Федот со всех ног пустился о своих постояльцах оповестить старосту.

Вскоре в избу ввалилась большая ватага мужиков, имея во главе своего старосту; все они были вооружены кто чем попало: палками, топорами, а у некоторых были и ружья.

Крик удивления и испуга вырвался у Маруси и Дуни при взгляде на мужиков.

— Зачем вы пожаловали? Что надо? — не совсем дружелюбно спросил Гвоздин.

— На тебя взглянуть пришли, — крикнул староста.

— Гляди, чай, на мне узоров нет.

— А ты, маляр, взял бы и размалевал себя узорами, — громко засмеялся один из мужиков.

— Вы зуб-то не скальте, а делом говорите, зачем пришли? — возвысив голос, спросил у мужиков Петр Петрович.

— А затем, чтобы узнать, что ты за человек? — окидывая его суровым взглядом, проговорил староста.

— Я — мастеровой из Питера, малярным делом промышляю. Это — мой племянник с женой, а это — земляк с дочерью, — проговорил секунд-майор, показывая на Храпунова и Марусю, а также на старого Захара и на Дуняшу.

— Так, так. Если не врешь, так правда! Ну-ка, ребята, берите их, а если станут упорствовать, то свяжите им руки, — невозмутимо приказал мужикам староста.

Тотчас же несколько мужиков с веревками в руках отделились от толпы и подошли к беглецам.

— Остановитесь, безумные, что вы делаете? За что вы хотите вязать нас? — крикнул на мужиков Храпунов.

— А за то, что вы малярами только прикидываетесь. Вы не маляры, а беглые, — также крикнул ему в ответ староста, — и, пока приедет начальство, мы вас, голубчиков, запрем в сарай, чтобы не убежали. Тащи их, ребята!

— Прочь, разбойники, прочь! Первого, кто до нас дотронется, уложу на месте, — вне себя от гнева крикнул старик-майор, вынимая из кармана пистолет.

Нападавшие мужики попятились к двери.

— А ты, маляр, эту игрушку-то брось, не то и мы палить будем, — слегка дрожащим от испуга голосом крикнул староста и, вырвав у одного из мужиков ружье, стал прицеливаться в Петра Петровича.

— Отпустите нас, мы дадим вам за себя выкуп. За что вы хотите сделать нас несчастными? Отпустите! — с дрожью в голосе обратился к мужикам Левушка.

— Слышь, староста, не отпустить ли их? На вино нам дадут деньжонок, — тихо сказал старосте Федот.

Он был мужик миролюбивый, жалостливый; ему жалко стало своих постояльцев, и он уже раскаялся в том, что взбудоражил мужиков и натравил их на своих постояльцев. Поэтому он стал упрашивать старосту и мужиков.

Однако староста и мужики ломались.

— Никак невозможно отпустить, потому как беглые. К начальству надо их предоставить.

— Ну, прах вас возьми, делайте, что хотите! Только из моей избы убирайтесь ко всем чертям! — сердито крикнул Федот, выведенный из терпения.

— Как смеешь ругаться! Да знаешь ли ты, разбойник, кого ругаешь? Ведь ты мир честной ругаешь!

— Хорош мир, нечего сказать. Бабым умом вы все живете, вот что! — выругался Федот и вышел из избы.

Староста отдал приказ мужикам взять «маляров» и ихних баб и заключить в пустой сарай под замок.

Спротивление было бесполезно. Что значат трое против полусотни мужиков, и притом еще вооруженных? Наши бедняки волей-неволей принуждены были покориться своей участи, мужики же решили послать нарочного в Питер и оповестить начальство о «малярах», а пока держать их в сарае.

И вот старый майор Гвоздин, его племянш с женою и Захар с Дуней очутились в холодном сарае под замком.

Староста не ограничился одним замком, а поставил к запертой двери сарая двух мужиков с дубинками, наказав им строго-настрого стеречь «беглых».

В бессильной злобе Храпунов стал стучать руками и ногами в дверь сарая.

— Ты чего безобразишь? Что стучишь? — крикнул один из мужиков, стоявший с дубиной у запертой двери.

— Мы замерзнем.

— Не замерзнете.

— Вы, злодеи, хуже разбойников!

— Добрая барыня, вот, вот моя шуба. Ложитесь на солому и оденьтесь ею; вы согреетесь, — проговорил старик Захар, дотоле молчавший и угрюмо сидевший в углу сарая, и, сняв с себя свою овчинную шубу, подал ее Марусе.

— Нет, Захар, я у тебя не возьму шубы, ведь ты сам замерзнешь.

— Возьми, боярыня, я старик, если и замерзну, обо мне плакальщиков не будет, пожил на белом свете, пора и на покой, — попытался возразить Захар, однако ему пришлось опять надеть на себя шубу, потому что Маруся ни за что не решилась воспользоваться ею.

Между тем страшный холод донимал как господ, так и слуг. Мужики, стоявшие на страже, ругались, а затем оба, не вынеся холода и побросав свои дубинки, обратились в бегство. Их манили теплая изба и горячая печь.

— Никак наши сторожа ушли? — проговорил Петр Петрович прислушиваясь. — Да, да! Ну, и слава Богу! Ночью выломаем дверь, и тогда мы будем спасены.

Однако сделать это нашим заключенным не пришлось, так как они скоро услышали, что кто-то у двери их тюрьмы ломает замок, а затем дверь сарая быстро отворилась, и заключенные увидели мужика Федота. Тот поспешно проговорил:

— Выходите скорее.

— Как, ты нас освобождаешь? — радостно воскликнул Левушка Храпунов.

— Это ты и замок сломал? — спросил у Федота майор.

— Знамо, я. Да чего же вы не выходите? Иль вам по нраву пришлось сидеть в холодном сарае?

Старик майор, его племянник с женою, Захар и Дуня поспешно вышли из сарая. Был вечер, и на улице была темнота; мороз стал немного помягче, падал снежок.

— Идите за мной, я выведу вас за околицу, — проговорил Федот, обращаясь к старому майору и его спутникам.

Они пошли беспрекословно и вышли за околицу.

Пройдя еще некоторое расстояние, Федот проговорил:

— Дорога вам прямая, идите, меня не поминайте лихом...

— Вот тебе за услугу, возьми! — И майор протянул было Федоту руку с деньгами.

— Спасибо, не надо. Покаюсь вам: ведь я мужиков-то сбил, потому подозрительными, опасными людьми вы мне показались, впрочем, в том больше виновата моя баба, она самонравная, вот и сбила меня. Ну, за это ей не миновать потасовки.

И Федот хотел идти, но майор спросил его:

— А в Питер мужика посылали с известием о нас?

— Посылали.

— Дело плохо... пожалуй, за нами будет погоня.

— Да, не миновать вам ее. А пока ее еще нет, вам скорее бежать надо, — посоветовал Федот.

— А куда бежать, да еще ночью-то? Мы и дороги не знаем. Эх, видно, нам пропадать придется, — чуть не плача, промолвила Маруся.

— Зачем пропадать, сударка? А вы послушайте-ка меня: верстах в пяти отсюда, в стороне от дороги, стоит водяная мельница. Мельник — мой кум и приятель, звать его Максимом. Ступайте к нему, пообещайте денег, и он вас укроет. Вот видите дорогу-то? Так по ней, никуда не сворачивая, и ступайте, сами на мельницу наткнетесь.

Федот быстро зашагал обратно в свою деревню, а наши путники поспешили выйти на указанную им дорогу.

По словам Федота, до мельницы было всего верст пять, но на самом деле наши путники шли чуть не три часа и подошли к ней измученные, усталые.

Мельница казалась полузаброшенной и стояла в лощине, в полуверсте от проселочной дороги, и была окружена почти вся лесом; амбар или сарай, где мололи, был полуразрушен, покосился набок; близ этого сарая стоял небольшой, в три оконца, домик мельника.

На мельнице было полнейшее безмолвие. Снег перестал, небо очистилось, из-за туч величаво выплыла луна.

Едва только Захар подошел к воротам, чтобы постучать, как его учуяли собаки и подняли страшный лай.

— Цыц, цыц, проклятые! Угомону на вас нет! Что вы, на кого лаете? Иль гостя незваного-непрощеного учуяли? — слышался Захару голос со двора.

Старый слуга постучал.

— Батюшки, да никак кто-то стучит? Так и есть. Кто стучит, что надо?

— Отопри, Христа ради, пешеходам.

— Вы на ночлег, что ли?

— Да, да, на ночлег. Пусти, мы хорошо тебе запла- тим, — сказал Левушка Храпунов, подойдя к воротам. — Нас твой кум Федот к тебе прислал.

— Кум Федот прислал? Так бы давно и сказал. Вхо- дите, рад гостям! Хоть гости вы и ночные, незваные, не- жданные, а все же я вам рад.

Проговорив эти слова, мельник впустил к себе на двор путников.

Петр Петрович объяснил мельнику, за какой помощью они пришли к нему.

— Что же, это можно, моя мельница стоит в стороне, сыщики не скоро до нее доберутся. Укрывать я стану, толь- ко не жалейте денег, — проговорил мельник. — Под моим домишкой есть подполье, там, если нужда придет, вы и укроетесь. А пока ложитесь-ка спать, утро вечера мудре- нее.

Изба мельника была довольно поместительна и разде- лена холодными сенями на две половины; в передней жил мельник, а в задней — его работник и старуха. Передняя изба разделялась перегородкой на две горницы, и наши путники расположились в избе мельника очень удобно: за перегородкой поместились Маруся и ее служанка Дуня. Петр Петрович и Левушка Храпунов легли на широких скамьях, одевшись полушубками, а старик Захар не ре- шался лечь.

— Вы, господа милостивые, спите, а я посижу, посте- регу, — говорил он, усаживаясь около самой двери в сени.

Пожелав своим постояльцам доброй ночи, мельник по- шел спать в заднюю избу, и скоро настала тишина, пре- рываемая легким храпом измученных путников.

Не спал один только верный слуга. Он долго крепился, долго боролся со сном. Но все же последний осилил его, и старый Захар крепко заснул, сидя у двери.

Долго ли спал Захар, он не помнил, только громкий собачий лай разбудил его. Он открыл глаза, взглянул в оконце: было совершенно еще темно.

Вдруг до слуха Захара долетел громкий стук в ворота. Это заставило старика-слугу вскочить на ноги; он бросился в сени и столкнулся там с мельником.

— Стучат. Верно, сыщики? Надо будить своих, — тихо сказал он Максиму.

— Постой, надо наперед узнать, кто стучит. Ступай буди своих, а я сейчас приду, только поспрошаю, кто стучит. — И, проговорив это, мельник подошел к воротам и спросил: — Кто стучит не в урочный час?

— Я. Отпирай скорее ворота, старый филин, с почетом гостя принимай! — раздался за воротами звонкий голос, показавшийся мельнику знакомым.

— Да неужели государь Артемий Петрович? — с удивлением воскликнул он.

— Он и есть. Ну же, не морозь меня, отпирай ворота.

— Сейчас, сейчас, государь...

Ворота заскрипели на петлях и отворились.

На двор на лихой тройке вкатил кабинет-министр Артемий Петрович Волинский; он сам правил, стоя в расписных санях, а кучер сидел без дела на облучке.

С низкими поклонами встретил Максим дорожного гостя.

— Здорово, старый лесовик, здорово. Не ждал, не чаял гостя? — выпрыгивая из саней и бросая вожжи кучеру, ласково промолвил Волинский. — А я к тебе прямо из гостей.

— В гостях изволил быть, государь?

— В гостях, у Бирона! И чуть было там не задохнулся... Так вот к тебе проветриться приехал.

— Добро пожаловать, добро пожаловать. Только не обессудь, государь, побудь немного на дворе, а я горницу для твоей милости приберу, — с низким поклоном проговорил мельник, желавший выиграть время и припрятать в подполье своих постояльцев.

Но это ему не удалось.

— Ничего, при мне приберешь. Ты знаешь, я не взыскателен. Да ну же, води меня в горницу. — И, проговорив это, Волинский направился в избу, но, отворив дверь горницы, несколько удивленный, отступил, увидев там наших путников.

— Что у тебя за люди? — грозно крикнул Артемий Петрович на мельника.

— Постояльцы, государь, пешеходы...

— Живей огня!

— Сейчас, государь, сейчас.

Пока мельник отпирал ворота и разговаривал с Волинским, Захар разбудил своих крепко спавших господ и сказал им о стуке в ворота.

Майор, Левушка и Маруся поспешили надеть на себя полубубки и с нетерпением ждали прихода мельника, который обещался спрятать их в подполье.

Вот отворилась дверь, и вместе с мельником вошел Артемий Петрович.

Храпунов и майор узнали его по голосу, а когда мельник принес огонь, то Волынскому не трудно было узнать своего чиновника и его дядю, несмотря на то, что на них были надеты мужицкие полушубки.

— Ба, ба, старые знакомцы!.. Храпунов, вот не чаял я здесь встречи с тобою... А ты, господин майор, как очутился на мельнице? — спросил у них Артемий Петрович.

— Злодейка-судьба привела нас сюда, ваше превосходительство, — за себя и за дядю ответил Левушка.

— Да, да, злодейка-судьба... Понимаю, понимаю. Ты бежал из крепости, перерядился мужиком... Но ты, господин секунд-майор, зачем так нарядился? Постой-ка... если я не ошибаюсь, это — твоя жена? — спросил у Храпунова Волынский. — И она мужичкой одета?.. Что все это значит?

— Дозвольте, я все вам объясню, ваше превосходительство, — проговорил майор и без утайки рассказал Волынскому о всех событиях последнего времени и своем участии в деле освобождения Левушки.

С большим вниманием выслушал рассказ Волынский, а когда старик окончил, то, обращаясь к нему и Храпунову с женою, проговорил:

— Вы на воле и бояться сыщиков вам нечего, я — ваша заступа!.. Я свезу вас к себе в дом, и вы пока у меня погостите. Тебе, Храпунов, я выпрошу прощение у государыни во что бы то ни стало. В моем доме вы будете в полной безопасности... Итак, мы сейчас поедem в Питер, а ваши дворовые до моего дома дойдут пешком... Согласны?

— Как и чем нам возблагодарить вас, ваше превосходительство? — с чувством проговорил Храпунов.

— Своей преданностью отблагодари меня, Храпунов, в ней я теперь нуждаюсь, так как вступаю в открытый бой с ненавистным нам всем Бироном. Кто кого осилит? На его стороне сила...

— А на вашей правда, она же, ваше превосходительство, выше солнца, — заметил Петр Петрович.

— Я прямо от этого конюшенного герцога. Он смел открыто при мне смеяться над нашим добрым народом. Я не вытерпел этого и вступился за народ. Кажется, даже обругал Бирона, он смертельно побледнел и, от злобы кусая губы, сказал мне: «Вы, господин кабинет-министр, объявляете мне войну... Посмотрим, чья возьмет».

— Правда поборет кривду, ваше превосходительство.

— Я надеюсь на Божью и на вашу помощь, господа!.. Гей, Максимушка, выводи мне коней за ворота, мы сейчас едем! — крикнул Волынский мельнику.

Немного спустя, тройка лихих коней мчалась вихрем по дороге к Петербургу.

В санях сидели Петр Петрович и Храпунов с Марусей. Конями правил сам Волынский.

Несколько не доезжая до Петербурга, навстречу тройке Волынского показалась другая тройка, только много хуже. В санях сидело человек пять солдат и два приказных, о чем можно было легко догадаться по их особой одежде.

— Сворачивай с дороги! Задавлю! — грозно крикнул Артемий Петрович, помахивая вожжами.

— Задавишь, к ответу притянут, — злобно проговорил один из приказных.

— Прочь, говорю, с дороги!.. Пущу на вас коней — и праха не останется.

— А ты не безобразь, господин Артемий Петрович, мы по государынину делу едем, — проговорил другой приказный.

— А, крапивное семя, чернильная душонка! Ты знаешь, кто я, и не хочешь мне дорогу уступить? Ну так я научу тебя вежливости. — и Волынский, схватив кнут, выскочил из саней и стал по чему попало хлестать приказного.

Тот взвыл и стал просить у солдат себе помощи.

Однако последние, узнав, что повстречавшийся с ними — кабинет-министр, не посмели заступиться. Ременный кнут в сильной руке Волынского продолжал гулять по спине и голове приказного, и Волынский только тогда оставил несчастного, когда кнутовище переломилось на части.

— Жаль, плети нет еще под руками, а то бы я показал тебе, как не давать дорогу кабинет-министру! — крикнул Артемий Петрович и быстро вскочил в свои сани.

— Я буду жаловаться герцогу! — погрозил приказный.

— Жалуйся, твоего герцога из конюшни я не боюсь, — крикнул в ответ Волынский.

Приказный состоял при канцелярии герцога Бирона и прозывался Занозой. Он пользовался особым расположением Бирона, считался правою рукою Шварца, начальника бироновской канцелярии, и был послан с солдатами и своим помощником, чтобы изловить бежавшего Храпунова.

Заноза, проклиная Волынского, въехал в ту деревню, где несколько времени тому назад остановились для ноч-

лега майор Гвоздин, Храпунов с женою и их слуги, и потребовал старосту, который, как мы уже знаем, послал в Петербург нарочного с известием, что в их деревне появились сомнительные люди.

— Где у тебя сумнительные люди? Подавай нам их! — крикнул старосте Заноза, думавший, что в числе их окажется и бежавший Храпунов.

— Были, да сплыли, господин приказный! — почесывая голову ответил староста.

— Как так? Убежали? Ну, ты за них ответишь.

— Чем же я виноват? Я всех пятерых приказал посадить в сарай под замок и сторожей приставил, а людишки-то и убежали. Сторожа-то, вишь, замерзли, ушли погреться, а как вернулись, видят — замок сломан, дверь отворена, а арестантов и след простыл.

— Кто же сломал замок и выпустил арестантов?

— Думается нам, что наш же мужик Федотка, его это дело... потому он говорил, чтобы мы выпустили арестантов.

— Подавай сюда Федотку, — грозно крикнул Заноза, а когда мужичонку привели к нему, грозно крикнул: — Ты сломал замок и выпустил арестантов?

— Никак нет! Зачем я стану ломать да выпускать?

— Говори правду! Не то плетей и пыток отведает!

— За что? Я невиновен.

— Гей, в кандалы его, — приказал Заноза солдатам, и злополучный Федотка очутился с тяжелыми кандалами на руках и на ногах. — Вали его в сани, в тайной канцелярии дознаемся правды.

Эти слова повергли Федота в ужас, и он дрожащим голосом спросил приказного:

— Ну, а если я скажу, то пытать меня не будут?

— Скажешь правду, пытки избежишь.

— Я... я скажу... повинюсь. Я выпустил арестантов!

— Молодчик, нечего сказать, а плетей тебе все же не миновать.

— Вот-те раз! А если я скажу тебе, господин приказный, где накрыть арестантов, так ты меня не тронешь?

— Ну, черт с тобой, не трону и отпущу.

— Побожись! Божбе поверю, а словам нет.

— Ах ты разбойник! Ты еще приказы мне вздумал читать? Да я прикажу всю твою гунявую бороденку по волоску выдергать. Сказывай, не то сейчас у меня плетей отведает!

Федотка струсил и тихо проговорил:

— У моего кума они, у Максима, на мельнице.

— Показывай дорогу, пес! Гайда на мельницу! — крикнул приказный и, схватив Федотку, впихнул его в сани.

Через несколько времени мельник Максим, проводив Волынского легший спать, был разбужен страшным стуком в ворота. Он решил не отпирать их, но они, по приказу Занозы, были взломаны, а вслед затем, стуча ружьями, солдаты и Заноза вошли в избу мельника.

Пошли обычные спросы и допросы. Максим упорствовал и не говорил, что у него был Волынский и увез его постояльцев. Тогда приказный велел солдатам пытаться его. Мельник не вынес пытки и рассказал правду.

— Садись, Ванька, и записывай по пунктам, что станет показывать мельник, — приказал Заноза своему помощнику.

Тот молча сел к столу, разложил на нем бумагу, поставил медную чернильницу, висевшую у него на шнурке, достал гусиное перо и приготовился записывать показания.

— Сказывай, был ли у тебя кабинет-министр Артемий Волынский? — сурово спросил Заноза у мельника.

— Был, — слабым от пытки голосом ответил Максим.

— Что он у тебя делал?

— Ничего, только взял с собою неведомых мне людей, которые попросились у меня на ночлег...

— Значит, те люди тебе не ведомы? А сколько их было?

— Пятеро просили у меня ночлега: три мужика и две бабы.

— С Волынским ехало только два мужика и баба, а где же остальные?

— Те пошли пешком.

— Ладно, мы их захватим на дороге. Допрос кончен, собирай, Ванька, бумагу, — проговорил Заноза, обращаясь к своему помощнику, после чего приказал крепко скрутить мельника и тащить в сани, где уже находился Федотка.

Вся ватага двинулась в Петербург, но Захара и Дуни не нашли.

Сдав мельника Максима и Федота по приезде в Петербург в острог, Заноза чуть не со слезами рассказал своему начальнику Шварцу о жестокосердом поступке с ним кабинет-министра Волынского и об увозе последним с мельницы важных преступников.

— Что же это за преступники? — спросил Шварц.

— Неведомо какие, а только важные. Так говорят мужики той деревни, где они остановились на ночлег. Из них двое мною привезены и посажены в острог.

— Хорошо, как-нибудь я сделаю допрос этим мужикам, только не скоро, у меня крайне много важных дел...

— Я просил бы вас, господин Шварц, сделать о том донесение его светлости, — проговорил Заноза, — потому что в этом деле замешан кабинет-министр Волынский.

— Да, да, Волынский. Это важно для его светлости. Я сейчас же поеду с докладом. Ты тоже поедешь со мною, — после некоторого раздумья, проговорил Шварц.

Оба они поспешили к Бирону.

Шварц тотчас же был принят Бироном, а потом был также потребован и Заноза. Изгибаясь в три погибели, переступил тот порог кабинета герцога.

— Ты видел, как Волынский вез в своих санях преступников? — спросил у него Бирон.

— Так точно, ваша светлость.

— Сколько же их с ним было?

— Всех пятеро, а в санях у Волынского только трое. Остальные, говорят, пешком пошли, ваша светлость. Как ни старался я их встретить или догнать, но не смог.

— Волынский тебя бил?

— Больно бил, ваша светлость; кнутом хлестал. Хорошо, что на мне тулуп был, а то захлестал бы до смерти.

— Ну хорошо, ступай, я сегодня же доложу императрице, что ее кабинет-министр делает свой дом пристанищем для важных преступников.

Заноза, опять изгибаясь в три погибели, ушел.

— Долее продолжаться так не может, Волынский становится дерзок. Он прямо и смело идет против меня, но я положу скоро этому конец! — громко проговорил Бирон.

— Волынский идет скорыми шагами к своей погибели, ваша светлость, не сознавая сам того, — ответил Шварц.

— Да, да, он погибнет! Он должен погибнуть, и это случится скоро. Шварц, непременно узнайте, кто такие преступники, которых смеет укрывать у себя Волынский!

— Слушаю, ваша светлость.

Между тем Артемий Петрович Волынский, всегда беспечный и легкомысленный, не сознавая той опасности, которой он подвергался, и не обращая внимания на грозную тучу, нависшую над ним, привез в свой роскошный дом бежавшего из крепости Храпунова, его жену и старика-

майора, отвел им отдельное помещение, обласкал их и обещал свое покровительство и помощь.

Но это его великодушие удваивало только те вымышленные проступки, которые находили у Волынского его враги.

— Смеею спросить, ваше превосходительство, что вы делаете с нами делать? — спросил у Волынского Левушка.

— Как что делать? Вы будете у меня жить, пока я не испрошу у государыни тебе прощения.

— Может быть, государыня и простит меня, но Бирон...

— А до герцога из конюшни нам нет дала!

— Ну, как ни говори, ваше превосходительство, а жить племяшу в твоём доме опасно, отсюда как раз угодишь в тайную канцелярию, — вступился в разговор секунд-майор. — Чай, Бирону давно известно, что мы в твоём доме проживаем, у него везде есть уши и глаза, — добавил он.

— Я не боюсь Бирона и его начальству не подчиняюсь. Было время, и я заблуждался и гнул шею перед этим выходцем ада, но довольно, теперь я плюю на него, — запальчиво крикнул Артемий Петрович.

Однако Левушка и Гвоздин убедили его, что жить им в его доме опасно и необходимо покинуть Петербург.

Решено было на следующий день ранним утром тихонько выехать на лошадях Волынского в его Тульскую усадьбу, а чтобы избежать опасности в дороге, они порешили все нарядиться в такую одежду, в которую обыкновенно одевалась многочисленная дворня Волынского, то есть прикинуться его дворовыми людьми. Волынский за своею подписью выдал им грамоту, в которой говорилось, что он отпускает в свою тульскую вотчину дворовых холопов и двух девок.

Но этому, как увидим далее, не суждено было осуществиться.

VIII

Едва только Гвоздин, Храпунов с женою Марусей и с неизменными Захаром и Дуней, жившими вместе с ними в доме Волынского, приготовились было выехать со двора, навстречу им в воротах показались солдаты; их было чуть не целая рота с офицером и приказным Занозой.

Артемия Петровича Волынского в то время не было дома: он ранним утром выехал на охоту.

— Стой, ни шагу! — крикнул офицер выезжавшим.

— По какому праву вы не пускаете нас со двора? — смело спросил старик-майор.

— Прежде мне дай ответ: что вы за люди и куда едете?

— Мы — дворовые кабинет-министра Артемия Петровича Волынского и едем в его подмосковную усадьбу.

— Не врешь, старик, так правда!.. И добр же ваш боярин: четверку коней приказал запрячь и вас, холопов, в повозке, ровно бар каких, везти, — злобно улыбаясь, проговорил Заноза — Мне рожато твоя знакома. Ты и вот этот парень с бабой ехали с Волынским в тот раз, когда он ни за что ни про что кнутом отхлестал меня, — показал он на Левушку и его жену, побледневшую как смерть.

— Ты, приказный, ошибаешься...

— Молчать! Господин офицер, вот те люди, которых мы должны взять и представить на допрос в тайную канцелярию, — продолжал приказный.

— Вылезайте из повозки! — повелительно крикнул офицер.

Все волей-неволей принуждены были исполнить это. Их немедленно окружили солдаты.

В это время к воротам дома подъехал Волынский со своими дворовыми охотниками.

— Что это значит? — меняясь в лице, воскликнул он, увидев майора, Храпунова, Марусю и слуг их окруженными солдатами.

— Я арестовал их, ваше превосходительство, — вежливо ответил Волынскому офицер.

— Как вы смели арестовать моих слуг?

— Я сделал это не по своей воле, а по приказу, скрепленному подписью его светлости герцога Бирона.

— А!.. Вот как? Герцог Бирон добирается и до моих дворовых слуг!..

— Неправду изволишь говорить, господин-министр, неправду, — робко промолвил Заноза, прячась за солдат.

— Ба, ба, приказная крыса!.. Чернильная душа! Ты что же от меня прячешься? Видно, мой кнут тебе памятен? А?

— Ты за меня ответишь.

— Уж если отвечать, так заодно. Гей, плетей сюда подайте! — крикнул Артемий Петрович своим слугам.

— Ваше превосходительство, мой долг вступить за приказного, — решительным голосом заметил офицер Во-

лынскому. — Я обязан сделать это. Не доводите меня до крайности и дайте мне выполнить приказ герцога.

— Ты хочешь арестовать моих слуг?

— Повторяю, ваше превосходительство, у меня есть на то приказ. Если они окажутся вашими крепостными и ни в чем неповинны, то их выпустят, — почтительно проговорил офицер, показывая на майора, его племянника и Марусю.

— Нет, нет, я не допущу ареста!

— Стало быть, вы хотите идти против закона?

— Не против закона, а против своеволия Бирона. Я... я не дам ему в обиду своих людей. Так и скажи герцогу!

— Я не могу ослушаться приказаний его светлости и принужден буду употребить силу.

— Как? В моем доме? Да ты, видно, не русский?

— Нет, ваше превосходительство, я — природный русский и так же, как вы, люблю Россию.

— И идешь против меня?

— Если я не выполняю приказа герцога, я погибну.

— Но твой долг также исполнять и мои приказы — приказы кабинет-министра ее величества! Ступай и скажи тем, кто послал тебя сюда, что в доме кабинет-министра Волинского преступникам и бесчестным людям пристанища нет и быть не может! Если на правду пошло, сознаюсь, что это мои гости, и в обиду не дам, — проговорил Артемий Петрович, показывая на Гвоздина, Храпунова и Марусю, и отдал приказ запирать ворота.

Офицер, приказный Заноза и солдаты очутились вне запертых ворот.

— Что же нам делать? — в раздумье проговорил офицер.

— Надо силою взять тех преступников, — визгливо крикнул приказный, — что Волинский скрывает у себя.

— А ты разве верно знаешь, что они преступники? Да? Ну так и бери их.

— Как возьмешь, коли ворота заперты?

— Уж дело твое, а я с солдатами пойду в казармы.

— Да ведь тебе указано произвести здесь обыск.

— Верно... Но до обыска нас не допустили, под носом ворота заперли, а о том, чтобы силою врываться в дом с солдатами, в приказе мне не указано. Поэтому я и ухожу, — промолвил офицер.

— А я-то... я-то как же? — спросил приказный, проклиная свою неудачу. — Э, да знаю. Я побегу с доносом на сопротивление Волинского.

— Беги, твое дело, — с омерзением поглядывая на отталкивающую фигуру приказного, промолвил офицер и командовал солдатам: — Марш в казармы.

А в это время Волынский обратился к своим гостям:

— Ну, друзья, опасность миновала сейчас, но не навсегда. Больше оставаться здесь вам нельзя. Скорее уезжайте!

— Ваше превосходительство, спасая нас, ты подвергаешься сам большой неприятности, — заметил Гвоздин.

— К неприятностям мне не привыкать. Я их не боюсь, а с Бироном я вступаю в открытый бой. Выносить долее этого злого временщика я не могу. Я или погибну сам, или освобожу Русь от Бирона, — горячо проговорил Волынский.

Майор, Левушка, Маруся, а также Захар и Дуня, чтобы не навлечь на себя подозрения, опять нарядились по-мужицки и вышли из ворот дома Волынского поодиночке, но сошлись все у Московской заставы. Был уже поздний зимний вечер, когда они вышли за заставу.

Наши беглецы, опасаясь погони, шли не по большой столбовой дороге, а по проселочной, которую им указал повстречавшийся с ними какой-то прохожий; они решили отойти подальше от Петербурга и тогда только остановиться на ночлег. Будучи снабжены всем необходимым в дороге, они шли бодро и не чувствовали усталости; надежда, что, может быть, они избегнут погони и благополучно дойдут до Москвы, придавала им бодрости и силы.

— Какая славная ночь, как весело светит луна! — воскликнула Маруся, обращаясь к своему любимому мужу.

— А ты не устала? — с участием спросил он.

— Нисколько. Я хоть всю ночь готова идти.

— Молодец ты у меня, Маруся. Теперь мы в первой попавшейся деревне или в селе заночуем, а завтра найдем коней вплоть до Москвы.

— Ах, как мне, Левушка, хочется увидеть Москву, обнять бабушку! Только бы нам погони избежать.

— Да, если нас накроют — беда! Тогда лучше живой ложись в гроб и умирай, — вступил в разговор майор.

— Днем, дядя, может быть, и будет погоня за нами, но только не ночью. Артемий Петрович не скоро допустит сыщиков в свой дом. А так как наши враги теперь в полной уверенности, что мы находимся именно там, то, когда нас хватятся, мы будем уже далеко.

— Пожалуй, и так, — согласился майор. — А какой правдивый и честный вельможа — Артемий Петрович!.. Славный он!

— Ох, дядя, не сносить ему головы! Он в слишком рискованный бой вступил с Бироном. Ведь герцог — великая сила, бороться с ним ой-ой как тяжело!.. Ну, да авось правда выйдет наружу и обличит временщика.

Так в разговоре наши путники добрались до постоялого двора, находившегося верстах в двадцати от Петербурга и стоявшего в стороне от деревни. Стало уже рассветать, когда они подошли к нему, решив отдохнуть. Содержатель двора отвел им для отдыха отдельную горницу, и все они, усталые от продолжительной ходьбы, скоро и крепко заснули.

Проснулись они лишь в обеденную пору. Сытно накормил их хозяин постоялого двора, а когда спросил, что они за люди, Петр Петрович ответил:

— Столяры мы, милый человек... пробираемся в Москву.

— Так, так... А в Питере-то работа, что ли, у вас была? — полюбопытствовал хозяин.

— Работа, милый человек.

— Чай, сколотили деньгу, вот и домой захотели?

— Какие деньги у нас! Едва на дорогу хватит. В Питере мастеровому человеку плохое житье.

— Да и всем, чай, не сладко там живется. Потому немцы одолели, житья от них не стало русскому человеку. Матушка-царица окружила себя немцами и первым своим министром поставила злого немца, по прозванию Бирон, и всю нашу Русь православную забрал этот немец в свои загребушие лапы: что хочет, то и делает.

— Верно, верно, тяжелое время мы переживаем, — согласился Петр Петрович.

— Уж на что хуже! От кого зло, как не от Бирона проклятого?.. Есть при дворе царицы один правдивый вельможа — Артемий Петрович Волынский. Чай, вы про него слышали? Так вот хоть он еще не дает воли немцу... Да ведь этой немецкой саранчи много, а он один, ну так где же совладать ему? А все же спасибо, хоть он-то за нас заступается, а то немец Бирон нас всех живьем проглотил бы.

В это время на постоялый двор приехал кормить лошадей обоз с мороженой рыбой, направлявшийся к Москве. Гвоздин подрядился с обозными мужиками довести их до первопрестольной, и наши путники двинулись в путь.

После двухнедельного путешествия они благополучно прибыли в Москву и вместе с рыбаками остановились у Тверской заставы, на постоялом дворе, недалеко от хибарки Марины.

В тот же день Маруся с мужем отправилась навестить свою бабушку.

Марусе хорошо была известна та улица, по которой теперь она с мужем шла к своей бабушке. Это место было ей родное, дорогое по своим воспоминаниям, и она, показывая ему перекресток двух улиц, спросила:

— Левушка, знакомо тебе это место?

— Как же, знакомо и памятно... Здесь я в первый раз увидал тебя, Маруся. Я этого никогда не забуду.

— Милый, милый... А ведь немало времени прошло с тех пор. Гляди, как я постарела!.. — пошутила Маруся и тотчас добавила: — А вот и переулок, что ведет к бабушке.

Они подошли к хибарке старой Марины. Домишко еще более покосился на сторону и врос в землю, да и Марина совсем состарилась; ноги и глаза отказывались служить ей, так что она уже редко куда и выходила.

При входе Маруси и Храпунова в избу старуха даже не узнала их. Впрочем, и нелегко было их узнать в мужицком наряде; кроме того, как Маруся, так и ее муж сильно изменились против прежнего, похудели и осунулись в лице. Однако, услышав знакомый голос Маруси: «Бабушка, милая, вот и мы опять у тебя!» — она признала своих дорогих, неожиданных гостей и принялась попеременно обнимать их.

Когда первый порыв радости прошел, они стали советовать, как избежать беды, как укрыться Храпунову, чтобы не попасть снова в руки Бирона и его клевретов. Избежать этого было довольно трудно, так как у герцога везде были глаза и уши и его сыщики сновали повсюду. Не только на улицах, но и дома было очень опасно говорить про Бирона что-либо дурное: тотчас же появлялись доносы и кляузы.

Решили посоветоваться с Петром Петровичем и остановились на следующем: Левушке с его женою не мешкая выехать из Москвы и поселиться близ Саввина монастыря, в городе Звенигороде, и, если можно, купить там небольшой домишко и завести хозяйство, а старому майору, чтобы не навлечь на себя подозрения, жить по-прежнему одному в своей подмосковной усадьбе Красная Горка.

Марина не захотела разлучаться с внучкой и поехала вместе с ними в Звенигород.

Городок был захудалый, и жителей в нем было немного. Лишь в летнюю пору оживлялся он, благодаря богомольцам, стекавшимся сюда поклониться мощам преподобного Саввы.

У Марины на черный день была скоплена порядочная сумма денег, на них она и купила для своей внучки и для ее мужа уютный домик недалеко от монастыря, с плодовым садиком и огородом, и помогла внучке завести хозяйство.

Чтобы не навлечь на себя подозрения, Левушка назвался посадским Иваном Гришиным. Впрочем, и подозревать его было некому: его домик находился в стороне от другого жилья; знакомства ни он, ни Маруся ни с кем не заводили, редко куда выходили, кроме монастыря, и сами никого к себе не принимали, живя совсем особняком. Здесь Храпунов был в полной безопасности, его никто не беспокоил — враги и недруги как будто даже забыли про его существование, и в его домике веяло тихой, мирной жизнью.

IX

Между тем в Петербурге происходило необычайное дело: судили кабинет-министра Артемия Петровича Волынского.

Еще на страстной неделе 1740 года ему неожиданно был объявлен высочайший приказ не являться ко двору в наказание за то, что он отколотил палкой придворного «питу» Тредиаковского.

Волынский понял, что ему предстоит большая опасность, и бросился к всесильным вельможам просить их заступничества, но для него везде были закрыты двери.

Тогда для решения вопроса о том, что делать, как быть, он собрал у себя совет, состоящий из друзей, в числе которых самыми преданными были Хрущов и Еропкин. Артемий Петрович рассказал им о той черной туче, которая готова над ними разразиться. Судили, рядили и пришли к тому заключению, что ему необходимо увидеть императрицу Анну Иоанновну, рассказать ей все и просить ее защиты от такого могущественного врага, каким был герцог Бирон.

— Меня не допустят до государыни, враги зорко стерегут меня, — проговорил Волынский, расхаживая по кабинету.

— Но видеть государыню тебе необходимо, от этого, может быть, все зависит, даже наша жизнь, — заметил Хрущов.

— Да, да, я поеду к ней, расскажу ей о бедствии народа, буду просить у нее суда на притеснителей народа. У меня под руками есть доказательства, и я воспользуюсь ими! — горячо проговорил Волинский.

— Смотри, Артемий Петрович, своею горячностью не испортишь дела, — промолвил Еропкин.

— Пришло время, господа, как говорится, все поставить на карту, даже и самую жизнь. У меня наболело сердце, глядя на то, как Бирон и другие немцы властвуют над нами, русскими прирожденными дворянами. Мы находимся у них в подчинении, они делают все, что хотят. Дольше терпеть это нельзя!

— Артемий Петрович, ты слишком громко разговариваешь, могут услышать, — предупредил Волинского Еропкин.

— Кажется, господа, фискалов между нами нет, — окидывая быстрым взглядом своих гостей, проговорил Волинский.

— Но твои люди? Они могут услышать.

— Прислуживает нам только один Кубанец, а остальным своим холопам я приказал ложиться спать.

— Кубанец! Да разве ты можешь поручиться за него? — возразил Артемию Петровичу Хрущов.

— Кубанец предан мне, и я сейчас докажу вам это. Гей, Кубанец! — отворяя немного дверь, громко крикнул Артемий Петрович.

В кабинет смелой поступью вошел невысокий, коренастый человек в казацком казакине, лет шестидесяти. Это и был Кубанец, старый слуга Волинского, вывезенный им из Казани, где, как известно, Волинский был губернатором. Он был хитер и пронырлив и казался преданным своему господину, но на самой-то деле и был первым доносчиком на Волинского. Он подслушивал все, что говорилось в кабинете последнего, и старался запомнить то, что приходилось ему услышать.

— Кубанец, ты ведь предан мне, не так ли? — окидывая зорким взглядом слугу, спросил Артемий Петрович.

— Моя преданность, господин, тебе хорошо известна!

— Да, да, я знаю, верю, но ты должен доказать ее мне сейчас. Видишь ли: мне угрожает большая опасность, даже, может быть, гибель. У меня есть очень сильный враг,

который и строит эту гибель, — не спуская глаз с Кубанца, громко проговорил Артемий Петрович.

— Назови мне, господин, своего врага.

— А что ты с ним сделаешь? Он очень могуч.

— Пускай, мне все равно! Для тебя, господин, я своей жизнью не дорожу, — тихо проговорил Кубанец, стараясь избежать взгляда своего господина.

— Спасибо, Кубанец, спасибо, убийства не нужно, и в твоей услуге я пока не нуждаюсь. Ступай! — приказал Волынский и, когда Кубанец, низко поклонившись, вышел, спросил гостей: — Ну, друзья, вы слышали?

— Не верь Кубанцу, Артемий Петрович, не верь! — ответил Хрущов Волынскому. — Слова — вода. Да и не нравится он мне: глаза-то у него уж очень хитрые.

— Хорошо! Чтобы успокоить вас, я стану избегать говорить лишние слова в присутствии Кубанца, буду остерегаться его.

Но было уже поздно. Этот лукавый раб продал Бирону своего господина, продал за деньги, как Иуда Христа.

Враги Волынского — Остерман, Куракин и другие — шепнули подозрительному Бирону, что Волынский ведет под него подкуп. Герцог знал это и прежде, он ненавидел Волынского, а последний платил ему еще большей ненавистью. Бирону во что бы то ни стало нужно было погубить своего врага, нужно было очернить его перед государыней, обвинить в каком-либо преступлении. Но для этого требовались доказательства. Их не было, но их выдумали. Однако эти доказательства были недостаточны, так как походили просто на сплетню. На выручку врагам Волынского явился Кубанец.

Бирон и другие враги Волынского обрадовались этому. Кубанец, по словам историка, был арестован по поводу взятых через него Воынским казенных сумм из конюшенного приказа. На допросе, вместо показания о суммах, следователи услышали от Кубанца неожиданные признания о тайных собраниях и возмутительных беседах в доме его господина. Следователи насторожились: в воздухе запахло лакомой жирной добычей. В тот же день Волынский был лишен свободы, с тем чтобы получить ее обратно в ином мире.

Начались заседания следственной комиссии, наряженной над Воынским. Обвинители сплетали всевозможные вины, к чему самым удобным материалом служили беспорядочные, отрывочные показания Кубанца. Кубанец вписывал в свои донесения все фразы и обрывки фраз,

которые, бывало, долетали до его уха во время собраний у Волынского. Следователям легко было выдергивать из этого набора наиболее пикантные словечки, составляя их в такую связь, которая раздувала обвинение до чудовищных размеров. Обвинение разрасталось с каждым новым допросом. Теперь уже не довольствовались первоначальными обвинительными пунктами о том, что Волынский подносил императрице разные проекты «якобы в поучение и наставление»; обвинители доходили до того, что по поводу составленной Волынским родословной Романовых приписывали ему преступный план посредством государственного переворота самому надеть на себя российскую корону.

Все посетители вечеров Волынского были схвачены, и начались ужасные пытки в тайной канцелярии. Волынского пытали два раза: поднимали его на дыбу и повредили ему правую руку, так что он не мог подписывать свои показания.

Но чего же хотели от него враги, пытая у него признание преступлений? Ведь, как говорит историк, намерение его произвести переворот не возбуждало уже никаких сомнений. Да главное, чего старались добиться у заключенных, — это определение срока, когда было решено осуществить замысел. Во время пытки у Артемия Петровича спрашивали:

— Имел ты преступный умысел сделаться императором?

— И в мыслях его у меня никогда не было.

— Правду показывай, не то опять на дыбу поднимут...

— Я сказал правду. Какой вы еще от меня хотите?

— Повинись в своих преступлениях...

— В каких? Я их не знаю, — слабым голосом ответил истерзанный пыткой Волынский.

Но его врагам этого было мало, и опять началась ужасная пытка. Однако бывший вельможа упорно отрицался от возводимой на него клеветы, и от него ничего не добились.

Но так или иначе, врагам Волынского нужна была его гибель, и ему был произнесен ужасный смертный приговор: вырезав язык, отсечь ему правую руку и голову.

Говорят, у некоторых судей, подписывавших этот приговор, дрожала рука и слезы невольно выступали из глаз, но они все же сделали это: ведь Бирон хотел смерти Волынского, а кто же мог противоречить ему? Навлечь гнев Бирона было то же самое, что навлечь гнев государыни.

Смертный приговор был подписан только судьями-вельможами, но не государыней. Бирону надо было сделать так, чтобы этот приговор подписала и монархиня земли русской.

Держа приговор Волынскому в руках, герцог смелой поступью вошел в кабинет императрицы Анны Иоанновны. В последнее время она сильно изменилась: она похудела, побледнела, часто прихварывала и была крайне апатична.

— Это что у тебя за бумага? — спросила она герцога.

— Приговор, ваше величество.

— Какой приговор? Кому? — заволновалась государыня.

— Волынскому, — спокойно ответил Бирон.

— К чему его приговорили?

— К казни...

— Что? Как ты сказал, герцог? — побледнев, воскликнула государыня. — Волынского приговорили к смерти? Нет, нет... этого не должно быть... я не допущу!

— Но его приговорили, ваше величество.

— Кто приговорил? Кто? Ты, герцог, ты? — императрица страшно волновалась, на ее глазах виднелись слезы.

— Приговор подписан вашими министрами, государыня.

— Я своею властью нарушаю приговор... Волынский не должен быть казнен.

— Должен, ваше величество, — проговорил Бирон.

— А я говорю — не должен, не должен... Я ничего не хочу слушать. Подай приговор, я разорву его.

— Вы этого, государыня, не сделаете.

— Иоганн, ты слишком многое позволяешь себе! — гневно сверкнув глазами на любимца, проговорила Анна Иоанновна.

— Простите, ваше величество, но я вынужден просить, чтобы вы скрепили своею подписью этот приговор.

— Никогда, никогда! О, я понимаю, в чем дело!.. Ты, ты лично мстишь Волынскому, ты ненавидишь его. Это жестоко, жестоко! Я не подпишу приговора.

— Вот как?.. Покоряюсь вашему решению, государыня, и прошу позволить мне подать вашему величеству прошение об отставке и уехать в Курляндию.

— Как? Что ты говоришь? Зачем тебе покидать меня?

— А затем, государыня, что я при вашем дворе считаю себя лишним.

— Господи! Опять капризы?.. Ведь это скучно! Я больна, а ты, Иоганн, еще расстраиваешь меня... Ты совсем

меня не жалеешь! — со слезами проговорила Анна Иоанновна. — Ну, если виновен Волынский, можно наказать его... сослать в Сибирь, что ли, но к чему же отнимать у него жизнь? Кабинет-министр — и вдруг казнить! Нет, нет, этого я не допущу!

— А я, государыня, опять повторяю, что Волынский должен быть казнен. Ведь подумайте, каково его преступление: он готовился свергнуть вас с трона! Да разве возможно оставлять без строжайшего наказания подобное посягательство? Нет, как угодно, ваше величество, но или Волынский погибнет, или я удалюсь в Курляндию, а двоим нам тесно здесь.

— Ты, Иоганн, останешься.

— Только в том случае, когда вы, государыня, подпишете приговор. Волынский или я.

— Опять за свое, опять?.. Довольно, герцог Бирон! Если тебе тесно при нашем дворе, можешь ехать в свою Курляндию или куда хочешь, но Волынский будет жить! — голосом, не допускающим возражения, проговорила Анна Иоанновна.

— Ну, это мы еще посмотрим! — сквозь зубы заметил Бирон и поклонившись государыне, вышел.

В конце концов герцог одержал верх над слабовольной да к тому же все еще любившей его императрицей. Смертный приговор был подписан, и злополучный Артемий Петрович, этот великолепный вельможа, сложил на плахе свою голову. Подписывая роковой приговор, больная императрица заливалась горькими слезами.

Смертный приговор Волынскому и его друзьям, Хрущову и Еропкину, был подписан 23 июня 1740 года, а казнь была совершена 27 июня на площади при многочисленном стечении народа, с безмолвным ужасом смотревшего на нее.

Первым казнен был Волынский, потом Хрущов и Еропкин; остальные же приверженцы и друзья Волынского были биты кнутом и плетью и отправлены обратно в крепость.

— Лихое, тяжелое время переживаем мы. Уж если временщик Бирон добрался до голов вельмож, то до наших голов ему легко добраться, — говорил народ, возвращаясь с казни, и еще сильнее возненавидел Бирона и его клевретов.

Многие искренними слезами оплакивали Волынского, выдающегося государственного деятеля, вскормленного бурной эпохой Петра и безжалостно скошенного мрачной би-

роновщиной. Богато одаренная натура Волинского совместила в себе и выдающиеся пороки своей эпохи, и светлые черты пробуждавшегося общественного сознания. Добросовестный историк не может закрыть глаза на темные факты его жизни, но прав был и поэт, воскликнувший про Волинского: «Он мнил спасти страну родную!» Поэта можно заподозрить в увлечении, в идеализации своего героя. Но вот свидетельство высокого авторитета: вот что писала о деле Волинского императрица Екатерина II, конечно, имевшая возможность ознакомиться с этим делом так полно, как ни один историк:

«Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставлю читать сие Волинского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел... Волинский был горд и дерзок в своих поступках, однако не изменник, но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнитель к полезным направиениям своего отечества. И так смертную казнь терпел и быв не виновен».

«Волинский был умен, но чрезвычайно честолюбив, — пишет современник казненного Волинского, Манштейн. — Гордый, тщеславный, неосторожный, он был склонен к интриге и всю жизнь свою слыл за неугомонного человека. Несмотря на эти недостатки, которые он не умел даже скрывать, он достиг высших должностей в государстве. Он начал с военной службы, в которой дослужился до генерал-майора. Отказавшись от военных занятий, он занялся гражданскими делами. Еще при Петре I его посылали в Персию в качестве министра. Он был вторым уполномоченным на немировском конгрессе; а спустя два года по смерти графа Ягужинского, умершего к концу 1736 года, Волинский получил его должность кабинет-министра. Но здесь он не мог долго удержаться, рассорившись с графом Остерманом, который в своих сослуживцах терпеть не мог ума. Навлекши на себя еще гнев герцога Курляндского, он не мог кончить иначе, как несчастливо».

Тяжело отозвалась казнь Волинского на императрице: ее болезнь усилилась. Государыня близка была к смерти.

Властолюбивому Бирону медики, лечившие императрицу, шепнули, что не только дни, но и часы ее сочтены. Бирон не терялся; он знал, что ему делать.

Воспользовавшись временем, когда государыне было несколько лучше, он тихо вошел в ее кабинет.

— Это ты, герцог? — слабым голосом спросила она.

— Я, ваше величество, пришел узнать о вашем драгоценном здоровье, — заискивающим голосом проговорил Бирон и дал знак дежурной фрейлине выйти.

Та с глубоким поклоном удалилась.

— Плохо, Иоганн, плохо... умираю... близка моя смерть.

— Медики говорят о вашем выздоровлении, они уверяют меня в том, ваше величество...

— Не верь, врут... я чувствую, что скоро умру.

— Ваши слова, государыня, терзают мне сердце, — с отчаянием, может быть, и притворным, воскликнул хитрый и честолюбивый временщик. — Живите, ваше величество, живите для счастья ваших подданных!

— Вот то-то и плохо, герцог, что счастья своему народу я мало принесла... Ах, Иоганн, сегодня ночью мне опять Волынский снился. Он был весь в крови, смотрел на меня с укором и как живой стоял предо мною. Ужасно... и вспомнить ужасно! — задыхающимся голосом проговорила умирающая императрица, закрывая исхудалыми руками лицо.

— Ваш сон, государыня, произошел от расстройства мысли. Смеею советовать вашему величеству не думать об этом ужасном человеке!

— И рада бы не думать, да думается. Зачем я подписала смертный приговор? Зачем послушалась тебя!.. Господи, как я страдаю из-за этого, мучаюсь раскаянием! Я молюсь за казненного Артемия Петровича, прошу у него и у Бога прощения, но, верно, моя грешная молитва не доходчива... Облегчения мне нет, нет, — с тяжелым вздохом проговорила императрица и смолкла, как бы забылась.

А Бирон думал в это время:

«Надо пользоваться случаем, надо теперь просить государыню о регентстве. Ей не поправиться, умрет она — и я стану полновластным правителем обширнейшего в свете государства, моя власть будет неограниченна... я буду почти царь».

— Иоганн, ты здесь? — прерывая тишину, снова спросила государыня. — Плохо тебе будет, когда меня не станет.

— Я... я не переживу вашей смерти... я тоже умру.

Бирон не постыдился лицемерить и у одра умирающей императрицы, своей благодетельницы.

— Полно, глупости это! Давай говорить про дело... Кого назначить после себя наследником престола? Царевны

Елизаветы я не хочу... Думала было я объявить наследником младенца Иоанна, сына племянницы Анны.

— Так и должно, ваше величество... Пусть будет императором русской земли Иоанн Антонович.

— Младенец-император?.. Кто же будет управлять народом?

— Регент.

— Регент, говоришь? А кого им назначить?.. Тебя, что ли, герцог? — с волнением спросила государыня у Бирона. — Ну, говори правду, Иоанн, ты жаждешь власти? Я знаю, ты давно стремишься к тому, но боюсь я за тебя, Иоанн.

— Не бойтесь, ваше величество... стоять у кормила правления мне не страшно. Прошу коленопреклоненно назначить меня регентом государства. — Бирон стал на колена и, прижимая руку к сердцу, с пафосом воскликнул: — Клянусь вам быть благодетелем и отцом вашего, государыня, народа!

— Хорошо... Если ты, Иоанн, непременно того желаешь, я... я назначу тебя быть регентом до совершеннолетия моего внука Иоанна.

Бирон бросился целовать руки у государыни.

— Ты радуешься, герцог? — сухо спросила Анна Иоанновна.

— Как же мне не радоваться вашей новой милости ко мне, покорному рабу вашего величества?

— Как ты, Иоанн, властолюбив, как властолюбив! Но это властолюбие, я боюсь, погубит тебя!

На следующий день младенец Иоанн, сын принца Антона Ульриха и принцессы Анны Леопольдовны, родной племянницы императрицы, был объявлен великим князем и наследником престола.

Благодаря проискам Бирона, мать наследника, принцесса Анна Леопольдовна, была исключена из наследства, тогда как без его интриг именно она вступила бы на престол. В то же время, по словам современника, «в кабинете и в сенате пошли такие интриги, что все, что находилось в Петербурге позначительнее, из духовенства, министров, военного сословия до чина полковника, было призвано в кабинет для подписания адреса герцогу Курляндскому, коим все чины империи просили его принять регентство во время малолетства великого князя до достижения им семнадцатилетнего возраста».

Бирон торжествовал. Акт о назначении его регентом, подписанный государыней Анной Иоанновной, «хотя, как

уверяют, она не знала содержания документа», находился в его руках.

17 октября 1740 года в залах Зимнего дворца происходило что-то особенное, какая-то суета; при необычайной тишине из зала в зал беспрестанно ходили лакеи и придворные чины с печальными, озабоченными лицами.

В большой, слабо освещенной комнате, которая находилась рядом со спальней императрицы Анны Иоанновны, собрались высшее духовенство, министры, генералитет и придворные чины; они тихо переговаривались между собою и с волнением и беспокойством посматривали на дверь. Там, в спальном покое, кончалась монархия земли русской.

Вот дверь из спальни быстро отворилась. Показался обер-гофмаршал и прерывающимся голосом тихо проговорил:

— Господа, все кончено, императрицы не стало.

Эти роковые слова электрическим током пробежали по всем залам Зимнего дворца, а скоро и по всему Петербургу.

Принцесса Анна Леопольдовна упала в глубокий обморок, когда ей сказали, что императрица скончалась, а герцог Бирон громко рыдал, только едва ли искренне, стоя на коленях около усопшей императрицы, своей благодетельницы, и ломал от сильного отчаяния себе руки.

— Ваша светлость, успокойтесь! Отчаянием и слезами не вернете почившей государыни. Вас ждут, ваша светлость, — тихо проговорил князь Трубецкой.

— Кто меня ждет? — вставая с колен, спросил Бирон.

— Духовенство, министры, генералитет. Они желают видеть вашу светлость, услышать от вас волю почившей императрицы.

— Да, да. Пойдемте, князь, к ним, мне надо сообщить им волю почившей государыни, моей благодетельницы.

С бледным лицом и заплаканными глазами вошел Бирон в сопровождении князя Трубецкого к ожидавшим вельможам; он так был растроган, что не мог прочесть предсмертный указ императрицы Анны Иоанновны, которым он назначался, до совершеннолетия царственного младенца Иоанна Антоновича, регентом при малолетнем царе.

Этот указ был сочувственно принят только преданными и близкими к Бирону людьми, на остальных же воля почившей императрицы произвела тяжелое впечатление.

— Ну, настало времечко, теперь Бирону удержу не будет. Он и то нас, русских вельмож, ни во что ставил, а теперь еще больше станет нами помыкать.

— Известно, теперь Бирон — регент, правитель... все мы у него в подчинении находимся.

— Только долго ли продлится его власть?

— Кто знает, Бирон силен...

— Силен-то он, силен, да один, а нас много.

— А разве у Бирона мало приверженцев?

— А все же нас больше...

— Да сила-то на его стороне.

— Ну, это мы еще увидим.

Так вполголоса разговаривали двое вельмож, спускаясь по лестнице Зимнего дворца.

У самого подъезда они сошлись с графом Минихом, который был сильно озабочен и чем-то сильно взволнован.

— Граф, не знаете, давно ли почившая государыня подписала указ о регентстве Бирона? — тихо спросил у Миниха один из вельмож.

Тонкий и хитрый Миних, прежде уверившись, что на подъезде никого нет, проговорил:

— Про это, господа, я ничего не знал и не слышал до сего дня.

— А тонко подвел Бирон, не правда ли, граф? — проговорил другой вельможа.

— Да. Но каковы, господа, будут последствия этого?

— Как, разве уже заявил кто-либо свое неудовольствие против назначения Бирона регентом? — в один голос спросили у графа Миниха оба придворных вельможи.

— Открыто никто не рискнул сделать это, но недовольных, господа, много, очень много...

— Стало быть, власть Бирона будет непродолжительна?

— Об этом не говорят и не спрашивают здесь, у дворца. До свидания, господа, — громко проговорил Миних и приказал придворному лакею позвать своего кучера.

На другой день после кончины императрицы Анны Иоанновны духовенство, знатные люди и разные чиновники были созваны в Летний дворец. Войска были поставлены «под ружье», и герцог Бирон громко и властно прочитал собравшимся акт, которым он объявлялся регентом до совершеннолетия императора Иоанна.

Все присягнули новому императору на подданство, и первые дни все шло обычным порядком; но так как герцог был всеми ненавидим, то многие стали вскоре роп-

тать. Регент, имевший шпионов повсюду, узнал, что о нем отзывались с презрением, что несколько гвардейских офицеров, и преимущественно Семеновского полка, которого принц Антон Ульрих был подполковником, говорили, что охотно станут помогать принцу, если он предпримет что-либо против регента. Он узнал также, что принцесса Анна и ее супруг были недовольны тем, что их отстранили от регентства. Это страшно обеспокоило властолюбивого Бирона; он приказал арестовать и посадить в крепость нескольких офицеров Семеновского полка, произвести следствие над ними и допросить их «с пристрастием», то есть под пыткой. В результате некоторых наказали кнутом, чтобы заставить их назвать других лиц, замешанных в этом деле.

Аресты происходили ежедневно, так что уже не было места, куда сажать арестованных: крепость и все тюрьмы были переполнены.

Бирон добрался и до принца Антона Ульриха, отца младенца-императора. Принц состоял генерал-лейтенантом армии, подполковником гвардии и шефом Кирасирского полка, но ему приказано было написать просьбу об увольнении от занимаемых им должностей. Однако этого Бирону было недостаточно; он велел дать совет принцу Антону Ульриху «не выходить из своей комнаты или, по крайней мере, не показываться в публичке».

Х

Оставим на время Петербург с его придворными интригами и вернемся в Звенигород, где тихо и мирно жили супруги Храпуновы. У Маруси было небольшое хозяйство, которое помогала ей вести ее бабушка Марина.

Жизни наших героев ничто не тревожило, о них как бы забыли. Только печальная весть, дошедшая до Храпунова, заставила его содрогнуться, а также и его жену. Они услышали, что по проискам Бирона казнен Артемий Петрович Волинский, много помогавший Храпуновым и укрывавший их от злобы честолюбца-временщика.

— Господи, что же это? Казнить такого благородного, честного вельможу... От одной этой мысли волосы становятся дыбом и сердце обливается кровью, — со слезами проговорил Храпунов, обращаясь к своему старому дяде, который часто и подолгу гостил у него в уютном домике в Звенигороде.

— И поверить, племяш, трудно. Может, ложен этот слух... Неужели немец-проходимец дерзнет публично казнить на площади русского вельможу? — задумчиво промолвил Петр Петрович.

— Но если это — правда, если это злодеяние совершилось, то неужели никто из русских не отмстит за смерть Волынского злодею-пришлецу? — горячо проговорила Маруся.

— Я отмщу Бирону, я, — твердым голосом проговорил Левушка, ударяя себя в грудь. — Я или отмщу ему за казнь моего благодетеля, или сам погибну.

— Как? Ты, ты хочешь отмстить Бирону? Но подумали ты, племяш, о том, что сейчас молвил?.. Тебе ли, бессильному, бороться с сильным, с могучим?

— Мне Бог поможет, дядя.

— Как, Левушка, ты хочешь оставить меня? — печально спросила Маруся.

— Да не ты ли сама сейчас сожалела о том, что не найдется человека, который отмстил бы злодею-временщику за Волынского? Такой человек нашелся, это — я.

— Но ведь ты идешь, Левушка, на явную смерть. Как только ты появишься в Питере, тебя схватят и посадят в крепость, а может быть, тебя ждет еще худшее.

— Маруся, я верю в свою судьбу. Что будет, то и будет, а в Питер я поеду. Не останавливай меня, Маруся, не останавливай... Я уверен, что мне придется отмстить Бирону за Волынского и за твоих несчастных родителей, князей Долгоруковых. Ведь они казнены тоже по его проискам.

— А ведь племяш-то дело говорит! Не останавливай его!

— Ну что же, ступай, пожалуй!.. Храни тебя Бог!.. Я молиться за тебя стану, Левушка, буду ждать твоего возвращения, считая все дни, часы и минуты, когда вернешься ты, мой милый, — после некоторого размышления проговорила Маруся.

— Знал я, голубка, что ты так скажешь, — крепко обнимая жену, весело промолвил Храпунов.

— Племяш, возьми меня с собою! Не думай, что я устарел и не сумею посчитаться с Бироном и устроить ему ловушку.

— Дядя, а кто же со мною останется? — воскликнула Маруся.

— Слышишь, дядя?.. Нет, ты оставайся здесь, гости у нас, охраняй мою милую женушку...

— Я не нянька и не мамка для твоей жены, — сердито проговорил Петр Петрович.

— Дядя, никак ты рассердился? Но пойми: ты — человек старый, тебе, родной мой, не перенести того, что я перенесу. Тебе надо отдохнуть... Если ты останешься здесь, у нас, то я поеду в Питер со спокойным сердцем... Я буду знать, что ты не бросишь моей Маруси, не оставишь ее.

— Знамо, не брошу, не оставлю, — произнес майор и решил исполнить просьбу племянника.

Старуха Марина тоже не стала удерживать Храпунова, и он начал поспешно собираться в дорогу, чтобы ехать в Петербург. Он решил, что должен сделать это, причем туда его влекла не одна месь: ему также хотелось «оправить» себя, свое честное имя, выяснить, если удастся, свою невиновность. Скрываться, жить под чужим именем ему страшно надоело, это тяготило, убивало его, и он решился вернуть свое положение. Ни Бирон, ни клеветы не страшили его.

«Я иду за правое дело и не боюсь злого временщика, — за меня Бог», — часто думал он.

Под именем посадского Григория Гришина Левушка прибыл благополучно в Петербург, прибыл в самый день смерти императрицы Анны Иоанновны. У Храпунова было немало приятелей, между которыми были лица довольно влиятельные, но ни к одному из них он не пошел, а отправился к своему старому и искреннему приятелю Степану Васильевичу Лопухину, который когда-то состоял при покойном императоре-отроке камер-юнкером, а теперь был офицером Семеновского полка, пользовался особым расположением и доверием фельдмаршала Миниха и состоял при нем адъютантом.

— Левушка, ты ли? Друг сердечный, откуда? — крепко обнимая Храпунова, радостно воскликнул Лопухин.

— Здравствуй, Степа! Я думал, ты меня забыл.

— Тебя забыть? Что ты!

— И немудрено забыть, Степа. Знаешь ли, кто я теперь? Ведь перед тобой не дворянин, офицер гвардейского полка Левонтий Храпунов, а простой посадский Григорий Гришин, — с тяжелым вздохом проговорил Храпунов. — Под этим именем я должен укрываться, чтобы снова не попасть в крепость, а может быть, и в Сибирь.

— Ну, теперь мы не дадим тебя на жертву твоим врагам, сумеем отстоять тебя. Ты не поверишь, Левушка, как я сокрушался, когда узнал, что ты посажен в крепость. Я

много хлопотал за тебя, просил, но все мои хлопоты и просьбы ни к чему не привели. Дошел до меня слух, что ты бежал из крепости. Я этому порадовался, но очень опасался, чтобы ты опять не угодил в руки сыщиков. Ну, а теперь скажи, зачем ты в Питер-то пожаловал?

— Прежде ты, Степа, скажи мне: предан ты герцогу Бирону или нет?

— Я? Я предан Бирону, этому злодею? Да ты с ума сошел, Левушка! Я презираю его, ненавижу. Да и не я один, а все мы ненавидим и презираем этого временщика. А знаешь ли, ведь он объявлен регентом в государстве.

— Ну, едва ли долго ему дадут властвовать. Ведь за казнь Волынского его возненавидели еще более. И прорвется же наконец эта народная ненависть наружу и затопит собою этого угнетателя. Вот ты спросил меня, Степа, зачем я прибыл сюда. Да именно затем, чтобы отомстить за казнь Волынского, моего покровителя. Я постараюсь освободить родину от этого зверя Бирона.

— Но ведь ты сам погибнешь.

— Зато спасу от бироновщины родную землю.

— Ну что же, дай тебе Бог исполнить это геройское дело! За это всякий русский человек скажет тебе спасибо!.. Только с этим делом ты не спеши, помощников к тому у тебя найдется много, очень много, только повремени немного приводить в исполнение тобою задуманное дело.

— Мне помощников не надо...

— Ну, брат, врешь... А ты забыл, что «один в поле не воин»? Неужели хоть меня себе на помощь не возьмешь?

— А ты пойдешь?

— Да с радостью! И не двое, не трое нас соберется, а целые сотни. Все мы давно ненавидим Бирона и рады будем его падению...

— Да, да, Бирон должен пасть... и он падет!

— Аминь! Руку, товарищ...

Приятели обнялись и крепко пожали друг другу руки.

Лопухин был искренним приятелем Левушки, всегда готовым прийти ему на помощь. Однако в то время, когда беды одна за другой обрушивались на бедного Храпунова, его не было в Петербурге: он, состоя при фельдмаршале Минихе, находился с ним в походе, а потому и не мог ничего сделать в пользу своего приятеля. Теперь же он выказал свое не только приятельское, но родственное внимание к Храпунову, оставив его у себя жить. Кроме того, Лопухин, объяснив фельдмаршалу графу Миниху историю

невеселой судьбы Храпунова, упросил его зачислить Левушку в Семеновский полк сержантом.

Миних исполнил это; он давно ненавидел злого временщика и выжидал случая подставить ему ногу. Он был рад всякому сообщнику для такого дела и недругу Бирона, и потому очень милостиво принял у себя Храпунова и в беседе с ним постарался выяснить его планы. В заключение беседы он произнес:

— Так, значит, ты, главным образом, хочешь отмстить Бирону за казнь твоего начальника, несчастного Волынского?... Это похвально, господин сержант! Только надо действовать осторожно, как можно осторожнее. Бирон хитер, даже слишком хитер... и догадлив... Непременно надо выждать удобное время и действовать умело, так, чтобы удар был направлен наверняка.

— Я буду дожидаться распоряжений и приказаний вашего сиятельства, — промолвил Храпунов.

— Я отдам тебя под начальство Манштейна. Он — подполковник и мой адъютант, но несмотря на то, что иностранец, он так же ненавидит Бирона, как ты, а, может, даже и более твоего. Ты будешь находиться у него в подчинении и делать все, что он прикажет. Но, главное, повторяю: будь осторожен. Твой порыв мести за своего начальника похвален, однако осторожность прежде всего! — отпуская Левушку Храпунова, сказал Миних.

XI

Против властолюбивого Бирона был составлен заговор, во главе которого находились обиженные Бироном родители младенца императора Иоанна, принцесса Анна Леопольдовна и ее муж принц Антон Ульрих.

Бирон, отстранив их от правления, обращался с ними грубо, дерзко. Как-то раз Анна Леопольдовна вся в слезах стала жаловаться графу Миниху на регента и просить помощи против его дерзости.

— Мне одно остается — уехать из России. Я возьму мужа и сына-младенца и уеду в Германию. Дольше жить здесь я не могу... Здесь я получаю от регента только лишения и грубости, — с волнением проговорила Анна Леопольдовна.

— Уехать вашему высочеству невозможно: ведь вы — мать русского императора и должны жить в России.

— Но я не могу более переносить грубости регента.

— Надо сделать так, ваше высочество, чтобы Бирон не смел более нападать на вас.

— Но как это сделать?.. Бирон и силен, и могуч.

— А надо так устроить, чтобы он был бессилён. Для этого необходимо лишить его могущества, — как-то загадочно и тихо промолвил Миних.

— Но кто же в состоянии это сделать, да и как?

— Доверьте мне, ваше высочество, устроить это дело.

— Вам, вам?! — с удивлением воскликнула принцесса, которой были известны хорошие, почти дружеские отношения Бирона и Миниха.

— Да, мне, принцесса... Согласны?

— И вы еще спрашиваете моего согласия? Я прошу, убедительно прошу вас, граф, избавьте нас от этого деспота! Ведь вам, наверно, известно, что Бирон задумал отстранить от престола моего сына?

— Как же, принцесса, мне также хорошо известно, что регент Бирон хочет возвести на престол царевну Елизавету. Он часто бывает у царевны и совещается с нею.

— Но ведь если он возведет Елизавету на престол, нам совсем будет плохо, — меняясь в лице от неприятного сообщения, промолвила Анна Леопольдовна.

— Успокойтесь, ваше высочество, этого не будет. Я не допущу до этого регента и подрежу ему крылья.

— Граф, на вас одних вся наша надежда... Спасите, спасите нас от Бирона... Вся Русь будет глубоко благодарна вам, — с мольбою в голосе проговорила принцесса.

— Я — ваш нижайший и покорнейший слуга, ваше высочество, обещанное мною выполню, прошу мне верить.

— Я, граф, верю вам и постараюсь оценить вашу службу... Выполните обещанное, получите великую награду.

— Об этом, принцесса, после. Скажите, в каких вы отношениях с Остерманом? — несколько подумав, спросил Миних у Анны Леопольдовны.

— В наилучших. Остерман также ненавидит регента.

— Хитрит он! Трудно понять его, и даром называют его лисой. А его сообщничество нам, ваше высочество, нужно.

— Остерман на моей стороне, я это знаю. Он часто бывает у нас, и мы подолгу с ним беседуем.

— Постарайтесь, ваше высочество, прилучить его еще более, это — нужный человек. Теперь я уйду, но пройдет несколько дней, и правительницей могущественного государства будете вы, ваше высочество, — значительно про-

говорил Миних. — Только осторожность, принцесса, первое дело — осторожность, — добавил он и, поцеловав руку у Анны Леопольдовны, поспешно вышел.

Миних стал усердно подготавливаться к низложению регента Бирона, но он вел свое дело так тонко и осторожно, что хитрый и подозрительный герцог не мог догадаться, что Миних готовит ему подкопы. Фельдмаршал продолжал угождать регенту, выказывая ему большую привязанность и преданность; Бирон, со своей стороны, хотя и мало доверял ему, все же был с ним чрезвычайно вежлив, часто приглашал его к себе обедать и подолгу с ним беседовал.

Накануне низложения и падения Бирона, то есть 8 ноября 1740 года Миних тоже обедал у него. В этот день Бирон был весел и необычайно любезен с Минихом, сам подливал в бокал ему вина, угощал его. Однако Миних был как-то рассеян и задумчив. Это не ускользнуло от наблюдательного Бирона, и он обратился к нему с вопросом:

— Граф, вы как будто невеселы?

— Нет, ваша светлость, я весел... Мне нет причины скучать.

— Мне показалось, будто вы печальны. Но не в том дело... Мне хотелось бы, граф, действовать с вами единодушно, друг другу не мешать.

— Это и мое неперменное желание, ваша светлость.

— Делить нам, граф, с вами нечего, не так ли?

— Совершенно верно.

— Здесь, в этой стране, мне предстоит много дела, трудно, и я, граф, хотел бы иметь вас своим помощником.

— Это такая честь, ваша светлость.

— Повторяю, я хотел бы с вами, граф, действовать единодушно, но для этого надо, чтобы вы были расположены ко мне, даже преданы.

— Моя преданность вашей особе всегда видна.

— За расположение ко мне и преданность вы получите, граф, должное. Вам хорошо известно, что я умею награждать преданных мне людей, а также умею и карать своих недругов, — возвышая голос, проговорил Бирон.

Обед окончился. Герцог повел Миниха в свой кабинет, усадил его на диван и попросил рассказать о некоторых своих походах и сражениях. Фельдмаршал исполнил это.

— А скажите, граф, не случилось ли вам предпринимать во время походов какие-нибудь важные дела ночью? — быстро спросил Бирон.

Этот неожиданный вопрос смутил Миниха и привел его почти в замешательство; он вообразил, что регент догадывается о намерении низложить его ночью; потому Миних решил следующей ночью исполнить задуманное, то есть арестовать Бирона. Однако фельдмаршал так быстро оправился, что подозрительный регент не мог заметить его волнения.

— Право, не помню, ваша светлость, походов было так много что, может быть, я предпринимал и ночью что-нибудь важное и необычайное. А вообще, ваша светлость, я положил себе за правило пользоваться всеми обстоятельствами, когда они окажутся благоприятными, днем или ночью — безразлично.

— Так, так... Стало быть, граф, вы ловите момент?

— Так точно, ваша светлость, ловлю, благо он попадается в руки.

Бирон и Миних долго еще беседовали. Было уже одиннадцать часов вечера, когда они дружелюбно расстались. Бирон был так ласков и предупредителен, что проводил гостя до двери и на прощанье пожелал ему доброй ночи.

— И вам доброй, покойной ночи желаю, ваша светлость, — низко кланяясь еще пока всесильному регенту, проговорил Миних и поехал домой, чтобы готовиться к освобождению России от тирании Бирона.

Сидя в своей карете на пути домой, он думал:

«Теперь или никогда. Эта ночь решит мою судьбу и судьбу Бирона. Откладывать нечего; все приготовлено. Владычеству Бирона приходит конец, теперь моя очередь прокладывать дорогу к могуществу и к почестям. Довольно мне гнуть шею перед регентом. Пусть он мне уступит свое могущество, свою власть... Всему свой черед».

У себя Миних застал своего адъютанта подполковника Манштейна и Левушку Храпунова. Последний уже несколько недель жил в Петербурге и успел войти в полное доверие как к фельдмаршалу Миниху, так и к его адъютанту Манштейну.

— Ну, господин сержант, этой ночью предстоит тебе славное дело... Готов ли ты к нему? — спросил у Храпунова фельдмаршал.

— Готов, ваше сиятельство, приказывайте.

— Приказание о том, что делать, ты получишь от подполковника Манштейна и должен слушать его, как меня. Если выполнишь все аккуратно, то будешь произведен в офицеры, то есть тебе вернут прежний твой чин.

— Не ради чина, ваше сиятельство, я подниму руку на Бирона.

— Знаю, тобой руководит месть... Но ты должен несколько ограничить ее. Ты и твои товарищи солдаты должны лишь арестовать Бирона. Если нужно будет, употребите силу, но не убивайте, а живьем возьмите тирана... Ты меня понимаешь?

— Понимаю, ваше сиятельство.

— Ты то же скажешь и солдатам, которые пойдут с тобой во дворец Бирона.

— Слушаю, ваше сиятельство.

— Теперь ступай и жди сигнала!

Поклонившись фельдмаршалу, Храпунов вышел; он ждал с большим нетерпением того часа, когда сможет насладиться падением своего злейшего врага регента Бирона.

— Этот малый будет хорошим помощником в нашем деле, — проговорил Миних своему адъютанту, показывая на уходившего Храпунова.

— Да, он — точный и исполнительный служака.

— Такие люди нам нужны.

— Так точно, ваше сиятельство.

— А который теперь час? — несколько подумав, спросил Миних у адъютанта.

— Ровно два часа.

— Время вершить задуманное. Едем во дворец к принцессе.

— Но ее высочество, вероятно, почивать изволит.

— Что же, разбудим. Время дорого, надо спешить. Малейшее промедление может разрушить наше дело, а тогда нас ждет гибель... казнь... Едем! — голосом, не допускающим возражения, проговорил фельдмаршал Миних.

Оба они сели в карету и поехали в Зимний дворец, где находились младенец-император и его родители.

Прибыв во дворец, они вошли на половину принцессы через ее гардеробную. Фельдмаршал приказал вызвать Юлиану Менгден, статс-даму и любимицу Анны Леопольдовны, и, когда она явилась, сказал ей:

— Разбудите скорее ее высочество принцессу.

— Как? Будить теперь, ночью? — удивилась Менгден.

— Сейчас же, не медля ни одной минуты! — возвышая голос, сказал Миних. — Если вы не разбудите принцессы, я сам сделаю это!

— Вы... что вы?! Как это можно...

— Ну так ступайте и будите, — крикнул фельдмаршал, выведенный из себя возражениями статс-дамы.

— Да иду, иду, не кричите!.. Как вы нетерпеливы!..

Статс-дама быстро ушла в спальню принцессы, и вскоре оттуда вышла Анна Леопольдовна, заспанная, встревоженная.

— Что такое? Что случилось? — быстро спросила она у Миниха.

— Пока, ваше высочество, еще не случилось ничего особенного, а скоро может и случиться. Скоро вы станете регентшей-правительницей.

— Как, разве уже все приготовлено?

— Все, ваше высочество, и мы только ждем ваших приказаний...

— Я... я не знаю... я смущена. А что, если нам не удастся?

— Надейтесь, ваше высочество, нам Бог поможет освободить русскую землю от тирана! Прикажите позвать офицеров, находящихся во дворце, на карауле, и скажите им несколько слов, — посоветовал Анне Леопольдовне фельдмаршал.

— Я согласна, пусть придут.

Собраны были все офицеры, находившиеся в Зимнем дворце на карауле. Принцесса Анна Леопольдовна высказала им в немногих словах все неприятности, которые регент делал императору, ей самой и ее супругу, и прибавила, что так как ей было невозможно и даже постыдно долее терпеть эти оскорбления, то она решила арестовать его, поручив это дело фельдмаршалу Миниху, и что она надеется, что офицеры будут помогать ему в этом и исполнят его приказания.

Офицеры без прекословия повиновались всему тому, чего требовала от них принцесса. Она дала им поцеловать руку и каждого обняла; офицеры спустились с фельдмаршалом вниз и поставили караул под ружье.

— Ребята, довольны ли вы регентом Бироном? Говорите мне прямо! — громко спросил Миних у солдат.

— Уж какое тут довольство! Разве таким человеком можно быть довольным? Обидчик он, злой человек, кровопивец, он кровь нашу пьет! Одно слово — мучитель!.. — закричали в ответ солдаты гвардейского Семеновского полка.

— И рады будете вы, если я от имени ее высочества принцессы Анны Леопольдовны прикажу вам арестовать Бирона?..

— Рады, рады! Прикажи, ваше сиятельство, мы ружьями поднимем лиходея!..

— Этого не надо, убийства не должно быть, вы живым возьмите Бирона, — проговорил солдатам Миних и приказал зарядить ружья.

Восемнадцать солдат с фельдмаршалом Минихом, подполковником Манштейном, а также сержантом Храпуновым отправились к Летнему дворцу, который занимал Бирон.

Была темная, непроглядная ночь; дул сильный, порывистый ветер, валил хлопьями мокрый снег. Отряд гвардейцев с фельдмаршалом во главе быстро шел ко дворцу. Не доходя шагов двести, он остановился.

Миних послал Манштейна к офицерам, находившимся на карауле у Бирона. Им было объявлено желание принцессы Анны Леопольдовны арестовать Бирона.

Для офицеров это было радостным известием, «они были так же сговорчивы, как и прочие, и предложили даже помочь арестовать герцога, если в них окажется нужда».

— Возьмите с собой сержанта Храпунова и человек двадцать солдат, ступайте во дворец и арестуйте Бирона! — приказал фельдмаршал своему адъютанту.

— А если он станет сопротивляться? — спросил подполковник Манштейн.

— Тогда... тогда убейте его без пощады, — несколько подумав, ответил Миних.

Манштейн пошел исполнять приказание и, во избежание большого шума, велел своему отряду издали следовать за собою. Все часовые, находившиеся снаружи и внутри двора, пропустили Манштейна беспрепятственно, так как все они, зная его, полагали, что он мог быть послан к герцогу по какому-нибудь важному делу. Манштейн в сопровождении Храпунова прошел дворцовый сад и вступил в залы дворца. Отряд солдат издали следовал за ним.

Манштейну было мало известно расположение комнат дворца, он не знал, в какой комнате Бирон и куда идти. Между тем спросить он не хотел, чтобы избежать шума и не навлечь на себя подозрения. После минутного колебания Манштейн пошел далее и, пройдя две-три комнаты, остановился около запертой двери. К счастью, она была створчатая, и слуги забыли задвинуть верхние и нижние задвижки, так что подполковнику не составило большого труда отворить дверь.

В этой комнате, полуосвещенной лампадкой, Манштейн и Храпунов увидели роскошную кровать под балдахином, в бархате и кружевах. На ней безмятежным сном покоился

Бирон со своей женой, не чувствуя, что кара Господня готова разразиться над ним. Даже шум отворяемой двери не разбудил его.

Манштейн быстро подошел к кровати, отдернул шелковые занавески и громко сказал:

— Вставайте!

Тогда Бирон и его жена быстро проснулись и, увидев перед собою офицера с грозным лицом, подняли с испуга сильный крик. Регент быстро соскочил с кровати, очевидно, с намерением спрятаться под нее. Но Манштейн бросился на него, схватил за ворот сорочки и, крепко держа, позвал Храпунова и солдат.

Бирон отбивался и сыпал удары кулаком направо и налево; солдаты отвечали ему ударами прикладов, снова повалили его на землю, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного из офицеров и снесли его голого до гауптвахты, где накрыли солдатской шинелью и положили в ожидавшую его тут карету фельдмаршала. Рядом с ним посадили офицера и отвезли в Зимний дворец.

В то время, когда солдаты потащили герцога от дворца, его несчастная жена соскочила с кровати в одной рубашке и поспешила за солдатами с рыданием и воплями. Так в одной рубашке, несмотря на холод, и высочила герцогиня на улицу, бросаясь к своему мужу. Один из солдат взял ее на руки и спросил у Манштейна:

— Что делать с бабой?

— Отнеси или отведи ее обратно во дворец, — с жалостью поглядывая на бывшую в сильных руках солдата герцогиню, непричастную к злодеяниям своего мужа-тирана, проговорил Манштейн.

— Не пришибить ли ее, ваше благородие?

— Не смей и думать! Что ты говоришь?.. Герцогиня ни в чем не виновна, сведи ее во дворец.

— Слушаю, ваше благородие, — ответил солдат, но, не желая утруждать себя, бросил герцогиню на землю в снег и ушел — так велики были в сердцах русских злоба и ненависть к Бирону и ко всем его близким.

Командир караула сжалился над герцогиней, увидев ее в одной рубашке на снегу, почти в бесчувственном состоянии; он приказал принести ей платье и отвести обратно во дворец, в ту половину, которую она занимала.

Лишь только герцога повезли, Манштейн был послан арестовать младшего брата Бирона, Густава, бывшего подполковником гвардейского Измайловского полка. Его разбудили, так как он спал.

— Что вам надо? — сердито спросил он у Манштейна, быстро одеваясь и подходя к окну.

— Я должен арестовать вас, — сдержанно ответил тот.

— По какому праву? Кто вам приказал?

— Вам об этом скажут после.

— Вы ответите за меня... Вы забыли, что я — брат герцога... Мой брат-регент сошлет вас в Сибирь!

— Следуйте за мною и помните, что при малейшем сопротивлении мне приказано вас убить, — произнес Манштейн.

— Но за что же арестовали меня? Я ни в чем не виновен. Вы хоть спросите у моего брата-герцога.

— Ваш брат тоже арестован.

— Как, регент, герцог арестован? — с удивлением воскликнул Густав Бирон. — Боже, что же это все значит?

Густав Бирон волей-неволей принужден был покориться; под конвоем его повезли в Зимний дворец.

Оттуда герцога Бирона со всем семейством отправили в Шлиссельбургскую крепость, а остальных арестованных «отослали в места, мало отдаленные от столицы, где они пробыли до окончания следствия».

Утром, спустя несколько часов после ареста герцога Бирона, весь Петербург узнал об этом событии. Эта радостная весть проникла и в пышные хоромы богача, и в убогую лачугу бедняка. И везде радость была безмерная: народ был весел, как в первый день Пасхи.

«Тиран и кровопивец арестован» — эта весть летела из уст в уста, из дома в дом, из города в город, и вся Русь весело отпраздновала день освобождения от тирании злодея-пришлеца Бирона. Встречавшиеся на улицах знакомые целовались друг с другом и поздравляли с праздником.

В день ареста Бирона всем находившимся в Петербурге войскам был отдан приказ: «Стать под ружье и собраться вокруг дворца». Принцесса Анна Леопольдовна объявила себя великой княгиней и правительницей империи до совершеннолетия своего сына-императора, младенца Иоанна, и возложила на себя орден св. Андрея; и «все снова присягнули на подданство, в каковой присяге была упомянута великая княгиня, чего не было сделано прежде по отношению к регенту».

Вместе с этим последовала амнистия многих заключенных. При Бироне ввиду широко развитой системы доносов остроги и все казематы Шлиссельбургской крепости были

переполнены арестованными только по одному подозрению или за неосторожное слово. Этих несчастных было так много, что тайная канцелярия отказывалась производить следствие и пытки.

И вот теперь всех их было приказано выпустить. Двери темницы были отверсты, цепи упали, и узники очутились на свободе. Отец, мать обнимали сына, выпущенного из крепости, жена — мужа, сестра — брата и т.д. Это повело к тому, что, по словам современника, «не было никого, кто бы не выражал своей радости по случаю избавления от тирании Бирона, и с этой минуты всюду водворилось большое спокойствие; на улицах даже сняты были пикеты, расставленные герцогом Курляндским для предупреждения восстания во время его регентства».

Так свершилось падение тирана-регента. Русь воскресла.

ХII

Что же руководило графом Минихом в его стремлении низложить регента Бирона? Самолюбие. Ему захотелось самому занять место Бирона, стать во главе правления государством, повелевать. Благодаря его действиям Бирон, его семья и приверженцы очутились в крепости. Фельд-маршал хотел всю власть захватить в свои руки, дать великой княгине Анне Леопольдовне «звание правительницы, а самому пользоваться сопряженною с этим званием властью, воображая, что никто не посмеет предпринять что-либо против него». Но он жестоко ошибся, как увидим это далее.

В первое время Миних пользовался большой властью, получив за свою услугу, то есть за арест Бирона, пост первого министра. Много других лиц также получили награды деньгами и поместьями; все офицеры и унтер-офицеры, принимавшие участие в аресте Бирона, получили повышение, а солдатам было дано денежное вознаграждение. Не забыт был и Храпунов: ему был возвращен его офицерский чин и дана денежная награда.

Левушка в теплых словах благодарил Миниха и между прочим сказал ему о ларце с золотом, принадлежавшем его жене и все еще находившемся в тайной канцелярии.

— О каком ларце говоришь ты? Я не понимаю ничего из твоих слов, — удивляясь, заметил Миних.

— Если позволите, ваше сиятельство, я в коротких словах расскажу вам об этом ларце.

— Рассказывай, любопытно послушать.

Храпунов, рассказывая о ларце, коснулся в рассказе и князя Алексея Григорьевича Долгорукова, и своей жены.

— Ларец с золотом законно принадлежит моей жене и составляет ее приданое, — закончил он свой рассказ.

— Ты хочешь, чтобы ларец был возвращен тебе? — спросил граф Миних.

— Моей жене, ваше сиятельство, потому что ларец составляет ее собственность.

— Хорошо, о твоей просьбе я доложу великой княгине-правительнице... Но только едва ли твоя жена получит из этого ларца свое золото. Неужели ты думаешь, что оно в течение нескольких лет будет лежать в ларце? Бирон и его приближенные наверняка около этого золота погрели руки, и твоей жене оставили один только пустой ларец, — с улыбкою проговорил Миних.

Говоря эти слова, он был прав: Бирон не только не оставил в ларце золота, но даже и самый ларец приказал уничтожить.

Правительница Анна Леопольдовна, по докладу ей о просьбе Храпунова графом Минихом, приказала выдать Храпунову порядочную часть денег, вырученную от продажи конфискованного имущества Бирона. Кроме того, ему был дан долгосрочный отпуск, и он уехал в Звенигород к нетерпеливо ожидавшей его Марусе.

А без него в Петербурге готовился новый переворот.

Властолюбие губило и губит многих высокопоставленных лиц. Оно погубило Меншикова, Долгоруковых, Бирона, добралось и до графа Миниха, послужив графу Остерману удобным поводом для интриг против него. Миних, принимая звание первого министра, сильно оскорбил этим Остермана, который до тех пор был полным руководителем всех дел министерства; а так как Остерман никогда не был близким человеком Миниха или его приятелем, то и принялся очень искусно устраивать падение фельдмаршала.

Остерман, страдал подагрой ног, при покойной императрице Анне Иоанновне редко когда выходил из своей комнаты; теперь же он приказывал часто переносить себя к матери младенца-императора, то есть к правительнице, и имел с нею несколько продолжительных совещаний, «во время которых намекнул, что первый министр не был знаком с иностранными делами, которыми руководил уже

двадцать лет он, граф Остерман, и что вследствие этого Миних мог по неведению вовлечь двор в такие действия, которые были бы чрезвычайно вредны интересам империи; что он, граф Остерман, с удовольствием сообщил бы ему это, но что его недуг не позволял отправиться к нему. Он прибавил еще, что Миних не был знаком с внутренними делами империи, служа постоянно по военному ведомству».

Под влиянием этих объяснений правительница решилась опять поручить управление иностранными делами графу Остерману, а ведение внутренних дел по империи возложить на графа Головина. Таким образом, честолюбивому Миниху осталось только одно военное министерство с титулом первого министра. Это оскорбило его, задело за живое, и однажды он, в порыве негодования, обратился к Анне Леопольдовне с такими словами:

— Ваше высочество, я состарился на службе, захворал, хочу отдохнуть, а потому обращаюсь всенижайше к вашему высочеству с покорнейшей просьбой об отставке.

— Вы просите отставки? Вы? — с удивлением воскликнула Анна Леопольдовна. — Граф, я никак не ожидала услышать от вас это. Разве вы чем-либо недовольны?

— Я доволен, ваше высочество, всем доволен!

— А если так, то зачем вам отставка?

— Устал я, ваше высочество, мне давно пора отдохнуть.

— Ну и отдыхайте... Возьмите отпуск.

— Мне надо, ваше высочество, продолжительный отпуск.

— Возьмите хоть на год.

— Нижайше благодарю, ваше высочество. — При этих словах Миних низко поклонился правительнице.

— Да, да... отпуск, для поправления вашего здоровья, я вам дам, граф... Но, надеюсь, мы будем видеться... Я не могу обходиться без ваших советов. Вы так опытни...

— Ваше высочество, я, пожалуй, еще готов нести службу, если... если мне будут возвращены все должности, которые я имел в первые дни вашего правления, — тихо, но значительно проговорил Миних. — Я готов служить вашему высочеству и государству до последнего часа своей жизни.

— Будете служить, граф, только в том случае, когда вам будут возвращены все ваши должности, не так ли? — спросила у Миниха Анна Леопольдовна, едва скрывая досаду.

— Так точно, ваше высочество.
— А если вам не возвратят их?
— Тогда я буду принужден подать в отставку.
— Вот что!.. Так ваша усталость и болезнь — одно притворство?

— Ваше высочество!..

— Довольно, граф!.. Я не люблю торговаться. Желаете служить — служите, а не желаете — как хотите. Я... я готова принять от вас отставку! — И Анна Леопольдовна, не сказав более ни слова, вышла.

Она, может быть, и не решилась бы принять отставку Миниха, если бы принц, ее супруг, и граф Остерман не убедили ее отдалить Миниха.

Фельдмаршалу был запрещен проезд ко двору, его постигла опала.

Известие о падении Миниха поразило друзей и приближенных к нему лиц. Что касается правительницы, то она приняла строгие меры предосторожности. По словам современника, «кавалерийский караул был удвоен во дворце, и по улицам днем и ночью часто расхаживал патруль; за фельдмаршалом следовали всюду шпионы, наблюдавшие за малейшим его действием; принц и принцесса, опасаясь ежеминутно нового переворота, не спали на своих обыкновенных кроватях, а проводили каждую ночь в разных комнатах до тех пор, пока Миних не переехал в свой дворец, по ту сторону Невы», но он, несмотря на свое падение, получил ежегодную пенсию в пятнадцать тысяч рублей.

По прошествии нескольких дней после падения Миниха Анна Леопольдовна издала указ, которым повелевала именовать принца Антона, своего супруга, отца императора-младенца, императорским высочеством, а вскоре после этого он был объявлен соправителем государства.

В марте 1741 года фельдмаршал Миних был совсем удален от двора.

Месяца за два до этого он был очень нездоров и не подавал надежды на выздоровление. Анна Леопольдовна, узнав об этой болезни, выразилась так:

— Для Миниха было бы счастьем умереть теперь, так как он окончил бы свою жизнь в славе и в такое время, когда находится на высшей ступени, до которой может достигнуть честный человек.

На основании этих слов можно было судить, что двор скоро утешился бы в потере Миниха и что сама мать императора-младенца завидовала его могуществу.

Бывший регент Бирон, герцог Курляндский, все еще содержался в Шлиссельбургской крепости. Над ним назначен был суд, или комиссия, составленная из нескольких сенаторов. Бирона приговорили к смертной казни, но правительница Анна Леопольдовна заменила ее вечной ссылкой в Сибирь со всем его семейством, причем жить им назначено было в городе Пелым Тобольской губернии.

Разжалованный Бирон надеялся на заступничество европейских держав, но его не было; только одно Курляндское герцогство прислало в Петербург депутацию с просьбою о помиловании Бирона, но она ни с чем уехала в Курляндию. В силу этого еще так недавно могущественному правителю государства пришлось отправиться в Сибирь.

К месту ссылки Бирона и все его семейство повезли в июне 1741 года под строгим конвоем, медленно, с частыми остановками, необходимыми по болезни бывшего герцога. Его семейству было дозволено взять несколько человек мужской и женской прислуги, поваров, лакеев, горничных и т.д. Кроме того, с Бироном ехали пастор и доктор, так как разжалованный герцог был серьезно болен.

Пробыв не один месяц в дороге, Бирон и его семейство добрались до Пелыма и поместились в нарочно выстроенном для них доме со всеми службами, кругом которого был высокий забор с крепкими воротами, постоянно запертыми.

Дом для ссыльного Бирона был сделан по плану, который составил сам Миних. Думал ли он, что судьба приведет и его самого долгие и томительные годы жить в этом доме? И над Минихом как нельзя более сбылась русская пословица: «Не рой другому ямы, сам в нее попадешь».

После царственной роскоши и пышности Бирону и его семейству показалась крайне тяжелой жизнь в ссылке, в простом доме. Правда, Бирон не нуждался в средствах к жизни, как нуждались остальные предшествовавшие ему по опале вельможи, Меншиковы и Долгоруковы: на его содержание ежегодно назначено было отпускать более пяти тысяч рублей, а на содержание пастора и прислуги отдельно. Но вместе с этим, сам Бирон и его семейство были стеснены свободой. Караульным офицерам было строго наказано содержать ссыльных «под крепким и осторожным караулом, неисходно и всегдашнее смотрение иметь, чтобы никто из них никаким образом уйти не мог и в тамошнюю

их бытность никого к ним не допускать, бумаги и чернил не давать».

Да и без того семейству Бирона невозможно было пользоваться свободой, потому что сам Бирон, убитый горем, выехал из Петербурга больным; в дороге он расхворался еще больше, а по приезде в Пелым совсем слег в постель и стал готовиться к смерти; около его постели бессменно дежурили жена и дочь, а также пастор и доктор.

Себялюбие и честолюбие не покидали Бирона и во время его болезни. Он считал себя неповинно страдающим в ссылке и измышлял, как бы вернуть прежнее, бывшее, причем считал себя вполне правым даже перед теми сотнями людей, которых заставил понапрасну нести тяготы наказания.

— Я скоро, скоро умру... умру страдальцем неповинным. Я не заслужил этого наказания, вы это хорошо знаете, — говорил слабым голосом Бирон жене и дочери, — со мной поступили жестоко, безжалостно.

— О, милый, дорогой Иоганн, и зачем мы только приехали в эту ужасную варварскую страну!.. Если бы мы жили в Курляндии, с нами не было бы этого несчастья, — со слезами воскликнула однажды герцогиня.

— Ты права, Россия — ужасная страна. Я хотел образовать, просветить ее, быть для нее тем же, чем был император Петр. Я хотел идти по стопам этого великого императора. И что же русские? Эти дикари называли меня тираном... ненавидели меня.

— Милый папа, потомство оценит тебя, — целуя исхудалую руку Бирона, проговорила его дочь.

— И как это я, повелевавший миллионами народа, дал себя поймать этому старичишке Миниху?.. О, если бы я узнал его замысел заранее! Тогда бы я его самого упрятал подальше Сибири.

— Успокойся, Иоганн: и Миниха, как он ни хитер, ждет та же участь, — проговорила, успокаивая мужа, герцогиня.

И слова ее сбылись. Миних подвергся опале, а вследствие его падения и все лица, близко стоявшие к нему, находились в сильном подозрении у правительства. Его доверенный адъютант подполковник Манштейн, получивший за арест Бирона огромные поместья, был лишен всего. Равным образом и Степан Лопухин волей-неволей принужден был подать в отставку и уехать в свою усадьбу.

Храпунов узнал о падении Миниха в то время, когда на пожалованные деньги купил себе небольшую усадьбу

неподалеку от усадьбы своего дяди и переселился туда со своей красавицей-женой. Весть о том, что Миних в опале, заставила невольно призадуматься Левушку и подивиться превратностям судьбы человеческой.

ХІІІ

Теперь вернемся к злополучной молодой княгине Наталье Борисовне Долгоруковой, урожденной графине Шереметевой, и расскажем, что стало с этой многострадальной женщиной после ужасной казни ее мужа, князя Ивана Долгорукова.

Ее горе не поддается описанию. Одна только глубокая вера в Бога да любовь к детям спасли ее от отчаяния, и она продолжала жить в Березове. О ней как бы забыли.

У Натальи Борисовны было два сына: старшему, Михаилу, очень похожему на своего отца, шел десятый год, а младшему, Мите, только четвертый.

Они были единственной утехой бедной матери. Наталья Борисовна старалась воспитывать их в беспредельной вере в Бога и в любви к ближнему. Глубоко верующая мать хотела, чтобы и ее сыновья были такими же.

Наталья Борисовна не рассказывала сыновьям о страдальческой смерти их отца и по возможности старалась скрыть от них это. Старший сын Михаил был не по летам развит. Это был добрый, тихий и очень впечатлительный мальчик. Он горячо любил свою многострадальную мать и злополучного отца. Мише хоть и не говорили про казнь отца, но он догадывался, что его уже нет более в живых.

«Если бы папа был жив, то его вернули бы к нам, не стали бы разлучать с нами. Нет, папа, наверное, умер, а может, его убили... Спрошу у мамы... она скажет», — не раз думал Миша и однажды привел свою мысль в исполнение, обратившись к матери с такими словами:

— Мама, скажи, пожалуйста, где папа?

Этот вопрос заставил побледнеть Наталью Борисовну.

— Не знаю, мой родной, — тихо ответила она. — Вашего папу увезли, давно увезли, а куда, я не знаю.

— Может, он умер... ведь так, мама? Папа умер?.. Только ты нам про то не говоришь, жалея меня и Митю? А все же, мама, ты должна сказать мне: ведь я не знаю, как молиться за папу — как за умершего или как за жи-

вого? — серьезно, но дрожащим голосом спросил Миша у матери.

— Ваш отец умер... Помолись, Мишенька, за упокой его души, — захлебываясь слезами, ответила Наталья Борисовна.

— Умер, умер... бедный папа!.. Его убили, ведь так, мама?.. Его казнили? Что же ты не отвечаешь? Стало быть, так... Папа казнен?

Судорожное рыдание, вырвавшееся из наболевшей груди бедной матери, было ответом Мише.

— Мама, милая, дорогая, полно, не плачь! — стал он утешать ее. — Ведь ты сама, мама, учила меня терпеть и покоряться... За папу теперь молиться надо. Он казнен невинно, и Бог накажет за него злодеев... Ну полно же, мама, плакать! Давай лучше помолимся за папу...

И из чистого сердца мальчика полилась чистая молитва к Богу за казненного отца.

Второго сына Натальи Борисовны не коснулось еще житейское горе; его младенческая душа была чужда этому; он не понимал, что его отец кончил свои дни на эшафоте, под топором палача. Он только спрашивал мать, почему с ними нет папы и почему она все плачет. И бедная Наталья Борисовна, как могла, успокаивала своих сыновей. Она покорилась своей судьбе и не ждала ниоткуда помощи.

Но о Наталье Борисовне вспомнила сама государыня Анна Иоанновна. 26 апреля 1739 года последовал следующий высочайший указ: «Жену князя Ивана с детьми и со всеми пожитками отпустить в дом к брату ее графу Петру Борисовичу Шереметеву».

Замечательное совпадение: Наталья Борисовна после долгого и утомительного путешествия прибыла в Москву 17 октября 1740 года, в самый день смерти императрицы Анны Иоанновны.

Не особенно ласково встретил сестру граф Петр Борисович: он никак не мог ей простить то, что она вышла за князя Ивана Долгорукова.

— Вот говорил я тебе, сестра, а ты меня не послушала — вышла за Ивана Долгорукова и сколько бед и несчастий приняла из-за этого! — с упреком проговорил граф Шереметев Наталье Борисовне.

— Былое вспоминать нечего, братец.

— Нет, сестра, вспомнишь, да как еще вспомнишь! Какие за тебя женихи-то сватались богатые, знатные. Например, граф Левенвольд. Ты бы и посейчас жила с ним припеваючи, в славе да в богатстве.

— Не любила я графа Левенвольда, а потому и не пошла за него.

— Ивана Долгорукова любила? Выбрала пару, нечего сказать!

— Не пойму я, братец, к чему все это ты говоришь мне? Боишься, объем я тебя с моими ребятишками? Так, что ли?

— И в мыслях у меня этого не было. Из одной жалости к тебе, сестра, я говорю.

— А если ты жалеешь меня хоть немного, то не вспоминай былого, не растравляй моей сердечной раны, — с глазами, полными слез, проговорила княгиня Наталья Борисовна.

Очень неприглядна и несладка была ее жизнь в доме брата, хотя она и получила от него 500 душ крестьян — незначительную долю обширнейших шереметевских вотчин.

Наталья Борисовна очень обрадовалась, когда узнала, что ее родственница по мужу, Маруся, живет с мужем вблизи подмосковной усадьбы ее рода. Она поехала к Храпуновым и встретила там радушный, родственный прием. Левушка отвел для дорогой гостьи лучшую половину в своем доме в усадьбе, окружил ее попечениями и ласкою. Но рассудительная княгиня прогостила у них немного, не желая стеснять небогатых Храпуновых, и поехала к другим своим родичам. В Москве княгиня Наталья Борисовна проживала, как говорит она сама, так: «Скиталась по чужим домам».

Между тем время шло. Старший сын княгини Натальи Борисовны Миша вырос, возмужал и стал молодец-молодцом. Он поступил в военную службу, женился на княжне Голицыной. Но недолго прожил он со своей любимой женой: она скоро умерла. Тогда мать уговорила его снова жениться на баронессе Строгановой.

Второй ее сын, Митя, рос слабым, болезненным ребенком. В 1753 году княгиня Наталья Борисовна уехала с ним в Киев, твердо решив проститься навсегда с миром и постричься в Киеве, во Фроловском монастыре; в инокинях она приняла имя Нектарии и своей строгой, подвижнической жизнью служила примером для всей обители.

Князь Дмитрий, второй сын Натальи Борисовны, был слабый, болезненный от природы; вследствие несостоявшегося брака он впал в душевное расстройство, близкое к помешательству. Он ушел в мистицизм, поступил в один

из киевских монастырей послушником, перед смертью принял пострижение и умер на руках горячо любившей его матери, инокини Нектарии. Теперь уже ничто не связывало ее с миром; испытав столько горя в жизни, она предалась всецело религии, стремясь найти в ней утешение.

«Кто даст главе моей воду и глазам моим слезы? Недостает силы ни плакать, ни вздыхать!» — говорила она и приняла схиму в 1767 году.

Скончалась она во время чумы 1771 года, 58-ми лет отроду.

«Светлый образ Натальи Борисовны ярко рисуется в ее записках, хорошо известных всем образованным русским. Ее воспели два поэта, Козлов и Рылеев, и личность Натальи Долгоруковой стала олицетворением идеальной супружеской любви и глубокий жизненной скорби. Горькую чашу пришлось испить вообще русской женщине, из этой чаши через край испила Наталья Борисовна. Покориться горю, но не пасть под его ударами — великий нравственный подвиг, который она совершила с таким достоинством».

Нельзя обойти молчанием и судьбу злосчастной княжны Екатерины Алексеевны Долгоруковой, бывшей обрученной невесты императора-отрока Петра II.

Княжну Екатерину отправили в Горицкий девичий монастырь, приписанный к вологодской епархии, и это обстоятельство вызвало там большой переполох. «Настоятельница монастыря до того испугалась, что долго не хотела впускать в монастырь сторонних лиц, даже в церковь богомольцев: страшно опасно было имя Долгоруковых; боялась она за небрежное смотрение или, чего Боже сохрани, что-нибудь похожее на снисхождение к заключенным колодницам. В те времена в монастырях с колодниками не церемонились: для усмирения их и для острастки были колодки, кандалы, стулья с цепями, палки, плети, «шелепа», то есть мешочки, набитые мокрым песком».

К Екатерине Долгоруковой положительно никого не допускали, да и ей самой выхода никуда не было; дверь ее келейки, похожей на чулан, всегда была заперта.

Но и в такой жизни бывшая царская невеста не потеряла своего достоинства и не упала духом и по-прежнему была спесива и горда. Как-то однажды монахиня-прислужница, носившая к заключенной еду и питье, за что-то хотела дать острастку Екатерине Долгоруковой и замахнулась

на нее огромными четками, сделанными из деревянных бус. Эти четки иногда служили и орудием наказания, то есть заменяли плеть.

— Остановись! Уважь свет и во тьме: я — княжна, а ты — холопка, — громко проговорила Екатерина Долгорукова, окинув горделивым взглядом монахиню-приставницу, а та так смутилась, что и четки выпали из рук, и она поспешила выйти, забыв даже запереть за собою дверь. — Вернись и запри дверь, а то я убегу, — насмешливо крикнула вслед монахине бывшая царская невеста, как видно, не забыв своего прежнего величия и лишь озлобившись от превратностей судьбы и несчастий.

Как-то в Горицкий монастырь приехал сам Андрей Иванович Ушаков, страшный начальник тайной канцелярии. Все засуетились, забегали. Игуменья и монахини не помнили себя от страха. Ушаков приказал показать место заточения Екатерины Долгоруковой. Его повели к знатной колоднице, и он в сопровождении настоятельницы монастыря вошел к заключенной. На него пахнуло зловонием и духотой; изба, где заключена была бывшая невеста императора-отрока, была мала, грязна и душна; свет едва проникал в маленькое оконце.

Княжна Екатерина бросила горделивый взгляд на вошедшего; она узнала начальника тайной канцелярии, недоброжелателя ее рода, и быстро отвернулась от него.

— Здравствуй!.. Узнала ли меня? — спросил Ушаков.

— Как тебя не узнать! Узнала.

— Что же ты отвернулась?.. Или тебе не в угодую мой приход?

— А зачем ты пришел? Зачем?.. Глумиться надо мною, смеяться... Что же, смейся, пока твой смех в слезы не обратится.

— Не смеяться, а милость тебе хочу я оказать.

— Ты? Милость? Я не нуждаюсь ни в чьей милости, а в твоей и подавно.

— А спеси в тебе осталось еще много! Гляди, ведь я горазд сбивать спесь, — сердито проговорил Ушаков.

— Не грози, не страшен ты мне.

— А вот я угощу тебя батогами.

— Что же, это — твое дело, дело палача тебе сподручно. Послушай, припомни то время, когда ты целовать мою руку считал за счастье.

— Ну и девка! — проговорил Андрей Иванович и, со злобою плюнув, вышел, строго приказав игуменье смотреть за колодницею.

Думала старица игуменья с монахинями, как еще строже смотреть за заключенной Долгоруковой, и надумали заколотить наглухо единственное оконце, находившееся в ее тюрьме.

И очутилась в постоянном мраке «разрушенная царская невеста». Теперь не допускали никого близко подходить к ее тюрьме.

Почти три года провела в таком заключении княжна Екатерина, до тех пор оставаясь заживо погребенной в своей тюрьме, пока на престол царей русских не вступила дочь Великого Петра, императрица Елизавета, которая своим властным словом отверзла несчастной темницу.

РУССКИЙ АМЕРИКАНЕЦ

Исторический роман

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист...

А.С. Грибоедов. Горе от ума

I

Карточный зал клуба тонул в облаках табачного дыма. Было душно и жарко. На ломберных столах сверкали груды золота. Над Москвой занимался уже бледный рассвет, но игроки забыли про время. Без усталости мелькали по зеленому полю пестрые фигуры карт, и переливалось с тихим звоном золото.

Наконец и у баловней счастья, и у проигравших состояния иссякли силы. Один за другим стали подниматься игроки, перебрасываясь коротенькими фразами. Скоро зал совсем опустел. Только за одним столом осталось еще двое игроков, Федор Иванович Тольский и Алексей Михайлович Намекин, оба — юноши, изящные, красивые, всем выдававшие свое аристократическое происхождение.

Федю Тольского, отчаянного кутилу, страстного игрока и упрямого дуэлянта, прозвали в его кругу Американцем. Это был почти красавец, с прекрасными черными до синевы кудрями и такой же бородкой. На матово-белом лице горели большие черные глаза.

Другой юноша, Алеша Намекин, лет на пять моложе Тольского, со стройною и сильною фигурой, пользовался репутацией смельчака, которому все нипочем. Он почти не знал партнера и играл с ним впервые.

— Ну, однако, пора и мне, пять часов, — проговорил он, вставая из-за стола и потягиваясь. — Давайте рассчитаемся!

— Давайте, — сквозь зубы процедил Тольский и стал подсчитывать мелом в столбик цифры. — Вы проиграли ровно двадцать тысяч, — сказал он, окончив подсчет.

- Как двадцать тысяч? — удивился Намекин.
- Да так... как другие проигрывают, так и вы мне проиграли.
- Нет, извините, такие деньги я не мог проиграть.
- У меня записано... вам остается только заплатить.
- Нет, таких денег я не заплачу. Я привык платить лишь то, что проигрываю.
- Вы мне и проиграли.
- А я повторяю, что таких денег не проиграл.
- Значит, попросту вы отказываетесь платить? — сверкнув глазами, спросил Тольский.
- Отказываюсь. Я зря не бросаю денег.
- Повторяю вам, у меня записано.
- Записывать вы вольны, сколько хотите.
- Вот что... может быть... Но я привык руководствоваться тем, что записываю, и докажу вам! — Тольский быстро встал, подошел к дремавшему у двери лакею, резким движением вытолкнул его из комнаты, запер дверь, вынул из бокового кармана пистолет, положил его на стол и протяжно произнес: — Он заряжен.
- Ну так что же?
- А то: заплатите вы мне или нет?
- Разумеется, нет, — совершенно спокойно ответил Намекин.
- Даю вам десять минут на размышление. Подумайте! Иначе я вас...
- Убьете, что ли? Право, не стоит! — Намекин вынул из кармана часы и бумажник и положил их на стол. — Часы стоят рублей пятьсот, не больше, а денег в бумажнике двадцать пять рублей... Вот и все, чем вы можете пожить, если убьете меня... Ну, а за убийство придется и отвечать; а если бы вы захотели скрыть преступление, вам пришлось бы потратить на это не одну тысячу. Теперь судите сами, какой вам расчет убивать меня?
- Ну и молодец же вы! Вот человек, которого я так давно искал!.. Давайте руку, и станем друзьями! — весело воскликнул Тольский.
- Что же, я не прочь...
- Новые друзья, при таких необычайных условиях заключившие союз дружбы, крепко пожали друг другу руки.
- Нет, давайте обнимемся и выпьем на брудершafft, — громко сказал Тольский.
- И на это согласен.
- Две бутылки шампанского, живо! — закричал Тольский.

Явилось вино, хлопнули пробки. Золотистая влага задорно-весело заиграла в высоких бокалах. В клубе уже погасили огни. Новым приятелям пришлось оставить клуб.

— Прощай, Алеша, до завтра, — садясь в сани, запряженные иноходцем, весело крикнул молодой Тольский.

— Прощай.

— Куда прикажете? — спросил кучер у Тольского.

— Куда ехать?.. Э, все равно... Вези, куда хочешь.

Сани понеслись к Кремлю.

Было морозное раннее утро. Где-то прозвучал колокольный звон, ему ответили другие колокола.

— Что за звон? — лениво спросил Тольский у кучера.

— К ранней обедне, ваше сиятельство.

— Неужели к обедне? Который же теперь час?

— Недавно пять пробило.

— Ну так вези меня домой.

— Слушаюсь.

Проезжая переулком, Тольский услышал крики о помощи. Он приказал остановить лошадь и стал прислушиваться. Крики неслись из маленького деревянного домика.

— А ведь в этом доме кричат! — сказал Тольский кучеру. — Ты подожди здесь, а я пойду разведу, что такое.

Молодой человек выпрыгнул из саней и быстро подошел к воротам домика. Ворота были заперты. Крик о помощи стал еще яснее. Он доносился уже не из домика, а как будто из двора. Тольский принялся стучать в ворота. Крик вдруг смолк, но никто не отпер. Тогда Тольский налег своим могучим плечом на калитку; та не поддавалась. Тольский принялся стучать в ворота и ногами и руками.

Наконец послышался недовольный голос:

— Кто там безобразит? Кто стучит?

— Отпирай! — крикнул Тольский.

— Да кто ты такой, и зачем я стану тебе отпирать?

— Если не отопрешь, я полицию приведу.

Угроза подействовала. Калитку отперли.

Тольский увидел перед собой заспанного сторожа.

— Что вам угодно? — спросил он.

— Мне надо узнать, что у вас за шум на дворе? Кто-то кричал, звал на помощь.

— Что вы, сударь! У нас ни шума, ни крика не было...

— Но я слышал... ясно слышал, что с этого двора звали.

— Помилуйте, у нас на дворе никого нет, хоть сами взглянуть извольте.

Тольский вошел на двор и оглядел его. Действительно никого не было.

«Что же это значит? Я ясно слышал, что кто-то со двора этого дома кричал о помощи... Я... я не мог ошибиться. Нет, что-нибудь не так. Надо дознаться», — подумал Тольский и спросил:

— Кому принадлежит дом?

— Отставному секунд-майору Гавриилу Васильевичу Луговому.

— А где теперь твой барин?

— В покоях почивать изволит.

— Так ты говоришь, что у вас в доме и на дворе все спокойно? Но крик был так ясно слышен...

— Может, кто и кричал, только не у нас, — уверенно проговорил сторож.

— А ты не врешь?

— Что же мне врать?

— Но все же ваш дом я замечу.

Тольский, прежде чем сесть в сани, обошел весь двор, увязая по пояс в снегу. Нигде ничего подозрительного не оказалось.

Было уже почти светло, когда он оставил этот загадочный двор. Он сел в сани и махнул рукою кучеру, чтобы тот вез его домой.

Тольский жил на Пречистенке, в большом наемном доме. Весь второй этаж занимала его квартира. В нижнем этаже помещались дворовые. Он снимал весь дом в аренду, и, кроме него, других жильцов не было.

Деньги платил Тольский купцу-домохозяину не очень исправно. Но купец Мошнин волей-неволей принужден был терпеть такого съемщика.

Как-то раз купец, не зная еще хорошенько нрава своего квартиранта, предложил «очистить квартиру».

— Что такое?! Ты, борода, смеешь меня гнать с квартиры, меня?! — закричал Тольский.

— Не выгоняю, барин, а отказываю.

— Да ведь это все равно, что в лоб, что по лбу. Понимаешь ты, борода, или нет? А если понимаешь, то как же ты смеешь?

— Деньги не платите.

— Вот что... Стало быть, есть причина.

— Известно, без причины не отказал бы.

— А понимаешь ли ты, борода, что этим поступком ты меня оскорбляешь!

— Помилуйте, какое же в том оскорбление?

— А за оскорбление знаешь ли ты, чем я оплачиваю? Смертью!.. Слышал? И я с тобой буду драться на дуэли.

— На дуэли?.. Да что вы, ваша милость, помилуйте!

— К барьеру, черт возьми!

Купец побелел как полотно.

— Помилуйте... Я... я отродясь пистолета в руки не брал... Помилуйте... Я... не отказываю вашему сиятельству, живите в моем доме...

— То-то, борода... Ты гордишься тем, что я живу в твоём доме. А деньги я тебе заплачу.

— Слушаюсь... Не извольте беспокоиться... Подождем, — кланяясь Тольскому и отступая к двери, проговорил купец и с тех пор перестал являться в свой дом на Пречистенке.

К чести Тольского надо прибавить, что он не пользовался робостью своего домохозяина и, когда у него бывали «лишние» деньги, платил их за квартиру. Только лишние деньги оказывались очень редко. Точно так же должен Тольский в лавках, откуда брал разную провизию. Торговцы боялись не верить Тольскому и скрепя сердце отпускали в долг. Усадьбы и деревеньки у Тольского были заложены и перезаложены, а некоторые уже проданы с торгов.

Жил Тольский в большой квартире один, холостяком, только со своими дворовыми, которые все без исключения были преданы ему душой. Женской прислуги он не держал и вообще недолюбливал «бабье сословие». Он любил кутежи, вино, карты, а к лошадям у него была прямо-таки страсть. Его иноходцы и рысаки славились на всю тогдашнюю Москву. Но к женщинам Тольский был холоден. Только раз одна из московских прелестниц сумела покорить его бурное и гордое сердце...

Федор Иванович вернулся домой, но спать не лег: ему не давал покоя крик о помощи, который донесся до него из домика в переулке близ Никитской, он то и дело вспоминался. Поэтому, наскоро позавтракав и положив в карман пистолет, без которого никогда не выходил, Тольский пешком направился к этому загадочному домику.

Ворота и калитка были опять заперты. Тольский постучал.

— Что надо, сударь? — спросил какой-то молодой парень, выходя за калитку.

— Мне надо видеть твоего барина.

— Барин Гавриил Васильевич нынче ранним утром изволили выбыть из Москвы.

— Ты врешь, твой барин дома.

— Помилуйте, с чего же я стану врать?

— Послушай, тебя как звать?

— Прошкой.

— Ты видишь, Прохор, эту монету? — И Тольский показал парню полуимпериал. — Она будет твоей, если ты не станешь скрывать от меня то, что я у тебя спрошу.

— Извольте, сударь, спрашивайте, — дрожащим голосом проговорил парень, жадно поглядывая на золотую монету.

— Твой барин дома?

— Никак нет, в усадьбу выехали.

— Прошлой ночью, скорее сегодня ранним утром, я проезжал мимо вашего дома и слышал крики о помощи. Говори, кому нужна была помощь? Кто кричал?

— Я.. я не знаю.

— Стало быть, не хочешь, чтобы золотой был твой?

— Очень, сударь, хочу...

— А если хочешь, говори.

— Скажу... Только не здесь, — робко оглядевшись вокруг, проговорил Прохор. — Здесь подслушать могут. Дворецкий выследит.

Действительно, как раз в это время со двора послышался сердитый голос:

— Прошка, с кем ты там у ворот болтаешь?

— Так я... Савелий Гурьич... я сейчас...

— То-то... смотри у меня, не прогуляйся на конюшню за свой долгий язык.

— Кто это? — спросил Тольский.

— Барский камердинер, он же и дворецкий. Старик — яд, змея! Скажите, сударь, где вы жить изволите, я как-нибудь урву время и приду к вам, — добавил он.

— Когда?

— Нынче вечером забегу.

Тольский сказал адрес.

— Смотри же, приходи сегодня, я ждать буду. Придешь — получишь золотой и еще прибавку, обманешь — быть тебе битым!

— Прошка, пес, да с кем ты зубы точишь! Иди скорей, дьявол! — послышался опять сердитый голос.

— Иду, Савелий Гурьич!.. С полицейским я разговариваю, — выдумал ответ дворецкому молодой парень.

— А вот я посмотрю, что такое за полицейский, только дай мне тулуп надеть.

Однако пока старик дворецкий надевал тулуп, Тольский быстро отошел от ворот домика и зашагал по переулку. А Прохор поспешно запер калитку и поплелся в людскую избу, находившуюся рядом с барским домиком.

— С кем ты говорил? — набросился на него старик дворецкий с гладко выбритым лицом.

— Да с хожалым.

— Что же ты с ним говорил? Про что?

— Да снег сгребать приказывал; ухабы ровнять.

Дворецкий поверил и разочарованно заметил:

— А я думал, ты с кем другим болтаешь... Ведь твой язык — мельница. Ой, парень, придержи язык, спина будет целее.

— Да я и то, Савелий Гурьич, никому ни слова не говорю... Мне что!.. Барская воля.

— И не говори; а дашь волю языку, несдобровать тебе, чай, сам знаешь, каков наш барин!.. — И дворецкий, видимо, успокоенный, направился к себе в каморку.

II

В том же домике, в чистой девичьей горнице, между молодой, красивой девушкой Настей, дочерью владельца домика Лугового, и ее старухой нянькой Маврой происходил такой разговор.

— Нет, няня, так жить нельзя. Я не маленькая, я все понимаю, все вижу, что вокруг делается, — взволнованно сказала девушка. — Когда я была маленькая, я не понимала, была ко всему равнодушна. Но теперь не то.

— Что же делать, красавица, золотая ты моя! Терпеть надо.

— Я и терпела, долго терпела, но теперь довольно, больше нет сил!

— Что же поделаешь-то? Папенькина воля!

— Я люблю отца, уважаю его... но все же... Ведь отец-то что делает, а?

— Что же... он и в ответе. А тебе папеньку не след судить.

— Да разве я сужу?.. Мне только жаль наших бедных крепостных... Папа зол и очень скуп... Он морит их голо-

дом, а себе ни в чем не отказывает... Его поступки возмущают меня.

— Любит тебя, Настенька, барин... крепко любит... Скупенек он, точно, да ведь все для тебя бережет...

— Мне ничего не надо, няня, ничего! — чуть не закричала взволнованная девушка.

— Ну как не надо?... Твое дело невестино.

— Ни за кого я не пойду замуж. Да и кто меня возьмет, кто? За мной ни приданого, ни денег нет; отец только говорит, что для меня копит, а сам за мной ничего не даст.

— Да тебя, родная ты моя, за одну твою красоту возьмут. Посмотри еще какой жених найдется, знатный, богатый...

— Полно, няня! Женихам одной красоты мало. Ты это сама хорошо знаешь. Да и нечего про женихов говорить, я замуж ни за кого не пойду...

— Неужели, Настенька, не пойдешь и за Алексея Михайловича? — спросила Мавра, плутовато прищутив глаза.

— Ты это про Намекина?

— А то про кого же... Чем не суженый... Собою красавец, рода именитого и денег пропасть.

— Только не у Алеши Намекина, а у его отца.

— Да ведь все равно от отца к сыну деньги пойдут... Ведь его отец в могилу денег-то не возьмет.

— Да, но Алеша Намекин мне не жених, — с глубоким вздохом проговорила девушка.

— Вот тебе на... А я думала... Мне, старухе, показалось, что тебе он пришелся по сердцу.

— Алеша умный, красивый, а все же мне он не жених.

— Да какого же еще тебе жениха надо? Королевича, что ли, заморского?

— Нет, нет, Алеша — не мой жених.

Настя подошла к окну и стала смотреть на улицу.

— Барышня, Настасья Гавриловна, вам бы надо отойти от окна-то, — тихо и с должным почтением проговорил незаметно вошедший в комнату Насти старик дворецкий. — Смею доложить, по улице мимо окон всякий народ шляется и в окна глаза пялит.

— Ну так что же? Пусть смотрят.

— Смею доложить, неприлично-с...

— Что такое?... Как вы смеете мне замечания делать? Я сама знаю, что прилично, что нет...

— Не по своей воле... Ваш папенька мне такой приказ дали...

— Следить за мной? Следить за каждым моим шагом? Такой приказ дан?.. Ну нет-с! Я буду стоять у окна, буду...

— Как будет вам угодно-с... Только смею доложить, ваш папенька-с...

— Кто-то подъехал к нашему дому, — не слушая его, воскликнула Настя. — Какие чудные лошади!.. Вышел из саней... Подошел к окну... кланяется. Какой красавец!..

Девушка прильнула к стеклам и с любопытством смотрела на красивого и мощного Федю Тольского, который подъехал на паре лихих коней к заинтересовавшему его домику.

Он увидел в окне Настю и, пораженный ее красотой, захотел во что бы то ни стало проникнуть в домик и познакомиться с красавицей.

«Во-первых, я должен преклониться перед чудной красотой, а во-вторых, должен наказать того дворового, который обещал ко мне прийти и не пришел», — думал Тольский, все сильнее и сильнее стуча в калитку.

Последние его слова относились к дворовому Прошке, который обещал прийти к Тольскому и рассказать ему о своем барине и о тех криках, которые слышал Тольский, возвращаясь из клуба. Однако Прошка не выполнил обещания не потому, что не хотел, но потому, что его не отпустил дворецкий, а уйти без спроса он не мог: ворота были на замке, и ключ был у дворецкого.

— Что же вы тут торчите? Ступайте, прикажите отпереть калитку и спросить у того господина, что ему угодно? — проговорила дворецкому Настя и, заметив его нерешительность, даже топнула ногой. — Идите же исполнять то, что я вам приказываю!

— Слушаю-с, иду! — И дворецкий поспешно вышел.

Ему пришлось отпереть ворота и впустить на двор непростого гостя.

— Как ты смел, старый мухомор, морить меня у ворот? — полушутя-полусерьезно заметил Тольский дворецкому.

Савелий Гурьич был мрачен и ничего не ответил на шутку.

— Ну, что молчишь? Или язык от страха отнялся?

— Что же мне вас бояться? Вы мне не господин, я не крепостной ваш... А что вы, сударь, чуть не силой врываетесь к нам, то...

— Поговори еще у меня! — Тольский вынул из кармана нагайку и погрозил дворецкому.

— Что вам, сударь, угодно? Зачем вы к нам изволили пожаловать?

— Зачем я пожаловал, про то скажу, только не тебе, а твоему барину.

— Барина дома нет-с.

— Ну, так той барышне, которую видел в окне... Веди к ней! — И Тольский направился к крыльцу.

Настя, не дожидаясь доклада, вышла к нему навстречу. Тольский сбросил в передней дорожную медвежью шубу: он был в суконном казакине, подпоясанном ремнем с серебряным набором.

— Простите, сударыня, — начал он, — что я к вам так запросто, в казакине; терпеть не могу рядиться в заморские камзолы и в куцые фраки. То ли дело наша родная одежда!

— Что вам угодно? — тихо спросила Настя.

— Вы удивлены моим неожиданным визитом? Да? Я... пришел преклониться перед вашей чудной красотой. Но, простите, я вам не сказал, кто я: я дворянин Федор Иванович Тольский, а попросту Федя Тольский — так все меня зовут. Я нигде не служу, потому что к службе охоты не имею; я — лежебока и лентяй, пью, ем, курю, обыгрываю в карты... кутила, мот и большой дуэлянт. Вот вам полнейший аттестат, прекрасная хозяйка... Я в вашей воле нахожусь... Казните или милуйте, гоните вон или удостоьте назвать своим гостем.

Настя с удивлением смотрела на оригинального гостя.

— Вы молчите?.. Что же, прикажите меня выгнать, зовите людей.

— Зачем же... Вы гость, хотя и незванный, а гостей не гонят. Прошу садиться и сказать, что вам угодно... Зачем вы так настойчиво ломились к нам? Наверное, у вас есть на то причина?

— Пожалуй, есть. Видите ли, сегодня утром я возвращался из клуба к себе и, проезжая мимо вашего дома, услышал, что кто-то жалобно просит о помощи. Я приказал остановиться, стал стучать в ворота, мне долго не отпирали, не хотели впустить на двор. Но я настойчив; если чего захочу, поставлю на своем. Я осмотрел весь двор, однако ничего подозрительного не нашел. Ваш слуга старался уверить меня, что ни на дворе, ни в доме никто не звал на помощь, но я не поверил и дал себе слово во что бы то ни стало узнать, что тут кроется.

— За этим вы и приехали? — спросила молодая девушка у Тольского, заметно встревоженная.

— Да, сударыня, за этим.

— И любопытны же вы! Ну да что ж, разузнавайте, спрашивайте у дворовых.

Они мне ничего не говорят. Я хочу спросить у вас.

— Я...не знаю... и никакого крика не слыхала. Вы все сказали?

— Все... Вы, кажется, гоните меня?

— Простите, меня ждут.

— Так вы мне ничего и не скажете? — вставая, промолвил Тольский.

— Сказала бы, да сама ничего не знаю.

— Но вы разрешите мне опять приехать к вам?

— Зачем?

— Чтобы на вас смотреть и удивляться вашей дивной красоте... Прошу, не лишайте же меня этого наслаждения! О, как вы дивно хороши. Ваш чарующий образ запечатлелся навсегда в моем сердце.

— Уж не влюблены ли вы в меня?

— Больше чем влюблен!

— Так скоро!

Настя весело рассмеялась.

— Увидеть вас и полюбить — на это довольно мгновения.

— Настасья Гавриловна, с кем ты изволишь говорить? — тихо промолвила старуха Мавра, заглядывая в дверь.

Старушка находилась в гостиной, но, сколько ни старалась расслышать через дверь разговор Насти с Тольским, ничего не могла разобрать; однако ей этот разговор почему-то казался подозрительным, и она решила приотворить дверь и прервать его.

— Прощайте, как ни приятна беседа с вами, а все же надо идти! — сказала Настя.

Тольский низко поклонился и вышел; однако его мозг всецело был занят таинственным криком, и он чуял в этом деле что-то нехорошее.

Увы, он не ошибался: в доме Лугового действительно в то утро произошла безобразная, хотя и нередкая по тому времени сцена.

III

Секунд-майор Гавриил Васильевич Луговой более десяти лет был в отставке и жил в своем доме, в переулке между Никитской и Воздвиженкой, со своей единственной

дочерью Настей. Он овдовел, когда Насте было лет десять. Она хорошо помнила свою мать — покорную и бессловесную рабу мужниной воли. Эта крутая воля и уложила бедную женщину так скоро в могилу.

Майор Луговой был человеком странным; свою дочь Настю он любил какой-то особенной любовью: исполняя капризы, тратил большие деньги на ее наряды, на дорогие безделушки, дарил ей бриллианты, а в то же время кричал на дворецкого и ругал дворовых, нередко наказывал их на конюшне, когда они неумышленно при какой-нибудь покупке передавали торговцу лишнюю копейку. Делая дочери тысячные подарки, он не давал ей гривенника на карманные расходы. Со своими дворовыми майор был груб, держал их впроголодь, жестоко наказывал, но бывали минуты, когда он был добр и ласков, собирал всех вместе и, кланяясь чуть не до земли, просил прощения. Однако такое душевное настроение не мешало Гавриилу Васильевичу придрататься к кому-нибудь из слуг и отправить его на конюшню «угостить полсотней горячих».

По временам Луговой был скуп до скарденности и отказывал в питательной пище не только дворовым, но даже и себе, и дочери; а то вдруг заказывал, не жалея денег, чуть не лукулловский обед.

Иногда он по целым дням и неделям сидел, запершись в своем кабинете, ни с кем не разговаривая, даже с дочерью. В ту пору все замирало в доме: дворовые говорили не иначе как шепотом, ходили по комнатам босые. Горе было тому, кто осмелился бы нарушить это безмолвие. Но проходило такое время, и в его доме опять все оживало, — сам майор становился неузнаваемым, его мрачность и жестокость уступали место говорливости, веселости и ласковому обращению со всеми дворовыми.

Такая перемена в отце делала и Настю счастливой; она любила отца, уважала его. От природы добрая, с любящим, мягким сердцем, Настя немало страдала, когда на Гавриила Васильевича находила хандра и когда он со своим крутым нравом становился мало похожим на человека. Слезные мольбы дочери за несчастных дворовых не трогали его черствого сердца.

У Насти была преданная ей горничная Аннушка. Настя любила ее, смотрела на нее скорее как на подругу, чем на крепостную холопку, делила с нею и свою девичью радость, и свое девичье горе.

К несчастью, Аннушка чем-то не угодила старому барину; он собственноручно дал ей несколько пощечин и при-

казал посадить на целый день в чулан, а затем надумал наказать Аннушку на конюшне и выбрал для этого раннее утро, когда его дочь, а также соседи еще спали.

Это происходило именно в то время, когда мимо дома Лугового проезжал из клуба Федя Тольский. Когда последний стал громко стучать в ворота, наказание приостановили и Аннушку в полубесчувственном состоянии опять втащили в чулан.

Настя не слыхала криков своей любимицы и не знала о ее горькой участи.

Старик майор испугался Тольского, когда тот стал осматривать двор и расспрашивать, что значат крики, так как принял его за важного чиновника-барина, и, убоясь ответственности, поспешил в тот же день уехать в свою подмосковную усадьбу, приказав дворецкому продержать Аннушку дня два-три в чулане, а потом выпустить.

Гавриил Васильевич недели на три уехал из Москвы, чем несказанно обрадовал всех.

IV

Федя Тольский был влюблен, влюблен серьезно, горячо. Он и прежде любил женщин, но не так. Красота Насти произвела на него совсем другое впечатление и заставила его полюбить другую любовью.

Вернувшись из майорского домика к себе, Тольский заперся в кабинете, велел никого не принимать и предался грезам о Насте; ее дивный, чарующий образ неудержимо влек к себе все его думы.

«Я влюблен, я! Этого только и не доставало! Мне самому смешно, а как будут смеяться другие, когда узнают о моей любви... А как хороша майорская дочь! Видал я красавиц, но такой не встречал. Скажи она мне одно ласковое слово — и я не задумался бы жизнь свою отдать».

Размышления влюбленного Тольского были прерваны голосом его камердинера Ивана, по прозвищу Кудряш. Это был крепкий, здоровый малый лет двадцати пяти, красавец, с вьющимися волосами; он был душой и телом предан своему господину. Будучи еще мальчишкой-подростком, он был приставлен к баричу Феде для услуг; они вместе росли, вместе играли и были чуть не друзьями.

— Не приказано, сударь, никого принимать, — говорил камердинер Иван, кого-то не пуская к молодому барину.

— Это запрещение ко мне не относится; я — друг твоего барина, — возражал чей-то голос камердинеру.

Тольский все это услышал и громко спросил:

— Кудряш, кто это? Впусти!

Дверь в кабинет быстро отворилась; на пороге стоял Алеша Намекин.

— Федя, голубчик, меня не допускают; скажи своему олуху, чтобы он отстал от меня! — весело проговорил он.

— Алеша!.. Рад видеть тебя, дружище, — промолвил Тольский, идя приятелю навстречу.

— Ты рад, а твой камердинер меня чуть не в шею; заладил «не приказано».

— Он прав, Алеша, я никого не велел принимать.

— Даже и меня?

— Нет, нет... Я не знал, что ты придешь. Дверь моего дома для тебя всегда открыта. Хотя мы только вчера с тобой сошлись, но ты — мой друг.

— Слышишь, истукан, что говорит барин? А ты впускать меня не хотел! Ну, исчезни...

Кудряш вышел.

— Знаешь, Федя, хотя мы подружились с тобой и недавно, а я к тебе с докукой, сиречь с просьбой. Помогите мне, брат! Видишь ли, я влюблен, но влюблен не кое-как, а по-настоящему, серьезно...

— Что же, дело хорошее... И я скажу тебе, Алеша, откровенно: я тоже влюблен.

— Как, ты тоже? — воскликнул Намекин. — Удивительно!.. Тольский — и влюблен! Тольский, который играет женщинами, как пешками... ты чуть не презираешь женщин, и влюблен! Да ведь это — такой казус, которому вся Москва станет дивиться, как узнает!

— Надеюсь, приятель, ты никому не скажешь? Это — большая тайна; я даже начинаю раскаиваться, зачем тебе сказал...

— Да ты, Тольский, ведь другом меня считаешь, а где дружба, там нет секретов, между нами все должно быть начистоту... Согласен? — с жаром спросил Намекин.

— Согласен, — ответил ему Тольский, и приятели крепко пожали друг другу руки. — Ну а теперь говори, Алеша, в чем нужна тебе моя помощь?

— Прежде я должен познакомить тебя с историей моей любви. Видишь ли, я полюбил девушку чудной красоты и чудного характера. Она — дочь отставного майора, живет в Москве; знакомство с нею у меня произошло совершенно

случайно. Она шла по Тверской улице со своей нянькой, какой-то уличный нахал стал преследовать ее, говорил ей пошлые комплименты. Красавица не знала, куда от него деваться. К счастью, в это время я проходил мимо, видел сцену, заступился за девушку и дал нахалу пощечину. Он взбеленился, вызвал меня на дуэль, а сам в назначенный час на место не явился... Видно, трусил, негодяй. С того дня и началось мое знакомство с Настей.

— С Настей? — меняясь в лице, воскликнул Тольский.

— Ну да, Настей. Чему же ты так удивлен?

— Нет, я так!.. Продолжай, Алеша, я слушаю.

— Я проводил майорскую дочку до ее дома, она пригласила меня зайти. Я познакомился с отцом... Ах, Тольский, какая противоположность между отцом и дочерью! Она — это что-то прекрасное, возвышенное, отец же смотрит зверем и, как говорят, страшный деспот с дворовыми. Ну вот я и полюбил Настю... Ах, Тольский, да и нельзя не полюбить ее! Если бы ты видел, как она хороша!

— Может, я и видел ее, и говорил с нею.

— Ты шутишь, Тольский! — удивляясь, воскликнул Намекин.

— До шуток ли... Хочешь, Алеша, скажу, где живет твоя Настя? У ее отца, старого майора, есть недалеко от Никитской домик, в нем они и обитают.

— Да... Как же ты узнал?

— Ты говори, что дальше было, а после я скажу, как познакомился с нею.

— Я стал часто бывать в домике Насти. Ее отец не особенно ласково встречал меня, зато она всегда была рада моему приезду. Я полюбил Настю... И она меня, кажется...

— Что же ты намерен делать? Жениться, что ли, надумал? — спросил Тольский.

— О, с большой радостью, если бы... если бы отец мне позволил.

— А разве ты сомневаешься в его дозволении?

— Очень сомневаюсь. Мой отец — раб предрассудков. Свой род он почитает славным и гордится им. Моя мать из рода князей Сокольских, я — один сын, и отец, вероятно, прочит женить меня на какой-нибудь графине или княгине.

— Стало быть, тебе придется обойтись без согласия отца?

— Нет, Тольский, я никогда не решусь его обидеть, ведь я — единственный наследник...

— И ты, чтобы не потерять наследства, хочешь потерять любимую девушку? Как же ты намерен поступить?

— Право, не знаю еще сам... Я буду просить у отца согласия, постараюсь уговорить его...

— Слушай, Намекин, так или иначе, но ты не должен обижать Настю. Понимаешь, не должен!.. Иначе я вступлюсь за нее, и тебе придется дорого поплатиться.

— С чего ты взял, что я стану обижать девушку, которую так горячо люблю? Я непременно женюсь на ней, только надо выждать время... Но как ты познакомился с нею?

— Я... не знаю... твоей Насти. Я только знаю ее отца...

— Ты так горячо заступаешься за нее, что я невольно подумал, что ты сам влюблен в нее.

— Вот что... А если бы так? Что бы ты сказал, если бы я полюбил майорскую дочь?

— Я вызвал бы тебя на дуэль.

— И сделал бы непростительную глупость: ведь я убил бы тебя. Но успокойся, приятель, дуэли между нами быть не может, потому что я тебе не соперник, и, когда будешь жениться на своей Насте, пригласи меня в шаферы. Так, что ли? — стараясь скрыть свое волнение, весело проговорил Тольский.

— Разумеется... на моей свадьбе ты будешь первым гостем. Хочешь, я познакомлю тебя с моей невестой?

— Ты не бойшься, что я отобью ее у тебя? Нет, лучше не знакомь! Мой совет — скорее проси у отца дозволения и женись на своей Насте. Да смотри не забудь меня на свадьбу пригласить.

— Говорю, ты у меня — первый гость.

— Значит, отец твоей невесты жестоко обходится со своими крепостными? — меняя тему разговора, спросил Тольский.

— Майор — очень злой человек, нрав у него отчаянный. Он никогда ничем не бывает доволен. Он скуп, но в его скупости есть какая-то странность. Да и во всем характере майора что-то непонятное...

Намекин уехал, а Тольский принялся шагать по кабинету, низко опустив голову.

«Вот тут и пойми, и разгадай судьбу... Не прошло и двух дней, как я познакомился с Намекиным, он пришелся мне по нраву; я смотрел на него, как на своего искреннего приятеля, а теперь он — соперник, враг... Он отбивает у меня девушку, которую я так люблю, как он любить не

может... Нет, не Алеша отбивает у меня, а я у него... и не он мне враг, а я ему...»

Эти размышления были прерваны приходом Ивана Кудряша.

— Домохозяин за деньгами пришел, — сказал он.

— Гони к черту!

— Гнал, не идет... Уселся в передней и сидит как квашня. «Мне, — говорит, — надо повидать самого ба-рина».

— Вот что... Ему надо меня видеть?... Хорошо, пусть войдет.

Мошнин робко переступил порог кабинета своего неу-гомонного жильца и остановился у двери. У него болели зубы, и щека была подвязана большим платком.

— Здравствуйте, любезнейший, — насмешливо посматривая на жалкую фигуру купца, проговорил Тольский. — Вы за деньгами?

— Так точно-с.

— Так. Что это, у вас зубы болят?

— Так точно-с... покоя нигде не дают. Просто мука.

— Садитесь и открывайте рот.

— Как-с? Зачем-с? — опешил Мошнин.

— Я вам вместо денег за квартиру вырву больные зубы; у меня для сего имеются зубные щипцы, я — мастер на это дело.

— Помилуйте, как можно-с.

— Садитесь, говорят вам! Ну!.. Показывайте, какие у вас болят зубы?

— У меня зубы не болят-с.

— Врете, вы сейчас говорили, что зубы вам не дают покоя. Ну, показывайте больной зуб... Не хотите? Эй, Кудряш!

На зов Тольского в кабинет быстро вошел камердинер.

— Держи его крепче! — И Тольский показал на Мошнина.

Исполнительный Кудряш схватил купца и не выпускал, пока его господин рвал у бедняги здоровые и больные зубы. Мошнин ревел и кричал на весь дом, дергался, но Иван держал его, как железными клещами.

— Ну довольно, пусти его... устал, — спокойно проговорил Тольский камердинеру.

Мошнин выскочил из кабинета жильца, бросился на дрожки и приказал везти себя к начальнику полиции.

Мошнин в то время славился в Москве своим богатством, считался одним из крупных домовладельцев, вел боль-

шую торговлю мануфактурным товаром и был владельцем огромной фабрики. Он, хотя и был скрягой, жертвовал немало денег на благотворительность и водил знакомство со многими важными лицами, начиная с губернатора.

В своей семье, состоявшей из пятерых взрослых сыновей и жены-старухи, он был в полном смысле «сам»: его слово было для всех домочадцев законом, и горе тому, кто вздумал бы возражать или не повиноваться ему. Жена, сыновья и другие домочадцы были слепыми исполнителями его воли, его каприза.

Поступок с Мошниным Феди Тольского, известного бедокура и кутилы, не остался секретом: в Москве много было разговоров и смеха, когда узнали, как Тольский произвел операцию с Мошниным и вырвал у него несколько зубов, не только больных, но и здоровых. Многие не любили Мошнина и рады были посмеяться над ним.

Однако это вырывание зубов у богатого и знатного купца не прошло даром для Тольского: его вызвал генерал-губернатор в свою канцелярию, сделал ему строгий выговор и приказал немедленно выехать из дома Мошнина, грозя за неисполнение высылкою из Москвы.

Тольский не боялся этой угрозы, он не раз слышал ее из уст губернатора, но все же принужден был искать себе другую квартиру.

Тольскому приходилось плохо: полиция вынуждала его выезжать из дома Мошнина, а квартира не находилась. Поэтому он волей-неволей вынужден был на время оставить свой клуб, друзей и свою любовь к красавице Насте и рыскать по Москве в поисках пристанища.

Как-то, проезжая одним из глухих переулков от Остоженки к берегу Москвы-реки, Тольский заметил барский каменный особняк с подвальным жильем и наглухо закрытыми ставнями. На воротах дома виднелся лоскуток бумаги с надписью: «Сей дом сдается». Дом понравился Тольскому, он вылез из саней, подошел к воротам и хотел отворить калитку, но она оказалась запертой. Тольский дернул за проволоку; раздался резкий звонок, а в ответ на него громкий собачий лай, слышались тяжелые шаги по хрустящему снегу, загредел засов, и рослый старик в полушубке не совсем дружелюбно спросил у Тольского:

— Что вам, сударь, надо?

— Этот дом сдается? Да? Можно посмотреть? Если дом для меня подходящий, то я сниму его.

— Неудобен он для вас, сударь, откровенно скажу.

— Это почему? Почем ты, старик, знаешь, что для меня удобно, что неудобно?

— Знаю, что неудобен... Который год дом-то пустует, жильцов-то немало в нем перебывало: снимут, проживут день-другой, да и вон, — тихо и каким-то таинственным голосом проговорил старик. — Нечисть тут завелась, нечистая сила житья никому не дает.

— Вот что!.. Ну я никакой нечистой силы не испугаюсь. — Тольский громко засмеялся и вошел на двор.

Двор был огромный; прямо виднелась садовая решетка, отделявшая его от сада; близ ворот стоял небольшой домик в четыре окна.

Тольский подошел к крыльцу особняка и, обратившись к старику, сказал:

— Ну, отопри дверь и покажи мне квартиру.

— Как, сударь? Неужели хотите снять? — удивился тот.

— Непременно, если понравится. Давай отпирай!..

— Ключи у Ивана Ивановича. Он здесь вроде дворецкого барином приставлен: и за домом смотрит, и сдает, и деньги получает.

— А кто твой барин?

— Викентий Михайлович Смельцов, барин важный, заслуженный, в чужих краях проживает уже вот лет пять... Я пойду, сударь, скажу Ивану Ивановичу, он вам и дом покажет. — И старик направился к крыльцу.

«Смельцов, знакомая фамилия, слышал... Что это старик вздумал пугать меня нечистой силой? Вот чудак-то!.. Впрочем, в Москве, говорят, есть такие дома», — подумал Тольский и вслух произнес:

— Меня заинтересовал этот дом, и я сниму его; ни чертей, ни дьяволов я не боюсь.

К нему подошел низенький худенький старичок, с чисто выбритым лицом и добрыми, кроткими глазами.

— Здравствуйте, сударь, здравствуйте-с! Квартирку снять желаете-с? — каким-то певучим голосом проговорил он, снимая картуз и кланяясь. — Что же, в добрый час... А все же, сударь, я должен предупредить вас...

— Насчет нечистой силы, поселившейся в вашем доме? Знаю, слышал. Мне старик сейчас говорил.

— Его, сударь, Василием звать, а я из приязни к нему зову Васенькой. С малых лет мы с ним приятели, оба дворовые, вместе росли, на одном солнышке онучи сушили. Оглядеть желаете, сударь, наш дом?.. Можно, можно... Ва-

сенька пошел ставни отворять, а то темно в дому-с... Пойдемте благословясь; ключики у меня.

Дворецкий отпер наружную дверь в просторные сени с широкой лестницей, откуда двери вели в переднюю. Тольский и сопровождавший его дворецкий вошли в комнаты; на них пахло затхлым, холодным воздухом нежилого помещения. Зал, гостиная и другие комнаты были совершенно без всякой мебелировки, но отделаны прекрасно; стены в некоторых комнатах были расписаны, в других — обиты цветным атласом, на потолке размещались искусной кисти картины из мифологии, полы были штучные, из дорогого дерева. Дом был с небольшим мезонином, и дверь в последний шла с заднего крыльца.

— Мезонин принадлежит к этой квартире? — спросил Тольский у старика.

— Никак нет-с, отдельно; мезонин не сдается. В сем доме барин наш извоили жить до своего отъезда за границу. Мебель и кое-какое имущество приказали запереть в мезонине-с, беречь, значит, до своего возвращения из чужих краев; так мезонин и стоит запертой-с.

— А давно уехал твой барин?

— Давно, более пяти годов...

— Сколько лет твоему барину? — любопытствовал Тольский.

— Да лет с полсотни, а может, и побольше... При покойном императоре Павле Петровиче наш барин занимал видное место, также и в начале царствования Александра Павловича... Да с Аракчеевым Викентий Михайлович не поладили...

— Стало быть, твой барин — хороший человек, если не поладил с Аракчеевым.

— Добрейшей души человек; дай Бог ему здоровья на многие лета! — И старичок дворецкий, сняв картуз, усердно перекрестился.

Дом понравился Тольскому, и он, несмотря на предупреждение о нечистой силе, снял его, вручив дворецкому задаток, а на другой день и совсем переехал со своей многочисленной дворней.

V

В тот же день кучер Тольского Тимошка пришел из ближайшего кабака, где успел уже свести знакомство с целовальником, сильно встревоженный и обратился к своим товарищам-дворовым с такими словами:

— Ну, братцы мои, попали мы на фатеру.

— А что? — спросил у него камердинер Тольского Иван Кудряш.

— В доме, куда мы переехали, черти живут, — робко и таинственно промолвил Тимошка, поглядывая на товарищей.

— Ври, дурачина! С чего взял? — остановил его барский камердинер.

— Провалиться, не вру... Сейчас целовальник мне сказывал: «Напрасно, — говорит, — твой барин в дом Смельцова переехал; там, — говорит, — черти вам житья не дадут. Много охотников было на дом Смельцова; проживут день-другой, да и вон; не один год дом-то пустует. И твой барин не проживет в нем недели, съедет». Да и не один целовальник о том сказывал. Народу в кабаке было немало... Все то же говорили... что от нечистой силы житья нам не будет. Теперь, как только пробьет, говорят, полночь, сейчас и начнется работа у чертей. Пойдет по всему дому дым коромыслом, шум, стук. Стулья, столы пойдут по комнатам плясать; посуда в буфете трясется, песни запоет нечистая сила, а то хохот такой поднимет, что волосы станут дыбом и по телу мурашки пойдут, — рассказывал кучер и сам дрожал, как в лихорадке, от своего рассказа.

Дворовые слушали его с испуганными лицами, некоторые крестились.

— Все это — враки, бабьи сказки! — авторитетно промолвил камердинер, хотя и на него рассказ Тимошки произвел некоторое впечатление.

— Все, брат Иван, врать не станут. Видно, неспроста идет нехорошая молва об этом доме.

— Не верьте, ребята, все пустое! — стал успокаивать дворовых барский камердинер, но его слова не достигли цели: дворовые боялись ложиться спать на новой квартире, собрались все в кучу и ожидали какого-нибудь сверхъестественного явления, вздрагивали, прислушивались.

Однако первая ночь прошла благополучно, ничего необычайного не случилось.

Что касается Тольского, то он спал всю ночь богатырским сном, так как не верил ни в какие привидения и не признавал никаких таинственностей и непостижимостей.

Камердинер Иван находился в комнате, смежной с кабинетом своего барина, и, как другие дворовые, не спал почти всю ночь, а только лежал на своей койке с откры-

тыми глазами, готовый каждую минуту при малейшем шорохе бежать к своим товарищам.

Однако было тихо как в могиле, и только перед утром Иван услышал, что наверху, в мезонине, как будто кто-то ходит. Камердинер приготовился было дать тягу, но шорох или шаги скоро утихли.

Проведя спокойно ночь на новой квартире, Федор Иванович утром послал за дворецким Смельцова и, как только тот явился, сказал ему:

— Вот, почтеннейший, ты пугал меня привидениями напрасно! Ни единого привидения, и спал я как убитый. Стало быть, все эти привидения — одни глупые выдумки.

— Кто знает!.. Много за пять лет жильцов перебывало в этом доме, а больше недели никто не жил.

— Стало быть, все жильцы были глупы — верили в чертей и в разную ерунду. Я вот самого сатаны не испугаюсь и с квартиры съеду тогда, когда захочу.

— Смеею доложить, сударь, всякому свое, у всякого свой нрав.

— А ты, почтеннейший, как видно, веришь в существование чертей?

— Сударь, сами вы изволите знать, что на белом свете есть добро, есть и зло. Есть правда, есть и кривда — от дьявола.

— Браво, браво, почтеннейший, ты рассуждаешь, как философ... Однако поговорим лучше о житейском. Скажи, твой барин постоянно живет за границей?

— Почти постоянно; в течение пяти лет приезжали они в Россию раза два, не больше, — ответил Иван Иванович.

— Женатый он?

— Да, как же.

— И жена с ним за границей?

— Никак нет! За границей Викентий Михайлович одни.

— А где же его жена?

— Верно, сударь, не знаю. Кажется, барыня живет в Питере. Настоящего развода у них нет, а только вместе они давно не живут.

— Что же она, молодая?

— Да, чуть не вдвое моложе барина.

— И хороша собой?

— Чудной красоты.

— Ну, теперь я наполовину понял, почему твой барин не живет с женой: он стар, ворчлив и, вероятно, ревнив, а она молода, красива и любит пожить в удовольствие.

Однако мне до твоих господ нет никакого дела, я призвал тебя, почтеннейший, за тем, чтобы сказать: деньги я буду платить не вперед за год или за полгода, а частями... Понимаешь?

— Так точно, понимаю. Не извольте, сударь, беспокоиться насчет платы за квартиру; как хотите, так и платите... Мне барин Викентий Михайлович наказывали, чтобы жильцов деньгами не теснить.

— Вот это хорошо! Я буду платить, когда у меня будут деньги, — весело произнес Федя Тольский.

Зимний короткий день скоро прошел; настал вечер, а там и длинная ночь. Тольский в течение дня никуда не выезжал, будучи занят распоряжениями относительно уборки и устройства новой квартиры. Утомленный этим, он лег в постель ранее обыкновенного.

Его дворовые, усталые от работы, тоже улеглись и скоро заснули. Теперь они уже не так боялись нечистой силы, как в первую ночь своего новоселья.

Одному только камердинеру Ивану Кудряшу что-то не спалось. Долго он ворочался с боку на бок, стараясь заснуть, но никак не мог.

В самую глухую полночь, при гробовой тишине, он опять услышал какой-то шорох в мезонине, как будто там кто-то ходил. Затем шорох шагов сменился тихой, унылой песней. В мезонине кто-то пел; Иван слышал это ясно, только не мог разобрать слова песни.

«В мезонине несомненно кто-нибудь живет; старичишка дворецкий и сторож обманывают, говоря, что там одна мейбель да рухлядь», — подумал было молодой парень.

Песня стихла. Опять послышались шаги, они стали приближаться к Ивану, делаясь все яснее; он, бледный, дрожа всем телом, быстро встал, зажег свечу и приотворил дверь из своей горницы в коридор. Тотчас же из груди его вырвался крик ужаса, подсвечник выпал из рук, свеча погасла, и сам он без памяти упал в коридоре на пол.

Необычайный крик и падение Ивана разбудили крепко спавшего Тольского. Он быстро встал, зажег свечу и вышел в коридор; там он увидел распростертого, с помертвевшим лицом камердинера, валявшийся подсвечник и изломанную свечу.

— Что это значит? Что с Иваном? — растерянно проговорил Тольский.

Он спустился в людскую, разбудил дворовых и с их помощью постарался привести в чувство своего камердинера.

Обморок Ивана Кудряша был довольно продолжителен. Наконец он открыл глаза и увидел около себя Тольского с озабоченным лицом.

— Иван, что с тобою? Чего ты так испугался? — спросил у него Тольский.

— Ах, сударь, страшно, страшно! Привидение в белом саване здесь, в коридоре. Ах как страшно! Я думал, что умру со страху! — дрожал, как в лихорадке, Кудряш.

— Ты большой трус, и тебе, верно, что-нибудь показалось, — промолвил Тольский.

— Нет, сударь, не показалось; я ясно видел женщину в белом одеянии, как в саване; волосы у нее распущены... Завидев меня, она стала быстро подходить ко мне и махать рукой. Тут сердце во мне замерло, и я упал без памяти.

— Откуда явилось тебе привидение? Ты не помнишь?

— Мне слышались шаги, как будто в мезонине. Потом кто-то стал петь, так жалобно, и опять раздались шаги уже в коридоре. Я зажег свечку, отворил дверь и увидел...

— Какой ты трус у меня! С виду богатырь, а смелость у тебя заячья.

Проговорив эти слова, Федя Тольский направился к себе и опять лег, но заснуть не мог. Рассказ Ивана Кудряша заставил и его призадуматься:

«Что это значит? И что за привидение видел мой Иван? Неужели в самом деле здесь обретается какое-то сверхъестественное существо, которое не дает покоя нам, простым смертным?... Надо постараться отгадать, что это за женщина, которая так напугала моего камердинера, поднять завесу с этой тайны... И я это сделаю во что бы то ни стало. С завтрашней же ночи стану наблюдать за привидением».

Наконец Тольский крепко заснул. Иван же не остался в своей горнице, а ушел в людскую.

VI

Богатый и родовитый барин Михаил Семенович Намекин, отставной боевой генерал, почти безвыездно проживал в своей подмосковной усадьбе, прозывавшейся Горки и стоявшей верстах в тридцати от Москвы.

Михаил Семенович жил в усадьбе на широкую барскую ногу и был известен своим хлебосольством; на его роскош-

ные балы и обеды съезжалась вся московская знать; с генерал-губернатором Намекин водил дружбу и пользовался большим влиянием при дворе.

Генералу Намекину было лет шестьдесят с небольшим; уже лет пятнадцать, как он овдовел, потеряв горячо любимую жену. Вскоре после смерти жены он вышел в отставку и поселился в Горках.

Детей у него было двое: сын Алексей и дочь-вековушка Мария.

Алексей после смерти матери остался лет десяти на попечении своей сестры, которая была старше брата лет на пятнадцать, и рос он общим любимцем; это был хилый, болезненный мальчик, а потому отец стал подготавливать его к гражданской, а не к военной службе.

Для образования Алеши были наняты опытные педагоги; мальчик был довольно прилежен и, сдав экзамен, поступил в московский университет.

Здесь для юного Намекина началась новая жизнь. Вырвавшись из-под строгой опеки отца, Алеша повел жизнь совершенно иную, чем в Горках.

У Михаила Семеновича в Москве, на Тверской, был большой дом с целым штатом дворовых; в нем-то и стал жить Алеша, окружив себя товарищами; склонность к чтению умных книг и к наукам скоро уступила место праздной жизни в приятельском кружке. Алеша вырос, возмужал, из хилого мальчика превратился в здорового и сильного молодого человека.

С грехом пополам окончив университет, молодой Намекин поступил на службу в сенат; правда, он только числился на службе и являлся в присутствие не более двух-трех раз в месяц, все же остальное время проводил в пирушках, кутежах и карточной игре в клубе. Денег сыну Михаил Семенович высылал не особенно много, и ему хватало их лишь на день, на два. Однако приятели познакомили Алешу с ростовщиками. У них брал он деньги под векселя за огромные проценты, а те охотно ссужали его, зная, что он — чуть не единственный наследник богача отца.

До старика Намекина доходили слухи о праздной жизни сына, о его кутежах, игре в карты и тому подобном, и, чтобы проверить эти слухи, он нередко сам приезжал в Москву с намерением застать сына врасплох. Но Алеша был хитер: он подкупал дворовых, и те предупреждали его об отцовских планах. Поэтому генерал возвращался в усадьбу вполне успокоенный поведением своего сына в Москве.

Старшая дочь Михаила Семеновича крепко любила своего брата и всегда старалась выгородить его, когда отец был чем-либо недоволен. Старик Намекин и его дочь очень бывали рады приезду Алеши, который хоть и изредка, а все же навещал их. Летом он проводил в Горках месяца по два; тогда огромный дом Намекиных на Тверской стоял пустым.

Молодому Намекину было лет двадцать пять; отец решил, что пора сыну жениться, и стал подыскивать ему подходящую невесту, намереваясь женить сына не иначе как на княжеской или графской дочери, в крайнем случае, на генеральской.

— Моя невестка должна быть известного дворянского рода, обладать умом, образованием, а также богатством. Род Намекиных исстари известен на Руси, и жену Алексей должен себе взять из такого же славного рода, — часто говорил старик генерал.

Так как он не любил и не позволял никаких возражений и его слова для всех домочадцев и для многочисленной дворни были законом, то не возражал ему и Алеша; но это все же не помешало ему крепко полюбить Настю, дочь простого майора.

VII

Вскоре после разговора с Тольским Алеша поехал в усадьбу Горки с твердым намерением просить разрешения у своего отца жениться на майорской дочери Насте. Его неожиданный приезд среди зимы, и притом в сильный мороз, немало удивил Михаила Семеновича и его дочь Марию.

— Что это, Алексей? Не выгнали ли тебя из Москвы, что ты в такой холодище к нам приехал? — шутливо спросил у него старый генерал.

— Я ехал в закрытом возке и не чувствовал мороза, — почтительно целуя руку отца, ответил Алеша.

— И то сказать: ты молод, кровь горячая, тебя не скоро прохватит мороз. Ты к нам надолго приехал?

— Нет, дня на два, на три.

— Стало быть, не брал отпуска?

— Да зачем? На несколько дней можно и без отпуска.

— У вас служба вольная, не то что военная; у нас, бывало, и на день без разрешения нельзя было отлучиться,

а ты, чай, в свое присутствие по целым неделям не заглядываешь... Покойный император Павел Петрович и чиновников подтянул бы как следует, а теперь вас, молодчиков, распустили. Ну да не в том суть. Говори, зачем приехал-то? Если за деньгами — не дам, раньше первого числа ни гроша не получишь!

Находившаяся в горнице Мария Михайловна жалостно взглянула на брата и, обращаясь к отцу, тихо промолвила:

— Папа, зачем вы так? Алеша, наверное, не за деньгами приехал...

— А ты почем знаешь? Жалостлива больно...

Недавно только до него дошло известие, что его сын кутит напропалую и сводит знакомство с сомнительными личностями. Старик наполовину поверил этому слуху и, воспользовавшись приездом сына, решил пожурить его.

— Сестра сказала правду, я приехал к вам, батюшка, не за деньгами.

— А за чем же? Дозволь, сударь, узнать?

— Извольте, скажу... Я... я задумал жениться, батюшка.

В ответ на слова сына старый генерал посмотрел на него полупрезрительно и полунасмешливо и каким-то сиплым голосом проговорил:

— Вот что, сударь! Жениться изволили задумать?.. Поздравляю, поздравляю! — И, обращаясь к дочери, он, не меняя тона, добавил: — Мария, а ты что сидишь да таращишь глаза от удивления? Удивляться тут нечему. Теперь ведь новое время и новые люди, отцовских советов не слушают... Задумает молодец жениться, подберет себе суженую да и оповестит о том своего отца накануне венчания, а то и этого не делают, втихомолку венчаются... Наш Алексей Михайлович не таков: он добрее других и нас с тобою, Мария, на свадьбу пригласит непременно...

— Батюшка, — заговорил было молодой Намекин, но отец перебил его:

— Звать на свадьбу приехал?.. Так, так! А когда свадьба, дозволю узнать?

— Когда вы прикажете, батюшка.

Почтительный тон сына несколько обезоружил старого генерала, смягчил его.

— Да ты, Алексей, всерьез о женитьбе говоришь или шутишь? Кто невеста? Надеюсь, ты подобрал себе пару...

Прошу не забывать, ты не кто-нибудь, а намекинского рода, и наши родичи все почти были женаты на княжнах. Мать твоя покойная была тоже из княжеского рода.

Михаил Семенович этими своими словами отбил у сына охоту назвать свою возлюбленную, сказать, кто она.

— Ну что же ты молчишь, назови мне фамилию твоей избранницы.

— Она из рода Луговых, — запинаясь, тихо выговорил молодой Намекин.

— Луговых, Луговых... Что-то не припомню этой фамилии... Кто же отец твоей невесты, какой на нем чин?

— Он... он — майор.

— Что такое? Ты говоришь, майор?.. — грозно переспросил у взволнованного сына старый генерал. — Гм... И ты, глупец, вообразил, что я назову какого-то там майора своим сватом, породнюсь с ним? Да ты с ума сошел? Впрочем, от твоей порочной жизни не мудрено и с ума сойти. Советую тебе полечиться, а не жениться думать. Майорская дочь никогда не может быть твоей женой... Раз и навсегда я говорю тебе это!.. На этот неравный брак ты не получишь моего согласия и благословения. Пока я жив, ты не введешь какой-то там майорской дочери ко мне в дом своею женою... Я... я не позволяю тебе! — крикнул Михаил Семенович.

— Так вы не позволяете, батюшка?

— Нет и нет... Тысячу раз нет!

— Это ваше последнее слово?

— Да, последнее и решительное! — И генерал быстро вышел, сердито хлопнув дверью.

— Алеша, милый, как мне жаль тебя, как жаль! — со слезами сказала брату добрая Мария Михайловна.

— Да, да, сестра, пожалей меня! Я достоин жалости.

— Я и то жалею, Алеша; жалею также, что ничем не могу помочь тебе. Я одобряю, Алеша, выбор твоего сердца и с радостью назвала бы твою невесту своей милой сестрой, но папа...

— Да, на согласие отца рассчитывать нечего. Эх, закучу же я, так закучу, что чертям будет тошно! Отец сказал, что я веду порочную жизнь; что же, правда, не стану отпираться. Я полюбил девушку добрую, милую, хотел жениться на ней; женился бы, тогда прощай моя прежняя холостая, разгульная жизнь! Я совершенно переменяю образ жизни... Ну а отец не хочет понять это, гнушается выбором моего сердца... Да когда же конец этой опеке? Я не мальчик. Довольно водить меня на помочах! Уж если

на то пошло, то я и без согласия отца обойдусь и со своей Настенькой повенчаюсь!

— Алеша, Алеша! И ты это говоришь?.. Ведь тебе счастья не будет. Неужели ты решишься без благословения папы?

— Что же, если он не хочет, нас Бог благословит. Ну да поживем — увидим!.. А теперь прощай, сестра, я уеду завтра утром рано, ты, пожалуй, еще спать будешь...

— Как, Алеша? Ведь ты хотел дня два у нас погостить?

— Не до того мне теперь. Завтра чуть свет уеду.

— Алеша, голубчик, ты, пожалуйста, не огорчайся. Не забывай того, что папа бывает резок, но он очень любит тебя, желает тебе счастья.

— Оно и видно!.. Нет, он разрушает мое счастье!.. Ну да что тут и говорить, пропащий я человек!

На следующий день, ранним утром, молодой Намекин уехал из усадьбы отца в Москву и, занятый своими думами, не заметил, как тройка лихих коней, запряженная в крытый возок, с небольшим в два часа домчала его до Москвы. Не заезжая к себе домой, он проехал прямо к дорожному для его сердца майорскому домику.

Настя с радостным, счастливым лицом встретила его.

— А я хотела пожурить вас, Алексей Михайлович! — сказала она, усаживая дорогого гостя к столу, на котором кипел пузатый самовар и лежали на тарелке горячие ватрушки. — Где это вы изволили пропадать? Ну-ка, скажите...

— В усадьбе был, у отца, прямо оттуда...

— Долго там гостили?

— Нет, всего одну ночь.

— По делу ездили или так, навестить?

— По делу.

— Не секрет, по какому? — спросила Настя.

— Для кого и секрет, а от вас у меня тайн нет. Полюбил я, Анастасия Гавриловна, одну чудную девушку, крепко полюбил... Вот было и задумал скрепить свою любовь святым венцом с ней... Поехал я просить на это согласие у отца.

— Вот как? У вас невеста есть, а вы мне о том и ни слова. Ах, Алексей Михайлович, нехорошо!.. Скрывать от меня!

— Хотелось мне прежде заручиться согласием отца, а там я и вам сказал бы, Анастасия Гавриловна.

— Ну что же, успешна была ваша поездка, получили вы согласие?

— Нет, отец и слышать не хочет.
— Бедный, как мне жаль вас!.. Скажите же теперь, кто ваша невеста, как зовут ее?
— Так же, как и вас.
— Да?.. Вот как! Молода, хороша она?
— Так же, как и вы!
— Странно! Ваша невеста, значит, очень похожа на меня?

Молодая девушка начинала понимать. Она вспыхнула и наклонила свою хорошенькую головку.

— Неужели вы, Анастасия Гавриловна, не догадываетесь, о ком я говорю?

— Догадывалась, но боялась верить своей догадке.

— Так вы... вы хоть немного любите меня? Что спрашиваю!.. Зачем слова? Я вижу, Настя, ты любишь меня. Не так ли, моя милая?.. — с жаром проговорил Алеша, опускаясь на колени перед молодой девушкой.

— Встаньте, Алексей Михайлович! Да, я люблю вас, но — увы! — едва ли наша любовь принесет нам счастье. Ведь вы сказали, что ваш отец слышать не хочет о том, чтобы назвать меня своей невесткой... меня, бедную сиротинку-бесприданницу. Ведь за мной отец ничего не даст.

— Зачем мне приданое, зачем? Только бы ты меня любила, моя Настя! Отказа моего отца не пугайся; если на то пошло, я женюсь на тебе и без его согласия!

— Нет, нет, как можно без согласия отца!.. Несчастен будет наш брак!

Тут беседа возлюбленных была прервана поднявшейся в доме суетой. Ворота закрипели и отворились настежь. В повозке, запряженной парой коней, въехал на двор вернувшийся из усадьбы секунд-майор Луговой. Это был высокий худой старик с гладко выбритым лицом. Из-под нависших бровей хмуро смотрели серые, холодные глаза. На тонких сухих губах змеилась злобно-презрительная улыбка.

Сухо поздоровался он с Настей, бросившейся к нему навстречу, так же сухо и отрывисто проговорил гостю:

— Здравствуйте!

— Вы чем-нибудь недовольны или встревожены? — спросил у него молодой Намекин.

— Да, недоволен и встревожен... — резко ответил Гавриил Васильевич, бросив при этом сердитый взгляд на дочь. — Ваше, сударь, посещение меня тревожит.

— Мое посещение? — с удивлением воскликнул Алеша.

— Да!.. Позвольте узнать, с каким намерением вы ездите ко мне в дом? В качестве простого гостя или чего другого? Этот вопрос я задаю вам потому, что у меня дочь — девица на выданье, и я вовсе не желаю служить мишенью для разных там пересудов и разговоров! — Майор горячился все более и более. — Думаю, сударь, вы ездите не ко мне и не для меня? — добавил он.

— Это верно, я езжу не к вам и не для вас! — спокойно ответил ему Намекин.

— Так!.. Стало быть, бываете вы у нас ради моей дочери?

— Совершенно верно! Я бываю у своей невесты, Анастасии Гавриловны.

— Вот как! Скоренько же!.. Не худо бы меня спросить.

— Вас не было, Гавриил Васильевич!

— Так... Вы намерены жениться на моей дочери? А своего папеньки согласие на то спрашивали?

Намекин молчал, не зная, что ответить майору.

— Что же вы молчите? Извольте отвечать, согласен ли ваш родитель назвать мою дочь своей невесткой?

— Я... я еще не спрашивал... — солгал Алеша.

— Напрасно!.. Вам следовало заручиться раньше родительским разрешением и благословением, которое вы едва ли получите... Папенька ваш, заслуженный генерал, вряд ли захочет родниться со мною, убогим майором. Он слишком горд для этого, спесив, богат. Приданого захочет, а за моей Анастасией почти ничего нет... Усадьбишка моя заложена, и сам я весь в долгу, как в шелку.

Старый майор безбожно лгал; его усадьба не была заложена, а он не только не должен, но сам еще давал деньги под большие проценты.

— Я с вас ничего не спрашиваю, мне никакого приданого не надо, — сказал Намекин.

— Это хорошо!.. Впрочем, после моей смерти все, что останется, будет завещано мною дочери Анастасии, а при жизни за ней дать я ничего не могу. Это — мое последнее слово, и до времени мне говорить с вами не о чем. А поэтому не взыщите на старика: я устал с дороги, пойду отдохнуть... Прошу, сударь, прощения!..

Проговорив эти слова, старый майор вышел. В дверях он искоса взглянул на влюбленных.

VIII

Тольский, устроившись на новой квартире, не обращал никакого внимания на привидение, пугавшее ночью его дворовых. Как-то он отправился в майорский дом; его тянуло туда словно магнитом, и этим магнитом была красавица Настя. Он приехал в домик майора в тот самый день, когда произошло объяснение Намекина с Настей, и застал молодую девушку печально сидевшей в небольшом зале.

Было Насте о чем подумать. Нерадостно, невесело сложилась ее жизнь. Она давно лишилась нежной, любящей матери и росла на попечении няньки Мавры да сурового отца. Расправы последнего с дворовыми болью отзывались в ее любящей, еще не тронутой житейскими бурями душе, крики людей, просивших пощады, заставляли ее убегать в свою детскую горенку и плакать там, уткнувшись головой в подушку.

Выросла Настя, похорошела, расцвела, случайно познакомилась с Алешей Намекиным и незаметно для себя полюбила его первой любовью.

Гнет сурового отца теперь не так страшил Настю, и затворническая жизнь не казалась ей постылой. Майор держал свою дочь взаперти, не позволяя ей выходить за ворота для прогулок и даже подходить к окнам. Только и выходила Настя в церковь, и то в сопровождении старухи няньки да кого-либо из дворовых.

Ревниво оберегал Луговой свою дочь от чужого глаза, сам следил за малейшим ее шагом и заставлял то же делать и своих слуг, которые пользовались его расположением и доверием. Первым таким был дворецкий, Савелий Гурьич, который в отсутствие барина занимал его место и распоряжался в доме, как хотел. Настя не любила дворецкого за его наущничество отцу и за то, что он был бичом для всех дворовых.

После объяснения со своим возлюбленным девушка опечалилась.

«Надо выждать время... может, старый генерал смилостивится и даст Алеше согласие жениться на мне, — думала она. — А если он и будет упорствовать, что же, надо ждать; он стар, а мы с Алешей молоды... Одно нам остается — тайком повенчаться или расстаться... Нет, нет, я не могу расстаться с Алешей, я так люблю его... Что же делать? Как быть?»

В тихих думах и застал ее Федя Тольский.

— Что с вами, очаровательная хозяйка? Вы печальны, скажите, с чего ваша печаль? — спросил он у Насти, пожирая взглядом ее красивое, но грустное лицо.

Он ничего не знал об объяснении Алеши Намекина с Настей, а также о возвращении майора Лугового, так как того не было дома.

— Вы спрашиваете, отчего я печальна? — переспросила Настя. — Отвечу: нечему мне веселиться, нечему радоваться.

Молодая девушка не рада была приезду Тольского, но не принять его не могла; она была отчасти знакома с бурным характером своего нежеланного гостя и несколько боялась его.

— У вас есть печаль, горе? Скажите мне! Может, я помогу вам.

— Нет, нет, вы ничем не можете помочь мне.

— Почему? Для вас я готов на все пойти. Для вашего счастья я жизнь свою отдам, — с жаром произнес влюбленный Тольский, уже давно решивший во что бы то ни стало отбить Настю у Намекина.

— Оставьте, пожалуйста! Мне вовсе не нужна ваша помощь, — с ноткой неудовольствия промолвила молодая девушка.

— Вы, кажется, обиделись на меня?

— Да, да, ваши комплименты, ваши слова обижают меня.

— Помилуйте, Анастасия Гавриловна, разве я сказал вам что-нибудь обидное? О, если я осмелился обидеть вас, то накажу себя смертью! — с пафосом воскликнул Федя Тольский.

— Пожалуйста, не говорите глупостей! — прервала его Настя.

— О, это не глупости. Скажите мне: «Федор, умри!» — и я умру, уверяю вас!

— К чему вы говорите все это?

— К тому, что я люблю вас.

— Оставьте, пожалуйста, вы знаете, что у меня есть жених.

— Алеша Намекин? Он на вас не женится. Могу вас уверить: ему отец не позволит.

— Вы и это знаете?

— Знаю. Лучше выходите за меня, Анастасия Гавриловна! Алеша не может любить вас так, как я люблю. Я брошу свою беспутную жизнь и буду примерным мужем. Клянусь вам.

- Зачем клятвы? Вашей женой я никогда не буду.
- О! Вы безжалостны ко мне!
- Хороши же и вы. Вы Алешу Намекина считаете своим другом, а сами хотите отбить у него невесту!
- Что делать? Любовь сильнее дружбы. Как бы там ни было, вы станете моей женой.
- Никогда!
- А я говорю — станете! Я увезу вас.
- Да вы — сумасшедший!
- Да, от любви к вам.
- Однако прекратим этот разговор.
- Вы, кажется, не верите, что я увезу вас? Нет?.. Плохо же вы знаете меня! Для меня никаких преград не существует, я привык всегда достигать цели.
- Вы, похоже, уже начинаете хвалиться своим неприличным поведением? Я не буду больше принимать вас, — сердито проговорила молодая девушка.
- Вы сердитесь? Скажите, чем я могу заслужить прощение?
- Оставьте меня! Я боюсь, что нас застанет мой отец, он должен сейчас приехать.
- Тем лучше, я познакомлюсь с ним.

Насте едва удалось выпроводить непрошеного гостя, она очень опасалась, что ее отец застанет Тольского, так как боялась скандала, который мог произойти между ними. Тольский своими словами оттолкнул от себя молодую девушку, и она была очень рада, когда он уехал. Она отдала приказание не принимать его больше.

Между тем, в квартире Тольского опять ночью стали происходить необычайные явления: как пробьет полночь, так и пойдет работать нечистая сила на страх всем дворовым.

Иван Кудряш заявил своему барину, что спать он будет в людской, а не наверху. Тольский согласился, так как не был боязлив и не боялся спать один в квартире.

Однажды ночью Федор Иванович раньше обыкновенного приехал из клуба; он дочиста проигрался и домой вернулся озлобленный и расстроенный; денег у него больше не было. Между тем во время его отсутствия, ночью в его кабинете и других комнатах, в которых никого не было, происходило что-то странное и непонятное. Дворовые, находясь внизу, ясно слышали, что в барских комнатах, наверху, кто-то ходит, передвигает мебель, стучит; слышен был также глухой говор и заунывное пение. Дворовые, обьятые ужасом, собрались в кучу, не смея пойти посмотреть,

что происходит наверху; впрочем, выискался один смельчак, дворовый Сенька.

— Я не боюсь пойти туда, — сказал он. — Чай, на мне святой крест и никакая нечистая сила меня не коснется. Вот сейчас и пойду. Только дайте мне, братцы мои, фонарь.

Некоторые из дворовых останавливали смелого парня, а другие, напротив, советовали ему сходить, но сами идти с ним отказывались.

И вот Сенька, забрав зажженный фонарь и суковатую толстую палку, смело направился на барскую половину. Однако как ни смел был он, через несколько минут вернулся обратно с лицом, как у мертвеца, и, трясаясь всем телом, попросил напиться воды, после чего дрожащим голосом, беспрестанно останавливаясь и как-то боязливо озираясь по сторонам, рассказал следующее:

— Ну, братцы мои, натерпелся я такого страху, какого отроду со мной не бывало. Не знаю, как только я уцелел, как жив остался; взошел это я в коридор смелой поступью, перекрестился, взглянул: в коридоре темно, никого не видно, а слышно, что в барских комнатах кто-то ходит, кто-то жалобно песню поет. Признаться, немножко струхнул, да как гаркну: «Кто смеет по барским комнатам расхаживать да еще песни петь?» В ответ на мой крик как захохочет кто-то! С того хохота по телу у меня пошли мурашки и волосы дыбом встали; прямехонько из барского кабинета вышли какая-то чертовка в черном одеянии, не то ведьма старая, а за нею следом уже молодая ведьма, а может, и русалка, в белом одеянии; волосы длинные по плечам распущены, лицо бледное, равно у мертвеца. У старой-то ведьмы свеча в руках, а у молодой не то гитара, не то лютня. Остановились это они в дверях и, вылупя глаза, смотрят на меня. Я тут зачурался: «Чур, — говорю, — меня; наше место свято»; думаю, ведьмы провалятся. Не тут-то было: стоят, ни с места, да еще ухмыляются, а старая ведьма взяла кусок какой-то бумаги да и бросила в фонарь. Тут осветило их, братцы мои, красным пламенем, ровно в аду кромешном... Я и не выдержал — тягу дал, а они-то, проклятые, как захохот да загогогут...

Дворовые слушали Сеньку, затаив дыхание и робко прижимаясь друг к другу. Беспредельный страх изображен был на их испуганных лицах. Когда Сенька закончил, все они хранили гробовое молчание — рассказ товарища произвел на них удручающее впечатление.

Раздавшийся звонок нарушил их невольное молчание — это вернулся из клуба Тольский.

Он вошел в свой кабинет и был удивлен царившим там беспорядком. Находившиеся раньше на письменном столе бумаги, письменные принадлежности и различные дорогие безделушки валялись на полу. Картины, висевшие на стене, лежали под диваном. В зале, гостиной и в других комнатах столы, стулья были сдвинуты в кучу; портьеры с окон были сдернуты на пол. Одним словом, царил полнейший беспорядок.

— Что это значит? Кто посмел? — грозно крикнул Тольский при взгляде на свою квартиру.

— Нечистая сила, — ответил Иван, дрожа.

— Молчать! Ты, видно, еще не выбил дурь из своей головы. Я постараюсь изловить эту нечистую силу, и горе ей тогда будет! Не шутки ли это кого-нибудь из дворовых? Ну да я дознаюсь, не испугаюсь ни чертей, ни дьяволов!

— Дозвольте, сударь, рассказать вам происшествие с Сенькой, которое случилось за несколько минут до вашего возвращения.

— Ну, рассказывай, что еще там такое! Что за вздор!

Камердинер Иван рассказал своему барину все то, что слышал от Сеньки, то есть о том, как напугали его ведьмы.

Этот рассказ невольно заставил Тольского призадуматься; в конце концов он решил разгадать, что это за ночные посетители производят беспорядок в его комнатах.

Для этой цели он не лег спать, а стал наблюдать. Погасив огонь, он сел в кресло, стоявшее напротив двери его кабинета, положив рядом с собою на маленький столик заряженный пистолет, и стал ждать.

Кругом царил безмолвие.

Тольский начал дремать и сколько ни боролся со сном, ничего не получилось.

И вот он, как бы спросонья, услышал легкие шаги, кто-то тихо отворил дверь; он было открыл глаза, но сильный свет заставил его снова закрыть их. Так прошло несколько мгновений.

Вот он снова открыл глаза и ясно увидел в нескольких шагах от себя женщину с красивым бледным лицом, худалую, с распущенными длинными волосами. Он хотел громко крикнуть, но из его груди вырвался не крик, а какой-то хрип, и он дрожащим голосом произнес:

— Кто ты, живое ли существо или пришелец из неведомого мира?

Таинственная женщина, у которой был в руках фонарь, ничего не ответив, быстро вышла из кабинета, плотно притворив за собою дверь.

Тольский бросился было вслед, но дверь оказалась запертой.

Таким образом Федя Тольский очутился под замком в собственном своем кабинете.

IX

Он принялся и руками и ногами стучать в дверь; его стук эхом раздавался в коридоре и пустых комнатах, но никто из дворовых не приходил к нему, даже преданный камердинер Иван. Дворовые слышали стук наверху, но, объятые страхом, не шли туда; к тому же они никак не думали, что их барин сидит в кабинете под замком. Тогда Тольский принялся стучать в пол, рассуждая в то же время:

«Что это значит? Никто из слуг не идет — видно, чертей боятся. Погодите, негодяи, завтра я вас всех заставлю плясать под мою нагайку!.. Однако что это за ночная посетительница? Откуда она взялась?.. Довольно молодая и красивая, только страшно исхудалая. Ни в привидения, ни в пришельцев с того света я не верю. Но кто же эта женщина в белом, как она проникла в мой кабинет? Все это как-то странно и загадочно, но что она — живое существо, я побьюсь о заклад. Пришелец с того света не стал бы запираť меня на замок, а также не имел бы нужды в фонаре, который я видел в руках у таинственной женщины...»

На этот раз камердинер Кудряш в сопровождении нескольких дворовых, вооруженных кто чем попало, робко толкая друг друга вперед, появились в коридоре. У двоих дворовых было по зажженной свечке. Дрожа от страха, озираясь по сторонам, все подошли к барскому кабинету.

Их шаги донеслись до слуха Тольского, и он крикнул:

— А, негодяи!.. Наконец-то пожаловали!

Камердинер Иван, услышав барский голос, подошел, подергал за ручку, но дверь была заперта.

— Дверь, сударь, заперта! — сказал камердинер.

— Отпирай, каналья.

— Ключа нет.

— Вот как? Стало быть, моя таинственная посетительница и ключ захватила с собой? Ломай замок! Не сидеть же мне под арестом в своем кабинете!

Дверной замок с трудом был сломан. Тольский с нагайкою в руках вышел в коридор и принялся бить дворовых, приговаривая:

— Вот вам, хамы, вот, получайте! Вы чертей испугались и на мой зов не шли, за это всех бы вас стоило на конюшне отодрать, ну да черт с вами! Пошли по местам! А ты, Ванька, останься! Ты что же это, холоп, а? Преданным слугой считаешься, а сам неведомо чего испугался и оставил своего господина на произвол судьбы?!

— Помилуйте, сударь!

— Все вы хамы, и душонки у вас продажные, за грош продать меня готовы. Ну да ладно! Вставай, нечего по полу елозить. Бери свечу! Пойдем осмотрим коридор и другие комнаты, не спряталось ли где-нибудь привидение. Ну, чего ты дрожишь как лист?

— Уж очень, сударь, страшно.

— Ничего не видя, боишься! Если бы ты был на моем месте и видел то, что я видел, то подход бы от страха. Ну, бери свечу, а я пистолет, и пойдем обыскивать!

Однако сколько ни искали Тольский с Иваном в коридоре, в зале и в других комнатах, ничего подозрительного не нашли. Тольский подошел к двери, которая вела в мезонин, и подергал ее; дверь была заперта.

— Нет ли кого там, в мезонине? — задумчиво проговорил он.

— Помилуйте, сударь! Кому там быть!

— А может, живет там кто-нибудь, ночью и пугает нас, является в образе привидения.

— Никто в мезонине не живет, сударь! Вот и дворецкий говорил, что никого там нет.

— Нашел кому верить!.. Впрочем, я постараюсь разузнать, сделать это не очень трудно.

Остаток ночи Тольский провел в тревожном состоянии; женщина в белом не выходила у него из головы. Кто и что она? Живое ли существо или привидение? Почему и зачем является в этот дом? Каким образом проникает в коридор, а оттуда и в комнаты и чего хочет она? Для какой цели производит беспорядок в комнатах и зачем пугает дворовых?

Эти мысли не давали покоя Феде Тольскому и отгоняли прочь сон.

Проворочавшись до утра, Тольский послал за дворецким. Тот не преминул явиться и, отвесив низкий поклон, сказал:

— Здравствуйте, сударь! Как почивать изволили?

— Плохо, почтеннейший, плохо!

— Смею спросить, сударь, разве кто тревожил ваш ночной покой?

— И то тревожили. Нечистая сила!..

— Так, так. В каком же образе, сударь?

— Довольно красивой женщины в белом одеянии, с распущенными волосами.

— Так это, сударь, обычное явление.

— Как обычное, черт возьми?!

— Неведомая жительница этого дома не вам одним, а многим являлась в своем обычном белом одеянии, с распущенными волосами.

— Но кто же она? Кто эта таинственная женщина?

— Не могу знать, сударь! Одно только смею сказать, что это явление необъяснимо и объять его умом человеческим невозможно. Ведь вот до вас много жильцов здесь перебивало, многие хотели отгадать эту загадку, принимали нужные к тому меры, подстерегали, по нескольку ночей спать не ложились, имея намерение удержать или поймать эту непостижимую женщину, которая вам, сударь, спать не давала прошлой ночью, — и все ничего... Так их труды и пропали понапрасну.

— Стало быть, она не являлась?

— Являлась, только в другое время. Когда стерегли, никакого необычайного явления не происходило, а как переставали стеречь, эта женщина опять шла погуливать.

— Уж изловлю я эту гулену! Ведь дверь из коридора в мезонин заперта?

— Так точно, сударь, заперта.

— И ключ, наверное, у тебя?

— Никак нет! Он у барина, у Викентия Михайловича.

— Да ведь он живет за границей?

— Ключ они изволили взять с собой.

— Странно!.. Более чем странно! Разве твой барин не доверяет тебе? Думаю, там, в мезонине, у него не золото лежит...

— Что там лежит — не знаю, только ключа у меня нет, и в ту пору, как мой барин Викентий Михайлович изволил собственноручно запереть дверь в мезонине, меня в доме не было; другой дворецкий был, Игнат Фомич; теперь он с барином нашим за границей находится.

— А старик сторож был здесь, когда твой барин запи-
рал мезонин? — после некоторого раздумья спросил у дво-
рецкого Тольский.

— Его тоже, сударь, не было. Мы с ним поступили в
самый день отъезда нашего барина в чужие края.

— Ну так вот что я, старина, придумал: прикажи ты
сегодня же наглухо заколотить досками дверь, которая ве-
дет из моего коридора в мезонин. Понял?

— Это сделать нельзя!.. Ведь барин Викентий Ми-
хайлович, уезжая в чужие края, строго-настрого прика-
зали никаких переделок или поправок в доме не
производить.

— Да, но заколотить дверь — не есть переделка или
поправка.

— А все же без барского указа и это я не могу учинить.

— Ну, как хочешь!.. Я сегодня же сам прикажу своим
людям заколотить эту дверь.

— Это сударь, невозможно, — возвышая голос, прого-
ворил дворецкий.

— Для меня нет ничего невозможного на свете, запо-
ни мои слова! Нынче же прикажу заколотить дверь без
всяких рассуждений. Квартира моя, и я волен в ней делать
все, что только захочу.

— Воля ваша, сударь, а только не резон, потому мой
барин Викентий Михайлович...

— Убирайся ты к черту со своим барином! Надоел, —
сердито крикнул Тольский на старика дворецкого.

Тому оставалось одно — уйти, что он и сделал.

Тольский не остановился перед задуманным, и в тот
же день дверь, которая вела из коридора в мезонин, была
наглухо заколочена широкими досками.

Х

Алеша Намекин не знал, что ему делать, на что ре-
шиться; он горячо любил Настю и ради женитьбы на ней
готов был идти против воли своего спесивого отца. Его
страшило одно — что тогда отец лишит его денежной
поддержки.

«Чем же я буду жить с молодой женой? — подумал
Намекин. — Ведь своих денег у меня нет ни копейки, у
Насти тоже. На кредит рассчитывать трудно; теперь меня
считают богатым наследником, но если мои кредиторы уз-
нают о раздоре с отцом, они перестанут снабжать деньгами

и за большие проценты. О, если бы у меня были деньги!.. Хотя бы в карты выиграл, черт возьми!»

Эти размышления были прерваны приходом Тольского.

— Федя! Как я рад! — быстро идя навстречу и обнимая приятеля, радушно промолвил Алеша Наめкин.

— Рад? В добрый час! Я тоже рад свиданью с тобой, — как-то хмуро сказал Тольский.

— Что с тобой, приятель? — заметив мрачное настроение гостя, произнес Наめкин. — Ты как будто не в себе?

— Глупости, я всегда такой. Не в том дело! Мне надо поговорить с тобой кое о чем.

— Что же, я рад тебя слушать!

— Скажи, ты любишь майорскую дочь?

— Разумеется, люблю, что за вопрос?

— Вопрос нужный. Я тоже ее люблю.

— Ты? — удивился Алеша Наめкин. — Ведь ты недавно говорил мне, что Настя совершенно не знаешь, ни разу ее не видел.

— То говорил прежде, а теперь говорю, что люблю ее и она будет моею.

— Вот как! Даже твоею?

— Да! Я так хочу, так решил.

— Даже решил?! Но ты совсем забываешь, что я тоже люблю Настю и имею больше прав на нее, чем ты. Я — жених ее.

— А разве я также не могу быть ее женихом?

— Женихом ты считаться, пожалуй, можешь, только Настя за тебя не пойдет. Ведь она любит меня, а не тебя! Мы объяснились и дали друг другу слово.

— С чем и поздравляю, но твоею женой она не будет. Этого не хочет твой отец и я не хочу, — возвышая голос, проговорил Тольский.

— Вот как? Даже ты! — И Наめкин вспыхнул от негодования.

— Да, я! Я полюбил Настю, и этого достаточно, чтобы она была моею.

— Послушай, Тольский, ты не шутишь? Говоришь серьезно?

— Не имею никакого намерения шутить и даю тебе добрый совет уступить мне свою невесту. Тогда ты останешься моим хорошим приятелем, а иначе... между нами произойдет раздор, и следствием этого будет...

— Ты хочешь сказать, Тольский, между нами может произойти дуэль? Да? Что же, если на то пошло — дуэль так дуэль! — твердым голосом произнес Наめкин.

— Стало быть, у тебя есть желание переселиться к праотцам? — насмешливо произнес Тольский. — Ведь я убью тебя, как куренка.

— Это еще неизвестно! Ведь я не из трусливых.

— Не боишься дуэли со мною? Это для меня ново и оригинально. Разве ты забыл первый день нашего знакомства в клубе?.. Ты рискуешь жизнью. На дуэли я не привык щадить, предупреждаю.

— Пожалуйста, без предупреждений.

— Даю тебе день на размышление. Откажешься ты от Насти — сбережешь свою жизнь и не потеряешь расположения своего отца, а этим расположением тебе надо дорожить, так как у него, говорят, денег куры не клюют, черт возьми! Завтра ты скажешь мне, что надумал — жить или умереть.

— Послушайте, господин Тольский, ваш тон начинает надоедать мне; раз навсегда говорю, что не боюсь вас и от дуэли никогда не откажусь, — резко произнес Намакин.

— Браво, браво! Да вы — герой. Предоставляю вам выбрать место и оружие, даже и время!

— Я выбираю пистолеты, время — завтра в восемь часов утра, место — Сокольничья роща, у заставы, — проговорил Алеша Намакин и, показывая Тольскому на дверь, добавил: — Наш разговор окончен. Прошу оставить меня.

Оставшись один, Алексей Михайлович задумался. Он ясно сознавал, что идет на большой риск, принимая вызов на дуэль с Тольским, и даже был уверен в печальном для себя исходе: ведь Тольский гремел на всю Москву как отъявленный дуэлянт. Однако он и не подумал о том, чтобы отказаться от этого грозного поединка, и стал готовиться.

Секундантом он выбрал себе молодого офицера Бориса Дмитриевича Зенина, которого считал своим искренним другом. Вечером, накануне дуэли, он отправился в домик Лугового. Самого майора не было дома, но тем свободнее и приветливее встретила его красавица Настя.

Намакин, чтобы не испугать невесту, скрыл от нее предстоящую дуэль, казался ей веселым и беспечным, и влюбленные много говорили о предстоявшей жизни.

Особенно же весела и говорлива была Настя.

— Ах, Алеша! Если бы мне увидеть твоего отца, познакомиться с ним, — воскликнула она, — я постаралась бы понравиться ему! Как ни спесив и горд он, я знаю, он

полюбил бы меня и дал бы тебе разрешение жениться на мне. Познакомь меня, голубчик, с ним! Ты увидишь, я сумею выпросить его согласие. Ведь я, Алеша, хитрая, ты еще не знаешь меня!.. Я просто удивляюсь на твоего отца. Зачем он идет против нашего счастья? Что ему надо? Ведь мы так любим друг друга! В том, что я бедна и рода не знатного, кажется, никакого порока нет — Бог не уравнил всех; кого Он наделил богатством, знатностью...

— А кого красотой и добрым, любящим сердцем, ты это хочешь сказать, Настя? — с улыбкой промолвил Намекин.

— А разве я очень красива?

— Более чем красива! В тебе красота, моя милая, дивная, чарующая. Для меня никого нет красивее тебя на свете.

Долго говорили влюбленные; наконец Намекин стал собираться домой. Ему еще предстояло приготовиться к завтрашнему утру, написать несколько писем, в том числе и отцу, и сделать некоторые распоряжения. Он стал прощаться со своей невестой:

— Ну, прощай, Настя, прощай, моя голубка!

— Как «прощай»? Ведь мы с тобой расстаемся только до завтра, а ты прощаешься со мной, как будто надолго, — с беспокойством промолвила молодая девушка.

— Кто знает, Настя! Может быть, и надолго.

— Алеша, ты пугаешь меня...

— Ну представь себе, я могу захворать, умереть, мало ли что может случиться!

— Алеша, ты скрываешь от меня что-то? Тебе предстоит какая-нибудь опасность?.. Я догадываюсь...

— Ровно никакой, моя милая. Мне отчего-то скучно, вот я и кислый.

— Что ни говори, милый, ты со мной не откровенен.

— Настя, ну как же мне тебя уверить?

— Ну, ну, хорошо, я верю тебе, верю. Итак, милый, до завтра. Завтра ты приедешь? Да?

— Да, да! Прощай, Настя! Впрочем, я совсем забыл тебя спросить о Тольском... Ведь ты знаешь его, Настя?

— Это того сумасшедшего, который чуть не силою врывается к нам? Я сказала людям, чтобы больше не принимали его.

— Хорошо сделала, моя милая: он — дурной человек.

— Алеша, а ведь прежде ты был другого мнения о нем!

— Я познакомился с ним только за несколько дней перед тем. В такое короткое время трудно узнать человека, сама знаешь. Так ты не любишь его?

— Это Тольского-то любить? — Молодая девушка весело засмеялась. — Уж не ревнуешь ли ты к нему, мой милый?

— Полно, Настя, что ты! А он говорил мне, что ты нравишься ему. Советую тебе остерегаться Тольского.

— Я уже сказала тебе, что он больше не будет бывать у нас в доме. В первый раз он, правда, заинтересовал меня своей смелостью, а вчера — представь себе! — объяснился мне в любви, настойчиво требовал, чтобы и я его полюбила. Какой нахал!.. Я много смеялась над этим объяснением.

— Стало быть, Тольский — мой соперник?

— Да, но не опасный.

Влюбленные расстались.

Приехав домой, Намекин принялся писать письма к отцу и к Насте, а также к двум-трем близким родственникам. Эти письма должны были быть переданы в случае его смерти на дуэли.

XI

Было зимнее морозное утро. Еще не совсем рассвело; шел маленький снежок, обещавший перемену погоды. По дороге к Сокольникам ехали щегольские барские сани; в них под медвежьей полостью сидели Алеша Намекин и его приятель, офицер Боря Зенин.

Вековая Сокольничья роща в то время начиналась на некотором расстоянии от Красных ворот и распространялась на десятки верст. В ту пору о дачах в Сокольниках не было и помина и лес служил не местом прогулки для москвичей, а чаще пристанищем для обездоленных судьбою людей и грабителей.

Проехав Красный пруд, сани остановились. Намекин и Зенин вышли; у последнего в руках была шкатулка с pistols. Они пошли по мерзлому снегу на небольшую поляну, выбранную местом дуэли и окруженную со всех сторон гигантами соснами, которые закрывали ее со стороны проезжей дороги.

— Мы первыми приехали, — проговорил Намекин, посмотрев на свои дорогие часы.

Он был совершенно спокоен; зато его секундант очень волновался, горячился и ругал Тольского.

— Оставь горячиться, Боря! Ты, как секундант, должен быть хладнокровен и спокоен, — с улыбкою проговорил Намекин.

— Помилуй, какое тут хладнокровие, черт возьми! Когда пройдет еще несколько времени, и ты...

— И я буду убит, ты хочешь сказать?

— Разумеется! Разве этот подлец Тольский пощадит тебя? Убить человека для него — плевок. Как хочешь, Алеша, это не дуэль, а бойня! Знаешь, Алеша, если Тольский убьет тебя, то я... я сам убью его, вызову на дуэль и убью.

— Не могу не пожелать тебе успеха, мой милый.

— Только вот горе: ведь, признаться, стрелок-то я плохой, и Тольскому не составит труда подстрелить меня, как куренка, — с глубоким вздохом признался Зенин.

— Надеюсь, Боря, ты не сделаешь глупости и не станешь вызывать противника, который и ловчее и сильнее тебя!

Едва Намекин проговорил эти слова, как послышались ржание лошадей и громкий разговор. Скоро на поляне появился Тольский в сопровождении своего секунданта.

— Вот он, легок на помине, чтобы черт побрал его, разбойника! — чуть ли не в голос злобно проговорил Зенин.

Противники ни слова не сказали друг другу, только обменялись легким поклоном.

— Приступим! — отрывисто проговорил секундант Тольского, обращаясь к Зенину.

Секунданты стали мерить шаги, потом заряжать pistols.

— Господа, я, как секундант, считаю своей обязанностью предложить вам примирение, — проговорил слегка дрожащим голосом Зенин, обращаясь к Тольскому и Намекину.

— Что же, я не прочь; пусть господин Намекин постарается исполнить то, о чем я говорил ему, — ответил Тольский.

— Отказаться от любимой девушки? Никогда! — горячо промолвил Алеша Намекин.

— Если так, то приступим.

— Я готов.

Противники были поставлены по местам; им были розданы pistols; сговорились стрелять после третьего счета.

Тольский, прицеливаясь в Намекина, сказал ему:

— Так вы не хотите отказаться от Настасьи Гавриловны?

— Ваш вопрос я считаю неуместным, а потому и не отвечаю на него, — с достоинством ответил ему Намекин.

— А, когда так, прощайтесь с жизнью!

Зенин дрожащим голосом стал считать, полузакрыв глаза. Ему страшно было за своего друга.

Вот в морозном воздухе резко раздалось роковое «три». Одновременно последовали два оглушительных выстрела.

Когда дым, произведенный выстрелами, рассеялся, Зенин увидел своего друга распростертым на снегу. Из раны в левом плече фонтаном била кровь, его лицо было мертвенно-бледным. Видно было, что он делал большое усилие, чтобы не стонать от сильной боли. Зенин бросился к нему и постарался платком завязать рану; кое-как, с помощью другого секунданта, ему удалось сделать это и несколько остановить кровь. Однако Намекин скоро впал в беспамятство.

Секунданты и Тольский бережно закутали его в шубу, вынесли с поляны и положили в поджидавшие сани. Зенин, бледный, взволнованный, поместился тоже в санях, поддерживая своего друга; он мысленно ругал себя за то, что не пригласил с собою врача, скорая помощь которого теперь была бы необходима раненому.

— Вашего друга я щадил, и потому только ранил его, но не убил, — громко проговорил Тольский, когда сани с Намекиным тронулись.

Зенин ответил ему только презрительным взглядом.

— Сорвалось, черт возьми! Почти первый раз в жизни сорвалось! Целил в грудь, а попал в плечо. Или глаза мне стали изменять, или рука дрогнула, — проговорил в сердцах Тольский, когда сани скрылись.

— Ведь ты только сейчас сказал, что щадил своего противника, — с недоумением возразил секундонт.

— А ты и поверил? Эх, Ванька, и глуп ты у меня, и прост! Уж если я с кем-либо стреляюсь, пощады тот не жди. Если и уцелел Намекин, то только благодаря моему неверному прицелу. Говорю тебе, это только первый случай в моей практике, когда противник отделался легкой раной. Впрочем, мои расчеты с ним еще не кончены. — И, проговорив эти слова, Тольский со своим секундантом сел на поджидавшую их лихую тройку.

Между тем Зенин привез раненого приятеля в его дом, располагавшийся на Тверской.

Намекин все еще находился в беспамятстве. Немедленно же были приглашены известные в то время хирурги, и они, тщательно осмотрев раненого, нашли, что его положение довольно серьезно.

Зенин не отходил от своего друга, который после долгого беспамятства пришел в себя и открыл глаза.

— Боря, ты здесь, со мной? — слабым голосом проговорил раненый, с благодарностью поглядывая на своего приятеля.

— Да, да, где же мне быть, как не около тебя?

— Спасибо! Скажи, Боря, как это случилось, что я остался жив? Ведь я был почти в полной уверенности, что Тольский убьет меня; он — очень искусный стрелок.

— Я и сам был такого же мнения и боялся за тебя.

— Видно, не судьба умереть мне на дуэли. Прежде я смотрел на свою жизнь как-то хладнокровно, подчас мне было все равно, жить или умереть, но теперь не то. Теперь я узнал цену жизни, и рад, что остался жив. Ведь я не умру от раны, не правда ли?

— Ну разумеется, о том и речи быть не может. Доктор находит твоё положение хорошим и только требует, чтобы ты не волновался и поменьше говорил — это вредно для тебя.

— С чего же мне волноваться? Я совершенно спокоен. Только я просил бы известить обо всем моего отца, а также сестру Машу. Мне хочется видеть их. Кроме того, съезди, пожалуйста, на моих лошадях к моей Насте и скажи ей — только, пожалуйста, не испугай! — что быть у нее сегодня я не могу, хотя и обещался. Скажи, что я болен, простудился, но не вздумай сообщить ей, что я ранен на дуэли.

— Да хорошо, хорошо, знаю, как уж сказать! Будь спокоен.

— Знаешь, Боря, как мне спать хочется.

— Это хороший признак, ты скоро выздоровеешь. Ну, Алеша, спи, а я отправлюсь исполнять твои поручения.

Старый генерал Намекин очень встревожился, когда узнал из письма офицера Зенина, что его сын ранен на дуэли, «хотя и не опасно, но все же серьезно», и поспешил с дочерью в Москву. Мария Михайловна тоже была встревожена болезнью любимого брата и втихомолку не раз принималась плакать. В доме Намекина их встретил Зенин и отрекомендовался им, как закадычный друг и приятель Алеши.

Старый генерал спросил его о причине дуэли сына с Тольским.

— Настоящей причины я не знаю, ваше превосходительство; знаю только, что Тольский сказал что-то неприятное в клубе Алеше; тот вспылil — и в результате дуэль.

Молодой человек не хотел говорить правду: он опасался, как бы из-за этого не вышло недоразумений у Намекина с сыном.

— Я слышал кое-что о Тольском; говорят, это человек довольно сомнительного поведения. Он картежник, кутила, — произнес генерал. — Я предостерегал Алексея от этого знакомства, но он не хотел слушать — и вот что получилось.

— Что делать, надо извинить Алешу. Молодость, увлечение...

— Прибавьте еще, праздная жизнь. Ну, Маша, пойдем к нашему больному!

— Позвольте, генерал, предупредить вас: врачи предписали Алеше полный покой. По их словам, малейшее волнение может тяжело отозваться на его здоровье.

— Что вы хотите сказать этим? — заносчиво проговорил старый генерал, не любивший никаких предупреждений.

— Ничего, ваше превосходительство, решительно ничего. Я имею честь передать вам слова и советы врачей, которые лечат вашего сына, и только...

Свидание Алеси с отцом и сестрою было самое нежное. На этот раз Михаил Семенович воздержался от всяких упреков и не стал дознаваться подлинной причины дуэли.

Генерал Намекин изменил своему обычаю жить безвыездно в Горках и волей-неволей принужден был поселиться в Москве, так как не мог оставить больного сына на попечение чужих.

Мария Михайловна очень радовалась, что наконец пробудет подольше с любимым братом.

Прошло несколько времени, и генерал Намекин и его дочь были немало удивлены, когда им пришли доложить, что какая-то барышня желает видеть больного.

— Что еще такая за барышня? Поди узнай, Маша, и приди сказать мне, — с неудовольствием промолвил генерал.

Мария Михайловна поспешно вышла в переднюю, увидела там красивую молодую девушку, одетую прилично, но скромно, и сразу же догадалась, кто это. Она ввела Настю (это была она) в зал и попросила садиться.

— Простите, я обеспокоила вас, но мне надо видеть Алексея Михайловича. Я... я должна видеть его, — растерянно проговорила красавица.

— Мой брат болен, — ответила ей Мария Михайловна.

— Я это знаю, слышала и пришла... навестить его... Вы... вы — его родственница?

— Я — сестра Алеши.

— Сестра! Очень рада вас видеть.

— А вы — Анастасия... простите, не помню имени вашего отца, одним словом, вы — невеста моего брата? Так?

— А разве Алексей Михайлович говорил вам обо мне?

— Много, очень много говорил. Он хвалил вас, называл красавицей, и его слова вполне оправдались. Вы очень, очень красивы.

— Вы так добры со мной, сударыня! — вспыхнув, сказала Настя.

— Зачем вы называете меня сударыней? Я вам не чужая, а сестра вашего жениха. Ведь вы — его невеста, не так ли?

— Да, только невеста, и едва ли когда-либо буду женой Алексея Михайловича. — Проговорив эти слова, молодая девушка печально опустила голову.

— Почему же? Вам, вероятно, Алеша сказал, что папа препятствует ему жениться на вас? Да?

— Да, сказал.

— Да вы не отчаивайтесь, моя милая. Папа, может быть, переменит свое убеждение и даст Алеше согласие на женитьбу. Однако до поры до времени оставим это. Вы хотите повидать Алешу? Он наверняка будет рад вам; сегодня ему лучше. Рана понемногу заживает.

— Как рана, какая? — удивилась и испугалась Настя.

— Алешина рана в плечо. Разве вы ничего не слышали?

— Возможно ли? Боже мой! Кто же ранил его?

— Тольский, на дуэли. Да вы, по-видимому, ничего не знаете?

— О дуэли Алеши мне не говорили; мне сказали только, что он болен. Тольский... от этого негодяя дождешься. А причина дуэли отчасти понятна мне.

— Как, вы знаете причину?

— Я только догадываюсь. Пожалуйста, если можно, мне очень хотелось бы повидать Алексея Михайловича.

— Я пойду узнаю, вы подождите. — И, сказав это, Мария Михайловна вышла из зала, но скоро вернулась и

весело проговорила: — Пойдемте! Брат очень рад вашему приходу.

Настя вошла в комнату больного в сопровождении Марии Михайловны, но та тотчас удалилась.

— Настя! Боже, как я рад! — проговорил Алеша, крепко пожимая руку своей возлюбленной. — Дорогая моя!.. Садись вот здесь.

Он показал на стул рядом со своей постелью.

— Я боюсь, милый, не повредил бы тебе наш разговор?

— Что ты, что ты!.. Я так рад, так рад!

— Я так испугалась, Алеша, когда услышала о твоей болезни. Скажи, ведь дуэль с Тольским произошла из-за меня, не так ли?

— Да, он считает меня своим соперником.

— Как он смеет!

— Он любит тебя, Настя.

— А я ненавижу его. Прежде он казался мне смешным только, а теперь он гадок, он — очень дурной человек.

— Стало быть, его соперничества мне бояться нечего?

— А разве ты боялся? Неужели ты когда-нибудь мог вообразить, что я полюблю этого негодяя! — с легким упреком промолвила молодая девушка.

— Я пошутил, моя милая; ты одного меня любишь. Как только я поправлюсь, опять стану просить у отца дозволения жениться на тебе, и на этот раз, думаю, отказа мне не будет.

— Твой отец здесь?

— Да, он приехал вместе с сестрой. Ты не видала его?

— Я боюсь его, Алеша.

— Полно! Он только кажется таким суровым, неприступным, но на самом деле он добрый. Я познакомлю тебя с ним.

— Не теперь, Алеша, в другой раз.

— Какая ты трусиха! — с улыбкой произнес молодой Намекин.

При последних его словах в комнату вошел Михаил Семенович, которому очень хотелось взглянуть на возлюбленную своего сына. С ним также вошла и Мария Михайловна.

— Вот и батюшка, легок на помине! Позвольте представить вам, добрый батюшка, Анастасию Гавриловну, мою невесту! — сказал Алеша и пристально посмотрел на отца.

— А, очень рад, — как-то сквозь зубы произнес Михаил Семенович.

Последние слова сына были ему не по душе. Молодой же Намекин произнес их специально: назвав Настю своею невестой, он хотел этим уверить отца, что своему намерению жениться на Насте он никогда не изменит.

Настя стояла ни жива ни мертва. Слова жениха испугали ее, и она ждала возражений со стороны старого генерала. Но Михаил Семенович сдержался из опасения расстроить сына.

На некоторое время в комнате больного водворилось молчание; всем было как-то неловко.

— Ну что же мы все молчим? Давайте говорить, занимать дорогую гостью. Сестра, ты угостила бы нас чаем, мне страшно пить хочется. Настя тоже не откажется выпить со мною чашку, — принужденно-весело проговорил молодой Намекин.

Молодая девушка ничего не ответила, а только густо покраснела. Мария Михайловна вышла сделать распоряжение о чае, генерал тоже вышел, не сказав более ни слова. Влюбленные остались одни.

— Алеша! Что ты сделал, что ты сделал? — всплеснув руками, испуганно проговорила молодая девушка. — Ну зачем ты перед отцом назвал меня своей невестой?

— А разве я сказал неправду?

— Ну зачем было говорить так сразу? Я заметила, твои слова не понравились ему, он даже в лице изменился.

— Не нынче-завтра надо же сказать отцу, что я не изменю желания жениться на тебе, и пусть это ему неприятно, я все же женюсь на тебе, даже если он действительно лишит меня наследства.

— Милый, милый, как ты любишь меня!

Настя хотела поцеловать руку своего больного жениха, но тот пригнул ее голову и крепко поцеловал в губы. Это был их первый поцелуй.

Подали чай и легкую закуску. Мария Михайловна попросила Настю «похозяйничать»; молодая девушка разлила чай и из своих рук напоила жениха.

Чай прошел в оживленной беседе. Много шутили, смеялись. Наконец Настя стала собираться домой. Молодой Намекин попросил ее побыть еще немного.

— Нельзя, милый, надо спешить. У нас дома никого нет. Папа вчера уехал в усадьбу и приедет дня через три-четыре.

— А ты ко мне одна, Настя, приехала?

— Нет, с нянькой Маврой, она в передней дожидается.

Влюбленные распрощались. Мария Михайловна расцеловала невесту своего брата и просила ее опять приехать, сказав при этом:

— Алеша и я рады будем вашему приезду, Настя, а на суровость папы не обращайтесь особенного внимания и не бойтесь его; он, право, не такой, каким кажется!

XII

Тольский не оставил мысли жениться на красавице Насте и решил съездить в дом Лугового, чтобы переговорить с Настей и ее отцом; но его не приняли, причем камердинер сказал:

— Ни самого барина, ни барышни дома нет.

— Как ты смеешь врать, старое пугало? Я барышню в окно видел, она дома! — крикнул Тольский.

— Никак нет, сударь, барышня уехать изволили!

— А я говорю, ты врешь, чертова перечница! Сейчас же пропусти меня, негодяй, а не то как раз нагайки отведешь!

Но побить старика Савелия Гурьича Тольскому не пришлось: тот быстро юркнул в сени и запер их за собою. Так Федор Иванович ни с чем и вернулся домой.

Однако он был не таков, чтобы отступить от задуманного.

— А, не принимать меня! Я покажу себя! Ты, верно, моя красавица, плохо знаешь, что Тольский за человек? Я самому сатане не спущу! Эй, Ванька! — громко позвал он своего камердинера.

— Здесь, сударь! — входя, ответил Иван Кудряш.

Он, так же как и другие дворовые, был совершенно спокоен: «нечистая сила» теперь уже не пугала их; с того самого дня, как Тольский приказал заколотить дверь в мезонин досками, привидения исчезли, а сам Тольский даже, смеясь, сказал: «Черти и ведьмы теперь околеют с голоду: дверь-то заколочена, и им ни входа, ни выхода нет...»

— Ванька, выручай своего господина!

— Готов, как и чем прикажете?

— Влюбился я, братец, крепко влюбился. Полюбил я красну девицу пуще рода, пуще племени, да вот горе: я-то ее люблю, а она-то меня недолюбливает.

— Кто же она такая, что спесива больно?

— Майорская дочь, но собой краса писаная.

— Что же она, сударь, спесивится?

— Да жених у нее есть, Намекин Алешка; вот его-то и любит. Стрелялся я с ним, да уцелел он; я только ранил его.

— Плохо дело, сударь, а впрочем, беда поправима: надо красотку увезти, — посоветовал Кудряш.

— Придется, Ванька. Приготовь ты мне нынче к ночи человека три дворовых, выбери порасторопнее да потолковее, да чтобы лихая тройка была готова. Понял?

— Как не понять. А меня, сударь, возьмете?

— Разумеется. Ты у меня, Ванька, всему делу воротила!

В тот же день, в глухую полночь, к дому Лугового тихо подъехали тройка, запряженная в крытый дорожный возок, и простые сани-розвальни. В возке сидели Тольский и Иван Кудряш, а в розвальнях три дворовых парня-ухаря. Розвальни остановились, несколько не доезжая до майорского домика, а возок около самых ворот. Переулок, где находился дом Лугового, был глухой и безлюдный; ночь была темная, кругом царила полнейшая тишина.

В майорском доме давным-давно все спали крепким сном. Самого Лугового не было; он находился в своей подмосковной усадьбе. Ворота по обыкновению были заперты.

Забор майорского дома был невысок, так что дворовым парням не составило большого труда перелезть через него. Собаки было бросились на них с громким лаем, но ловко накинутые на их шеи веревочные петли заставили их замолчать навеки. Тотчас же вслед за тем засов был вынут, и ворота тихо отворились.

Тольский и Кудряш, не выходя из возка, въехали во двор, и ворота снова затворились за ними.

— Ну, Кудряш, теперь ты действуй! Сенная дверь заперта изнутри; если ее ломать, поднимешь стук, разбудишь дворовых, а нам надо избежать этого. Поэтому надо вынуть хоть эту раму, открыть окно и влезть в него, — сказал Тольский, показывая на оконную раму, находившуюся в сенях.

— Это сделать нетрудно, — ответил Кудряш.

Сени были холодные; окно в одну раму выставили без особого шума.

Тольский с Кудряшом и еще с одним дворовым через окно влезли в сени. Остальные слуги остались на дворе сторожить.

В сенях было темно, но Кудряш был запаслив, и в его руках скоро появился потайной фонарик. Они разглядели

дверь, которая вела внутрь дома; дверь оказалась незапертой, и Тольский со своим достойным служителем очутились в небольшой зальце.

— Куда же теперь идти? Где же комната майорской дочери? — проговорил Тольский и, выйдя из зала в коридор, увидел дверь, ведущую в какую-то комнату; в ней крепким сном спал камердинер старого майора, Савелий Гурьич. — Это старый филин дрыхнет; пусть его! Мешать не станем! — с усмешкой проговорил Тольский.

После этого, плотно притворив за собой дверь и оставив на страже Кудряша, Тольский пошел в другую комнату, находившуюся рядом. Это была каморка старушки Мавры, которая тоже спала.

— Ну, мне нынче чертовски не везет; из каморки старого колдуна попал в каморку к старой ведьме, — весело проговорил Тольский. — Впрочем, она укажет мне, где комната моей Дульцинеи. Эй ты, краса писаная, чего нежишься на пуховой перине, вставай! — не совсем вежливо схватив за руку старушку, насмешливо произнес он.

Мавра открыла глаза и снова закрыла их от резкого света фонаря.

— Вставай!

Старушка опять открыла глаза, испуганно вскрикнула, быстро встала, накинув на плечи платок, и с ужасом посмотрела на Тольского.

— Ну чего буркалы-то таращишь? Ступай, разбуди и одень свою барышню.

— Зачем будить? Зачем одевать? — чуть слышно, дрожащим голосом спросила старушка, не понимая, что вокруг нее происходит.

— Ну, не тяни волынку, ступай, исполняй, что тебе приказывают! Одень Анастасию Гавриловну и скажи, что я спрашиваю ее, повидаться с ней хочу.

— Ты спрашиваешь? А кто ты? Как попал?

— Ступай, старая ведьма, мне недосуг с тобой говорить. Ну! — крикнул на старушку Тольский.

— Иду, иду!.. Господи помилуй...

Старушка Мавра, шатаясь от страха, направилась в комнату своей питомицы. Тольский последовал за ней, решив действовать твердо и неуклонно и ни перед чем не останавливаться.

Настя в своей горенке спала безмятежным сном, и немалых трудов стоило Мавре разбудить ее.

— Что ты, няня? Зачем будишь меня? — с неудовольствием спросила молодая девушка.

— Встань-ка, Настюшка! Встань-ка, золотце мое! Тебя спрашивают.

— Да ты, няня, с ума сошла? Кто меня ночью станет спрашивать?

— Я... я спрашиваю! — раздался звучный голос Тольского.

Молодая девушка испуганно раскрыла свои красивые глаза и дрожащим голосом спросила:

— Няня, кто же это?

— Я и сама не знаю, не ведаю. Чернобородый, словно цыган, глаза как уголья горят; озорной такой. Видала я его где-то, да не припомню, страх память-то у меня отбил, — проговорила старушка, помогая одеваться Насте.

Настя быстро зажгла свечку и приотворила дверь своей горницы. Около двери стоял Тольский.

— Как, это вы? — воскликнула молодая девушка, пораженная неожиданностью. — Да как вы очутились здесь в такое время? Ведь у нас все заперто. Кто пустил вас?

— Меня никто не пускал, я сам пришел, или, скорее, любовь к вам привела меня сюда, а перед любовью никакие запоры не устоят.

— Что же вам надо?

— Мне надо вас... Пойдемте, нас кони ждут.

— Как вы смее? Я позову людей!

— Ваши людишки крепко спят и вашего зова не услышат. Эй, старая карга! Поддай боярышне шубейку.

— Я никуда не пойду с вами!.. Подите вон! — с гневом крикнула молодая девушка, и ее глаза сверкнули недобрым огоньком.

— Пожалуйста, не возвышайте голоса, меня вы этим нисколько не испугаете, а грудку свою надсадить можете. Ну, одевайтесь и едем, не заставляйте меня употреблять насилие!

— Бесчестный, гадкий человек! Вы хуже подорожного разбойника... Врывается ночью в дом и нападаете на беззащитную девушку.

— А кто заставил меня решиться на это? Кто? Я предлагал вам выйти за меня замуж, вы отвергли меня. Но я не таков; обид не забываю и за обиду привык платить той же монетой. Эй, Кудряш! — крикнул Тольский.

Перед ним, как из-под земли, вырос его слуга.

— Возьми эту красотку; запри ее где-нибудь, чтобы не мешала, — насмешливо сказал ему Тольский, показывая на обезумевшую от страха Мавру.

Тот схватил старуху, втолкнул ее в первую попавшуюся комнату, в двери которой торчал ключ, пригрозил убить, если она станет кричать, и, заперев на замок, вернулся к своему господину.

Тольский приказал Кудряшу принести из коридора висевшую там шубейку Насти и закутать последнюю. Девушка сопротивлялась, звала на помощь. Но что могло значить ее сопротивление против двух силачей? К тому же сперва ей на голову и на лицо накинули большой платок, после чего потащили на двор.

Однако крики Насти заставили проснуться майорского камердинера. Савелий Гурьич поспешно встал и босой, в одном белье выглянул из своей каморки в коридор; но Кудряш так сильно ударил старика в грудь, что тот упал без памяти.

Настю положили в возок; там же поместился и Тольский, а Кудряш сел рядом с кучером; дворовые Тольского, находившиеся на страже около людской избы, отворили ворота, и возок быстро съехал со двора, а затем понесся по дороге к Пресненской заставе. Дворовые же Тольского притворили ворота домика Лугового и, сев в розвальни, преспокойно поехали домой.

Тольский дорогою раскутал платок, закрывавший лицо и голову Насти. Она с презрением посмотрела на него и спросила:

— Куда вы везете меня?

— В одно укромное местечко, где вы будете находиться в полной зависимости от меня.

— О, какой вы наглый человек. Как я ненавижу вас, как презираю!

— Мне все равно: ни тепло ни холодно; хотите — любите, хотите — презирайте, а моей женой вы все же будете.

— Никогда.

— Не женой, так любовницей.

Настя задыхалась от душившего ее гнева.

— Я скорей убью себя, чем буду твоей.

— Глупости, глупости; жизнь так хороша, что надо быть совершеннейшим идиотом, чтобы не любить ее и не дорожить ею.

— Боже, покарай злодея и спаси меня, беззащитную! — вслух промолвила бедная Настя и перекрестилась; она волей-неволей должна была покориться своей участи.

Между тем возок мчался на окраину Москвы. Там, в нескольких шагах от Пресненской заставы, на валу, оди-

ноко стоял небольшой чистенький домик, находившийся в глубине обширного двора; позади него тянулся не менее обширный сад. Как сад, так и двор были огорожены высоким забором. Прямо против дома находились дубовые ворота с калиткой. Этот домик принадлежал Станиславу Ивановичу Джимковскому, человеку довольно сомнительной нравственности, выходящу из Польши, с темным прошлым...

Темными делами пан Джимковский приобрел себе капитал, купил на окраине Москвы участок земли, построил дом, завел экономку-немку, Каролину Карловну — особу тоже довольно сомнительной нравственности, — и зажил припеваючи.

Пан Джимковский был очень услужливым человеком: если нужны были какому-нибудь баричу, папенькину сынку, деньги, он ехал на Пресню к Джимковскому, и тот находил баричу деньги, разумеется, под чудовищные проценты. Являлось у кого-либо желание продать дом, усадьбу или другие ценные вещи, Джимковский находил покупателя, разумеется, за все это получая хорошее вознаграждение. Не прочь был он позабавиться и в карты, и это всегда приносило ему кучу золота. Не раз его били за шулерство, и били больно, но Джимковский был вынослив, а золото текло да текло в его карманы.

Тольский с давних лет вел знакомство с Джимковским и к нему-то и привез бедную Настю, надумав на время припрятать ее в доме своего соучастника по темным делам.

Была еще глубокая ночь, когда крытый возок Тольского подъехал к воротам Джимковского. Кудряш соскочил с козел и принялся барабанить в ворота; на его стук слышались шаги по хрустевшему снегу и грубый голос спросил:

— Кто стучит, что надо?

— Свои, отпирай скорей! — ответил Кудряш. — Господин Тольский Федор Иванович изволил приехать к пану.

Ворота заскрипели и отворились. Возок въехал на обширный двор.

Тольский вышел из возка и спросил у сторожа:

— Пан дома?

— Дома, спит.

— Так поди разбуди и скажи, что я приехал.

— Слушаю!

Скоро на двор вышел Станислав Джимковский, еще не старый человек, с круглым бритым лицом и слащавой улыбкой.

— А, вельможному пану мой привет! — весело проговорил он, почтительно пожимая протянутую руку своего позднего гостя.

— Слушай, Джимковский, у меня до тебя дело: мне надо на некоторое время припрятать у тебя одну молодую девушку.

— Понимаю, пан, понимаю! Новая победа? Что же, можно; я и мой дом к вашим услугам.

— У тебя мезонин пустует, да? — отрывисто спросил у поляка Тольский. — Ну так в одной из его комнат и запрешь ее на замок.

— Как так запереть? Я что-то плохо понимаю ясно-вельможного пана!

— Так слушай! Я влюбился в дочь одного майора, предлагал ей выйти за меня, но она не согласилась... Тогда я увез ее и хочу на время припрятать у тебя. Ты запрешь ее в мезонине, приставишь для услуг какую-нибудь девку или бабу, будешь хорошо кормить и поить; но из мезонина она не должна делать ни шагу... Ты понимаешь меня?

— Понимаю, вельможный пан, все понимаю.

— Кроме той бабы, которую ты приставишь, ее никто не должен видеть. Повторяю, она должна безвыходно находиться в той горнице, в которую мы ее посадим. За нее ты ответишь мне головой. Ну, води нас в мезонин! — Тольский, проговорив эти слова, подошел к возку, отворил дверцу и обратился к Насте: — Мы приехали, выходите.

Молодая девушка послушно вышла из возка и направилась к дому. Они вошли в просторные сени, из которых вела лестница в мезонин. Джимковский вышел навстречу со свечой в руках.

— Рад гостям от сердца, — слащаво проговорил он и направился по лестнице в мезонин; Тольский и Настя последовали за ним.

В мезонине было три комнаты, довольно чистые и прилично обставленные; одна из них была отведена для Насти. Эта комната была довольно обширная, в два окна; в ней стояли кровать под шелковым пологом, диван, стол с несколькими стульями; две-три картины в золоченых рамах заканчивали украшение комнаты, которая теперь служила тюрьмой для молодой девушки.

— Вам здесь, панночка, будет неплохо; для услуг я к вам приставлю расторопную женщину, пищу вы будете получать с моего стола, и никакого притеснения вам бо-

яться нечего, — с обычной улыбкой промолвил Джимковский.

Настя ничего не ответила на это, а только презрительно посмотрела на него и, обращаясь к Тольскому, проговорила:

— Эту комнату вы назначаете моей тюрьмой?

— Вам только стоит захотеть — и вы здесь не останетесь, — ответил Тольский. — Скажите, что согласны, и вы будете моей повелительницей, а я вашим рабом!

— Этого вы от меня не услышите; вашей женой я никогда не буду.

— Посмотрим! Счастливо оставаться.

Тольский и поляк вышли из комнаты. Настя слышала, как за ними щелкнул замок, и она очутилась взаперти.

— Ну, пан, счастливейший вы человек! — сказал Тольскому Джимковский, спускаясь с ним по лестнице. — Ведь какую дивчину в полон забрали!.. Много видел я пригожих дивчин, а такой не видывал: краля кралей. О, ясновельможный пан, вам многие позавидуют!

— Не ты ли мне позавидуешь, пан Джимковский? — насмешливо спросил Тольский у поляка. — Гляди, не отбей у меня красоти!

— И шутник же ясновельможный пан, вот шутник!

— Однако шутки в сторону; смотри же, чтобы моей пленницы не увидал ни один чужой глаз. Людишкам своим строго-настрою накажи, чтобы не давали волю своему языку, если не хотят отведать моей нагайки. Дня два-три я не покажусь этой красоте; пусть она немного успокоится, одумается, а через три дня приеду. Прощай! Все, что я говорил тебе, советую исполнить; внакладе не останешься.

Тольский вместе со своим камердинером сел в возок и съехал со двора поляка.

Когда он вернулся домой, то, несмотря на то, что была еще ночь, застал всех своих дворовых на ногах и в страшной тревоге. Перебивая друг друга, они стали рассказывать ему о «нечистой силе», опять появившейся в доме.

— Неужели? А я думал, что с того дня, как заколотили дверь мезонина, нечистая сила не будет разгуливать по моей квартире. Рассказывайте, как было; только кто-нибудь один, а не все галдите! — сказал Тольский.

— А вот как, батюшка барин, — начал говорить старый лакей Пахом. — Ровно в глухую полночь, только что пропел петух, как в вашей барской квартире поднялись опять шум и стук; от того стука кто спал — проснулся.

Все мы ясно слышим, что наверху кто-то ровно палкой стучит в пол. Стук прекратился, но зато стало слышно, что кто-то кричит или поет жалостно. Страх обуял нас. Потом слышим, что мебель переставлять начали. Вот и удумали мы, сударь, всей гурьбой наверх идти. Пошли не с пустыми руками: кто с палкой, кто с топором, а кто и с ухватом; только что дошли мы до последней ступеньки, как осветило нас ровно красным пламенем; не видим никого, а слышим хохот, да такой, от которого у нас волосы встали дыбом и мурашки по телу пошли; а потом полетели в нас щетки, подсвечники, книжки. Ваньке-фореитору угодили подсвечником прямо в голову, чуть не прошибли, а мне, сударь, сапожной щеткой — прямехонько в шею. Тут мы с лестницы-то кубарем; унеси, Бог, ноги, от страху-то не знаю, как и живы остались. Как угодно будет вашей милости, а придется нам или с квартиры съезжать, или позвать попа — отслужить молебен да окропить комнаты святой водой, потому что от этой нечистой силы житья нам не стало.

— Странно, странно. Я не думал, что нечистая сила опять возобновит свои проделки, — задумчиво промолвил Тольский, а затем обратился к камердинеру: — Эй, Иван, вызови кого-нибудь, да пойдем наверх, посмотрим заколоченную дверь. Пахом, давай хоть ты.

Кудряш и Пахом волей-неволей принуждены были идти наверх за своим господином. Тот шел впереди.

В квартире нашли полнейший беспорядок: мебель была поставлена в кучу, картины, статуэтки и другие вещицы, служившие украшением комнат, были разбросаны.

Тольский осмотрел дверь, которая вела из коридора в мезонин: она как была заколочена досками, так и осталась.

— Очевидно, у нечистой силы другая лазейка есть в мою квартиру, надо принять меры и отучить чертей хозяйничать здесь, — проговорил Тольский.

Теперь он не сомневался, что в мезонине кто-то живет и под видом нечистой силы старается сжить его с квартиры. Он сгорал желанием узнать, кто это шутит с ним такие шутки, а потому на следующий же день, встав очень рано, позвал Кудряша и приказал ему отрывать доски, которыми была заколочена дверь в мезонин.

— Зачем же, сударь? — удивляясь, спросил камердинер.

— А вот увидишь! Ну, отрывай!

Доски были оторваны.

— Ломай! — приказал Тольский, показывая на дверь. Кудряш побледнел, испуганно посмотрел на своего барина, но волей-неволей принялся исполнять его приказание. Наконец дверь была сбита с петель.

Тольский, мучимый любопытством, уже предвкушал, как он появится в таинственном мезонине и откроет его обитательниц. Но он разочаровался: в мезонин вела другая дверь, обитая железом и запертая изнутри.

— Это черт знает что такое! — воскликнул Тольский, не ожидавший такой преграды своему любопытству.

Кудряш и дворовые разинули рты от удивления.

— Ломайте! — крикнул Тольский.

Дворовые принялись было и за эту дверь, но все их усилия были напрасны: дверь нисколько не поддавалась.

Сильный и резкий стук был слышен и на дворе и дошел до дворецкого.

Иван Иванович с встревоженным лицом, как бы догадываясь, отчего происходит этот стук, отправился к беспокойному жильцу. Когда он увидел сломанную и валявшуюся в коридоре дверь мезонина и Тольского с дворовыми, которые ломали и другую дверь, он чуть не с ужасом воскликнул:

— Сударь, барин, что вы делаете, что делаете!

— Чай, видишь, дверь ломаем. Ну, дружной, ребята! — обратился Тольский к дворовым и принялся сам с ломом в руках работать около двери.

— Помилуйте, да разве это можно?

— А почему же нельзя? Мне хочется проникнуть в тайну и узнать, кто находится в мезонине: люди или черти.

— Помилуйте, сударь, ни людей, ни чертей там нет; там находится только мебель и барское добро. Ломать дверь вы не смее; это незаконно. Я покорнейше прошу вас прекратить свою работу, иначе...

— Что такое «иначе»?

— Иначе я принужден буду прибегнуть к помощи полиции. Мой господин изволил препоручить мне охранять его дом и имущество, и на это у меня имеется особая форменная бумага. Если угодно вам, сударь, жить в нашем доме — живите, а не угодно — съезжайте, но беспорядка не производите, дверей не ломайте. А что касается таинственных явлений, которые происходят в этом доме, так о том я не раз предупреждал вашу милость; вы изволили ответить, что ничего не боитесь, никаких таинственных

явлений не признаете, и нашли этот дом удобным для жилья.

Однако Тольский не обращал никакого внимания на слова дворецкого и продолжал трудиться со своими дворовыми около железной двери; но последняя не поддавалась, так что они волей-неволей были принуждены приостановить свою бесполезную работу.

— Ну а я все же проникну в этот проклятый мезонин и узнаю, что там за шутники скрываются. Я до таких шуток не охотник и часто шутнику за это плачу смертью, — сердито проговорил Тольский, бросая лом.

— Мне, сударь, с вашего разрешения придется позвать плотника, чтобы поправить эту дверь. Я прикажу наглухо заколотить ее досками, — проговорил старичок дворецкий.

— Делай что хочешь; заложь эту дверь хоть кирпичами, а все же в мезонин я проникну. Я хочу узнать, что у вас в мезонине, и узнаю, — стукнув кулаком об стол, громко сказал Тольский.

— Едва ли, сударь, это возможно!

— Плохо же ты знаешь меня. Повторяю: меня никакие запоры, никакая сила не удержит; раз я задумал, так тому и быть.

— А вас, сударь, покорнейше просить буду очистить квартиру, — тихо промолвил старичок дворецкий и как-то съежился, испугавшись своих слов.

— Что такое? Да как ты смеешь говорить мне это? Я съеду только тогда, когда захочу сам. Мне эта квартира понравилась, и я буду жить в ней до тех пор, пока не надоест.

— В чужом доме, сударь, смею вам сказать, нельзя так.

— Может быть, кому и нельзя, только не мне. Ну довольно! Можешь уходить.

— Я о вашем сопротивлении принужден буду известить письменно своего господина.

— Извещай хоть самого сатану, я и того не побоюсь. Ступай, надоел, убирайся!

— Слушаюсь.

В тот же день старик дворецкий прислал двух плотников; те и заделали дверь мезонина, наглухо забив ее досками.

Однако Тольский только посмеивался над этой работой. Он твердо решил проникнуть в таинственный мезонин и стал ждать удобного для того случая.

У него теперь были две идеи, которые гвоздем засели в голове: первая — жениться на Насте против ее желания, вторая — проникнуть в загадочный мезонин вопреки желаниям старика дворецкого.

ХIII

Похищение Насти произвело переполох в доме Лугового и повергло всех в страшное горе.

Нянька Насти, старушка Мавра, от сильного потрясения чуть не лишилась ума. Старый дворецкий тоже потерял голову и не знал, что ему делать, как быть. Да и все дворовые ходили, как к смерти приговоренные. Они любили свою «радельщицу и заступницу» перед грозным баринном.

— Вот когда пришла беда-то, неожиданно-негаданно нагрянула! Теперь ложись да умирай. И что нам будет, что будет! Вернется барин, спросит, где его дочь, что мы скажем, какой ответ дадим? Беда, одно слово беда! — сказал дворецкий, обращаясь к Мавре.

— И не говори, Савелий Гурьич! Посетило нас горе великое, беда неисходная. Не за себя я скорблю — мне что: пусть барин хоть убьет меня, я и то одной ногой в гробу стою... А что с Настюшкой? Жаль ее, голубку! В какие руки попала она, сердешная! — со слезами промолвила старушка.

— Сдается мне, это шутки того барина, который нахрапом к нам в гости ездил. Его лица я не разглядел, а думается, что это он, разбойник, выкрал у нас барышню. Приедет барин, так и скажем ему: «Так, мол, и так, сударь, похититель барышни имеет большое сходство с Тольским».

— Ты бы, Савелушка, барину-то нашему послал весточку.

— Давно послана! Того и гляди, сам нагрянет. Вот пойдет переборка-то, только держись! Беда!

— Всем достанется — и правому и виноватому. Чудо, да и только! Это не человек, а какой-то дьявол. Колдун какой-то, право! Замок с ворот сшиб, на двор въехал, собак придушил, в дом забрался, и никто из дворовых не слышал.

— Разбойник-то, поди, не один был, Савелушка?

— Уж понятно: разве один на такое дело пойдет!

Вернулся из подмосковной и старый майор Луговой. Он пережил тяжелые минуты. Когда он услышал, что его дочь

похищена неизвестным злоумышленником, с ним чуть не случился удар.

Он не понимал, что ему рассказывали дворецкий и старая Мавра о похищении его дочери, и заставлял пересказывать снова.

Дворовые с замиранием сердца ждали барской расправы и были страшно удивлены, когда Гавриил Васильевич с бледным лицом и со слезами на глазах, дрожащим голосом проговорил:

— Божья воля... Кара послана мне Богом по моим деяниям. За грехи отца расплачивается дочь, ни в чем не повинная! Ну да я разыщу ее! Сейчас же к губернатору поеду. — И он обратился к дворецкому: — Так ты, Савелий, говоришь, что похититель похож на Тольского?

— Очень, баринушка, похож, и по лицу и по обличию. Я-то его в ту пору не видал, а нянька Мавра видела. Ведь в ее каморке злодей-то был, разбудил ее, в барышнину горенку послал с приказом, чтобы барышня скорее одевалась.

— О Господи! Что же делается, что происходит! В большом городе врываются по-разбойничьи в дом, похищают девиц. Удивительно! Как это из вас никто не слышал? Ведь собаки-то лаяли?

— Собак-то, сударь, передушили.

— Догадлив же, злодей! А ты, старуха, не плачь, бери пример с меня: ведь я не плачу, а горя у меня побольше твоего. Питаю я надежду, что Бог вернет мне дочку. Сейчас поеду к губернатору, просить его буду и прямо на Тольского покажу: это — его дело.

Однако прежде чем поехать к губернатору, майор заехал в дом генерала Намекина: сына последнего он считал женихом своей Насти, а потому счел нужным известить его о похищении.

Гавриил Васильевич ничего не знал о дуэли Алеши с Тольским и был немало удивлен, когда лакей сказал ему:

— Молодой барин Алексей Михайлович больны.

— Как болен? — удивился майор. — Давно ли он был у меня? Ты что-то путаешь. Пойди скажи, что Гавриил Васильевич Луговой желает видеть Алексея Михайловича по нужному и спешному делу.

— В комнату молодого барина нам запрещено входить; я лучше доложу барышне, Марии Михайловне.

— Разве она здесь?

— Как же, с их превосходительством, со старым барин-ном приехать изволили.

— Как, и генерал здесь? Стало быть, Алексей Михайлович серьезно болен? Да с чего же он заболел?

— Не могу знать. Извольте спросить у барышни; я сейчас доложу.

Лакей быстро пошел докладывать.

«Что это все значит? Алексей Михайлович болен, и, как видно, серьезно. Очевидно, лакей что-то скрывает от меня. Беда за бедой...» — подумал майор.

— Здравствуйте! Вы — отец Настеньки? Рада познакомиться с вами. А ведь у нас несчастье: Алеша болен, — сказала Мария Михайловна, пожимая руку Лугового.

— У меня, сударыня, тоже несчастье: дочь похитили.

— Настю? Что вы говорите! Возможно ли? — переменившись в лице, с испугом воскликнула Мария Михайловна. — Когда? Кто смел это сделать?

— Вчера ночью, в мое отсутствие, а кто похитил, верно сказать вам не могу, хотя догадываюсь.

— Кто же? Кого вы подозреваете?

— В числе московских негодяев, прожигателей жизни, кутил и шулеров есть один, который превзошел других в своих безобразиях. Фамилия его Тольский. Его-то я и подозреваю в похищении Насти.

— Вы говорите — Тольский? — переспросила Мария Михайловна. — Представьте, ведь у него-то и была дуэль с Алешей, и как раз из-за вашей дочери!

— Возможно ли? Так Алексей Михайлович ранен этим негодяем? Ну, теперь мои подозрения еще более усугубляются.

К говорившим вышел старый генерал Намекин. Ему тоже сказали о приезде майора Лугового.

Гавриил Васильевич с глазами, полными слез, рассказал генералу о своем горе.

— Если можете, ваше превосходительство, учините доброе дело: помогите мне вернуть дочку и наказать похитителя. По гроб обяжете! — И майор низко поклонился, причем голос у него дрожал, а слезы мешали говорить.

Это тронуло старого Намекина и заставило на время забыть, что перед ним стоит тот человек, на дочери которого хочет жениться против его желания Алексей.

— Успокойтесь, господин майор, успокойтесь! — сказал он. — Я непременно помогу вам разыскать и вернуть дочь, и если ее похитил этот негодяй Тольский, то он жестоко поплатится за это. С губернатором я в дружеских отношениях, и мы вместе сейчас же поедem к нему. Он сделает распоряжение, и, поверьте, не пройдет и двух дней,

как ваша дочь будет разыскана. В Москве есть хорошие сыщики, они на дне морском найдут. Только, пожалуйста, о похищении вашей дочери Алексею ни слова. Вы можете пойти к моему сыну и говорить с ним, о чем хотите, но только, ради Бога, повторяю, не говорите о похищении; он так любит вашу дочь, так любит, что это печальное известие может тяжело отозваться на его здоровье. Маша, проводи господина майора к Алеше! — проговорил Михаил Семенович, обращаясь к дочери.

Алексей Михайлович очень обрадовался приходу отца своей возлюбленной и засыпал его вопросами о Насте. Как ни скрывал майор свое великое горе, но Алеша все заметил и с тревогою спросил:

— Гавриил Васильевич, что с вами? У вас непременно случилось что-нибудь печальное.

— Нет, ничего. У нас все благополучно.

— Нет-нет, вы что-то скрываете от меня. Уж не больна ли Настя?

— Нет, Настя здорова, совершенно здорова.

— С чего же вы такой печальный?

— Да это вам только кажется.

Немалога труда стоило майору Луговому и Марии Михайловне уверить Алешу, что Настя совершенно здорова и дня через три придет навестить его.

— Да, да, пожалуйста, пришлите!.. Я только тогда успокоюсь, когда увижу ее, — проговорил Алексей Михайлович.

— Увидите непременно, через три дня увидите. Настя уехала прокатиться в усадьбу и дня через два вернется.

— Хорошо, я буду ждать. Три дня — немного времени. Я так люблю вашу дочь, что не желал бы никогда ни на одну минуту с нею расстаться.

— И не расстанетесь, Бог даст; а вы только выздоравливайте поскорее.

— Да, да, я скоро выздоровею. Настя придет ко мне и принесет с собою здоровье. И вы с нею приезжайте, Гавриил Васильевич, я вам обоим буду очень рад...

Луговой вышел из комнаты больного и в сопровождении Михаила Семеновича Намекина отправился в дом губернатора.

Последний ласково принял их, сочувственно отнесся к горю бедного отца и обещал ему свое содействие.

— Успокойтесь, господин майор, мы непременно отыщем вашу дочь и накажем похитителя. Не подозреваете ли вы кого-либо в похищении? — спросил он у майора.

— Подозреваю, ваше превосходительство... Федора Тольского.

— Тольского! От этого человека всего можно ожидать, и если ваше подозрение оправдается, то на этот раз ему придется худо. Много разных жалоб поступает ко мне на этого негодяя, и его давно следовало бы выслать из Москвы.

— Доброе дело сделаете, ваше превосходительство, если очистите Москву от негодяя. Ведь он чуть не убил моего сына на дуэли! — сказал старик Намекин.

— Что же вы не сообщили мне? Ведь дуэли запрещены.

— Да, но они, ваше превосходительство, совершаются чуть ли не каждый день — и секретно, и вьявь. Разве Тольский мало людей отправил на дуэлях на тот свет?

— Ну на этот раз он не отвертится от наказания, он мне за все ответит, за все! И в Москве ему больше не жить. А для розысков вашей дочери, господин майор, я приму все меры. Сейчас же вызову начальника полиции и распорядюсь, чтобы он немедленно сделал обыск в квартире Тольского, а если там не окажется вашей дочери, то отправим сыщиков для ее розысков. Будьте уверены, она будет найдена.

Губернатор сдержал свое обещание, и в тот же день сыщики и вся московская полиция были поставлены на ноги. В квартире Тольского — правда, в его отсутствие — произвели тщательный обыск, но, разумеется, Насти не нашли. Сыщики принялись искать ее по всей Москве, однако, несмотря на их энергичные розыски, дочь майора не находилась, — она как в воду канула. Искали в домах наиболее подозрительных; полиция и сыщики с ног сбились, но все было тщетно. Почему-то только подозрительный дом Джимковского был пропущен, и зоркий глаз сыщика туда не заглядывал.

В безуспешных розысках прошел день, другой, а Настя все не находилась. Бедняга майор упал духом, считая свою дочь погибшей.

Федор Тольский торжествовал:

«Попробуйте-ка, разыщите! Пан Джимковский — хороший помощник мне, умеет концы прятать. А если разыщут, мое дело плохо. С матушкой Москвой мне, пожалуй, придется проститься. А все же надо Джимковского предупредить и эту красотку убрать куда-нибудь подальше, а то как раз и к поляку нагрянут незваные гости. Положим, с сыщиками-то он дружбу ведет, но все же для безопасности Настю убрать следует».

Тут размышления Тольского были прерваны неожиданным приходом Джимковского; он был бледен и чем-то сильно взволнован.

— Что случилось, Джимковский? — с тревогою спросил Тольский.

— Большая беда, пан, большая! Ваша кралечка, пан...

— Что, сыщики ее нашли?

— Нет, нет, ну где им найти; я любого сыщика проведу и выведу, да они ко мне и не заглядывали. Кралечка ваша, пан, сбежала.

— Как, как ты сказал? — меняясь в лице, громко крикнул Тольский. — Как сбежала?

— А прах ее знает, как! Может, ей сам сатана помог. Нынче утром вхожу в горенку, где дивчина сидела, а ее и след простыл... Только я не виноват, вельможный пан, совсем не виноват. Я ее хорошо стерег, очень хорошо; говорю, видно, ей сам сатана помог сбежать, и ключ от ее комнаты у меня был.

— Как же она сбежала, если была заперта? Все, все пропало, все порушилось! Да знаешь ли ты, безмозглая башка, что ты сделал? Рассказывай, как это случилось!

— Ой, пан, да не кричите же так!

— Так ты, кажется, задумал отделаться от меня шуточками; говори, дьявол, а не то убью тебя, как собаку. — И Тольский, быстро сняв со стены пистолет, взвел курок.

— Ой, ой, пан, положите пистолет, я все вам скажу, все, только уберите пистолет. Вы привезли дивчину, я при вас же запер ее в мезонин и ключ взял себе. Для услуг к ней была приставлена Афроська, девка глупая, но преданная мне; она носила вашей полоняночке обед и ужин, а на ночь я сам запираю ее и ключ брал себе. Утром опять же сам к ней в горницу входил и спрашивал, не нужно ли чего. Сегодня утром поднимаюсь в мезонин, дверь заперта. Отпираю, вхожу и глазам своим не верю: дивчины нет, как сквозь землю провалилась.

— Как же это? Дверь заперта, а ее нет! Что-то загадочно. Как же могла она выйти?

— Думается мне, милый пан, дивчина — колдунья или ведьма.

— А я без думы скажу, что ты — дурак безмозглый. Из твоих людишек кто-нибудь выпустил ее.

— Помилуйте, пан, ведь ключ-то был при мне.

— Дурак! Разве ключ нельзя подобрать?

— Как же подобрать, пан? Да кто будет подбирать?

— Довольно! Ты, пан Джимковский, не выполнил условия. Я сказал тебе, что ты ответишь головой за дивчину... Ты не сберег ее и должен умереть...

— Как, как умереть?! Не пугайте меня, пан!

Толстое, круглое лицо поляка то бледнело, то покрывалось красными пятнами, голос дрожал, язык заплетался: он знал, что за человек Тольский.

— Я тебя, пан, пугать не стану, а только застрелю, — совершенно невозмутимым тоном произнес Тольский, прицеливаясь в поляка.

Тот упал на колени.

Федор Иванович, может быть, и застрелил бы Джимковского, если бы в кабинет поспешно не вошел Кудряш и не сказал испуганным голосом:

— Полиция в доме...

Действительно, в дверях показался офицер; позади него стояло несколько полицейских.

— Спасен! — радостно воскликнул Джимковский.

При виде полицейских Тольский с досадой бросил пистолет.

— Вы — дворянин Федор Тольский? — спросил у него офицер.

— Да.

— Я должен арестовать вас по приказу его превосходительства господина генерал-губернатора. А вы — господин Джимковский? — обратился полицейский к поляку.

— Я, я... нет, у меня другая фамилия.

— Врет, господин офицер, не верьте! Он — Джимковский, — промолвил Тольский, с презрением посмотрев на оробевшего и растерявшегося поляка.

— Вас-то мне и надо. Мы только что были в вашем доме, вас там не оказалось. Господин Джимковский, я вас тоже арестую. Возьмите! — отрывисто сказал офицер, показывая на поляка.

— Помилуйте... это — насилие... я... я стану жаловаться на вас. Я ни в чем не виновен, а меня арестовывают, — кричал Джимковский, отбиваясь от полицейских.

— Жалуйтесь, кому хотите. Ведите его! — распорядился офицер.

Джимковского и Федора Тольского повели.

— Куда нас ведут? — спросил последний у сопровождавшего его офицера.

— В канцелярию начальника полиции для допроса.

— А в чем меня обвиняют?

- Вам об этом скажут.
- А вы, господин офицер, не скажете?
- Нет, — коротко ответил офицер и отошел от него, не желая больше разговаривать.

XIV

Но как же удалось Насте Луговой уйти из-под замка?.. Молодой девушке помогла в этом ревность.

У пана Джимковского была экономка, полная, дебелая Каролина Карловна; она-то и выпустила Настю из запертой горницы в мезонине, считая ее своей соперницей.

Каролина Карловна, несмотря на свои почтенные годы, готова была ревновать пана Джимковского ко всем женщинам на свете. Джимковский, исполняя приказание Тольского, скрыл от своих домашних новость о прибытии Насти, скрыл и от Каролины Карловны. Но немка была хитра: ей удалось узнать все у глупой девки Афроськи. Та за ситцевый платок и выдала хозяйскую тайну Каролине Карловне.

Ревнивая экономка устроила Джимковскому бурную сцену. Сколько ни оправдывался он, сколько ни старался уверить свою подругу жизни, что между ним и Настей нет ничего «непозволительного», разошедшаяся немка не верила и продолжала кричать, упрекая пана.

— Ну как же мне убедить тебя, Каролинчик, что я тут ни при чем?.. Ведь эту красивую дивчину привез пан Тольский. Я и сам не рад госте... Но ты знаешь, какой буйный нрав у пана Тольского: не сделай по его, так он убьет... Тольский привез девчонку и приказал беречь ее. Вот я и берегу... — успокаивая немку, сказал Джимковский.

— О, ты очень хорошо бережешь эту паршивую девчонку! — на ломаном русском языке скандалила немка. — Сам ходишь к ней утром и вечером, подолгу говоришь с ней... о чем, интересно?

— Да мало ли о чем, Каролинчик? Всего не запомнишь!

— А я знаю, знаю... ты... ты о любви говоришь! Я вырву тебе глаза... Я сумею отомстить за себя... за свою честь...

И ревнивая Каролина Карловна уже приготовилась привести свою угрозу в исполнение, то есть выцарапать глаза

у Джимковского, но тот заперся в своей комнате; сколько ни грозила и ни стучала немка, он ее не впустил.

В бессильной злобе Каролина Карловна поклялась избавиться от своей мнимой соперницы; она решила завладеть ключом от мезонина, который Джимковский всегда держал при себе, и это удалось ей в следующую же ночь.

Наскоро одевшись, тихо вышла она из спальни и направилась в мезонин, вооружившись потайным фонарем.

Настя еще не ложилась спать, хотя было довольно поздно. Она печально сидела у стола, предаваясь невеселым мыслям о своей участи.

«От этого негодая ждать мне хорошего нечего... Добровольно я не пойду с ним под венец, так ведь он и силою меня заставит. Или, еще хуже, просто так мною завладеет... Только совершить это злодеяние ему не придется: я скорее убью себя... его... Этот грех Господь простит мне: ведь я спасаю свою честь...»

И вот среди тишины до слуха Насти донесся звук шагов.

— По лестнице кто-то идет... Уж не Тольский ли?.. Наверное, он... Что же, пусть его — у меня теперь есть защита, — вслух произнесла молодая девушка и достала из небольшого шкафчика нож, припрятанный ею во время обеда.

Настя услышала, что кто-то отпирает дверь, и, не выпуская ножа, сделала к ней шаг. Вот дверь отворилась, и Настя увидела не ненавистного ей человека, а толстую немку с фонарем в руках.

— Вы кто? Что вам надо? — с удивлением глядя на смешную фигуру Каролины Карловны, спросила Настя.

Пожираемая ревностью, немка кое-как объяснила, коверкая русский язык, причину своего прихода ночью в мезонин.

— Как, вы... вы хотите, чтобы я отсюда ушла? — радостно воскликнула Настя. — Но как же сделать это?

— Я выпущу вас за ворота. Скорее наденьте свою шубку и следуйте за мной! — повелительно сказала Каролина Карловна молодой девушке.

— Сейчас, сейчас... Я... я так рада! Как и чем мне вас благодарить?

— В благодарности я не нуждаюсь. Я ревнива... Мне нужен покой... Вы готовы?

— Да, да, готова.

Настя поспешно надела шубейку и последовала за толстой немкой, которая уже спускалась с лестницы. Вскоре

они очутились во дворе. Каролина Карловна подошла к воротам и отворила калитку, запираемую только засовом.

— Ступай на все четыре стороны! — выпуская Настю, как-то ехидно промолвила немка.

Калитка за ней захлопнулась, и Настя очутилась на свободе.

— Боже, благодарю Тебя! — с чувством проговорила она и перекрестилась.

Молодая девушка огляделась: местность была ей незнакома; она не знала, куда ее привезли и где держали взаперти.

— Пойду прямо, авось куда-нибудь выйду, — проговорила Настя и отправилась прямо по Пресне.

Ночь стояла темная. Настя шла по незнакомым улицам, робко оглядываясь по сторонам. Вокруг было пусто: направо и налево тянулись одноэтажные деревянные домишки и нескончаемые заборы; ни одной живой души не попало ей навстречу.

Так дошла Настя до Пресненского моста, поднялась на гору и вышла на Малую Никитскую. Эта улица была уже знакома Насте, и она зашагала по ней смелее.

Наконец она подошла к родному дому и принялась стучать в запертые ворота.

Заспанный дворовый сторож, узнав голос Насти, отпер калитку и радостно воскликнул:

— Барышня, голубушка, вы ли это?

— Я, я, Иван. Что, папа дома?

— Дома, барышня-голубушка, дома.

— Чай, спит?

— Уж где! До сна ли барину? По вас все тужит. Вон в оконце ихней горенки огонь виднеется, стало быть, не спит.

Майор Луговой и на самом деле не спал. О сне и речи быть не могло: он исстрадался и нравственно и физически. Не прошло двух суток, как похитили его дочь, а он уже сильно изменился: похудел, как-то осунулся, сгорбился, не дотрагивался ни до еды, ни до питья. Мучительная неизвестность заставила его переменить свой нрав, дотоле сварливый, и стать совершенно другим человеком: ни упрека, ни даже грубого слова не слышали дворовые за то, что дали увести барышню.

«Была дочка, единственная утеха, для которой я на свете жил, и ее теперь нет со мной! Где она, что с ней, про то ведомо одному Богу. Настюшка, голубушка, где ты, моя сердешная? Откликнись, подай голосок! Не пере-

жить мне этого несчастья. Я не ропщу, да и роптать не смею: по делам и наказание мне послано...» — таким мыслям предавался старый майор, сидя ночью в своем кабинете.

Он не слышал, как стучали в ворота, до него донесся только стук в сенях.

«Стучат? Кто бы это мог быть? Может, из дворовых кто-нибудь? Да что же это Савелий не отпирает? Разоспался старик!» — подумал Луговой и, разбудив камердинера, приказал узнать, кто там явился.

— Кто стучит? — через закрытую дверь спросил Савелий Гурвич.

— Я, я, отпирайте! — сказала Настя.

Старик узнал ее по голосу и радостно воскликнул:

— Как? Неужели это вы, барышня?

Возглас дворецкого долетел до старого майора, и он поспешно вышел в сени.

Настя бросилась обнимать рыдавшего от радости старика отца.

— Настя, Настенька, да ты ли это, ты ли? Я просто глазам не верю. Ты, моя милая дочка, опять со мною! Господи, благодарю Тебя! — И майор стал усердно креститься. — Ну, дочка, рассказывай, кто смел увезти тебя.

Настя рассказала отцу, как ворвался к ней злодей Тольский и увез в какое-то захолустье, как грозил насильно жениться и как совсем неожиданно освободила ее из-под замка какая-то немка.

— Натерпелась я, папа, немало страху, сидя взаперти, будто плененная; много я плакала и горевала, проклиная моего похитителя... Не ждала я так скоро помощи! — закончила молодая девушка свой рассказ.

— Бог послал, дочка, тебе помощь, благодари Его... А с разбойника Тольского строго взыщется за его гнусный поступок... Еще хорошо, Настя, что он не успел причинить тебе ничего дурного. Ведь я убил бы его, как собаку.

— За насилие и у меня не дрогнула бы рука убить злодея. Я уже и нож приготовила, и если бы не осилила Тольского, то себя убила бы...

— Утром я поеду к губернатору и стану жаловаться на Тольского. Отец Алексея Михайловича, генерал Намекин, большое участие принял в моем горе, Настенька...

— Неужели, папа? — с оживлением спросила девушка.

— Да, да... генерал — хороший человек, чужой беде сочувствующий. Мы познакомились и вместе к губернатору

ездили, жалобу на твоего похитителя отвозили. Мы с генералом Намекиным сразу догадались, кто тебя похитил. Губернатор всю полицию на ноги поставил. Всю Москву, говорят, обыскали, а тебя не нашли. Где же это спрятал тебя разбойник Тольский?

— В доме какого-то поляка.

— А где этот дом-то находится?

— Как называется улица, папа, я не знаю, но она идет ниже Кудрина, за мостом.

— Да это Пресня, а мост Пресненским зовут. Ты говоришь, Тольский держал тебя в доме поляка? А фамилии поляка не знаешь ли?

— Нет, папа...

— Жаль... А впрочем, полиция найдет и так...

Ни старик майор, ни его дочь о сне не думали в эту счастливую ночь.

Прибрела порадоваться на Настю и нянька Мавра, а на следующее утро ликованию всей майоровской дворни не было конца.

В это же утро Луговой вместе с Настей поехал к губернатору с жалобой на Тольского. Губернатор принял их и, когда Настя подробно рассказала ему обо всем, сделал немедленное распоряжение об аресте дворянина Тольского и его сообщника — поляка Джимковского.

Тольского оставили под арестом в доме предварительного заключения, а Джимковского отправили в острог.

Тольского, кроме того, обвиняли еще в одном преступлении.

Дня за два до похищения дочери майора он убил на дуэли молодого офицера Александра Ивановича Нарышкина. Убитый был сыном известного обер-церемониймейстера, Ивана Александровича Нарышкина, который пользовался любовью и уважением царствовавшего в то время императора Александра Павловича. Он жил на Пречистенке, в собственном доме, на широкую барскую ногу; это был очень добрый и милый человек лет пятидесяти, страстно любивший своих детей.

Его старший сын, офицер Александр, находясь на балу в Благородном собрании, имел несчастье поспорить с Тольским, следствием чего стала дуэль, окончившаяся смертью Нарышкина.

На бедного отца убийство сына так подействовало, что он чуть не потерял рассудок, но затем, похоронив Александра и придя в себя, послал с нарочным в Петербург к государю слезную жалобу на Тольского.

У Тольского при дворе были благожелатели, которые старались смягчить все его проступки, по возможности выгораживая и избавляя от наказания. Но на этот раз им не удалось спасти Тольского от гнева императора. Московский губернатор получил из Петербурга высочайшее повеление о немедленном аресте дворянина Федора Тольского и предании его суду.

Многие из москвичей вздохнули теперь свободно, уверенные в том, что песня отъявленного негодяя, шулера и дуэлянта спета и теперь ему не отвертеться от ссылки. Тольский сидел под замком, его зорко стерегли.

Но вдруг по городу распространился слух, что Тольский бежал из-под ареста после пятидневного заключения.

Как это случилось?

У Тольского был преданный и верный слуга, Иван Кудряш. При аресте Тольский успел шепнуть ему:

— Выручай, на тебя одна надежда: продай, заложи все, но выручи.

Эти слова врезались в память камердинера, и он стал думать, как выручить из беды и неволи своего барина. Наконец средство такое нашлось.

Деньги открыли доступ к тюремному начальнику, и ему разрешили свидание с барином; правда, при свидании присутствовал старый солдат-тюремщик, но, как видно, он не помешал Тольскому и его слуге условиться о побеге.

На следующий день вечером Иван Кудряш в сопровождении кучера Тимошки опять пришел на тюремный двор, но, прежде чем идти к своему барину, направился в квартиру смотрителя, и последний отдал приказ допустить как Кудряша, так и Тимошку к заключенному Тольскому, причем на этот раз сопровождавший их сторож не вошел в камеру, а впустил туда только посетителей.

— Я догадываюсь, Ванька, зачем ты привел ко мне этого борова, — встретил Тольский своего камердинера, показывая на массивную фигуру придурковатого кучера. (По росту и полноте Тольский имел некоторое сходство с этим кучером.) — Ты хочешь, чтобы на время я стал им? Так?..

— Совершенно верно, сударь!

— А как же Тимошка? Ведь ему придется поплатиться спиной, а может, еще и ссылкой?

— Так что же, сударь! У Тимошки спина не купленная, вынесет не один десяток палок.

— Тимошка, ты согласен? — спросил у кучера Тольский.

— Согласен, сударь, — спокойно ответил тот.

— Но ведь тебя бить будут, и больно.

— Так что же? Наплевать! Чай, мне не привыкать.

— Не извольте беспокоиться, сударь, вынесет. Ну, Тимошка, снимай тулуп, — промолвил Кудряш.

На кучере поверх кафтана был овчинный тулуп с большим воротником.

— Помни, Тимошка, твоей услуги я никогда не забуду и щедро награжу тебя, — с чувством проговорил Тольский, тронутый самопожертвованием своего дворового, и стал надевать его тулуп и шапку.

— Поднимите воротник, сударь, вот так! Теперь в этом наряде вас никто не узнает. А ты, Тимошка, ложись спать да укутайся одеялом, — обратился Кудряш к кучеру.

Тимошка повалился на койку и с головой прикрывшись одеялом из серого солдатского сукна, а Тольский и Кудряш вышли в коридор и решительно зашагали к двери, у которой дремал с ружьем в руках часовой; он не обратил никакого внимания на Тольского, принимая его за кучера Тимошку, впущенного сюда по приказу начальства вместе с Кудряшом.

Беглецы вышли на двор. Было совершенно темно, сыпал снег. Тюремные ворота, несмотря на то что были заперты на замок, охранялись тоже часовым с ружьем.

— Тимошка, подожди здесь, я пойду, попрошу приказать выпустить нас за ворота, — громко заявил Кудряш и направился в квартиру смотрителя. Скоро он вернулся оттуда в сопровождении тюремного служителя, который, не подозревая, что под тулупом скрывается арестованный Тольский, отпер ворота, и Федор Иванович, опять очутившись на свободе, поспешил скорее домой.

Неожиданное возвращение ночью Тольского произвело большой переполох среди его дворовых, страшно удивившихся тому, как их барину удалось улизнуть из тюрьмы. Тольский отдал распоряжение заложить тройку лихих коней и, пока их запрягали, обратился к немногочисленным дворовым с такими словами:

— Я на некоторое время принужден покинуть Москву... Вы можете вернуться в свои семьи и ждать моего возвращения. Мою мебель и другие оставшиеся вещи можете продать, вырученные деньги разделите поровну... На право продажи я, пожалуй, напишу вам расписку... Довольны ли вы?

— Довольны, батюшка барин!

Некоторые из своих наиболее дорогих вещей Тольский приказал уложить в ящик, а последний поместить в сани. Дворовые торопливо собирали своего барина в дорогу; Тольскому надо было спешить из Москвы, пока не будет открыта его проделка.

— Очень сожалею я, что мне не удалось разузнать, какая нечистая сила живет в мезонине, — сказал Тольский Ивану Кудряшу.

— И я жалею, сударь.

— Ты жалеешь, Ванька?.. Что-то плохо верится, ты труслив, как баба!

— Помилуйте, сударь, кто же не побоится нечистой силы.

— Я первый не побоялся бы проникнуть в мезонин и все выяснить. Только жаль, времени у меня мало осталось; надо спешить, а то как раз мы с тобой, Ванька, очутимся на даровой квартире. Этого не должно быть! Свобода дорога всякому человеку, а мне — в особенности. Своей свободой я обязан тебе, а потому награждаю тебя. Возьми эту вольную, — сказал Федор Иванович, вручая Кудряшу бумагу. — Теперь ты можешь со мной не ездить. Впрочем, оставаться тебе в Москве рискованно: ведь тебя, как моего сообщника, арестуют и посадят в острог.

— Я от вас не отстану; куда вы, туда и я. А за вольную покорнейше вас благодарю. Только мне ее не надо; я родился вашим крепостным и умру крепостным, — с чувством проговорил Кудряш, низко поклонившись Тольскому.

Лихая тройка была подана. Вместо кучера Тимошки, который находился в тюрьме, лошадьми управлял Игнат, тоже здоровенный парень.

Тольский сел с Кудряшом в крытый возок и выехал со двора. Тотчас же тройка понеслась по безмолвным, пустынным улицам погруженной в сон Москвы.

Было еще совсем темно, когда Тольский подъехал к Тверской заставе. Вышел заспанный караульный и спросил, кто едет.

— Господин статский советник Иван Григорьевич Наумов, — ответил Кудряш, приотворяя дверку возка.

Ответ вполне удовлетворил часового, и он поднял шлагбаум, не спросив даже, куда отправляется «господин статский советник» и есть ли у него подорожная.

Выехав за заставу, возок помчался по Петербургской дороге.

— Смею спросить, сударь, куда мы едем? — спросил у Тольского Кудряш, которому наскучило молча сидеть в возке.

— В Питер.

— Как в Питер? — удивился Кудряш.

— Ну да, в Питер. Чему дивуешься?

— Да как же, помилуйте?.. Уж больно чудно. Ведь в Питере вас могут арестовать...

— Меня будут искать в Москве и ее окрестностях, а до Питера сыщики не скоро доберутся.

— В Питере, сударь, есть свои сыщики, они не уступят московским.

— Я еду на день, на два... не больше... Там мне надо кое-кого повидать... попросить, чтобы замолвили за меня словечко кому нужно... Теперь ты понимаешь, зачем я еду в Питер?

— Так точно, сударь... Теперь понимаю.

— Расчухал, и ладно. А теперь сиди смирно и молчи, я спать буду. — Проговорив эти слова, Тольский плотнее закутался в свою медвежью шубу, и скоро в возке раздался его богатырский храп.

Миновала ночь, забрезжил рассвет серого зимнего дня, а возок с Тольским все мчался дальше и дальше от Москвы.

Между тем искусство врачей и хороший уход помогли молодому Намекину: он стал быстро поправляться.

Дерзкий поступок Тольского по отношению к Насте, разумеется, скрыли от него, боясь расстроить.

Настя, успокоившись и оправившись от печального события, случившегося с ней, в сопровождении своей няньки отправилась навестить своего выздоравливавшего жениха. Она, как и раньше, была почти уверена, что генерал Намекин станет запрещать своему сыну жениться на ней, и очень скоро в этом окончательно убедилась.

Алеша Намекин встретил свою возлюбленную с распростертыми объятиями и засыпал вопросами о том, почему она так давно не была у него. На самом деле Настя не была у своего жениха всего дней пять-шесть, не больше, но для влюбленного Алеши это показалось чуть ли не вечностью.

— Ну что же ты, милая, не говоришь, почему так долго у меня не появлялась? — спросил он.

— Я... я была больна, — тихо ответила молодая девушка.

— Что же ты не прислала мне сказать о своей болезни?

— Я не хотела тревожить тебя, Алеша.

— Но теперь, Настя, ты здорова?

— Да, да, милый...

— Тогда отчего ты такая печальная? Ведь теперь нам надо радоваться, а печаль прочь. Как только поправлюсь, будем готовиться к свадьбе, я сегодня же поговорю об этом с отцом... Не волнуйся, милая, отказа мне не будет...

— А мне думается, твой отец останется по-прежнему при своем убеждении, что я тебе — не пара.

— А я говорю, что отец теперь согласится; ты нравишься ему, он хвалил тебя, называл милой и воспитанной девушкой.

— И все же едва ли отец разрешит тебе на мне жениться, — возразила девушка жениху.

И она не ошиблась: когда в тот же день Намекин заговорил с отцом о своем желании жениться на Насте, старый генерал ответил:

— Ты вынуждаешь меня повторять то, что я уже недавно говорил: майорскую дочь я никогда не назову своей невесткой и никогда не введу ее в свой дом... Я сознаю, что мои слова покажутся тебе резкими, даже жестокими, но ты сам заставил сказать их.

— Батюшка, что вы говорите, что говорите?.. — В голосе молодого Намекина было слышно чуть не отчаяние. — Ведь этими словами вы причиняете мне боль.

— Что делать!.. Еще раз повторяю: ты сам этого хотел.

— Вы... вы безжалостны ко мне, батюшка; вы хотите разрушить мое счастье. Никого я не смогу так полюбить, как люблю Настю... И я женюсь на ней во что бы то ни стало, — твердо произнес молодой Намекин.

— Алексей, ты еще не совсем поправился, я могу построить тебя. Поэтому отложим наш разговор до другого раза.

— Зачем же?.. Уж если начали, то давайте, батюшка, продолжать.

Алеша, возражая отцу, сильно разволновался: лихорадочный румянец выступил на его исхудалых щеках.

Михаил Семенович заметил это и, зная, что всякое волнение может тяжело повлиять на здоровье сына, прервал неприятный разговор и вышел из комнаты, оставшись верным своим убеждениям, не позволявшим ему соглашаться на женитьбу сына на майорской дочери.

На другой день генерал стал собираться в свою подмосковную усадьбу.

— Как так, неужели вы уедете? — узнав о намерении отца, спросила у него Марья Михайловна.

— Да, уеду, и сегодня же... Ты, наверное, тоже поедешь?

— Как, папа, разве нам возможно обоим ехать? Ведь Алеша не совсем еще поправился.

— Поправится и без нас... Впрочем, ты можешь остаться до полного выздоровления Алексея, а я сегодня же уезжаю... Делать здесь мне больше нечего...

— Но как же, милый папа? Ваш отъезд может огорчить Алешу.

— Будь покойна, он несколько не огорчится, если я уеду... Ему без меня будет удобнее ворковать с майорской дочкой.

— Папа, вы что-то имеете против Насти. Напрасно это!.. Она — милая, хорошая девушка, и нрав у нее прекрасный.

— Так, так, и ты, Марья, успела нахвататься здесь московского духа и смеешь возражать мне!

— Я никогда не осмелюсь возражать вам, дорогой папа, я только говорю о душевных качествах Насти.

— «Душевные качества»... А почему ты знаешь ее душевные качества?.. Что, ты ей в душу заглядывала разве? — крикнул старик Намекин. Он не любил и не допускал никаких возражений, особенно со стороны дочери, которая всегда и во всем с ним соглашалась. — Ты поедешь со мной или нет?

— Как прикажете, папа.

— Хочешь — останься, мне все равно.

— Я поехала бы с вами, папа... но я так боюсь за Алешу, боюсь оставить его одного.

— Напрасен твой страх! За Алексея не бойся: он будет не один, а с майорской дочкой... Она непременно поселится здесь, когда мы уедем.

— Папа, что вы говорите, что говорите...

— Я сказал правду... Да ты не красней, пожалуйста, ведь тебе не шестнадцать лет!.. Я даю тебе совет ехать в усадьбу; своим присутствием здесь ты можешь помешать своему брату и его возлюбленной.

В ответ на несправедливые слова отца Марья Михайловна горько заплакала.

Генерал сдержал свое слово и в тот же день выехал из Москвы. Он был сердит на сына и перед отъездом даже не зашел к нему проститься.

Марья Михайловна до полного выздоровления брата осталась у него в доме.

Дом в переулке на Остоженке, занимаемый Тольским, теперь опять опустел; окна были наглухо закрыты ставнями, и опять на воротах появился ярлык с надписью: «Сей дом, со всеми службами, отдается внаймы». Однако охотников снять дом не находилось: чуть ли не вся Москва знала о таинственных привидениях, появлявшихся здесь.

Старичок дворецкий Иван Иванович и его приятель Василий, сторож, были рады, что Бог избавил их от беспокойного жильца. Ни один из них не слышал, как ночью Тольский со своим камердинером вернулся из тюрьмы в свою квартиру, а затем уехал неизвестно куда. Оба они только тогда узнали, что их жилец убежал из тюрьмы, когда на другой день утром нагрянула полиция и произвела во всем доме тщательный обыск. Всех дворовых подвергли строгому допросу: мол, не знают ли они, где скрывается их барин или куда он уехал. Дворовые в один голос ответили:

— Мы и знать ничего не знаем, и ведать не ведаем.

Полиция, думая, что дворовые скрывают Тольского, всех их забрала в участок, чтобы посредством розог дознаться от них правды. Но дворовые и под розгами показали то же. Да и на самом деле они не знали, куда уехал их барин. Поэтому, продержав несколько дней под арестом дворовых, их отпустили на все четыре стороны. Только кучер Тимошка сидел в остроге; за свое самопожертвование ему впоследствии пришлось поплатиться ссылкой на поселение.

Мебель Тольского, экипажи и другое имущество были конфискованы полицией, и дворовым ничего не досталось, несмотря на письменное заявление Тольского.

В таинственном доме опять стало тихо, но сторож Василий и старик дворецкий не раз видели ночью свет от фонаря, проникавший в щели закрытых ставней.

Однажды Василию что-то не спалось, и он вышел на двор подышать свежим воздухом. Была тихая зимняя ночь с легким морозцем. Небесный свод был усеян миллионами ярких звезд; луна величаво посматривала с небесной выси на спавший город. Полюбовался Василий на царственную луну, на яркие звезды, а затем перевел взгляд на барский дом и ясно увидел, что из щелей закрытых ставней проникает свет.

«Ну, опять загуляла по пустому дому нечистая сила... Теперь ей воля, никого нет, мешать некому», — подумал старик.

Он нисколько не испугался необычайного явления, чуть ли не каждую ночь повторявшегося в барском доме, спокойно подошел к окну, выходявшему на двор, приотворил одну дверцу ставней и увидел, что прямо против окна на стуле сидит молодая красивая женщина с исхудалым, печальным лицом; на ней было черное платье, голова покрыта дорогой шалью, а плечи укутаны меховой шубейкой. На полу стоял зажженный фонарь, слабо освещавший и комнату, и находившуюся в ней таинственную незнакомку.

Василий испугался, принимая женщину за существо неземное, сверхъестественное, но скоро его испуг сменился любопытством. Он стал пристально всматриваться в бледное, но прекрасное лицо незнакомки, как будто старался припомнить что-то.

— Это она, непременно она, — шептали его губы. — Как же ты здесь, барыня, очутилась?

Женщина встала со стула, взяла фонарь и не спеша вышла из горницы. В комнате сделалось темно.

Василий притворил ставню, отошел от окна и вернулся в свою горенку, однако уснуть он никак не мог, раздумывая о видении: «Это барыня... Она, она... Я помню ее хорошо... Только как же это? Одни говорят — барыня наша умерла, другие — что она пропала, скрывалась неизвестно куда... Говорят по-разному, а только это — наша барыня Надежда Васильевна... И если она умерла, то, видно, это ее душа странствует по земле».

Едва только проснулся дворецкий Иван Иванович, к нему в комнату вошел сторож и проговорил:

— Я нынче ночью нашу барыню Надежду Васильевну видел!

— Василий, да что с тобой? Ты не в себе! Что ты говоришь-то? — с удивлением воскликнул дворецкий, быстро вставая с постели.

— Правду говорю.

— А где ты ее видел-то, где?

— В нашем доме, в угловой горнице; она на стуле сидела, и фонарь на полу стоял...

— Может ли это быть! Ведь барыня, говорят, умерла давным-давно.

— Да мы с тобой ее в гробу не видали!

— Точно, не видали... А ведь все говорят, что барыня наша скончалась в Питере, и ее смерть наш барин Викентий Михайлович почему-то скрывает...

— Говорю тебе, жива его супруга... Сам подумай: зачем бы барин стал скрывать, если бы Надежда Васильевна умерла?

— Но если наша барыня жива, то где же она находится? — задумчиво произнес дворецкий.

— Здесь, в доме. Я сам ее видел.

— Может, ты и видел, только не живое существо, а призрак барыни, ее дух... Понимаешь?

— Нет, что ни говори, я прошлой ночью видел барыню как есть, во плоти.

— По-твоему, барыня Надежда Васильевна живет в мезонине?

— Да, там... И не одна, а с прислужницей. Они-то и пускают жильцов под видом нечистой силы.

— А зачем барыня стала бы делать это?

— Зачем — не знаю, а только это она в ночную пору разгуливает по дому. А ты нашу барыню-то помнишь, не забыл?

— Ну как не помнить? Как теперь вижу ее, нашу голубушку, нашу заступницу...

— Вот ночью пойдем к дому, я приотворю ставню — ты и увидишь ее! — стоял на своем Василий.

Теперь он был почти убежден, что в мезонине живет не нечистая сила, а жена их барина Викентия Михайловича.

Дворецкий согласился в следующую же ночь идти вместе с Василием к пустому барскому дому и подсмотреть, что там происходит.

Сторож почти весь день посвятил изучению барского жилья. В мезонин вели две двери: одна из коридора, а другая прямо со двора. Василий, подойдя к наружной двери, запертой изнутри, увидал на снегу следы, которые доходили до калитки; последняя вела на улицу и была снабжена большим висячим замком. Его никогда не отпирали ни сторож, ни дворецкий, они даже не знали, у кого хранится ключ.

— Вот нашлась и отгадка... Стало быть, в мезонине живут люди, а не духи... Духи не запираются от людей на замок и не делают никаких следов, если вздумают куда идти, — рассудил Василий. — Как же я почти пять лет здесь при доме нахожусь и не знаю, что в мезонине люди живут?... Чудно, право чудно... Не предполагал я, что наша барыня затворницей в мезонине сидит!

Занятый этими рассуждениями, Василий не слышал, как к нему подошел дворецкий Иван Иванович.

— Ты что тут делаешь, а? — спросил он у сторожа.

— Да вот на следы смотрю, что видны на снегу, — ответил своему приятелю Василий, показывая ему на ясно видневшиеся следы человеческих ног.

— И то, и то... Кто же тут ходил?

— Кто живет в мезонине, тот и выходил оттуда на улицу. Видишь, следы прямо к калитке идут.

— И то, и то... Только как же это, Василий?.. Ведь калитка-то заперта?

— А разве отпереть замок нельзя?..

— Знамо, можно... Только как же это, Василий, мы с тобой до сего времени не знали, что в мезонине живут?

— Мы думали, что в доме нечистая сила, и нашу барыню принимали за привидение.

— Да, да... Непонятно все это, как-то чудно, и, что ты ни говори, я не верю, что в мезонине находится барыня Надежда Васильевна. Ну зачем же она станет скрываться от людей? Да и как она станет жить в нетопленной горнице зимой, в трескучий мороз?..

— Ведь мы не знаем, может, мезонин и отапливают.

— Пустое говоришь, Василий!.. Где же дров они возьмут?

— А разве у нас в сарае мало наготовлено? Дров из барской усадьбы навезли нам года четыре назад видимо-невидимо... Да кроме того, зачем тебе наш барин каждый раз пишет, чтобы дом, хоть и пустой, отапливать всякий день, не жалея дров?

— Думаю — затем, чтобы сырость не завелась.

— Вот и не угадал... Ведь тепло-то из нижних печей в верхние переходит, а значит, и в мезонин; я всякий день топлю, посему и знаю.

— Так ты точно говоришь, что в мезонине живет наша барыня? — после некоторого размышления спросил старичок дворецкий.

— Да, говорю, может, нынче ночью сам увидишь.

Оба старика с большим нетерпением стали ждать ночи.

Старик Василий не ложился спать; он несколько раз выходил на двор, подходил к окнам пустого дома в надежде увидеть сквозь рамы огонек, но тот не появлялся. Василий даже приотворил ставню, чтобы заглянуть внутрь, но там не было никакого признака огня. И днем и ночью окна мезонина были завешаны тяжелыми портьерами, так что через них не мог проникнуть свет.

Почти всю ночь Василий провел на страже, ждал, не появится ли в окнах пустого дома свет от зажженного фо-

наря или свечи, но свет все не появлялся, так что сторож хотел уже ложиться спать.

Пробило четыре часа; старик сторож в последний раз вышел на двор. Где-то звонили к заутрене. Василий снял шапку и стал истово креститься, потом подошел к дому, взглянул на окна и увидел сквозь неплотно притворенную ставню слабый свет.

Он поспешил разбудить спавшего дворецкого. Оба они подошли к окну, выходящему на двор; сквозь щели закрытых ставней действительно виднелся свет.

Сторож Василий приоткрыл немного ставню.

— Посмотри-ка, посмотри... здесь, да не одна, а две... Только не видно лиц, к стене повернулись, — робко проговорил он, обращаясь к дворецкому. — Вот подойди к окну-то.

Иван Иванович подошел и не без робости взглянул в окно. Он увидел в горнице, слабо освещенной фонарем, стоявшим на полу, фигуры двух женщин: одна была в черном платье и в накинутой на плечи шубейке, а другая была одета по-крестьянски.

Но обе женщины вдруг повернулись к окну, и громкий крик удивления и испуга как-то невольно вырвался у дворецкого. Этот крик, вероятно, дошел и до слуха женщин, потому что фонарь моментально погас и в комнате стало темно.

Старичок дворецкий был сильно встревожен: смертельная бледность покрыла его лицо.

— Чего испугался? — спросил у него Василий.

Ничего на это не ответил дворецкий и быстро направился к своему домику.

Старик сторож последовал за ним.

Иван Иванович не скоро оправился от испуга; он несколько минут сидел молча, понуря седую голову.

Василию надоело молчать.

— Что, сильно струхнул? — спросил он.

— Двух покойниц видел, как же не заробеть! — взволнованно ответил Иван Иванович и перекрестился на иконы.

— Каких покойниц?

— Барыню нашу, Надежду Васильевну, и дворовую девушку Лукерью.

— Лукерью? Да неужели ты ее, Иванушка, видел? Ведь она, почитай, годов пять назад бесследно пропала из барской усадьбы.

— Да, да... Пошла она в лес по грибы и уже больше не вернулась... Говорили одни, что Лукерья утопла в лес-

ном болоте, а другие — что звери ее растерзали. А я ее сейчас видел вместе с нашей барыней, которую тоже многие считают умершей. Непостижимое и необъяснимое увидел я, и это видение наталкивает меня на разные мысли. Я должен согласиться с твоим мнением, что в мезонине живут не духи бесплотные, а живые люди.

— Значит, там наша барыня Надежда Васильевна со своей прислужницей Лукерьей живут, — утвердительно произнес сторож.

— Да, да, с этим я невольно должен согласиться... Если бы это были бесплотные духи, то они не имели бы нужды в фонаре и не стали бы прятаться... Только как же это мы с тобой, Василий, опростоволосились: живых людей принимали за бесплотных духов, за силу нечистую?.. Ведь почти шесть лет прошло, как мы с тобой поселились здесь, и не знали не ведали, что в мезонине живет наша добрая барыня. Только зачем же она от людей хоронится, зачем ведет такую странную и непонятную жизнь? Шесть лет — не мало времени, а она ни разу не выходила из дому.

— А может, и выходила. Недаром я на снегу следы видел, — промолвил сторож.

— Если и выходила, то в ночную пору... Но вот что объясни мне, Василий: что заставило барыню Надежду Васильевну жить в затворе? Ведь она молода, собой красавица писаная; легко ли ей вести такую жизнь отшельническую?

— Трудно, Иванушка, объяснить то, чего я не знаю не ведаю...

— Подумать, поразмыслить хорошенько, любезный приятель, так, пожалуй, и найдешь этому таинственному делу отгадку... Тебе ведомо было, что наш барин Викентий Михайлович не в ладах жил со своей молодой женой-красавицей?

— Кто же из дворовых о том не знает!.. Наш барин с барыней жили как кошка с собакой.

— А про то тебе ведомо ли, что барин Викентий Михайлович женился на барыне Надежде Васильевне довольно пожилым: ему было лет под пятьдесят, а ей и двадцати не исполнилось. И женился он по любви сердечной, несмотря на свои почтенные лета... Наш барин богат и рода знатного, а она хоть и дворянского звания, но бедная, бесприданница и, несмотря на это, как говорят, с неохотой шла за нашего барина. Под венцом стояла бледная, печальная... Барин-то любил ее, а она его нет. Без любви, значит, шла; родители ее, сердешную, к этому приневолили. Им-то, видно, лестно было иметь богатого да знат-

ного зятя... вот и выдали дочку; думали-гадали наделить ее счастьем большим, а наделили слезами горючими... Ведь мучилась барыня Надежда Васильевна с постылым мужем и свою жизнь несчастную проклинала.

— А про то, Иванушка, ты не забыл, как к нам в усадьбу повадился гость молодой, сосед?

— Ты говоришь о Викторе Федоровиче Горине?

— О нем. Чай, помнишь, какие истории из-за этого офицера происходили между нашим барином и барыней?

— Ну как не помнить! Печальное было время. Наш барин сильно ревновал свою жену к этому офицеру...

— И не напрасно, как говорят, ревновал-то...

— Кто знает. Лучше, Василий, поговорим о том, как же нам теперь быть?.. Надо ли писать барину, что в мезонине пребывает его супруга, или не надо? — обратился дворецкий за советом к своему приятелю.

— Подождать надо, — ответил Василий.

— Я и сам полагаю, что надо подождать — все разузнать повернее и поточнее и уже тогда обратиться к барину с письменным извещением.

— Ты, кажется, все еще сомневаешься, что наша барыня живет в мезонине?

— И буду сомневаться, доколе не увижу барыню вот так, как теперь вижу тебя, прямо у нее, в мезонине. Сперва разуюзнаю, как она туда попала и зачем со своей прислужницей жильцов наших пугала, словно нечистая сила появляясь в доме в полночный час. Еще больше, Василий, я не понимаю того, что же барыня пьет-ест, кто и из чего ей готовит кушанья, где достают провизию?

— Были бы деньги, всего достать можно.

— Знаю, что на деньги все можно купить... Только вот странно, как мы с тобой за пять лет не видали и не слышали, что в мезонине живут люди. Ведь не надевала же наша барыня на себя шапку-невидимку и не прилетала в мезонин на ковре-самолете, — задумчиво проговорил Иван Иванович.

Долго еще старики-приятели беседовали между собой о столь загадочном событии.

Между тем в мезонине дома Смельцова в ту же ночь происходил такой разговор между молодой, красивой, но очень исхудалой женщиной и ее прислужницей.

— Барыня, голубушка, вы бы легли, ну что вы себя томите, — участливо проговорила служанка. — Уж которую ночь вы не спите.

— И ты со мной не спишь, Луша...

— Я — что... Я днем возьму свое, отосплюсь... Обо мне не заботьтесь. Я и недосплю — мне ничего не подделается, а вот вы, бедная моя барыня-страдалица...

— А жалеешь меня ты, Луша?

— Да кого же мне и жалеть, как не вас, благодетельница моя?

— Ах, Луша, Луша... Я мучаюсь, и ты со мной тоже мучаешься... и ты ведешь жизнь затворническую. А ведь ты молода, пожалуй, и тебе жить хочется, как живут твои подруги.

— Вы все обо мне говорите, милая барыня, а о себе ни слова.

— Что мне говорить о себе... Моя жизнь разбита, искалечена... Я жду смерти и рада буду ей... Смерть положит предел моей несчастной жизни!.. — И молодая женщина печально поникла головой.

В комнате воцарилось молчание. Тихо-тихо стало, только и слышно было тиканье больших часов да тяжелые вздохи молодой женщины, полулежавшей с закрытыми глазами в кресле.

— Который час? — прерывая молчание, спросила она у прислужницы.

— Шестой в начале.

— Утро, а еще совершенно темно.

— Пора зимняя, рассветает поздно... А вот придет весна, и рано станет рассветать... Весна-красна — пора радостная!

— Да, да, Луша, придет и весна-красна, только не для нас с тобой... Для нас в жизни одна осень мрачная, неприглядная, мучительная. Сидим мы здесь безвыходно, во мраке, потому что большую часть дня окна нашей тюрьмы завешаны... Днем мы спим, а ночью людей пугаем... Так и время у нас проходит.

— Не по своей охоте, барыня, мы это делаем.

— Ах, Луша, как я испугалась крика того дворового старика, который подсмотрел за нами! Он, наверное, принял меня за привидение.

— А я, милая барыня, думаю, Иван Иванович узнал нас...

— Ты его знаешь? Кажется, их было двое...

— Двое, другого старика Василием звать. Он у барина выездным служил. Что Иван, что Василий — оба старики хорошие, степенные...

— Наши тюремщики, — с горькой улыбкой произнесла молодая женщина.

— Какие они тюремщики? Они и не знают, что мы здесь уже не один год в неволе томимся, и наверняка принимают нас за нечистую силу. А все Фекла, старая ведьма... Это она нас с вами пожаловала в привидения, ее выдумки...

— Ты напрасно ругаешь Феклу, ведь не по своей воле она держит нас здесь под замком: приказано ей, ну и исполняет...

— Не заступайтесь за нее, милая барыня. Как была она ведьмой, так ею и останется! Жильцов вздумала пугать, никому житья не даст, и меня подговорила к тому же...

— И я тоже должна была изображать из себя привидение...

— А вы, сударыня, зачем слушались?

— Надо было так, Луша, надо. Не спрашивай... Я не могу объяснить... Одно только, Луша, скажу: если бы я захотела, никакие запоры меня не удержали бы здесь. И с Феклой я сумела бы сладить.

— Так зачем же вы себя морите в неволе?

— Говорю тебе, так надо... Довольно о том... Мне отдохнуть надо... Я устала... Проводи меня в спальню, — слабым голосом промолвила молодая женщина, Надежда Васильевна, жена проживавшего за границей богатого барина Смельцова.

XVI

Дворецкий Иван Иванович и сторож Василий не ошиблись, приняв женщину в черном одеянии за свою барыню, а ее служанку — за Лукерью, дворовую девушку.

Молодая и красивая Надежда Васильевна уже около пяти лет вела какую-то загадочную жизнь в доме, принадлежавшем ее мужу. Из ее разговора с дворовой было видно, что она вынуждена сидеть под замком, поскольку ее стережет и никуда не выпускает какая-то старуха Фекла.

Что же заставило Надежду Васильевну пойти на такую жизнь?

Вышла она замуж семнадцати лет за богатого и знатного Смельцова не по любви и привязанности. Смельцов давно перевалило за пятьдесят, когда он женился на Надежде Васильевне; притом он был некрасив, обладал резким и вспыльчивым характером, следовательно, о любви

тут не могло быть и речи. Отец Надежды Васильевны, мелкопоместный помещик Грушин, запутался в делах, влез в долги. Его усадьба, состоящая всего из двадцати крестьянских дворов, находилась межа в межу с богатой подмосковной усадьбой Смельцова. Однако, несмотря на такое близкое соседство, богач Смельцов лишь тогда заметил бедняка Грушина, когда к тому вернулась из московского института дочь Надя, в полном смысле красавица.

Смельцов был слабоват до прекрасного пола и, несмотря на свои пятьдесят лет, с юношеским пылом увлекался каждым хорошеньким личиком. Редкая красота соседской дочери так поразила его, что он поехал сам к Грушину и посватал за себя Надю.

Бедняга Грушин, усадьба которого была назначена за неплатеж долга к продаже, несказанно обрадовался богатому и знатному жениху, обещавшему поправить его дела, и, конечно, дал свое согласие на этот брак. Однако красавица Надя категорически отказалась выходить замуж за Смельцова. Тогда Грушин сказал ей:

— Что же, Надя... пожалуй, не выходи, только знай: дня через три-четыре мы нищими будем... Из усадьбы кредиторы нас выгонят, именьишко наше продадут, и мне, и твоей матери на старости лет придется Христовым именем отыскивать себе пропитание.

Это заставило Надю пожертвовать собой и согласиться на предложение Викентия Михайловича.

Под венцом жених сиял счастьем, а бедная невеста походила на приговоренную к смерти.

Да так и было: ее молодая девичья жизнь была загублена, и этот смертный приговор произнес Наде Смельцов, став ее мужем.

Прежней веселой, беззаботной красавицы Нади не стало — она умерла. Появилась молчаливая, всегда печальная, но покорная своей судьбе молодая барыня Надежда Васильевна.

Случайно она познакомилась с соседом своего мужа, молодым, красивым офицером Виктором Федоровичем Гориним, приехавшим в свое имение на два летних месяца, чтобы отдохнуть от шумной столичной жизни.

Горин не знакомился со своими соседями, а тем более не искал знакомства с богатым и знатным Смельцовым, зная его спесивость. Но судьба решила иначе.

Вблизи его имения был большой лес Смельцова. Горину нравились тамошние исполины-сосны, и он со своей собакой сенбернаром чуть не ежедневно ходил туда.

Однажды Горин шел задумчиво по извилистой лесной дороге, его собака Помпей бежала впереди. Вдруг ее громкий лай и чей-то испуганный крик вывели его из задумчивости.

— Помпей, фу! Ко мне! — крикнул Горин и, заторопившись вперед, скоро увидел красивую молодую женщину, с испуганным лицом отбивавшуюся от большой собаки зонтиком.

Это была Надежда Васильевна, тоже имевшая обыкновение гулять в этом лесу, примыкавшем к ее имению.

— Простите, сударыня, вас испугала моя собака? — вежливо раскланиваясь с ней, проговорил молодой офицер.

— Она так страшно залаяла!

— И за себя, и за Помпея прошу у вас прощения.

— Вполне прощаю, — с улыбкою сказала молодая женщина.

— Дозвольте спросить, вы из усадьбы господина Смельцова?

— Да, оттуда... Я... я — жена Смельцова.

— Очень рад знакомству с вами! Позвольте и мне рекомендоваться... Я — ваш близкий сосед, владелец Хорошева, Виктор Федорович Горин. Приехал из Питера подышать деревенским воздухом, отдохнуть.

— Рада, сосед, встрече с вами, — приветливо промолвила красавица, протягивая Горину свою белую как мрамор руку.

— А я этот день, давший мне возможность встретиться с вами, назову счастливейшим!

— Да вы, кажется, уже за комплименты беретесь! Не рано ли?

— О, всякий на моем месте сказал бы то же самое при встрече с вами. Позвольте пройти с вами несколько шагов?

— Пожалуйста... Вы надолго приехали в наш край?

— К сожалению, ненадолго... Недель через пять я должен снова вернуться в Петербург.

— О, времени для деревенской жизни у вас достаточно.

— Да, но я желал бы, чтобы эти пять недель тянулись долго-долго... Здесь у вас так хорошо...

— Да, только летом...

— Неужели вы и зимой живете здесь, в усадьбе? — спросил Горин. — Ведь вы должны скушать!

— Страшно... Летом в деревне — рай, зато зимою и осенью — скука смертная...

— В Москве почаще бывайте, Москва отсюда недалеко.

— Осень и зиму я совсем желала бы жить в городе.
— За чем же дело стало, сударыня?
— За немногим: у меня есть муж, и я нахожусь в зависимости от него.

— Вот что?.. Я не имею чести знать вашего супруга...

— Приезжайте, познакомьтесь с ним и, может быть, поймете, как я живу здесь, как время провожу... Да вот и муж... легок на помине, — с неудовольствием проговорила Надежда Васильевна, показывая Горину на шедшего к ним навстречу Смельцова.

— Надя, разве можно так, одной выходить на прогулку в лес? Я сколько раз говорил тебе брать с собою лакеев или дворовых девок! — с упреком проговорил жене Викентий Михайлович, не обращая внимания на сопровождавшего ее красивого, статного офицера.

Смельцов был высокого роста, сутуловат, с обрюзглым лицом, всегда гладко выбритым; он носил парик, так как своих волос у него почти не осталось. Одет он был по-домашнему, но с претензией. Он был хорошо образован: большую часть жизни провел за границей, преимущественно в Париже, направо и налево соря русским золотом. Вернулся он в Россию тогда, когда приближавшаяся старость стала давать знать себя: его здоровье было расшатано от праздной, беспорядочной жизни, ему был нужен продолжительный отдых, вот он и приехал отдыхать в свою подмосковную усадьбу. Отделав дом на заграничный лад, он зажил в нем безвыездно, женившись на Надежде Васильевне.

Свою жену он любил как красивую и редкую вещь, как занятную игрушку, был нежен с нею, предупредителен, окружил ее роскошью, рассчитывая, что она будет счастлива с ним. Увы! Он жестоко ошибался: Надежда Васильевна изнывала от такой жизни.

Горин, почтительно раскланиваясь с Викентием Михайловичем, проговорил:

— Я давно выжидал случая представиться вам, познакомиться. Я — ваш ближайший сосед.

— Очень рад, — как-то сквозь зубы ответил ему Смельцов, протягивая руку.

— Я уже имел счастье познакомиться с вашей супругой, Викентий Михайлович.

— Это — ваше дело. Надя, ты куда же?

— Я иду гулять, — не останавливаясь, ответила Надежда Васильевна, идя вперед по лесной дороге.

— Не довольно ли гулять, милая? Становится свежо.

— Хорошо, если вы находите, что мне гулять довольно, я, пожалуй, вернусь.

— Да, да, становится сыро, и я боюсь за твое здоровье.

Надежда Васильевна повернула обратно к парку и, поравнявшись с Гориным, сказала ему:

— До свидания, Виктор Федорович. Я не говорю вам «прощайте» в надежде скоро вас увидеть.

Смельцов обошелся с Гориным более чем холодно и не пригласил его к себе. Но это нисколько не помешало молодому офицеру на другой день приехать в его усадьбу с визитом. Викентий Михайлович принужден был принять его, соблюдая вежливость и приличия. Он не был ласков с нежеланным гостем, зато его молодая жена говорила без умолку, стараясь, чтобы красавец офицер не скучал у них.

После того Виктор Горин стал часто бывать в усадьбе Смельцова: его тянули туда красота хозяйки, ее милое и ласковое обращение.

Надежда Васильевна и Виктор Горин начали с дружбы, но скоро, как-то не отдавая себе отчета, страстно полюбили друг друга.

Эти их отношения были замечены Смельцовым. Его беспредельный гнев обрушился на молодую жену и ее возлюбленного. Следствием была дуэль между Гориным и Смельцовым, окончившаяся роковым исходом для молодого офицера: он был убит.

Дуэль состоялась почти без свидетелей, и, как говорили, Викентий Михайлович поступил бесчестно: выстрелил в Горина первым, тогда как по жребию ему надо было стрелять вторым. Хотя благодаря связям и деньгам он сумел замять это дело, но народная молва заклеила его страшным прозвищем «убийца».

Надежда Васильевна при известии о том, что Горин убит ее мужем на дуэли, упала без чувств и долго лежала без памяти. Пришлось даже посылать в город за докторами, которые нашли у нее нервную горячку. Несколько недель молодая женщина находилась между жизнью и смертью. Наконец ее молодой организм победил недуг.

Смерть Горина навсегда отдалила Надежду Васильевну от мужа. Он и прежде был ей немил, а после смерти любимого человека она без отвращения не могла смотреть на Викентия Михайловича. В конце концов она стала требовать развода.

— Какой еще вам развод? Мы и то давно уже чужие друг другу, — сказал ей муж.

— Этого мало! Я не могу с вами жить в одном доме, не могу дышать с вами одним воздухом, отпустите меня, не томите! Я найду себе место, стану жить с отцом.

— Это никак невозможно! Для света, для общества мы должны быть мужем и женой.

— Если вы не отпустите меня, я убегу, — пригрозила мужу Надежда Васильевна.

— Не убежите! Вас будут стеречь.

И верно, после такого разговора за Надеждой Васильевной стали зорко следить. Из усадьбы она никак не могла выйти: ворота день и ночь были заперты, равно как и садовая калитка, которая вела из сада в парк, а там и в лес. Дальше сада бедной молодой женщине никуда не было выхода. Волей-неволей она была принуждена покориться своей печальной участи.

Со смертью Горина и ее жизнь была разбита. Надежда Васильевна теперь не жила; она по целым дням не видала старика Смельцова и не выходила из своей комнаты; она проклинала свою любовь к Виктору Горину, считая себя виновницей его смерти. Подчас раскаяние мучило молодую женщину, и тогда она стала думать о том, что виновата перед мужем. Ей все чаще и чаще приходила мысль о монастыре.

Надежда Васильевна сказала мужу о своем желании поступить в монастырь, но он злобно засмеялся и воскликнул:

— Выкиньте несбыточные мысли из головы! Это невозможно. Что заговорят в нашем кругу, когда вы туда отправитесь? И без того сплетен и пересудов немало. Я не хочу служить мишенью для разных двусмысленностей и насмешек... А что касается спасения вашей души, то вы и живя здесь можете спастись... К тому же на днях я уезжаю за границу, и вам одной спастись будет много свободнее.

— Вы... вы хотите, чтобы я здесь, в доме, вела затворническую жизнь?

— Я только говорю, что и дома можно спастись.

— Да, да, можно... только не здесь... здесь так много разных воспоминаний...

— В Москве, на Остоженке, у меня есть дом... Так изберите его местом для спасения своей души!

Злая ирония слышалась в словах Смельцова, безжалостного к своей жене.

— Мне хочется, чтобы никто-никто не знал о моем существовании на свете... Я желала бы, чтобы все считали

меня умершей, — задумчиво произнесла Надежда Васильевна.

— Но как же ваш отец?

— Пусть и он думает, что я умерла... Пускай все так думают — вот чего жаждет моя больная душа. Сделайте это, Викентий Михайлович, и я стану молиться за вас, вечно благословлять буду! — воскликнула Надежда Васильевна.

— Хорошо, я подумаю, — ответил Смельцов.

Вскоре после этого разговора Викентий Михайлович уехал с женою в Петербург. Через два-три месяца оттуда пришло известие, что Надежда Васильевна сильно простудилась и скончалась.

Смерть «доброй барыни» крестьяне и дворовые оплакивали непритворными слезами и заказывали по ее душеньке панихиды; но не все дворовые верили в кончину барыни. Правда, с течением времени дворовые, находившиеся в подмосковной усадьбе Смельцова, а также и крестьяне-крепостные стали мало-помалу забывать свою благодетельницу; однако из ряда вон выходящее происшествие, случившееся в усадьбе, опять отчасти напомнило им о Надежде Васильевне.

XVII

Это происшествие состояло в следующем: дворовая девица Лукерья, бывшая любимая горничная Надежды Васильевны, пошла собирать в лес грибы, но домой не вернулась, и, как ее ни искали, не нашли. Дворовые знали, что Лушка пользовалась особым расположением Надежды Васильевны, и те, которые не поверили в смерть последней, считали исчезновение Лушки прямым следствием «кончины доброй барыни».

За пять лет до момента, о котором повествует наш рассказ, осенней ночью к воротам дома Викентия Михайловича Смельцова в Москве подъехала дорожная карета. В то время дом пустовал. В нем, кроме древнего старика сторожа, никого не было. Однако ворота без всякого спроса были отперты, и дорожная карета тихо въехала во двор.

Из нее вышли молодая стройная женщина, одетая по дорожному, и две служанки: одна была тоже молодая и красивая, а другая — старая, с уродливым, изрытым оспою лицом.

Это были Надежда Васильевна Смельцова, ее горничная Лукерья и старая стряпуха Фекла. В обязанности последней входило приготовление для барыни еды, но вместе с тем она получила от Викентия Михайловича тайное приказание следить за Надеждой Васильевной и двери, ведущие в мезонин, всегда держать на запоре.

Карета тотчас же съехала со двора, как только Надежда Васильевна со своими служанками вышли из нее. Сторож торопливо запер опять ворота и пошел в свою хибарку, а Надежда Васильевна отправилась в мезонин, который скоро был приведен служанками в порядок.

Обстановка в мезонине была более чем приличная, а комната, предназначенная для Надежды Васильевны, была отделана даже изысканно; остальные две комнаты были меблированы проще. Кроме барских комнат, там находились еще комната для прислуги и кухня.

Из мезонина шли две лестницы: одна в коридор, другая прямо на двор; кроме этих двух дверей, из мезонина в коридор выходила еще одна, потайная. О ее существовании Тольский ничего не знал, так искусно она была сделана. Эта дверь вела из сеней.

Викентий Михайлович, в бытность свою в Москве, сам распоряжался отделкою для молодой женщины мезонина, который должен был стать ей тюрьмою.

Впрочем, Надежда Васильевна сама обрекла себя на такую странную, затворническую жизнь. Ее нервы были настолько расшатаны, что она искала полнейшего уединения и забвения.

На другой день после приезда Надежды Васильевны старик сторож был сменен дворовым Василием и дворецким Иваном Ивановичем, но ни один из них не знал, что в мезонине находится Надежда Васильевна с двумя служанками.

Смельцов, несмотря на свое богатство, приказал дворецкому сдавать дом жильцам, так как старался увеличить свой и без того огромный доход. Он был в полной уверенности, что жильцы не могут помешать его опальной жене, находившейся в заключении в мезонине; а для большей безопасности — чтобы никто не проник в коридор — он приказал устроить другую дверь и обить ее железом. Пол в мезонине был покрыт войлоком и коврами, заглушавшими шаги.

Викентий Михайлович, распустив слух, что его жена умерла, не особенно заботился о том, что этому могут и не поверить.

«Для меня это безразлично: хотят — верят, хотят — нет... Я знаю, что для меня моя жена умерла: для меня ее более не существует... Если она нарушит свое обещание и выйдет из мезонина, то и об этом беспокоиться не стану... Я очень умело распространил слух о ее кончине, а лично о том никому не говорил», — так рассуждал Смельцов, обрекая свою красавицу жену на затворничество...

Такую жизнь и повела Надежда Васильевна. За пять лет она только и выходила в ближайшую церковь к заутрене, в такое время, когда все еще спали и на улице никто ей не попадался.

Старуха Фекла всегда сопровождала свою молодую госпожу, куда бы она ни пошла.

Иногда в летнюю пору, и то ночью, Надежда Васильевна покидала на самое короткое время мезонин и выбиралась в небольшой садик, находившийся при доме, подышать свежим воздухом. Но это бывало очень редко.

Старухе Фекле не нравились эти ночные прогулки; она любила поспать, а тут ей приходилось следовать за своей барыней: горничной Луше она не доверяла.

Провизию и все нужное для столастряпуха сама покупала на базаре, причем ходила туда всегда ранним утром и старалась вернуться домой, пока еще не вставали ни сторож, ни дворецкий; ключ от замка запертой калитки всегда находился у Феклы, она зорко охраняла его и никак не соглашалась отдать Лукерье. Той надоело сидеть взаперти, она не раз чуть не со слезами просила у Феклы выпустить ее «на волю, хоть на полчаса», но старуха грубо отвечала ей:

— Ни на одну минуту не выпущу.

— Что же мне, задыхаться здесь?

— Не задохнешься небось! Коли душно, ночью окно открой.

— Ведь теперь лето, народ на полях да на лугах... А я вот сиди здесь взаперти да изнывай в неволе.

— Не ты одна! Барыня и я тоже ведем такую жизнь; чай, мы не хуже тебя-то.

— Ты хоть на рынок ходишь, а я сиднем сижу дома: никуда выхода нет.

— На то господская воля... Жди, может, барин и сменит тебя.

— Как же, сменит!.. Видно, так и пройдет моя молодость в четырех стенах... Оторвали меня от семьи, увезли с родимой сторонushки и заперли в неволю. Вот уже пятый год я жду, когда меня выпустят. Убегу я...

— Не убежишь.

— Убегу... Думаешь, тебя побоюсь? — задорно проговорила Луша.

Она не любила ворчливой Феклы и называла ее за глаза не иначе как ведьмой; свою подневольную, затворническую жизнь она ставила в вину Фекле, но старуха была ни при чем. Если кто и был виноват, то сама барыня Надежда Васильевна: она любила Лукерью, и, когда Викентий Михайлович предложил выбрать для услуг какую-нибудь дворовую девку, ее выбор остановился на Лукерье.

Последняя, любя свою барыню, покорилась горькой участи и волей-неволей стала привыкать к затворничеству.

Был осенний ненастный вечер. Мелкий и частый дождик хлестал в окна мезонина. Как-то мрачно было даже в уютной комнате Надежды Васильевны. Она сидела, печальная, задумчивая, в кресле, около круглого стола. На коленях лежала раскрытая книга, но молодая женщина не читала ее: она была погружена в свои грустные мысли.

Из нижнего жилья доносились веселые звуки музыки, оживленный говор, смех: только что переехавший в дом богатый помещик справлял новоселье.

Это было в первый год затворничества жены Смельцова.

— Скучно, Луша, скучно, — проговорила она, обращаясь к сидевшей рядом с нею на узкой скамейке горничной. — А там, внизу, веселье... И от этого веселья у меня на сердце еще печальнее, еще мрачнее.

— Новоселье справляют... Я, барыня милая, в окно украдкой подсмотрела, как переезжали... Жильцы, видно, богатые, потому мебель хорошая, дорогая, — промолвила вошедшая в горницу стряпуха Фекла.

— И зачем барин пустил жильцов, зачем приказал сдавать дом... Неужели ему мало дохода? — промолвила Надежда Васильевна. — Без жильцов как было тихо, спокойно... А теперь вот и сиди ночь без сна.

— Можно, барыня милая, отбить у жильцов охоту снимать дом, — после некоторой задумчивости проговорила Фекла.

— Как так? — с удивлением поднимая на старуху взор, спросила Надежда Васильевна.

— Прежде времени ничего я вам не скажу, а только так сделаю, что жильцы скоро съедут.

В словах старухи слышалась уверенность.

— Хвастаешь, тетка Фекла! Ну где тебе это сделать? — возразила горничная Лукерья. — Как ты заставишь жильцов сменить эту квартиру, если они только что переехали?

— И заставлю... Недели не дам им здесь прожить..

— Опять хвалишься! Ну как же ты это сумеешь?

— Уж это мое будет дело, а не твое... Ты еще молоденькая, чтобы все знать... Сударыня-барыня, дозвожь мне, старухе, малость позабавиться! И с моей этой забавы жильцы здесь не станут жить! — обратилась старуха к Надежде Васильевне.

— Делай, что хочешь, забавляйся, как знаешь! Мне теперь все равно... Нет у меня жизни, отняли ее у меня, — с глубоким вздохом произнесла молодая женщина и махнула рукой, чтобы ее оставили.

Фекла и Лукерья тихо вышли.

На следующую же ночь в доме Смельцова стали совершаться необычайные явления: слышались сильный грохот и шум в коридоре, там кто-то ходил, стуча о пол палкою.

Стук разбудил спавших квартирантов; они вышли в коридор и с ужасом увидали там какую-то старую женщину или привидение, закутанное во что-то белое, с фонарем в руках. «Смелычаки» чуть не умерли от страха.

На другую и на третью ночь повторилось то же, так что квартирант был принужден искать себе новое помещение и выехать из дома Смельцова.

Заняли его другие жильцы. Но и им пришлось пожить на новой квартире недолго — их тоже выгнала нечистая сила.

По Москве стали ходить слухи о таинственном доме Смельцова, в котором каждую ночь появляются привидения и безобразничают: сбрасывают с окон цветы, передвигают мебель и прочее. Квартиранты стали избегать снимать этот неблагополучный дом, и он пустовал по целым месяцам.

Дворецкий Иван Иванович и сторож Василий пробовали кропить комнаты святой водой, приглашали приходского священника служить в доме молебн, окуривали углы ладаном, спасаясь от нечистой силы, но ничего не помогало: нечистая сила бушевала всюду, не давая никому покоя.

Дворецкий и Василий потеряли голову и не знали, на что решиться. Они и вообразить не могли, что в мезонине живет барыня Надежда Васильевна с двумя служанками; им сказали, что в мезонине находится барское добро, что они ни в коем случае не должны заходить туда и что ключ от дверей мезонина хранится у самого Викентия Михайловича. Поэтому оба старика были твердо уверены в том, что в мезонине сидит нечистая сила, пугающая жильцов, и только по прошествии долгого времени, как мы видели, дворецкий и сторож перестали живых людей принимать за привидения.

XVIII

Вернемся теперь к Феде Тольскому и посмотрим, что с ним случилось в Петербурге, куда он, благополучно выбравшись из тюрьмы, поскакал с преданным ему камердинером Иваном Кудряшом.

Тольский торопился; он приказывал кучеру гнать лошадей и останавливался только на ночлег, но не на станциях и постоялых дворах, а в какой-нибудь первой попавшейся крестьянской избенке: он боялся погони.

«Только бы мне добраться до Петербурга, а там я найду такое укромное местечко, что ищи меня хоть год, так и то не найдут. К тому же в Питере у меня есть заступники, в обиду там меня не дадут», — думал он.

По прошествии четырех дней, когда Тольский уже подъезжал к северной столице, он вдруг заметил, что позади его возка едут сани с верхом, запряженные в две лошади. Ими управлял какой-то плюгавый мужичонка, а внутри сидел закутанный в лисий тулуп человек с гладко выбритым лицом; на голове у него был большой бархатный картуз с наушниками.

— Что это за обезьяна бритая за нами тащится? — подозрительно посматривая на путника, ехавшего позади, промолвил Тольский, обращаясь к Ивану Кудряшу.

— По лицу-то, сударь, он похож на чиновника.

— А также и на дворового лакея.

— Совершенно верно, сударь, по обличию он походит и на лакея.

— А что, Ванька, если эта обезьяна — сыщик?..

— Не может быть, сударь! Он на сыщика не походит. Да и зачем сыщик поедет в Питер?

— Ты говоришь, зачем поедет? А за нами...

— За нами? — испуганно воскликнул Кудряш.

— Ну что ты кричишь? Струсил, вижу... Эх, Ванька!.. Всем ты — парень, а робостью ни дать ни взять — баба.

— Помилуйте, да кто же не испугается сыщика?

— Труссы боятся; а по мне будь сыщиков хоть целая дюжина, и то не испугаюсь...

— Вы, сударь, статья особая... Таких людей, как вы, смею доложить, немного.

— Было время, Ванька, да прошло... Был конь, да уездили... Не то стало... Стареть я начинаю, что ли, только не тот я теперь... А все же эта бритая рожа из ума у меня не выходит. Замечаю я, что он с самого утра тащится за нами и не отстает, каналья! А впрочем, я сейчас узнаю, что это за птица, — добавил Тольский и приказал своему кучеру попридержать лошадей, а когда сани поравнялись с ним, громко произнес, обращаясь к человеку в лисьем тулупе: — Добрый путь!

— Покорнейше благодарю вас! — И бритый человек, пристав в саних, вежливо поклонился Тольскому.

— В Питер едете? — спросил у него Тольский.

— Так точно. И вы, сударь, туда же?

— Да, туда же... А вы из Москвы, да? По делам, что ли?

— Так точно, по делам. И вы тоже по делам изволите ехать в северную столицу? Если позволите, поедемте рядом.

— Что же, поезжайте! Места хватит, дорога широкая.

Сани незнакомца поехали рядом с возком Тольского.

Последнему хотелось дознаться, кто такой этот незнакомец и по какому делу едет он в Петербург, поскольку человек сей с бритым, сухим лицом казался ему подозрительным. Поэтому он спросил его:

— Скажите только правду, что вы за человек? Наверное, служите в каком-нибудь правительственном месте?

— Отгадали, сударь. Я в суде служу, — как-то уклончиво ответил незнакомец.

— Это и видно... Лицо у вас такое судейское... Недаром говорят, что лицо — зеркало души.

— Не всегда, сударь мой, бывает правдива эта поговорка: понять душу человеческую по лицу довольно трудно...

Так незаметно в разговоре они стали подъезжать к заставе.

— Вот и Питер, — промолвил Тольский, приотворяя немного дверцу возка и глядя на видневшийся город.

— Вы вот, сударь, не знаете, кто я и что я, а я знаю, кто вы и что, — с какой-то загадочной улыбкой тихо проговорил незнакомец, выходя из саней и приближаясь к возку Тольского. — Да мало того, я знаю всю вашу жизнь как свои пять пальцев.

— Вот как?.. Да кто же вы такой? Может, колдун или волшебник?.. Ну, говорите, кто я и что?

— Вы — дворянин Федор Тольский, и в Москве бежали из тюрьмы.

Эти слова невольно заставили побледнеть Тольского.

— Проклятье! Кто же вы?..

— Кто я, сейчас узнаете. Гей, арестовать этого человека и проводить в тюрьму! — обратился незнакомец к унтер-офицеру и солдатам, находившимся на заставе. — Вот и приказ об аресте, — добавил он, показывая унтер-офицеру бумагу.

Произошло это так неожиданно, что Тольский опомнился только в караулке; обезумевшего от страха Кудряша привели туда же.

— Теперь я могу сказать вам, кто я, — с насмешливой улыбкой произнес бритый человек, обращаясь к Тольскому.

— Зачем теперь говорить? Я и так знаю, что дал провести себя сыщику... Я очень сожалею, что не отправил тебя на тот свет...

— Я не сыщик, а начальник сыщиков. Мне пришлось загнать не одну смену коней, пока я настиг тебя верст за сто от Питера... Хитер ты, а я, видно, похитрее... Нелегко было мне за тобою гнаться да расспрашивать о тебе дорожую... Ну да мой труд не пропал даром.

Тольского в его же возке, окруженном солдатами, повезли в тюрьму. Впереди ехал начальник московской сыскальной полиции, который, спустя несколько часов после побега из тюрьмы Тольского, поскакал за ним по большой петербургской дороге, при помощи расспросов и описания примет самого Тольского и его возка выясняя его путь, после чего приказал арестовать, так и не дав ему въехать в столицу.

Тольский был обескуражен этой неудачей.

— Ну, Ванька, теперь пиши пропало... Всему конец, и песня моя спета, — подавив в себе вздох, сказал он, обращаясь к Кудряшу.

— Неужели мы не вывернемся из рук питерской полиции, как вывернулись у московской?

— Говорю — всему конец... Посадят меня в крепость, в каземат... Оттуда уже не убежишь...

— И меня тоже посадят? — с глубоким вздохом спросил Кудряш.

— Не помилуют и тебя, Ванька. Правда, я надеюсь, это все еще может измениться. В Петербурге у меня есть немало благожелателей. Надо бы как-нибудь послать им весточку, да Аракчеева попросить, он заступится.

— Это, сударь, можно... Только бы были деньги...

— Деньги, Ванька, есть; их еще у меня не отняли, а как в тюрьму посадят, так и деньги отнимут.

— А вы их спрячьте куда-нибудь подальше! — посоветовал верный слуга.

Начальник сыскной полиции привез Тольского и его слугу на тюремный двор, с рук на руки сдал смотрителю, а сам поехал к петербургскому губернатору с донесением об аресте важного преступника.

Но уже очень скоро Тольскому, благодаря припрятанным деньгам, удалось послать из тюрьмы друзьям весточку о своем далеко не завидном положении. В записке он просил их выручить его из большой беды и спасти от суда, наказания и позора.

Среди благожелателей Тольского были люди, занимавшие видные посты в государстве, и между ними первое место принадлежало графу Алексею Андреевичу Аракчееву, любимцу императора Александра Павловича.

Аракчеев в былые времена служил вместе с отцом Тольского и вел даже с ним самую тесную дружбу. Когда старик Тольский умер, Аракчеев стал оказывать благодеяния и его сыну Федору, но услышав, что тот ведет праздную жизнь, предается кутежам и картежной игре, отступился от него и прекратил с ним переписку. Однако Тольский теперь, находясь в критическом положении, обратился к нему со слезной просьбой о помощи.

Аракчееву, не имевшему, кажется, ни к кому жалости, стало жаль сына своего закадычного приятеля и сослуживца, и он решил заступиться за московского вертопраха, как называл он сам Федю Тольского. Однако, несмотря на все свое огромное влияние на государя, ему не удалось совсем освободить Тольского от ответственности.

Император Александр Павлович не мог простить Тольскому убийство на дуэли молодого офицера Нарышкина; кроме того, до государя дошло немало жалоб на него, а потому он Аракчееву, просившему за Тольского, дал такой ответ:

— Федор Тольский за свои незаконные деяния должен быть наказан непременно; он подлежит ссылке в Сибирь, но я, по вашей просьбе, смягчаю это наказание и назначаю его в кругосветное плавание. Корабль на днях отправляется. Два-три года, проведенные на нем, может, образумят Тольского и остепенят его.

Таким образом, судьба Тольского была решена.

Аракчеев сам захотел объявить вертопраху волю государя и потребовал, чтобы его привели к нему из тюрьмы.

Тольский, всегда смелый, ничего не боявшийся, на этот раз не без робости переступил порог кабинета Аракчеева, который в то время занимал важный пост военного министра. Он уже несколько лет не видал Аракчеева и теперь со страхом и любопытством смотрел на его сухое, гладко выбритое лицо, на злые, безучастные глаза, на высокий морщинистый лоб, длинную шею и голову, часть которой скрывалась высоким воротником генеральского сюртука.

Граф, вроде бы не замечая Тольского, продолжал читать какую-то бумагу. Но вот он бросил документ на стол, устремил свой ледяной взгляд на стоявшего у двери Тольского и отрывисто, как-то в нос сказал ему:

— Подойди!

Тольский сделал два-три шага к столу.

— Ближе, не укушу.

— Я... я не сомневаюсь, ваше сиятельство, — почти смело произнес Федя Тольский; он был самолюбив, и такой прием обидел его.

— Ты что такое сказал? — переспросил Аракчеев.

— Я сказал, не сомневаюсь, что вы не укусите меня, ваше сиятельство.

— А если укушу?

— Пожалее, ваше сиятельство.

— Напрасно так думаешь: к московскому вертопраху у меня жалости нет. Хотя ты и сын моего старого приятеля, даже искреннего друга, память которого я свято чту, а все же теперь я не чувствую к тебе ни жалости, ни участия.

— Спасибо за откровенность, ваше сиятельство! — с улыбкой проговорил Тольский.

— Я с тобой буду еще откровеннее и скажу, какому наказанию ты подвергаешься.

— Нельзя ли, ваше сиятельство, обойтись без наказания?

— Советую тебе, сударь, не говорить со мною таким тоном, иначе я могу забыть, что передо мною стоит сын моего покойного друга. Даю добрый совет держать язык свой на привязи: не в меру он болтлив. Ведь это в Москве тебе попустительствовали, а здесь не Москва, сумеют заставить молчать; не таких, как ты, укрощали. Приготовляйся в дорогу.

— В ссылку меня, ваше сиятельство, в Сибирь?

— Подальше Сибири!.. Государь проветриться посылает тебя. Ты пойдешь на корабле вокруг света.

— Возможно ли, ваше сиятельство? — воскликнул Тольский, изменившись в лице. — Ведь я и на лодке не люблю плавать.

— Зато на корабле полюбишь. А проветриться тебе, право, не помешает. Морской воздух подействует на тебя благотворно и охладит твои порывы, которые многим бывают неприятны.

— На такое дальнее путешествие у меня нет денег, ваше сиятельство.

— Об этом не беспокойся: на корабле ты будешь на казенном содержании...

— Но мне нужны же деньги, ваше сиятельство, хотя бы на карманные расходы.

— На корабле никаких расходов у тебя не будет.

— Я просил бы, ваше сиятельство, другого наказания...

— Ты говоришь глупости!.. Это наказание... воля его величества, а долг всякого — повиноваться священной воле монарха, — произнес Аракчеев и махнул рукой, давая тем знак, чтобы вертопрах оставил его.

Тольский вышел, понуря голову; он никак не ждал себе такого наказания.

На другой день его из тюрьмы перевели в Адмиралтейство, а потом — в Кронштадт. Отсюда через несколько дней должен был уйти в дальнее плавание военный корабль под названием «Витязь», на котором приказано было находиться и Тольскому.

Молодого дворового Ивана Кудряша ему разрешили взять с собою. Кудряш был рад, что так дешево отделался; он ожидал себе более строгого наказания.

— Ты скажи, Ванька, может, тебе не хочется путешествовать по морю; я буду за тебя просить, и тебя оставят, — сказал ему Тольский за день до своего отъезда.

— Обижать меня изволите, сударь! Куда вы, туда и я... Хоть на край света белого, мне все едино.

— И ты не боишься моря? Ведь ты свою жизнь подвергаешь большой опасности...

— А разве вы, сударь, не подвергаете?

— Я по необходимости. По своей воле разве я поехал бы?

— А у меня и подавно своей воли нет, и никогда ее не бывало... Я — человек подневольный.

— Да ведь тебя не неволят ехать со мной.

— Действительно не неволят, а все же от вас я не отстану... Одна только смерть разлучит меня с вами.

Эти простые, задушевные слова верного слуги тронули Тольского так, что на глазах его навернулись слезы.

Но вот настал день, когда корабль «Витязь», хорошо вооруженный, с бравыми и ловкими матросами и с умным и дельным капитаном, должен был выйти в море.

Тольский с самого раннего утра находился на корабле; однако за ним строго следили, так что о побеге и думать было нечего. Волей-неволей он был принужден покориться своей участи и против своего желания совершить прогулку по океану. Доброжелатели снабдили его в дальнюю дорогу всем необходимым, в том числе и деньгами.

Капитана «Витязя» звали Иваном Ивановичем Львовым; это был плотный, мускулистый мужчина лет сорока, с умным, энергичным лицом; он обладал покладистым характером, добрым сердцем, но по временам был вспыльчив. На службе он был исполнителен, строг и требователен, не допуская со стороны подчиненных никаких упущений.

Такому пассажиру, как Тольский, капитан не был рад. Он хорошо знал, кто и что такое Тольский, и предвидел уже кучу хлопот и неприятностей.

— Не было заботы, и вдруг неожиданно-негаданно как с неба свалилась!.. — хмуро проговорил он, обращаясь к своему приятелю, корабельному доктору Сергею Сергеевичу Кудрину, с которым он уже два раза совершил путешествие вокруг света и теперь готовился предпринять третье.

— Ты говоришь про пассажира, что ли? — не выпуская короткой трубки изо рта, спросил Сергей Сергеевич.

— А то про кого же? Этот самый пассажир — чтобы черт его побрал! — на мою шею сядет. Уж чует мое сердце, чует, — горячо произнес Иван Иванович, бегая по палубе.

— Ты преувеличиваешь, право, преувеличиваешь. Ведь Тольский не походит на то, что о нем рассказывают.

— Благодарю покорно! Да разве ты знаешь его? Тебе известны его душевные качества?

— Неизвестны... Чужая душа темна... Я только сужу по лицу Тольского, — спокойно произнес Сергей Сергеевич.

— Да и с лица-то он — сущий разбойник! — воскликнул Львов. — Глазищи у него черные, горят как уголья, в них удаль, отвага... Роста без малого сажень, в плечах тоже не меньше... Ну как есть разбойничий атаман; так и ждешь, что он крикнет: «Сарынь на кичку!»

— Ты лучше скажи — Тольский напоминает собою русского богатыря.

— А, похоже, он пришелся тебе по нраву и ты не прочь свести с ним дружбу? — сердито произнес Иван Иванович.

— Мне всякий хороший человек по нраву.

— Стало быть, Тольский, по-твоему, хороший человек? Да разве ты не знаешь, не слыхал о его художествах?.. Ведь это — отъявленный шулер и дуэлянт; он не одного человека на тот свет отправил...

— Знаю, Иван Иванович, знаю. Он за убийство офицера Нарышкина попал вместо ссылки на наш корабль.

— Ну, ну... Чего же еще тебе надо? И такого негодяя ты хвалишь, заступаешься за него? — упрекнул капитан приятеля.

— Я не хвалю и не заступаюсь, я только говорю, что Тольский своею наружностью напоминает русского богатыря. По-моему, ты к нему несправедлив.

— От своего мнения о Тольском я не отступлюсь, — горячо проговорил капитан Львов. — Я ничего не пожалел бы, если бы его убрали с моего корабля.

— Напрасно горячишься, Иван Иванович; если пассажир будет дебоширить на корабле, ты имеешь полное право его унять, усмирить.

— Попробуй-ка, уйми... Мне приказ дан ни в чем Тольского не теснить и смотреть на него не как на подчиненного, а как на пассажира.

— В море, на корабле, все подчинены капитану.

— Не скоро уломаешь такого детину. Впрочем, если он забунтует, ссажу его на первый попавшийся остров — и вся недолга!

Через час на палубе было отслужено молебствие, и после прощания моряков с родственниками «Витязь», распустив паруса, плавно отошел от причала.

На палубе, у самого борта, стоял и Тольский; на этот раз его лицо было печально и задумчиво; с ним рядом стоял Иван Кудряш; на глазах молодого парня тоже были видны слезы.

— Неужели все прощай и всему конец? — тихим, дрожащим голосом проговорил Тольский и, махнув рукою, побрел в отведенную ему каюту.

XIX

Алексей Михайлович Намекин скоро совсем поправился от полученной на дуэли раны и уже мог выезжать. Первый его выезд после выздоровления был к невесте.

Красавица Настя, не помня себя от радости, бросилась встречать дорогого гостя.

— Я ждал, ждал тебя, Настя, и приехал сам... Что же ты так давно у меня не была? А может, забыла меня и не хотела навестить? — шутливо проговорил Намекин, усаживаясь на диван в уютной гостиной майорского дома.

— Алеша, милый, зачем ты так говоришь? Я давно порывалась к тебе...

— Что же тебя, милая, останавливало?

— Прихворнула я с той ночи; видно, простудилась...

Молодая девушка проговорилась. Поступок Тольского скрывали от молодого Намекина, опасаясь расстроить его.

— С какой ночи? — живо спросил он.

Настя поняла, что проговорилась, и ей волей-неволей пришлось рассказать о том, как Тольский увез ее из отцовского дома, как держал взаперти у поляка Джимковского и как наконец ей удалось спастись оттуда.

Этот рассказ сильно встревожил и огорчил Намекина.

— Мерзавец! За этот низкий поступок я убью его. Как он смел увезти тебя, мою милую невесту? Нет, это даром не пройдет ему, — горячо проговорил он.

— Успокойся, милый, Тольский уже наказан: он в тюрьме... Его по приказу губернатора арестовали и будут судить.

— И, наверное, признают невиновным и отпустят на все четыре стороны. У этого мерзавца есть в Питере друзья... Нет, я буду судить его своим судом... Я, как твой жених, должен отомстить за тебя...

— Да не тревожься, Алеша... Поверь, к нему придет возмездие — рано ли, поздно ли.

— Какая наглость, и при этом какая смелость! Впрочем, удивляться нечему: Тольский — тот же разбойник, а разбойники обладают и смелостью, и наглостью. Что же, Настя, твой отец, я думаю, был сам не свой от испуга?

— Папа переживал за меня ужасно. За те два дня, пока Тольский держал меня под замком, бедный папа крайне изменился, он совсем постарел. А знаешь, Алеша, нет худа без добра: до несчастья со мной папа имел очень крутой нрав, и нашим бедным дворовым немало от него доставалось; а теперь его узнать нельзя: он стал ласковым и в обращении с дворовыми совсем переменялся.

— А он теперь дома?

— Нет, но скоро придет... Да вон он, легок на помине, — весело ответила молодая девушка, показывая на входившего в горницу старого майора.

По его лицу видно было, что он чем-то очень встревожен.

— Я с новостью... И знаете ли, с какой? — как-то глухо произнес он, обращаясь к дочери и к гостю.

— С какой? — в один голос спросили у него молодой Намекин и Настя.

— Подлец Тольский бежал из тюрьмы. Оказывается, он хитрее самого дьявола: он вместо себя оставил в тюрьме крепостного кучера, а сам, переодевшись в его тулуп, улизнул.

— Кто же вам сказал об этом?

— Случайно повстречался мне знакомый пристав, он и сообщил; по всем дорогам за негодем погоня послана, и наверняка его изловят.

— Большой мерзавец этот Тольский, но ему придется со мною увидаться: он должен ответить и за меня, и за мою милую невесту! — воскликнул Намекин.

— Как, разве вы знаете, Алексей Михайлович?

— Знаю. Настя все сказала мне.

— И напрасно сделала. Вы еще не совсем оправились, и вам тяжела всякая неприятность.

— Нет, нет! Я совершенно здоров, и, чтобы доказать вам это... через неделю меня будут венчать с вашей дочерью... Вы, Гавриил Васильевич, кажется, удивлены моею поспешностью?

— Правда, удивлен, признаюсь.

— Я и Настя, мы решили... Не так ли, моя милая?

— Да, да, Алеша, — поспешила ответить ему Настя.

— Ну а как же ваш отец, Алексей Михайлович? — спросил майор.

— Отец наверное согласится. Я завтра же поеду к нему в усадьбу...

— А если не согласится... тогда что?

— Тогда я обвенчаюсь без его согласия.

Намекин волновался, в его голосе слышалось раздражение.

Майор и его дочь не стали ему возражать, опасаясь расстроить еще более.

На следующий же день Намекин отправился в усадьбу к отцу. Тот довольно холодно встретил сына, догадываясь о причине его приезда.

— Батюшка, вам известна моя любовь к Насте, и я прошу вас благословить меня, — твердым голосом произнес Алексей Михайлович.

— Ты только затем и приехал ко мне? — немного подумав, спросил генерал.

— Да, батюшка, только за тем.

— Не стоило ехать... Тебе хорошо известен мой взгляд на этот неравный брак. Я уже не раз говорил, что никогда не дам тебе согласия жениться на майорской дочери.

— А все же я женюсь на ней.

— Что же, дело твое, женись! Только тогда вместо одной свадьбы будут две зараз, — насмешливым тоном произнес Михаил Семенович. — Ты хочешь жениться на майорской дочери, а я тоже женюсь — на дочери моего старосты, на Аришке; ты видал ее, знаешь.

— Что вы говорите, батюшка, что говорите? — с удивлением и испугом воскликнул молодой Намекин.

— А что, сынок любезный, разве мой выбор тебе не по нраву?

— Вы шутите, батюшка?

— Почему? Ведь ты же женишься?

— Жениться в ваши лета, и на ком? На крепостной девке!..

— Что же, Аришка — девка красивая, статная, полная, — говоря эти слова, генерал не спускал насмешливого взгляда с сына и как бы наслаждался его смущением. — Аришка будет генеральшей хоть куда, поверь мне.

— Батюшка, прошу вас, умоляю, не разбивайте же моего счастья!

— Я забочусь о твоём счастье. Пойми, Алексей, ты мне дорог. Ведь вас у меня всего двое: ты да Маша, и мое непереносимое желание видеть вас счастливыми.

— Если так, то разрешите мне жениться на Насте, батюшка, и это будет высшим счастьем для меня.

— Ты думаешь? Смотри, Алексей, не ошибись. Неровню возьмешь, жизнь несчастную наживешь.

— Да чем же, батюшка, Настя мне неровня? Ведь вы сами хвалили ее красоту, ее нрав.

— Я и сейчас скажу, что она — красавица, нрав имеет хороший. А все же тебе она — неровня, и, пока я жив, я никогда не назову ее своей невесткой.

— Так вы, батюшка, решительно отказываете в своем согласии на мою женитьбу, да? Так повторяю вам: я все равно женюсь на Насте.

— Я тоже повторяю, что женюсь на старостиной дочери Аришке, и моя свадьба будет в один день с твоею.

— Но, если вы решитесь на этот необдуманный поступок, что скажет наше общество?

— То же, что скажет, когда узнает, что ты — единственный наследник именитого рода бояр Намекиных — женишься на дочери худородного майора

— Между дочерью майора и дочерью крепостного мужа, я думаю, есть некоторая разница!

— Самая незначительная, — с насмешкой ответил генерал.

Алексей Михайлович удрученный вышел из кабинета отца и направился к сестре. Он сообщил ей о своем разговоре с отцом и, чуть не плача, воскликнул:

— Что же делать... что делать?

— Я и сама потеряла голову. Одно скажу: если папа грозил тебе, что женится на Арине, он так и сделает.

— Но ведь это будет не свадьба, а позор. Родовитый барин, генерал, и женится на крепостной девке!.. Это — на весь наш род пятно.

— И не говори... А мне-то, Алеша, каково?! Хорошо ли, если папа на правах хозяйки введет в наш дом деревенскую девку? Я тогда не останусь здесь... Я в монастырь уйду, или ты меня к себе возьми, — со слезами проговорила добрая Мария Михайловна.

— Успокойся, милая, этого никогда не будет.

— Нет, нет, будет... Ты вопреки желанию папы женишься на Насте, а он, чтобы отомстить тебе, непременно женится на старостиной дочери.

— Повторяю, Маша, этого не будет. Раз дело складывается так, то, как мне ни больно и ни тяжело, а все же придется на неопределенное время отложить свадьбу.

— А как же Настя?.. Она так любит тебя!

— Настя — умная, рассудительная девушка и поймет мое положение. Ведь наш отец решителен, настойчив и

действительно способен жениться на крепостной девке. Чтобы не допустить этого, я должен принести жертву — отсрочить свадьбу! — с глубоким вздохом сказал Намекин.

— Ах, Алеша, ты представить не можешь, как мне жаль и тебя, и Настю. О, как была бы я рада, если бы поскорее состоялась твоя свадьба. Но надо выждать... Может, папа смягчится и даст тебе свое согласие. Ты поезжай в Москву, а я стану говорить о Насте с папой ежедневно, стану хвалить ее красоту и нрав. А если увижу, что папа в хорошем расположении духа, буду у него за вас просить.

— Отец обругает тебя, прикажет замолчать...

— Кто знает, может, мне и удастся... Потерпим... может, как говорят, и на нашей улице будет праздник.

— Делать нечего, станем дожидаться.

Молодой Намекин пробыл в усадьбе отца дня три, больше он уже не начинал с ним разговора о своей женитьбе на Насте, считая это занятие напрасным и не ведущим к цели.

Генерал очень был рад, что сын не беспокоит его неприятным разговором.

XX

Дворецкий дома Смельцова и сторож Василий решили следить за таинственными жильцами в мезонине, то есть за барыней Надеждой Васильевной и ее служанками. Для этого они стали попеременно дежурить у калитки, запертой на замок; они догадались, что через эту калитку выходили из мезонина на улицу; их догадку подтверждали и следы, видневшиеся на снегу.

Сторож вставал ранним утром и отправлялся на дежурство к калитке с улицы, так что проходившие со двора в калитку не могли видеть его; ему на смену выходил и Иван Иванович.

Дня два-три оба они простояли у калитки понапрасну, но как-то Василий ранним утром, когда на улицах было совершенно темно, ясно услышал стук отпираемого замка. Вот калитка отворилась, из нее вышла какая-то закутанная в платок и меховую шубу женщина и быстро осмотрелась вокруг.

Вдруг перед ней как из-под земли вырос Василий. Женщина испуганно вскрикнула и хотела было нырнуть

обратно, но было поздно: сторож крепко держал ее за руку.

— Пусти, чего вцепился? — сердито проговорила Фекла; она отправлялась на базар за провизией, не подозревая, что за ней следят, и совсем неожиданно угодила в руки сторожа. — Пусти, говорят тебе; ишь, лапы-то у тебя, как у медведя! — И она стала отбиваться от крепко державшего ее Василия.

— Врешь, не уйдешь! Говори, кто ты?

— Да ты меня, старый лесовик, не узнал, что ли? Феклы дворовой не признал?.. А еще сторож...

— Неужели ты — Фекла? — удивился Василий. — Да как же ты здесь очутилась?

— Долго про то сказывать, да и не время... Ну чего вцепился, пусти!

— Нет, зачем же... Не за тем я мерз на улице, поджидая тебя... Пойдем к дворецкому!

— Не пойду я...

— Не пойдешь, так насильно потащу.

— Уж где тебе, старый хрыч! У тебя силенки на то не хватит! — И Фекла презрительно засмеялась.

— Один не осилю, «караул» закричу.

Стряпуха принуждена была покориться и пошла за сторожем. Тот привел ее к дворецкому.

Немало удивился Иван Иванович, увидев перед собою хорошо известную ему женщину.

— Фекла, ты ли это? — воскликнул он. — А я думал, тебя и в живых нет. Так это ты в мезонине живешь?.. Это, видно, ты жильцов наших пугала, изображая нечистую силу?

— Ну я... А тебе что за печаль?

— Зачем же ты делала это?

— Так захотела.

— Это не ответ, Фекла. Мне нужен ответ точный. Скажи, с кем ты живешь в мезонине?

— Одна, — отрывисто ответила Фекла.

— Вранье. Я знаю, с кем ты живешь.

— А если знаешь, так зачем спрашиваешь? Отпусти скорее, меня дожидаются.

— Тебя дожидается наша барыня, Надежда Васильевна, ведь так?

— А ты как узнал, как пронюхал? Видно, подсмотрел... Сколько раз говорила я барыне не ходить ночью по пустым горницам: подстерегут, увидят; вот так и вышло.

— Лукерья тоже живет с вами? — спросил дотоле молчавший сторож Василий.

— Ну живет! Тебе все надо знать, старый леший! — огрызнулась на него Фекла.

— Удивленья достойно!.. Как это мы вас, живых людей, за привидения принимали. И почти пять лет продолжалось наше заблуждение. Да и не одних нас вы обманывали, а много людей. Сколько жильцов перебивало в нашем доме, и всех вы надували, — с удивлением промолвил Иван Иванович.

— А разве дураков-то мало на свете?

— Теперь поведай нам, с какой целью вы людей пугали?

— Ничего я тебе не скажу, да и недосуг: меня барыня дожидается. Я пойду... — И Фекла быстро направилась к двери, но дворецкий так же быстро загородил ей дорогу.

— Ты отсюда не выйдешь до тех пор, пока не объяснишь нам всего! — проговорил он. — Я дворецкий, и мне подобает знать и ведать все, что в этом доме происходит.

— Ну и знай, только меня выпусти! Ведь мне надо на базар бежать за провизией.

— Если ты не расскажешь мне, придется в полицию тебя отправить, — пострадал дворецкий.

— Да ты никак рехнулся? За что про что отправлять меня в полицию?

— А за то, что ты честной народ пугала, за ведьму себя выдавала, за нечистую силу.

— Ты вздумал меня полицией страшать? Так вот я что тебе скажу: я и полиции не больно боюсь, отправляй хоть сейчас. Только помни: узнает об этом наш барин, достанется тебе от него!..

Так и пришлось Ивану Ивановичу, ничего не узнав, отпустить вздорную старуху.

— Ну и баба!.. Сухая ведьма, — проговорил ей вслед старик сторож. — С такой бабой, чай, невесело живется нашей барыне.

— А знаешь, Василий, как-нибудь нам нужно проникнуть в мезонин, — задумчиво проговорил Иван Иванович.

— Да ведь не пустят, не отопрут двери.

— Ключ теперь у Феклы; надо ждать, когда она вернется с базара, и идти следом за нею.

— Так она и пустит нас!

— Да неужели мы вдвоем не сладим с Феклой?

— Поди-ка сладь с нею, чертовкой. Драться с ней, что ли, прикажешь?

— Зачем драться? Можно обойтись и без этого! Пойдем мы к калитке и дождемся Феклы: она скоро должна домой вернуться с базара.

— Пожалуй, пойдем, только из этого едва ли что выйдет.

Ждать старикам пришлось недолго. Фекла возвратилась с базара с большим мешком за плечами и узлом в руках; провизии она брала дня на три. Калитка была заперта; Фекла отворила ее, вошла на двор и подошла к двери, ведущей в мезонин. Спустив с плеч мешок и положив узел, она отперла дверь, но, едва опять взвалила мешок на спину, взяла узел и приготовилась идти по лестнице, ей преградили дорогу дворецкий и сторож.

— Вы... вы зачем? Кто вас звал! — заслоняя им дорогу, сердито проговорила старуха.

— Мы без зова, пропусти! — решительным голосом произнес Иван Иванович.

— Мы к барыне... к Надежде Васильевне, — сказал сторож Василий. — Мы должны видеть ее.

— Едва ли увидите: я не пущу вас.

— Как бы не так!.. Ну что стоишь как пень? Пусти с дороги! — строго промолвил дворецкий и оттолкнул старуху так, что та чуть не полетела.

Старуха разразилась бранью, но Иван Иванович, не обращая никакого внимания на это, быстро поднимался по лестнице в мезонин, а за ним поспешно следовал сторож.

Возня и крик Феклы на лестнице донеслись до Надежды Васильевны, и она послала Лукерью узнать, что сие безобразие означает.

Девушка торопливо вышла на лестницу, и крик удивления и испуга вырвался у нее из груди при взгляде на двух людей, ворвавшихся в сени силою.

— Лукерья, это ты? — спросил у нее старичок дворецкий.

— Я... я... — робко ответила молодая девушка.

— Барыня изволили встать, да? Так поди доложи, что дворецкий этого дома и сторож просят дозволения видеть ее.

— Не смей, Лукерья, докладывать, гони их, разбойников, в шею... Возьми полено и гони! — закричала на лестнице стряпуха.

Однако Иван Иванович поторопился войти в переднюю; за ним вошел и Василий.

С бранью и криком вошла туда же Фекла.

— Что это все значит, Фекла? Что ты кричишь, кого ругаешь? — выходя в переднюю, с беспокойством проговорила Надежда Васильевна; это беспокойство увеличилось еще более, когда она увидала в передней каких-то двух незнакомых стариков. — Кто вы... и как сюда попали? — испуганным голосом спросила она.

— Я... я — дворецкий этого дома, а это — сторож, матушка-барыня; оба мы — крепостные вашего супруга, Викентия Михайловича, — с низким поклоном проговорил Иван Иванович.

— Что же вам надо?

— Пришли мы, сударыня наша, справиться, как вы здесь изволите жить, не имеете ли в чем нужды.

— Ишь подъезжает, старый леший! Гони их, барыня, вон... Что на них глядеть-то! — крикнула стряпуха вне себя от злобы.

— Замолчи, Фекла! — остановила ее молодая женщина. — Так ты дворецкий? — спросила она у Ивана Ивановича. — А ты сторож? — обратилась она к Василию.

— Так точно, барыня, — с низким поклоном ответили оба.

— Что же вас привело сюда, ко мне? И как вы узнали, что я живу здесь? Как проникли сюда?

— Да эти два старых лесовика подстерegli меня. Я с базара возвращалась... Они, проклятые, и набросились, точно разбойники! — опять крикнула Фекла.

— Прикажете, барыня, этой злой бабе умолкнуть, и я все, с вашего барского дозволения, объясню вам, — промолвил старик дворецкий и, когда Смельцова велела Фекле уйти, рассказал ей о том, как он и сторож принимали «добрую барыню» за привидение или пришлицу с того света и, наконец, как им удалось выяснить, кто находится в мезонине. — Как узнали мы, матушка-барыня, что вы в мезонине проживаете со своими прислужницами, так у нас и отлегло от сердца, точно гора с плеч. И думаем мы с Василием: есть теперь нам кому послужить, есть о ком позаботиться, — закончил Иван Иванович свой рассказ.

— Спасибо... Теперь я припоминаю: ты, кажется, прежде лакеем служил в усадьбе?..

— Так точно, барыня, выездным лакеем...

— Да, да... припоминаю... Тебя, старик, я тоже знаю... видала, — обратилась Надежда Васильевна к Василию.

— Как же, сударыня-барыня!.. Имел честь и я служить вашей милости.

— С нынешнего дня мое затворничество наполовину кончается. Я уже не буду скрываться от вас или выдавать себя за привидение. Но это только для вас, для других я по-прежнему не существую на свете... Никто не должен знать, что я живу здесь... Надеюсь, ты меня понимаешь? — обратилась молодая женщина к дворецкому.

— Понимаю, матушка-барыня, понимаю.

— Квартиру отдавать жильцам больше не надо.

— Я и не сдаю: с жильцами-то одни хлопоты да неприятности... Вот хоть бы последний жилец, господин Тольский...

— Это тот, который хотел проникнуть ко мне в мезонин и ломал двери?

— Он самый. Отчаянный человек... В тюрьму его посадили, а он убежал... Картежник, дуэлянт...

— О нем ты как-нибудь расскажешь после... Он заинтересовал меня... Ты пишешь мужу за границу? — меняя тему разговора, спросила у дворецкого Надежда Васильевна.

— Пишу, сударыня, только редко.

— О том, что я буду жить теперь несколько по-другому, а также и о том, как ты и Василий узнали, что я обитаю в мезонине, ты барину писать погоди...

— Слушаю, как прикажете...

— Теперь ступайте; когда будете нужны, я позову...

Дворецкий и сторож с низким поклоном оставили жилище своей госпожи.

XXI

Корабль «Витязь» уже несколько недель шел по Северному Ледовитому океану. Немало перенес он бурь с того дня, как выбрался из Кронштадта в открытое море, а там и в океан. Немало натерпелись страху и находившиеся на корабле. Тольский, всегда отважный, не признававший никаких опасностей, не раз смело глядевший в глаза смерти, очутившись в Ледовитом океане, струсил, когда морские волны стали бросать «Витязь», словно щепку или ореховую скорлупу. Ни во что не веровавший и ничего не призна-

вавший, он в тяжелую минуту опасности усердно молился, прося Бога о спасении.

Как-то среди дня небо неожиданно покрылось черными тучами и поднялась страшная буря; оглушительные удары грома сменялись ужасным ревом волн. Ослепительные молнии разрезали небесный свод, волны были так велики, что ежеминутно угрожали раздавить, расплюснуть «Витязь». Минута была страшная, и многие на корабле готовились к смерти.

Вдруг среди оглушительного рева волн и воя ветра раздалась громкая команда капитана Львова:

— Руль и брасы по ветру!

В одну минуту все матросы были на палубе. «Витязь» вдруг переменял направление и полетел с неимоверной быстротой под попутным ветром.

А буря все продолжала свирепствовать; волны вырастали в целые горы. Мужественному капитану и матросам пришлось несколько часов бороться с разыгравшейся стихией.

Свидетелем такой ужасной бури Тольский был в первый раз; он тоже испугался и, подойдя к капитану, тихо спросил у него:

— А что, господин капитан, опасность близка?

— Ближе, чем вы думаете...

— А что же нас ждет?

— А то, что наш корабль может ежеминутно превратиться в щепки, — спокойно ответил Тольскому Львов.

— Боже! И мы все погибнем...

— Что, трусили? Смерти испугались? Эх, господин Тольский!.. Видно, вы храбры только на земле, да и то, когда противник слабее вас.

Слова капитана обидели Тольского.

— Господин капитан! — воскликнул он. — Не советую разговаривать со мной в таком тоне даже в подобную минуту...

— Что, на дуэль вызовете?

— Нет, здесь я в вашей воле...

— Неверно, сударь, все мы находимся в Божьей воле... Однако отойдите, господин Тольский, вы мне мешаете.

От капитана Тольский подошел к доктору Кудрину и спросил у него:

— Скажите, Сергей Сергеевич, правда, что мы на волосок от смерти?

— Правда. Опасность большая.

— И мы погибнем?

— Не знаю, не знаю... А вы в Бога верите? — строго спросил доктор.

— Теперь верю, — несколько подумав, ответил Тольский.

— Так... Стало быть, вера у вас появилась только в минуту опасности, когда, так сказать, вы одной ногой в гробу стоите? А вы молились ли?

— Да, молился... И кажется, в первый раз в жизни так усердно.

— Это хорошо... Видно, поговорка правдива: кто на море не бывал, тот Богу не маливался... Вы в первый раз попали в такую переделку?

— Разумеется! Да и на корабле я впервые. А вы, Сергей Сергеевич, видно, привыкли к таким ужасам?

— Пора привыкнуть... Лет тридцать морским лекарем состою... Два раза был в экспедициях вокруг света. Не единожды бывал на волосок от смерти.

— Выходит, вы не боитесь бури?

— Чего ее бояться?.. И вам не советую бояться: ведь своей судьбы не минуешь...

Наконец, буря мало-помалу начала стихать. Опасность почти миновала; все приободрилось и стало веселее. Была уже ночь. Небо очистилось от туч, ветер стих, и «Витязь» уже плавно шел под всеми парусами.

Тольский, видимо, успокоенный, с палубы отправился в свою каюту.

— Ванька, трус, где ты? — позвал он камердинера.

— Я... здесь, сударь, — откликнулся молодой парень, вылезая из-под дивана.

— Дурак, нашел себе укромное местечко!.. Не все ли равно, где умирать: сидя на диване или лежа под ним?

— Скажите, ради Бога, сударь, миновала буря?

— Миновала, миновала, трус ты эдакий!..

— Неужели?.. Вот слава Богу! А что со мною было-то, сударь!.. Меня по каюте ровно мячик из стороны в сторону перебрасывало... Уже я стал было читать себе отходную, не думал в живых остаться...

— Это под диваном ты отходную читал?

— Да под диваном-то мне покойнее было; я за ножки дивана придерживался, меня и не перекидывало. А вы, сударь, видно, на палубе были?

— На палубе; я хотел встретить смерть лицом к лицу... А признаться, и я струсил, когда сердитые волны играли нашим кораблем, как мячиком, когда небо разверзалось от молний и гром глушил... и смерть витала над

нами... ужасная смерть... В другой раз я ни за какие сокровища не пойду на корабле по океану. К тому же капитан на меня медведем смотрит... Положим, я не очень-то ролею...

— И на меня тоже. Вчера ни за что ни про что такую оплеуху закатил мне, что небо с овчинку показалось.

— Да как он смеет бить тебя? Ты не причислен к его команде!

— Он бьет без разбора всякого, кто под сердитую руку ему попадется. Драчливый человек!.. Многие матросы на корабле им недовольны...

— Ты говоришь, матросы капитаном недовольны? Это для нас, Ванька, неплохо.

— Что же нам-то?

— Опять скажу, Ванька: ты — верный мой пес, а чутья у тебя нет. Ты покажи-ка мне матросов, недовольных капитаном.

— Слушаю, сударь, — с недоумением посматривая на своего господина, проговорил Кудряш и подумал: «Что это барин еще затевает?»

И на самом деле, отношения капитана Львова с Тольским становились все натянутее и в конце концов так обострились, что при встрече они перестали друг с другом кланяться. Честный и порядочный Львов не мог смириться с тем, что у него на корабле находится человек, зарекомендовавший себя с самой дурной стороны.

Эта неприязнь еще более усугубилась, когда до Ивана Ивановича стали доходить слухи, что Тольский начинает водить чуть не дружбу с матросами и настраивает их против него.

— Нет, даром это ему не пройдет, я в дугу скручу его! На корабле он должен мне беспрекословно подчиняться. Я научу его, каналью, повиновению! — сердито кричал капитан в своей каюте, стуча по столу кулаком.

— Да будет тебе горячиться, ведь этим ты кровь свою портишь, — уговаривал его доктор Кудрин.

— Да как же мне не горячиться, когда этот мерзавец настраивает против меня команду? Чуть не бунт хочет учинить, разбойник. Но это ему не удастся, он меня еще не знает!..

— А что ты с ним сделаешь?

— Скручу руки и брошу в трюм, а чтобы ему не скучно было, туда же отправлю и его холоуя...

— Этого ты, Иван Иванович, не сделаешь... Ты, верно, забыл, что Тольский имеет в Петербурге сильные связи...

— Ну так и пусть они сами с ним валандаются, как хотят, а мне такой пассажир не нужен. Он дождется, что я ссажу его на каком-нибудь необитаемом острове, пусть там и околевает с голоду. Я человек не злой, худа и недругу своему не пожелаю... Я не злопамятен, а этот Тольский возмутил меня до глубины души. Я... я не могу переносить его насмешливый тон, не могу видеть эти хитрые глаза. Затеянное Тольским безобразие на моем корабле даром ему не пройдет... Он мне ответит, и строго ответит.

При последних словах капитана дверь в его каюту отворилась и на пороге неожиданно появился Тольский.

— Вы меня, господин капитан, призываете к ответу? — спокойно произнес он: очевидно, последние слова Ивана Ивановича дошли до его слуха.

— Да, вас! — крикнул в ответ капитан.

— За что же? Я, кажется, никакого проступка не учинил.

— Вы уже сейчас нарушили дисциплину и вошли в мою каюту, не спросив на то моего согласия.

— Я проходил, господин капитан, мимо двери и услышал...

— Что вы услышали?

— Нельзя ли немного хладнокровнее, господин капитан! Пожалуйста, не заставляйте меня напоминать, что я — не солдат, не матрос. Если бы я не услышал, как вы произнесли мою фамилию и слово «ответ», я не вошел бы к вам. Вы обвиняете меня? Должен же я знать, в чем и чего от меня требуют?..

— Да, если хотите, я обвиняю вас, черт возьми!.. Вы восстанавливаете против меня команду.

— Вот что? А далее, господин капитан? — насмешливым тоном спросил Тольский и, сев без приглашения на стул, положил ногу на ногу.

Это совсем взбесило капитана Львова.

— А далее вот что: я выброшу тебя за борт, дьявол! — в ярости крикнул он и со сжатыми кулаками ринулся на Тольского.

Но тот нисколько не потерялся, быстро встал, еще быстрее вынул из кармана небольшой пистолет и, крикнув: «Прочь руки!», прицелился.

Старичок доктор, бледный, встревоженный, бросился между ним и капитаном, уговаривая обоих:

— Господа, господа... что вы?.. Опомнитесь! Ну что за ссора. Протяните друг другу руки... помиритесь!

— Я... я не могу более переносить этого человека на моем корабле, не могу, не могу! — закричал капитан, показывая на Тольского.

— А я вас... Как видите, наши чувства обоюдны. Вернитесь, господин капитан, в Петербург, мы тогда расстанемся навеки, — насмешливо произнес Тольский.

— Я... я постараюсь раньше отделаться от вас. Вы доведете меня до того, что я высажу вас на первый попавшийся остров.

— Этого вы не сделаете, господин капитан. Вам отвечать придется.

— И отвечу, зато от вас избавлюсь...

— Вернитесь и ссадите меня хоть в Швеции.

— Я ссажу вас, но только не в Швеции. А теперь прошу оставить мою каюту!

— Охотно, господин капитан, подчиняюсь этому. — И Тольский вышел.

Иван Иванович послал ему вслед отборную брань.

Однако эта сцена не образумила московского вертопраха. Действительно, он и его камердинер Иван Кудряш задались мыслью посеять вражду между капитаном и матросами. Почва для этого была благоприятная: многие матросы были недовольны строгим и требовательным капитаном и рады были чем-нибудь насолить ему.

Особенно доволен был старик матрос, прозванный Волком за свой мрачный и нелюдิมый нрав; никто из матросов никогда не видел улыбки на его хмуром лице, не слышал от него веселого разговора или смеха.

Волк был опытным моряком, аккуратным и исполнительным; в своей жизни побывал он во многих экспедициях и отличался необыкновенной смелостью. В обращении со всеми, даже со своим начальством, Волк был груб. Однако на корабле его терпели как незаменимого матроса, и на его грубость капитан и другое корабельное начальство смотрели сквозь пальцы.

Но как-то Иван Иванович, выведенный из терпения наглым ответом Волка, ударил его по лицу. Волк побледнел; его глаза сверкнули страшной злобой, но он все же сдержал себя и молча отошел от капитана, затаив в своем сердце жгучую к нему ненависть.

Враждебное отношение Тольского к капитану Львову было известно всем матросам; недовольные капитаном радовались этой вражде и поощряли Тольского. К недовольным пристал и Волк.

— Ты, барин, положишься на меня, я буду хорошим тебе помощником и слугою, — хмуро сказал он Тольскому.

— Ты тоже недоволен капитаном?

— Разумеется... Кто же будет доволен таким зверем? Я никогда не забуду, как он меня ударил... У меня, барин, и сейчас горит лицо от того удара. Надо же, при всей команде стукнул... Ведь в морях-то я служу тридцать лет, и вдруг оплеуха! Суди, барин, легко ли мне?

— Да, да... Капитан к тебе, старина, несправедлив.

— Я за этот удар отплатил бы ему ножом, да боюсь греха, а не того, что за убийство меня самого предали бы лютой казни.

— А ты знаешь, Волк, что я затеваю у вас на корабле?

— Нет. Товарищи болтали, что ты сам хочешь быть капитаном, но я этому не верю.

— А если это — правда? — тихо выговорил Тольский, оглядываясь, чтобы кто не подслушал.

— Право же, барин, чудной ты. Ну какой ты капитан? Не знаешь команды.

— Научиться не трудно. Да, наконец, мы другого поставим капитаном, человека опытного.

— Вот это — другое дело. А со Львовым ты что задумал сделать?

— Ничего особенного. Он будет служить на корабле, только уже не капитаном, а вот хотя бы в твоей должности.

— Вот это хорошо, больно хорошо. Пусть он послужит простым матросом, пусть и над ним покомандуют. Тогда можно будет и его по лицу ударить, как он меня ударил! — злобным голосом произнес Волк, потирая от удовольствия свои мозолистые руки. — А когда ты, барин, расправу с капитаном учинишь? — спросил он.

— Когда на нашей стороне побольше будет людей.

— Их и так немало. Большая часть команды стоит за нас.

— Хорошо, Волк, если бы все матросы захотели сменить капитана.

— Подождем, барин, немного — и нашего полку еще прибудет.

— Что же, подождать можно. Только надо остерегаться, чтобы капитан как-нибудь не пронюхал про наш заговор.

— А ты, барин, думаешь, что он ничего не знает про твою затею?

— Он знает, да только далеко не все.

Тольский с Волком стали усердно подготавливать смуту; они решили во что бы то ни стало отнять у капитана Львова его должность. Недовольных капитаном набралось порядочно.

Однажды утром капитан Львов, выйдя из своей каюты на палубу, обратился к команде с обычным приветствием и не получил никакого ответа.

— Что это значит? Вы, ребята, не хотите отвечать мне? — удивленно спросил он.

Матросы молчали, хмуро поглядывая на своего начальника.

— Вы... вы недовольны мною, так, что ли? Ну, говорите, чем недовольны?

Матросы наперебой стали кричать.

— Недовольны и есть. Голодаем мы на корабле, водки совсем не дают, а если дают, то водой разбавляют.

— Есть не дают, а службу спрашивают! За всякую провинность бьют. Разве это жизнь? От такой жизни хоть в море бросайся.

— Не хотим такой жизни! Не хотим служить! Не вперед, а назад повернем корабль.

Однако эти крики и угрожающие жесты нисколько не испугали мужественного капитана. Он сделал шаг вперед к возмущающимся матросам и грозно крикнул:

— Молчать! Смирно!

И матросы, грозно кричавшие, вдруг, как по мановению волшебной палочки, смолкли.

— Если вы недовольны мною, то пусть каждый из вас говорит поодиночке... Ну, выходи кто-нибудь первым.

От кучи матросов отделился Волк и сделал несколько шагов к капитану.

— А, Волк... Так я и знал!.. Так это ты настроил против меня команду и, наверное, не один, а вот с ним? — сказал Иван Иванович, показывая на безмолвно стоявшего на палубе Тольского.

— Прошу, господин капитан, меня не припутывать, — резко произнес вертопрах, делая вид, будто он ни при чем.

— С вами я после разберусь, господин Тольский, а теперь мне надо поговорить со старым Волком. Ну, отвечай, чем ты недоволен?

— Не я один... Все мы недовольны, — пробурчал старый матрос.

— Кто все-то? Горсть этих дураков, сумасбродов, изменников, готовых первому встречному негодяю продать своего капитана?

Тольский понял намек и грозно промолвил:

— Господин капитан!

— Молчать! — так же грозно остановил его Иван Иванович и обратился к Волку: — Выкладывай же, старый бунтовщик, претензии! Чем вы недовольны?

— Всем, — коротко ответил Волк. — Служба тяжелая, пища плохая... А еще гибель нас страшит: время к зиме подвигается, а мы идем по Ледовитому океану. В порошок сотрут льды наш корабль вместе с нами... А жизнь нам дорога: на родине нас ждут семьи. Не хотим мы гибнуть во льдах!

— Не хотим, не хотим! Домой хотим! Корабль назад! — опять раздалась грозные голоса матросов.

— Безумцы, не того вы хотите, что требуете! — не теряя спокойствия и присутствия духа, сказал Львов. — Вы хотите или, скорее, вас подговорили требовать, чтобы я сложил с себя звание капитана, ведь так?

— Будет, покапитанствовал, отдохни теперь! — грубо вымолвил Волк, злобно сверкнув глазами на Львова.

— Я знаю, старый бунтовщик, за что ты на меня обозлился: я раз тебя ударил, так вот получай второй...

Размахнувшись, он влепил Волку звонкую пощечину.

Старый матрос закричал и в бешенстве кинулся на капитана. Но тот был силен, ловок и одним ударом в грудь опрокинул Волка на палубу.

— Скрутите ему руки и бросьте в трюм! — распорядился Иван Иванович, с презрением показывая на старого моряка.

Волк не успел опомниться, как его руки были крепко скручены; еще несколько секунд — и старый моряк очутился в трюме.

Партия недовольных матросов с Тольским заволновалась было, но капитан Львов сумел скоро укротить их.

— Марш по местам! Первого, кто осмелится поднять на меня руку, прикажу выбросить за борт! — грозно крикнул он.

Бунтовщики, повесив головы, как бы сознавая свою виновность, стали расходиться.

Тольский, проклиная неудачу, тоже хотел было улизнуть в свою каюту, но его остановил капитан:

— А вы, господин главный зачинщик, куда же? Прошу остаться здесь.

— Что же мне здесь делать? Ругаться с вами, что ли?
— Ну, ругаться со мной вы не смеете... Я — ваш судья, а вы — подсудимый!..

— Вот что... Никак вы судить меня собираетесь? — не меняя своего насмешливого тона, спросил Тольский.

— Да, собираюсь... И предупреждаю: суд будет строгий, очень строгий.

— К чему же вы присудите меня? Не забывайте, я — дворянин и с людьми моего ранга обращаются...

— Их выбрасывают за борт! — грозно крикнул капитан.

— Что? Что такое? Меня за борт?... — закипятился было Тольский, но тотчас утратил свое хладнокровие и побледнел.

— Струсил! — презрительно сказал капитан. — Эх, мишурный герой!.. Ну успокойся, хоть ты и заслужил, я за борт тебя не выброшу. Имеется для тебя другое наказание.

— Какое?

— Об этом ты узнаешь своевременно...

— Однако послушайте, капитан! Вы обращаетесь со мною, как с последним матросом.

— Последний матрос честнее и благороднее тебя.

— Капитан, вы ответите... вы... вы не можете и не должны оскорблять меня, — горячился Тольский.

— Я не хочу продолжать с вами разговор, уходите...

Тольский направился в свою каюту, где поджидал его Кудряш, и рассказал ему о неудавшемся бунте.

Кудряш чуть не плакал. Но они не могли ничего сделать: к двери их каюты был приставлен часовой — оба они очутились под арестом, капитан приказал никуда не выпускать их.

Как ни горячился Тольский, но принужден был покориться своей участи и ожидать, что будет дальше.

Вечером в каюту Тольского тихо вошел Кудрин.

— А, господин доктор, рад вас видеть, — радушно приветствовал его Тольский. — Что скажете хорошенького?

— Да хорошего мало! Ведь я послом от капитана.

— Что ему надо от меня?

— Видите ли, сударь мой, через два-три дня наш корабль бросит якорь у берегов Аляски. Капитан решил посадить на этом берегу вас, а также и вашего слугу.

— Что?.. Что такое? Меня высадить на Аляске?! — с испугом и удивлением воскликнул Тольский.

— Да... Так постановили капитан и офицеры.

— Как же это... без суда?

— Зачем без суда? У нас на корабле делается все по закону. Суд был над вами...

— Стало быть, меня судили? Что же меня на суд не позвали? Да и в чем обвиняли меня? — нервно крикнул Тольский.

— В подстрекательстве к бунту.

— Почему меня не позвали на суд? Я мог бы оправдаться.

— Так постановили судьи. Заочно вам, сударь, приговор произнесли.

— Судьи, говорите вы? А кто такие судьи?

— Капитан и другие офицеры...

— Такого суда над собою я не признаю, не признаю! — закричал Тольский. — Это какой-то шемакин суд... Если я виновен, пусть меня судят по закону настоящие судьи...

— Где же их возьмешь? Ведь мы с вами не в Петербурге, не в Москве... И вы напрасно изволите горячиться... Вы с корабельным уставом не знакомы? А ведь там ясно сказано, что на корабле капитан — все. Всему хозяин, всему глава, он же — и судья...

— Из ваших слов видно, что капитан может распорядиться мною, как он хочет. Захочет — прикажет выбросить за борт или оставит на каком-нибудь необитаемом острове, обрекая на голодную смерть.

— Аляска обитаема.

— Знаю, что обитаема, но кем? Дикарями, людоедами.

— Что вы, что вы, господин Тольский! На Аляске теперь и русские живут, там есть даже русский город. Народ там добрый, вам жить на Аляске неплохо будет. — И Кудрин, стараясь успокоить Тольского, стал расхваливать ему природу и жителей Аляски.

— Эх, завей горе веревочкой... Как ни жить и где ни жить, лишь бы жить!.. Попробуем пожить на Аляске, коли в столице не сумел, — несколько подумав, весело произнес Тольский.

Но в действительности на душе у него было беспокойно: Аляска страшила его; да и всякий испугался бы после шумной столичной жизни очутиться в неведомой стране, за несколько тысяч верст от родины, среди дикарей.

В конце концов Тольскому и Кудряшу волей-неволей пришлось покориться приговору капитана Львова и отдать себя на милость судьбы.

Полуостров Аляска — крайний северо-восток Америки, был продан ей Россией в 1867 году. Область занимает пространство в 846 700 квадратных верст, богатое высокими снеговыми вершинами и вулканами; долины и предгорья там покрыты девственными лесами: есть даже такие места, куда не проникал еще человек. В географическом отношении Аляска разделяется на две части: западную, образуемую высокою террасою, над которой возвышаются скалистые горы, и восточную, представляющую собою низменность. Река Макензи, протекающая с юга на север, отделяет эти области одну от другой.

Климат Аляски очень изменчив, но вообще мягче, чем на востоке Америки и на той же широте Восточно-Азиатского побережья. На Аляске всегда прохладное лето с обильными дождями; сырость здесь так велика, что овощи не могут созреть. То же относится и к овсу, ячменю или пшенице. Так как земледелие не служит источником прибыли, то охота на пушных зверей и тюленей — главное занятие жителей.

До присоединения к Северо-Американским Штатам, то есть до 1867 года, Аляска была под управлением Российско-Американской торговой компании, основанной в 1797 году и утвержденной императором Павлом I в 1799 году. Ей принадлежало исключительное право торговли и сношений со всей территорией Аляски.

В числе туземцев есть креолы, происшедшие от смешения русских с индейцами; на восточной половине Аляски живут эскимосы, на западных островах — алеуты, в центре, в лесах и долинах — индейцы.

Резиденция русского управления находилась в небольшом городке Новоархангельске, иначе Ситхе. Город, основанный в 1804 году, своим происхождением был обязан выдре. Эти животные водятся там в большом изобилии, и охота на них, вследствие дороговизны шкуры, весьма выгодна.

Здесь-то, на острове, где расположен город Новоархангельск, капитан «Витязя» и ссадил Тольского вместе со слугой. Это произошло следующим образом.

Когда «Витязь» вошел в небольшую бухту у Новоархангельска и бросил якорь, по распоряжению капитана Львова спустили лодку, в нее перенесли все пожитки Феди Тольского, пригласили туда его самого вместе со слугою, Иваном Кудряшом, и отправили в город.

Вслед за этой лодкой съехал на берег капитан Львов со своим помощником. Иван Иванович решил простоять у Аляски дня два-три: надо было запастись провизией и водой да, кроме того, сдать Тольского с рук на руки губернатору Аляски, так как Львов не хотел оставлять первого на произвол судьбы.

Губернатором в то время на Аляске был старый бригадир Семен Ильич Бубнов; он же был и комендантом, и начальником гарнизона, состоявшего из сорока старых солдат.

Едва только Тольский вступил в Новоархангельск, к нему подошел помощник капитана Львова и учтиво сказал, чтобы он следовал за ним к губернатору.

— Что же мне делать у губернатора?

— Он определит, где вам жить.

— Как, разве и здесь я буду под надзором губернатора?

— Никто вам этого не говорит; но все же вы должны быть представлены губернатору. Да вы не бойтесь его: он очень добрый старик.

— Я не боялся и московского губернатора, а перед здешним мне и подавно трусить нечего, — резко сказал Тольский и молча пошел за офицером по кривым улицам.

Город в то время имел своеобразный вид — нигде не было видно ни вывесок, ни лавок; русское управление снабжало жителей всем необходимым: одеждой, жизненными припасами, квартирой и прочим.

Губернатор принял офицера и Тольского очень радушно (сам капитан Львов обещал зайти после). Офицер ушел с губернатором в другую комнату и объяснил ему, что за человек Тольский и за что его ссадили с корабля «Витязь». Бубнов приуныл: он не особенно был рад такому жителю.

— Ну на что мне такой гражданин?.. Если он у вас на корабле будоражил команду, то может и мой гарнизон взбудоражить, — с неудовольствием сказал он.

— Не беспокойтесь, у вас Тольский принужден будет изменить свой характер и безусловно во всем повиноваться вам. Ведь он весь в ваших руках...

— Да и на корабле он был в ваших руках. Нет, как хотите, а от этого человека я отказываюсь. Ссадите его в другом месте, а мне он не нужен, — решительным голосом заявил старик бригадир.

— К вам скоро придет наш капитан, вы уже с ним переговорите об этом.

Немало трудов стоило капитану Львову убедить губернатора хоть на время взять под свой надзор опального дворянина Тольского.

— Только для вас разрешаю, господин капитан, поселиться этому сомнительному человеку у меня, а то бы ни за какие сокровища не позволил... У меня и своих негодяев достаточно, — проговорил губернатор, уступая просьбам Ивана Ивановича.

Львов и Бубнов были издавна знакомы друг с другом и считались сослуживцами; Семен Ильич прежде служил во флоте, а потом перешел в армию.

— Спасибо, спасибо! Никогда не забуду... Я завез бы Тольского и посадил на первом попавшемся острове, но не могу сделать этого... Начальство приказало мне вернуть его в Россию.

— Так, стало быть, вы за ним заедете? — спросил губернатор.

— Боже избавь... Я несказанно рад, что от него отделался.

— Сами отделались, господин капитан, а мне своего беспокойного пассажира на шею навязали.

— Я уверен, что если Тольский и здесь забунтует, то вы сумеете унять его. Не давайте ему воли, постарайтесь исправить, и тем заслужите расположение начальства... А я, со своей стороны, за вас похлопочу: словцо доброе замолвлю кому следует.

— Премного обяжете, Иван Иванович: я только что хотел просить вас похлопотать, чтобы меня отсюда перевели и дали какую-нибудь другую службу.

— Что же, можно... Видно, соскучились по родной сторонке?

— Я-то ничего, мне все равно, где бы ни служить, а вот жена сильно скучает здесь.

— Понятно, вашей жене не весело; женщина она молодая, красивая, ей нужно общество, а у вас его нет...

— Какое здесь общество... Индейцы да дикари... Так уж, пожалуйста, Иван Иванович, похлопочите о переводе! Я же со своей стороны приложу все старания к исправлению Тольского.

Еще долго беседовали за бутылкой хорошего вина капитан Львов и губернатор Бубнов. Наконец капитан ушел, а вскоре снялся с якоря и «Витязь». Тольский остался в чужом краю. Однако он и тут не потерялся, а быстро сумел создать себе приличное положение, используя для этого свое умение ухаживать за дамами.

Жена губернатора Аляски, Федосья Дмитриевна, была красивой молодой женщиной; Семен Ильич был почти на тридцать лет старше ее: ему было уже под шестьдесят, а ей всего тридцать. Бубнов до своего назначения губернатором жил старым холостяком и женился только за несколько недель до переезда на Аляску.

Федосья Дмитриевна — дочь бедного чиновника — обрадовалась, когда за нее посватался Бубнов: она была бесприданницей и потому не выбирала женихов; притом же ее отец-чиновник сильно пил и во хмелю был буен и драчлив. Плохо жилось красавице Фене с таким отцом; мать же ее, бессловесная раба, во всем покорялась воле своего пьяного мужа.

Подруги отсоветовали было Фене выходить за Семена Ильича, ссылаясь на неравенство лет. Но Феня не послушалась и связала свою судьбу со стариком Бубновым.

— Хотя и стар мой жених, да зато губернатор, и я стану губернаторшей, — с напускною веселостью говорила она, хотя хорошо сознавала, что Бубнов годится ей не в мужья, а в отцы и что она любить его не может.

— Хорош губернатор!.. За тридевять земель в тридесяти царстве, — возражали ей.

— Что же, и там живут люди.

— Какие люди!.. Дикари, людоеды; пожалуй, Феня, они тебя съедят...

Но людоеды не съели красивой губернаторши, а заел ее молодую жизнь старый муж. Крепко любил и ласкал старик Бубнов свою красавицу жену; но его ласки были постылы Федосье Дмитриевне. Хотела бы она пересилить себя и полюбить старого мужа, но не могла: не любовь, а отвращение внушал он ей.

Заскучала молодая женщина. Да и как ей было не скучать, живя с немилым мужем почти на краю света белого? Не раз пожалела она, что не послушала своих подруг, отговаривавших ее выходить за Семена Ильича, но было уже поздно.

Федосья Дмитриевна пыталась завести знакомства с подчиненными своего мужа и их женами, но из этого ничего не вышло. Подчиненные губернатора были такие же старики, как и сам он, а их жены — сплетницы и тоже старухи. Поэтому она бывала очень рада, когда какой-нибудь корабль приставал к берегу: ведь появлялись новые люди, с которыми можно было обмениваться несколькими словами.

Федосья Дмитриевна не могла не обратить внимания на красавца-богатыря Федю Тольского: он с первого раза произвел на молодую губернаторшу хорошее впечатление, а скоро она вовсе перестала скучать и стала совсем неузнаваема. Ее красивые глаза смотрели весело и радостно. Всегда молчаливая, без улыбки на лице, теперь она говорила без умолку; ее залиvistый, звонкий смех то и дело раздавался в комнатах губернаторского дома.

А ее муж только дивился и радовался перемене, происшедшей с женой, не догадываясь о причине этого.

Занятый делами, он обращал мало внимания на Тольского, которому отвели в городе маленький особняк, стоявший близ губернаторского.

Тольскому жилось неплохо: его квартирка была уютна и хорошо обставлена; обустройством занималась сама губернаторша. Везде были видны ее руки, и эти руки награждались жаркими, страстными поцелуями молодого красавца квартиранта. Тольский часто бывал в губернаторском доме, причем старался делать это в такое время, когда губернатор отсутствовал. А это случалось часто: Семену Ильичу приходилось немало трудиться и предпринимать отдаленные продолжительные поездки...

Ее жена и прежде-то не скучала в его отсутствие, а теперь и совсем расцвела — ведь благодаря отъездам мужа она могла беспрепятственно видеться с Тольским. Ее хорошее настроение, рождаемое близостью с последним, сохранялось и по возвращении мужа, а тот только радовался этому.

Для многих сослуживцев и подчиненных губернатора не было тайной, отчего так повеселела молодая губернаторша и зачем так часто повадился ходить в ее дом Тольский.

Как-то один из сослуживцев Семена Ильича, старый и преданный его приятель Никита Васильевич Чурухин, задался мыслью открыть ему глаза и рассказал о предсудительных слухах, которые ходят о его жене и «питерском госте». Однако Бубнов не хотел ничему верить.

— Быть не может, быть не может! — воскликнул он. — Тебе, Никита, наплели про мою жену; из зависти ко мне на Фенюшку наговорили, задумали мои враги между мною и ею ад крошечный устроить. Не верю я этому, не верю!

— Пожалуй, не верь. Дело твое, — спокойно промолвил Никита Васильевич, — а все же за своей женой присматривай, за питерским гостем тоже гляди в оба... Приятельский даю тебе совет, Семен Ильич!

— Да, да... хорошо... А все же повторяю тебе: люди-то злы и завистливы, счастьем моему позавидовали... и Фенюшку, мою голубку, облыжно очернили... Я прикажу им молчать!.. Я... я заставлю их, — горячился добряк губернатор, стараясь заглушить появившуюся в его сердце ревность.

Увы! Ему вскоре пришлось разубедиться в своем недоверии.

Как-то он был принужден по делам службы на два дня покинуть Ситху. Семен Ильич прихватил с собой Чурухина. Уехали они в глубь страны, но вместо двух дней вернулись в Ситху несколько раньше, вследствие чего Бубнов застал врасплох свою жену-красавицу и молодого гостя пиетерского.

Федосья Дмитриевна, проводив мужа на целых два дня, обрадовалась этому и послала за милым другом. Тольский не преминул явиться да так и остался с женой Семена Ильича на все время его отсутствия.

Прислуга в доме губернатора была подкуплена Федосеей Дмитриевной, так что она нисколько не боялась, в полной уверенности, что никто из слуг не проговорится мужу.

— Ну, милый, теперь наше время: мой старик уехал на целых два дня, — весело сказала молодая женщина, обнимая и крепко целуя вошедшего Тольского.

— Вот хорошо бы твой старикан совсем не вернулся! Пожелаем ему попасть на обед дикарям, пусть они съедят его, — с усмешкой произнес Тольский.

— Ах, Федя, какой ты злой!

— Прибавь, я ревнив, страшно ревнив.

— Что же, ты ревнуешь меня к мужу? Да ведь я не раз говорила, что люблю тебя одного...

— Слышал, слышал... Давай, Феня, о чем-нибудь другом.

— Ладно, давай...

Губернаторша надула свои хорошенькие губки.

— Феня, милая, ты никак на меня обиделась? Прости, я... я резок с тобою... я сознаю... я раздражен... Мне нужны деньги, а у меня их нет...

— Так бы и сказали, что вам нужны деньги. Сколько, говорите?

— Давай больше, моя дорогая!.. Мне представляется удобный случай обыграть одного богатого американца, а денег, как на грех, нет.

— У меня есть, да только немного.

— Давай что есть... Завтра я верну с большими процентами. Хочешь, выигрыш пополам?

— Мне, Федор Иванович, кроме вашей любви, ничего не надо... Ведь я для вас все-все забыла — и Божий страх, и женский стыд, и клятвы венчальные... Ведь мне на мужа-то глядеть совестно... Грешница я... великая грешница...

— Послушай, Феня, если ты будешь хныкать и помянуть своего мужа, то я — честное слово! — уйду.

— Ну, ну... не буду, прости, милый! — И губернаторша бросилась на шею своему возлюбленному.

Федосья Дмитриевна все свои деньги, которые копила не один год, получая от мужа, отдала Тольскому. Последний задумал присоединить к ним еще деньги американца, обыграв его, но сделать это ему не пришлось: американец в картах был искуснее Тольского, и Федор Иванович остался без копейки в кармане. Проклиная американца, он отправился в дом губернатора, собираясь взять у Федосьи Дмитриевны еще немного денег, и, чтобы скорее достичь цели, притворился нежно влюбленным. Он обнимал и целовал молодую женщину, клялся ей в вечной любви, обещал увезти от постылого мужа на первом же корабле в Москву и жениться там на ней.

Федосья Дмитриевна вся растаяла под влиянием его слов. В жаркой беседе наши влюбленные не услышали, как дверь быстро открылась и на пороге появились вернувшиеся из своей поездки Бубнов и Чурухин.

Увидев свою жену в объятиях Тольского, губернатор побледнел и задрожал как в лихорадке. Вне себя он выхватил из ножен саблю и бросился было на Тольского. Последнему пришлось бы плохо, если бы Никита Васильевич вовремя не схватил за руку губернатора.

— Пусти, пусти, Никита, я зарублю эту гадину... Обоих, обоих зарублю! — крикнул Семен Ильич.

— Полно, друг, полно, брат. И его, подлеца, и жену свою, негодную бабу, ты еще успеешь наказать, только не теперь. Обдумать ведь все надо. Пойми, Семен Ильич, их убьешь — и сам погибнешь, — уговаривал его Чурухин. Затем он сурово обратился к Тольскому: — А ты чего торчишь? Ступай вон.

Тольский направился было к двери, но ему преградил дорогу Бубнов.

— Ни с места, подлец! Или ты думаешь уйти ненаказанным из моего дома?... Нет, зачем же... И она, и ты — оба вы получите должное...

— В подобных случаях, господин губернатор, не ругаются, а кончают поединком, — смело проговорил Тольский.

— Поединком? Дуэлью?.. Дуэли между нами быть не может! Разве ты — дворянин? Нет, ты — вор, хуже вора... Гей, солдат ко мне! — крикнул губернатор.

На призыв губернатора вошли солдаты.

— Возьмите его — и в тюрьму, — показывая на Тольского, сказал Семен Ильич.

— Меня? Меня в тюрьму?.. За что же?

— И у тебя, подлец, хватает наглости спрашивать? Ведите, а станет упираться — связать. Тащите его!..

Сколько Тольский ни сопротивлялся, но принужден был уступить силе солдат, которые не совсем учтиво потащили его из губернаторского дома в мрачную тюрьму.

— Ну а с тобой, сударушка, что мне делать? — обратился Семен Ильич к своей бледной как смерть жене.

— Делайте что хотите. Я... я в вашей власти, — тихо промолвила она.

— Верно, ты вся в моей власти, и за твой подлый и греховный проступок я должен судить тебя. Я — твой муж, и я — судья твой.

— Но не забывай и того, Семен Ильич, что у тебя есть сердце любящее, милующее, — робко произнес Никита Чурухин. — С несчастьем борись и сумей сдержать гнев свой. Прости, Семен Ильич, что напоминаю тебе об этом!

— Хорошо, хорошо. Ступай к себе, Никита.

— Как же ты здесь один? Нет, я не уйду. Ох, Семен Ильич, боюсь я за тебя.

— Да ступай же, братец! Ну что за меня бояться? Преступления я не учиню... Жены не убью, хотя она и достойна этого! — сказал Бубнов, бросив злобный и презрительный взгляд на жену.

После ухода Чурухина в горнице водворилось гробовое молчание, прерываемое только тяжелыми вздохами молодой женщины. Семен Ильич задумчиво сидел в кресле; черные, тяжелые мысли бродили у него в голове, отуманивали, не давали ни покоя, ни отдыха.

— Как же я любил тебя, как любил!.. А ты позором отплатила мне... — тихо заговорил он. — Я чуть не преклонялся перед тобой, а ты, преступная, осрамила меня, обесславила...

— Убейте меня!..

— И убил бы, если бы не боялся греха.

— Так отпустите... Я уеду отсюда, в монастырь по-ступлю.

— От мужа тебе одна дорога — в могилу. Ты будешь жить в этом доме, только уже на другом положении... Прежде ты была здесь полной госпожой, а теперь будешь рабой, батрачкой.

— Лучше бы отпустили меня, Семен Ильич... Не отпустите — хуже будет.

— А что же ты сделаешь? — гневно спросил губернатор.

— Руки на себя наложу, — чуть слышно ответила Федосья Дмитриевна.

— Что же, вздумаешь удавиться, я веревку тебе дам, а зарезаться захочешь — нож... Ну, марш в свою горницу, оттуда ты никуда не выйдешь... Будешь сидеть под замком. Знай, нас разлучит только смерть.

XXIII

Тольский очутился в тяжелом положении. Камера одиночного заключения была мала, низка, грязна. Удушливый, сырой воздух кружил голову Тольскому, а холод пронизывал до костей. Время было зимнее, стояли лютые морозы, а тюрьма почти не отапливалась.

«Чертовски холодно в этой берлоге!.. Уж не думает ли старикашка губернатор превратить меня в сосульку или уморить голодом?.. Вот уже несколько часов я здесь сижу, а мне не дают ни пить, ни есть... Фу! Я весь дрожу. Пройдет еще несколько времени, и я на самом деле замерзну... А не хотелось бы мне умирать теперь, в мои годы... Да нет, я не умру! Мой верный Кудряш на свободе... Он уже раз спас меня, вывел из тюрьмы — спасет и теперь», — рассуждал Тольский.

И он действительно не ошибся.

Иван Кудряш, услышав, что его барин опять очутился в тюрьме, не знал, что ему предпринять для его освобождения. Губернатор теперь косо посматривал и на него, подыскивая случай и слугу отправить к барину. Но Кудряш был хитер, ловок и вел себя в городе, как говорится, тише воды, ниже травы.

Прошло несколько дней с того момента, как Тольского посадили в тюрьму, и во все это время к нему никого не пускали, строго выполняя приказ губернатора.

Ивану Кудряшу очень хотелось повидать своего барина, поговорить с ним, но его не пускали. Тогда Кудряш стал придумывать, как бы ему проникнуть в тюрьму, и решил подкупить тюремную стражу.

Однажды поздним вечером он, захватив с собою бутылку водки, направился к тюрьме. Вечер был холодный и сырой, и старый солдат из алеутов, стоявший на часах у башенных ворот тюрьмы, корчась от стужи, бегал взад и вперед.

Солдата звали Никитой, по прозвищу Гусак. Кудряш был немного знаком с ним — как-то раз угощал его водкой, — а до водки солдат бы страстный охотник и с того раза стал смотреть на Кудряша, как на своего старого приятеля.

— Здорово, Гусак, — смело подходя к тюремным воротам, сказал Кудряш.

— Здорово, брат, здорово, — радушно ответил часовой.

— Холодно, Гусак?

— Холодно, и-и как холодно!

— А погреться хочешь?

— Хочу, да нечем.

— А у меня есть... Видишь? — И хитрый парень вынул из-за пазухи бутылку.

— Неужели водка? — жадно пожирая бутылку взглядом, спросил часовой.

— Она самая! Хочешь угощу?

— Дай, дай, дай!.. — И Гусак протянул к бутылке руки.

— Постой, приятель, не торопись! — отстраняя его, с улыбкою произнес Кудряш. — Пусти на тюремный двор, и водка будет твоя.

— Зачем тебе на тюремный двор?

— Своего барина проведать.

— Нельзя!.. Пустил бы, да боюсь губернатора.

— Ну прощай, Гусак, мерзни здесь на здоровье! — И Кудряш сделал вид, что уходит.

— Не уходи, батюшка! Водки дай, водки хочу.

— Мало ли, чего хочешь! Вот и мне охота на своего барина взглянуть, да ты не пускаешь.

— Иди на двор, пожалуй, а в тюрьму тебя все же не пустят; там есть другой часовой.

— Не твоя забота, Гусак; ты только меня на дворпусти.

— А водочки, водочки дашь?

— Целая бутылка твоя, пей не хочу.

Гусак не взял, а вырвал из рук парня бутылку и жадно прильнул к ее горлышку.

Кудряш между тем поторопился войти во двор. Там он не встретил ни души; дверь, ведущая в тюрьму, была заперта. Тогда он смело направился к смотрителю.

— Кто ты и как сюда попал? — с удивлением посматривая на Кудряша, спросил смотритель.

— Я — слуга барина Тольского, пришел проведать его.

— А пропуск есть у тебя?

— Есть, господин смотритель. Вот он, — смело произнес Кудряш и показал смотрителю несколько золотых монет. — Бери их вместо пропуска!

— Не надо, не надо... Опасно, боюсь губернатора, — дрожащим голосом проговорил тот, а сам протянул руку за золотом.

— Нет, ты прежде проводи меня к моему барину, а там уже получай.

— Ну пойдем, впусти; только ненадолго.

Смотритель поспешно накинул на плечи тулуп, надел шапку и повел Кудряша к тюрьме.

Длинный, холодный и вонючий коридор разделял здание тюрьмы на несколько отдельных помещений, или камер. Около одной двери, обитой железом, смотритель остановился, поставил фонарь, находившийся в его руках, на пол и большим ключом отпер замок.

Камера, где находился Тольский, была низкая, душная и притом холодная. Смотритель впихнул туда Кудряша и сказал ему:

— Когда я постучу в дверь, выходи не мешкая.

В камере было совершенно темно.

Тольский лежал на куче прелой соломы, заложив руки за голову; он не спал. Эти несколько дней, проведенные им в тюрьме, лишенной воздуха, притом сырой и холодной, а также скудная пища отозвались и на его здоровом организме.

— Кто? Кто вошел? — слабым голосом спросил он, не разглядев своего верного слуги.

— Я... я, сударь...

— Как... неужели Ванька? Да как ты попал в эту могилу?

— Попасть никуда не трудно, сударь, только бы в голове была смекалка да деньги в кармане.

— Ну, говори, Ванька, ведь ты пришел, наверное, с намерением вытащить меня отсюда? Так, что ли? Выручай,

Ванька! Если не выручишь, я скоро умру... Ведь это не тюрьма, а могила... страшная могила.

— Точно, сударь, походит на могилу. Ведь я не вижу вас, а только слышу ваш голос.

— Есть у тебя, Ванька, хоть маленькая надежда выручить меня?

— Есть, есть, сударь... Только потерпите немного.

Едва Кудряш проговорил эти слова, как в дверь послышался стук.

— Что означает этот стук? — спросил Тольский.

— Уходить мне время — смотритель стучит. Пока прошу прощения, сударь... Завтра в такую же пору я к вам опять приду и мы обсудим, как вам быть и как из этой тюрьмы удрать. — Кудряш вышел в коридор к поджидавшему его смотрителю.

По прошествии двух дней в кабинет губернатора Бубнова вбежал с помертвевшим лицом смотритель тюрьмы и доложил, что арестант Федор Тольский бежал из тюрьмы; вместе с ним бежал и тюремный солдат Никита Гусак.

При таком известии Семен Ильич заволновался было, загорячился, но потом, несколько подумав, уже спокойно проговорил, махнув рукою: «Ну и черт с ним!» И, обращаясь к смотрителю, совершенно равнодушно спросил:

— Скажи-ка по правде, сколько тебе дал Тольский за свой побег; только, чур, не ври, а говори честно.

От такого вопроса начальника смотритель опешил и пробормотал:

— Помилуйте, господин губернатор...

— А ты, братец, повинись, скажи правду, тогда и помилую.

Смотритель не выдержал и повинился в подкупе.

Бубнов сдержал свое слово: помиловал смотрителя и оставил его при той же должности.

Простил добряк Бубнов и свою жену: слишком уж сильно он любил ее.

За Тольским и его сообщником погони никакой не было. Бубнов обрадовался бегству «негодяя и проходимца».

XXIV

Между тем в глухую полночь, когда все было покрыто непроницаемым мраком, Тольский со своим неизменным Кудряшом и с Никитою Гусак, стоявшим на руле, шел

на небольшой парусной лодке по проливу, отделяющему Ситху от Аляски. Лодка быстро неслась по бурным водам, сердитые волны подбрасывали ее, как ореховую скорлупу, угрожая смельчакам смертью. Но, несмотря на это, Тольский был спокоен; он молча смотрел вдаль, желая разглядеть берег, но ночная мгла мешала ему.

Никита Гусак и Иван Кудряш помогли ему бежать из тюрьмы. Гусак подготовил лодку, а Кудряш вошел в сделку с тюремным смотрителем. Правда, эта сделка недешево стоила Тольскому: почти все его деньги, добытые картежной игрой, перешли в карманы смотрителя.

Кудряш был угрюм и бледен; он дрожал от холода и боязни быть выброшенным волнами из лодки. Нашим беглецам еще угрожали льдины, походившие на высокие горы, носившиеся по Ледовитому океану и заплывавшие также в пролив, по которому скользила лодка беглецов. Попадись она между льдинами — ее и находившихся в ней людей стерло бы в порошок.

Гусаку надоело молчать, и он обратился к Тольскому:

— Берег близко.

— А ты разве видишь его? — спросил Тольский.

— Не вижу, а близко... А ты не боишься погибнуть в океане?

— Спроси о том, Гусак, не меня, а вот его. Ты видишь, он сидит ни жив ни мертв, — с улыбкою промолвил Тольский, показывая на бледного и испуганного Кудряша.

— Он не человек, бачка, баба трусливая.

— А ты, воронье пугало, держи свой язык на привязи, не то отведаешь вот чего! — И Кудряш погрозил алеуту кулаком.

Мало-помалу ночная мгла стала рассеиваться, и наши беглецы увидали наконец берега Аляски.

— Берег виден, — сказал Гусак.

— Да, я думаю, скоро мы доберемся.

— Скоро, только не было бы помехи. Боюсь, льдины не допустят нас до берега.

Но страх Никиты Гусака был напрасен: лодка скоро причалила.

— Вот мы и на земле, — произнес Тольский, высказывая из лодки.

Кудряш последовал его примеру — теперь он уже не боялся — и весело сказал:

— А на земле, сударь, много лучше, чем на воде!

— Погоди еще радоваться, Ванька. Не забывай, мы находимся в незавидном положении, заброшенные судьбой

черт знает куда. Мы должны укрываться и идти в глубь страны, к дикарям, к людоедам... Мы спаслись от гибели на море, а здесь, на суше, скорее можем погибнуть: там мы были в распоряжении волн, а здесь будем в распоряжении дикарей.

— Выходит, сударь, одно не слаще другого, — уже растерянным голосом произнес Кудряш. — Этак, пожалуй, и в самом деле угодим дикарям на похлебку!

— Очень может быть. Плохо еще то, что у нас нет оружия, нечем защищаться.

— У меня пистолет, — сказал Кудряш.

— И у меня тоже есть пистоль да нож острый, — заметил Гусак.

Берег, к которому пристала лодка с нашими беглецами, был крутой и скалистый; местами лежал еще снег, а у самого берега часть пролива была покрыта толстым слоем льда. Но по мере того как они подвигались в глубь Аляски, природа становилась оживленнее. Тут уже попадались распутившиеся деревья и трава, довольно высокая и сочная.

Скоро наши путники вступили в густой лес и, выбрав поляну, покрытую сочной травой, растянулись на ней.

— Дай денег! Я хлеба и рыбы достану и принесу тебе, — несколько отдохнув от усталости, обратился Никита к Тольскому.

— Но где же нам ждать тебя? — давая деньги, спросил Тольский.

— Здесь, бачка, здесь жди... Я скоро вернусь.

Гусак быстро зашагал по лесу: дорога ему хорошо была известна, и он скоро совсем скрылся с глаз Тольского и Кудряша; они остались вдвоем.

Тольский скоро заснул, а Кудряш боролся со сном, опасаясь ядовитых змей и диких зверей, водившихся в изобилии на Аляске.

Эта предосторожность оказалась нелишней: скоро Кудряш услышал громкое шипение и увидел, как большая змея, извиваясь в траве, быстро приближается к спящему Тольскому. На этот раз парень не потерялся и сломленным суком перебил змею на две части.

Удар, нанесенный змее, был так силен, что разбудил Тольского.

— Ты что это? — спросил он у Кудряша.

— Змею убил... Проклятая гадина хотела вас, сударь, ужалить...

— Ванька, ты опять спас меня!.. Который это раз! И чем я отплачу тебе? — с чувством проговорил Тольский и, подойдя к верному слуге, крепко обнял его.

— Вы уже заплатили мне, сударь, своею ласкою. Больше мне никакой не надо платы.

Скоро вернулся и Гусак с мешком, перекинутым за плечи.

— Вот и я!.. Хлеб принес, рыбу, яйца и русскую водку, — весело проговорил алеут, опорожняя мешок. — Пей водку, ешь хлеб, ешь рыбу.

— И ты выпьешь со мною?

— Выпью, бачка, я люблю русскую водку.

Тольский и его спутники хорошо выпили и сытно закусили вкусной вареной рыбой и яйцами.

Решив, что тут, на поляне, вблизи от жилья, небезопасно, они двинулись в самую глубь леса. Проводником был Никита Гусак: лесные дороги и тропинки были хорошо известны ему. Шли они по вековому лесу часа два-три и зашли в такую чащу, что отыскать их там не было никакой возможности. Тут, выбрав небольшую поляну, окруженную непроницаемым лесом, они принялись делать себе хижину из древесных сучьев. Работа кипела, и шалаш был скоро готов.

Невдалеке от шалаша, в глубоком овраге, была струя ключевой воды. Ею наши скитальцы утоляли свою жажду; хлеба и рыбы было у них дня на два.

— Ешь, не жалея; выйдет хлеб, ты дашь денег, я опять принесу, — сказал Гусак.

— Ведь мы далеко от жилья... Теперь тебе, Гусак, трудно будет доставать хлеб...

— Ноги есть, сила есть, деньги есть, значит, и хлеб будет.

И на самом деле, скитальцы не сидели голодные; хлеб у них не переводился. Тольский давал старому алеуту денег, и тот приносил хлеб и другое съестное, а нередко и водку. Кроме того, Тольский и Кудряш охотились в лесу на птиц; раз как-то убили здорового оленя, мясом которого в течение нескольких дней питались. Патронов у них был порядочный запас, а когда он вышел, старый алеут добыл и пороку, и дрови.

Скитальцы стали привыкать и к лесу, и к своему жилищу. В ночную пору, когда Тольский спал в шалаше, Гусак и Кудряш чередовались: один спал, а другой стоял на страже. Опасались неожиданного нападения дикарей, обитающих как в лесах, так и на полях, а также зверей,

и, чтобы не дать последним приблизиться к шалашу, каждую ночь в нескольких шагах от него разжигали большой костер, огонь и дым которого отпугивал зверей.

Кудряш и Гусак были в высшей степени преданы Тольскому, и он ценил это, обходясь с ними как с равными.

— Здесь, в лесу, мы равны, между нами нет господина. Мы — товарищи, лесные обитатели, — часто говорил он и становился сам на страже, давая выпастся Гусаку и Кудряшу.

Когда деньги у Тольского были на исходе, Кудряш принялся за свои, которые у него водились благодаря щедрости барина: Тольский своим выигрышем в карты делился и с преданным слугою, а тот копил деньги; они пригодились теперь — спасли от голода.

Как-то ночью, когда у шалаша дежурил Кудряш, он, к своему ужасу, при свете костра увидел каких-то странных людей, похожих на больших обезьян, вооруженных стрелами. Они со всех сторон окружили луговину.

Кудряш выстрелил в них из пистолета и громко крикнул:

— Опасность, вставайте!

Этот возглас разбудил Тольского и Гусака; они быстро вскочили и подошли к Кудряшу. Тот рассказал им об угрожавшей опасности.

Выстрел молодого парня навел такой страх на дикарей, что они бросились бежать со всех ног и скоро скрылись. Но это нисколько не избавляло наших лесных обитателей от опасности: враги во всякую минуту могли снова вернуться на поляну, а тогда что могли значить три смельчака против нескольких десятков дикарей, вооруженных стрелами, пиками и дубинками.

Тольский и его спутники решили в случае нового нападения защищаться до последнего и недешево продать свою свободу, а может быть, и жизнь. Впрочем, им и оставалось только это: назад, к берегу, они боялись идти, чтобы не попасть в руки губернатора и его команды. Но, чтобы защищаться, необходимо было запастись порохом и пулями. Сделать это вызвался Гусак.

— Добыть все можно, — сказал он. — В селении продают и порох, и пули... Деньги давай, я куплю.

— А когда ты пойдешь?

— Когда деньги дашь!

— За деньгами дело не станет, хоть сейчас.

— Ну вот я сейчас и пойду.

— А как же мы вдвоем останемся?.. Нет, Гусак, идти тебе не время: ты уйдешь, а на нас нападут дикари, — заметил Кудряш.

— Ты говоришь, Ванька, глупости! — остановил его Тольский. — Ну какая Гусак нам защита?.. У нас хоть есть пистолеты, а чем он будет защищаться? Пусть идет и купит пороху и пуль, да и ружье себе.

— Можно, можно... и ружье купим... Деньги есть — ружье есть...

Тольский дал Гусaku денег и наказал ему скорее возвращаться с оружием, а также прихватить с собою и хлеба.

Гусак ушел. Тольский и Кудряш остались одни.

Давно миновала ночь; настало жаркое летнее утро. От жары попрятались в норы все животные и пресмыкающиеся, птицы засели в гнезда. Во всем вековом лесу стояла необычайная тишина, ничем не нарушаемая, ничем не прерываемая.

От такой почти тропической жары запрятались в шалаш и Тольский с Кудряшом. Тишина и жара клонили обоих ко сну. Тольский, сколько ни крепился, скоро задремал.

Кудряш, сознававший, что обязательно должен бодрствовать, тоже не выдержал и так крепко заснул, что не слышал, как дикари-индейцы крепко скрутили ему руки; он только тогда проснулся, когда один из них потащил его за волосы из шалаша. Кудряш застонал от боли, открыл глаза и с ужасом опять закрыл их, увидев вокруг себя целую толпу.

Его опасения оправдались: дикари снова вернулись на поляну, где накануне заметили двоих белолицых, подкрались к шалашу, не встречая сопротивления, заглянули в него и, увидев Тольского и Кудряша крепко спавшими, прежде чем те успели опомниться, крепко скрутили их.

Оставив в шалаше связанными наших лесных обитателей, дикари вышли на поляну для совещания относительно того, что им делать с бледнолицыми — теперь ли убить или доставить в свой стан живыми; но, видимо, не могли сговориться, так как долго спорили, кричали что-то на своем непонятном языке, похожем на крик филина.

У Кудряша бегали по телу мурашки. Он считал себя виновным и не смел не только заговорить со своим господином, но даже и посмотреть на него.

Тольский тоже угрюмо молчал; он раздумывал о своей судьбе, которая прежде баловала его, словно нежная мать, а тут вдруг стала лиходейкой-мачехой, забросила на край света в неведомую страну и отдала в руки дикарей.

Наконец Кудряшу надоело лежать молча, и он решился заговорить со своим господином.

— Сударь, сударь, — тихо, дрожащим голосом позвал он Тольского. — Вы, сударь, на меня не сердитесь?

— За что?.. Разве ты в чем-либо виноват? — удивляясь, спросил у своего верного слуги Тольский.

— Как же, сударь!.. Я... я премного перед вашей милостью виноват. Ведь заснул я, сударь, крепко заснул...

— Ты вот про что!.. Успокойся, Ванька, успокойся, видно, такова наша судьба... Ведь если бы мы с тобой и не спали, все равно ничего не сделали бы, даже если бы стали защищаться, только хуже озлобили бы их и, может быть, давно погибли: их много, а нас двое. Жаль только, что я не послушал тебя и отпустил Гусака. Он сам был когда то дикарем и скорее помог бы нам. Одно нам остается: готовиться к ним на обед.

Разговор Тольского с Кудряшом был прерван. В шалаш вошли два дикаря и знаками приказали им следовать за собою. Те повиновались. Их окружила толпа дикарей и повела в свой стан под палящими лучами солнца, не давая отдохнуть ни минуты.

Тольский и Кудряш едва успевали за ними; они выбились из сил, ноги отказывали им повиноваться, но дикари, скаля свои белые зубы, подгоняли их ударами в спину.

Наконец, уже к ночи, дикари вышли из лесу на обширное песчаное поле, где в беспорядке были разбросаны шалаши, сделанные из древесных сучьев и высокой травы. В один из них и впихнули пленников.

В шалаше было совершенно темно, и едва Тольский с Кудряшом сделали шага два, как один за другим полетели в какую-то яму.

В шалаше у дикарей обыкновенно вырывалась неглубокая квадратная яма; в одной из ее стен помещался небольшой туннель, по которому приходилось зачастую ползать — так он был мал и узок; туннель соединял две ямы, одна из которых — поменьше — служила, так сказать, входом, а другая — побольше — жилищем дикарей в зимнее время; над ямой сводом поднималась крыша с отверстием посередине для выхода дыма. Ночью, когда по-

гасал огонь в очаге, дикари выбрасывали в это отверстие обгоревшие головни и плотно закрывали его кусками кожи, а вход в шалаш завешивали шкурами. Из горячей золы постоянно поднимались дым и разные вредные газы, к этому присоединялся и запах от тесно скученных грязных людей, гнилой рыбы, испорченного мяса, старой кожаной одежды и щенят.

Тольский, очутившись в яме, не скоро пришел в себя от неожиданности и невольного испуга.

— Иван, жив ли? — позвал он своего слугу.

— Ох, жив, сударь, только спину отшиб...

— Ничего, Ванька, до свадьбы заживет.

— Мы, сударь, видно, в могилу попали...

— Не торопись, Ванька! И в могиле скоро будем, а это, верно, пока жилище дикарей. Это еще что за отверстие? — проговорил Тольский, нащупав в яме вырытый в земле туннель, после чего со связанными руками пополз по этому проходу и вскоре очутился в зимнем обиталище.

Кудряш последовал за своим господином.

Как в первой, так и во второй ямах царил непроницаемый мрак.

— Из одной могилы, сударь, мы попали в другую, — подавив в себе вздох, промолвил Кудряш.

— Да, и в более обширную... Плохо, парень, что руки у меня связаны.

— Дозвольте, сударь, я развяжу! Зубы у меня острые, хоть какую веревку перегрызут. — И Кудряш, подтянувшись к своему барину, стал зубами рвать веревку.

Веревка, которой были связаны руки Тольского, оказалась довольно толстой, и Кудряшу пришлось немало над нею поработать; но в конце концов руки Тольского были освобождены, и он поспешил развязать руки и своему слуге.

От сильного зловония у Тольского кружилась голова; он стал обдумывать, как бы ему и Кудряшу выбраться отсюда, и решил пробраться туннелем обратно: там воздух был не так испорчен и было чем дышать.

Но тут узников начали мучить голод и жажда.

— А что, Ванька, не улизнуть ли нам? — проговорил Тольский, обдумывая план побега.

— Как улизнешь, сударь?... Чай, дикари-то нас зорко стерегут. И пытаться нечего... Пожалуй, еще хуже надеваем, поймают нас да убьют...

— А не все ли равно — часом позже, часом раньше? Ведь дикари нас живыми не выпустят.

— Что и говорить!.. А только у меня есть предчувствие, что мы спасемся.

— Хорошо бы, Ванька, твоими устами да мед пить.

— Так и будет, сударь... Давайте Богу помолимся... Теперь ведь нам одна надежда, на Бога...

— Верно говоришь, Иван, верно!..

Кудряш был человек религиозный и принялся усердно молиться. Тольский последовал его примеру. Молитва несколько успокоила их.

XXV

Ранним утром Тольского и Кудряша вывели из шалаша на луг, где собрались дикари со своим предводителем, и поставили их посередине, предварительно скрутив руки. Дикари о чем-то между собой совещались, неистово кричали, беспрестанно подходили к Тольскому и его слуге, рвали их за волосы, вертели и больно щипали, скаля белые зубы.

Если бедный Кудряш стонал от боли и от мысли о том, что будет съеден, то Тольский, вообще обладавший беспечным характером, даже в эту страшную минуту не потерял обычного мужества. Когда один дикарь надоел ему своим ощупыванием, он ногою дал ему такого сильного пинка, что тот растянулся на земле.

Другие дикари загоготали (это, вероятно, доставило им большое удовольствие), а когда упавший дикарь вскочил и с лицом, искаженным злобою, ринулся было с ножом на Тольского, его оттащили.

— Ванька, ты знаешь, о чем советуются эти обезьяны? — спросил Тольский у своего слуги. — Одни хотят сейчас убить и съесть нас, а другие считают, надо подождать...

— А зачем же, дьяволы, нас ощупывают?

— Чтобы узнать, каково наше мясо: мягко ли, вкусно ли будет вареным и жареным... В числе дикарей, видно, есть хорошие гастрономы, — совершенно невозмутимым голосом проговорил Тольский. — Эх, жаль, что руки у меня скручены!.. А то я показал бы им, каков российский кулак.

— Сударь, вы и теперь, в такую минуту шутите... — удивился Иван Кудряш.

— А ты, Ванька, бери пример с меня: мирись с судьбою; слезами да оханьем горю не поможешь...

Между тем дикари принялись разводить костер, притащили большой котел, подвесили на козлы и стали наливать в него воду.

Тольский догадался, для чего они делают это, и, обратившись к своему преданному слуге, сказал:

— Приготовься, Иван: наше с тобой земное поприще кончается и смертный час приближается... Знаешь, зачем дикари развели костер и наливают в котел воду? Ведь в нем будут варить наши тела...

— Господи, Господи помилуй, спаси... Страшно, страшно! Нет, нет... мы не послужим пищей им, дьяволам, нас спасут, — как бы ожидая верного спасения, а может, и по вдохновению, сказал Кудряш.

И предчувствие не обмануло его: спасение от ужасной смерти было близко.

Вдруг в стане дикарей произошел страшный переполох. Они принялись пронзительно кричать, и их крик смешался с криком других дикарей — внезапно появившихся алеутов. Последние неожиданно напали на дикарей-людоедов в такую решительную минуту, когда жизнь Тольского и Кудряша, как говорится, висела на волоске, и так как дикари не подготовились к обороне, то скоро не выдержали и обратились в бегство, бросив и стан свой, и жен с детишками. Часть алеутов кинулась за ними вдогонку, а другая часть стала разрушать и разворовывать поселение, убивая беззащитных женщин и детей, которые не успели спастись бегством.

В числе оставшихся алеутов Тольский заметил Никиту Гусака и, указывая на него Ивану, произнес:

— Смотри, Ванька, ведь это Гусак!.. Гляди, гляди, как он ножом размахивает и что-то кричит.

— И то, сударь, он... Как он попал сюда?..

— Наверное, пришел спасти нас...

Тольский не ошибся; едва только он произнес эти слова, как Никита Гусак быстро подошел к нему и Кудряшу, радостно воскликнул: «Вовремя я попал, бачка?» — и тотчас же перерезал веревки, которыми были связаны пленники.

— Да, Гусак, опоздай ты хоть на несколько минут, дикари съели бы нас... Спасибо тебе, старина! — голосом, полным благодарности, проговорил Тольский. — Расскажи, как ты нашел нас?

— Не время рассказывать, бачка... Если вы хотите уцелеть, делайте все, что я велю вам, и не удивляйтесь ничему, — поспешно произнес Гусак и, обращаясь к алеутам,

которые окружили их, громко воскликнул на своем наречии, показывая на Тольского и на его слугу: — Вот ваши боги!

Все алеуты попадали ниц, испуская какие-то странные звуки. Тольский и его слуга с удивлением смотрели на них...

Но как же это Гусак вовремя явился с толпой алеутов, чтобы спасти от неминуемой и ужасной смерти Тольского и его слугу?

Как известно, он отправился в селение купить пороху, пуль и хлеба, но, вернувшись с покупками к шалашу, не застал там ни самого Тольского, ни его слуги. Старому алеуту нетрудно было догадаться, что его «бачку» увели дикари в плен: этой догадке помогли стрелы, валявшиеся на поляне.

«А может, бачку и его раба убили... Надо разузнать, разведать, жив ли он; если жив, то я спасу его», — подумал Гусак и пошел по видневшимся на траве и песке свежим следам дикарей, уведших с собою Тольского и Кудряша.

Эти следы привели его к поляне, где находился стан людоедов.

Притаившись за деревом, Гусак подслушал разговор дикарей. Немного знакомый с их наречием, он понял, что дикари двух бледнолицых завтра съедят, и дал себе слово во что бы то ни стало спасти Тольского и его слугу.

В нескольких верстах от того места, где обитали дикари, устроили свое селение алеуты, ведущие еще первобытный образ жизни.

Алеуты были закоренелыми язычниками, и в то время даже намека на цивилизацию не проникал в их среду. Жили они на Аляске в самой глуши, скрываясь от европейцев в непроходимых лесных дебрях. Несколько алеутов перекочевали на Аляску с Алеутских островов, вероятно, находя, что жизнь на Аляске для них лучше и удобнее, чем на родине.

Сам происходя из таких алеутов, Гусак решил обратиться к ним за помощью, обещая за нее водку и табак, до которых алеуты были большие охотники.

— Пойдемте войною на дикарей... Там я покажу вам ваших богов, и еще вы наберете много разной добычи, — сказал он им и в конце концов добился согласия.

Алеуты подкрались и разбили дикарей; но они сами были тоже дикарями, и некоторые из них были не прочь

полакомиться мясом бледнолицых, поэтому, чтобы спасти Тольского и его слугу от опасности быть съеденными, Гусаку пришлось выдать их за богов. Алеуты, по своему невежеству, поверили и пали перед Тольским и Кудряшом на землю.

— Встаньте, боги милуют вас, — как-то особенно торжественно проговорил Гусак ничком лежавшим алеутам.

Те, послушные его голосу, быстро встали и окружили Тольского со слугою, глядя на них со страхом.

— Боги благоволят вам и хотят идти в ваше селение.

На эти слова Гусака алеуты ответили радостным воем и принялись кружиться в диком танце.

Тольский верил в честность и преданность старого Гусака и решил идти туда, куда поведут его алеуты.

Те, вдосталь наплясавшись, отправились к себе в селение, находившееся недалеко от берега, и отвели Тольскому и Кудряшу лучший шалаш, убранный шкурами диких зверей. В этом же шалаше с ними поселился и Гусак.

Тольский был голоден и нуждался в отдыхе. Алеуты принесли им свежего хлеба с лучшей рыбой и стали прислуживать им, опустившись на колени.

После еды Тольский бросился на медвежью шкуру, постланную в шатре на земле, и скоро крепко заснул. Иван Кудряш последовал его примеру; не спал только один Гусак, решивший оберегать покой Тольского.

Благодаря тому, что Гусаку пришла счастливая мысль выдать алеутам бледнолицых — Тольского и Кудряша — за богов, им жилось не худо. Однако это обожествление и наивное поклонение недалеких разумом «детей природы» в конце концов надоели подвижному, беспечному Федору Ивановичу. К тому же его снедали скука и тоска по родине, и он стал думать, как бы ему перебраться с Аляски в Россию. Он не раз советовался об этом с Гусаком и со своим неизменным Кудряшом; но те не могли посоветовать ничего дельного. Наконец, через несколько недель пребывания у алеутов, он с полным отчаянием заявил своим спутникам:

— Слушайте, Гусак и Ванька: если вы хотите, чтобы я жив остался, уведите меня скорее отсюда, иначе я убью сам себя. Разобью голову о камни или брошусь в море. Вести такую жизнь я больше не могу... Мне такая жизнь надоела... Лучше смерть!

— Зачем убивать себя?.. По вашему христианскому закону это — большой грех, — возразил ему старый алеут.

— Я и без твоих слов знаю, что грех. Но что же мне делать, когда меня тоска заела?

— Зачем, бачка, тоска... Надо быть веселым.

— А чему мне веселиться? Не тому ли, что я обманываю этих добрых, но глупых алеутов, представляя собою их бога? Еще и еще повторяю, что так я больше не могу, и если вы не поможете мне отсюда убежать, то я покончу со своею жизнью.

— Да я ради вас готов хоть в огонь, хоть в воду, — ответил Кудряш. — А только не знаю, как отсюда уйти, да и куда мы двинемся... Ведь если в глубь Аляски, пожалуй, опять попадем к дикарям-людоедам, если же к берегу, в селение, то как раз угодим в руки к губернатору.

— Уж лучше пусть губернатор в тюрьму посадит, только играть постыдную комедию с алеутами я больше не намерен. Если вы не пойдете со мною, то я один уйду, убегу отсюда! — произнес Тольский.

— Зачем, сударь, вы так говорить изволите! — укоризненно воскликнул Кудряш. — От вас я не отстану; куда вы, туда и я.

— Я... я тоже, бачка, куда ты, туда и я. Твой город — мой город, твоя земля — моя земля...

— Спасибо, Гусак, и тебе, Ванька, спасибо!.. Я знал, что вы в беде не оставите меня. Так вот знайте: я решил бежать не далее как этой ночью.

— А куда, сударь, бежать-то?

— К пристани, а оттуда как-нибудь проберемся, только добыть бы нам лодку.

— Лодку, бачка, добыть не хитро... Я достану.

Гусак тотчас же пустился в путь, а к вечеру вернулся и сообщил, что ему удалось подготовить лодку. Было решено бежать.

Наступившая ночь была темной, мрачной и много способствовала побегу. Задувал с моря сильный ветер, сыпал мелкий и частый дождь; небо заволокли грозные тучи.

Ни Тольского, ни его спутников алеуты не запирали — они пользовались полной свободой. Поэтому, никем не остановленные, они благополучно выбрались из селения и направились к берегу по тропе, ведущей густым вековым лесом. Никита Гусак шел впереди, так как хорошо знал дорогу.

Погони за ними не было, и благодаря этому они спокойно добрались до береговой пристани; тут у Гусака заранее была заготовлена лодка, и беглецы сели в нее, чтобы добраться до Ситхи и ждать там корабля, направлявшегося в Европу.

Кудряш и Гусак исправно работали веслами, так что их лодка неслась по проливу, отделявшему Ситху от Аляски, очень быстро. Погода мало способствовала их ночному плаванию: сильный ветер бушевал в проливе, и лодку перебрасывало из стороны в сторону, угрожая ежеминутно перевернуть ее вверх дном. Но смельчаки все же благополучно добрались до городской пристани.

Тихо, пустынно было в Новоархангельске, и какова же была радость Тольского, когда он увидел здесь небольшой корабль под русским купеческим флагом. Тольский как бы предвидел, что он отправляется в Европу, и не ошибся: корабль «Светлана», прибывший из Кронштадта по делам Российско-Американской торговой компании, через несколько дней снова должен был отплыть обратно.

— Ванька, на этом корабле мы с тобой и, разумеется, с Гусаком отправимся на родину, — радостным голосом сказал Тольский.

— А если нас на корабле не примут?

— Примут, Ванька, если мы хорошо заплатим капитану... Только вот что плохо: денег у меня немного

— У меня, сударь, есть малая толика.

— У меня тоже, бачка, денюга водится, — произнес старый алеут. — У меня есть золото, кусок золота! — И Гусак вынул из кармана самородок фунта в два, тщательно завернутый в тряпку.

Невольный крик удивления вырвался из груди Тольского.

— Да ведь это — целый капитал! Где ты взял, Гусак?

— Купил, бачка, за дешевую цену купил...

— Да ведь за этот кусок золота нас любой капитан с радостью повезет в Европу, да еще и сдачи даст.

— Возьми золото себе, мне не надо, — проговорил алеут, подавая самородок Тольскому. — Возьми, бачка, пожалуйста, возьми... Ведь я — твой слуга, и что есть у меня, должно быть твоим.

— Не слуга ты, Гусак, а мой товарищ, которому я обязан жизнью, — с чувством произнес Тольский, обнимая старого алеута.

Дождавшись утра, он со своими спутниками отправился на «Светлану».

Капитаном корабля был добрейшей души человек по фамилии Игнатов. Родом из простого звания, почти без образования, он дослужился до капитана гигантским трудом не одного десятка лет.

Тольский предложил Игнатову взять их троих на корабль и доставить в Кронштадт, обещая за это хорошо заплатить.

— Вот как? Стало быть, вы из богатеев? — с улыбкою промолвил капитан, оглядывая Тольского и его спутников.

Одежда на всех троих была довольно поношенная, а сапоги на ногах почти без подошв, так что с первого взгляда они не внушали к себе доверия.

— Так вы возьмете нас на свой корабль? — спросил у капитана Тольский.

— Нет, не возьму...

— Почему же? — упавшим голосом спросил Тольский.

— А потому, что вы — беглые, — спокойно ответил капитан.

— Что вы говорите?.. Какие беглые? Мы вам дадим много денег.

— Хоть золотые горы давайте, и то вас к себе на корабль я не возьму до тех пор, пока не принесете от губернатора дозволения на поездку в Европу, — решительным голосом проговорил капитан.

— Это невозможно, невозможно...

— Невозможно... Я знаю почему... Вы — беглые и боитесь явиться к губернатору... Ну, марш с корабля, идите туда, откуда пришли...

— Господин капитан, если вы имеете хоть малейшую жалость к беднякам, к несчастливцам... то выслушайте меня, — стал просить Тольский. — Я в кратких, но правдивых словах изложу вам свою историю.

— Вот пристал, как с ножом к горлу! Ну что с тобой делать, рассказывай; только, брат, пожалуйста, покороче да не ври...

— О, я не задержу вас.

Тольский коротко передал капитану Игнатову, как он по воле злой судьбы очутился на Аляске и что произошло здесь с ним. Он рассказывал откровенно, ничего не скрывая от капитана, даже сообщил о своих отношениях с молодой губернаторшей.

— Я сказал вам все, сказал правду, как на исповеди... Теперь судите меня: отправляйте к губернатору или возьмите к себе на корабль... Делайте со мною и с моими спутниками что хотите... Впрочем, если и виновен кто из нас, так только я один, а они ни при чем.

— Я не судья вам... К губернатору тоже ни вас, ни ваших спутников я не отправлю, а всех троих заберу на свой корабль и увезу в Россию, — подумав несколько, проговорил добряк капитан, которого тронул правдивый рассказ Тольского.

— Спасибо, спасибо вам и за себя, и за них!.. Вы... вы — благородный человек! — дрогнувшим голосом проговорил Тольский со слезами на глазах.

Действительно, капитан купеческого корабля «Светлана» был тронут положением Тольского. Он дал себе слово помочь ему: выручить из нужды и отвезти в Россию.

Но совсем неожиданно на корабль явился губернатор со своей свитой, состоявшей из полицмейстера, личного секретаря и других служащих. Бубнов решил тщательно осмотреть «Светлану», а также ее пассажиров. До Семена Ильича как-то дошел слух, что на корабле находится его соперник Тольский, и ему вздумалось проверить это.

Лодка губернатора тихо подошла к кораблю: Семен Ильич задался мыслью накрыть всех врасплох. Ему Тольский так насолил, что он рад был как-нибудь отделаться от него. И явился он на корабль не затем, чтобы остановить Тольского или отправить под арест, как бежавшего из тюрьмы, нет, он считал нужным предупредить капитана Игнатова, что за человек этот Тольский.

Семен Ильич, увидев на палубе корабля своего врага, и виду не показал, что узнал его. Но и последний несколько не смутился и не испугался, когда его взгляд встретился с грозным взглядом губернатора.

— На вашем корабле, господин капитан, нет ли беглых? — спросил Бубнов.

— Как видите! Вся моя команда и пассажиры перед вами! — ответил капитан Игнатов.

— Так, так... А знаете ли вы этих людей? — отведя в сторону капитана, тихо спросил Семен Ильич, показывая на Тольского и Кудряша.

Гусака он не заметил, так как старый алеут успел спрятаться в трюме.

— Это — мои пассажиры, я обязался доставить их в Европу, — нисколько не растерявшись, ответил капитан.

— Так, так... А вы не знаете, что это за люди?

— Нет, я еще не спрашивал у них паспортов.

— Да у них, капитан, паспортов и не бывало...

— Как не бывало? Что вы говорите?

— Да вы не кричите, и если не знаете, кто эти люди, так я, пожалуй, скажу вам. Тот, бородатый детина, хоть и рода дворянского, но отъявленный негодяй, кутила, дуэлянт... К нам на Аляску он попал как сосланный: его отправили на военном корабле «Витязь» в кругосветное плавание, но этот разбойник настроил против капитана всю команду, за что и был ссажен в нашем городе.

— Вот как? Не знал я за пассажиром таких художеств и теперь прогоню его с моего корабля, — с улыбкой произнес капитан.

— Нет, нет... Пожалуйста, увозите его хоть ко всем чертям... Мне он не нужен! — И Семен Ильич испуганно замахал руками.

— Да и мне он не надобен, господин губернатор.

— Пожалуйста, капитан, увезите этого негодяя подальше от меня; этим вы доставите мне большое удовольствие... Я... я даже готов отблагодарить вас... Я заплачу вам и за него, и за его слугу, такого же разбойника, как и барин.

— После ваших слов, господин губернатор, я ни за что не повезу ни барина, ни слуги, — решительным голосом проговорил капитан Игнатов.

— Как не повезете!.. Я... я вас прошу, ради Бога, увезите его. Я готов заплатить вам, сколько хотите, только уберите его от меня.

Семен Ильич, сжигаемый ревностью, чуть ли не в пояс кланялся капитану, прося его не выгонять Тольского.

— Ну, делать нечего, я избавлю вас от этого беспокойного человека, — согласился наконец капитан.

Семен Ильич простился с капитаном и уехал к себе, довольный тем, что наконец совсем избавился от Тольского. Дома его поджидала молодая жена, с которой он уже помирился. О том, что он видел на корабле Тольского, Семен Ильич ни слова не сказал жене.

Тольский, находясь на «Светлане», с большим нетерпением ждал, когда она отплывет от берегов ненавистой ему Аляски. Наконец, этот момент настал, и скоро берега Аляски скрылись из глаз Тольского.

Обратное плавание «Светланы» в Европу было довольно продолжительным. Капитан не спешил, и поэтому корабль шел тихо, часто останавливаясь у берегов.

Между тем Тольский считал дни, часы и минуты. Время тянулось медленно и казалось ему целой вечностью.

— Куда вы так спешите? — как-то спросил капитан Тольского, надоедавшего ему своими вопросами относительно прибытия в Европу.

— А вы, капитан, разве не спешите? Разве у вас никого нет близких?.. Разве вас никто не ждет?

— Из близких у меня всего одна старушка матушка, она, пожалуй, ждет меня.

— А жены у вас нет?

— Нет, не обзавелся еще...

— Почему же, капитан?

— А потому, что нам, морякам, амурными делами заниматься недосуг... Это вот вам, от нечего делать, можно такими пустяками баловаться, а по-моему, жена — лишний балласт...

— А разве любовь, капитан, пустяки? Неужели вы никогда не любили?

— Отстаньте, господин Тольский! К чему эти неуместные вопросы!.. Я уже вышел из таких лет, когда можно увлекаться прекрасным полом.

— Простите, капитан, если мои вопросы вы находите неуместными. Пожалуйста, не сердитесь на меня!

— Да с чего вы взяли, что я стану сердиться на вас? Хотите, я вас порадую?

— Чем, капитан?

— Еще недели полторы-две — и мы будем у берегов Европы — в Норвегии.

— О, как я рад, как рад!

— Что? Видно, соскучились по родине?

— Страшно соскучился!.. И знаете ли, господин капитан, если бы вы не взяли меня на свой корабль, я убил бы себя. Честное слово!.. Вы спасли мне жизнь, и я вечно буду у вас в долгу, — с чувством произнес Тольский, крепко пожимая Игнатову руку. — Я просто не знаю, как и чем мне благодарить вас.

— Сочтемся на том свете, господин Тольский.

Наконец, «Светлана» бросила якорь у берегов Норвегии. Здесь капитан решил провести дня два-три и потом идти далее в Россию.

Тольский захватил с собою Кудряша и Гусака и отправился в столицу Норвегии, Христианию. Там в одной из гостиниц он дня на два взял себе небольшое помещение, состоявшее из двух комнат и передней; в одной комнате поместился сам он, в другой — его спутники.

Днем Тольский осматривал достопримечательности Христиании и вернулся в гостиницу усталым, измученным и голодным. Несколько отдохнув, он отправился поужинать в общий зал гостиницы, поместился за одним из столиков и спросил себе вино и закуску.

Рядом с ним, за другим столом, сидел довольно представительной наружности старик, одетый очень изысканно, по-парижски, с седой шевелюрой, и такими же усами. Очень умные, выразительные глаза внушали к старику невольное уважение. Взгляд у него был бодрый и смелый.

Старик читал газету. Чтение, очевидно, волновало его, и его лицо то бледнело, то краснело. Наконец он скомкал газету и бросил ее, тихо проговорив по-русски:

— Боже, что теперь будет с моей бедной родиной...

Старик закрыл руками лицо и так просидел несколько минут.

Тольский по выговору узнал в старике своего земляка русского и, чтобы еще более удостовериться в этом, спросил у него:

— Дозвольте узнать... Вы русский?

— Да, русский. Кажется, и вы тоже?

— Да, я — коренной москвич... Очень рад познакомиться с вами.

— Я тоже... Приятно встретиться на чужбине с земляком.

Тольский и старик пожали друг другу руки.

— Скажите, с кем я имею честь?... — спросил у Тольского старик, поглядывая на его довольно странный наряд: на нем одежда была полурусская-полунорвежская, приобретенная в Христиании.

Тольский назвал себя старику.

— Как, вы русский дворянин? Почему же на вас такая странная одежда? — спросил у него старик.

— Я охотно объяснил бы все, но на это надо много времени. История моей жизни довольно длинная...

— И не трудитесь, господин Тольский. Я, право, не любопытен. Ну, я узнал, кто вы, теперь моя очередь сказать, кто я. Я тоже дворянин, по фамилии Смельцов, Викентий Михайлович; не живу, а прожигаю жизнь, скитаясь по чужим странам.

— Смельцов... Ведь так вы сказали? Позвольте, позвольте... у вас нет ли дома в Москве?

— Есть. А что?

— Ваш дом находится на Остоженке, в переулке?

— Совершенно верно... Вы почему знаете это? — удивляясь, спросил Викентий Михайлович.

— Я жил в вашем доме.

— Вот что! Стало быть, вы — мой квартирант?

— Да, только бывший. В вашем доме, Викентий Михайлович, происходили чрезвычайные, непостижимые явления.

— Какие же?

— Необъяснимые... В мезонине вашего дома, как говорят, поселилась нечистая сила; по ночам расхаживает какое-то привидение в образе молодой, красивой женщины, а также появляется там и подобие старой ведьмы.

— Вы крайне удивляете меня! В моем доме привидения, ведьмы?... И вы говорите серьезно?

— Совершенно серьезно. Все это я сам видел, — ответил Тольский. — Да и не один я, а также и мои люди. Я не раз хотел разгадать эту загадку, разведать, что за нечистая сила поселилась в мезонине, порывался войти туда... Простите, Викентий Михайлович, я даже приказал взломать дверь, ведшую в мезонин.

— Ну и что же? — насупив седые брови, спросил Викентий Михайлович.

— К сожалению, я не смог попасть туда: кроме обыкновенной деревянной двери, в мезонин преграждала путь другая, железная.

— Вот что!.. Так вам и не удалось побывать в мезонине и познакомиться с непостижимыми явлениями?

— Так и не удалось...

— А очень хотелось? Любопытство донимало?... Ну да оставим об этом говорить. Лучше поговорим о бедствии, которое угрожает нашей родине.

— О каком бедствии? Разве России грозит опасность?

— Большая!.. На днях Наполеон, этот новый Аттила, перешел со своими полчищами Неман и вступил в пределы русского царства.

Тихо проговорив эти слова, Викентий Михайлович печально опустил свою седую голову, а Тольский побледнел как смерть: известие точно обухом ударило его по голове — он в душе был патриот и горячо любил свою родину.

— Но как же это случилось? — несколько придя в себя, спросил он.

Увы! Смельцов едва мог удовлетворить его любопытство: он и сам, находясь долгое время в путешествии, мало знал об этом.

— Как только корсиканский выходец мог дерзнуть вторгнуться в пределы нашего государства? Какая дерзость! — громко и раздражительно проговорил Тольский.

— Прибавьте к тому — какая непростительная ошибка со стороны Наполеона, — совершенно спокойно сказал Смельцов, закуривая трубку. — Да, да, он сделал большую ошибку, предприняв поход в Россию; пожалуй, этот шаг будет для Наполеона роковым.

— Вы думаете, Викентий Михайлович?

— Да, думаю и молю Бога, чтобы мои думы сбылись. Наполеон, пресыщенный победами, не знает предела своим завоеваниям. Он покорил почти весь мир и только в Россию да в Англию еще не вторгался... Россия была бельмом на глазу Наполеона, вот он и задумал снять его с глаза. Но, повторяю, эта операция будет для Наполеона слишком тяжела: он может ослепнуть...

— О, если бы было так, Викентий Михайлович!

— Поверьте, так и будет. Наполеон не знает России, а наш народ сумеет постоять за свою родину, за себя. Ради блага родной земли он готов жертвовать своею жизнью, не только своим достоянием. И притом какое время выбрал Наполеон для похода? Пройдет месяц — и наступит осень, начнутся непрерывные дожди, а там метели, морозы... Французы не привыкли к нашему суровому климату и будут как мухи умирать, а на подмогу морозу вооружится народ, и Наполеону придется просить у нас прощенья.

— Хорошо бы, если бы все это сбылось!

— Надо ждать, господин Тольский, и надеяться. Но сколько прольется крови, сколько прекратится жизней! Эта война будет страшной... Она потребует многих тысяч жертв... Боже... Боже...

Голос дрогнул у старика Смельцова, и на его глазах появились слезы.

Теперь беседа о жгучем для обоих русских вопросе прекратилась, но они не раз возобновляли ее во время пути из Христиании в Россию: в этот трудный для последней час Смельцов тоже решил отправиться на родину.

Время шло, и скоро «Светлана» приблизилась к берегам Кронштадта. Тольский и Смельцов увидели, что Кронштадт прекрасно укреплен и почти неприступен для врагов, которые бы вздумали с моря подойти к нему.

Еще несколько часов — и Тольский очутился в Петербурге. Нечего говорить о той радости, которую он чувствовал, вернувшись на родину после продолжительного отсутствия. Не менее радовался и Иван Кудряш.

Несмотря на чудную погоду — было начало августа 1812 года, — при которой солнце в течение целого дня светило с бирюзового неба, Петербург был все-таки печален. В столицу только что пришло известие о том, что древний Смоленск взят и опустошен, а Наполеон со своей полумиллионной армией быстрым маршем идет к Москве. Люди с серьезными лицами толпились на площадях и на улицах, тихо переговариваясь между собою и жадно читая манифесты, которые выпустил император Александр Павлович.

Смельцов и Тольский остановились в одной гостинице, и Викентий Михайлович задал своему спутнику вопрос о том, что он намерен делать.

— Не мешкая ехать в Москву, — ответил тот.

— Как в Москву?.. Но ведь я слышал, что из Москвы бегут, а вы хотите ехать туда? Разве вы не боитесь французов?

— Чего их бояться?.. Я смерти не боюсь, только трусы ее страшатся, а я не из таких...

— Я уверен, господин Тольский, что вы не трус, но хотите жертвовать своею жизнью напрасно...

— Вы говорите «напрасно»? Нет, Викентий Михайлович, напрасно я не поставлю своей жизни на карту... Если мне и суждено умереть, то я умру в битве с врагом моего отечества... Силою Бог меня не обделит, ловкостью тоже, а такие люди нужны на войне... Ведь не нынче-завтра вооружится весь народ русский против врагов, дерзнувших вторгнуться к нам... Нет, нет, скорее в Москву!

— Спасибо вам, господин Тольский, вы истинно русский человек, и одни эти ваши слова уже невольно застав-

ляют забыть о вашем прошлом! — крепко пожимая руку Тольского, с чувством произнес Смельцов.

А с прошлым Тольского — причем даже с его неприглядными сторонами — Викентий Михайлович отчасти уже был знаком, так как московский вертопрах в добрую минуту сам откровенно рассказал ему о всех своих поступках.

Такая откровенность понравилась Смельцову, и он, даже узнав прошлое Тольского, нисколько не изменил своего хорошего отношения к нему.

— А я, к сожалению, в Москву не поеду, — сказал теперь Викентий Михайлович. — Я стар, слаб и притом слишком неуравновешен... Да если бы я и поехал, то какая будет помощь Москве от слабого старика?

— Я за вас повоюю, Викентий Михайлович.

— И воевать вы, Аника-воин, будете не один, а с моими крепостными, — с улыбкою промолвил Смельцов. — Теперь на подмогу армии составляются ополчения из крестьян, вот и я задумал обмундировать и выставить сотни три из своих крепостных; содержать их я, разумеется, буду на свой счет, а начальство над ними прошу принять вас.

— Вы... вы хотите, чтобы я был начальником над вашими ополченцами? О, я не знаю, как и благодарить вас!

— Не вам, господин Тольский, а мне надо благодарить вас за то, что вы на себя берете такую обузу... Теперешний главнокомандующий в Москве, граф Раstopчин, когда-то был со мною в хороших отношениях: вместе служили. Я дам вам письмо к нему. Раstopчин — патриот, он горячо любит наше отечество и, конечно, примет все меры к тому, чтобы обеспечить вам устройство моего отряда. Кроме того, в Москве живет моя жена, и я просил бы вас, насколько возможно, помочь ей выбраться оттуда. Оставаться в Москве в такое тревожное время более чем опасно.

— Охотно, Викентий Михайлович, сделаю все, что будет в моих силах. Вы скажете мне, где живет ваша жена, и я...

— Вы сами хорошо знаете, где она живет.

— Как? — удивился Тольский.

— Она живет в моем доме, в котором и вы жили.

— Я не понимаю вас, Викентий Михайлович. Я действительно жил в вашем доме в Москве, на Остоженке, но, кроме меня, там никого не было.

— Вы, господин Тольский, помещались внизу, а в мезонине жила и, наверное, теперь живет моя жена.

— Что вы говорите, Викентий Михайлович? В то время, когда я жил в Москве в вашем доме, в мезонине никого не было. Впрочем, как я уже сообщал вам, там поселилась какая-то непостижимая, таинственная женщина, наводившая невольный страх на ваших квартирантов, в том числе и на меня.

— Эта таинственная женщина и была моя жена; она, вероятно, и пугала жильцов, выдавая себя за сверхъестественное существо, — промолвил Смельцов.

— Ваша жена! Вы меня все более и более удивляете!

И на самом деле, слова Викентия Михайловича не только удивили Тольского, но даже поразили его. Он никак не мог представить, что в мезонине жила жена Смельцова, а не сверхъестественное существо, наводившее страх и ужас на всех квартирантов.

— Вы перестали бы удивляться, если бы узнали, что заставило мою жену вести такую замкнутую жизнь. Это наша с женой тайна, и проникнуть в нее никто не может, — задумчиво произнес Викентий Михайлович. — Вы мне сделаете большое одолжение, если поможете моей жене выбраться из Москвы.

— А если ваша жена не захочет оставлять Москву?

— Я напишу письмо и попрошу вас передать ей. Я напишу, чтобы она вам доверилась, и вы проводите ее из Москвы.

— А куда должна она ехать?

— Куда хочет; только, разумеется, не в ту местность, по которой пойдет Наполеон со своими полчищами.

— Но неужели ему удастся взять Москву, так же как он взял некоторые другие столицы?

— Едва ли... Москва — сердце России, и Наполеона не допустят до этого священного города. О, это будет ужасно, если Москва попадет в руки ненасытных завоевателей! Итак, господин Тольский, вы завтра же выедете в Москву. Денег на расходы я вам дам, сколько хотите... Только поспешите! Наполеон быстро идет к Москве, и вам непременно надо опередить его...

— Я выеду завтра, ранним утром.

— Да, да... пожалуйста... Лошадей не жалейте, загоните одну тройку, берите другую, тратьте мои деньги не жалея, только своевременно предупредите жену об угрожающей опасности. Вместе с письмом к моей жене вы получите и письмо к графу Растопчину.

На другой день Тольский с неутомимым Кудряшом скакал на лихой ямщицкой тройке из Питера в Москву. Старик алеут не поехал в Москву, а остался в Петербурге у Смельцова.

Ехал Тольский на перекладных, останавливался только для ночлега, и то часа на три, на четыре, не больше.

Усталым и разбитым он подъезжал к Москве. Навстречу по большой петербургской дороге тянулись многочисленные обозы с имуществом и горожанами, покидавшими Москву.

Наполеон угрожал Москве, находясь в нескольких десятках верст от нее. После славного для русского воинства и кровопролитного Бородинского сражения русская армия отступила к Москве. По ее стопам шел гордый своими победами Наполеон.

Приуныли и опечалились москвичи, когда узнали, что наши солдаты отступают. В Москве началось сильное волнение и переполох: все лавки и другие торговые заведения, а также фабрики были приостановлены, рабочий народ распустили — мастеровые и фабричные остались без дела.

Бедные и богатые горожане спешили скорее выехать из Москвы. Народ тысячами покидал город. Крики, плач детей, шум, ругань, громкий говор, ржание лошадей, рев коров, собачий лай — все это смешалось вместе и создавало какой-то хаос.

Дряхлые старики, едва передвигая ноги, шли, окруженные своими семействами, матери с плачем несли на руках грудных младенцев. Ехали всевозможные кареты, тарантасы, повозки, набитые подушками и перинами, сундуками, укладками, чемоданами, картинами и другим домашним скарбом. На лицах жителей, покидавших Москву, застыла неподдельная скорбь, великое горе. Многие громко плакали, припадая к земле. Целовали ее, брали горстями и завязывали в чистые платки и тряпицы.

Тольский, видя все это, не мог сам не прослезиться, а шедший с ним Иван Кудряш плакал навзрыд. Въехать Тольскому в Тверскую заставу из-за тесноты не было никакой возможности; он рассчитался с ямщиком и вошел туда пешком.

XXVII

В России войны с Наполеоном ждали и приготавлились к ней; собирали солдат, ратников; многие из военных, находившихся в отставке, снова вступали в ряды русской ар-

мии, готовые за спасение родной земли жертвовать своей жизнью.

Секунд-майор Гавриил Васильевич Луговой, несмотря на свои пожилые годы, тоже записался в ополчение и выставил ратников из своих крепостных. Жаль старому майору было расстаться с Настей, но любовь к родине превозмогла его отцовские чувства.

Многие молодые дворяне, занимавшие места на гражданской службе, тоже движимые любовью к родине, попираемой Наполеоном, переменили гражданскую службу на военную. Алеша Намекин не хотел отставать от других и поступил в один из полков, отправлявшихся из Москвы навстречу врагам-французам. О своем намерении вступить в полк он предварительно сказал отцу. Старик генерал обнял его и растроганным голосом произнес:

— Спасибо, спасибо, Алексей!.. Ты и впрямь из Намекиных, которые всегда были верными слугами царя и земли русской. Я дам тебе письмо к главнокомандующему... Когда-то с Михайлом Илларионовичем Кутузовым мы были в дружеских отношениях... В письме я попрошу, чтобы он зачислил тебя в свой штат ординарцем.

— Батюшка, мне не хотелось бы состоять при штабе! Мне хочется служить в рядах армии, наравне с прочими солдатами; мое желание — поступить в полк рядовым.

— Дело твое — не хочешь в штаб, иди в солдаты.

— А вы что намерены делать? Оставаться в усадьбе вам опасно. Наполеон движется к Москве... и нашим Горкам грозит опасность.

— Я здесь не останусь, хоть опасность ты и преувеличиваешь. Наша усадьба в стороне, и едва ли французы заглянут в нее. Да за себя я нисколько не боюсь, Алеша, и, если ко мне пожалуют незваные-непрощенные гости, я сумею встретить их. Но я сильно опасаясь за Машу: что будет с нею, если меня убьют?

— Я советую вам, батюшка, как можно скорее уезжать отсюда.

— Это не так легко сделать. У меня есть намерение отправить Машу куда-нибудь в безопасное место, а самому составить из крепостных ополчение и принять начальство над ним.

— Прекрасная мысль, батюшка!

— Да... Но куда я отправлю твою сестру?.. Я думал — в Петербург, но не знаю, с кем ее послать...

— Анастасия Гавриловна, дочь майора Лугового, на днях уезжает в Петербург; вот бы с нею отправить сестру

Машу, — тихо промолвил отцу Алеша Намекин и при этих словах густо покраснел.

— Ты говоришь про свою невесту?..

— Настя была моей невестой... но вы...

— Что же... я... я согласен. Дочь майора — девушка благовоспитанная... Маше с нею плохо не будет... Только как Маша? Согласится ли?

— Маша согласится, я наверное знаю, батюшка.

— Ну и прекрасно, пусть едут... А как же сам майор?

— Он поступил в ополчение.

— Вот как? Благородный поступок.

— Майор — очень хороший человек, батюшка.

— А его дочка много лучше?.. Ведь так?.. Ну, что покраснел? — с добродушной улыбкой сказал Михаил Семенович. — Вижу, любишь ты ее крепко. Я запрещал тебе жениться на ней, а теперь это запрещение снимаю и благословляю тебя на брак с нею. Но он может состояться только тогда, когда прекратится война с французами и они с позором для себя оставят пределы нашего отечества...

— Батюшка, добрый батюшка, так вы позволяете мне? — радостно воскликнул Алексей Михайлович.

— Да, да!.. Если Бог сохранит тебя во время войны, то ты будешь мужем Насти. Пусть твоя невеста завтра придет к нам со своим отцом; я благословлю вас, и на войну ты пойдешь обрученным женихом... Я не думаю, что война с Наполеоном будет продолжительна! Поверь мне, гордый завоеватель раскается в своем необдуманном поступке... Против него встанет вся Русь, и ему ли бороться с Русью?..

В тот же день Алексей Михайлович, счастливый и довольный согласием отца, поспешил в Москву; ему хотелось поскорее обрадовать невесту.

Ни Настя, ни ее отец никак не ожидали, что генерал Намекин наконец даст свое согласие на этот брак.

— Да неужели, Алеша, твой отец позволяет тебе жениться на мне? — воскликнула обрадованная Настя.

— Дозволяет, дозволяет... только по окончании войны.

— Ну разумеется, не теперь... В такое тревожное время какая же может быть свадьба. Отечество в опасности, до того ли? — проговорил старый майор.

— А знаете, Гавриил Васильевич, и ты, Настя, я вам сообщу одну новость. Ты, Настя, решила ехать в Петербург, и теперь поедешь не одна, а с моей сестрой. Вам двоим, Настя, не скучно будет жить в Петербурге, а когда

окончится война, вы вернетесь в Москву, и тогда... тогда состоится наша свадьба, если только я останусь жив.

— Я буду, Алеша, молиться, Бог спасет тебя.

— В битве не думайте о смерти — и целы будете! — посоветовал Намекину старый майор.

На следующее утро майор Луговой и Настя в сопровождении Алеши Намекина отправились в Горки. Михаил Семенович благословил своего сына и его невесту, а затем крепко обнял и поцеловал Настю и ее отца.

В тот день все в генеральской усадьбе радовались. Крестьяне собрались на барский двор поздравить нареченных. Генерал приказал на славу угостить своих крепостных и каждому дал по серебряному рублю.

Однако Мария Михайловна и Настя были принуждены поспешить со своим отъездом, так как Наполеон уже находился недалеко от Бородина, и они быстро собрались в путь. Алексей Михайлович проводил их до Клина и там простился.

Его расставание с невестой и сестрой было самым нежным. Настя крепилась, сколько могла, и дала волю слезам только тогда, когда Алеша Намекин скрылся с глаз. Мария Михайловна, сама заливаясь слезами, стала утешать невесту брата.

С Настей ехала ее старая нянька Мавра, а с генеральской дочерью чуть не целый штат крепостных слуг и служанок. Мария Михайловна, Настя и старуха Мавра поместились в дорожной удобной карете, запряженной четырьмя лошадьми, а дворовые ехали позади на двух тройках; тут же везли несколько сундуков и укладок с необходимым имуществом барышень.

Проводив сестру и невесту, Алеша Намекин вернулся в Москву, в свой дом на Тверской; там поджидал его отец, туда же собрались и несколько десятков крепостных, из которых старик Намекин задумал составить ополчение.

Все они были на подбор, молодец к молодцу: рослые, плечистые, мужественные, словом — богатыри. Михаил Семенович на своем дворе обучал их различным воинским артикулам. Все они были одеты в одинаковые кафтаны из толстого серого сукна и в такие же шаровары; на головах у них были низкие овчинные шапки с медными крестами; вооружение составляли ружье и сабля. Оставшиеся семьи ополченцев Михаил Семенович обеспечил. Вообще, в Отечественную войну он выказал себя истинным патриотом.

Впрочем, не один он поступал так: все дворяне и весь русский народ восстали против завоевателей, помогая их истреблению. Составлялись ополчения, жертвовались миллионы на оружие.

Московское дворянство выставило восемьдесят тысяч ратников, или, как их иначе называли, «жертвенников», то есть пожертвованных отечеству. С блестящими крестами на шапках, бравые, мужественные, хорошо вооруженные ратники стали появляться на улицах, повсюду встречая от жителей почет и ласку.

Наполеону угрожала всеобщая народная война, но это нисколько не поколебало решимости гордого завоевателя: он быстро приближался к Москве, разгромив Смоленск и другие города, попавшиеся ему на пути.

Вся дорога от Вильны до Москвы, где проходил Наполеон со своими полчищами, представляла одно общее разрушение. «Великая нация» освещала себе путь страшными пожарами, как огромными факелами; горели города и местечки, села и деревни.

Нашествие на Россию французов напоминало татарский погром времен Батыя, но этот общий пожар, это грозное зарево, расстилавшееся над всею Русскою землею, подняло народ на всеобщее вооружение для защиты своей бедной родины. Все восстали против завоевателей. Все шли оборонять родную землю, остались только стар да млад.

По высочайшему приказу были вызваны в ряды нашей армии башкиры, татары, калмыки и другие инородцы. Забыты были различия веры, нравов и обычаев; все, как один человек, восстали для общего дела: побороть врага и освободить от него Русь. Завоевателям угрожала гибель.

XXVIII

Тольский и Кудряш вошли в Москву только за день до того, как древняя столица была отдана, после военного совета, происходившего в деревне Фили, во власть Наполеона. Москва была уже почти пуста, и немногие оставшиеся жители спешили покинуть ее. Улицы были безлюдны, пусты; лавки, магазины и трактиры были закрыты, присутственные места тоже прикрыли и дела вывезли в другие, безопасные города.

В Москве было как-то особенно тихо, безмолвно и печально.

Эту тишину кое-где нарушал резкий, тоскливый вечерний звон.

Он как-то невольно заставлял до боли сжиматься сердца у проходивших по опустелым улицам Тольского и его слуги.

— И так страшная тоска, а этот звон еще более усугубляет ее, — со вздохом проговорил Федор Иванович, направляясь к Остоженке.

— Охо-хо, невесело, сударь! Как будто хоронят близкого нам человека.

— Москву хоронят, Ванька.

— Что вы, сударь, изволите говорить? — с удивлением переспросил парень. — Как так?

— А ты разве не слышал, что говорили москвичи, покидавшие город, и о чем они плакали?

— Да разве что поймешь в таком шуме и гаме?

— А я кое-что разобрал. Говорили, что наша старушка Москва скоро попадет под власть врагов.

— Как так? А я вот слышал, что под Москвою будет сражение, и весь народ станет не на жизнь, а на смерть биться с неприятелем.

— Ты говоришь — народ... А где он, где народ?

— Мне один старик сказывал, что все с оружием пошли к Трехгорной заставе, навстречу французам; туда, видишь, и архиерей для всеобщего молебна выехал, и граф Растопчин.

— Может быть, не знаю... этого я не слышал...

Некоторое время барин и его слуга молчали. Тольский шел, понурия голову.

Кудряшу надоело молчать, и он обратился к своему барину с таким вопросом:

— Куда, сударь, мы идем?

— Идем мы, Ванька, на старую квартиру... Помнишь, на Остоженке, в переулке.

— Это в том доме, где нечистая сила живет?

— Вот и идем мы, Ванька, ту нечистую силу спасать от угрожающей ей опасности попасть в плен к французам, — с улыбкой произнес Тольский.

Кудряш широко раскрыл глаза от удивления: он ничего не знал о том поручении, которое дал Тольскому Викентий Михайлович Смельцов относительно своей молодой жены.

— Погоди, Ванька, все узнаешь.

Тольский и Кудряш наконец подошли к тому дому на Остоженке, где они жили. Ворота по обыкновению были закрыты наглухо.

Надежда Васильевна и в минуту опасности не думала покидать свое жилище. Хотя дворецкий Иван Иванович и сторож Василий не раз предупреждали ее и советовали выехать из Москвы, чтобы не попасть в плен к французам, хотя об этом же ее просили стряпуха Фекла и горничная Лукерья, она не согласилась на это и категорически заявила:

— Куда я поеду? Да и зачем?.. Я не боюсь французов. Если я в течение пяти лет сумела прятаться от здешнего дворецкого и сторожа, то смогу укрыться и от французов.

— А если французы проклятые подожгут дом? Тогда как быть, барыня? — возразила ей старая стряпуха. — Ведь они, окаянные, прямехонько к Москве идут.

— И пусть себе идут, а все же их в Москву не пустят. Впрочем, ты, Фекла, и ты, Луша, можете идти, куда хотите; я вас не держу.

Однако обе эти женщины не покинули своей госпожи: Фекле идти было некуда, а Лукерья была предана Надежде Васильевне и не хотела оставить ее одну в такое тяжелое время.

Надежда Васильевна не изменила своего порядка жизни и почти никуда не выходила. Единственным местом ее прогулок были двор и небольшой садик. От дворецкого и сторожа она теперь уже не пряталась и даже изредка заходила в домик дворецкого побеседовать с Иваном Ивановичем, а также со сторожем Василием.

Оба они решили остаться в Москве, не покидать дома и своей госпожи. Их, очевидно, французы не пугали, но зато крайне напугало появление Тольского. Василий настолько растерялся, когда, на резкий звонок отперев калитку, лицом к лицу столкнулся с беспокойным жильцом, которого едва выжил со двора, что прямо-таки оцепенел. На него просто нашел столбняк: он не мог произнести ни слова.

— Здорово, дед! Что, не узнал, удивлен?.. Веди меня к своей госпоже... Ну что ты таращишь глаза?.. Или не разумеешь, что я тебе говорю? Видно, с перепугу?.. Вот чудак! — воскликнул Тольский и обратился к Кудряшу: — Эй, Ванька, пойдем!

Они вошли во двор. Там находился Иван Иванович. Его удивление и испуг при взгляде на Тольского также были безграничны.

— Здорово, старина! Узнал? — спросил у него с улыбкой Тольский. — Никак и на тебя, любезнейший, нашел столбняк?

— Признаюсь, сударь, нельзя не удивиться! Ведь вы к нам точно с неба изволили свалиться.

— И то, почти с неба. Ровно три года не было меня в Москве.

— Так... А теперь, сударь, дозволейте спросить, зачем снова пожаловали?

— На тебя, старче, взглянуть; о здоровье твоём справиться... Ну да шутки в сторону; веди меня, старик, скорее к своей барыне Надежде Васильевне, в мезонин.

— К какой-такой барыне? — с удивлением воскликнул Иван Иванович, как бы не понимая приказания.

— Пожалуйста, старик, не притворяйся удивленным. Я говорю: веди меня к жене своего барина, Викентия Михайловича Смельцова.

— Как, сударь? Разве вы знаете?!

— Да, как видишь, знаю, кто пугал меня разными привидениями и пришельцами с того света, когда я квартировал здесь. Эти шутки выделявала твоя барыня со своими прислужницами, и ты, старый шут, очень искусно притворялся, будто ничего не знаешь, не ведаешь о том...

— В ту пору ничего я, сударь, не знал и не ведал...

— А теперь знаешь?.. Ну так веди меня скорее к Надежде Васильевне; у меня есть письмо ей от мужа. — И Тольский показал запечатанное письмо, на котором рукою Смельцова было написано, кому это письмо адресовано.

Иван Иванович узнал почерк своего барина и проводил Тольского до наружной двери, ведущей в мезонин.

На стук дворецкого вышла Лукерья и спросила:

— Что надо?

— Доложи барыне, Надежде Васильевне, что ее желают видеть вот они, у них от барина есть к барыне письмо. Поняла? — проговорил дворецкий, показывая на Тольского.

Немало удивилась и Надежда Васильевна, увидев перед собою неожиданного гостя, и еще более удивилась, когда Тольский вручил ей письмо от мужа.

В течение всей своей затворнической жизни ни одного письма не получала бедная женщина от Викентия Михайловича, которого она считала для себя чужим: с ним все было порвано. И вдруг он написал ей письмо, в котором так заботливо и учтиво советовал ей, «ввиду грозящей Москве опасности от французов скорее собраться и выехать из города», который, наверное, будет взят врагами и предан огню и мечу.

— Куда же я должна выехать? — прерывая чтение, спросила Надежда Васильевна.

— Самым безопасным местом является Петербург; туда не посмеют французы со своим Наполеоном показать нос.

— Я думаю, что и в Москву их не допустят.

— Кто знает! Я слышал, что главнокомандующий, князь Кутузов, на совете в Филях решил сдать Москву без боя.

— Пустое! Москву народ любит и едва ли отдаст ее в руки завоевателей.

— В Москве слишком мало осталось жителей, и защищать ее теперь некому.

— Боже, что же мне делать, что делать?

— Последовать примеру многих. Это только вам и осталось. Викентий Михайлович поручил мне способствовать вашему скорому выезду. У меня есть порядочная сумма денег, которую по поручению Викентия Михайловича я должен передать вам на путевые расходы.

— Когда же я должна выехать?

— Чем скорее, тем лучше... Не дольше, как часа через два. Пожалуй, завтра будет поздно: опасность близка.

— Стало быть, надо скорее распорядиться, чтобы наняли лошадей?

— Едва ли это возможно: все находившиеся в Москве извозчики и ямщики разобраны, ни одной лошади нельзя достать ни за какие деньги.

— Боже мой, что мне делать?

— Придется выйти из Москвы пешком, а по дороге можно будет отыскать подводу. Об этом я похлопочу.

— Спасибо вам!.. Я хотела бы спросить вас, как вы познакомились с Викентием Михайловичем, но, кажется, теперь не время, надо спешить... Но скажу вам: с неохотой я расстаюсь с Москвой, нарушая свое затворничество; я давно живу здесь, никуда не выходя.

— Я сам хорошо знаю это. Ведь года три назад я был жильцом этого дома.

— Как! Неужели?.. Как же ваша фамилия?

— Федор Тольский, к вашим услугам.

— Тольский... Припоминаю... Вы были последним жильцом... Так это вы хотели раскрыть мою тайну и проникнуть в мезонин?

— Каюсь, я... Я хотел поближе познакомиться с неземным существом, обитавшим в мезонине; хотя это существо и прекрасно, но оно наводило страх и ужас на всех моих дворовых.

— Если вы спросите, для чего я это делала, я отвечу: мне хотелось полнейшего безмолвия... А жильцы нам попадались беспокойные...

— И и, конечно, был самым беспокойным. Не так ли, сударыня?

— Да, скажу вам откровенно, вы были беспокойнее всех. Простите за правду!

— Меня, сударыня, прошу простить, что я осмелился нарушить ваш покой. — И Тольский элегантно поклонился Надежде Васильевне.

День кончался, и Смельцова стала торопиться в путь; с нею отправились дворецкий и две ее служанки. Сторож Василий на этот раз изменил своему старому приятелю и остался стеречь барский дом.

Стало темнеть, когда Надежда Васильевна в сопровождении Тольского, Кудряша, дворецкого и служанок вышла со двора дома своего мужа. Все они направились по дороге к Тверской заставе.

Между тем незадолго до этого Алеша Намекин, проводив сестру и невесту, поспешил с письмом своего отца к главнокомандующему русской армией князю Михаилу Илларионовичу Кутузову.

Престарелый вождь шел с войсками от Бородина к Москве. В деревне Фили, находившейся в шести верстах от Дорогомиловской заставы, он остановился в большой избе крестьянина Андрея Севастьянова. Там состоялся генеральный военный совет, на котором было решено оставить Москву без боя.

Мнения генералов на совете были различны: одни — немногие — говорили, что надо, жалея армию, отступить от Москвы без сражения, другие, напротив, горячо уверяли, что сражение около Москвы необходимо. Долго и терпеливо главнокомандующий слушал различные советы и проекты, которые почти все шли вразрез с его мнением, но, наконец, встал и громко произнес исторические слова:

— Властью, врученную мне моим государем и отечеством, приказываю отступление.

Произнеся это, престарелый вождь грузно опустился на скамью и понурил свою седую голову — видно, очень тяжело было ему произносить эти слова.

За несколько минут до генерального совета князь Кутузов принял молодого Намекина, который предварительно попросил адъютанта передать главнокомандующему письмо своего отца.

Не без робости и волнения переступил Алексей Михайлович порог избы, которая служила местом пребывания Кутузова. Он застал князя сидевшим за простым дощатым столом, заваленным планами и картами. Главнокомандующий ласково посмотрел на вошедшего Намекина одним своим глазом и проговорил:

— Здравствуй, голубчик! Как тебя звать?

— Алексеем, ваша светлость, — низко кланяясь, ответил молодой Намекин.

— Сын Михаила Семеновича Намекина? Знаю, голубчик, твоего родителя... Мой старый сослуживец и приятель... Михайло Намекин был отличный служака, аккуратный, исполнительный. Что же, и ты, голубчик, задумал по стопам отца идти?

— Помилуйте, ваша светлость, уж где мне...

— А тебе сколько лет?

— Двадцать пять.

— Да, да... поотстал ты, голубчик, — в твои-то годы твой родитель был чуть ли не в полковничьем чине... Но не в том дело... И ты похвалы достоин за то, что в такую тяжелую минуту не хочешь нежничать, дома на печи сидя... Мы таким служакам, голубчик, рады. Куда же тебя назначить?.. Хочешь состоять при мне?

— За счастье почту, ваша светлость.

— Ординарцем тебя назначаю...

— Приношу вашей светлости мою глубокую благодарность! — И Намекин низко поклонился князю Кутузову.

— Пока, голубчик, благодарить меня не за что... Послужи месяц-другой, отличись, и в офицеры тебя представлю... Не позабуду сына старого приятеля.

Алексей Михайлович тотчас же вступил в исполнение своих новых обязанностей.

До боли сжалось его сердце, когда он услышал, что Москва будет сдана французам без боя; на глазах у него выступили слезы. «Москву решили сдать без сражения, Москву оставили, Москву отдают неприятелю» — эти роковые слова переходили от одного штабного офицера к другому. Но Алеша как бы боялся верить этому и осмелился спросить у самого главнокомандующего.

Робко вошел он в избу вскоре после происшедшего в ней совета. Князь Кутузов все еще сидел на скамье около стола, печально наклонив голову. Скрип двери вывел из задумчивости престарелого вождя; он ничего не сказал Наめкину, только вопросительно посмотрел на него.

— Ваша... ваша светлость, — чуть слышно произнес тот. — Неужели, ваша светлость, правда, что Москва будет сдана без сражения?

— Да, правда...

— Возможно ли, Боже мой! — Намекин закрыл лицо руками и горько заплакал.

— Ты плачешь, голубчик?

— Плачу, ваша светлость... Москва дорога мне.

— Она также дорога и мне, дорога и всякому русскому... Знаю, теперь на меня со всех сторон посыплются упреки, меня будут винить... Но так надо было сделать; надо пожалеть солдат. Поверь мне, голубчик, в Москве французы не загостятся... Народная месть, ненастная осень да мороз-богатырь скоро выгонят из Москвы непрошенных гостей... Позови, голубчик, ко мне денщика, мне отдохнуть надо...

И в самом деле престарелый вождь нуждался в отдыхе: последние события тяжело отозвались на его здоровье.

XXIX

Было первое сентября. День, несмотря на наступающую осень, был прекрасен; солнце ярко светило на голубом чистом небе.

В Кремле, в Успенском соборе, преосвященный Августин, управлявший московской епархией, совершал с обычным торжеством литургию; народу в соборе было множество. Преосвященный и прочее духовенство знали, что через несколько часов Москва окажется в руках неприятеля, и Августин по совершении литургии со слезами сказал:

— О, скоро ли удостоит нас Бог служить опять в этом храме!

Все находившиеся в соборе знали об участии Москвы и горько плакали, выходя оттуда по окончании богослужения. Оставшиеся горожане в Москве готовились к смерти, многие причащались.

А граф Раstopчин за несколько часов до входа в Москву французов обнаружил следующее:

«Я завтра рано утром еду к светлейшему князю, чтобы с ним переговорить, как нам действовать, помогая войскам истреблять злодеев. Станем мы тоже из них дух искоренять и к черту отправлять. Я приеду завтра к обеду и примусь за дело; начнем неприятеля гнать отсюда».

Легковерные надеялись на это и ждали, что под Москвой будет большое сражение.

А между тем все дела из присутственных мест были вывезены ночью; полиция со своим начальником тоже втихомолку выехала. Из ямы, где были заключены неисправные должники, а также из острога были выпущены арестанты. Они бросились грабить кабаки и трактиры. Не оставляли и обывательских домов: тащили что попало и, вооруженные дубинками, топорами и ножами, бегали по улицам с неистовым криком:

— Подавай нам французов! Где они попрятались? Бей басурманов! Не давай им пардону! Коли их, руби!

Как бы в ответ на эти вопли слышались плач, стоны, охрипшие голоса, звон стекол, громкий стук.

Так продолжалось всю ночь на второе сентября.

Эта ужасная ночь была последней ночью свободной Москвы. Наша армия покидала Москву и направлялась к рязанской дороге. Солдаты шли по опустевшим улицам, молчаливые и печальные; на их заглубелых лицах виднелись слезы.

Вот солдаты вступили в Кремль; раздалась команда: «Стой! Кивера долой! На молитву!» И в рядах русских героев послышался громкий плач. Солдаты, стоя на коленях, молились, глядя на позолоченные главы соборов кремлевских и монастырей.

Князь Кутузов ехал за армией на простых дрожках. Глубокая и томительная грусть виднелась на его старческом лице; до его ушей доносился негодующий ропот солдат и москвичей. Тяжелые минуты переживал главнокомандующий.

Позади дрожек главнокомандующего, верхом, в числе прочей свиты ехал и Алеша Намекин. Его лицо было бледно и печально, на глазах блестели слезы.

«Боже, неужели нам суждено навсегда проститься с Москвою и завтра она будет во власти неприятеля? Наша первопрестольная Москва, древняя, любимая всем народом русским, попадет в руки Наполеона! О, это более чем ужасно!» — раздумывал он, прощаясь с родным ему городом.

— Алеша, что ты такой грустный? — спросил штабной офицер Борис Зенин, подъезжая к нему.

Зенин, теперь Георгиевский кавалер, получивший этот крест за Бородино, находился тоже в свите князя Кутузова.

— Москву жалко, — коротко ответил Намекин.

— А кто же ее не жалеет? Взгляни на лица наших солдат, и ты ясно прочтешь на них душевную печаль. Но поверь мне: если Москва и умрет, то ненадолго; она скоро воскреснет. Светлейший знает и верит в скорое восстановление Москвы; он всем говорит, что Москва недолго пробудет у французов.

— Посмотри, Борис, видишь ополченца, который стоит вон у того дома? — прерывая товарища, быстро спросил у него Намекин, показывая на красивого и мужественного воина, хорошо вооруженного, в одежде ополченца — в суконном кафтане и барашковой шапке с крестом. — Видишь, он снял шапку и поклонился главнокомандующему.

— Ну вижу, вижу...

— Ты узнал его, узнал? — с волнением спросил Намекин, приостанавливая свою лошадь.

— Нет, не знаю... А лицо как будто знакомое...

— Это Тольский.

— Как, тот Тольский, который дрался с тобою на дуэли? Да не может быть...

— Ну вот еще... Я узнал его.

Намекин не ошибся: на улице стоял и смотрел на проходившее войско Тольский.

Проводив Надежду Васильевну до первой деревни, он за хорошую цену нанял для нее и ее дворовых лошадей до Петербурга, а сам вернулся в Москву и, нисколько не опасаясь французов, поселился со своим неизменным Кудряшом в прежней квартире, на Остоженке, в доме Смелъцова.

Он тоже узнал отделившихся от свиты Намекина и его приятеля и, приподнимая шапку, громко промолвил:

— Здравствуйте, Намекин. За прошлое прошу на меня не сердиться. Теперь не время нам враждовать друг с другом.

Намекин готов был в такую минуту забыть все обиды и протянул бы Тольскому руку примирения, но теперь не мог отставать от свиты; поэтому он лишь поклонился Тольскому и посмотрел на него дружелюбно.

Между тем в это же время к Кутузову подъехал граф Растопчин и, отдавая ему честь, спросил:

— Ваша светлость, могу ли я узнать, куда вы изволите направить нашу армию, по какой дороге?

Престарелый вождь ничего не ответил, а только сердито посмотрел на Растопчина: он не любил ни с кем делиться своими мыслями.

Растопчин понял это и, желая поправить свою ошибку, заискивающе спросил:

— Распоряжений от вашей светлости не будет?

— Никаких, граф, — коротко ответил ему князь Кутузов.

Они разъехались. Князь Кутузов поехал к Спасской заставе, а Растопчин поспешил в свой дом, чтобы сделать некоторые нужные распоряжения и скорее выбыть из Москвы.

Едва наша армия оставила первопрестольную, как французы стали входить в нее.

Наш арьергард остановился на рязанской дороге, недалеко от Москвы. Был поздний вечер. Вдруг в вечерней тишине раздался оглушительный грохот и на небосклоне показалось страшное зарево. Это взорвались барки с коммисариатскими вещами под Симоновым монастырем и загорелся винный двор в Замоскворечье.

Престарелый главнокомандующий, привстав на дрожаках, печально смотрел на начавшийся пожар Москвы.

Ему сказали, что Москва уже занята неприятелем.

— Что ж? Это — последнее торжество их, — спокойно произнес князь Кутузов и повел нашу армию далее.

За нею спешили уйти и москвичи. Остались очень немногие, и в числе их Тольский. Он с нетерпением ждал прихода ополченцев, собранных Смельцовым из своих крепостных. Однако это ополчение опоздало: проникнуть теперь в Москву, находившуюся во власти Наполеона, ему было довольно трудно, почти невозможно, так как у всех застав находились французские солдаты, которые никого не впускали и не выпускали.

Во всем доме Смельцова оставались только двое — сам Тольский и его слуга Иван Кудряш, а во дворе, в маленьком флигеле, находился старик Василий. Он обрек себя на смерть и готовился к ней, как истинный христианин. О земном он не думал: все его мысли были сосредоточены на загробной жизни, и он проводил время в своей каморке за молитвой и за чтением божественных книг.

Второго сентября, в день, когда Москва занята была французами, к сторожу в каморку вошел Тольский и, застав Василия за чтением, спросил:

— Что, старик, читаешь?

— Отходную себе...

— Разве ты собираешься умирать?

— Собираюсь, сударь!
— Разве ты болен?
— Всем я, сударь, здоров, только душа у меня болит смертельно.

— Тебе жаль Москву?

— И Москву жаль, и весь наш народ. Россия гибнет...

— А ты забыл, старик, присловье: «Велик Бог земли Русской». Москва, может, и погибнет, но Русь будет спасена. У нас есть опытный вождь и храбрые, могучие солдаты. Наконец, весь народ вооружится против завоевателей. На защиту родной земли восстанет всяк, и горе тогда будет нашим врагам.

Едва Тольский проговорил эти слова, как быстро открылась дверь и в каморку сторожа вбежал Иван Кудряш; бледный и сильно взволнованный, он дрожащим голосом произнес:

— Беда, сударь, большая беда!

— Что, что случилось? — в один голос спросили Тольский и сторож Василий.

— Французы у наших ворот; я в окно увидал.

Как бы в подтверждение слов Кудряша в закрытые ворота послышался громкий стук.

— Это они, оглашенные... Вот когда наступает мой страшный, смертный час, — упавшим голосом проговорил сторож.

— Ну, до твоего смертного часа еще далеко; французские солдаты не дикари, они мирных граждан не трогают. Ступай, отвори ворота, а я спрошу у незваных и непрошенных гостей, что им надо. Не бойся, тебя я в обиду не дам. Иди же, отпирай!

— Слушаю, мне что же. — И сторож пошел к воротам.

Когда на дворе появились французы, Тольский вышел к ним и обратился к офицеру с таким вопросом:

— Надеюсь, господин офицер, мирных жителей вы не лишите свободы?

— О да... Разумеется... Мы воюем только с солдатами! Этот дом ваш?

— Да, мой, — несколько подумав, ответил Тольский.

— Ваш дом мы должны занять под квартиру нашего генерала.

— В Москве, господин офицер, кроме моего дома много других. Где же я стану жить?

— Живите, где хотите... Только этот дом завтра будет занят генералом Пелисье; я — его адъютант — остаюсь в

доме сейчас же, мои солдаты — тоже. Мы страшно проголодались, и вы, как радушный хозяин, угостите нас...

— И угостил бы, да нечем; у меня ничего нет.

— Вы говорите неправду... Сами-то вы что-нибудь едите и пьете?

— Да, голодным не сажу.

— И мы не станем здесь, в вашей медвежьей стороне, голодать!

— А поголодать вам все же придется... Ведь в Москве никакого провианта нет...

— Куда же он подевался?

— Нужное вывезено для снабжения армии, а ненужное уничтожено.

— Чтобы не доставалось нам? Не так ли?

— Совершенно верно; чтобы не доставалось неприятелю, — спокойно ответил Тольский.

Француз вспылил и обрушился с бранью на Тольского. Последний не остался в долгу, и результатом перебранки было то, что Тольский очутился под домашним арестом: он сидел взаперти в своем кабинете под охраною французских солдат.

Адъютант генерала Пелисье, оставив в доме человек пять солдат, с остальными отправился в Кремль, на смотр, назначенный Наполеоном.

Въезд Наполеона в Москву был далеко не триумфальным, так как его встретили лишь несколько оборвышей и выпущенных на свободу арестантов.

Не такой встречи ожидал покоритель полумира. Въехав на Поклонную гору, он залюбовался на открывшуюся перед его глазами чудную панораму Москвы. Не будучи уверен, что ему отдают эту русскую столицу без сражения, он послал узнать своих ординарцев, где русская армия, и те, вернувшись, доложили ему, что ни в Москве, ни около нее нет войска. Тогда Наполеон двинулся к городу, но, не доезжая до Дорогомиловской заставы, сошел с коня и стал ждать из Москвы депутации и городских ключей. Он привык к шумным победным оvationам, которыми встречали его в Вене, в Берлине, в Варшаве и в других побежденных городах. Того же ожидал он и в Москве. Но — увы! — ни лавров, ни цветов не поднесла ему белокаменная: она готовила его непобедимой армии гибель.

Долго и нервно расхаживал Наполеон, поджидая депутацию; наконец ему надоело ждать и он сердито крикнул, обращаясь к свите:

— Сейчас же привести ко мне бояр. Эти русские варвары не знают, как сдавали и сдают мне города.

Вскоре перед Наполеоном появилась «депутация»: несколько подозрительных лиц, одетых чуть ли не в отрепья. Были тут и иностранцы-ремесленники; некоторые из них говорили по-французски.

— Где же ваше начальство? — сурово спросил Наполеон у обтрепанной «депутации», с презрением поглядывая на нее.

От «депутации» отделился какой-то иностранец с опухшим от возлияний Бахусу лицом; он низко поклонился Наполеону и коснеющим языком ответил:

— В Москве почти никого нет, ваше величество.

— Куда же девались бояре, народ?

— Все выехали, государь.

— А Растопчин где?

— Поехал провожать армию, ваше величество.

— Но жители остались же в Москве?

— Все разбежались; осталось очень мало, и те, государь, из страха попрятались.

Адъютанты Наполеона поскакали в Москву за другой депутацией, более приличной и почетной, но вернулись ни с чем: подходящих людей они не нашли. Поэтому Наполеону пришлось, не дождавшись депутации, въехать в опустевшую Москву.

Это событие произошло второго сентября 1812 года, перед вечером.

В это время Иван Кудряш вошел в каморку сторожа Василия и сказал ему:

— А ведь барина-то проклятые французы под арест посадили. Поспорил он с французским офицером, ну, тот и велел его запереть... Сидит теперь мой барин в своем кабинете безвыходно, а около двери солдат французский с саблей наголо стоит.

— За наши грехи Господь наказание нам послал.

— А я спасу барина, спасу.

— Как ты спасешь, коли его зорко стерегут?

— Эва, дед, мне не привыкать выручать его из неволи! Я уже надумал... Вино у тебя есть?

— Имеется... Бутылок пять-шесть наберется...

— Продай мне его!

— Зачем продавать? Бери так! К чему мне оно теперь?.. Неужели, парень, ты пить вино будешь?

— И пить буду, и угощать французов.

— Это наших лиходеев-то угощать?.. Да ты рехнулся!

— А ты, дед, смотри, что я стану делать... Смотри да помалкивай.

Через несколько минут Кудряш весело пировал с оставленными стеречь Тольского французами. Пир происходил в одной из комнат дома Смельцова. Солдат, стоявший с саблей у двери кабинета, где находился под арестом Тольский, соблазнился пирушкой своих товарищей, бросил свой сторожевой пост и принял участие в веселье.

Кудряш очень усердно угощал французов, и те скоро запьянели; они стали петь, плясать, обнимать и целовать Кудряша. А тот не переставал им все подливать и подливать вино. Бутылки скоро опустели, и вскоре же французы, мертвецки пьяные, свалились со стульев на пол и громко захрапели.

— Что, безмозглые, падки вы на даровое угощение? А угостил я вас на славу, и теперь вы в моей власти. Теперь бы вас всех в колодец головой... Да надо прежде барина выпустить... А там я и с вами разделаюсь... — И, сказав это, Кудряш быстро сломал замок у двери кабинета.

— Ванька, ты опять меня из неволи на волюшку вольную выпускаешь? — весело проговорил Тольский, обнимая своего слугу. Рассказывай, как тебе удалось... Где французы?

— Мертвецки пьяные спят, — с довольной улыбкой ответил молодой парень. — Угостил я их вдосталь.

— Ну и парень же ты... Цены тебе нет!

— Прикажете, сударь, их в колодец?

— Нет, Иван, зачем... Сонный что мертвый; хоть они и наши враги, а все же жаль губить их... Если им суждено погибнуть, то пусть не от наших рук. Лучше раздень их донага и их амуницию побросай в колодец... Такая месть для них будет не много лучше смерти...

— Вот что дело, то дело придумали, сударь, — довольным голосом проговорил Кудряш и принялся за работу.

Скоро все пятеро французских солдат очутились в костюме Адама. Кудряш побросал в колодец всю их одежду, оставив по приказу Тольского три мундира; в два из них нарядился сам Тольский и его слуга Кудряш, а третий припасли для Василия.

— Ну, Ванька, в этом наряде теперь нам не страшно будет по Москве щеголять... Время дорого, оставаться здесь нельзя: французский офицер со своими солдатами ежем-

нотно может вернуться сюда, и тогда нам придется плохо... Прихватим старика — и айда отсюда, по Москве гулять, — весело проговорил Тольский и направился в каморку Василия.

Сторож немало удивился, увидев Тольского и Кудряша в мундирах французских солдат.

— Да к чему это вы надели на себя непотребную одежду да и слугу своего обрядили? — с легким упреком сказал он.

— А к тому, чтобы легче было провести французов. В этой одежде они примут нас за своих земляков и, разумеется, не тронут... Мы принесли и для тебя такой же мундир. И ты сойдешь за старого француза...

— Нет, сударь, этой одежды я не надену...

— Как не наденешь?... Надевай, и пойдем с нами. Тебе оставаться здесь опасно...

— Хоть и опасно, а все же я отсюда и шагу не сделаю... Дом оставлен на мое попечение, и я должен блюсти его, — решительным голосом произнес старый сторож.

— Но ведь тебя могут убить... Мы с Ванькой раздели их донага... Хоть теперь они и спят мертвецки пьяные, но когда проснутся, тебе несдобровать.

— Кто знает, сударь? Может, и им туго придется...

— Что же ты с ними сделаешь? Их пятеро, а ты один... Лучше пойдем с нами, старина!

— Никуда я не пойду... Вы извольте идти, а меня оставьте.

Так и пришлось Тольскому и Кудряшу вдвоем бежать из дома Смельцова, которому предназначено было служить квартирою для французского генерала Пелисье.

Василий запер за ними ворота, вернулся в свою каморку и стал молиться, а затем направился в барский дом, где все еще крепко спали пьяные французские солдаты. С отвращением посмотрев на них, он глухо проговорил:

— Что я задумал, надо делать скорее, не то будет поздно... Господь простит мне мой грех. Вы — меч, опустошение и огонь принесли на русскую землю, и сами от меча и огня погибнете!

Старик был в сильно возбужденном состоянии, его глаза горели лихорадочным огнем, лицо то бледнело, то краснело; видимо, он задумал что-то ужасное...

Скоро в его дрожащих руках очутилась зажженная свеча; ее пламя он поднес к оконным занавескам, и те быстро вспыхнули...

Не прошло и часа, как весь дом со всех концов объят был страшным пламенем. Старик Василий стоял на улице и спокойно смотрел на пожарище. Вдруг из горевшего дома послышались вопли, стоны, но тотчас же рухнули потолок и крыша, и крики прекратились.

— Так и все вы от меча и огня погибнете... Все погибнете! — прошептал сторож Василий.

В переулке послышался лошадиный топот — это прискакал к горевшему дому со своим отрядом тот французский офицер, который выбрал дом Смельцова под квартиру своему генералу. Увидав его почти уже сгоревшим, он с частью отряда бросился на двор, но скоро принужден был выбежать оттуда: от дыма и жара и на дворе можно было задохнуться. Там пылали все строения.

— В этом доме, кроме русских, осталось пятеро наших солдат, неужели и они погибли? — с волнением произнес офицер, обращаясь к одному из своих подчиненных.

— Наверное, погибли! Если бы были живы наши товарищи, то они находились бы здесь, около пожара, — ответил солдат.

— О, какое несчастье!.. Наверное, погиб и тот русский, которого я приказал посадить под арест.

— А я думаю, господин офицер, что русские и подожгли этот дом.

— Ты говоришь глупости, милый мой! Зачем русские станут жечь свое имущество?

— А для того, чтобы нам ничего не доставалось. Да вот этот старик, наверное, и есть поджигатель, — проговорил солдат, показывая офицеру на старика Василия, все еще стоявшего около пожарища.

Василий несколько не испугался подсказавших к нему французов.

— Допроси его... Ведь ты говоришь по-русски? — произнес офицер.

— Подойди ближе, старик! — повелительно крикнул неприятельский солдат по-русски старому сторожу.

Этот солдат был поляком; он долго жил в России и хорошо изучил язык.

Старик, услышав родную речь, с удивлением посмотрел на говорившего неприятеля-солдата, но не тронулся с места.

— Да подойди же, старое пугало! — крикнул солдат, однако, видя, что тот не двигается, подбежал к нему и замахнулся было прикладом ружья, но был остановлен офицером.

— Не забывать, что мы воюем только с солдатами, а мирных граждан не трогаем; я поручил тебе допросить этого русского, а не бить...

— Слушаю, — отдавая честь, извинился солдат-поляк и приступил к допросу Василия: — Говори, от чего загорелся этот дом? Или его подожгли?

— Подожгли...

— Кто же?

— Я, — совершенно спокойно ответил старый сторож.

— Ты? — переспросил поляк, удивляясь такому откровенному ответу. — Зачем ты сделал это?

— Чтобы отомстить вам; вы, внесшие меч и огонь в наше отечество, все так же погибнете, как погибли в пламени твои пять товарищей. Ваш Наполеон — антихрист, и вы — его слуги, а Господь победит антихриста! — крикнул Василий, сверкая глазами.

Поляк перевел слова старика своему офицеру.

— Так это поджигатель? — проговорил тот.

— Он сжег, господин офицер, пятерых наших товарищей. Прикажите, господин офицер, пулею заткнуть глотку этому дьяволу!

Офицер махнул рукою — этим он дал свое согласие.

Прогремел выстрел. Старик Василий всплеснул руками и, сраженный в сердце, упал мертвым.

XXX

Пожар дома Смельцова был только началом того страшного пожара, который в три-четыре дня уничтожил почти всю Москву, превратив ее в пепел.

Едва только Наполеон появился в Москве, как она запылала; сперва показался огонь в Гостином дворе; некоторые из оставшихся в Москве купцов сами поджигали свои лавки с товаром, чтобы ничего не доставалось врагам. Пылали масляные и москательные ряды. Горели Зарядье, Балчуг и лесные склады на Остоженке. Загорелись Каретный ряд и Новая слобода. И скоро древняя Москва пылала более чем в десяти местах. Загорелось и красивое, утопающее в садах и зелени Замоскворечье. Скоро всепожирающее пламя охватило не только постройки, но и мосты через реку; горели даже на Москве-реке барки с хлебом. Целое море огня бушевало в опустелой Москве. Северо-восточный ветер помогал огненной лаве распространяться со страшной быстротой.

Немногие жители, застигнутые пламенем, с криками и воплями бегали по улицам, ища спасения и пристанища. Треск бушующего огня, крики и вопли, детский плач, колокольный набат, резкий барабанный бой, грохот падающих стен, ужасный вой ветра — все это слилось в одну адскую какофонию. На колокольнях подгорали деревянные балки, и колокола с глухим звоном и громом падали. Пылающие бревна, головни со страшным треском летели из одного дома в другой; искры отовсюду сыпались огненным дождем; от сальных заводов и винного склада протекали по улицам огненные реки. Голуби и другие птицы, кружась, падали в огненное море; лошади, собаки и другие домашние животные с ржанием и воем бегали по горевшим улицам, ища себе пристанища, и, не находя его, погибали в огне. А несчастные москвичи, с искаженными от ужаса лицами, опаленные огнем, задыхаясь от дыма, метались из стороны в сторону и тоже большею частью гибли.

Очевидцами этой ужасной картины были и наш герой Тольский, и Кудряш. Федор Иванович по обыкновению был спокоен; сосредоточенность и покорность судьбе читались на его мужественном лице. Зато Кудряш был бледнее смерти и от испуга и ужаса едва передвигал ноги.

— Сударь, мы погибнем в этом крошечном аду, — заплетаясь языком сказал он своему барину.

— Не робей, Ванька, не робей, будь смелее.

— Помилуйте, сударь, как же не робеть в такую страшную пору? И сзади, и спереди нас огонь... Мы сгорим или задохнемся в дыму.

— Ванька, ты — христианин, я — тоже; давай надеяться на Бога.

— Куда же мы идем-то, сударь? — пройдя немного молча, спросил Кудряш.

— Куда идем — не знаю. Хотелось бы мне выбраться из Москвы за какую-нибудь заставу.

— Дорогомиловская застава близко, сударь... Только боязно туда идти; там французов много.

— Бояться французов, Ванька, нам нечего. Уж если я огня не боюсь, то французов и подавно.

Едва Тольский успел произнести эти слова, как в нескольких шагах от них со страшным треском рухнула деревянная стена большого горевшего дома. Тольский снял с головы французский кивер и усердно перекрестился, а Кудряш так и присел от ужаса.

— Сударь, сударь... смерть! — выговорил он коснеющим языком.

— Да, Ванька, смерть была у нас на носу, но Бог спас. Пойдем скорее к Дорогомиловской заставе.

Тольский пошел еще быстрее; следом за своим бесстрашным барином поплелся и преданный ему Иван Кудряш.

Идти по Арбату к Дорогомиловской заставе было довольно рискованно: кроме пожара, угрожавшего нашим путникам, представляли опасность и неприятельские солдаты, которые взад и вперед сновали по улицам, ведущим к заставе; те улицы, а также конец Арбата менее пострадали от огня.

Встречавшиеся Тольскому и его слуге французы не обращали на них никакого внимания, принимая по мундиру за своих; но, к несчастью, почти у самой заставы они повстречали адъютанта Пелисье. Тот в упор посмотрел на Тольского и сразу узнал его.

— Как, вы... вы живы? Я думал, вы сгорели там, в доме... с нашими бедными солдатами! Зачем надели вы наш мундир?.. И это — тоже, наверное, русский? — добавил офицер, показывая на Кудряша, который стоял ни жив ни мертв.

Тольский молчал, обдумывая, что ответить.

— Вы молчите?.. Я понимаю... Это вы, наверное, и сожгли дом и наших пятерых солдат, а чтобы укрыться от наказания, надели наши мундиры... Но вы ошиблись. Вас ожидает должное возмездие. Я арестую вас... Возьмите их! — грозно приказал офицер своим солдатам.

— Послушайте, господин офицер, за что вы арестовываете нас? — спросил Тольский.

— За ваше ужасное преступление.

— Я и мой слуга ради безопасности только переоделись, и вы это называете ужасным преступлением?

— Нет. Но вы подожгли дом, в котором были наши солдаты.

— Что вы говорите? Ни я, ни мой слуга не поджигали никакого дома.

— Не отпирайтесь! Ваше преступление открыто, и, повторяю, вас ожидает возмездие. Если вы не представите доказательств своей невиновности, вас непременно расстреляют.

— Как? Без суда?

— Зачем без суда?.. Суд будет военный. Вас сведут к маршалу Даву, о вашем преступлении я отrapортую господину маршалу. Ведите поджигателей!

Французские солдаты окружили и повели Тольского и Кудряша.

Маршал Даву жил на Девичьем поле, в покинутом доме госпожи Нарышкиной; когда же он по служебным делам приезжал в Кремль, то всегда останавливался в Чудовом монастыре, где в алтаре церкви устроил себе спальню. На Даву лежала обязанность следить за порядком в Москве, и он был дома, когда к нему ввели Тольского и Кудряша.

— Кто вы? — отрывисто спросил он у Тольского, когда офицер почтительно отрапортовал ему, за что Тольский был арестован.

— Русский дворянин, по фамилии Тольский, а это — мой слуга.

— Зачем вы надели наш мундир?

— Чтобы безопаснее было оставаться в Москве.

— Хорошо предлог!.. Вы обвиняетесь в поджоге дома, в котором погибли пятеро наших солдат... Что вы скажете в свое оправдание?

— Это клевета, господин маршал... К чему я стану поджигать дома?

— По словам офицера, вы были в том доме посажены под арест... Как же вы ушли?

— Меня выпустил часовой, стоявший у двери комнаты, в которой меня заперли.

— Лжете, лжете!.. Наши солдаты обучены дисциплине и не нарушат ее ни в коем случае!.. Предупреждаю, если вы не найдете оправдательного мотива, то будете завтра же расстреляны. С поджигателями мы не церемонимся.

— Вы, кажется, ни с кем не церемонитесь; так же и мы не станем церемониться с вами, — смело проговорил Тольский.

— Вот как? Вы, похоже, начинаете угрожать нам?.. Побежденные — победителям! Это, право, смешно и занятно... Послушайте, завтра утром вы должны будете представить мне в свое оправдание какой-нибудь веский мотив, иначе, повторяю, вы будете расстреляны... Уведите их и держите до завтра под строгим арестом! — приказал Даву, обращаясь к офицеру, который обвинял Тольского в поджоге.

Тольского и Кудряша вывели из кабинета маршала и заперли в пустом каменном сарае.

Этот сарай был совершенно пуст, так что ни сесть, ни лечь в нем было не на чем; плотно припертая дверь была

на замке; свет ниоткуда не проникал, а вследствие этого в сарае было мрачно и сыро.

— Ну, Ванька, теперь пиши пропало. От французских пуль нам с тобою не спастись! — сказал Тольский.

И в это ужасное время он не изменил своей веселости, был чуть ли не равнодушен к ожидавшей его участи.

А бедняга Кудряш совсем упал духом и был близок к отчаянию. Слова Тольского вызвали у него слезы.

— Ванька, да никак ты плачешь? Эх, баба, баба! Полно хныкать, завей горе веревочкой. Пожили мы с тобой на белом свете, поморочили православный люд, ну и баста!

— Да неужели проклятые французы расстреляют нас? — сквозь слезы произнес парень.

— Всенепременно, если мы не дадим тягу.

— А разве это можно?

— Невозможного ничего нет. Все возможно, только бы смекалка да присутствие духа были!

— Барин, дорогой! Спасите себя и меня! В ножки поклонюсь!

— А вот давай думать да гадать, как спастись.

— Вы думайте, сударь, а я ничего дельного не придумаю. Уж очень боязно теперь!

— А я вот смерти не боюсь и буду прямо глядеть ей в глаза; даже когда меня расстреливать станут, так и то сорву повязку с глаз!

— Ой, не говорите так!.. Страшно, ох, страшно!

— Полно трусить, Ванька, двух смертей не видать, а одной не миновать!

На некоторое время в сарае водворилось молчание. Тольский и его слуга заняты были размышлениями о побеге.

Наконец Тольский сказал:

— Вот что: не найдешь ли ты мне в этом сарае какой-нибудь лучинки или ветки сухой. Тут темно, как в могиле, а у меня есть кремень и огниво, я зажгу лучину и осмотрю его.

Кудряш принялся ползать по полу, в надежде найти какую-нибудь палочку. Он скоро нащупал руками плетеную корзину и, разломав ее, подал барину несколько сухих прутьев.

Тот скоро добыл огня, и сучья, вспыхнув, осветили внутренность сарая.

Тольский и Кудряш стали тщательно осматривать свой каземат. Вдруг радостный крик вырвался из груди Толь-

ского: он показал своему слуге прорезанное в потолке отверстие, находившееся в углу сарая. В это отверстие мог бы свободно пролезть любой человек, оно, вероятно, служило входом на чердак. Однако сарай был настолько высок, что достать руками до отверстия было почти невозможно.

— Что же ты не радуешься, Ванька? — весело сказал Тольский своему слуге, который хладнокровно смотрел на отверстие. — Ведь мы с тобой наполовину спасены!

— Как так, сударь?

— Ведь эта дыра ведет на чердак, а с чердака, наверное, есть ход на крышу.

— Так, так, сударь; только как же нам достать до нее?

— Да вот как: лишь настанет ночь и водворится тишина, я полезу первым. Встану к тебе на плечи, и тогда будет нетрудно дотянуться до отверстия. Теперь понял?

— Понять я, сударь, понял, только как же это вы полезете, а я...

— Я втащу тебя туда же на кушаке! — И Тольский, сняв с себя и с Кудряша военные кушаки, связал их вместе, приговаривая: — Вот это будет служить нам веревкою.

После этого они стали ожидать ночи, когда бы можно было исполнить задуманное.

Ночь наступила ненастная, с мелким дождем и порывистым, холодным ветром. Двое часовых, стоявших у двери сарая, промокли до костей и теперь с нетерпением и бранью ждали смены, но та почему-то не являлась. Тогда солдаты, ругая свое начальство, пошли искать спасения от дождя и холода на свою квартиру.

Скоро как в доме, занятом маршалом Даву, так и на дворе водворилась гробовая тишина, прерываемая только пронзительным воем ветра и отдаленным треском горевших в Москве зданий.

— Ну, Ванька, за дело! — тихо проговорил Тольский и стал взбираться на плечи своему слуге. — Сдержат ли меня твои плечи?

— Не беспокойтесь, сударь, сдержат!

Тольский теперь свободно мог ухватиться за края отверстия, ведущего из сарая на чердак, и влезть туда. Затем, держа один конец кушака в руке, другой он спустил с чердака в сарай. Кудряш крепко взялся за него обеими руками, и Тольский, хотя и с большим трудом, втащил его на чердак.

Как ни темна была ночь, но все же они увидели на чердаке небольшое полукруглое окно без рамы и, вылезши через него, очутились на деревянной крыше сарая; одна ее сторона почти примыкала к забору, выходившему в пустынный переулочек, а потому беглецам не составило большого труда спрыгнуть с крыши прямо в переулочек.

Они были спасены.

— Ну, Ванька, моли Бога: мы опять на свободе! — проговорил Тольский. — Пойдем скорее к Трехгорной заставе. Конечно, не через самую заставу, а где-нибудь стороною мы выберемся из Москвы.

Тольский и Кудряш быстро пошли по пустынному переулку по направлению к заставе, а затем свернули в сторону и без особых приключений добрались до вала, которым была окружена вся Москва: застава осталась правее. Ров вала оказался неглубоким и сухим, так что наши беглецы свободно перешли его и очутились за пределами города.

Дождь перестал, небо начало проясняться. Тольский с Кудряшом после довольно продолжительной ходьбы вошли в небольшую деревушку, отстоявшую верст на двадцать от Москвы, и, чтобы отдохнуть, сели на завалинку первой попавшейся избы.

В деревне было совершенно тихо, и она казалась вымершей.

— Здесь мы в полной безопасности и можем свободно отдохнуть: я чертовски устал, — обратился Тольский к своему слуге.

— А я все-таки французов побаиваюсь, — робко поглядывая по сторонам, ответил Кудряш.

— Да как они попадут сюда?

— Кто знает! Деревня под Москвой, не мудрено французам и сюда зайти.

— Полно, Ванька, не накликай беды!

Ни Тольский, ни его слуга в разговоре не заметили, что за ними следила не одна пара зорких глаз.

Едва Тольский успел произнести последние слова, как был окружен несколькими десятками мужиков, вооруженных чем попало: у кого были вилы, у кого топор, коса, а кто и просто держал в руках толстую дубину. Среди них выделялся рослый, здоровенный мужик — богатырь богатырем. Он был в кулачной рубахе и кафтане нараспашку, на голове сидела набекрень барашковая шапка. В руках у этого богатыря было кремневое ружье, а на кушаке привязан кривой нож.

— Вяжи басурманов! — повелительно сказал он, показывая на Тольского и на Кудряша.

— Как вязать? За что? — быстро вставая, произнес Тольский.

— Э, да сей мусью по-русскому умеет? Вяжите его, братцы, покрепче! — насмешливо произнес богатырь.

— Вы ошибаетесь, мы — русские, а не французы.

— Пой, пожалуй, день-то твой! Если ты — русский, то зачем же в басурманскую амуницию обрядился?

— Чтобы обмануть французов и свободно выйти из Москвы.

— Может, ты французов-то и проведешь, да не меня. А этот — тоже русский, что ли? — спросил богатырь, показывая на дрожавшего от страха Кудряша.

— Разумеется, русский.

— Что же он молчит? Аль язык от страха проглотил?

— Ванька, скажи им что-нибудь.

— Что же я скажу, сударь? И сказал бы, да ведь не поверят эти разбойники.

— Ах ты, вражий сын!.. Мы не разбойники, а защитники отечества! — грозно произнес богатырь, и его здоровенный кулак опустил на шею бедняги Ивана.

— За что дерешься? Смотри у меня! — крикнул Тольский.

— Ах, страсть какая; если бы эта страсть да к ночи. Ну, что же стали, ребята? Вяжи их!

— Постой, постой, Никитка! Зачем вязать? Может, они и на самом деле русские, а не враги-супостаты! — проговорил седой старик, выходя из толпы.

— Полно, дед Степан!.. Какие это русские? Просто притворяются! Как есть французы, и рожи-то у них французские. Петлю им на шею — да на сук окаянных!

— Не дело говоришь, Никитка, не дело... Надо вперед допросить хорошенько, резонно... Ну, рассказывайте, что вы за люди? — обратился старик к Тольскому и Кудряшу.

— Я — русский дворянин Тольский, а это — мой крепостной слуга!

— Так, так. А зачем же вы обрядились в французскую одежду?

— Я уже сказал, зачем: чтобы обмануть французов.

— Так, так. А какой вы веры?

— Известно — православной.

— Ну так перекреститесь, а мы посмотрим.

— Вот, смотрите! — И Тольский перекрестился, а Кудряш последовал его примеру.

— Так, так. Хотя и не по-настоящему, а все же креститесь. Пальцы складываете щепотью, по-нынешнему. А кресты вы носите?

Тольский и Кудряш расстегнули вороты своих рубашек и показали тельные кресты. Это окончательно заставило мужиков поверить, что Тольский и его слуга — не французы, а русские.

— Ну, теперь я в свою очередь вас спрошу: что вы за люди? — обратился к мужикам Тольский.

— Мужички мы, милый человек, мужички. Вооружились на защиту родной земли. Чай, уже не одну сотню лиходеев уложили, да вот плохо — главы у нас хорошего нет. Никитка парень здоровый, да бестолковый: торопыга большой. Вот бы ты, твоя милость, начальство-то над нами взял.

— Мне над вами начальствовать? Что же, я не прочь! — несколько подумав, промолвил Тольский. — Если вы все желаете, чтобы я был вашим начальником, то я готов!

— Все, все просим. Будь нашим главой! Послужи царю-батюшке и родной земле! — И мужики, в том числе и силач Никита, низко поклонился Тольскому.

Таким образом, Тольский стал начальником отряда мужиков; к его небольшому войску примкнул еще не один десяток крестьян, восставших против завоевателей, и скоро отряд состоял почти из пятисот человек, из которых большая часть была вооружена ружьями и саблями, отобранными у побежденного врага.

Тольский со своими ополченцами наносил большой вред, поражая врасплох неприятелей и действуя так же, как и остальные партизаны.

Во время Отечественной войны партизаны Фигнер, Давыдов и другие были просто бичом для французской армии. Мужики верхами, вооруженные чем попало — кто с косой, кто с ружьем, кто с дубиной, кто с большим отточенным гвоздем, прикрепленным к толстой палке наподобие пика, — выскакивали из леса и кидались на французов, нанося им тяжелый урон.

Тольский был хорошим стрелком, отличался необычайной смелостью и с небольшим, но отборным отрядом нападал на целые сотни неприятельских солдат, громя и обращая их в бегство; за одну из героических стычек с неприятелем получил Георгиевский крест.

Даже Иван Кудряш, робкий парень, следуя общему примеру, оставил свою трусость и принимал участие во всех схватках с неприятелем, причем, объясняя это, сказал своему барину:

— Ведь и я — русский, и мне жаль родную землю. Уж если бабы и дети с французом воюют, то неужели мне сидеть сложа руки?

XXXI

Распростившись в городе Клине с Алексеем Михайловичем Намекиным, его сестра и невеста остались там ночевать, предполагая на следующий день двинуться в дальнейший путь к Петербургу. Но этого не удалось им сделать. Мария Михайловна, уже выезжая из Москвы, чувствовала себя неважно, но не обратила на это внимания. Однако расставание с отцом и с любимым братом произвело на нее настолько удручающее впечатление, что в Клину ее болезнь усилилась; принуждены были пригласить врача, а о продолжении путешествия и думать было нечего.

На другой же день из Клина видно было огромное зарево — это горела Москва, занятая французами.

Мария Михайловна и Настя, а также их дворовые с замиранием сердца смотрели на это багровое зарево, закрывшее весь небосклон. Слезы лились у них из глаз. Вдруг Мария Михайловна сказала:

— Настя, милая!.. Знаете что? Я хочу вернуться в Москву.

— Что вы говорите, Мария Михайловна? — с удивлением и испугом воскликнула Настя. — Вы хотите вернуться в Москву? Но вы подвергнете себя большой опасности.

— А разве мой отец, брат и все те, кто остались в Москве, не подвергаются ей? Если мне суждено умереть, то я умру там.

— Но вы больны.

— Что значит моя болезнь в сравнении с тем несчастьем, которое обрушилось на бедных москвичей да и на весь русский народ!

— Да, да, вы правы, дорогая!.. Мы должны быть около своих!.. И я поеду с вами, — сказала Настя.

— Но это невозможно, Настя, невозможно! Нет, нет, моя милая, я не решусь взять вас с собой; вы — невеста

моего брата; что скажет он, если с вами случится какое-нибудь несчастье?

Однако сколько ни возражала Мария Михайловна Насте, она наконец была принуждена согласиться и только уговаривала ее для безопасности переодеться в мужской костюм.

И вот скоро красавица Настя превратилась в мальчика, одетого в красную рубашку, сапоги и русский кафтан.

Прошло два дня. Мария Михайловна несколько оправилась от недомогания и вместе со своими дворовыми, Настей и нянькой Маврой выехала из Клина в Москву.

Был поздний сентябрьский вечер, когда они, не доезжая до города, остановились в небольшой деревушке, покинутой своими жителями. Изойдя из деревни, обитаемая была одна только изба; об этом можно было судить по тому, что в ней виднелся огонек. У открытых ворот этой избенки и встали наши путешественницы.

Мария Михайловна в сопровождении Насти и старого преданного лакея Ипатыча вошла в хибарку; тут они увидели следующее. За столом, на котором лежала открытая большая книга, сидел дряхлый старик, седой как лунь, в белой холщовой рубахе; тускло горела тоненькая восковая свечка. Занятый чтением, он, как видно, не заметил неожиданно вошедших к нему гостей и продолжал склоняться над книгою.

— Здравствуй, дедушка; прости, что мы ненадолго потревожим тебя, — проговорила Мария Михайловна.

Старик вздрогнул и испуганно поднял на нее свои давно потухшие глаза.

— Кто вы? Что надо? — спросил он у них дрожащим голосом.

— Мы устали с дороги и просим у тебя, дедушка, приюта.

— А вы куда едете?

— В Москву, дедушка.

— Москвы теперь нет, слышь, нет Москвы. Одно только место осталось, а Москва сгорела, да и хорошо, хорошо!

— Ты, дедушка, говоришь, хорошо, что Москва сгорела? — с удивлением спросила у старика Мария Михайловна.

— Да, да, хорошо! Я сам поджигал дома, ходил по Москве и поджигал... Да и не я один, а много нас. Пусть Москва горит, а врагам не достается. Что ж, отдыхайте; хоть и не время теперь думать об отдыхе! Зачем же вы теперь в Москву едете? Из нее бегут, а вы туда?

— У меня там свой дом и отец; может, он нуждается в моей помощи — вот я и еду. А ты, дедушка, один во всей деревне остался? Где же другие жители?

— В лесу, в лесу нашли они себе приют; там укрылись от супостатов.

Едва старик проговорил эти слова, как послышались отдаленные голоса и конский топот.

— Что это значит? Уж не французы ли? — с испугом воскликнули Мария Михайловна и Настя.

— Французы сюда не пойдут, им взять здесь нечего. Не бойтесь! — спокойно промолвил старик и вышел из избы.

Голоса и конский топот становились все слышнее и слышнее.

— Мы погибли, это — французы! — упавшим голосом сказала Настя.

— Чего вы испугались? Не надо, Настя, и в минуту опасности терять присутствие духа. Не забывайте: в Боге все наше спасение.

Громкий говор послышался у самой избы; по разговору нетрудно было догадаться, что это были не французы, а русские.

— Кто у тебя, старик? — громко спрашивал чей-то голос.

— Барыня какая-то со своими слугами. Видно, знатная: людей с ней много, — ответил голос, очевидно, принадлежавший старику, хозяину избы, где остановились наши путешественники.

— А вот мы сейчас узнаем, что это за знатная барыня!

Быстро отворилась дверь, и в избу вошел Тольский, одетый ополченцем; этот наряд очень шел к его статной, рослой фигуре.

При взгляде на него Настя как-то невольно вскрикнула и тут же выдала себя: несмотря на ее мужскую одежду, Тольский сразу узнал Настю.

«Какое сходство!.. Это она», — подумал он и, обращаясь к Марии Михайловне, вежливо проговорил:

— Кого я имею честь видеть здесь в такое время?

— Я — дочь генерала Михаила Семеновича Намекина.

— Генерала Намекина?.. Алеша... Алексей Михайлович — не брат ли ваш, сударыня?

— Да, он мой брат.

— Возможно ли? Какая встреча!

— Вы знаете моего брата? — спросила у Тольского Мария Михайловна.

— Знаю ли я вашего брата? Да он был мой лучший друг и приятель!

— Кто же вы?

— О, вы удивитесь, если я скажу вам, кто я. Да, впрочем, вам и говорить нечего: спросите об этом у вашего молодого спутника, — с улыбкой промолвил Тольский, показывая на Настю. — Этот хорошенький мальчик знает, кто я и что я.

Настя растерянно прошептала:

— Нет я... я не знаю.

— Неужели вы не узнали меня? А я вот сразу узнал вас, несмотря на ваш необычный наряд.

— Я вас не знаю.

— Вы на меня сердитесь за старое? Не думал я, что вы так злопамятны.

— Послушайте, скажите же нам, кто вы? — обратилась Мария Михайловна к Тольскому.

— Извольте: я — Тольский, кутила, игрок и дуэлянт; таким я прежде был, а теперь я — ополченец или, скорее, военачальник. Под моей командой сотни полторы мужиков, вооруженных чем попало, но все они по первому моему слову готовы идти на смерть и жертвовать собой за родину. Не в похвальбу скажу: со своим отрядом я нападал на целые сотни неприятельских солдат; бил их и в бегство обращал. Ну, довольно о себе; теперь вы скажите, куда вы едете? Неужели в Москву?

— Да, в Москву.

— Вы меня удивляете: ехать в Москву в такое время!.. Ведь Москвы теперь не существует: она выжжена, и французские солдаты, как голодные волки, бродят по опустелым улицам, ища себе пристанища и хлеба. Вы подвергаете себя и свою спутницу большой опасности.

— Я это знаю.

— И все же едете?

— Да, еду. Не забывайте того, что в Москве еще осталось немало несчастных жителей, голодных, без приюта, больных; им нужна помощь; кроме того, в Москве у меня отец остался, может быть, там же и брат.

— Не смею возражать: задуманное вами достойно похвалы. Но что вы можете сделать одна, когда кругом вас целые сотни, тысячи несчастных?

— Я не одна; со мною невеста моего брата — она также хочет помочь им — да еще слуги.

— Дай вам Бог успеха в этом славном деле! Прошу дозволить мне быть вашим проводником. Я выберу из отряда несколько смельчаков, и мы проводим вас в Москву до дому.

— Благодарю вас! Я приняла бы ваше предложение, но со мною довольно слуг, в случае нужды они сумеют защитить нас, — ответила Мария Михайловна.

— Не отказывайте мне! Я понимаю: вы и ваша спутница опасаетесь меня; поверьте, перед вами не прежний Тольский! Я также готов служить и жертвовать своей жизнью ради полоненных москвичей.

— Что же, если вам угодно, спасибо.

— Вы согласны? А вы, Анастасия Гавриловна, все продолжаете на меня сердиться? Смените гнев на милость и протяните мне свою руку в знак примирения. Виноват я перед вами, сознаю, но свою вину я давно искупил. Простите же меня! Смотрите на меня не как на своего врага, а как на преданного вам человека.

В словах Тольского было столько искренности и сердечности, что молодая девушка протянула ему руку.

— Вы... вы... простили меня? — радостно воскликнул Тольский.

— Да, я давно простила вас.

— О, теперь я — счастливейший человек на свете!

Отдохнув в избе старика, Мария Михайловна, Настя и их слуги отправились к Москве. Тольский с тремя здоровыми парнями, хорошо вооруженными, провожали их. Не доезжая до Тверской заставы, Мария Михайловна, Настя и их спутники пошли пешком, отослав лошадей в деревушку, из которой только что выехали; там же оставался и отряд Тольского.

Наступила ночь. Войти через заставы было невозможно, так как все они охранялись большими отрядами французских солдат; поэтому путники пробрались в Москву через вал, для дальнейшего пути в городе уже выбирая себе пустынные улицы и переулки, из опасения встретить французских солдат, которые, несмотря на глубокую ночь, шныряли повсюду в поисках надежного укрытия от огня. Пожары в Москве все еще продолжались, хотя и не такой силы, как прежде: большая часть Москвы уже выгорела и гореть больше было нечему.

Наши путники кое-как добрались до Тверской, где находился огромный каменный дом генерала Намекина. Он уцелел от пожара потому только, что в нем поместился со своею свитою один из маршалов Наполеона.

У ворот дома, несмотря на ночную пору, дремали двое неприятельских гренадеров с ружьями. Тольский заметил их и сказал Марии Михайловне:

— А дело-то плохо! Едва ли мы попадем внутрь.

— Почему же?

— В вашем доме французы, и у ворот стоят двое часовых.

— Боже! Стало быть, мой отец...

— А разве вы надеялись тут встретить своего отца?

— Когда мы выехали из Москвы, папа оставался дома; он занимался обучением своих крепостных ополченцев.

— Вероятно, ваш отец примкнул к армии со своим отрядом.

— Что же нам теперь делать, куда идти? — упавшим голосом произнесла Мария Михайловна.

— Пойдемте в наш дом. Может, он уцелел от пожара, — предложила Настя.

— Что же, пойдемте; только едва ли, моя милая, уцелел и ваш, — сказала Мария Михайловна.

— Если и уцелел, то в нем, наверное, тоже живут французы. А впрочем, пойдемте посмотрим; только вместе идти нельзя, нас могут заметить. Мы пойдем вперед, а вы немного поотстаньте и следуйте поодаль, — проговорил Тольский, обращаясь к трем ополченцам и к дворовым.

Наши путники скоро подошли к уцелевшему каким-то чудом дому майора Лугового на Никитской. Тольский посмотрел в его окна, и хотя ночь стояла тесная, все же разглядел, что комнаты были пусты.

— Никого и ничего не видно. Очевидно, ваш домик никем не занят, сказал он Насте.

Однако ворота оказались запертыми со двора.

— Вот я и ошибся; ворота заперты изнутри, стало быть, в доме кто-нибудь да есть! — И Тольский принялся стучать в калитку; но на его стук не было никакого ответа. — Странно, не отпирают; впрочем, и не надо, я и так обойдусь. Ну, Кудряш, марш через забор! Тебе входить на двор таким путем, чай, не привыкать.

Кудряш, без всякого возражения и не задумываясь, быстро перемахнул через забор и, очутившись на дворе, так же быстро отодвинул засов и растворил ворота.

Мария Михайловна, Тольский, Настя, подоспевшие ополченцы и слуги вошли во двор. Кудряш опять запер ворота. Затем они подошли к двери, которая вела в сени дома, но она была тоже заперта изнутри.

— Вот вам и доказательство, что в доме кто-то есть, — произнес Тольский и принялся руками и ногами барабанить в дверь, а так как и на этот раз на стук никто не ответил, то он воскликнул: — Да что это, померли здесь все или оглохли?

— Вероятно, в доме пусто, — промолвила Настя.

— А это мы сейчас узнаем, если вы, Анастасия Гавриловна, разрешите мне взломать замок. Ну-ка, Ванька, подналяг на дверь плечом!

Но дверь была крепка и не поддавалась. Тогда пустили в дело топор. В конце концов дверь, сбита с петель, с грохотом упала.

В просторных сенях было совершенно темно; отворили дверь в переднюю, там царил тоже непроницаемый мрак.

У одного из дворовых очутился в руках фонарь, и его зажгли.

— Что с вами, милая Настя, вы дрожите и побледнели? — участливо спросила Мария Михайловна.

На самом деле, Настя вдруг изменилась в лице.

— У меня вдруг до боли сжалось сердце и закружилась голова.

— Это от волнения и от испуга.

Тольский быстро отворил дверь в зал и остановился на пороге как вкопанный, при виде представшей перед ними картины.

На большом столе, в красном углу под иконами, лежал, очевидно, покойник, прикрытый простыней. Около стола с восковой свечой и с псалтырем в руках стоял старик камердинер майора Лугового, Савелий Гурьич. Он так предался чтению, что не слышал или не хотел обратить внимания на вошедших и продолжал свое занятие.

Настя побледнела и дрожащим голосом тихо спросила Савелия Гурьича, показывая на покойника:

— Кто это? Кто умер?

Старик камердинер обернулся.

— А... Это вы, барышня, — спокойно проговорил он. — Это ваш папенька скончаться изволили.

Не то стон, не то крик вырвался из груди бедной Насти, и она без памяти упала на пол.

Мария Михайловна стала приводить ее в чувство, и это наконец удалось ей. Настя открыла глаза и увидала себя в своей горенке, куда перенесли ее.

— Ну, как вы себя чувствуете, моя милая? — заботливо спросила у нее Мария Михайловна.

— Мне теперь хорошо!.. Спасибо вам! Вы такая добрая... Няня, а ты плачешь?

— Нет, нет, моя золотая, я... я не плачу; с чего мне плакать? — стараясь скрыть слезы, промолвила старушка.

— Позови ко мне, няня, Савелия Гурьича... Он мне расскажет про смерть папы...

— Не отложить ли вам эти вопросы? Они слишком печальны и тяжелы для вас... Вы так слабы, — с участием произнес Тольский.

— О нет, как мне ни тяжело, а все же я должна узнать о смерти своего отца... Няня, позови же Савелия Гурьича, мне надо все знать...

Старуха Мавра принуждена была исполнить желание своей барышни.

— Ну, Савелий, расскажи мне, только пожалуйста подробно, о смерти моего отца, — обратилась Настя к вошедшему старику.

— Его убили! — дрожащим голосом ответил тот.

— Как это? — быстро спросил Тольский.

— Французы... Дозвольте, я расскажу вам все по порядку. Мой барин, проводив барышню Анастасию Гавриловну, остался в доме и стал обучать своих дворовых парней военным приемам. В тот самый день, как французы в Москву вошли, барин отвел своих ратников к графу Растопчину, в его, значит, распоряжение, а сам домой вернулся... Во всем доме оставались только трое дворовых и я; оставшихся парней барин тоже стал обучать, роздал им ружья... Целый день занимался, а вечером заперся в своем кабинете, да так до утра и не выходил оттуда. А вчера утром и пожаловали к нам гости незванные-непрошенные, окаянные французы... Ворота были заперты, они стучаться стали. Помолился барин, взял ружье и вышел на двор, а с ним три дворовых парня, тоже с ружьями... Мне не велел выходить. «Ты, — говорит, — Савелий Гурьич, сиди дома, не показывайся французам, спрячься». Сказал так, крепко обнял меня да поцеловал. «Прощай, — говорит, — спасибо за услугу, едва ли мы с тобой на этом свете увидимся... Встретишь дочку мою, скажи, что я благословляю ее, и тебя, старик, за твою верную службу благословляю».

Дрогнул голос у старого камердинера; слезы мешали ему говорить.

А бедная Настя, слушая эти слова, плакала навзрыд.

Когда Савелий Гурьич несколько поуспокоился, Тольский обратился к нему с вопросом:

— А дальше что было?

— А дальше слышал я, как французы громко стучали и ругались, потом поднялась стрельба, раздались крики, стоны... Я дрожал как в лихорадке, запершись в своей камерке; долго просидел я там, а когда все стихло, помолился Господу Богу и вышел на двор. А на дворе-то весь в крови лежит мой барин. Бросился я к нему, думал, не жив ли. Нет, отлетела его душенька на Божий суд. Одна вражья пуля ему прямо в сердце угодила. Недалеко от барина и три дворовых парня убитыми лежали. Барина-то я в дом перетащил, обмыл, обрядил и на стол положил, а дворовых в саду зарыл: выкопал могилу, помолился, помянул их души и зарыл. А бариночку я думал завтра похоронить, отыскать священника и совершить все по христианскому обряду.

— Геройской, завидной смертью окончил свою жизнь ваш отец, — сказал Насте Тольский.

— Папа, милый, дорогой папа! О, если бы я знала, я не уехала бы от тебя. Зачем я не уговорила тебя ехать со мною из Москвы! — громко плакала Настя.

Ей дали выплакаться и не старались утешить.

Ранним утром, едва стало рассветать, старенький священник, разысканный где-то Савелием Гурьичем, совершил отпевание секунд-майора Гавриила Васильевича Лугового. В дощатом гробу, сколоченном на живую руку Тольским и камердинером, вынесли труп из дома в сад, где нашел он себе вечное успокоение рядом с могилой своих дворовых. Простой деревянный крест увенчал его могилу; на кресте Тольский сделал такую подпись: «Здесь покоится майор Луговой, принявший геройскую смерть от рук врагов отечества».

Настя в течение целого дня не отходила от дорогой могилы, молилась на ней и плакала.

Однако оставаться дальше в доме майора было опасно: каждую минуту могли снова ворваться неприятельские солдаты.

Мария Михайловна, следуя совету Тольского, изъявила согласие на время оставить Москву и стала уговаривать к тому же и Настю:

— Пойдемте отсюда, милая моя сестра!.. Остаться здесь нам более чем опасно... Могут прийти французы... А вы должны беречь себя!

— Зачем мне беречь себя? Ведь я... теперь сирота...

— Ах, Настя! А вы забыли своего жениха, забыли его к вам любовь...

— Может, и его нет в живых.

— Нет, его Господь сохранит... Я молюсь за Алешу, вы тоже за него мо́литесь, не так ли?

— Да... молюсь... Я так люблю Алешу! — сказала Настя и наконец согласилась: — Везите меня, куда хотите, теперь мне все равно.

И вот опять в глухую ночь Мария Михайловна, Настя, Тольский, Кудряш, старуха Мавра, старый камердинер Савелий Гурьич и дворовые Марии Михайловны в разное время с предосторожностью вышли из Москвы, стоворившись сойтись в той подмосковной деревеньке, где Тольского ожидал отряд его ополченцев.

Им все удалось, и, собравшись вновь, они стали советовать, остаться ли еще на некоторое время в этой деревушке или ехать куда-нибудь в более безопасное место.

Мария Михайловна предложила отправиться в подмосковную усадьбу своего отца Горки, причем сказала Насте:

— Там мы будем в полной безопасности: наша усадьба стоит в стороне, и едва ли французы узнают о ее существовании. Там же, наверное, находится с ополченцами и мой отец, а он всегда сумеет нас защитить, если это будет нужно.

Настя с радостью приняла это предложение.

— А мне дозвоьте со своим отрядом еще раз сопровождать вас, — промолвил Тольский.

— Да, я только что хотела просить вас об этом, — ответила Мария Михайловна, крепко пожимая ему руку.

Поспешно собрались и так же поспешно выехали из деревушки.

Было уже утро, когда наши путешественницы в сопровождении слуг, Тольского и его отряда ополченцев въехали в усадьбу генерала Намекина. По дороге в нее были расставлены генеральские дворовые с ружьями — также ополченцы; они должны были следить, чтобы не появились внезапно неприятельские солдаты.

Едва экипажи въехали на двор, как несколько дворовых бросились встречать свою молодую госпожу.

— Что, папа здесь, в усадьбе? — спросила Мария Михайловна первого попавшегося дворового.

— Так точно, но еще изволят почивать. Они нездоровы.

— Боже мой! Что с ним?

— Ранены. Не извольте беспокоиться: вашему папеньке теперь лучше.

— Бедный папа! Когда же он ранен? — с беспокойством спросила Мария Михайловна.

— Когда — не могу знать. Только их превосходительство привезли из Москвы раненым, пожалуй, недели две тому назад. Да им теперь много лучше: они ходят, — успокаивал дворовый переменившуюся в лице Марию Михайловну.

Последняя со своими гостями осторожно вошла в дом, опасаясь потревожить отца. Но ее страх был напрасен. Михаилу Семеновичу сказали о приезде в усадьбу дочери, он поторопился встать и вышел к ней навстречу; его голова была перевязана, он сильно изменился и похудел.

— Маша, вот не ожидал! Я думал, ты в Петербурге, — обнимая и целуя дочь, весело проговорил Михаил Семенович.

— Папа, милый, вы ранены?

— Ничего, пустая царапина! А это кто с тобой? — спросил генерал, показывая на Тольского и Настю, все еще бывшую в мужской одежде.

— Вы... вы не узнали меня? — с улыбкой произнесла Настя.

— Как? Настя?.. Анастасия Гавриловна? Что значит этот ваш маскарад? Впрочем, понимаю — предосторожность. А вас, сударь, все еще не имею чести знать, — обратился Михаил Семенович к Тольскому.

— Я, папа, еще не успела отрекомендовать тебе Федора Ивановича Тольского!

— Как? Тольского? Хоть лично вас я не знаю, но фамилию припоминаю, и, признаюсь, удивлен, видя вас у себя да еще в этой почетной одежде!

— Папа, господину Тольскому я и Настя многим обязаны; под его охраной мы безбоязненно доехали до усадьбы.

— А, вот что... Похвально, господин Тольский! Стало быть, вы покончили со своей прежней бесшабашной жизнью, да?

— Давным-давно, ваше превосходительство. Прежнего Тольского нет, перед вами стоит другой — готовый положить свою жизнь за родную землю.

— Хорошо, похвально! Но где же вы пропадали? Ведь года два-три о вас не было ни слуху ни духу.

— Если позволите, ваше превосходительство, я с малейшими подробностями расскажу вам, где я был и где пропадал, но теперь не могу: я страшно устал и прошу дозволения...

— Отдохнуть с дороги? Да, да, сейчас прикажу отвести вам помещение. Располагайтесь в моем доме, как в своем. Все ваши ополченцы тоже найдут у меня приют и ласку. Я сейчас распоряжусь. Только одно слово: скажите, ведь вы не церемонились с пришлыми неизвестными гостями и с русским радушием угощали их? Не так ли?

— Не церемонился, ваше превосходительство; я со своими молодцами не одну сотню этих гостей отправил в страну, откуда нет возврата.

— Молодец, хвалю, так и надо. Я и сам потряхнул стариной и показал французам, как русские умеют мстить за свою землю.

Тольскому была отведена лучшая комната в генеральском доме. Кудряш и ополченцы тоже получили удобные помещения. Все они были сытно накормлены.

Насте отвели маленькую, хорошо обставленную комнату рядом с комнатой Марии Михайловны.

Старый генерал засыпал ласками и любезностями молодую девушку.

— Ведь вы, Настя, теперь не чужая мне, и я смотрю на вас, как на будущую жену своего сына. Кстати, я только вчера с нарочным получил письмо от Алеши; он теперь уже состоит адъютантом при главнокомандующем, князе Кутузове, и находится с армией в Тарутине. Туда, к князю Кутузову, Наполеон послал своего генерал-адъютанта Лористона с предложением о мире; но герой Кутузов ответил посланному, что о мире не может быть и речи, что война только начинается. Каков ответ? А? Бонапарт догадался, что далеко зашел, поджал хвост и пардону запросил, лисой прикинулся, да поздно хватился: пардону ему не дадут, и скоро придется ему улепетывать восвояси. Пройдет еще две-три недели, и Москва будет очищена от незваных гостей, — произнес Михаил Семенович.

Но, к сожалению, не сразу исполнились эти слова генерала; еще до этого ему и его семье пришлось на себе испытать силу врагов.

Тольский со своим отрядом ополченцев решил пробыть в усадьбе генерала Намекина дня два-три. В это, хотя и короткое, время он успел сойтись с Михаилом Семеновичем и подробно рассказал ему о том, как судьба закинула его на Аляску, как он там у диких алеутов изображал из себя их бога и как опять очутился в Европе.

Этот рассказ заинтересовал не только самого генерала, но и Марию Михайловну, и Настю. Обе они с большим вниманием слушали его.

Во время этого рассказа в столовую генеральского дома, где сидели за вечерним чаем Михаил Семенович, его дочь и Настя, вбежал один из дворовых и задыхающимся голосом проговорил:

— Ваше превосходительство, беда! Французы к усадьбе подступают...

— Где ты их видел?

— Верстах в двух от усадьбы.

— А много ли их?

— Хорошо не разглядел, ваше превосходительство, а кажись, немало.

Мария Михайловна и Настя изменились в лице при этом известии, но генерал и Тольский нисколько не сробели и не потерялись.

— Маша и вы, Настя, отправляйтесь на антресоли и никуда не выходите. Ничего не бойтесь, около вас немало защитников, — спокойно проговорил генерал.

— Я первый готов умереть за вас обеих. Только через мой труп доберутся до вас, — с жаром произнес Тольский и, обращаясь к Михаилу Семеновичу, добавил: — А с вами, генерал, мы пойдем готовиться к приему незваных гостей.

— Да, да, мы встретим их по русскому обычаю, угостим на славу; у меня для таких гостей и десерт припасен — пушки.

Действительно, усадьба была хорошо защищена, не один десяток дворовых ополченцев, хорошо вооруженных и обученных военным приемам, всегда были готовы к защите своего барина и его усадьбы.

Генерал, дав несколько приказаний своим дворовым, обратился к Тольскому:

— Если меня не станет, займите мое место и постарайтесь отразить нападение... Если враги окажутся сильнее и на отражение не будет надежды, идите на антресоли: оттуда есть потайной ход на чердак, в светелку. В нее вы сведете мою дочь и Анастасию Гавриловну... Там их французы не смогут найти...

— А если французы подожгут ваш дом?

— Пусть лучше моя дочь и невеста моего сына погибнут в пламени, чем попадут в руки французов. Дайте мне слово исполнить все, что я сказал вам!

Прошло несколько времени, и неприятельские солдаты очутились у тяжелых железных ворот, запертых на крепкие засовы. Раздался громкий и резкий стук, брань и ружейные выстрелы.

Намекин и Тольский, стоявшие впереди своего отряда, слышали, как начальник француз отдал приказ ломать ворота, но последние были слишком крепки и не поддавались.

Тогда некоторые смельчаки решились перелезть через них и, встреченные со двора градом пуль, попадали мертвыми и ранеными. Это взбесило французов, и они с остервенением бросились выламывать ворота снова.

Один из генеральских дворовых забрался на высокое дерево, растущее на дворе; оттуда ему видно было, велик ли отряд неприятельских солдат.

— Ну что, много ли? — спросил Михаил Семенович у дворового, когда тот спустился с дерева.

— Пожалуй, сотни две будет, ваше превосходительство, — ответил дворовый.

— Ну, это не особенно много, и мы с помощью Божьей осилим врагов, — спокойно произнес генерал.

На дворе усадьбы ополченцев и дворовых, хорошо вооруженных, было человек полтора.

Как ни крепки были ворота, но все же они, сбитые с петель, со страшным грохотом рухнули. Неприятельские солдаты с ожесточением ринулись было на двор, но, встреченные пушечным выстрелом и сильным ружейным огнем, в беспорядке отступили. Началась частая перестрелка.

Из неприятельского отряда выбыло немало солдат, да и ополченцев тоже порядочно легло; после перестрелки схватились врукопашную; как французы, так и русские дрались с яростью, и несмотря на то, что французов было чуть не вдвое больше, они принуждены были отступить.

Тольский со своим отрядом ополченцев бросился преследовать их, а генерал распоряжался выносом убитых и раненых: тех и других было достаточно. Раненых русских и французов переносили в дом и там заботливо перевязывали; этим занимались фельдшер, находившийся среди дворовых, а также Мария Михайловна и Настя. Когда опасность миновала, они сошли с антресолей и теперь, как истинные христианки, ухаживали за ранеными.

Когда фельдшер отказался было перевязывать французов, называя их врагами отечества, добрая Мария Михайловна убедила его смотреть на раненых одинаково.

— Забудем на время об их происхождении и станем смотреть на них, как на беспомощных, несчастных, нуждающихся в нашей помощи, — сказала она, промывая

зияющие раны и своим участливым словом стараясь, сколько возможно, успокоить людей и тем облегчить их страдания.

Убитые были похоронены на погосте в одной общей могиле; сельский священник совершил над ними обряд погребения. Генерал Намекин обеспечил семейства убитых.

Когда вернулся Тольский, усадьбу Горки опять стали укреплять: ведь неприятельские солдаты могли снова вернуться. Ворота были исправлены и стали теперь еще крепче. Усадьба казалась неприступной; она была обнесена кругом высокой кирпичной оградой; опять были расставлены на часах ополченцы как в самой усадьбе, так и в некотором расстоянии от нее; к их ружьям и саблям присоединены были ружья и сабли убитых и раненых.

Тольский со своими ополченцами ввиду грозящего усадьбе нового нападения французов остался в ней еще на несколько дней. Однако опасения, что французы снова вернутся, были напрасны. Армии Наполеона было не до того. Обтрепанные и голодные солдаты только и думали о том, как бы выбраться из «проклятой Московии».

XXXII

И на самом, деле Наполеон со своей многочисленной армией очутился в безвыходном положении: без квартир, без бриллиантов. Волей-неволей гордому всемирному завоевателю пришлось подумать о выходе из Москвы. А еще так недавно, в своем легендарном скромном сюртуке и треугольной шляпе, под звуки военной музыки, въехал он в осиротелый Кремль на белой, богато украшенной арабской лошади, окруженный блестящею свитою, состоявшею из генералов и маршалов, одетых в парадные мундиры. Каких костюмов и наций тут не было!.. Были и лейб-гусары в своих красных мундирах и высоких киверах с императорским гербом и висящими вдоль спины конскими хвостами; и польские уланы и гусары, по полкам, в цветных мундирах; и отряд «беспардонных» в блестящих кирасах и косматых киверах; тут же шла конница в железных шишаках, с тигровыми шкурами, и гвардейская артиллерия в высоких кунных шапках, драгуны в медных касках и светлых плащах с карабинами за плечами. Далее шествовала знаменитая старая гвардия Наполеона, закаленная в битвах,

рослая, усатая, в красивых мундирах с цветными отворотами, в высоких медвежьих шапках с золотыми кистями. Шли тут и покоренные Наполеоном пруссаки в синих камзолах, австрийские кирасиры в белых мундирах, голландские копейщики, вооруженные длинными копьями, смуглые итальянские стрелки, поляки в кунтушах. Одним словом, воины двенадцати языков во главе с Бонапартом заполнили Москву первопрестольную.

Наполеон занял Кремлевский дворец, маршалы и генералы тоже позаботились о своих квартирах; французская армия расположилась около Москвы бивуаками у застав, на полях и огородах. По пустынным улицам Москвы разъезжали патрули.

Наполеон приказал напечатать известие о занятии Москвы французами и разослать его с курьерами по всей Европе; это известие было следующего содержания:

«Великая битва седьмого сентября, то есть Бородинская, лишила возможности защитить Москву, и они оставили свою столицу. Теперь, в три с половиной часа, наша победоносная армия вступает в Москву. Император сейчас прибыл сюда».

Наполеон прожил в Кремлевском дворце два-три дня. Страшный пожар Москвы заставил его покинуть Кремль и переселиться в Петровский дворец. Бушующее пламя угрожало Кремлю, от страшной жары во дворце лопались стекла, от дыма и смрада нечем было дышать. Наполеон спросил о причине пожара. Ему ответили, что русские поджигают свои дома и имущество. Взбешенный император отдал приказ ловить и расстреливать поджигателей. Но пожары, несмотря ни на что, продолжались, и Москва в какие-нибудь пять дней превратилась в дымящиеся развалины.

Стоявшая дотоле прекрасная погода вдруг с пятнадцатого сентября резко изменилась: подул холодный ветер, пошли непрерывные дожди, наступили холода. Французы теперь увидели, насколько безвыходно их положение во враждебной стране, без хлеба и квартир. В войсках все более и более роптали на своего великого императора. Образцовая дисциплина совершенно разрушилась, солдаты перестали повиноваться, начались грабежи.

Гордый завоеватель только теперь понял, какую непростительную ошибку сделал, предприняв поход в Россию, понял и ужаснулся. Но было уже поздно, роковой исход был очевиден, предначертание судьбы должно было свершиться.

Ожесточенные французы стали вымещать свою злобу на Москве и ее жителях; солдаты грабили до тех пор, пока грабить уже нечего было; запертые ворота и лавки разбивали бревнами, а в стены уцелевших домов били ломami и по звуку узнавали, не замуровано ли в этих стенах какое-нибудь сокровище; рылись в пепле сгоревших домов и не стеснялись с несчастных прохожих снимать сапоги и последнюю одежду; на жителей, как на лошадей, навьючивали награбленное имущество. Некоторые из сынов Великой армии врывались в церкви, святотатственно растворяли царские ворота, обнажали святые престолы, опрокидывали их, превращая храмы в конюшни и поварни, расставляя там таганы и зажигая костры из расколотых икон; в иконы вбивали гвозди и вешали на них конские сбруи и амуницию; одним словом, святотатству не было конца. В церкви Петровского монастыря французы устроили себе мясную лавку: на монастырском дворе распластывали быков, а в храме, вокруг стены, на широких лавках, лежали заготовленные порции мяса, за которыми каждый день приходили солдаты; на церковных паникадилах и на вколоченных в иконы гвоздях висели внутренности и битая птица, по большей части голуби, вороны и галки, подстреленные на улицах Москвы. Церковная завеса была изорвана в клочья, а святой алтарь забрызган кровью. Священников и монахов, восстававших против святотатства и грабежа, жестоко истязали. Почти все московские храмы и монастыри, уцелевшие от пожара, были осквернены и ограблены.

Несчастные москвичи не знали, где и скрыться от неистовства врагов. Молодые женщины мазали свои лица сажей и укутывались в платки, чтобы казаться старухами; две молодые девушки, родные сестры-красавицы, дочери почетного гражданина, спасая свою девичью честь, утопились в Москве-реке. Молодых французы брали себе, а пожилых и старых сажали за урочную работу: заставляли стирать белье и шить рубахи из награбленного полотна. Бедные женщины прятались под сводами труб, в печах, на кладбищах, укрываясь между памятниками и в вырытых могилах. Некоторые же, бледные, исхудалые, с распущенными волосами, с печальными лицами, глазами, полными слез, ходили между трупами убитых, отыскивая своих мужей, отцов, братьев.

А чем жили несчастные москвичи в это ужасное время? Кто питался пшеницей, горькой подмоченной мукой, которую доставали на барках; иные вырывали из земли гни-

лой картофель, и, запекая его с хлебом, ели где-нибудь за углом или в подвалах и погребах, опасаясь, чтобы французы не отняли последнего куска.

Бедствовали русские побежденные, но не менее того бедствовали и победители французы. Продовольствия для армии отпускалось все менее и менее. Голод усиливался, и дошло до того, что голодные, оборванные французы дрались между собою за рванные сапоги или кусок хлеба. К голоду присоединился еще и холод: несмотря на сентябрь, показался даже снег.

Сознавая безвыходность своего положения, Наполеон старался сблизиться с жителями посредством прокламаций, обращенных к москвичам: он предлагал вернуться к своим занятиям русским чиновникам, купцам, ремесленникам и крестьянам, обещая свою милость. Но русские не нуждались в милости завоевателей и жестоко мстили врагам родной земли. Бледные, истомленные голодом москвичи ватагами ходили по улицам, поджидая момента, чтобы врасплох напасть на французов. Нередко случалось, что французские солдаты, найдя в подвалах и погребах бочки с вином, устраивали там пирушку; москвичи подкрадывались к пирующим врагам, затворяли подвалы, заваливали их камнями и бревнами, а то, выследив дом, набитый спящими французами, запирали все двери и поджигали его. Французы боялись ходить по выжженной Москве, опасаясь попасть в засаду, посылали вперед русских, а сами шли за ними. Русские нарочно заводили своих врагов в самые опасные места и, бросаясь на них, убивали, нередко и сами погибая с ними.

Мстящий народ где только мог истреблял врагов; их трупы прятали в погреба, ямы, пруды, закапывали в садах и огородах.

Час возмездия гордому завоевателю за пролитую кровь настал. Его счастливая звезда стала быстро меркнуть. Усыпленный своими победами и славой, Наполеон проснулся, но было уже поздно. Он всеми силами старался подкрепить ослабевшую бодрость своих солдат и ради этого в своих бюллетенях заявлял, что русская армия истреблена и что надобно теперь отыскивать ее остатки.

Между тем положение французов становилось час от часу все труднее и ужаснее. Началась народная партизанская война.

Мюрат, получив приказание от Наполеона следить за действиями Тарутинского лагеря, где находилось русское

войско и главнокомандующий Кутузов, растянул своих солдат вдоль реки Черпишны. Его войска терпели страшный недостаток в фураже и провианте, их пища состояла только из конины и овощей, добытых на окрестных огородах.

Начались уже заморозки, появился первый снег. Солдаты Наполеона, не имея квартир, под открытым небом десятками, сотнями заболели и умирали.

Сообщение Мюрата с Наполеоном почти прекратилось, потому что курьеров надо было посылать в Москву под прикрытием большого конвоя с артиллерией, иначе курьеры попадали в руки крестьян и партизан. Наполеон написал Мюрату, чтобы он оставался на своей позиции и всегда был готов к наступлению.

Нелегко было Наполеону сознаться в своем бессилии. Ему, привыкшему к победам, до сих пор не знавшему неудач, приходилось признать, что его поход в Россию более чем неудачен: после всех затрат, после многих тысяч потерянных воинов надо было думать об отступлении, не заключив даже мира. Что скажут его солдаты? Что подумает Европа, привыкшая читать его бюллетени о громких победах, привыкшая к славе французского оружия? Наполеон приказал маршалу Мортье известить европейские дворы, что он со своей «победоносной армией» намерен выступить на зимние квартиры, так как климат Москвы для нее вреден; пойдет он через Калугу в юго-западные губернии. В своем двадцать пятом бюллетене Наполеон доказывал, что на новой позиции его армия сближается с Петербургом и Киевом, что значительно облегчит его следующий поход в Россию.

И вот был назначен день для передвижения неприятельского войска. Этим днем было первое октября. Всем маршалам было предписано, куда и по какой дороге надлежало выступать из Москвы.

Как недавно французы спешили в Москву, так теперь спешили выбраться из нее.

Наполеон оставил в Москве на некоторое время маршала Мортье с молодой гвардией и кавалерийскими полками для наблюдения за порядком при выступлении армии и обозов.

Французская армия, за исключением гвардии, при выходе из Москвы была в самом плачевном положении: голодные, обшипанные, оборванные до такой степени, что сами французы не узнавали друг друга. Завернувшись в рогожи, ковры, чтобы защищаться от холода, они накиды-

вали на себя женские юбки, шали, салоны, некоторые ку- тались в священнические облачения. На головах были на- деты шляпки, чепчики, мешки, кульки; кто шел в поповской рясе и треугольной шляпе, кто в салопе, с муф- той на голове, кто в мундире и кокошнике, кто в лакейской ливрее, кто в лошадиной попоне или рогоже, кто в сара- фане и чепчике. Словом, эта «великая, непобедимая ар- мия» походила теперь на сборище несчастных, жалких оборванцев.

По большой смоленской дороге потянулись из Москвы многочисленные повозки с больными и ранеными, двинулся обоз с серебром, золотом и другими награбленными в Мос- кве предметами.

Наполеон оставался еще в Москве до шестого октября, питая надежду, что император Александр пришлет ему от- ветное письмо. Но ответа не было, и Наполеон понял, что о мире не может быть и речи. Тогда появился следующий его приказ: «Сегодня вечером, в восемь часов, все корпуса должны приготовиться к выступлению из Москвы; каждый генерал возьмет с собой кураж и съестных припасов, сколь- ко может».

Вследствие этого приказа во французском войске нача- лась страшная суматоха. Армией овладел какой-то паниче- ский страх: французы кинулись укладывать награбленные вещи и багаж в фуры, а тут еще, к довершение их ужаса, через Серпуховскую заставу потянулся обоз с ранеными под Тарутином. Стоны несчастных далеко неслись, увеличивая панику у отступающих.

Наш отряд под предводительством Беннигсена в ночь с пятого на шестое октября напал на корпус неаполитанского короля Мюрата и разбил его наголову. Мюрат отступил, потеряв множество повозок, орудий и весь свой лагерь. Кроме того, наши взяли много раненых.

Французы спешили скорее покинуть Москву. Их сборы были непродолжительны все награбленное имуще- ство, которое нельзя было взять с собою, они сжигали и ломали. Повсюду слышались разноязычный говор, кри- ки, бряцание оружия, ржание лошадей скрип обозных колес.

Перед самым выступлением неприятельского войска трубачи возвестили о походе; грянуло несколько пушечных выстрелов, громко заиграла музыка. Но «сыны великой ар- мии» покидали Москву с поникшей головой: они ужасались той участи, которая предстояла им на пути от Москвы до Франции; страшный голод, его родной брат мороз-богатырь,

народ русский, мстящий за погром своей родины, устрасали их.

И двинулись «двенадесять языков» восвояси. Двуглавый орел победил ворона!

Покидая Москву, Наполеон сказал своим солдатам:

— Я поведу вас на зимние квартиры, и если встречу на дорогах русских, то разобью их!

Но не то оказалось на деле: в отмщение за разгром России французскому войску суждено было погибнуть в России — уцелели и вернулись на родину немногие.

Картина выступающих из Москвы французских войск была очень странной: на несколько верст длинным хвостом растянулись полки, сзади ехало более десяти тысяч карет, колясок, колымаг, бричек и фургонов, масса подвод с награбленным добром. Более сорока тысяч повозок ехали медленным шагом. Среди длинных колонн войска везли шестьсот пушек. Наполеон вступил в Москву с четырьмястами десятью тысячами солдат и выступил с тремястами восьмьюдесятью тысячами; следовательно, в одной Москве погибло более тридцати тысяч.

Позади армии шли и ехали не строевые, но принадлежащие к армии, как-то: чиновники, маркитанты, слуги придворного штата, актеры, а также жившие в Москве иностранцы, преимущественно французы. Они тоже последовали за армией.

Наполеон приказал Мортье по выходе войска из Москвы взорвать Кремль. Подкопы под кремлевские здания были сделаны заранее, вековому Кремлю грозило страшное разрушение; что сооружалось веками, мстительный враг задумал разорить в один день. Но Господь невидимо хранил святыню. Отряд генерала Винцингероде быстрым нападением на неприятельские посты помешал исполнить этот адский замысел.

Мортье поспешно оставил Москву. Целый день десятого октября французы взрывали оружейные склады, вывозили из госпиталя больных и раненых.

Смятение французов увеличили появившиеся у Тверской заставы казаки. Неприятельские войска бежали, не успев даже забрать награбленную добычу, некоторые даже бросали нужные бумаги и планы.

Москвичи встрепнулись и, где можно было, добивали врагов, особенно производя панику между ними криком:

— Ура!.. Казаки!.. Казаки!..

Несчастные неприятельские солдаты гибли сотнями, тысячами.

XXXIII

Тольский, находясь в генеральской усадьбе Горки, не оставался без действия: он со своим отрядом ополченцев ежедневно ходил на ту дорогу, по которой неприятельские солдаты отступали из Москвы, нападал на небольшие отряды французов и, разумеется, уничтожал их, а большим отрядам причинял сильный урон. Вечером он со своими ополченцами всегда возвращался в усадьбу и с оживлением рассказывал о своих победах.

Как-то в начале октября Тольский вернулся в генеральскую усадьбу в особенно радостном настроении и весело произнес:

— Ваше превосходительство, Михаил Семенович, и вы, барышни, порадитесь. Москва очищена... Я только что оттуда и скажу вам, что теперь в Москве не осталось ни одного француза.

— Боже, благодарю Тебя!.. Ты внял нашей общей молитве и избавил древнюю столицу от пришлых врагов! — дрожащим голосом произнес старый генерал и усердно перекрестился.

— Как вы об этом узнали? — спросила у Тольского Настя.

— Повторяю, я только что из Москвы и не встретил там ни одного неприятельского солдата.

— Так, так... Не долго же погостил у нас Наполеон. Видно, не сладким показалось ему наше российское угощение, и пошел он со своими солдатами восвояси, несолоно хлебавши! — промолвил Михаил Семенович.

— А если бы вы видели, в каком виде выступала из Москвы «непобедимая» армия Наполеона!.. Что за наряд и что за костюмы были на солдатах; какой жалкий и смешной вид они имели!..

— То ли еще будет! Русский мороз-богатырь не свой брат: он даст себя почувствовать... А знаете ли, Федор Иванович, по-человечески мне жаль этих несчастных людей... Они, право, не столько виноваты, сколько Наполеон. Он привел их умирать ужасной смертью в нашу страну... Поверьте, пройдет еще несколько времени — и от всей армии Наполеона останутся жалкие крохи... Наш главнокомандующий ждет их, чтобы проводить по русскому обычаю, с честью... Французы, изнуренные голодом и холодом, разумеется, не будут в состоянии защищаться, и Наполеон весь свой обратный путь из России во Францию усует своими солдатами.

— Он и сам погибнет. Не правда ли, ваше превосходительство? — проговорил Тольский.

— Да, Наполеон должен погибнуть... Извлекший меч от меча и погибнет. Ну, мои милые, завтра мы поедем в освобожденную Москву. Теперь Москве мы нужны... Перед вами открывается обширное поприще для благотворительности, — обратился Намекин к дочери и к невесте своего сына.

Те с радостью откликнулись на его зов и, приехав в Москву, всецело посвятили себя благотворительности. Уцелевший от пожара дом генерала Намекина на Тверской был обращен в дом призрения и больницу. Там несчастные москвичи, оставшиеся без всяких средств к существованию и без пристанища, находили себе приют, а больные и раненые — тщательный уход и работу.

Первое время после ухода французов в Москве съестные припасы продавались по очень высокой цене. У генерала Намекина был большой запас хлеба в усадьбе; он перевез его в Москву и приказал продавать по сходной цене, а беднякам раздавать печеный хлеб бесплатно.

Тяжело было смотреть на осиротелую Москву. Как будто страшный ураган пронесся над нею, разрушив и уничтожив все. Смерд и зловоние от пожарниц и гниения неубранных трупов был ужасный, поэтому прежде всего в освобожденной Москве занялись уборкою. Особые фурманщики подбирали мертвые тела, клали их в фуры, свозили за заставы, а также в Марьину рощу и к Крымскому броду и сжигали там. Мало-помалу Москва стала очищаться и приходить в порядок.

Прежде всех прибыло в Москву владимирское ополчение, а потом приехали обер-полицмейстер с полицией, пожарные и московский комендант Эссен.

Стали съезжаться и москвичи на свое родное пепелище. Они едва могли узнать прежнее жилье. Дома были большею частью сожжены, а те, которые уцелели, были разграблены. Многие жители так и не возвратились в Москву, потому что жить было негде: на улице или в обгорелых домах нечего было и думать — зима стояла холодная и суровая. Некоторые за неимением пристанища поселились в Лефортовском дворце, в Спаских казармах, другие — в обгорелых полуразрушенных домах, завешивая выбитые окна и двери коврами и рогожами. Квартиры в уцелевших домах были слишком дороги, и потому в одной комнате часто теснились несколько семейств.

Ужасную картину представлял Кремль после отступления неприятельской армии. Спасские ворота были заперты и завалены, а Никольские загромождены обломками взорванной стены. Весь Кремль был завален мусором, камнями, кирпичами, сеном, соломой, разлагающимися трупами, сломанными экипажами и повозками. У Ивановской колокольни громоздились груды камней от разрушенной взрывом пристройки; тут же лежали два громадных колокола, упавшие с колокольни. Успенский собор, где венчались на царство православные государи, находился в страшном запустении.

Как только французы оставили Москву, собор заперли и запечатали до приезда преосвященного Августина. Последний находился в то время в Муроме. Граф Растопчин известил его о выходе неприятеля из Москвы следующим письмом:

«Враг человеческого рода, опустошив Москву и осквернив храмы, сопровождаемый проклятиями российского народа, с малым числом оставшейся в живых нечестивой рати своей предался бегству, желая довершить злодейство разорением Кремля; но рука Всевышнего спасла от падения соборы и Ивановскую колокольню и прах царей наших с державой государя императора; они, с верностью и мужеством народа, ему преданного, остались непоколебимыми. Обманутый ложною надеждою и ослепленный успехами, он мечтал покорить Россию, предписать ей свои законы, но Россия восстала вся на него, попраля его силу и повергла страшное могущество Наполеона к ногам Александра I. Сообщая о сем происшествии Вашему Преосвященству, прошу направить путь Ваш к первопрестольному граду, жители коего желают возвращения Вашего, церкви освящения. Все истинные христиане стремятся к чудотворным иконам Иверской и Владимирской Божией Матери для принесения им теплых молитв за избавление свое от нашествия врага и уничтожение гордыни его».

В конце октября преосвященный Августин прибыл в подмосковное село Черкизово и поселился там на время, так как в Москве ему жить было негде: все архиерейские подворья были выжжены.

Несмотря на холодное время, толпы народа спешили навстречу своему любимому и уважаемому архипастырю и теснились около него со слезами радости, прося благословения. Преосвященный приветствовал встречавших его радостными и великими словами: «Христос Воскресе!»

Граф Растопчин приехал в Москву вскоре после отступления французов и «застал уже угасающее, но все еще дымящееся пепелище ее». К его дому со всех сторон стекался горемычный, бесприютный народ с просьбами о вспоможении; граф не остался равнодушен к просьбам и старался всячески помочь москвичам.

Наконец, из Казани возвратился в Москву сенат, из Владимира — канцелярия гражданского губернатора, стали съезжаться и прочие власти.

Выжженная, ограбленная Москва начала мало-помалу очищаться и приходить в порядок. Застучали топоры, запилили пилы, и на месте разрушенных домов стали расти другие, новые. И Москва выросла...

Вскоре же после того, как неприятельское войско оставило Москву, утром с колокольни Страстного монастыря раздался радостный и торжественный звон. Благовестили к обедне и на всех уцелевших колокольнях. Шесть недель французы хозяйничали в Москве, и во все это тяжелое время ни разу не оглашалась наша белокаменная радостным колокольным звоном. Зато теперь на призывный звук колоколов откликнулись жители; все — и стар и млад — спешили в Божии храмы принести свою сердечную молитву Господу, освободившему их город от гордых завоевателей.

Вот как описывает торжественность этого богослужения очевидец, князь Шаховской, состоявший в Отечественную войну в отряде генерала Винцингероде:

«Перед входом нашим в монастырь двор его, переходы, паперть и вся церковь были уже наполнены богомольцами, и вся тогдашняя столица всероссийских царей втеснилась в одно не чрезвычайное здание. Сильный трезвон, заколебавший московское поднебесье, усилил жданное мною действие; все как будто вострепнулись, и конечно, с победы Пожарского и всенародного избрания царя Михаила Федоровича не было ни одной обедни, петой в Москве с таким умилением и слушанной с таким благочестием. Но когда по ее окончании священный клир возгласил перед царскими дверями: «Царю Небесному, Утешителю», — все наполнявшие монастырское здание начальники, воины, дворяне купцы, народ русский и иностранцы, православные и разнoverные, даже башкирцы и калмыки пали на колени, и хор рыданий смешался со священным пением, всеместным трезвonom колоколов и, помнится, пальбою каких-то пушек».

Из окрестностей Москвы стал стекаться народ, почти во все заставы потянулись обозы с различными съестными

припасами; на площадях появились каменщики, плотники и маляры, предлагающие свои услуги москвичам. То здесь, то там стали открывать мясные, рыбные и овощные лавки, сколоченные из досок и лубка на скорую руку; товар в них раскупали голодные жители чуть ли не с бою. К сожалению, продавцы брали за все невозможные цены: например, фунт ржаного хлеба стоил двадцать пять копеек ассигнациями, маленький калач — тридцать пять копеек. На опрокинутых вверх дном кадках торговцы на площадях и больших улицах раскладывали разные съестные припасы и галантерейные вещи.

Кроме того, взад и вперед по базарам и улицам сновали торговцы с лотками и корзинами, наполненными провизией. Кто носил в большой корчаге кашу, кто кисель гороховый; продавали также и разное хлебово. За кушаком у продавца обыкновенно торчали большие деревянные ложки, а за пазухой — маленькие глиняные миски и тарелки. Каждый разносчик громко выкрикивал название своего товара и с разными прибаутками предлагал его покупателям. Москва ожила.

Наконец, вернулся преосвященный Августин и совершил литургию в уцелевшем Сретенском монастыре, перед чудотворным иконами Иверской и Владимирской Божией Матери. Народа была масса. После обедни владыка служил благодарственный молебен с коленопреклонением, а затем разоблачился, вышел на амвон и обратился к народу: «Приветствую вас, братья, радостным восклицанием: «Христос Воскресе!»». Что произошло в церкви, не поддается описанию. Люди бросились обнимать и целовать друг друга, как это бывает в великую заутреню Светлого Христова Воскресения, теснились около владыки, целовали у него руки и мантию. Преосвященный Августин благословлял каждого, повторяя: «Христос Воскресе!»

Начались богослужения и в других уцелевших церквях; первого декабря был большой крестный ход вокруг стен Китай-города, а второго февраля 1813 года был совершен крестный ход и вокруг кремлевских стен; за ним несли мощи царевича Дмитрия.

Как-то в зимний долгий вечер старый генерал Михаил Семенович Намекин вел оживленную беседу с Тольским, который все еще продолжал гостить в его доме. В беседе принимали участие и Мария Михайловна с Настей. Предметом их разговора были Наполеон и его жалкие солдаты,

которые сотнями, тысячами гибли в России от русских пуль, русского мороза, а также и от голода. Их беседа была прервана приходом старого дворецкого, который смущенным голосом проговорил:

— Ваше превосходительство, молодого барина Алексея Михайловича привезли...

— Как, как привезли? Мертвым? — нервно крикнул генерал.

Мария Михайловна и Настя переменились в лицах и с ужасом смотрели на дворецкого, ожидая его ответа.

— Они живы, только ранены...

— Где же он?

— На своей половине; я туда приказал перенести их.

Намекин поспешил на половину сына; за ним, едва сдерживая слезы, пошли Мария Михайловна и Настя.

Алеша, худой и бледный, но с радостной улыбкой встретил их. В одной из стычек с неприятельскими солдатами он был ранен в ногу: рана, хоть и не опасная, требовала правильного лечения и ухода, и по приказу главнокомандующего его отправили на излечение в Москву к отцу.

Свидание с отцом, сестрой и с Настей было самое нежное, самое сердечное.

— За меня вы, пожалуйста, не бойтесь: рана у меня почти зажила, и я совсем здоров... Только вот ходить не могу, — сказал Алеша, успокаивая старого отца, сестру и милую невесту. Но пройдет недели две, и я буду в состоянии танцевать, право!

Алеше сказали о Тольском, и он пожелал видеть его.

— Здравствуйте, Тольский! Очень рад видеть вас здесь, у себя, а в особенности рад той перемене, которая произошла с вами. Я слышал многое про ваши геройства и самоотверженность, — ласково сказал раненый, протягивая Тольскому руку.

— Вы... вы не сердитесь за прошлое на меня?

— О прошлом нечего вспоминать: что было, то прошло... Повторяю, я рад видеть в нашем доме такого гостя, как вы.

— Спасибо, спасибо!.. Прошное я постараюсь загладить перед вами, — с чувством произнес Тольский, крепко пожимая руку бывшего врага.

— Ну а ты, моя милая невеста, наверное, будешь ухаживать за своим калекой-женихом? Не так ли? — спросил у Насти молодой Намекин, улыбаясь.

— Алеша... Алексей Михайлович... — И молодая девушка покраснела и смутилась.

— Чего же ты, Настя, смутилась, назвав меня Алешей? Так и зови меня... Ведь я — твой жених, и как только поправлюсь, будет наша свадьба. Не так ли, батюшка?

— Да, да, Алеша... Только скорее поправляйся. От своего слова я не отступлюсь. Настенька будет твоею женой.

XXXIV

Прошло более десяти лет после рокового 1812 года. Немало перемен произошло за это время. Наполеона уже давно не было в живых: завоеватель полумира окончил свои дни узником на пустынном, дальнем острове св. Елены. Русский государь со своим народом отплатил ему за дерзость.

Москва пообстроилась, пообчистилась и стала мало-помалу забывать свое несчастье и пожар. Недаром говорят, что всякий после пожара богатеет, — так случилось и с Москвой.

Немало перемен в это время произошло и с героями нашего повествования.

Алеша Намекин поправился от раны и женился на своей возлюбленной Насте. Свадьба была скромная; они венчались в сельской церкви усадьбы Горки. Никакого свадебного пиршества или бала не было. Генерал ознаменовал день свадьбы своего сына новыми льготами для своих крепостных крестьян, уменьшением барщины и оброка и открытием в селе школы для ребятишек. Обучением занималась Мария Михайловна и «молодая барыня» Анастасия Гавриловна.

Алексей Михайлович, проведя со своей «милой женошкой» в медовый месяц в усадьбе отца, отправился в действующую армию. В то время престарелого вождя русского воинства, князя Михаила Илларионовича Кутузова-Смоленского, уже не было в живых. Шестнадцатого августа 1813 года он тихо скончался. Молодой Намекин участвовал в славном походе русского войска в Париж и был свидетелем того неподдельного восторга, с которым парижане встречали нашего императора Александра Павловича.

— Царствуйте над нами или дайте нам монарха, похожего на вас! — с восторгом кричали французы, усыпая путь нашего государя цветами и лаврами, густой толпой теснясь около него и восклицая: — Да здравствует император Александр, наш избавитель! Да здравствуют русские!

Такие восторженные крики слышались повсюду, где проезжал наш государь.

«Смело можно сказать, — записал очевидец, — что едва ли какой государь в свете так встречаем был покоренным народом, как Александр I, оружием тиранию победивший и великодушием — упорное ослепление европейских народов. Это — не Траян, вступающий в Рим с триумфом и заложниками чуждых племен, не Генрих IV, возвращающийся в добрый Париж после междоусобий; это — великий Александр, который, прощая всецело разорения, нанесенные французами и бывшими союзниками их столице его и целым провинциям, вступает в столицу Франции как отец и покровитель, несущий врагам мир и благоденствие».

Так ли Москва встретила Наполеона, как Париж встретил нашего государя?

По возвращении нашего победоносного войска домой, то есть по окончании войны, закончившейся для нас славным миром, вернулся в усадьбу Горки и Алексей Намекин, к горячо любимой жене и к престарелому отцу.

День возвращения с войны молодого Намекина был днем ликования для его жены и доброй сестры, а отец буквально не помнил себя от радости. Но недолго пришлось отцу порадоваться счастью своего любимого сына: старый генерал скоро умер, простудившись. Непритворными слезами оплакивала его семья, дворовые и все крепостные. В память своего умершего отца Алексей Намекин отпустил на волю некоторых дворовых и крестьян; бедные же крестьяне были обеспечены деньгами, а многие совсем избавлены были от барщины. Мирно и тихо, в любви и согласии текла жизнь молодого Намекина с дорогой женой.

Надежда Васильевна Смельцова, находившаяся в доме мужа чуть ли не в затворе, все время пребывания французов в Москве прожила в Петербурге, причем хозяйство у нее вел преданный ей старик дворецкий Иван Иванович. Что касается ее мужа, Викентия Михайловича Смельцова, то он, распорядившись ее переездом в Петербург, сам опять уехал в Англию. К бедствию родной земли он не остался чужд и почти все свое огромное состояние пожертвовал на нужды войны, за что удостоился благодарности государя. Однако в Англии он сильно простудился, и его безнадежно больным привезли в Петербург. Здесь он и умер, причем за несколько дней до смерти примирился со своею женой и оставил ей родовое огромное имение.

Надежда Васильевна все свое богатство и свою молодую жизнь положила на дела благотворительности, устраивая школы, больницы, богадельни. Она жила в доставшейся ей от мужа усадьбе безвыездно зиму и лето, но не в огромном доме, а в маленьком флигельке, состоявшем всего из четырех небольших комнат. Большой же дом был переделан в больницу и богадельню для больных и престарелых крестьян. Для услуг при Надежде Васильевне находились наемные Фекла и горничная Лукерья. Обе они давно получили вольную, но не захотели воспользоваться этим и по-прежнему жили со своей доброй госпожой.

Надежда Васильевна, несмотря на свои еще молодые годы, не оставляла своей затворнической жизни, редко выезжала из усадьбы, а также и к себе никого не принимала.

Единственным ее гостем был, и то редко, Федор Иванович Тольский, Георгиевский кавалер и бывший храбрый партизан Отечественной войны. Вскоре после войны он полюбил простую девушку, женился на ней и совершенно переменял свою бурную жизнь на тихую семейную. Летом жил он в своей подмосковной усадьбе, доставшейся ему в наследство от тетки.

Иван Кудряш по-прежнему неотлучно находился при Тольском, исполняя роль преданного слуги и ближнего приятеля. Тольский давно выдал ему вольную, но Кудряш ни за что не хотел оставлять своего барина.

— Гоните, сударь, силою гоните, и то не уйду. И вольная мне не нужна. Зарок у меня дан: до самой моей смерти служить я вам должен и неотлучно состоять при вашей милости.

Тогда Тольский решил положить Кудряшу хорошее жалованье и оставил его при себе.

Хоть Федор Иванович бросил свою прежнюю бесшабашную жизнь, но на него находили иногда и такие минуты, когда он становился прежним: кутил без просыпу, пил вино, играл и обыгрывал в карты; не прощал ни малейшей обиды и за всякое двусмысленное слово или за какой-либо намек вызывал на дуэль. Но такая разгульная жизнь продолжалась обыкновенно не более недели. Тольский раскаивался и спешил уехать из Москвы в свою усадьбу.

Его жена была кроткой, милой женщиной, покорной своей судьбе. Тольский никогда не слышал от нее даже упрека. Однажды, вернувшись после загула в Москве, он даже спросил ее:

— Послушай, Наташа, неужели ты не умеешь ругаться?

— Да, не умею, — с улыбкой ответила молодая женщина.

— Сердиться, ворчать тоже не умеешь?

— Да, тоже не умею.

— Ну а драться, чай, и подавно не горазда? А хорошо было бы, если бы ты взяла да прибила меня. Я вполне заслужил это. Возьми чубук и отколоти меня. Ну пожалуйста!

— Оставь шутки, Федор.

— Я не шучу, а говорю серьезно. Теперь мне совестно глядеть на тебя. Мне думается, что ты презираешь меня, и поэтому молчишь...

— Оставим это, Федор! Я люблю тебя...

— Милая, дорогая...

Тольский опустился на колени перед женой, страстно расцеловал ее руки и дал слово исправиться, навсегда оставив кутежи, попойки, игру в карты. Проходило два-три месяца и более, Тольский крепился и сдерживал свое слово, но стоило ему прорваться — и тогда он все забывал и предавался по-прежнему своей страсти. Так случалось не раз, но постепенно эти вспышки случались у Тольского все реже и реже. Годы брали свое: Тольский старел, страсти утихали, и в Москве мало-помалу стали забывать бурную жизнь «русского американца». Не забыл ее только наш гениальный Александр Сергеевич Грибоедов, обессмертив Тольского в своей пьесе «Горе от ума».

Стояла масленица. У хорошо известного москвичам Кокошкина, литератора и начальника репертуара московских театров, были назначены блины, причем были приглашены и известные литераторы того времени, в числе которых находились Пушкин и Грибоедов, а в числе артистов — знаменитый Щепкин.

Кокошкин, встречая гостей, каждому на ухо таинственно говорил:

— Кроме жирных блинов, у меня такое еще угощение припасено, что пальчики оближете.

— Что такое за угощение? Скажите! — спросил кто-то.

— Нет, не скажу, это будет для вас сюрпризом.

Наконец гости все собрались; в числе их был и наш старый знакомый Тольский. Хотя Кокошкин только недавно познакомился с ним, но все же пригласил его. Некоторые из гостей совершенно не были знакомы с

Тольским, а хозяин, по своей рассеянности, забыл его представить.

— Господа, я уже имел честь говорить вам, что у меня, кроме блинов, припасено для вас другое хорошее угощение, и вы сейчас получите его! — громко проговорил Кокошкин, обращаясь к своим гостям, после чего скрылся в другую комнату, затворив за собою дверь.

Все с нетерпением ожидали.

Вот снова отворилась дверь, и Кокошкин вошел в зал под руку с Александром Сергеевичем Грибоедовым; у последнего была в руках какая-то рукопись.

— Почтенное собрание, — громко сказал Кокошкин, — мой дорогой гость, Александр Сергеевич, изволит прочитатъ нам свою новую пьесу, которой, я уверен, вы останетесь очень-очень довольны.

Грибоедов с небольшими перерывами прочел всю комедию «Горе от ума». Восторг был общий. После чтения сейчас же сели за блины и, конечно, за завтраком только и говорили о комедии; разбирали характеры, интригу, восхищались верностью языка, мастерством стиха, который казался простою разговорной речью, и так далее.

Большинство находившихся у Кокошкина гостей знало, что Грибоедов в своей пьесе словами Репетилова очень удачно изобразил Федора Ивановича Тольского.

Один из гостей, некто Жилинский, имел затаенную вражду к Тольскому; он, обладая цепкой памятью, за блинами только и твердил о Репетилове и, в укор «русскому американцу», повторил почти без ошибок то место монолога, где Репетилов говорит:

Но голова у нас, какой в России нету,
Не надо называть, узнаешь по портрету:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист;
Да умный человек не может быть не плутом.
Когда ж об честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем:
Глаза в крови, лицо горит,
Сам плачет, и мы все рыдаем.

Многие гости знали, что все это написано про Тольского — человека, которому убить на дуэли кого-нибудь было так же легко, как передернуть карту или выпить стакан вина.

Положение Кокошкина как хозяина было далеко не приятным: Грибоедов и Пушкин молчали, а гости не зна-

ли, куда и глядеть. Один Тольский был невозмутим, он сохранил полное спокойствие, как будто не понимал ни смысла стихов, ни подчеркиваний, ни ясных намеков Жилинского.

Подали шампанское. Хозяин провозгласил тост за гениального автора комедии «Горе от ума», потом за Пушкина. Тосты были единодушно приняты.

Жилинский не унялся и предложил тост за Репетилова и за героя, доблести которого он так верно передает в своем монологе.

— Вот пьеса! Какая сила таланта! Лица, как живые! — с пафосом сказал он. — А Репетилов? Его монолог? Перед моими глазами так и стоит этот Репетилов. Я слышу его слова, я вижу эту голову, о которой он говорит «другой в России нету», слышу его вопли о высокой честности. Да, господа! «Умный человек не может быть не плутом». — При этих словах Жилинский значительно посмотрел на Тольского и продолжал: — «В Камчатку сослан был, вернулся алеутом...»

Вдруг встал Тольский. Все затаили дыхание, ожидая, что будет. У Тольского был бокал в руках.

— Александр Сергеевич, — громко обратился он к Грибоедову, — я приношу вам мою глубокую благодарность за то, что вы потрудились описать меня в своей пьесе. Пью за ваше здоровье. А вы, господин Жилинский, повторите нам то место монолога, которое, как видно, вам очень понравилось.

— К чему повторять, довольно! — несколько смутившись, ответил Жилинский.

— Нет, не довольно. Прошу повторить, — возвышая голос, потребовал Тольский.

— Повторите, повторите! — обратились к Жилинскому некоторые из гостей.

Тот неохотно повторил.

— Прекрасно!.. Звучные стихи!.. Вы и читали их недурно, господин Жилинский.

Тут встал Грибоедов и начал уверять Тольского, что эти стихи написаны не о нем.

— Полноте, добрейший Александр Сергеевич! Ваши стихи — мой живой портрет, моя полная биография, хоть и неприглядная, но правдивая. Еще и еще благодарю вас. Пока жива матушка Россия, пока будет звучать русская речь, будут жить и повторяться русскими людьми ваши гениальные стихи, а вместе с ними не умрет и мое многогрешное имя!

Пушкин и Грибоедов бросились целовать Тольского. Предложили за него тост. Собравшиеся вздохнули свободнее: гроза пронеслась. Жилинский незаметно исчез.

— Господа, маленькая оговорка, — громко обратился Тольский к гостям, сидевшим за кофе. — Каюсь, господа, я играл, обыгрывал и на дуэли убивал, но не воровал и взятки, ей-богу, никогда не брал, а потому, что не служил...

СОДЕРЖАНИЕ

ИМПЕРАТОР-ОТРОК. *Историческая дилогия*

Осиротевшее царство. *Роман* 7

Разрушенная невеста. *Роман* 187

РУССКИЙ АМЕРИКАНЕЦ. *Исторический роман* . 381

Дмитрий Савватиевич
Дмитриев
ИМПЕРАТОР-ОТРОК
РУССКИЙ АМЕРИКАНЕЦ
Романы

Редактор *Т. Прокопов*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Г. Шитоева*
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г.
Подписано в печать 27.11.95. Уч.-изд. л. 36,75.
Цена 22 200 р.

Издательский центр «ТЕРРА». 113184,
Москва, Озерковский пер., 1/18, а/я 27.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены
ТОО «Макет». 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

ТАЙНЫ

В центре внимания исторической диалогии Д. С. Дмитриева (1848—1915) «Император-отрок» судьба гвардейского офицера Леонтия Храпунова и его возлюбленной Марии Долгоруковой. Лживо обвиненный в государственном преступлении, Храпунов вынужден бежать, скрываясь от суда. Затем — заключение в остроге, тщетные попытки добиться справедливости. Взаимное чувство Леонтия и Марии подверглось сильнейшим испытаниям... Была ли их любовь подлинной?

Герой романа «Русский американец», действие которого разворачивается в 20-х годах XIX века, Федор Тольский, человек сложный, противоречивый и удивительно интересный. Авантюрист, бретер, он в ситуациях смертельно опасных проявляет неизменное благородство и доброту — качества, на первый взгляд, не свойственные его натуре.

Волею судьбы он оказывается в Москве за день до взятия ее войсками Наполеона. С этого момента и начинается настоящее служение Родине.

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах